ЮРИЙ КУРБАТОВ

БЕЗБИЛЕТНИКИ



Предисловие Тихона,
митрополита Псковского и Порховского
(Шевкунова Георгия Александровича)

Безбилетники [litres]
Юрий Юрьевич Курбатов

Аннотация
Юрий Юрьевич Курбатов. Безбилетники
Предисловие
Часть 1
  Стекляшка
  В больнице
  Микшер
  В «Ромашке»
  Дома
  Дачный телефон
  Ожидание
  У Лелика
  Творческая интеллигенция
  Отъезд
  Ночевка
  В пути
Часть 2
  Крым
  Замок
  Дядя
  Лучистое
  Ночь во рту

Демерджи
У костра
Дождь
В Ялте
Назарыч
Тревога
В Ай-Даниле
Труп
Бен Ган
В ресторане
Город мертвых
Часть 3
Толик
Виноградный царь
Битва при роднике
Философия момента
Ежик
О музыке
Братушки
Потоп
Полотенце
В заднице
Аюдаг
Холостяцкий салат
В Планера
Сколопендра

На Зеленке
Учитель
Курица
Неудача
Встреча
Разборки
Часть 4
Менты
Монахи
В монастыре
Успение
Последний trip
Рай
Старец
Крещение
Отъезд
Дикая птица
Проклятый ключ
Товарняк
Последний рывок
Статья
Неофит
Мир
Бетельгейзе

Аннотация

Роман «Безбилетники» – это картина мира, которую главные герои, молодые люди поколения 90-х, собирают из осколков, случаев, сомнений. Неожиданные совпадения, странные ситуации, – так случается, если однажды покинуть уютный дом и пуститься в приключения, окунувшись в поток событий, которые не можешь, да и не стремишься контролировать, – составляют канву романа. И со страниц текста звучит рок-музыка, повлиявшая на молодежь 90-х, буквально переформатировав ее из верных пионеров и комсомольцев в бунтарей-неформалов.

Юрий Юрьевич Курбатов
Безбилетники

Пацанам,
живым и мертвым,
посвящается

* * *

© Курбатов Ю. Ю., 2022
© Шевкунов Г. А., предисловие, 2022
© ООО «Издательство АСТ», 2022

Предисловие

Уже выросло целое поколение, которое не помнит «лихие девяностые». Но для тех, кто вошел в жизнь только сейчас, опыт переосмысления молодежного бунтарства тех лет, которым делится автор, наверняка будет интересен. Ведь у молодежи разных времен есть множество общих черт. Это неприятие родительского авторитета, бескомпромиссное стремление к правде и уверенность в том, что ты точно знаешь, как изменить мир, сделать его лучше. Как говорят, у молодежи есть все, кроме опыта. Поэтому поделиться своим опытом прихода ко Христу — это зачастую подтолкнуть другого человека к иному взгляду на свой мировоззренческий поиск. И в этом контексте очень важно, что роман автобиографичен, основан на реальных событиях.

Сюжет книги жизненный, в нем множество сложных коллизий и опасных ситуаций, которыми было наполнено то непростое время. Конечно, многое здесь рассчитано на взрослого, зрелого читателя, и тем ценнее то, что роман лишен прямолинейного морализаторства. Даже

прекрасный в своем южном великолепии Крым не освобождает от ощущения наползающей катастрофы, угрозы распада России, а для тех, кто пытается быть искренним в поисках истины, это вовсе не место отдыха, а, скорее, испытание их взглядов. «Безбилетники» — это еще и философский роман, своего рода одиссея, где плавание главного героя происходит не только от приключения к приключению, но и к самому себе. К той самой главной встрече, которую ищут люди во все времена. Каждый человек, подобно героям романа, в каком-то смысле блудный сын. Каждый так или иначе проходит этот путь, только сейчас этот выбор, пожалуй, стал еще сложнее, и возможностей найти истину среди множества правд непросто. Но «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся», — говорит нам Неизменный и Вечный Господь.

Тихон, митрополит Псковский и Порховский (Шевкунов Георгий Александрович)

Часть 1

Хороший путешественник не знает, куда направляется, а идеальный путешественник не знает, откуда пришел.

Линь Юйтан



…Эти существа думают только об одном: что бы поесть да что бы продать. Их идеалы (если они и были) давно преданы, а надежды связаны с самым примитивным, что есть в мире, — личным обогащением. Если можно нарисовать их флаг, то на нем, несомненно, блистают нож и вилка. Нож — не для того, чтобы есть, а чтобы оборонять то, что на вилку наколото. Их гимн состоит из трех аккордов, а текст меняется так часто, что никто не пытается его запомнить. Эти существа так мало похожи на людей. Это животные.

Но самое страшное, что они живут внутри нас. До поры мы не видим их. Вместе с ними по утрам пьем кофе и смотрим в зеркало, ходим на работу и спорим о политике, иногда не подозревая, кого греем у себя под сердцем. Зверь дремлет, пока он накормлен, но в момент революций, войн или даже просто в тяжелой бытовой ситуации он легко выбирается наружу. Некоторые из нас живут и умирают будто в полусне, не услышав этого рыка. Другие пассажиры нашей странной планеты, войдя во вкус, имеют сомнительную радость быть проглоченными им с потрохами.

От этого зверя никуда не деться, но беда обществу, где его начинают хвалить, а дружба с ним воспевается как главная цель и даже смысл

жизни. Вся трагическая история человечества говорит, что зверь этот должен по крайней мере знать свое место. Но всякий, у кого стала просыпаться совесть, будет бороться с ним, будет искать как его победить, чтобы стать подлинным человеком. На свете нет ни места, ни времени, свободного от этой простой истины.

Стекляшка

Репетиция кончилась. Музыканты, негромко переругиваясь между собой, сматывали шнуры и зачехляли гитары. Через несколько минут все четверо уже курили на крыльце ПТУ.

— В первой четверти такта барабаны должны молчать, — назидательно говорил худой и длинноволосый вокалист Дрим. — И не только барабаны! Тишина — это тоже музыка. В этом месте мы все не играем. Получается совсем другая атмосфера: пауза, провал. Песня будто зависает. Поэтому в квадрате или три удара без первого, или никак…

— Я, блин… не могу понять, как это стучать. Рука сама дергается, — оправдывался, глядя исподлобья, барабанщик со сломанным ухом. Из всей группы он один был крепко сложен, коротко стрижен, чем сильно выделялся из общего неформального строя.

— Это потому, Монгол, что ты мало работаешь.

— Я дома работаю, по кастрюлям.

— Ты бы лучше на репетицию не опаздывал, — подал голос басист Иван.

— Я в курсе, что лучше, — огрызнулся Мон-

гол. — Сегодня не получилось, завтра получится. Партия сложная. До следующей.

Он поспешно пожал руки и повернулся уходить.

— Шо, даже с друзьями не докуришь? — бросил Иван вслед.

— Некогда! Там… Пацаны ждут. — Монгол махнул музыкантам рукой и решительно пошел по направлению к дому.

— Обиделся, — констатировал Иван.

— На обиженных воду возят. Работать надо, — отрезал Дрим.

— Дрим, когда следующая? — спросил Том, высокий субтильный соло-гитарист.

— В четверг, записываться будем. Ты, кстати, в прошлый раз фирменную кассету обещал.

— Забыл! — Том хлопнул себя по голове, и тут же заорал вслед барабанщику:

— Монгол, стой! Кассету верни!

— Догоняй! — Монгол, не оборачиваясь, призывно махнул рукой.

— Ладно, пацаны. Бувайте. — Том побежал следом.

Барабанщик шел быстро, не притормаживая.

— Саня, подожди. Дрим говорит, что в четверг запись.

Монгол что-то буркнул себе под нос.

— Ладно тебе, не грузись. — Том, наконец, достиг своего стремительного товарища. — Все лажают, я вот тоже. Дома сто раз сыграешь, а на репетиции — ну как вырубает. Пальцы вроде помнят, а как думать начинаешь, — обязательно воткнешься не в тот лад.

— Та я не в обиде! — Монгол смотрел куда-то в сторону, явно стараясь, чтобы его голос звучал как можно бодрее. — Поначалу не получалось, а потом как-то… Достало. И Дрим тоже достал. Борзеет он, тебе не кажется?

— Все мы борзеем время от времени, — примирительно ответил Том. — Так мы к тебе за кассетой зайдем?

— Если найду.

— Я тебе дам — найду! Это лучшая кассета на районе! Италия!

— Шучу я. Дома лежит, на тумбочке. Ты, кстати, борщ будешь? Мамка сегодня наварила.

— Спрашиваешь?! — Том живо вспомнил мать Монгола, современную подтянутую женщину. С ней было всегда интересно поговорить на любую тему, но подлинное, глубокое уважение возникало к ней оттого, что всех вечно голодных друзей ее сына она сразу, без расспросов, усаживала

за стол.

В желудке сразу заурчало.

Они уже подошли к подъезду, как вдруг со двора кто-то протяжно свистнул.

— Монгол!

Они повернулись. К ним шла компания пацанов. Троих, Мосю, Воху и Лимона, Том знал хорошо, с двумя другими просто здоровался.

— Здарова.

— Монгол, привет. Слышал? Наших на лагере опять… — Невысокий чернобровый Мося сделал характерный жест, стукнув кулаком в свою открытую ладонь. — Что делать будем?

— На Стекляшке?

— Угу. Гога звонил. Говорит, что сегодня опять придут. Обещали.

— Семечек дайте. — Лицо Монгола приобрело свирепый вид. Он почесал нос, и, оглядывая немногочисленное воинство, сказал с неподдельной обидой:

— Надо бы вломить, паца.

— Ясен пень. Для того к тебе и шли, — обыденно сказал Лимон, коренастый пацан с желтушного цвета лицом. В руке он подбрасывал тяжелый цилиндр с выемками под пальцы.

— Цел до сих пор? — Том кивнул на кастет.

— Что ему сделается? — улыбнулся Лимон.

Этот кастет Лимон выменял у Тома еще в школе. Том вспомнил, как на пустыре за домом плавил свинец из аккумуляторных решеток, а потом заливал его в гипсовую форму. Гипс использовался уже не раз. Форма крошилась, отчего на кастете оставались ямки и вмятины, и Том долго доводил его напильником до совершенства.

— Мало нас, на Стекляшку идти. А сборы только на следующей неделе, — уныло пробормотал Мося.

— Какие там сборы! — хмыкнул Лимон. — Не сборы теперь, а одно название. Три калеки приходят в картишки перекинуться. Теперь каждый сам за себя.

Действительно, в последнее время ситуация со сборами сильно изменилась. Еще недавно их район считался самым сильным в городе, а на сборы приходило человек по триста. Но страна стремительно становилась рыночной, порождая множество разнообразнейших дел и новых увлечений. Дисциплина упала, и если даже старшаки стали отлынивать от сборов, то что было говорить о малолетках? Кто-то, как Том и Монгол, ударились в музыку. Кто-то занялся бизнесом, мотаясь по оптовым рынкам и загра-

ницам в поисках дешевых товаров. Кто-то варил в гаражах невиданные мотоциклетные рамы, кто-то в поисках своего «я» экспериментировал с веществами. Одним словом, крепкий районный монолит стал давать трещины изнутри: сборы все больше превращались не в грозные походы на чужой район, а в пустые посиделки.

— Шо, сдулся? — Монгол хлопнул Мосю по плечу так, что тот едва устоял на ногах.

— Не-е, пошли, конечно, — иронично протянул Мося, поправляя очки. — Давно люлей не огребали.

— Мося прав. Все-таки чужой район, — вставил слово конопатый Воха. — Еще бы кого-то взять.

Воха ходил на бокс. У него была неплохая левая.

— Ты не забывай, что там еще наши, из лагеря. Они тоже подтянутся, с тыла, — все так же невозмутимо добавил Лимон.

— По-любому в стороне стоять не будут, — согласился Монгол.

Том смотрел на него, и не узнавал. Только что с репетиции спешил совсем другой человек, — унылый и подавленный. А теперь перед ним стоял, расправив плечи, гроза района. Глаза его горели. Монгол вдруг обрел опору, смысл жизни,

почувствовал себя в своей тарелке.

— Монгол, а с кассетой что? — Том вежливо напомнил о себе.

— Слышь, ну сам ты видишь, что. — Тот повернулся, беспомощно пожал плечами. — Давай завтра, а то мне ее еще найти нужно.

— Ладно… — Том остановился в нерешительности.

— А может, с нами? — Лимон, слегка наклонив голову, хлопнул его по плечу. — А то нас мало.

Этого вопроса Том и не хотел, и ждал. Он глянул на Монгола. Тот молчал, выжидательно глядя ему в глаза.

— Дембельский аккорд? Ладно, пошли, — вздохнул Том.

На душе всегда становилось легко и радостно, когда идешь куда-то веселой пацанячьей толпой делать хорошее важное дело, и больше не думаешь ни о чем. Но в этот раз на душе у Тома было муторно и тревожно.

Конечно, он уже совсем отвык от драк. Он, может быть, даже потерял форму, подзабыв ту привычную веселую ярость, без которой не стоит соваться под чужие лихие кулаки.

Но дело было в чем-то другом. Не в спонтанности решения, не в испорченном вечере, и даже

не в прекрасном борще, который, судя по всему, отменялся. Он просто вырос из этого дурацкого возраста. С другой стороны, свалить сейчас, бросив пацанов на пути в чужой район, — это расписаться в районной пацанской анкете под словом «мудак».

Монгол шагал впереди всех, — быстро, нагнувшись вперед и чуть растопырив локти. За ним шли Том, Воха, лопоухий Лимон, вечно грустный Камса и еще один косолапый пацан по кличке Пеле. Замыкал компанию худенький очкарик Мося.

— Слышь? — Том догнал Монгола.

— Шо?

— Хреновое предчувствие у меня.

— У меня оно каждый день, — ухмыльнулся Монгол, протягивая Тому семечек. — На, успокойся.

— Та я спокоен. Просто… Неправильно это все. Завязывать надо.

— Том, ты чего? Или за табло свое боишься? Так домой иди. Тебя ж никто не тянет.

— Не в этом дело. Все неправильно.

— Неправильно? А как правильно? На пацанов забить? — Монгол рубанул рукой воздух.

— Чувак, но ты еще и музыкант, — нет? Сейчас

переломают пальцы, — как стучать будешь?

— Запарятся ломать.

— Толпы поклонниц, слава, автографы, где это все? — Том театрально обвел рукой окрестности пустыря, через который они шли. — Нету! Хотя какая разница между гопником и музыкантом? У одного мозоли на костяшках, у второго — на подушечках.

— Харош жизни учить. Запарили меня все. И стучу плохо, и за пацанов стать нельзя. То Дрим мне мозги выносил, теперь ты… Лекарей развелось. Хочешь — домой иди. Обойдемся.

— Я уйду, — вам лучше не станет. И не во мне дело. Я… Про вообще говорю. Просто у меня детство уже отстреляло, а у тебя еще отстреливается.

— Де-етство? — Медленно протянул Монгол. — Какое детство? Там их человек пять всего, а каждый день огребают. А стекляшные ссут к нам на Пятерку прийти, вот на них и отыгрываются. Жалко пацанов.

— Я понимаю, — с сочувствующей иронией сказал Том.

— Том, завали дуло, — огрызнулся Монгол, глянул в сторону, и вдруг улыбнулся. — Зырь, какая краля прет.

По другой стороне дороги шла, помахивая су-

мочкой, высокая стройная девушка.

— Прет, а мимо. А так бы на шею бросилась, если б стучал нормально. В смысле — барабанил.

— А ведь ты прав. — Монгол любовался фигуркой девушки. — Ладно, считай, что я завязал. Сейчас вот разберемся, и катись оно все. Пусть малолетки бегают.

Они перешли железнодорожный мост, условно считавшийся границей районов, и, пройдя малоприметными улочками старых тенистых дворов, благополучно добрались до лагеря. По дороге с ними случилась потеря: отвалился Пеле. Он встретил какую-то девушку, и, сославшись на внезапно появившиеся неотложные дела, ушел. Его никто не уговаривал: девушка — причина все-таки веская. Может, даже — судьба.

Трудовой лагерь, который на лето расположился в двухэтажном здании школы, был в самом центре вражеского района. Украдкой озираясь по сторонам, они осторожно зашли на ее территорию. Вокруг стояла совершеннейшая тишина, а само здание казалось вымершим.

Все сели неподалеку, на спортплощадке, а Мося подбежал к зданию, и, подтянувшись на подоконнике, заглянул в окошко первого этажа. В переделанных на лето под спальни классах были

видны ровные ряды аккуратно заправленных кроватей с подушками торчком. В пустом холле не было ни души.

— Ну, что там?

— Пусто. Может, в колхоз уехали? — предположил Мося.

— Или на теплицы ушли. Это ж Стекляшка, тут теплиц полно, — со знанием дела сказал Лимон.

— И что теперь делать?

— Посидим чуток, — сказал Монгол. — Камса, семечки есть еще?

— Есть малёха. — Тот отсыпал Монголу полгорсти. — Работают где-то. Вечером их привезут.

— А скока ждать? Мне сестру из садика забрать нужно, — встревожился Воха.

— Не переживай, кажись, дождались, — Монгол натянуто улыбнулся, кивая на показавшуюся за забором толпу пацанов. Те шли мимо, но, заметив их, свернули во двор школы.

— Может, наши? — с надеждой спросил Мося.

— Та не, — все так же улыбался Монгол, делано развалившись на скамейке. — Преподов нет. Не встаем. Щас базарить буду.

Пацаны медленно приближались. Том никого не узнал, и, судя по молчанию остальных, компания была из местных. Их было двенадцать

человек. Впрочем, трое или четверо были немного помладше пятерских.

Когда толпа подошла к площадке, Монгол упер руки в колени, и, по-начальственному глянув исподлобья на новоприбывших, спросил:

— Пацаны, а вы откуда?

— Мы-то отсюда, а вы откуда? — в тон ему сказал крепкий чубатый парень в растянутой тельняшке. Он был явно постарше других.

— А мы с Десятки, — не моргнув глазом, соврал Монгол и сплюнул сквозь зубы. И тут же, не меняя делового тона, небрежно добавил: — Тут звонили, что сюда пятерские подрулят. Вы в курсе?

— Кого с Десятки знаешь? — недоверчиво продолжал Чубатый.

— Буру, Чочу, — Монгол назвал пару известных ему кличек, и тут же для количества присочинил: — Лелика, Боба, Клепу, Кощея, Багу.

Чубатый немного успокоился.

— Сяву знаешь?

— Знаю. У него еще сестра есть, Маша. Во баба! Габариты — во, задний бампер — во! Хочешь, телефон дам?

Все засмеялись.

Монгол врал легко, как дышал, со знанием дела описывая несуществующую Машу. Сява был на

любом районе, а то и не один. Всегда можно было ошибиться.

Чубатый подобрел. То же настроение передалось и его друзьям.

— Так что, Пятерка придет? — уточнил он.

— Придут, волчары, по-любому, — Монгол хищно улыбнулся. — Мы сидим вот, ждем.

Атмосфера на спортплощадке воцарилась самая дружелюбная, какая бывает только между товарищами, готовыми рисковать жизнью друг за друга. Тому на миг показалось, что если местные вдруг попрощаются и уйдут, то они расстанутся самыми лучшими друзьями. Все было хорошо, если бы не вспотевшие от напряжения ладошки и легкий тремор в левой ноге.

Тем временем пятерские, коротко поглядывая по сторонам, уже мысленно разобрали себе соперников.

«Эх, видно, не пронесет. Не облажаться бы», — подумал Том, глянул на Монгола. Тот, приобняв Чубатого как старого приятеля, показывал пальцем:

— Короче, они должны нарисоваться примерно во-он там. Зайдут по-любому сюда. Увидят, что нас немного. А вы станете на той стороне, с поля, чтобы они свалить не успели. Как начнется

— подтянетесь. Обойдете школу со двора, чтобы не светиться.

Том смотрел на Монгола, стараясь уловить хоть малейшую фальшь, но ее не было.

«В театральный ему нужно», — с восхищением подумал он.

Монгол до мелочей проговаривал все детали будущей битвы. Чубатый кивал и соглашался.

В какой-то момент Монгол будто что-то вспомнил, поскучнел, что-то решив про себя, задрал голову. Посмотрев в синее, покрытое легкомысленными облачками небо, с разочарованной грустинкой, словно не желая терять новообретенную дружбу, произнес:

— Ладно, пацаны, харош базару. Мы с Пятерки.

И, не дожидаясь реакции, коротко ударил Чубатого снизу в зубы. Удар оказался не только сильным, но и деморализующим. Чубатый настолько не ожидал подвоха, что сразу упал на землю, и, подобрав под себя ноги, закрыл рукой голову.

Еще миг, и пятерские вовсю молотили стекляшных. Том вскочил со скамейки последним и бросился в центр площадки. Там, став у турника, он призывно махнул крепкому рыжему парню, который тоже искал драки. Том задумал,

схватившись за стойку, ударить Рыжего обеими ногами, а при случае, ей же прикрыть спину. Рыжий вроде не просек маневра, и сделал шаг вперед. Том выпрыгнул, но вспотевшие пальцы оторвались от трубы, соскользнули со стойки, и он, не долетев до противника, плюхнулся на задницу, в песчаную пыль, прямо под ноги врагу. И сразу получил удар ногой по ребрам.

«Ну дурак!» — он интуитивно закрыл рукой голову, ожидая второго удара, но прошла уже целая секунда, а его не было. Не теряя времени, он откатился назад, вскочил на ноги, осмотрелся. Оказалось, что в момент его прыжка подскочивший откуда-то Лимон двинул Рыжего сбоку, в ухо. Тот стоял, согнувшись, и тряс головой, прикрывая на всякий случай лицо. Добивать его не хотелось, и Том вновь встал у стойки наизготовку. Мимо от сильного удара отлетел Мося. Тут же вскочил на ноги и с криком бросился назад, в самую гущу драки. И — снова отлетел.

Том почувствовал себя по-идиотски. Драка проходила вокруг него, рядом мельтешили руки, трещали футболки, а он стоял в самом ее центре, не принося никакой пользы. Он ринулся к обидчику Моси, бледному невысокому парню средней комплекции. Тот уже сгруппировался и стоял в

бойцовской позе, с ненавистью смотря на Тома. Том успел отбить ладонью его кулак, и, пользуясь длиной рук, стал молотить его в голову, в руки, — куда дотягивался, сбоку и снизу, попадая и не попадая, надеясь не столько на силу, сколько на скорость и количество ударов. Тот отвечал, отворачивался, пригибался, как мог, закрывая лицо, ожидая, когда Том выдохнется. Но, пропустив подряд несколько неприятных ударов, внезапно всадил Тому ногой в печень. Удар прошелся вскользь, в поясницу. Могло быть и хуже, стой Том чуть подальше от Бледного. Тяжело дыша, он отскочил, заметив краем глаза, что местные явно сдают. Это придало сил. Мир превратился в багровый пульсирующий тоннель, в центре которого плыло круглое лицо врага. Бледный шмыгнул кровью, быстро вытер нос. «Достал!» — мелькнуло в голове. Том вновь подскочил к нему. Тот явно выдохся, и снова попытался повторить свой удачный удар, но Том на этот раз был начеку, и легко поймал его за ногу.

— На! — перехватив носок ноги второй рукой, он резко дернул его вверх и наружу. Бледный взвыл от боли и упал на спину. Том прыгнул сверху, и, придавив коленом правую руку, несколько раз, до боли в кулаке ударил его в лицо. Бледный

захрипел, неуклюже прикрываясь левой, и уже не пытаясь вырваться. Том опустил руки лишь когда из брови его противника ручьем хлынула кровь.

— Как со свиньи, — услышал он рядом с собой голос Лимона. — Харош, вставай, он готов. Всех размазали.

Том нагнулся над лежащим, протянул руку.

— Вставай, чувак. Не в обиду.

Бледный лежал на боку, вяло вытирая залитое кровью лицо, и никак не реагировал на руку Тома.

— Вставай, сука! — Лимон пнул того в зад. Тот неожиданно быстро вскочил, и сразу дал деру. Бежал он странно, на полусогнутых ногах и по окружности, будто бы кто-то держал его за веревку, но вскоре пришел в себя и выровнялся. Лимон хотел было еще наподдать ему ногой, но не дотянулся, а следом не побежал. Чужой район такого не прощал.

Том по инерции вновь занял место у трубы, но теперь уже никого не было рядом.

«Эх, а какая точка была!» — пришла в голову идиотская мысль.

Он глянул по сторонам. У качелей Монгол, поборцовски швырнув через бедро, добивал кого-то

из поредевших стекляшных. В углу площадки Воха, прижимая к шведской стенке прыщавого паренька, методично наносил удары своей левой. Паренек брыкался, но вот и он обвис на ослабевших ногах. Еще миг, и оказалось, что драться больше не с кем. Стекляшные вставали, утирали кровь, и, поддерживая друг друга, тащились за территорию школы. Их уже никто не трогал, лишь одному Лимон дал-таки ногой по ребрам, крикнув на прощание:

— Это вам за наших пацанов!

Довольные победой, они вытирали кровь, отряхивали пыльные штаны и футболки. Мося привычно искал в траве очки. Сердце радостно скакало, наслаждаясь сладостью справедливого возмездия.

Они еще не успели перевести дух, как Лимон заорал:

— Обходят!

Том оглянулся. Перемахивая через невысокий забор школы, широкой цепью бежали к ним человек тридцать. Двигались они невыносимо медленно, — то ли от страха, то ли просто так казалось его разгоряченному воображению.

В суматохе никто не заметил, что один из тепличных дал деру в самом начале драки, и теперь

возвращался с подмогой.

— А теперь атас, пацаны! — хохотнул Монгол, рванув первым, и все побежали за ним к посадке, срезая угол пришкольного футбольного поля.

Том бросился следом, замешкался на миг, увидев блеснувшие в траве под скамейкой Мосины очки.

«Успею!» — в два прыжка он оказался рядом, сунул руку в гущу травы, и тут же побежал догонять своих. Но в этот момент несколько местных, видимо, заранее обогнув школу, уже выскочили навстречу, отрезая их от самого короткого пути к посадке. Монгол с пацанами успел проскочить мимо них в узкий коридор, и уже скрылся за деревьями.

Короткий путь к посадке был перекрыт. Теперь он был вынужден бежать через все поле к забору, боковым зрением видя, как те, кто бежал слева и справа ему наперерез, уже поравнялись с ним, уже обгоняют его.

«Сходил за кассетой!» — Том чувствовал себя загнанным зверем. Он все еще надеялся на чудо, стараясь не обращать внимания на свист и короткие матерные выкрики. И вдруг — остановился, с презрением глядя, как сжимается вокруг него кольцо из десятков незнакомых, злых пацанов,

чувствующих свою легкую победу. Страха не было. Наоборот, он вдруг ощутил прилив сил. Глупое, беспричинное веселье овладело им. Куражась, понимая, что конец, он поднял руку и, криво улыбнувшись, сказал:

— Так, спокуха, пацаны.

В голове вдруг резко вспыхнуло — бело, ярко, будто у самого его лица кто-то щелкнул вспышкой фотоаппарата. А потом выключили свет…

* * *

…Велик подпрыгивает на бордюрах, весело звенят ключи в бардачке. Едва доставая до педалей, Егор несется на старом дамском велосипеде с закрученным бараньими рогами рулем. Дыбится за спиной защитная военная рубаха. Он спешит: папка уже собрался на рыбалку, и ждет его дома. Недавно они купили новые бамбуковые удочки. Еще не совсем удочки, — так, кривые бамбуковые палки. Чтобы сделать их ровными, нужно было долго и осторожно гнуть их над пламенем свечи, выравнивая жесткие перепонки между пустыми трубчатыми звеньями.

— Егор, осторожнее с концом, выше держи, не сожги, — тихо, чтобы не разбудить маму, шептал папка.

Уже так поздно, что почти рано. Очень хочется спать. Наконец, удочки готовы. Собран линялый, похожий на переспелую грушу рюкзак, лежит в бобинах новенькая леска, поплавки, кусок свинца.

— А где крючки? — разводит руками папка. — Не могу найти! Завтра нужно будет купить…

Велик слету въезжает в распахнутую дверь подъезда. Егор ставит его между этажами, и, перепрыгивая через три ступеньки, бежит домой.

— Ты в Киев ездил?! — беззлобно ругается папка.

Егор вываливает из карманов содержимое. Брачки для рогатки, маленький велоключ от спиц, десять копеек, «краник» — вентиль для открытия кранов, торчащих из-под каждой пятиэтажки. И вот, наконец, — крохотная коробочка с крючками.

— Только такие были.

— Сгодится.

Отец надевает на спину рюкзак, проверяет, не давит ли что, подтягивая старые кожаные ремешки, подпрыгивает, нагибается…

— Пошли, пошли скорей! — торопит Егор.

Наконец они выходят из подъезда. Навстречу — волна холодного утреннего воздуха. Егор идет

рядом с отцом, вприпрыжку, гордо неся удочки. Они снова идут вместе, что в последнее время бывает совсем редко. Егор хочет, чтобы его видели все соседи, все одноклассники, но еще так рано, и к тому же сегодня воскресенье. Они садятся в старый пыльный ПАЗик, который, натужно ревя на подъемах, везет их на другой конец города. Там — совсем иной мир. Мир бабочек и душистой сосновой смолы, мир знойного лета. Ему иногда кажется, что за городом — всегда лето.

…Остались позади пыльные улицы окраины с петухами и ленивыми собаками. По усеянной хвоей песчаной тропе они долго идут через сосняк. Он задирает голову, разглядывая покачивающиеся мачты деревьев и с наслаждением вдыхая крепкий смолистый воздух. Кружится голова. Лес кончается, тропа выходит на дорогу, которая вместе с бабочками бежит куда-то вперед, через звенящий насекомыми огромный луг. За лугом — снова лес, но уже совсем другой, — лохматый и сумеречный, прохладный. Следом увязывается тощая бело-рыжая собака. Вислоухий пес с печальными светло-карими глазами бежит рядом, будто свой. Теперь их уже трое, — неплохая компания!

— Шарик! Бобик! Рыжик! — Егор перебирает

клички, будто ключи. Пес почти не реагирует, на каждое имя чуть повиливая хвостом.

Через полчаса — обрывистый берег реки. Они подходят к ветхому деревянному мосту. Он, как старый худой конь, неуверенно стоит на длинных, покосившихся ногах. Под ними расчесывает длинные волосы водорослей темная бурая вода.

— Его еще до революции построили. Иди осторожно, крепко держись за перила, — говорит папка.

Перила — только с одной стороны: трухлявая палка местами и вовсе отсутствует. Да и сам мост — страшный. Многие доски вырваны, другие проломлены, третьи, как старые гнилые зубы, щерятся по краям ржавыми гвоздями, скрипят под ногами. Пес дрожащими лапами делает несколько неуверенных шагов, и вдруг поворачивает назад. «Эх ты, — струсил! Жалко, не поиграем, — думает Егор. — Мы люди. Нам назад нельзя».

Он почти не боится, тем более что папка рядом. Мост — стонет под ногами, будто живой. Ходит ходуном, перетаптывается, но не сбрасывает, пугает только. Не нужно бояться. Нужно быть таким, как папка. Или как его учитель музыки, про которого папка как-то рассказывал. Когда-то его папка (возможно ли это?) тоже был перво-

классником. Там, в небывало далеком прошлом, он сидел в актовом зале школы и слушал, как играет на баяне учитель музыки.

— Тогда в продаже еще были «опасные спички», — рассказывал папка. — Их можно было зажечь обо что угодно. Коробок таких спичек лежал в кармане моего учителя, и от трения загорелся прямо во время выступления. Повалил дым, вспыхнула штанина, кто-то закричал в зале, кто-то вскочил. Но учитель доиграл мелодию до конца, и только после последнего аккорда вскочил со стула и выбежал за кулисы.

Эта простая и мужественная история придавала сил, тем более что все мальчики — немного герои.

И вот — последняя доска: опасный мост остается позади. Они долго идут вдоль реки по тропе, и, наконец, находят на повороте подходящее место, где тихая заводь и обрывистый берег. Отец насаживает ему на крючок червяка, забрасывает подальше, с обрыва.

— Стой тут, а я пройду дальше.

Отец скрывается в лесу. Егор остается один, совсем как взрослый. Он стоит над обрывом, неотрывно глядя вниз, на поплавок. Вокруг — черно-зеленая пучина водоворотов, несущая листья,

веточки, травинки, мусор. Нет, река — это, конечно, не море. Река всегда проходит мимо, и в то же время куда-то в сторону. Она живет рядом, но не вмешивается в твою жизнь. Хочешь — прокатись по ней, хочешь — переплыви. Море — оно всегда напротив, оно всегда обращено к тебе лицом. Море — как сильный дикий зверь. Его не приручить, с ним не подружиться. Но море далеко, а река — вот она. Добрая, ласковая. Почти ручная.

Поплавок, задрожав, бросается в сторону, и вдруг камнем идет ко дну. От неожиданности Егор чуть не выпускает удочку, в последний момент успевая вцепиться в нее двумя руками. Но тот, кто прячется под водой, тот, кто сидит на том конце, — он огромный и страшный, он сильнее его. Он тянет и тянет, тяжелый, сильный, как крепкая рука, медленно подтаскивая его к краю обрыва.

Отчаянно упираясь в берег, он орет со всей мочи:

— Папка! Па-апка!

Тонкие, посиневшие от напряжения руки судорожно вцепились в бамбук, но он скользит, скользит трава под ногами.

— Ну где же ты, папка?!

Бежит! Бежит папка!

Еще миг, — и стальные отцовские клешни перехватывают удочку. Еще через секунду у тропинки в песчаной пыли бьется здоровенная рыбина с черной спиной и желтыми пятнистыми боками.

— Откуда щука? Как? На червя? — недоумевает папка.

Рыбина кажется Егору значительно меньше, чем та, что тянула его с обрыва. Та по величине была не меньше акулы, — он хорошо осязал ее через тонкую нить лески. Но все-таки она большая и страшная! Щука подпрыгивает, бьет черно-красным плавником по земле. Отец отшвыривает ее ногой, подальше от берега, склоняется над ней.

— Смотри.

В ее острых, как бритва, зубах белеет чей-то хвост. Небольшой пескарь с распоротым брюхом намертво зажат во рту щуки. Из его полуоткрытого рта тянется леска.

— Две рыбы на один крючок! Ай да Егор! Ай молодец! — радуется папка. — Как такая рыбина поводок не оборвала, ума не приложу.

К вечеру садок наполняется некрупной рыбешкой. Отдельно от них лежит в пакете с водой главная добыча. Бьет хвостом, поднимает шум. Садится солнце, теплым блеском золотя реку. Наконец они, довольные уловом, идут домой.

— У меня тоже такое было, — рассказывает отец. — Только там карп схватил карпа. Они хищники, своих едят. Такое бывает в жизни.

…Когда Том открыл глаза, уже стемнело. Он лежал там же, посреди футбольного поля. Вокруг звенели сверчки. Их громкий тревожный стрекот разливался повсюду, заполоняя весь мир. Вверху, прямо над ним, в неверном танце кружились звезды.

Том перевернулся на бок, медленно встал, огляделся. Рядом валялись растоптанные Мосины очки. Он невесело усмехнулся, потрогал лицо. Оно, как ни странно, было целым: синяков не было, но голова будто разучилась соображать. Скорее всего его вырубили с первого удара по затылку, и, испугавшись, что убили, почти не пинали.

Он снова огляделся и побрел наугад, на тусклый, уплывающий в багровую пелену далекий фонарь. Его неровный, режущий глаза свет все время съезжал куда-то вправо, норовя перевернуть весь мир с ног на голову. Хотелось спать. Сверчки не умолкали. Он заткнул уши, но их звон лишь превратился в высокий протяжный гул, будто неподалеку бежал нескончаемый поезд. Мир стал похож на небольшую комнату. Ее тем-

ные мягкие стены были очерчены неровными тенями, полными летучих мышей.

Поле кончилось. Наконец сквозь пульсирующую звездчатую мглу он увидел автобусную остановку и присел на скамейку. Добраться отсюда домой было непросто и в твердом уме. Нужно было ехать как-то через центр с пересадками, но как понять, в какую сторону, и на чем? Он никогда здесь не был. Постепенно на остановке собрался народ. Люди выплывали из тьмы, словно миражи, словно неверные сны. Их движения были плавные, наполненные удивительной гармонией, и Том был не до конца уверен в том, что они — живые.

— А тебе нужно пять остановок, потом поворот, потом еще поворот, там магазин… — объясняла ему какая-то добрая старушка. Ее убаюкивающий голос звучал как сказка, но он никак не мог сосредоточиться на ее словах. Мысли будто вываливались из головы, превращаясь в мусор под ногами. Вскоре к остановке подъехал автобус, и бабушка исчезла. Он снова остался один, еще раз ощупал голову. Ран вроде не было, лишь на затылке вздулась приличная шишка. Его вырвало. Согнувшись, он почувствовал, что рядом кто-то стоит. Кто-то спортивный, молодой. Том смотрел

себе под ноги, но незнакомец все вертелся рядом, явно стараясь рассмотреть его лицо. Не желая вновь нарваться на местных, Том отвернулся и, сев в самый темный угол остановки, прикрыл лицо рукой.

— Егор, это ты? Здарова! — сквозь звон сверчков услышал он дружелюбный голос. — А чего такой грязный?

Том повернул голову. Свет фонаря выхватил из тьмы полузнакомое лицо. Это был Зима, пацан с их района. Он был в спортивном костюме, с сумкой через плечо.

— Оба-на, — Зима. — Выдавил из себя Том. — А я, вишь, гулял тут, да люлей отгрузили. Зима, будь человеком. Выведи меня отсюда.

— Не Зима, а Саня. — Беззлобно ответил Зима и, осторожно переступив через лужу блевотины, взял Тома под руку.

В больнице

Том уже неделю лежал в отделении нейрохирургии. Лечащего врача, крупного пожилого человека с одутловатым лицом и щеткой коротких усов, он видел только один раз, в первый день, на обходе. Тот что-то спросил, медсестра скупо ответила:

— Concussion, пенталгин два, циннаризин, два.

— Concussion! — врач задумчиво кивнул, и отошел к следующей кровати.

Больница напоминала санаторий: все лечение заключалось в том, что два раза в день ему давали таблетки и мерили температуру. Иногда он играл в шашки с двумя другими соседями по палате. Впрочем, их обоих — деда Петра и Евгения Семеновича Щербакова, — отправили домой дня через три после его поступления. Их выписка вначале обрадовала Тома: дед Петро, крупный сельский мужик, получивший травму головы при падении с лестницы, был хроническим курильщиком и нещадно храпел по ночам, а Евгений Семенович Щербаков, актер театра, пострадавший от обрушения декораций, болтал без умолку. Чувствуя в себе великий, но не оцененный начальством

дар, он беспрерывно рассуждал о всеобщем падении нравов, духовной нищете и невозможности реализоваться в таких условиях его природному гению. Том был рад остаться один, в большой бледно-розовой палате на шесть коек. Пару дней он наслаждался тишиной, но потом стал скучать, — по друзьям, по дому.

Чаще всего приходила мать. Она передавала приветы от друзей и всякую домашнюю вкуснятину.

— Вот, возьми, я котлеты сделала, — очередной раз говорила она, разворачивая тяжелый, еще теплый сверток. — Мне разрешили. Вот огурчики с дачи, кукуруза вареная, вот вишневый компот. А чай не разрешили.

— Да хватит, я не съем столько. Тут нормально кормят.

— Может, кого из друзей угостишь?

— Ко мне никто, кроме тебя, не ходит.

— Ну, может, придут еще.

— Может. — Том спрятал припасы в тумбочку, сходил за кипятком на пост, и вскоре они пили душистый мятный чай. Мать рассказывала об огороде, о соседях по участку, о медведке, которая изрыла весь огород и которую наконец удалось зарубить, об урожае и поливе, о мелких дачных

новостях и всяких пустяках. Тому не хотелось ее отпускать.

— Сонечко, наш сосед, где-то сварку достал. Обещал нам калитку приварить. Не помнишь, что у нас еще заварить нужно? Из головы вылетело.

— Не помню. Хотя… Тяпка вроде ж лопнула.

— Точно, тяпку. А я и забыла совсем.

— Он за так заварит, или нет?

— Сонечко? Заварит, конечно. Но ничего не возьмет. Золотой человек, и руки у него золотые. Но я ему стакан налью — в знак благодарности.

— Что там папка? Видела его?

— Нет, не видела. Соседка из второго подъезда видела, — пьяный шел. Все по-прежнему.

— Мам, а как оно так получилось?

— Что именно?

— Ну, с папкой. Вы же когда женились, наверное, мечтали вместе жить, до смерти. Как оно произошло, что все лопнуло, по швам разошлось?

— Как? — ее голос слегка дрогнул. — Не было какого-то момента… Просто как-то шли-шли, шажочками маленькими. И дошли.

— Но вы же любили друг друга?

— Конечно любили, — она скрестила руки, отвернулась к окну. — Теперь мне кажется, что

это было так давно. Как вроде и не со мной. Или в прошлой жизни…

Поначалу все было более-менее хорошо, а потом у них случился тот злополучный эксперимент. Запускали какой-то агрегат, и на испытательном стенде не увидели дефекта. Погибли люди. Как водится, по шапке получили все, в том числе и те, кто ни сном ни духом, — просто числился в рабочей группе. Папку, как одного из участников, перевели в Слобожанск, но только уже рядовым инженером в заштатный НИИ. Он тогда еще думал, что все везде одинаково, что толковому сотруднику везде открыта дверь. Поначалу даже какие-то проекты выдвигал, что-то там рационализировал. Но, как говорится, против коллектива не попрешь. Если там ребята были увлеченные, с горящими глазами, то здесь оказалось полное болото. Смысл работы сводился к победным квартальным отчетам, а энтузиазм коллег проявлялся только на юбилеях. И предложения папкины уже звучали только в форме тостов.

— А потом?

— А потом он потихоньку пить стал. Сразу жизнь вокруг закипела, новые друзья завелись. Ну, как друзья, — собутыльники. В таком возрасте новых друзей не бывает. Да ты их всех, наверное,

помнишь. Сейчас, конечно, меньше стало: кто умер, кто уехал, кто бросил. А в те годы… Он говорил, что смысл жизни потерял, а я, дура, тоже этому значения не придавала: у него карьера сломана, он просто пар выпускает. Заливает несправедливость. Я думала, что все образуется, нужно просто время прийти в себя, а потом… А потом становилось только хуже. Скандалы пошли, крики, мат. Сколько выпить и где, — он уже решал сам. На своем огороде — только за магарыч. Я говорю: посмотри, кто твои друзья? Они же только за твой счет пьют, а потом еще и вещи из дома тащат. Книги редкие ушли, инструменты. И утихомирить его нельзя, он же бывший боксер. Бил без разговоров. Протрезвеет — прощения просит. А через три дня — опять.

— Он же лечился?

— Два раза лежал. Потом по методу Довженко кодировался, добровольно. В последний раз полгода не пил. Я уж было думала, что наладилось все, хотя и злой он стал, как собака. Раздражался на любую мелочь. Но я думала, что это пройдет. А потом какой-то доктор-собутыльник объяснил ему, как развязаться. Ты, говорит, по чайной ложечке пей, сегодня одну, завтра — две. Мне подруги столько раз говорили: разведись, так

хоть алименты будут. А то — ни жизни, ни помощи. Но развод — это просто формальность была, семьи-то уже давно не было…

Мать вздохнула, убрала с лица волосы.

— Я, конечно, тоже виновата. Прозевала момент, когда нужно было коней придержать, но мне ссор не хотелось. Думала, что в будущем все оно как-то само собой рассосется, устаканится. Увы. Если что-то и менять в жизни, то вот прям сейчас, а не завтра. Если на завтра перенесешь, то ничего не выйдет. Моргнуть не успеешь, а годы пролетели. Сейчас смотришь назад, и понимаешь, что жизнь таких ошибок не прощает.

Она замолчала. Том поставил чашку, бессмысленно глядя перед собой.

— А потом?

— А потом, чтобы не делить имущество, собрали деньги. Дедушка помог, вошел в положение. Кое-что продали, влезли в долги, и купили ему однушку в соседнем дворе. Успели, пока все не рухнуло. Хотя я потом, после работы, еще несколько лет полы мыла, чтобы с долгами рассчитаться.

— Ты мне это не рассказывала.

— Так и разошлись. Еще были какие-то надежды, до того случая с юристом, как его там…

— Галушко.

— Ты его фамилию помнишь?

— Да уж, такое не забывается.

— Ладно, заговорилась я, — мать вздохнула. — На дачу нужно ехать, поливать, а то воду после десяти отключат. Ты как выздоровеешь, — нужно работу искать.

— Та знаю я, — он посмотрел на свои руки. — На железку в путейцы я точно не вернусь. Надо было сразу после школы не в ПТУ, а в институт, на иняз.

— Если ты в институт надумал, то документы нужно с начала лета подавать, и ко вступительным готовиться. Ты не тяни. А куда хочешь?

Он пожал плечами.

— Ладно, отдыхай, — мать тревожно посмотрела на него, поднялась, машинально поправила волосы. — Поехала я.

— Я тебя провожу.

Они вышли на улицу.

— Ну привет. Выздоравливай!

— Пока, мам.

Он махнул ей рукой, и долго смотрел вслед. На него вдруг нахлынуло непривычное чувство отчужденности.

«Кто эта женщина? За что она меня любит? Чем

она мне обязана?»

Он будто впервые увидел ее, — такую знакомую и в то же время бесконечно далекую, *постороннюю* его внутреннего мира.

«Эта женщина — мать. Мать — это такой человек, который тебя родил и с тех пор зачем-то заботится о тебе. Она пришла тебя проведать. Ты живешь в специальном доме. Люди вокруг дают тебе таблетки, чтобы ты стал такой, как раньше. Зачем? Наверное, потому, что раньше ты был лучше».

— Да, крепко башку отшибли, — усмехнулся он сам себе, медленно выходя из оцепенения. Встряхнулся и побрел в угол больничного парка к уже полюбившейся скамейке. Сел, вытащил из кармана припасенный с обеда хлеб, покрошил голубям.

— Би-иббиибиб! — раздался за спиной громкий звук автомобильного сигнала. Птицы пугливо вспорхнули, и тут же поспешили к скамейке.

— Что на пенсии! — Том тоскливо глянул через плечо, туда, где за прутьями высокой кованой ограды спешили по каким-то своим делам прохожие, неслись куда-то машины. Ему вдруг отчаянно захотелось перемахнуть через забор и раствориться в городской суете, — да хоть бы

и так, в белых кальсонах с мелкими зелеными пятнами «Минздрав» и нелепых домашних тапочках.

— Больной! Идите уже в отделение, ужин! — строгая медсестра из окна призывно махнула ему рукой.

В столовой висел тяжелый жирный запах казенной еды. Казалось, его источали даже сами стены. Места у окна с видом во двор, как всегда, были заняты. Он подсел у коридора к какому-то новенькому больному, морщинистому деду с перебинтованной головой.

— Хорошо кормят, — довольно чавкая, проговорил тот. — Я во второй лежал. Там суп — одна вода и морковка. А тут еще и добавки можно попросить. А салатик! Прям как с огорода!

— Ага! — Том машинально кивнул, глянул себе в тарелку, и вдруг провалился в яркое воспоминание. Прошлый сентябрь, по-летнему теплый вечер. Только зашло солнце, и вечерняя прохлада уже разливалась по окрестностям. В зарослях вишни заливалась соловьем варакушка, где-то чуть подальше, в болотце, утробно квакала жаба. Он только вернулся с репетиции, мама стояла у плиты и жарила картошку.

— К вам можно? — с порога сказал он.

— О, какие люди! — мама обрадованно обняла его. — Привет, Егор. Ну, как дела?

— Нормально отыграли, у нас уже почти часовая программа. Только Монгол, как всегда, тупил на барабанах. Половину репетиции одну песню гоняли, а толку нет. Скоро сейшн в ДК, а он лажает на ровном месте.

— Сейшн — это концерт?

— Ага, когда команд много.

— Может ему подучиться где-то?

— Где он у нас подучится? Есть, конечно, Лебедь, — это лучший ударник города, но он себе конкурентов плодить не хочет. Так Монгол у Дрима видак взял, с кассетами разных групп. Смотрит, как они работают, а потом по кастрюлям повторяет. Но толку пока мало. Если не считать того, что у соседей снизу люстра упала.

— Бедные соседи.

— Ага. Я поначалу думал, что он наврал. Он вообще мастер по ушам ездить. Но потом я этого соседа у Монгола на дне рождения видел. Вдребезги, — говорит, — чуть кошку не зашибло. Рассказывает, а сам радостный такой.

— Монгол… Его же Саша зовут? Он так на вас не похож.

— Не, он нормальный. Гоноватый чуток, но не

сильно.

— Есть в беседке будем?

— Ну да, как всегда. Еще же тепло.

— Укропа нарежь.

В увитой виноградом беседке они расставили нехитрую дачную посуду, и Том с жадностью набросился на еду.

— Ешь, еще добавка… — сказала мать. Ее руки, жившие будто отдельно от тела, суетились среди тарелок с едой.

— А ты чего не садишься?

— Я?.. Бери хлеб. Салату? — она задела рукой солонку, и та покатилась по столу, оставляя за собой тропинку крупной сероватой соли.

— Мам, с тобой все в порядке? — Том оторвался от еды. — Что-то ты какая-то…

— Нет, ничего. — Мать отвела глаза, сказав это чересчур поспешно, и он сразу отодвинул от себя тарелку.

— Так. А чего руки дрожат? А ну, выкладывай.

— Да так, глупость одна произошла. Не думаю, что оно тебе нужно. Как-то переживу, не волнуйся.

— Ну да. Спасибо, успокоила. Теперь я точно волноваться не буду. Что случилось-то?

— Пока ничего. — Мать снова замялась, сжала

край скатерти, нерешительно замолчала. — В общем, тут у папки нашего новый собутыльник появился. Галушко — фамилия. Юрист какой-то, что ли. И он предложил папке меня отравить.

— Отравить?

— Марья Афанасьевна слышала. Моя старая знакомая, еще по прошлой работе. Она сейчас на пенсии, подрабатывает вахтером в общежитии, а этот хмырь там живет. Так вот. Позавчера они зашли туда вдвоем. Пьяные в дым, ничего вокруг не видят. А этот и говорит: «Ты мышьяка ей подсыпь. Его чуть-чуть нужно, на кончике ножа. У нее почки станут, и привет. Менты ничего не поймут, это я гарантирую, мышьяк на каждого поразному действует. А если спросят, — скажешь, что не знаешь. Или что мышей травила. Ребенок у тебя уже взрослый. Свою квартиру продашь, к нему переедешь, и жизнь у тебя сразу наладится». Папку нашего она сразу узнала, а потом ко мне на работу зашла, и все рассказала.

— Ты ему говорила?

— Сказала, конечно, что знаю. Что если что-то случится, то он сядет. Ключи у него от нашей квартиры забрала.

— А он — что?

— Ничего. То говорит, что ничего такого не

было, то не помнит.

— Ясно. — Том без интереса ковырял вилкой картошку. Есть уже не хотелось.

— Как думаешь, решился бы?

— Не знаю. Может, и нет. Все-таки столько лет вместе прожили. Хотя… Ты только не переживай сильно. Просто на всякий случай, — знай.

Мать старалась говорить легко, но выходило как-то излишне звонко, и от этого становилось чуточку страшно. Он почувствовал, как откуда-то из живота, обжигая кровью сердце, тяжелым горячим клубком поднимается в нем черная страшная ненависть.

— Ничего себе, — он взял вилку, снова положил ее, стараясь говорить ровно, невозмутимо. — А где эта общага?

— Девятиэтажка у завода. Серая такая, углом стоит.

— Ты выясни у этой вахтерши, в каком номере этот урод живет, ладно? В гости хочу зайти.

— А хуже не будет?

— А что может быть хуже? — отозвался он.

— Он же юрист… Мало ли.

— Я просто зайду, поговорю… Нет, хуже не будет, это точно. Зато если он получит, то будет думать, что отец проболтался. Тут и дружбе конец.

— Ты только папку не трогай, ладно?

— Ты сегодня домой или здесь останешься?

— Поеду, — сказала мама.

— Созвонись с этой вахтершей, прям сегодня.

— Хорошо. Вот, попробуй, я компот приготовила…

— …А компот! Какой тут компот! — сосед по столику будто услышал его мысли. — Пойду, за добавкой схожу!

— Вот унесло, — Том, провожая соседа взглядом, с шумом выдохнул воздух. — Таблетки у них такие, что ли? Или мозги шалят?

* * *

Дни в больнице тянулись медленно, словно резиновые. Том бесцельно слонялся по длинным коридорам корпуса, бродил по больничному скверу, ища, чем себя занять. Иногда ему удавалось помочь санитарам, перекладывая на каталки прибывших на «скорых» больных. Однажды его попросили привезти еду из кухни, и он стал возить ее каждый день. Пищеблок располагался в отдельном здании, на противоположном конце больницы. Еду в эмалированных ведрах с номерами отделений возили на тачке по низкому, напоминающему длинное бомбоубежище,

подземному тоннелю, тускло освещенному пыльными лампочками, света которых хватало как раз на то, чтобы выйдя из одной тени, погрузиться в другую. Ему нравилось здесь представлять себя человеком, чудом выжившим после ядерной войны. Он везет еду таким же нескольким счастливчикам, которые ждут где-то там, за стенами со вздувшейся от сырости рыхлой штукатуркой, по которой плетутся толстые, покрытые паутиной кабели. Они, обреченные на жизнь кротов, никогда не выйдут на поверхность. Разве что в старости, чтобы напоследок насладиться солнечным светом.

Но вот тоннель заканчивался не мрачным бомбоубежищем, а лифтом, где еду поднимали на нужный этаж и развозили по отделениям. Жестяной грохот тачки оповещал весь корпус, что наступило время приема пищи.

Однажды, когда он втолкнул тачку в лифт, вместе с ним вошла симпатичная медсестра.

— Девушка, только сегодня и только для вас бесплатное такси, — бодро отчеканил Том. — Садитесь, подвезу. Машина не совсем современная, но еще вполне ничего.

Девушка отвернулась.

— Адресок черкните, я вечером подъеду.

— Больной, идите к себе в палату, — девушка стремилась выглядеть как можно строже и старше.

— Не могу, я при исполнении. — Том вышел из лифта и прислушался. Лифт остановился этажом выше, в отделении терапии.

«Только на смену заступила. Зайду в гости вечерком», — подумал он.

После обеда Том стоял в своей пустой палате у открытого окна и курил украдкой в кулак, сбивая пепел в мерный пластмассовый стаканчик.

— Здарова!

Он непроизвольно дернулся.

В распахнутой двери, широко улыбаясь, стоял в белом халате его друг Серый. В руках он держал большой пакет.

— Апельсинов, извини, нету. Зато я тебе гороха принес, прям с колхозного поля. Тем более что, как я вижу, ты тут радикально один, поэтому никому не повредишь! — захохотал он.

— Спасибо, Серый! Как дела вообще? Чего нового?

Серый сел на кровать напротив, вздохнул.

— Дела так себе. Ваньку убили.

Том похолодел.

— Кого? — он хотел ослышаться, хотел изо

всех сил.

— Ваньку. Трампель убил.

Том отчетливо вспомнил солнечный мартовский день. Уже совсем жарко, он стоит на остановке, распахнув куртку и щурясь от солнца. Мимо проезжают машины, неспешно трясутся автобусы. Вот на тяжелом мотоцикле с коляской, важно восседая на треугольном седле, тарахтит пожилой дед. Вдруг сзади, из-за поворота, на своей желтой «Чизете» вылетает Ванька. Прямо напротив остановки ставит ее на заднее колесо, с дымом и ревом обгоняя деда. А потом, обернувшись и весело подгазовывая, кивает тому: давай, мол, — слабо?

— …Где убили? Как?

— Таньку помнишь, его сестру? Она же замуж за Трампеля вышла, и стала моей соседкой. А она сейчас беременная. Ну вот, Иван пришел к ним домой, вызвал Таньку из квартиры, и прямо на лестничной клетке «черным» втрескал. Она домой зашла, а Трампель ее зрачки увидел и сразу все понял. Выскочил с ножом на лестницу, а Ванька еще там был. Ну, он Ваньку и… Одним ударом, короче. В сердце.

Серый перевел дух, помолчал.

— Мать моя на крик вышла, смотрит: Ванька

на ступеньках лежит, а над ним Трепель орет: «Танька, „скорую“ вызывай, я твоего брата убил». А сам дырку пальцем затыкает. Маленькую такую. А из нее кровь толчками хлюпает.

— Похороны были?

— Да, вчера. Я гроб нес. Я не знал, что ты в больнице, тебе позвонил, а мать сказала, что ты тут. На городском похоронили.

— Мы с тобой уже как похоронная команда, — вздохнул Том. — Столько народу закопали.

— Радикально. Давай помянем, что ли. — Серый достал из пакета бутылку. — Тебе можно?

— За хорошего человека всегда можно. — Том извлек из тумбочки эмалированную кружку и фарфоровую чашку.

— Ну, поехали.

Закусили. Помолчали.

— Ты-то как сам?

— Да видишь, мне больше повезло. Поперся, придурок, с Монголом на Стекляшку. Как чувствовал, что так и будет. Ну и получил свое. А главное, понимаешь, чудом оттуда вылез. И знаешь, кто меня вытащил? Зима! Помнишь такого? Он за твоим домом живет, собака большая у него.

— Знаю, — поморщился Серый. — Неприятный тип.

— Вот-вот. Этот неприятный тип спас мне жизнь. Я вот теперь думаю, что если б тогда ночью еще разок нарвался, сразу бы за Ванькой и отправился.

— Тут, главное, есть чем думать! — усмехнулся Серый.

— Прикинь, я вообще ничего не соображал, — продолжал Том, — все как во сне. Смотрю, а тут Зима приснился.

— Мутный он, радикально, — сказал Серый.

— Ага. Мы когда-то с пацанами в лесу гнездо построили, на дереве. Здоровое такое, двухэтажное, человек на пять. И вот пошли туда втроем, а с нами Зима увязался. Приходим на место, а из нашего гнезда кто-то борзо так: валите отсюда, а то щас спустимся и всех порвем. Снизу не видно, кто там и сколько их: гнездо высоко. Но это же наше гнездо! Ну мы давай себе дубины подыскивать, чтобы демонов изгонять. А Зима возьми и ляпни: «Все, поняли, уходим!» Тут из гнезда хохот. Оказывается, там наш Костыль сидел, с Лимоном. Горло зажал, чтобы голос не узнали, и хрипел. Зима потом оправдывался: со мной, говорит, собаки не было. Ну, все ржали, конечно. Мол, без собаки-телохранителя тебе, Зима, никак на белом свете жить нельзя. Такая история.

— Смешно.

— Теперь он на Стекляшке тренируется. Хочет сильным стать, чтобы без собаки по улице смело ходить. А я теперь ему вроде как жизнью обязан.

— Ангел-хранитель это, — уверенно сказал Серый.

— Кто? Зима? — не понял Том.

— Не. Просто спас тебя Ангел-хранитель.

— Бабкины сказки. Я в Бога не верю, и вообще не крещеный. Откуда он у меня возьмется?

— А, ну раз некрещеный, тогда конечно, — Серый кивнул. — Тогда просто повезло. Ваньке вот не повезло, хотя он крещеный был. А тебе повезло.

— Ладно, давай помянем.

— Давай…

— Что еще нового?

— Что еще?.. А, вспомнил. Тебе смеяться можно? Тогда слушай. — Серый захрустел гороховым стручком: — Я в мае внешкором в «Слобожанке» подрабатывал, и решил у них там заметку тиснуть, из «Нового Нестора». Ты помнишь, это анархисты питерские, я у Лелика когда-то этого «Нестора» целую пачку взял. Статья называлась «Методы борьбы с контролерами». Там было как уклониться от уплаты штрафа за безбилетный

проезд, и все такое. Короче, напечатали. И статья оказалась такой популярной, что тираж влет ушел.

— Ого!

— Главред так обалдел, что мне даже премию выписал, радикально, — продолжал Серый. — Но вскоре, как говорят, пришла беда откуда не ждали. Троллейбусный парк на газету подал в суд, и на прошлой неделе они дело выиграли. Претензии были к пунктам, где призывалось ломать компостеры и печатать поддельные талоны. Там такая сумма, что и говорить страшно. Короче, влетела «Слобожанка» моя на пару тиражей.

— А ты что?

— А что я? Я хоть и внешкором был, но сразу уволился от греха подальше. — Серый вздохнул. — Эх, хорошая работа была. Вот так и пиши правду-матку. Теперь опять без работы.

— Я тоже с железки уволился, — Том покрутил в руках кружку. — У меня напарник на техстанции был, Володька. Тоже аккумуляторщик. Клевый пацан такой, веселый. Все про Ницше любил поговорить. А потом у него что-то там с женой не заладилось, и он жахнул по пьянке стакан электролита. Еле откачали. Молодой же совсем, а теперь инвалид на всю жизнь. А я один остался, и

всю работу на меня повесили. Короче, поработал я пару месяцев, и скучно стало.

— Радикально, — вздохнул Серый. — Ты, кстати, не слышал, — сейчас многие в Германию едут, на пэ-эм-жэ.

— Не слышал.

— Если есть немецкие корни, то приходишь в посольство, и тебя сразу там оформляют. А в Германии — и работа и жилье бесплатное. Страховка, курсы языка — все за счет государства.

— У меня нет немецких корней.

— И у меня нет. Но это не важно. Нужно просто фамилию в паспорте сменить, и сказать, что ты откуда-то из Поволжья. Кто у них там проверять будет. Мне вот фамилия Шварц нравится.

— Лучше Штирлиц.

— Не. Штирлиц — слишком радикально. Лучше уж Шелленберг.

В коридоре послышались шаги.

— Чашку прячь, — шепнул Том.

Дверь открылась, в нее заглянула медсестра.

— Молодой человек, на выход. В отделении тихий час.

Дверь закрылась. Серый еще раз посмотрел на кружку.

— Ладно, пошел я. Бутылку оставить?

— Забирай. Мне тут даже выпить не с кем, а тебе пригодится. Помянешь еще.

— Ну, бувай! — Серый попрощался и ушел.

Ужин кончился, а Том все сидел на кровати и думал о Ваньке.

Он один такой был на районе, а может, и в городе. Яркий, переполненный жизнью раздолбай, умевший развеселить людей, открытый и добрый с друзьями. И — настоящий жесткий боец в момент опасности, умеющий держать удар.

С Ванькой всегда было одновременно и страшно, и интересно. Он лез в каждую дыру, умело находя на свою и чужие задницы приключения. Однажды он приволок откуда-то обрез с патронами и кучу всяких сопутствующих приправ. А потом теплыми летними вечерами они ходили по району бандой, обвешанные, как красноармейцы, крест-накрест пустыми, в обшарпанной черной краске, пулеметными лентами, и расстреливали уличные фонари. Ни Том, ни Монгол, сколько ни стреляли, — не попали ни разу. А Ванька шмалял феноменально, вырубая девять фонарей из десяти. С громким хлопком они весело разлетались в мелкую стеклянную пыль, через мгновение перегорала дымящаяся вольфрамовая спираль. Иногда они постреливали по окнам

общаги и ближайшего завода. Конечно, вскоре этим заинтересовалась милиция. Ваньку никто не сдал, а сам он спрятал свой обрез на крыше одной из девятиэтажек, спустив его на веревке в вентиляционную шахту. И никому не сказал, где. Там, очевидно, он и висит до сих пор.

Ванька жил ярко, будто за троих. Если бы можно было придумать девиз всей его жизни, то это наверное был бы «В каждой мышеловке — бесплатный сыр». По природе своей неугомонный экспериментатор, он первый стал интересоваться химией. Поначалу Ванька потрошил аптечки знакомых в поисках эфедрина или опиатов, а то и просто транквилизаторов. Один за другим его друзья проникались азартом запретных плодов. «Когда родители будут дома? Давай, мы сварим у тебя „черный“! Мы быстро, у нас все с собой. Хочешь вмазаться, — не вопрос». Задумывался Ванька лишь по одному поводу: человек, первым «проставивший» ни разу не коловшегося, берет на себя особый грех. Впрочем, это его не сильно останавливало. Его вообще никогда всерьез ничего не печалило. Его мало заботила чужая жизнь, его никогда не пугала собственная смерть. Он ушел легко, с насмешкой. И не один он. Кот, Покос, Батон, Зюзя, Диныч — друзья Тома уходили

из жизни один за одним. Каждый из них был ему близким, почти родным, но самое странное было в том, что все уже привыкли к этим смертям, подспудно ожидая в потоке тревожных новостей очередной обжигающе-близкой трагедии. Будто каждый день кто-то большой и властный крутил невидимый барабан револьвера с одним патроном: сегодня ты, завтра я. Эта странная привычка к смерти притупила боль, стала по-военному странно и страшно привычной. Сами друзья покидали этот мир, будто выходили из комнаты — легко, громко хлопая дверью. Выходили просто и весело, словно шутя, будто их душам было тесно, скучно среди серьезных людей и взрослых обязательных ритуалов. Что бы он сказал каждому, если бы знал, что тот завтра умрет? Наверное, что-то очень важное. Весомое. Без шуток, смеха, без банальностей. Но что? Том не знал.

К вечеру он вышел на улицу и нарвал на клумбе у отделения букет ромашек. Поднялся в отделение терапии и, пройдя длинным темным коридором, тихо подошел к посту. Молоденькая медсестра при свете настольной лампы читала книгу.

Это была не та симпатичная девушка, которую Том видел в лифте. Но ему было скучно.

Держа букет за спиной, он вышел из темноты.

— Сестра, мне плохо.

Девушка оторвала глаза от книги.

— Что случилось?

— У меня болит сердце. — Том театрально схватился за грудь.

— Из какой вы палаты?

— Из самой печальной, Оля. — Он успел прочитать на халате ее имя.

— Вы не из нашего отделения, — ее глаза привыкли к сумеркам. — Идите к себе.

— У нас мне никто не может помочь. Никто не может вылечить мое сердце, ведь его боль проходит только при виде красивой девушки.

— Молодой человек, хватит кривляться! Идите к себе на этаж, — повторила она уже менее настойчиво и даже немного жалобно. — Иначе я позову завотделением.

— Завотделением уже дома, спит. — Широким жестом Том достал из-за спины ромашки и положил их на стол, будто побивая козырным тузом все мелкие карты ненужных слов.

— Ой, ну зачем? — едва скрывая улыбку, Оля как-то устало и обреченно вздохнула.

— Дай мне какую-то банку, я воды наберу, — чувствуя, что цветы произвели впечатление, он небрежно перешел на «ты».

— Ну ладно. В виде исключения, — деловито сказала девушка, и принесла из манипуляционной высокую стеклянную колбу. — Что-то хотели? — она говорила на «вы».

— Я так, поболтать просто. На этаже одни бабушки, а я в палате вообще один остался. Хоть вой.

— Ну ладно, — потеплела медсестра. — Только недолго.

Микшер

Стоял душный безветренный вечер. Пыльная незнакомая улица городской окраины будто вымерла от зноя. Щурясь от солнца, они шагали с Монголом среди утопающих в зелени однообразных кирпичных домиков, всматриваясь в номера домов.

— Тебе с такими хайрами не жарко? — Монгол смахнул с носа каплю пота, с тоской поглядел на давно пересохшее бледно-голубое небо. На нем не было ни облачка.

— Это вместо шапки, — ухмыльнулся Том. — Чтобы голову не напекло.

— А она ничего? — снова спросил Монгол.

— Оля? Не в моем вкусе.

— Это хорошо. Вкус у тебя дурной, значит мне понравится, — одобрительно хохотнул Монгол. — Может, ее на дачу к тебе пригласим?

— Попробуй.

— Я так и не понял, где ты ее нашел?

— В больнице познакомился. Я ж в нейрохирургии две недели провалялся, с конкуссией.

— Это шо такое?

— Сотрясение головного мозга. После похода

нашего на Стекляшку.

— А, точно. Мне кто-то рассказывал.

— А чего в гости не зашел?

— Не получалось у меня, — Монгол замялся. — Вначале трубу прорвало… Два дня сантехника ждали. Потом матери помогал, с закрутками… Чайник-то варит?

— Болит иногда. И сверчки в голове звенят. А еще сны снятся такие… Яркие.

— Мы когда со Стекляшки вернулись, то думали, что ты куда-то влево взял, огородами, — сказал Монгол.

— Слева отрезали уже. Я через поле бежал.

— Надо было нам за тобой вернуться.

— А смысл? Люлей мало не бывает. И вы огребли бы. Ты видел, сколько их за нами бежало?

— Видел, — уважительно произнес Монгол. — Ты извини, что я в лазарет не зашел.

— Ладно, забыли. У нас на этаже молодых не было. Ни больных, ни медсестер. Скучно. Ну я как-то вечером цветов нарвал и в терапию на пост подкатил. Про музыку поболтали, про всякое. Так и познакомились. Я, конечно, сказал, что «Ништяки» — лучшая группа в городе.

— Красавец! Это правильно, — усмехнулся Монгол. — Не «Генератор» же какой-то.

Оба засмеялись. «Генератор» была самая старая и профессиональная группа в городе.

— Она вообще в музыке не рубит, — сказал Том. — Приехала откуда-то, здесь жилье снимает.

— Про меня рассказывал?

— Ага. Сказал, что ты лучший барабанщик города, — засмеялся Том. — И сам Лебедь из «Генератора» тебе в подметки не годится.

— А в дыню? — беззлобно сказал Монгол. В словах Тома звучала неприкрытая ирония.

— Сань, Лебедь тоже не с неба упал. Учился человек как мог, а не по сборам шлялся.

— Лебедь у самого Обломиста учился, в Харькове, — с завистью протянул Монгол. — А мне у кого? Я уже все кассеты пересмотрел. Но там быстро все. И качество…

— Не в этом дело. Что я про тебя ей скажу? Что ты стучишь так себе?

— А просто сказать, что у нас в группе классный ударник, нельзя?

— Я врать не люблю. Я ж панк.

— И ради друга? Черствый ты человек, Том… Мы не прошли?

— Нет. У нас Тихая, 10.

— Ладно, проехали. А что там за микшер?

— Я сам толком не понял. Оля сказала, что у нее дома «штука такая с крутилками» валяется, от прошлых жильцов. «Электроника». Тяжелая, говорит. По описанию — точно микшер, каналов на пятнадцать.

— А если сломан?

— Посмотрим. Отвезем ко мне на дачу, там покрутим. Если работает, я его оттуда в студию заберу: от меня автобус без пересадок. А если нет — разберу, поковыряюсь. Если увижу, чего отвалилось — припаяю. Или к соседу отнесу. Он за бутылку что угодно сделает.

— Кстати, о даче. У меня для тебя сюрприз есть. — Монгол загадочно хлопнул себя по боку.

— А что за сюрприз?

— Увидишь. С тебя ножовка по металлу, консервная банка и свинец. Ну, может еще напильник пригодится.

— Банку найду, инструменты тоже. Со свинцом сложнее. Олово пойдет? У меня его полно, с работы осталось.

— Пойдет, — Монгол понизил голос. — Пули лить будем.

— Ого! — обрадовался Том. — А ну колись, что задумал?!

— Вроде пришли? — вместо ответа Монгол

кивнул на синие ворота с цифрой «10».

Калитка была закрыта. Том взялся за кольцо, постучал. За воротами звякнула цепь, заливисто зашлась в лае мелкая собачонка. На стук никто не открывал.

— Часы есть? — спросил Том.

— Нету.

— Наверное, раньше пришли. — Том сел на скамейку у дома.

— Пошли во-он там посидим. Не люблю палиться, к кому пришел, — Монгол ткнул пальцем в конец улицы. — Район стремный, волчарня.

Они развалились под развесистой яблоней. Здесь было чуточку прохладнее. Собака умолкла.

— Хорошо в деревне летом, — Том смахнул с бровей пот, лениво разглядывая длинную пустую улицу.

Хотелось стать земноводным, забраться по шею в речку и больше никогда из нее не вылазить.

— Ага. Селюки, — Монгол сорвал у себя над головой зеленое яблоко.

— Кстати, здесь за углом пивнуха «Ромашка».

— Бывал там?

— Как же. Бывал, с эскортом, — усмехнулся Том. — Помнишь, я тебе про меч рассказывал?

— Не-а.

— Как-то раз нашли мы стальные обрезки. Длинные такие, в форме сабель, толщина — пятерка. Выбрали поинтереснее, и на литейку пошли. Нашли там железную бочку, вышибли дно, разожгли в ней огонь, и на рельсах ковали. Целую неделю ходили. Расковывали с одной стороны, и получался двуручный палаш. Я тогда на сборы в первый раз пришел, и его хотел взять. А ты меня еще сказочником назвал.

— Не помню. Может, — сплюнул Монгол. — И что?

— Они уже почти готовые были, в последний раз можно было и не ходить. Но мы ж не знали. А там дорога между двух заборов с колючкой, сбежать некуда. Назад идем, вдруг бац! — рядом «буханка» останавливается. Вылазят менты: «Стоять, что в сумках?» Ну, и добро пожаловать в кабриолет. Мент говорит: «Вы на сборы, наверное, собрались?» А Серый ему: «Не, что вы, мы люди приличные. Мы на сборы не бегаем. Это чтобы дрова рубить и колбасу резать». Менты поржали, конечно, и повезли нас куда-то. А темно уже. Катали-катали по городу, и к «Ромашке» привезли. Сами в пивбар, нас в машине оставили. Тут водила и говорит: «У меня сын такой же дебил, как вы. Валите отсюда, а я скажу, что вы

сбежали». Ну, мы и свалили.

— Мечи жалко, — вздохнул Монгол.

— Ага. И молотки, гады, забрали. Но это не все. Через месяц в «Слобожанской правде» статья была про городские молодежные группировки. Сама статья — бред идиота: слухи, сплетни, цитаты с заборов. Вверху статьи — фото каких-то западных панков с полуметровыми ирокезами. А посередине — мент с моим мечом, и подпись: «Вот с этим молодежь ходит на так называемые сборы».

— Во дебилы! — захохотал Монгол.

— Слушай, нет ее. — Том еще раз достал записку, посмотрел адрес. — Может, раньше пришли?

— Может, не услышала?

Том сходил еще раз, постучал, для верности кинул в окошко камушком. Ответа не было. Он вернулся назад.

— Нет никого.

— Ну, нет — так нет. Посидим еще. Мы же не спешим?

— Не спешим.

Минут через пять по дороге проехал мопед, на котором важно восседали два пацана. Том и Монгол проводили их взглядом.

— «Верховина», — важно проговорил Монгол,

сделал пальцы «козой» и прыснул.

— Ага. Местные рокеры.

Метрах в десяти мопед закашлялся и заглох. Тот, что сидел спереди, смуглый крепкий пацан, отчаянно подгазовывая, дергал намотанный на руку трос сцепления, но двигатель не заводился. Второй, поменьше, немного постояв рядом, вдруг резко повернулся и пошел к ним. Одетый в дырявые кеды и большой грязный пиджак, шкет был явно цыганской крови. Остановившись за несколько метров от скамейки, он деловито цыкнул сквозь зубы.

— Вы до кого?

— Ждем, — меланхолично ответил Монгол, не поворачивая головы.

— Кого ждете?

— Не тебя.

— Это моя скамейка.

— На ней не написано, что твоя.

— Я сейчас брата позову.

— Зови, — все так же безучастно сказал Монгол.

Пацан развернулся и быстро зашагал к мопеду.

— Самое место для разборок, — тихо сказал Том.

— Ты молчи, я разрулю.

Через минуту цыганенок вернулся с братом.

— Ты откуда такой борзый? — сходу сказал тот Монголу, вытирая тряпкой крепкие руки.

— Мы из Конотопа, — сказал Монгол, не спеша доставая из кармана сигареты. — Нам тут звенели, что у вас на районе бойцы сильные. Нам нужно человек десять.

— Зачем?

— Одним лохам конотопским пистон вставить. Курить будешь? — Монгол протянул цыгану сигарету.

— На тырды![1] — сказал брату меньший, но тот дернул плечом, подошел, взял. Шкет остался сзади, все так же недоверчиво разглядывая чужаков.

— Цена?

— Ящик водки.

— Сколько их?

— Пятеро.

— Ехать далеко? — цыган был делано скучен, но в воздухе уже повисли первые нотки той объединяющей атмосферы, когда союзники планируют общий удар по врагу.

— Сто кэмэ. Своим ходом. У вас же тут автовок-

---

[1] Примечания: 1

Не кури! (*цыган.*).

зал рядом.

— Я с пацанами поговорю. А ждете кого?

— Та чувачка одного ждем, да что-то не видно его, — Монгол встал, похрустывая суставами пальцев, вышел на середину дороги, присел, посмотрел вдаль. — Кинул нас, наверно. Лана, пацаны. Пойдем мы в «Ромашку», посидим. Так что, с пацанами поможете?

— Когда нужно?

— На неделе. Я телефон тебе оставлю. Бумага есть?

— А вон, на земле напиши.

Монгол взял палку, написал в черной мягкой земле у яблони несколько цифр.

— Кешу спроси. Лана, бувайте, пацаны.

И они, не поворачиваясь, пошли к «Ромашке».

В «Ромашке»

— И зачем это шапито? — спросил Том, когда они зашли за угол.

— Мы на чужой территории, — Монгол говорил тихо, сквозь зубы. — Если и дальше тупо светить таблом по окрестностям, то через полчаса к нам подкатили бы не двое, а человек пять-семь. Стали бы выяснять, кто мы и откуда. Сам понимаешь, с пятью базар совсем другой. И по ушам ездить труднее, и в лицо кто-то может узнать, что пятерские. А теперь эти двое вроде бы как с нами заодно. И про нас кому попало болтать не станут, чтобы водярой не делиться, и мы им ничего не должны. Кругом хорошо.

— А что за номер написал?

— Так, общаги одной. Пусть звонят.

— А кто такой Кеша?

— А я знаю? — захохотал Монгол.

— Ну, ты мастер баки забивать. Я как твою телегу на Стекляшке вспоминаю, до сих пор смешно, — засмеялся Том.

— Про Машу?.. Ладно, харош болтать. Ты хайры-то свои прибери. «Ромашка» — самое оно, для музыкантов. Роялю не хватает.

Отбросив висящие в дверях полиэтиленовые полоски, они вошли внутрь пивбара.

Здесь было не прохладнее, чем на улице. За прилавком, подперев рукой голову, безучастно громоздилась бронзоволосая продавщица с объемной, как тумба, кормой.

— У вас квас есть? — неожиданно спросил Монгол.

— Квасу нету.

— Ладно, давайте пиво. Два. — Монгол тяжело вздохнул, протянул деньги.

Они сели за пластиковым столиком у самой двери. Здесь чуть сквозило, и оттого было прохладнее.

— Эх… — Монгол снова вздохнул, тупо уставился в недра своей кружки.

— Что вздыхаешь?

— Та мне пива нельзя.

— Что, здоровье не позволяет? — усмехнулся Том.

— Та не… Была одна история, — Монгол опустил глаза. — Как-нибудь расскажу.

— Главное не нарезаться. А то еще микшер не дотащим. — Том отхлебнул пива, глянул по сторонам.

Это был один из самых старых пивбаров города,

который после перестройки стал гордо называться «кафе». Здесь по-прежнему было просто и по-сельски душевно: смена имени никак не повлияла ни на публику, ни на внутреннее убранство заведения. Все те же покрытые облезлым кафелем стены, аляповатый алюминиевый декор за витриной, замызганная каменная стойка и тяжелые потолочные вентиляторы. Сменились только столы: вместо круглых и высоких, за которыми можно было лишь стоять, появились пластиковые квадратные столики с орнаментом из листьев.

Том лениво глазел в окно, где под цветущим кустом жасмина вылизывался большой черный кот. Закончив умывание, он вскоре показался на крыльце, подошел к их столику, потерся о ножку и тут же лениво развалился на проходе.

— О, Васька наш пришел! Где тебя собаки носили? — скучающе проговорила продавщица.

Народу было немного. По соседству с ними сидели два пожилых приятеля. Один, с всклокоченными черными волосами, уже не мог поднять голову, и, подперев ее руками, пускал пузыри. По его лицу ползала муха. Второй, совсем седой старик, тепло смотрел на потухающего друга, и, посыпая солью слюнявый край кружки, молча

прихлебывал мутное пиво.

Чуть дальше, в глубине кафе, пила водку шумная компания. Время от времени те, нехорошо поглядывая в их сторону, выкрикивали что-то вызывающе. Было очевидно, что от них не укрылся спрятанный Томом под футболку хвост волос: придя в такое место, по всем понятиям он явно нарывался.

— Говорят, во Львове в кафе обычные люди ходят, — Том откинулся на спинку стула. — Учителя, там, бухгалтеры. Студенты.

— Да ладно?! — недоверчиво хмыкнул Монгол.

— Серьезно. И не только во Львове. В Харькове тоже. Люди с семьями даже ходят, поесть чисто. Не боятся.

— Да ладно?! — повторил Монгол.

— Лелик рассказывал.

— Страх потеряли?

— Не. Просто это нормально у них. Принято так. Культура.

— Культура — это понятно. Но откуда у нормальных людей деньги?

— Ну это ж Харьков! Барабашка — самый большой рынок в мире. Люди крутятся, — веско вставил Том, и вдруг добавил:

— Надо же, с таким гадюшником рядом жить.

— А она тебе правда не нравится? — снова спросил Монгол.

— Я ж говорю, не в моем вкусе. Как по радио в передаче «Познакомлюсь» девки говорят: «Кажуть — сымпатычна».

— Ладно, давай еще по пиву, — Монгол снова недоверчиво глянул на приятеля, почесал челюсть.

— Давай.

Пиво отдавало мылом.

— Ты это. Извини, что так вышло. Это вроде как я виноват, что тебя тогда с нами после репетиции позвал. Просто мало нас было.

— Да ладно. Меня ж никто не тянул, — пожал плечами Том.

— Тебе вообще крупно свезло. Я не врублюсь, как они тебя там такой толпой не затоптали.

— Я драки не помню. Меня окружили, и сразу по затылку вырубили. Даже синяков не было.

— Надо же. Бывает, что и волки лежачих не бьют, — удивился Монгол.

— Так! — серьезно сказал Том. — Ты обещал завязать со всей этой сборовской дуристикой. Барабаны свои учи. Если на концерте налажаешь, Дрим тебя выгонит.

— И что?

— Как что? И прощай, девки, слава и великое будущее.

— Я ж сказал, что все, — протянул Монгол. — Можешь считать, что я теперь панк.

Том засмеялся.

— Что смеешься? Не веришь?

— Панк — это ж серьезно.

— Я тоже серьезно. Ты меня в панки примешь?

— Да хоть сейчас. Вот тебе булавка. Клятвы, извини, нет. Можешь какую-то песню летовскую выучить, и петь ее утром, в качестве гимна.

— Супер, — Монгол взял булавку, пристегнул ее к воротнику футболки. — Мать говорит, что после любого посвящения все обязательно будет получаться. Энергетика, все дела. Так что я теперь точно барабанить научусь. Ты мне только растолкуй, что такое панк.

— Это так не объяснишь, — Том задумался. — Это типа образ жизни. Это когда тебя тошнит от внешнего мира, потому что весь мир — он фальшивый, лицемерный, продажный, и вообще дрянь. В нем все улыбаются, делая западло за спиной друг другу. Поэтому панки ни под кого не прогибаются и стоят за правду. Как пионеры. Только пионеров крышевала партия, а панки в душе анархисты, поэтому над ними никого

нет. Они презирают государство, потому что оно аппарат насилия и не имеет права качать права. Все должны быть свободны, и никто не властен ни над кем.

— Ясно, — Монгол скучающе посмотрел в окно. — А чем тогда панки от остального рока отличаются?

— Панк — это крайняя степень рока. Это такая предельная искренность, уже на максимуме. Как говорится, ручки вправо. Панк не может врать. А остальной рок — он все немного лакирует музыкой, поэтому смыслы притупляются лирикой. А когда смыслов совсем нет, — это уже попса. Понял?

— А вот еще вопрос. Панки вроде с ирокезами, а ты — волосатый. Почему?

— Потому что я не системный. Любая система ограничивает, порабощает. Не хочу в шаблон попадать.

— Ясно. Только при чем тут музыка?

— Тут не музыка главное, тут образ мысли. Музыка как бы потом появляется. Из философии.

— Понятно. Короче, как наши сборовские пацаны на районе, — заключил Монгол. — Своя музыка, свои понятия.

— Не, гопы — они и в Африке гопы.

— Тут ты не прав. Сборовские — они же все разные. Вон хотя бы Мосю взять. Еврейский интеллигент. Как он без скрипки в первый раз на сборы пришел, я не понимаю. Цоя на гитаре любую песню споет. А бегал года четыре. Он гопник? А Громозека — гопник? Технарь, помешанный на машинах. Или вон Пеле. Одна извилина, и та — за футбол. Лимон гопник? Нормальный же пацан, честный, и подляну никогда не устроит. Все же хорошие ребята, не уроды.

Монгол окинул взглядом пивбар.

— Хотя, конечно, там и уродов полно. Есть такие, что… Да их везде полно. Уроды с уродами дружат. Что, среди панков уродов меньше?

— Не знаю. Может, и меньше.

— Да ладно. Уродов везде хватает.

— Хватает, конечно. Но не везде они могут проявить свою уродскую суть. Рок — он же типа личность воспитывает, а тут… Стадо. Я хоть и не долго бегал, но… Согласись, вот когда ты в толпе бежишь, а вокруг тебя все с колами, — оно ж прет изнутри, от всевластия этого. Так ведь? В толпе быстро становишься уродом. Энергия такая, всех порвать. А главное, что это приятно, и никто вокруг не против.

— Есть малька, — согласился Монгол. — Но

этим лучше не увлекаться. Нужно по сторонам смотреть, а то затопчут.

— Наверное такой же кайф большевики испытывали, — продолжал Том. — Просто у них этот праздник не заканчивался вечером в ментовке. Прикинь: законов нет, ментов нет, и править другими тебе дает винтовка. У кого оружие, тот и прав, и никто ему не указ. Хорошо!

Монгол усмехнулся, поправил футболку, что-то хотел сказать, но замолчал, поднял глаза на стену. Прямо перед ним, за спиной у Тома висели большие, засиженные мухами, часы.

— На сколько ты договаривался?

— На пять.

— Уже шесть. Может, еще раз зайдем?

— Я бы давно свалил отсюда.

— Ну давай еще минут пять посидим, и двинем. Если ее нет, — в другой раз приедем.

— А если в другой раз опять на цыган нарвемся?

— Каких цыган? — Монгол уже забыл про недавнее приключение. — А, ты про тех? Что-нибудь придумаем. Скажем, звыняйте, ребята, сами гадов задавили.

— Ладно, пошли.

Том отодвинул кружку, и уже собрался вста-

вать из-за стола, но в этот момент к их столику вальяжной походкой подошел крепкий коротко-стриженый пацан из соседской компании. На его потемневшем, покрытом шрамами лице лежал отпечаток веселой и лихой жизни. Он был одет в большую турецкую куртку с оттопыренными накладными карманами, замызганные черные штаны и выдраенные до блеска черные туфли. Весь он был какой-то сизый, будто лет пять жил в подвале, и сильно озяб. Во всяком случае осенняя куртка не выглядела на нем странно. Не обращая внимания на Монгола, сидевшего к нему спиной, он навис над столом и, дохнув на Тома кислотой многодневного перегара, просипел:

— Часик в радость — чифир в сладость. А дайте в зубы, чтобы дым пошел.

Том достал сигареты, протянул одну.

— Благодарю, — пришелец засунул сигарету за ухо. — Есть чем раскумариться?

— Нет.

— Огорчаете меня. Слышь, а шо это у тебя волосы длинные? Ты что, попутал? Сюда, к нормальным пацанам, в таком виде?

Белесые глаза незнакомца буравили Тома, испытывали, пытаясь задавить, напугать, внушить ему холодный, как бездна, ужас. Том, может быть,

и испугался бы, но теплое горькое пиво отупило его, крепко сцементировав душу.

— А ты с какой целью интересуешься? — так же ровно ответил он.

— Та отвали от них, Бес, — вяло крикнули из глубины зала.

Бес нервно вздернул руку, всем своим видом показывая: не лезьте не в свое дело. Затем, театрально развернувшись, крикнул своим:

— Кантуй бревно, змея канает к водопаду.

За дальним столиком засмеялись. Бес крякнул, снова повернулся к Тому.

— Ты че, олень? У тебя ботва не по понятиям, а ты тут беса гонишь. Тебе ясно?

— Ясно.

— Сильному ясно — слабому опасно. Может, тебе в нюх втереть?

— Я волосы продаю, — сказал Том, глядя ему в глаза.

— Че ты мне сыпешь?

— Сейчас все торгуют, — так же спокойно ответил Том. — Бизнес. Волосы стоят дорого.

— Внатуре? Так ты ботвой банкуешь? Красавчик, — осклабился гопник, и его недоверчивые холодные глаза чуть потеплели. — Бизнес! Ха-ха! Молодца, братка!

«Из залетных», — подумал Том: слова «че» и «братка» в их краях не употребляли.

— Тяжелый крест мне пал на долю, тюрьма все счастье отняла. — Бес раскачивался на носках, явно решая, прицепиться ли еще к чему-то, или отчалить восвояси.

— Слышь, бизнес, у нас общак на нуле. Надо бы помочь добрым людям. — Добродушно, как старым знакомым, добавил он, достал из кармана спичечный коробок и стал крутить его в пальцах.

— Та мы сами пустые. Вишь, ботва еще не выросла, — в тон ему Том попытался все свести в шутку.

— Так мы поможем! У нас свой фигаро есть! Выкидухой так причешет, — мама не узнает! Первый мастер на зоне. — Бес улыбнулся, блеснув железной фиксой, но тут его взгляд остановился на воротнике Монгола.

— О! А это что за шняга? Булавка? — Настроение у него, как погода в мае, снова изменилось. — Это что, я не… Ну ладно кореш твой, а у тебя что за срань на шее? Рамсы попутал?

— Ты за базаром следи, — сухо выдавил Монгол, не поворачиваясь к собеседнику.

— Че? — Бес замер, вытер взмокшее лицо. Спи-

чечный коробок замер в его руках.

— Я не вкурил, вы какой масти? Вы че, Беса тут как лошка разводите? — ошарашенно сказал он с той неповторимой интонацией, за которой неизбежно наступают тяжелые последствия. Колючие бусинки его глаз вновь скользнули по Тому, остановились на шее Монгола. Монгол не шевелился, спокойно покручивая в руках свою пустую кружку. Бес вдруг выпрямился, будто враз протрезвел. Он посмотрел на часы, явно решая, как поступить, повернулся, посмотрел назад. Его друзья с интересом наблюдали за развитием событий. Тому на миг показалось, что Бес потерял к своему собеседнику всякий интерес. Спичечный коробок, ловко плясавший в его руке, вдруг раскрылся, и на грязный каменный пол из него посыпались спички.

— Ой, синички улетели. Собери, а? — доверительно сказал он Монголу.

«Попали», — подумал Том. Было ясно, что сам Бес спички собирать не будет, а унижаться, ползая под столом, Монгол явно не собирался.

— Кури бамбук, — Монгол тут же подтвердил его опасения. Он по-прежнему сидел, криво улыбаясь, будто бы этот выпад был адресован кому-то другому.

— Чего… Э, фраерок, а ну табло поверни сюда, давай на линию выйдем, — рявкнул Бес.

Монгол медлил.

— Репу поверни, а то из тапок выпрыгнешь, — на плечо Монголу опустилась крепкая клешня со сбитыми, покрытыми шрамами татуированными костяшками.

Но драки не вышло.

Все еще раздумывая, Монгол медленно полез себе под футболку. Затем, видимо решившись, быстро выхватил оттуда что-то блестящее и выстрелил, почти не целясь, через плечо, — туда, где, по его расчетам, было лицо нападавшего. Жирный липкий воздух кафе будто треснул пополам, зазвенело в ушах. Монголу обожгло щеку. Рука на его плече разжалась, и через секунду звонкую тишину разорвал пьяный нечеловеческий вой.

Резко запахло порохом, зазвенев, покатилась по полу мелочь, за стойкой пронзительно завизжала кассирша.

— Убили! Убили!

Развалившийся на полу кот вскочил и пулей вылетел в проем двери. Время вдруг растянулось, как в замедленном кино. Лишь монотонно крутились на потолке лопасти гоняющих жаркий воздух вентиляторов, кружилась в вальсе, никак

не замолкая, монетка на полу, а под облаком сизого дыма, держась за почерневшее от пороховой оспы лицо, выл, катаясь по полу, Бес. Его друзья, оглушенные, заторможенные алкоголем, повскакивали со стульев, и, вцепившись руками в стол, тупо пялились на них, оценивая угрозу. За соседним столиком седой дед тормошил своего спящего товарища, монотонно сообщая:

— Гриша! Гриша! Очнись! Война, Гриша! Война!

Том оттолкнул оказавшийся на пути стул и выскочил из кафе в душные летние сумерки. Монгол тоже вскочил, прикрыв лицо, бросил взгляд в кафе, и через миг они оба, гремя тяжелыми ботинками, изо всех сил неслись по улице.

— Налево! Налево! — крикнул Монгол. Перед поворотом Том оглянулся на миг и увидел выбегающих из кафе людей. Те крутили головами по сторонам. Кажется, их заметили. Том бросился следом за Монголом. Тот несся впереди, как лось, перепрыгивая бордюры, канавы и небольшие заборчики. Местность была незнакомая, их могли зажать откуда-то сбоку, они могли попасть в тупик. Это придавало скорости.

Перебежав старенький, увитый ивами тихий двор у пруда, они свернули в гаражи, и, перемах-

нув через невысокую сетку забора, пересекли дорогу. За дорогой частный сектор кончился. Миновав еще пару кварталов пятиэтажек, они неожиданно выскочили к полузаброшенной окраине городского парка.

— Стой! Не беги! — задыхаясь, крикнул Том. — Кажись, убежали.

Монгол обернулся. Его щека была малиновой. Сзади не было никаких признаков погони. Лишь две молодые мамаши выгуливали своих детей и одинокий пенсионер читал на скамейке газету.

— Что у меня с лицом? — выдохнул Монгол.

— Щека красная, — на ходу бросил Том.

— И все?

— Вроде да.

Останавливаться не хотелось. Быстрым шагом они пересекли парк, прошли еще пару кварталов в сторону центра и вышли к реке. Перейдя ее по пешеходному мостику, зашли в магазин.

— У тебя деньги есть?

Том порылся в карманах.

— Есть немного.

Монгол сунул продавцу деньги.

— Бутылку водки. А стаканчики есть у вас?

— Стаканов нет.

Монгол будто не слышал. Оглянувшись, он

смотрел на продавца и чего-то ждал.

— Да забей, пошли.

— Сдачу забыли! — крикнул продавец.

В подворотне они жадно, в два приема, вылакали из горла теплую, пованивающую от жары жидкость, закусив прямо с дерева недозрелыми яблоками.

— Ну что, двинули? — Тому казалось, что яблоки тоже воняют порохом.

Непроизвольно дергаясь от сигналов машин, от лая собак, они пошли вдоль реки, стараясь не упускать из виду другой берег. Река защищала от погони и одновременно успокаивала. У поворота, на длинной песчаной косе безмятежно плескались дети. На другом берегу с деревянного мостка ловил рыбу старичок. Вечерняя прохлада уже разлилась вокруг реки, постепенно вытесняя опостылевшую дневную жару. Будто бы и не было только что всех этих разборок и отчаянной беготни.

— Монгол, что за фигня? — немного отдышавшись, спросил Том.

— Та я ж говорил, что сюрприз, — Монгол нервно захохотал, и тут же, подавившись яблоком, закашлялся.

— У тебя получилось! Всем понравилось. Ты же

его чуть не завалил!

— Та не! Там холостой был, строительный. Порохом морду обожгло, и все. В меня стреляли как-то, почти с метра. Глаза, правда, потом месяц щипали, но прошло. Порох из морды повыковыривает, и жить можно.

— С метра? Ты ж ему почти в самую рожу шмальнул.

— Захочет — выживет, — отрезал Монгол.

— Ты где ствол взял?

— От Ваньки остался. Он мне дал его в начале лета. А откуда у него, — я не знаю. У него же много такого, ты помнишь.

«Было», — подумал Том слово, которое никак не хотелось говорить вслух.

— Ванька-Ванька… А мне чего не сказал?

— Так сюрприз же ж. — Оглянувшись по сторонам, Монгол поднял футболку и вытащил оттуда блестящий, будто лакированный, пистолет.

— На вальтер похож. — Том взял пистолет в руки, удивился его благородной тяжести.

— Этот весит больше. У вальтера патроны в рукояти, а тут она цельная, и накладки на ней самодельные. Номера нет. Наверное, на зоне делали, — Монгол забрал пистолет назад, и, воровато оглянувшись, снова спрятал его под одежду.

— Ванька просил не светиться, ну а поскольку его больше нет с нами, то я подумал… Короче, у меня еще есть пачка монтажных патронов. Я хотел у тебя на даче монтажные в обычные переделать. Обпилим, пулек наотливаем, обожмем и постреляем. Мишень есть.

Монгол достал из кармана сложенный вчетверо лист, на котором фломастером были нарисованы неровные черные круги с цифрами.

— Постреляли уже. На даче палево. Соседей сейчас много, сезон. Выкинь.

— Думаешь? — Монгол скомкал мишень и швырнул в воду. Ее белый кораблик медленно поплыл по темной воде. На реку уже спустились сумерки.

— Может, и эту дуру выкинуть? — он хлопнул себя по поясу. — Она, сволочь, будто весом налилась. Все время кажется, что вывалится через штанину, и прямо какому-то менту под ноги.

Сказал Монгол это с большим сомнением. Было видно, что выкидывать оружие он не собирается.

Водка, наконец, подействовала. Она не опьянила, а скорее уравновесила реальность. Опасность отступила куда-то вглубь.

— Ну и как оно, в человека стрелять? — уже

совсем спокойно спросил Том.

— Он не человек… И думать тут не надо. Я в таких случаях голову выключаю и просто делаю. Думать вообще нужно редко — тогда, когда выбор нужен. А тут выбора не было. Если будешь думать, — ни за что не выстрелишь.

Они сбавили шаг. Монгол говорил отрывочно, стараясь быть убедительным.

— А какие варианты? Я просто понял, что мирно уйти шансов нет. Ну сказал бы, что мы сборовские, а тогда они спросят: мы вас не знаем, а вы с какого района? Вариант, как на Стекляшке, когда я по ушам ездил, не проканает: тут люди серьезные попались, сидевшие… Обработали бы нас в мясо, ствол бы забрали. Ну ладно, забрали бы ствол. Но тебе, как я думаю, после Стекляшки еще разок в дыню принять — самое то, чтобы овощем стал. Так что других вариантов не было. Я только не пойму, почему они за нами не побежали.

— Они же не знали, что у тебя один патрон. Наверное поэтому, — Том пожал плечами.

Незаметно они дошли до окраины города. Река свернула, впереди показался мост.

— Я вот думаю, а вдруг ментов вызвали? — проговорил Том.

— И что? Ты меньше думай. Мозги нужно эко-

номить. Ладно, поживем — посмотрим, харош порожняк гонять.

— Слушай, может, я заберу его, на даче спрячу. Мне отсюда пешком полчаса.

— Не, — вдруг сказал Монгол. — Все равно не постреляем уже, не отдохнем. А если к тебе придут, то потом и у тебя проблемы будут. Я домой двину. Созвонимся на днях.

Они остановились у моста.

— Ну ладно. Я тогда на дачу. Ты завтра свой телефон отключи, а послезавтра я тебе перезвоню. Будет один гудок, потом пауза, потом звонок. И не светись пока нигде.

— Как же ты с дачи звонить будешь? Или домой поедешь?

— С дачи. У меня сосед железнодорожник, у него техника — будь здоров, — хмыкнул Том.

— Ну, давай! — Монгол повернулся и зашагал к ближайшей остановке.

— Монгол, слышь, — бросил Том вслед.

— Чего?

— Перед Олей как-то неудобно получилось.

Оба захохотали.

Монгол махнул рукой и исчез в сумерках.

Дома

Монгол шел домой пешком: ему казалось, что, сядь он в троллейбус, — все пассажиры будут тыкать в него пальцем. В ухе все еще звенело. Первое время он непроизвольно вздрагивал от каждого спешащего навстречу прохожего. Но люди были удивительно безразличны к нему, и это придавало уверенности. Идя пыльными задворками заводов и гаражей, он без приключений добрался до дома, и с облегчением распахнул дверь. В квартире было темно и тихо. Мать, видимо, осталась на даче.

Монгол зашел в свою комнату, зачем-то плотно закрыл дверь, включил свет. Бросил взгляд на стену над кроватью, где висели грамота в деревянной рамке и две алюминиевые медали на припорошенных пылью голубых лентах. Эти немые свидетели былой славы всегда поддерживали его в трудную минуту, всегда придавали сил.

— Упрощаем! — сказал самому себе.

Первым делом он вытащил из пистолета гильзу, разобрал его, почистил ствол от пороховых газов. Вместе с патронами завернул пистолет

в полиэтиленовый пакет и зарыл его в кадке с пальмой. Затем начисто вымыл руки и побрил голову налысо. Ему нравилось это делать, особенно после каких-то неприятностей.

Щека уже почти остыла, лишь у самой шеи впились в кожу несколько черных крупинок. Он выковырял их иголкой, посмотрел в зеркало на округлившееся лицо. Улыбнулся, потрогал бледную после стрижки, покрытую шрамами голову, показал зубы.

Вышло не очень. Какая-то тонкая заноза сидела в его мозгу и свербила, свербила исподволь, мешала расслабиться, раз за разом подбрасывая страшные картины. Еще совсем недавно Монгол убеждал Тома, что все не так плохо. Тогда он был на сто процентов уверен в своих ответах, посмеиваясь впечатлительности товарища. Но к ночи пришла трезвость, и его стали разбирать сомнения.

«Вряд ли он запомнил меня, тем более не местный», — убеждал он себя, но это треклятое «вряд ли» все портило, не давало успокоиться.

Главной проблемой их небольшого города было то, что все друг друга если не знали, то видели, если не общались, то имели общих знакомых. Менты в пивбар наверняка уже приезжали,

а неформалов в городе не так много. Опросят окрестных жителей, выйдут на цыган. Допустим, цыгане расскажут им, что мы из Конотопа. Если они приедут в Конотоп, то, конечно, никого не найдут. Но цыгане скорее всего ничего не скажут. А вот продавщица… Вспомнит ли она его длинноволосого приятеля? Конечно, вспомнит. Расскажет ли об этом ментам? Расскажет. Если менты узнают про длинные волосы, то могут прийти на любой концерт, и найдут там Тома в два щелчка. Загулять концерт? Или вообще уйти из группы? Ну хорошо, он уйдет, а Том? Скорее всего — нет. Сдаст ли он его, если нажмут? Ментам, допустим, и не сдаст, но… Если заведут дело и там всплывет его приятель, то и Бес вскоре узнает его адрес. Занедорого. И что потом? Нужно будет с ментами решать. Но менты — это полбеды. Вторая проблема — компания подстреленного. Что это за люди? Залетные, как и он? Тогда что они делают здесь? Вопросы, вопросы.

— А может, и не будет ничего? — вдруг усмехнулся он. — Может, менты не приедут, и все. А я тут себе хожу, накручиваю.

Его взгляд упал на журнальный столик в углу комнаты. Там, на почетном месте между колодой карт Таро и зеленой нефритовой пирамидкой

лежала мамина Библия.

— Как там она гадает? — он взял тяжелую, как кирпич, книгу с витиеватыми золотыми буквами на обложке, наугад открыл ее, и, ткнув пальцем, вслух прочитал:

«Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя; но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Доколе ты, ленивец, будешь спать? Когда ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь: и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник…»

— Да нет, я не об этом… — он захлопнул книгу, снова открыл ее ближе к концу, и вновь прочитал:

«Никодим, приходивший к Нему ночью, будучи один из них, говорит им: судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает? На это сказали ему: и ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк. И разошлись все по домам».

— Ничего не понятно, но последнее прямо в точку! — невесело засмеялся он.

Дачный телефон

Мать уже спала, когда Том добрался до дачи. Скрипя половицами, долго бродил по своей комнате. Перед глазами вновь всплывало перекошенное лицо Беса и красная вспышка, эхо которой тонким комаром все еще пищало у него в ушах. Это воспоминание затаившейся угрозы, отсроченной расплаты время от времени возвращалось холодным шершавым страхом. В доме было душно.

— А, будь что будет, — пробормотал он, вышел во двор, закурил. Ночь была теплой и звездной. Земля отдыхала от дневного зноя. Блаженная тишина царствовала вокруг. В ней было что-то весомое, мудрое, совершенное.

Он жил на даче все лето, отсюда же ездил на репетицию. В отличие от их небольшого городка, здесь почти никогда не было пьяных драк или шумных разборок. Дачники знали друг друга, здоровались и ходили в гости, менялись рассадой, вместе отмечали праздники. Дача была иным, более уютным и совершенным миром. Миром взаимовыручки и неизменно приподнятого настроения.

Он посмотрел на небо. Где-то там обитал его приятель Ванька, туда уже переселились многие его друзья. «Почему я еще здесь? Кто это решает?»

Чужая смерть будто выбивала на время пыль из мозга, заставляла встряхнуться, осознать заново остроту жизни, лишь добавляя к ней муторную душевную боль. Каждый миг перед лицом смерти становился важнее, весомее. Его нужно было ценить, не прожигать напрасно. Погибшие друзья на время становились будто немым укором, грозили пальцем из небытия, заставляли быть предельно собранным. Они требовали услышать в себе эти крупицы истины, удержать их в сознании, не растерять со временем… Но разве они сами дорожили этой истиной? Разве берегли себя, разве тряслись над своим временным жильем из костей и мяса? Разве хоть кто-нибудь из них не хотел, чтобы на его похоронах звучал веселый и бодрый рок-н-ролл? Так почему этого не происходило?

— А что со мной могут сделать? — Том только сейчас заметил в своей руке дымящийся окурок и усмехнулся. — В худшем случае к Ваньке отправить.

Ему стало легче.

* * *

Когда он проснулся, мать уже ушла на работу. На столе, на огрызке бумаги ровным почерком значилось: «Еда в холодильнике. Поешь — поставь назад, если останется. Мама».

Голова раскалывалась. Перед глазами снова ярко и тревожно всплыл вчерашний день. «Хорошо все-таки, что это было далеко от дома», — подумал он, наливая в мойдодыр ведро воды. Умываясь, глянул на себя в зеркало, убрал в резинку волосы. «Может, подстричься?». Ему стало стыдно перед собой за это мимолетное малодушие. Ванька бы так не поступил. Он бы еще и назавтра пришел в «Ромашку» и навел там шухера.

Том вышел на двор, глянул на голубое, безоблачное небо и побрел к озеру. Его дальний обрывистый берег то и дело мелькал впереди, за дачными домиками и садовыми деревьями. Рыбаков здесь давно не было: с тех пор как рыбхоз перестал запускать малька, всю рыбу выбили электроудочками.

Быстро раздевшись, оглядел берег, привыкая глазом к искрящейся ряби, втянул носом пресный аромат тины, шумно продышался. Затем разбежался, нырнул, и, не закрывая глаз, сразу

взял в глубину, — туда, где зеленовато-бурая тьма становится черно-коричневой и по-настоящему холодной, а в ушах появляется свист. Досчитав до тридцати, повернул вверх, и, отфыркавшись, с наслаждением растянулся на водной глади.

«Хорошо получилось. В первый раз всегда хорошо. Может быть, даже нашу речку перенырнул, хотя там, конечно, течение. И в топляк бы головой не впилиться», — лениво и медленно думал он, глядя сквозь прищуренные веки на колышущийся от зноя дальний берег. Там, за прибрежными кустами едва виднелась крыша маленького белого домика. Когда-то он ходил туда как к себе домой, и там жила Светка, удивительная девушка со стальными глазами. Кажется, это было в прошлом веке, а прошло всего три года.

Он вздохнул, отвернулся, отгоняя грусть, пробежал взглядом по неровной линии берега. Посмотрел на стрижей, чертивших над водой свои стремительные линии, задержался на одиноком глупом рыбачке. Затем перевернулся на живот и поплыл к пляжу. Впрочем, пляжем его можно было назвать с большой натяжкой: это был крохотный пятачок песка, зажатый с двух сторон синеватым глинистым обрывом. По воскресеньям здесь загорали компании дачников,

но в будни было совсем тихо. Но когда он уже подплывал к берегу, на пляж выбежали двое детей. Одного, пятилетнего соседского шалопая Виталю, он знал. Второго, пацана лет трех, видел впервые. Тихая гладь воды далеко несла их нехитрый детский разговор.

— Ух ты! Какое у вас тут озеро большое! — восхищенно говорил тот, что поменьше.

— Да разве оно большое? — снисходительно отвечал Виталя. — Я тем летом на море был. Вот море — оно большое. Море — оно ого какое.

— А море — оно больше этого озера?

— Конечно! Море — оно такое большое, что даже другого берега не видно, — авторитетно заявлял Виталя.

— Ну и что! Ну и что! — не соглашался младший, явно ревнуя к неведомому гигантскому водоему. — А здесь, если за кустики сесть, то его тоже не видно!

Том вышел на берег и через минуту уже вытянулся на позабытой какими-то строителями бетонной плите, закрыв глаза. Ему вдруг вспомнилось, как в детстве с родителями он ездил на море, кажется, куда-то под Евпаторию. Он был такой же маленький, как эти пацаны, а море было невероятно далеко от их сельского домика. Каж-

дый день он терпеливо тащился к нему целый час (который в детстве, как известно, длится с половину дня), вначале через пропахшее навозом село с белеными домами и аккуратно сложенным у заборов, похожим на огромные буханки хлеба, ракушечником. Затем — по плоской как стол, то бурой, то седой от соли, степи. Теплый, как дыхание, ветер доносил до них кисло-горький запах просоленной грязи лиманов, тины, вяленой рыбы и чего-то еще, непривычного и незнакомого. Сбоку, на горизонте, за невнятным ворохом курчавых степных колючек возвышался огромный, сотканный из сложнейшей металлической паутины, локатор. В жару его причудливая фигура отражалась от блестящей на солнце земли. Сверкая матовым серебром, он приносил в этот первобытный пустынный пейзаж какой-то смысл, очеловечивал его, и шагать становилось чуть легче.

Он долго шагал по песку, глядя себе под ноги и представляя, что идет по бескрайней пустыне с барханами и верблюдами. Затем белое марево горизонта окрашивалось тонкой сине-зеленой полоской, но это было еще не море, а всего лишь разогретое солнцем соленое озеро с грязными вонючими берегами. Море было дальше. Оно

то маячило вдалеке, то скрывалось в низкой песчаной поземке, но пляж появлялся всегда неожиданно, будто щенок из засады, — теплый, с ласковым прибоем длинных волн и большими лопоухими ракушками.

Ему нравилось бегать, утопая ногами в крупном песке у самой границы прибоя, там, где отступает пенящаяся волна, и отливающий солнечной бронзой песчаный берег стремительно становится матовым.

— Море — это любовь. То бурное, то спокойное, но всегда глубокое, и всегда соленое, — загадочно говорила мама, поправляя на носу большие и непривычные солнцезащитные очки. На берегу она всегда старалась поддерживать романтическое настроение.

— Море — это время, производящее песок для песочных часов, — разминая в пальцах папиросу, еще более загадочно говорил папка.

Когда солнце опускалось за сине-зеленую линию горизонта, они отправлялись в обратный путь по «кустыне», как называл ее папка, стараясь идти по своим следам, чтобы не дать кругаля. Иногда в кустыне поднимался ветер, и их следы успевало замести песком. Желтым дымом он стелился у самой земли, кусал за ноги. Тогда у чубов

выгоревшей травы и одиноких красноватых былинок, у небольших кустиков и белых скелетов птиц, похожих на маленьких хищных птеродактилей, появлялись длинные конусы песка. От них вытягивались причудливые закатные тени.

Когда идти становилось совсем тяжело, и он начинал хныкать, то папка, сильный и добрый, как олимпийский бог, сажал его себе на плечи. К вечеру они возвращались в белый дом с черепичной крышей, давно не крашенными скрипучими ставнями и потрескавшимися от соленого ветра дверьми. Вечерами на улице было тепло, как дома. Родители сидели в беседке и пили домашнее вино, рассуждая о непонятном. Он сидел на руках у мамы, наблюдая за ночными мотыльками. Они слетались к вечеру на свет старого облупленного фонаря у беседки. Однажды к ним прилетела огромная бабочка, крылья которой были больше его ладоней. Папка поймал ее, дал погладить, а потом выпустил в теплую южную мглу.

Куда ушло оно, простое семейное счастье? Почему все испортилось? Разве нужно что-то делать для того, чтобы все было так хорошо, как было?

Том поднялся, мотнул головой, то ли вытряхивая воду из ушей, то ли отгоняя ворох ненужных воспоминаний, и малоприметной тропинкой

пошел к дому.

«Что-то подозрительно спокойно на душе после вчерашнего. Так курица важно ходит по курятнику, еще не подозревая, что где-то рядом хозяин уже точит свой нож. Конечно, мозг — вещь хитрая, ленивая. Если долго думать о плохом, то он устает и всячески старается успокоить своего хозяина… Но ведь это не ответ… Оля! Может быть, она может помочь? По крайней мере нужно попробовать позвонить ей. А если она не в курсе, что там? Сказать, чтобы сходила на разведку? Но под каким предлогом? Сказать, что мы что-то слышали? Если вообще она куда-нибудь не уехала».

Через четверть часа он уже стучался в дверь к их соседу, бывшему путевому обходчику, а теперь просто пенсионеру-огороднику по-прозвищу Сонечко.

Тот долго не открывал. Наконец вышел, хмуро почесывая свое безразмерное брюхо, которое тщетно пыталась скрыть видавшая виды майка.

— Дядь Вань, доброго здоровья. Позвонить надо.

— А як же ж отсюда позвонишь? Цэ ж дача! — Сонечко лукаво прищурился, разводя руками.

— Дядь Вань, очень надо.

— Шо, прям приспичило?

— Ага!

— Ну як приспичило, то шо ж робыть? Тоди воно, конешно, надо. Зараз! — Сонечко скрылся в темени дома, и вскоре вернулся с небольшим эбонитовым ящичком в руках.

— Спасибо! — Том достал из него черную телефонную трубку с диском, большой амбарный ключ, и пошел к железной дороге. Там, недалеко от переезда, у самых путей стоял невысокий серебристый столбик с железным коробком наверху. Открыв ключом коробок, Том воткнул вилку трубки в крохотную розетку, достал из кармана листок с телефоном и набрал на диске номер Оли.

— Алло? — услышал он знакомый голос. Связь была непривычно чистая.

— Привет. Это Егор, бывший больной. Помнишь меня? Мы вчера приходили за микшером, а тебя не было. — Как можно развязнее сказал он.

— Конечно, помню! Слушай, прости, пожалуйста, — виновато затараторила Оля. — Жара такая была, у соседки сердце схватило, а меня тут все врачом считают. Пришлось ее в больницу везти, а я так за нее испугалась, что даже записку не догадалась написать…

— Ничего, не страшно. С соседкой все в по-

рядке?

— Да, все хорошо. Пришла в себя.

— Ну хорошо, что хорошо. У тебя все в порядке?

— Да, все в порядке.

— Жарковато вчера было.

— Ага. Очень душно.

— Не то слово как душно, — Том тянул разговор, лихорадочно соображая, как выйти на нужную ему тему. Но Оля его опередила.

— А у нас тут вчера в кафе что-то случилось, — сказала она. — Вроде даже стрельба была. Милиции понаехало. С вами хоть все в порядке?

— Та все нормально. Мы, наверное, раньше ушли, — ровно проговорил Том. — А что там было?

— Я не знаю. Я из больницы домой возвращалась, смотрю, — все оцеплено. Ну меня-то пропустили, я же там живу. Потом смотрю, а из кафе кого-то на носилках выносят, и в «скорую» грузят. Ну, я не стала близко подходить, постояла немного и ушла.

— Ничего себе, — Том почувствовал, как заныло где-то в животе. — Из кафе? На носилках?

— Ну да. В «скорую» положили и увезли.

— Хоть не накрытые?

— Не поняла?

— Человек в носилках не с головой накрыт? — чуть было не заорал он, но вовремя спохватился. — Извини, со связью что-то.

— Я не разглядела. Я только сзади видела, из-за спины санитара. Рука свисала, как неживая. Или без сознания, или убили.

— Ну ладно. Ты извини, что так вышло, — он вытер выступивший пот.

— Это вы меня простите.

— Ну ладно. Тогда в другой раз встретимся, — он резиново улыбнулся в трубку.

— А когда?

— Пока не знаю.

— Ну, тогда пока?

— Ага.

Том выдернул шнур трубки, онемевшими руками смотал его, поспешно закрыл коробок. Ему хотелось закопать этот злосчастный прибор прямо здесь, и бежать, бежать куда-то, далеко-далеко. Заныла в висках голова, запрыгало сердце. Он глубоко вздохнул, невидяще глянул на марево уходящих в горизонт рельс и быстро сбежал по сыпучему гравию насыпи на дорогу.

— Шо ты полохлывый[2] такий? Шо трапылось? — забеспокоился Сонечко.

— Ничего, все хорошо. Не спал просто, — пересохшим голосом проговорил Том, вернул трубку и пошел к себе…

…Вроде бы кто-то постучал в дверь. Или показалось?

Он обнаружил себя сидящим на диване. В доме было темно: когда он пришел, то, кажется, закрыл ставни. Напротив, на столе, трещал старый черно-белый телевизор. По единственному работающему каналу толстый мужик рассказывал о невероятных перспективах развития сахарной отрасли в их районе. Том никак не мог сосредоточиться на картинке, ероша волосы и зачем-то растирая руками лицо.

— Что же теперь делать? — билась в голове, как в клетке, мысль. Звонкий стук в металлическую ставню заставил его подпрыгнуть на месте.

— Все, пришли. — На ватных ногах он вышел в коридор, открыл дверь. Привыкая к свету, всмотрелся в незнакомый мужской силуэт.

На пороге стоял седой красномордый дядька в драных спортивных штанах. Через весь его лоб

---

[2] Примечания: 2
Беспокойный.

шла темная полоса — то ли от мазута, то ли от грязной ладони, которой он время от времени вытирал потное лицо. В другой его руке была потертая тетрадка.

— А мамка тута? — спросил он, заглядывая через него в дом.

— Нет. А шо надо?

— Деньги на сторожей сдавать.

Том вынес деньги.

Мужик расслабился, подобрел.

— У Клавки кошка рожае, а я, бачь, заместо нэи бигаю, як цуцык! — он разровнял купюры толстыми заскорузлыми пальцами и сунул деньги в полиэтиленовый пакет. — Ось тут распышысь.

Том взял ручку, немного помедлил, всматриваясь в разлинованный от руки листок, расписался. Деловой вид уставшего от беготни чумазого мужика немного успокоил его, даже рассмешил. «Э, нет. Так не годится! Хватит страдать раньше времени. Нужно взять себя в руки», — подумал он. Чтобы чем-то занять себя, поковырялся на огороде. В дом идти не хотелось: он, казалось, будто превратился в один миг в западню, в мышеловку, крышка которой вот-вот грозила захлопнуться…

— На ходу всегда лучше думается, — закрыв дверь на ключ, он не спеша побрел по дороге

вдоль озера.

«Итак, что мы имеем? Когда мы убегали, он еще был жив. А потом его несли на носилках. Выходит, что он вырубился от потери крови или от болевого шока. Он катался по полу, держась за лицо. Или это была агония? Они же видели его после выстрела считаные секунды. Но поскольку выстрел был в лицо, то такая потеря сознания — это скорее всего повреждение мозга. Выходит, что пробит череп (мало ли что там был за патрон?). Не потерял же он сознание из-за холостого выстрела. Тогда или реанимация, или смерть. Как минимум это уже уголовное дело, это покушение на убийство. Максимум — их ищут не только менты, но и Бесовы друзья. И еще неизвестно, что хуже. Лишь бы Монгол не высовывался. Теперь по телефону о таких делах говорить точно не стоит. Им нужно где-то встретиться, все обсудить… А что теперь будет с концертом? Эх, Монгол… Ты ведь еще не знаешь. Или?..»

Ему почему-то вспомнился тот вечер, когда они катались у школы на скейте — новой, заморской игрушке, купленной однокласснику Кольке его отцом. В школьном дворе была удобная бетонная площадка, и дешевый скейт с твердыми пластмассовыми колесами скользил по ней легко,

как самолет по взлетно-посадочной полосе. Егор сидел на краю широкого школьного крыльца и ждал своей очереди, как вдруг на порог школы, позвякивая намотанными на кулаки цепями, вломилась веселая толпа.

Один из них поинтересовался:

— А вы откуда?

— Отсюда, — ответил за всех Колька, с мучительной надеждой стараясь разглядеть в сумерках хоть одно знакомое лицо.

— А мы с Десятки. Не повезло вам, пацаны, — картинно вздохнул пацан, размахивая тросом с шестеренкой на конце.

— Понеслась! — заорал кто-то, и толпа с воем ринулась на них, избивая всех, кто не успевал увернуться. Егор успел перемахнуть через перила крыльца и нырнул в спасительную темноту пришкольного сквера. Он бежал быстрее ветра, и ему было так же страшно, как и теперь. И тогда он смог убежать. Нет, он определенно везунчик. А вот Кольке его же скейтом проломили голову…

Том вновь попытался сосредоточиться на услышанном по телефону. Это получалось с трудом. Мысли путались, их уносило в какие-то ненужные воспоминания, размышления.

Что теперь делать? С одной стороны, Монгол

часто раздражал его своей самоуверенной беспечностью. С другой стороны, в той ситуации он поступил вполне разумно. Так или иначе, но его безмятежная жизнь вдруг резко, в один миг поменялась. В нее вошли страх и тревога, будто посреди зимы сорвало с петель дверь теплого, уютного дома. Нелепый, дурной сон, от которого он хотел проснуться, и никак не мог.

Он не заметил, как дошел до Светкиного домика на другой стороне озера. Здесь явно давно никто не жил. Да и кому жить? Светка уехала с матерью в Москву еще три года назад, и дом был почти заброшен. Он, словно умирающий старик, подслеповато смотрел на озеро, поскрипывал ржавыми ставнями, осыпался.

Рядом пробежала собака, вернулась к нему, ткнулась мордой в ногу, шумно фыркнула.

— Шарик! Привет, бродяга! — Он сел, потрепав за шею приблудного дачного пса. Пес вильнул хвостом и побежал дальше, по своим собачьим делам. Том глянул на пустой дом, будто ища в нем ответа, постоял немного и побрел назад. Ему вдруг захотелось, чтобы дорога домой не заканчивалась, ведь там вновь обрушится на него горячая волна страхов, сомнений и тревожных ожиданий. Он снова попытался сосредоточиться

на проблемах, обдумать его непростое положение, но голова будто отказывалась соображать.

— Угораздило же. Эх, Монгол, Монгол, гоповатая твоя душа, — снова сказал он, прислушиваясь к своим интонациям. Голос прозвучал неуверенно и даже как-то одиноко.

Ожидание

Медленно, будто волоком прошел-протащился еще один тихий день. Монгол бесцельно слонялся по квартире. В обед он сел было побарабанить, но дело не шло. Наконец, к вечеру с дачи приехала загруженная сумками мать.

— Саша, а зачем ты лысый?

— Так теперь модно, — выдал он первое, что пришло в голову.

— Мода — это миф. Хотя, впрочем, интуиции дизайнеров и модельеров иногда совпадают с чем-то неподвластным их разуму. Брахманы говорят, что бритая голова способствует очищению души. А чего это ты дома? Что-то случилось?

— Голова болит, — соврал он.

— Сейчас я тебе сниму боль. Так, а ну стань, выпрями спину. Расслабься, закрой глаза. Выстрой вокруг себя астральный кокон.

— Как это?

— Я же тебя учила! Представь вокруг себя прозрачную защитную оболочку. А я тем временем соберу в своей руке энергию, и протолкну вдоль позвоночника твои энергетические пробки… Ты что кушать будешь?

— Тельца в Рыбе.

— Все бы тебе смеяться, — мать провела несколько раз рукой вдоль спины. — Ну как?

— Вроде проходит. О, прошло.

— Видишь! А ты в это не веришь. В «Нашей карме» врать не будут. Я тут привезла дары природы, на варенье. Пошли, поможешь.

Пока он возился с яблоками, мать мыла банки и рассказывала неинтересные дачные новости. Они успокаивали. Монгол повеселел, бросая в большую кастрюлю яблочные ломтики и удивляясь себе, насколько он перенапрягся в одиночестве. Он не помнил, когда в последний раз с таким энтузиазмом помогал матери.

— Что там еще нового?

— Тетя Галя, соседка, котенка принесла. Я хотела взять, пусть бы мышей гонял. Но когда узнала, что он Овен, — сразу отказалась. Толку от него не будет.

— Правильно. А я тут рыбы хотел купить, но когда узнал, что она по гороскопу — Рак, то сразу отказался. — Он с удовольствием отметил, что ему удается шутить.

Мать внимательно посмотрела на него, затем сквозь него.

— Чудной ты сегодня какой-то, — сказала она.

«Будто и не было ничего», — думал он про себя, провожая ее вечером на автобус.

— Ну, пока. Картошка на плите, котлеты в холодильнике.

— Мам, дай денег.

— На сигареты? Не дам.

— Ты меня совсем не любишь.

— Я люблю тебя. Но не твои вредные привычки, — отрезала мать.

Следующий день прошел совсем бестолково. С утра он включил телефон, поел, послушал музыку. Посмотрел телевизор, сел за свою кастрюльно-барабанную установку, прислушиваясь время от времени к телефону. Тот молчал.

Уже к вечеру, когда он, лежа на диване, смотрел телевизор, в квартиру позвонили. Монгол тихо встал, выключил звук, прислушался.

В дверь позвонили еще раз.

«А я, дебил, утром еще и барабанил!» — холодный пот пробил его.

Он облегченно вздохнул, когда, наконец, протяжно загудел отъезжающий лифт.

Выйдя на балкон, осторожно глянул вниз. Во дворе было пусто, у подъезда никого не было. Лишь на противоположном конце двора, у в входа в кафе гудела толпа малолеток.

— На нас напала Десятка! — доносил ветер обрывки фраз. — Они… наших пацанов на 16-й бурсе! Лысому башку… Мая тоже в больнице, Гога в СИЗО. Их заправ забил стрелу… «Сходка» будет на бурсе… Пошли, пацаны, порвем уродов! Следующие сборы — в среду, на полдевятого. Пятерка — короли!

— Пятерка — короли! — Взревела толпа, и, громыхая палками, ринулась наказывать зло по направлению к ближайшему ПТУ.

Монгол достал из пепельницы заныченный окурок, чиркнул спичкой.

— Придурки! — вслух, неожиданно для самого себя, сказал он.

— Не то слово, — послышался совсем рядом хриплый старческий баритон.

Монгол вздрогнул.

Это был его сосед, бывший следователь ПолитИваныч. Он стоял на своем балконе, за стенкой от Монгола, и тоже курил.

— Ща сбегают на бурсу, а там никого нэма, — продолжал он. — Отвешают люлей селюкам из общаги, если кто там, в бурсе, под руку попадет. А потом побегут до школы, или в парк. Но там тоже никого не будет.

Дед засмеялся, закашлялся влажным, харкаю-

щим кашлем хронического курильщика.

«Спросить его про „Ромашку“, или нет? Он всегда в курсе, где и что. А если заподозрит что-то?» — думал Монгол.

— Потом они опять прибегут сюда, а к тому времени здесь милиция образуется, — продолжал сосед. — Перекроют двумя «канарейками» оба прохода, и толпа побежит сюда, во двор. А здесь их будет принимать наш неугомонный участковый Мищенко. Я тебе говорю, так и будет.

— Да я знаю. Так и будет. Сигаретки нет? А то уши пухнут.

— Держи… А знаешь, почему они ничему не учатся? — с ненавистью продолжал ПолитИваныч. — Потому что придурки. Цены себе не сложат, а смотришь на них сверху — предсказуемы, шо те хомячки. Каждую неделю их винтят, а они никак не могут понять, почему. Потому что у них каждый пятый — стукач. Причем большинство стукачей — добровольные.

«Вроде нормальный мужик, а все равно мент, — Монгол усмехнулся, отвел глаза. — Сигарету дает, а сам смотрит, изучает. Сеет панику».

— Шпана, что с нее возьмешь? Про «Ромашку» ничего не слышали? — Небрежно спросил он.

— Нет. А что там?

Монгол сразу пожалел, что спросил.

— Вроде стреляли. У меня знакомый рядом проходил, слышал.

— Что за знакомый? — по привычке спросил сосед. Не дождавшись ответа, небрежно бросил:

— Удивил! Сейчас везде стреляют.

— Пойду, — Монгол потушил бычок, зашел в квартиру. Взял трубку телефона и, приложив к трубке платок, чтобы изменить голос, как показывали в старом кино, набрал номер Тома.

— Алло? — трубку взяла мама Тома.

— А Егор дома? — с хрипотцой спросил он.

— Саша, ты? — приветливо сказала она. — Тебя плохо слышно. Так он почти все время на даче! А что у тебя с голосом? Заболел?

— Ага! — сказал Монгол, и положил трубку. Подошел к зеркалу, посмотрел на свой бритый череп, засмеялся.

— Значит, с Томом пока все в порядке.

И чуть не подпрыгнул, когда телефон зазвонил один раз, потом через время — еще.

— Привет, ну наконец-то. Как дела?

— Нормально. У тебя все в порядке?

— Да.

— Я кое-что узнал, — доносилось из трубки. — Новости не очень. Давай прямо сейчас подрули-

вай на дачу к Лелику. Иди пешком, через лес, а не через город. А я отсюда через город поеду.

— Гуд, — прохрипел Монгол. — А что, совсем не очень, или так себе?

— Пока непонятно, — Том положил трубку.

У Лелика

Когда город укрыли прохладные сумерки, Монгол вышел из дома. Стараясь идти малозаметными безлюдными проулками, он быстро миновал последние заводские корпуса окраины, двустволку районной котельной, и вскоре зашагал вниз, по пыльной проселочной дороге в сторону леса, за которым пряталась дача Лелика.

С Леликом его познакомил Том. Монгол бывал у него пару раз, но они так и не стали друзьями. Лелик витал в иных, политических мирах, до которых Монголу не было совершенно никакого дела.

Поглаживая на голове микроскопическую щетину, он быстро шагал под горку, радуясь, что вырвался, наконец, из четырех стен на простор. Поля, поля, небо, и — тишина. Никого вокруг. Только колосится по обе стороны дороги тяжелая, еще незрелая рожь. Легкий ветерок безмятежно гонит по ней желто-зеленые волны вдаль, в синеющий на горизонте океан леса.

Наконец, спуск кончился, дорога свернула влево, а он пошел через поле, зная, что рано или поздно вновь пересечет ведущую в лес грунтовку.

Из-под ног взмыл в небо жаворонок, зазвенел безмятежно, словно приемник, который никак не может найти нужную волну.

Он поглядел вверх, и вдруг, сам не ожидая от себя, широко распахнул руки и завалился прямо в рожь. «Никуда не пойду. Буду так и лежать здесь, пока не умру. Прорасту насквозь травой, чтобы тихо и никого, чтобы никто не мешал».

Он долго лежал, глядя в сиреневое вечернее небо, пока не укусил его где-то у лопатки большой рыжий муравей.

Грунтовка вела в сырой, пахнущий вечной осенью и комарами лес. За лесом блеснула река, спряталась на время за холмом. Монгол пошел вдоль берега, перебрался через мост и вскоре уже открывал знакомую калитку.

Из дома доносились шум, гомон, женский смех, звон посуды. У Лелика, как всегда, было полно народу.

На крыльце сидел известный городской националист по кличке Лужа. У него были длинные висячие усы пшеничного цвета и длинный же оселедец редких волос на коротко стриженной макушке. Лужа был лобаст и всегда угрюм. Он и на мир смотрел как-то недоверчиво, исподлобья, чем невероятно напоминал поэта Тараса

Шевченко.

Лужа был знаменит тем, что имел у себя дома гроб. Этот гроб он время от времени сдавал в аренду различным политическим силам, которые таскали его на демонстрации, подписывая то «Коммунизм», то «Кравчук», то «Реформы».

Лужа увлеченно беседовал с Оксаной Адамовной, невысокой полной женщиной средних лет, преподавателем этнографии в местном ПТУ. Как и Лужа, Оксана Адамовна была националисткой, но, в отличие от первого, была всегда легка в общении, любила попеть, пошутить и посмеяться.

— Привет. А Лелик есть?

Ему махнули куда-то внутрь. В глубине дома Монгол увидел русофила Силина, интеллектуала Перовского и сатаниста Мясника.

— Винегрет человеческий! — ухмыльнулся он.

Сам Лелик был харьковским анархистом, который по каким-то причинам перебрался в их город. Он предпочитал жить на даче, поскольку, как говорил, был на заметке у местных органов милиции. Бывало, что менты щипали анархистов за самиздат, в котором не только предлагалось активно бороться против режима, но и подробно описывались методы борьбы с милицией, изготовление оружия и взрывчатки. Крамольные

издания и листовки приходили большей частью из России, — а что еще может идти из большой и отсталой страны, которая к тому же на грани развала? Впрочем, в спокойной и мирно развивающейся Украине все это воспринималось скорее как детские шалости заигравшихся в зарницу пацанов.

Почему Лелик убежал из Харькова, точно не знал никто. Одни говорили, что он влюбился в дочь местного бандита, сделал ребенка, и ему в спешке пришлось убегать из города. Другие считали, что он отступил от канонов анархизма, и сами соратники приговорили его к смерти за предательство. Сам Лелик либо молчал, либо отшучивался, говоря, что всегда тосковал по глубинке. Так или иначе, но теперь он скучал по интеллектуальной жизни бывшей столицы, собирая тех, кто хоть немного отрывался от бытовых проблем и воспарял к глобальным вопросам. Таких в городе было немного, поэтому Лелик дорожил всеми, независимо от их точек зрения, выбирая по двум критериям: личная симпатия и презрение к власти. Такие, как он считал, на донос были неспособны.

Монгол вошел вовнутрь, распахнул дверь комнаты. Застолье было в самом разгаре. Лелик сидел

в старом потертом кресле, и, поглаживая клочковатую карабасову бороду, курил трубку. Он был старше Тома и Монгола лет на семь, и поэтому казался невероятно мудрым. Рядом с Леликом на табурете уже сидел Том.

— О, Саня, наконец-то! — приветливо сказал Лелик. — Заходи, дорогой!

И обратившись ко всем, продолжил:

— Дамы и господа, мы сейчас с ребятами на секунду отлучимся. Продолжайте выяснять отношения! И помните — у каждого есть право высказать мою точку зрения!

Они вышли на веранду.

— Ну что, поздравляем героя! — Лелик похлопал Монгола по плечу. — Что это ты облысел? От волнения?

— Не смешно. — Монгол сел в кресло.

— И что скажешь? — Лелик сразу посерьезнел.

— А что я? Вон Том вроде чего-то знает, — он пожал плечами. — Может, оно все как-то само собой затихнет.

— Вряд ли затихнет, — ответил Том. — Я по телефону говорить не хотел. — У меня две новости: плохая и очень плохая.

— Давай с плохой, — Монгол зачем-то достал из кармана зажигалку.

— Оля видела, как из «Ромашки» выносили носилки.

Монгол как-то сразу поскучнел, потрогал лицо, без интереса посмотрел в окно.

— А очень плохая?

— Человек на носилках был или без сознания, или труп.

В комнате стало тихо. За стенкой кто-то провозглашал веселый тост, кто-то тоненько и беззаботно смеялся. На крыльце Лужа горячо убеждал в чем-то Оксану Адамовну.

— Да, дела. Надо бы где-то отсидеться. По крайней мере не светиться, — проговорил Монгол, разрушая давящую тишину.

— Можно у меня месяц на даче пожить, — сказал Том. — Только я ж уволился, а мать нас двоих не прокормит.

— Моя поможет, если что, — Монгол уныло глядел в окно.

— Один месяц ничего не решит, — Лелик пыхнул трубкой. — По-хорошему нужно хотя бы три. А во-вторых, если они выйдут на Монгола, то и на твою дачу приедут через полчаса после того, как домой заявятся. И наоборот. А если возьмут обоих, то могут оформить «по предварительному сговору», а это отягчающее. Кстати, родители знают?

— Нет.

— Девушка эта в курсе?

— Оля? Тоже нет.

— Это хорошо. Но линять вам из города по-любому нужно. И чем раньше, тем лучше.

— В поход, что ли, уйти? Или уехать куда-то до зимы? — размышлял Монгол. — А, может, на заработки двинуть? Ванька, вон, на Кавказ ездил, виноградники сторожить. Мать была бы рада.

— Можно, конечно, и на Кавказ, — сказал Лелик. — Только нужно знать, к кому ехать. С бухты-барахты нормальную работу сейчас не найти. На Кавказе сейчас не очень, в России только пули ловить, та и у нас если не по знакомству, то обуть могут. Надо ли работать, если могут обуть, — вопрос открытый.

— Я бы и за жратву поработал, — Монгол пожал плечами, — пусть кинут. Сейчас не в деньгах дело.

— Ты неправильно думаешь. Вам с государством лучше вообще не пересекаться, потому что в теории одно, а на практике всегда по-другому. Вот, к примеру, кинут не тебя одного, а, скажем, бригаду. Или кто-то что-то украдет, и бригадир побежит за ментами. Или кого-то по пьяни отлупят, и он в больничку попадет. Много вариантов.

Потом выяснять станут, кто виноват, кто откуда приехал. Паспорта проверят. Тебе линять придется. А если ты слиняешь, то на тебя все и подумают, тоже искать начнут. Оно вам надо?

— Логично, — хмыкнул Монгол.

В комнате вновь повисла тишина.

— Давайте сначала, — наконец сказал Лелик. — Ясно, что хозяев заведения опрашивали. А раз вы еще тут, то на месте вас, как конкретных Васю и Петю, никто не опознал. Узнать вас могут, но где вы живете и кто вы, им пока неизвестно. Иначе бы уже приехали. Это дает слабую, но надежду. Во-вторых, в этой деревне к палеву может привести любая случайность: встреча в магазине, на улице, в автобусе. Кто-то кого-то обязательно вспомнит, узнает. Кто-то ориентировку видел, а ее уже наверняка намалевали. А хуже всего то, что узнать вас может незнакомый вам человек. В этом городе менты и бандиты — это одно и то же. Первые вторым сливают, а вторые для первых как санитары леса. Зондеркоманды. Ну и план, конечно, помогают выполнить. В-третьих, куда ты дел свой маузер?

— Не парься. Закопал в кадке с цветком. — Монгол беспрерывно крутил в пальцах зажигалку.

Лелик удивленно посмотрел на Монгола.

— Кадка, Сань, — это первое место, которое я бы проверил. Я просто гляну на землю в горшке и пойму, копал ты ее недавно или нет.

Монгол похолодел.

— Сань, да ты что? — сказал Том. — Сделай, как Ванька. У тебя люк открыт на крышу?

— Открыт.

— Ну так вперед. Отпечатки сотри. И лучше повесь не над своим подъездом. Только вентиляцию не перекрой там, чтобы трубочистов не вызвали.

Приятели снова замолчали.

— Может, родственники у кого где есть?

— У меня в Алуште дядя живет, — безучастно проговорил Монгол.

— Во дает! — Лелик хлопнул себя по коленям. — А чего молчал?

Монгол замялся.

— Ну как — дед… Двоюродный. Мы его дядей называем. Я у него последний раз лет в семь был, почти не помню. Он тогда еще в Москве жил, и мы с матерью к нему в гости ездили. Потом он легкими заболел, и к морю поближе перебрался. Но дядька героический.

— Это хорошо. Проведаешь старика, и тебя там точно никто искать не будет. А у меня в Крыму тоже человечек есть, Индеец. Живет во Фрунзен-

ском. Он хороший музыкант и вообще отличный тип. Ударник музыкального труда, в прямом и в переносном. Ни одного концерта не пропускает. Монгол, ты же вроде тоже ударник? Короче, найдете о чем пообщаться, а заодно отдохнете, мозги проветрите. Я его, правда, лет сто не видал, еще с харьковских времен, но уверен в нем как в себе. Жаль, телефона нет, адрес только. Он впишет, я думаю. Или найдет, где вписать. Привет от меня передадите, перекантуетесь у него сколько можно. Если получится, то месяца три. А там, глядишь, все подзабудут. Тем более Том говорил, что гопы вроде не наши.

— Не знаю, все или нет. Но тот, что подходил, гутарил не по-нашему, — подтвердил Том.

— А тебе неплохо бы волосы спрятать. Кепка есть?

— Нет.

— А лучше, конечно, подстричься. Прическу сменить. Палево откровенное.

— Это у меня не прическа, это принципы. А принципы по любому поводу не меняют.

— Ну-ну! — Лелик усмехнулся, вышел куда-то, и вскоре вернулся со старой джинсовой кепкой. — На, задом наперед надень, и хвост в городе из-за воротника не выпускай. Потом вернешь.

Том надел кепку.

— А тебя не узнать! — засмеялся Лелик.

— Я сам себя не узнаю в последнее время!

— А этот Индеец — он как вообще? — Монгол вернул всех на серьезный лад.

— Я ж говорю: я уверен в нем как в себе, — твердо сказал Лелик. — Хотя, конечно, в себе я не всегда уверен. Да и столько времени прошло.

— Он ударник?

— В том числе. С Обломистом, кажется, в Харькове играл.

— С самим Обломистом? — Монгол аж подпрыгнул.

— Ага. То ли учился у него, то ли просто дружили. Но я не очень в этих делах волоку. Но человек он широкий, компанейский. Его весь Крым знает. Он обязательно впишет, а может, работу какую найдет. Я думаю, это лучший вариант. Но вначале подумайте, как вы добираться будете? На «собаках» двинете?

— Не, на электричках долго, — ответил Том. — Это ж не в Киев, а мы не хиппари, чтобы неделю тащиться. Мы на скорых поедем, зайчиками.

— Вот это правильно! Ни копейки капиталистам-угнетателям! — захохотал Лелик, и его карабасова борода весело затряслась. — Бутылки

сдали, и вперед. И не вздумайте квасить по дороге. Пожрать дня на три возьмите обязательно, а деньги в Крыму пригодятся. Хотя, конечно, деньги — это тоже пережиток капитализма. Но вы, я думаю, этот пережиток быстро переживете. Только ментам не попадайтесь, особенно здесь.

— Ну так что? — Монгол обернулся к Тому.

Том вдруг умолк. Он говорил, планировал, предполагал, но осознание необходимости ехать прямо сейчас и неведомо куда, пришло только-только, и, если честно, то застало его врасплох. Он никогда не уезжал надолго из дома, любил свою уютную дачу и всегда находил, чем там заняться.

Ему вдруг страстно захотелось сменить, как надоевшую одежду, саму жизнь. Уехать, уплыть, улететь куда-то далеко, хотя бы на время отложить, забыть все наскучившие бытовые проблемы, спрятаться среди незнакомых людей, стать другим. Но было еще и то, о чем Том и думать не хотел, и боялся себе признаться. Это его неразрешенный, неоконченный спор с отцом. Простить? Как его можно простить? Жить дальше, как будто ничего не случилось? А если случится? Как потом жить?

— Ну? — спросил Монгол.

— Надо с Дримом решить. У нас же концерт

на носу.

— На две гитары сыграют с Иваном, в акустике. Я позвоню.

— Тогда я не против, — Том пожал плечами.

— Ну вот и прекрасно, — сказал Лелик. — Двое — это лучше, чем ничего. Я сейчас в дом схожу, там чайник закипел уже.

Он вернулся через минуту. Разлил кипяток, набросал в чашки чаю со свежей мятой. Они пили его молча, как заговорщики, изредка и со значением поглядывая друг на друга, прислушиваясь к ночной тишине. Где-то неподалеку с глухим неживым стуком билась о фонарь ночная бабочка. За окном какая-то птица запуталась в ветках вишни, и, шумно хлопая крыльями, пыталась усесться поудобнее на ночь. В осоке у ручья без устали скрипела саранча и хохотали где-то неподалеку на ближайший дождь лягушки. Гости в доме тоже поутихли, будто почувствовав налившуюся тихими вечерними звуками дачную атмосферу. Мир будто сбросил толстую кожуру дневного напряжения, все наносное, вымученное, официальное, и теперь казался таким домашним, таким уютным, будто и не было больше ничего на свете, кроме этого дома, этого чайника, этого фонаря у порога.

Творческая интеллигенция

Дачную идиллию разрушил скрип открывающейся калитки.

— О, Степаныч пришел, — вскинулся Лелик, и, хлопнув дверью, поспешил ему навстречу.

Это был местный сторож. Он принес трехлитровую банку с прозрачной жидкостью. Они рассчитались, и сторож ушел.

— Ну, пошли в дом. Примете на посошок, — Лелик махнул рукой, осторожно зажав банку подмышкой.

Самогон оживил компанию, будто добавив смысла в опустевшие разговоры. Стульев на всех не хватало, и гости разбрелись, — кто по даче, кто по двору, составив компании по интересам. Лелик ходил между ними, попыхивая трубкой, иногда поддакивая, иногда зазывая к столу, где еще оставалась кое-какая закуска. Том подошел к окну, где стояли Лужа и Силин.

— Попомнишь мое слово, еще десять лет, и нас ждет процветание. Главное — коммуняк разогнать, — доказывал Лужа. В его длинном усе запуталась веточка укропа.

— Коммунистов можно только пережить, — от-

вечал ему Силин. — Это поколение пропитано коммунизмом, и еще не скоро уйдет. Мы привыкли все подгонять под свой возраст, все мерять своей жизнью. Но по сравнению с нашей жизнью история — это медленная черепаха. Поэтому мне кажется, что Украине придется куда тяжелее. Все дело в России.

— Россия скоро развалится, — говорил Лужа. — И трех лет не простоит. Кругом разброд, стрельба и дерибан. Вон Чечня уйдет, и остальные следом потянутся.

— Я не спорю. Россия большая, ей развалиться нетрудно. Просто не всегда появляется личность, соразмерная такой стране. Мелкой личности всегда проще рулить в малой стране, там эта личность даже кажется крупной. Но в России это всегда беда. Тут если мелок царь, то обязательно аукнется. А если крупен, то тоже. Но дело не только в этом. Тут многое от мифа зависит.

— От мифа? — Лужа изобразил внимание.

— Вот, к примеру, приехал человек в США, поселился там, обвыкся, — продолжал Силин. — А поскольку страна процветает, то новый гражданин постепенно начинает причислять себя к этой стране. Гордиться ей, разделять ее победы и сопереживать проблемам. Он присоединяется к

ее мифу, хотя даже не участвовал в его создании.

— Ну, они там, конечно, многое насочиняли, — говорил Лужа.

— Тут не важно, насколько этот миф объективен, а насколько это Голливуд. Если есть во что верить, если есть прошлое, на которое можно опереться, то значит, что такой миф состоялся и будет существовать в обозримом будущем. Человек красит место, но и место меняет его. Это как почва, которая питает народные корни. Она бывает либо бедная, либо богатая.

— Так, — соглашался Лужа.

— Миф собирает людей, консолидирует их в некую общность. Дает им идею, а значит, и силу ее воплощать. И у России такой миф есть.

— Ну да. Жили семьдесят лет мифом, — вставил Лужа.

— Я не об этом. Тут, может, слово не совсем удачное. Миф — это только отчасти фантазия. В основном он строится на победах, на произведениях культуры и искусства, на памятниках и народных достижениях. Можно сказать, что миф — это история минус ошибки. Не у каждой страны есть красивый, сильный миф. У немцев есть, у французов, у англичан. У русских. Триста лет великой страны, держащей под своим сапогом

одну шестую суши, — это же не чепуха! Этому многие завидуют. Но для русских это не главное. В их мифологеме есть не столько процветание, сколько стремление к справедливости, а это уже понятие метафизическое. Поэтому, истреби ты большую часть русских, загони всех под лавку, — миф останется. И даже если в этом краю поселятся различные эмигранты, — турки, чухонцы или эфиопы, если они перемешаются с русскими, то впитают в себя этот миф как закваску. Как Пушкин впитал, как Лермонтов, как Даль. Гитлер это отлично понимал. Поэтому, уничтожая памятники и музеи, руководствовался не животным садизмом, а холодным расчетом. Пока живы носители мифа, пока есть культура, пока миф дает силы, Россия обречена выныривать из любой смуты, подниматься наверх. Дезориентация этого мифа, его пересмотр неизбежно ввергает страну в хаос. Мы как раз наблюдаем такой период. Но это временно. Даже если уйдет Чечня, если за ней уйдет еще часть территорий, — Россия останется. Переболеет, встряхнется, будь она хоть черная, хоть узкоглазая, — не важно, она рано или поздно станет собой. Россию может сломать лишь Запад, но ему это сейчас не нужно. А Восток в нее втянется, поскольку миф о справедливости,

этот непобедимый русский миф, входит в любое восточное сознание как нож в масло.

— Как я понимаю, твой миф не ограничивается двадцатым веком. А как же СССР? — не унимался Лужа. — Зачем же была революция?

— А СССР, отказавшись от веры, немного переписал этот миф. Он стал строить царство справедливости, просто облек его в форму коммунизма. До революции русские освобождали соплеменников и единоверцев, после революции — африканских и азиатских рабочих и крестьян. Если бы не дубоватая советская идеология, то у цивилизованного мира не было бы вообще против него никаких моральных аргументов. Они просто не видели, что за идеи на самом деле крылись за всей этой марксистско-ленинской шелухой. Не орднунг, как у немцев. Не возвеличивание себя за счет колоний, как у англичан. Не цивилизаторское мессианство, как у США. А царство справедливости. Все они боятся русских, потому что видят их сквозь свой миф. Англичане думают, что русские хотят править миром ради его богатств, американцы — что русские хотят всем навязать свое мышление. Немцы — что устроить всем железный концлагерь. У каждого народа есть свой ангел и свой демон. Свойства

ангела народ присваивает себе, а своих демонов вешает на врагов.

— А что же, по-твоему, ожидает Украину? — покручивая усы, спросил Лужа.

— А Украине в этом плане повезло меньше. У нее такого мифа нет. Все эти народные обычаи, бандуры, вышиванки и прочий этнографический хлам есть у любого народа. Для мифа этого недостаточно, особенно в наше скоротечное время. Даже на английский парк нужно триста лет, чтобы люди увидели его красоту. А что есть у Украины? Стремление к независимости не уникально. В каждой стране есть область, народ, племя, которое стремится обособиться. Что еще у нас есть? География, самостоятельность, осознание себя как народа, как не-русских. Есть земля и море. Это все слишком материально. У нас нет главного — мифа о величии! Нам катастрофически нужна маленькая победоносная история. А если у народа нет великих басен о нем самом, то рано или поздно он предпочтет красивые басни соседей.

— Так не давали же, — пожимал плечами Лужа.

— А кому когда давали? России, может, давали? Но у русских есть свое Куликово поле, а у украин-

цев — нет. Мифа нет без победы, а победы — без войны. У Украины побед не было и быть не могло, поскольку победы украинцев встроены в русскую или польскую историю. Все сугубо свое, украинское, будет неизбежно бедным. Поэтому Украина рано или поздно обречена войти в чужую орбиту, принять чужой миф. Увы, Украина — это роза, привитая и расцветшая на русской почве. Без этого корня она будет чахнуть, превратится в колючий шиповник. Да, она будет существовать, но она выродится. Живые побеги расползутся по иным садам, а основное растение задавят более сильные культуры, нравится это нам или нет. История жестока. Но поскольку история — это книга с открытым концом, и невозможно раз и навсегда установить вечный мир, прочертить окончательную границу, расставить все точки, то здесь всегда будут жить силы беспокойства, поиска себя, сомнения.

— А Киевская Русь? — отвечал Лужа. — Чем тебе не миф? Она древнее России, а значит, ее корни глубже. И она неизбежно обратится к себе, заново прорастет в своей национальной почве. Это все — вопрос времени. Кончится эра перекрасившихся коммуняк, и национальное самосознание вернется к своему прошлому. Главное — укреплять

его, воспитывать, поливать эти корни. Конечно, это будет непросто. Нас гнобили поляки, потом царская Россия, потом СССР. Но мы сохранили самосознание, и теперь нам, как молодой нации, которая еще только формируется, представлен исторический шанс.

— Ницше говорил: фанатик легко занимается отрицанием, но когда формирует образ поклонения, то становится невероятно близорук, — парировал Силин. — Куда проще отрицать СССР, царя, поляков. Но меня всегда удивляло, почему вы сильны только «программой минус». Создайте нечто положительное, причем подлинно свое, ни на кого не похожее, и чтобы это всем понравилось. Вы в этом своем национализме сидите, как в смирительной рубашке, точнее — вышиванке. Киевская Русь? А ты думаешь, что там не было бардака? Ведь это — времена удельных князей и бесконечных междоусобиц. Вы остались там, в древней раздробленной Руси, и ваша история остановилась. Вы хотите перекинуть мост в прошлое, но что дадут вам те корни? Чему научат? Россия отказалась от национализма, и это дало ей новое поле для жизни, для расцвета, нравится это или нет. Именно поэтому в ней творило столько иностранцев. Поэты, ученые, все эти Беллинсгау-

зены и Багратионы — они же стали русскими. И это преодоление национальных границ — достижение, поскольку в них сформировалась новая, более сложная реальность.

— А мне кажется, это говорит о том, что русские не способны на свою идентичность. Они не способны на подлинно свое, русское, поэтому и берут с мира по нитке, — говорил Лужа. — Они даже на протест против тирана не способны. Они всегда рабски поклонялись тому, кто жесток с ними. Вот хотя бы на это посмотри. — Он поднял рюмку. — У нас все пьют самогон. Сами гонят, сами пьют. Потому что мы — хозяйственные. А в России пьют только водку. Казенку, понимаешь? Они платят государству за то, что можно самим сделать в два щелчка. Почему не делают?

— Может, потому что — государственники?

— Нет. Или потому что ленивые, или потому что боятся! Русские просто органически неспособны к труду на себя. На свое, личное благо.

— Если бы боялись, то не победили бы ни Наполеона, ни Гитлера. И с турками едва бы справились. Пустили бы себе в огород цивилизаторов, как Мазепа… Хотя иногда мне кажется, что украинский национализм — он вообще не терпит государственности. Вы защищаете жест-

кую националистическую структуру, но если она появится, — вы в два прыжка станете анархистами.

— Почему?

— Потому что она потребует от вас жертвовать на благо родины, а вы же все индивидуалисты, вам свобода нужна. — Силин неожиданно обернулся к Тому, как бы беря его в союзники.

— Вот всегда так с националистами: ты им про высшие смыслы, а они тебе про садок вышнэвый. А ты что думаешь?

— Я? А я не думаю про все это, — сказал Том.

— А ты попробуй. Думка мозг развивает, — с чувством сказал Лужа.

Том пожал плечами.

— Вот была у меня раньше под окном клумба. Цветы там такие высокие росли, не знаю как называются. Белые, розовые. Шмели над ними летали, бабочки всякие. Даже алкоголики не опорожнялись там, — до того было красиво. А потом пришла славная перестройка, и клумба превратилась в грязную помойку.

— Да, со славой Михаил Сергеевич состоял в беспорядочных связях, — невпопад ввернул Силин.

— Я так и не понял, как это произошло, — продолжал Том. — Клумба вроде бы и против СССР

не голосовала, и независимость не поддерживала. Я также не уверен, что клумба — символ проклятого совка, поскольку нравилась она всем независимо от убеждений. Она вообще была както в стороне от политики. Лично я не припомню ни одной листовки против клумбы, но она взяла и умерла. Ради новых светлых идей ее потребовалось затоптать. Почему?

Том выпил рюмку, шумно вдохнул носом. Его никто не перебивал.

— Я знаю, почему это случилось. Потому что клумба хоть и на земле, но, по сути, она не материальна. Люди забыли о небе, и стали считать только выгоду. Настало время огородов. А от клумбы выгоды не было никакой. Ни картошки тебе, ни кабачков, еще и поливать нужно. Но без нее люди стали только хуже. Они смотрят на загаженный пустырь и злятся, потому что помнят клумбу. Восстанавливать ее невыгодно, но и выгода не решает всех проблем. Это я к тому, что пока в ваших теориях не найдется места обычной клумбе, то грош им цена. Что-то в ваших сюжетах не прописывается. И это что-то — очень важное, что нельзя пощупать. Не знаю, может, где-то по-другому. На Украине — так.

— По новым правилам теперь правильно го-

ворить не «на Украине», а «в Украине», — сказал Лужа.

— Я согласен, — сказал Том. — Только рано еще так говорить.

— Это почему?

— А потому что в Украине все мы будем только после смерти. А пока еще на ней, сверху. — Том отошел. Ему хотелось послушать Перовского.

Перовский, высокий молодой человек болезненного вида, с худым вытянутым лицом и темными кругами под глазами, в таких местах появлялся редко. Очевидно, что к Лелику его завели какие-то важные дела. Он стоял в углу у печки и разговаривал с Мясником. На самом деле он разговаривал с самим собой, поскольку его мало кто понимал. И уж тем более не Мясник, этот простоватый шумный коротышка с большим, не по возрасту опухшим лицом. Мясник был довольно грубым, даже хамоватым человеком, и сошел бы за гопника, если б не увлекся Death-металлом и связанной с этим атрибутикой смерти, черепов, перевернутых крестов и раскопанных могил. Это полное утробного рева музыкальное течение несколько приподняло над его природным окружением, добавив личности Мясника особой инфернальной эстетики, и ввело в круг людей

более умных и тонких.

— Человек, — говорил Перовский, глядя куда-то поверх Мясника, — это посредник между небом и землей, медиатор вселенной.

— Однозначно! — соглашался Мясник.

— Его глаголы воспаряют к Небу и требуют, они требуют от него ответа. Но Небо молчит. Почему оно молчит?

— Почему? — удивленно спрашивал Мясник, оглядываясь по сторонам.

— Может быть, потому, что человек не умеет его слышать?

— Может быть, ты бы закусил, Петрович? — говорил Мясник, подражая интонациям Перовского и постреливая на него маленькими, уже осоловевшими глазками, в которых всегда горел нервный злой огонек.

Он называл Перовского Петровичем, произведя это прозвище из фамилии, что казалось ему невероятно смешным. Но Перовский никогда не имел к нему претензий.

— Это было бы слишком просто! — отмахивался Перовский. — Да и что мне даст материя? Одни становятся ее рабами. Другие — наоборот, уходят в аскезу. Нет, человек призван к большему. Он призван стоять по ту сторону всего, что есть в

этом мире. Только так он может стать Богом, ибо и Творец всегда вне твари, Он больше ее.

— Но как? — делано удивлялся Мясник, театрально разводя руки и давясь от хохота.

Перовский был начисто лишен чувства юмора и никогда не понимал, почему собеседник смеется.

— Человек сам становится Богом только тогда, когда в храме его сердца поселилась Sophia. Фило-София, любовь к мудрости навсегда меняет его. Подлинный философ всегда играет с огнем, он опасен!

— Еще как опасен! — вторил ему Мясник, потрясая тяжелым, как кирпич, кулаком.

— Он всегда ходит на грани жизни и смерти! — продолжал Перовский, слегка покачиваясь на носках. — Войны он рассматривает как великие мистерии, но его может убить чистый лист бумаги! С презрением смотрит он на сильных мира сего, на всю эту погрязшую в низменных страстях псевдоэлиту. Мы, философы, — подлинная интеллектуальная элита! Только мы вправе управлять этим миром!

— Аааaа! — орал Мясник. — О да!!!! Мы будем править миром!

И зачем-то добавлял, все так же утробно рыча:

— Напалм дээээ-аз! Петрович, только скажи, когда? Когда это случится?

— Здесь и сейчас! Нет никакого течения времени, — говорил Перовский, — мы сами становимся рабами эпохи сиюминутного, катим колесо Сансары, выбрасываем на помойку сакральные мистерии, покорявшие Платона, древнеегипетские жреческие практики и опыты средневековых алхимиков, интуиции суфиев и открытия Анненербе. Они стремятся профанировать самую суть мира, швыряя собакам последние святыни прошлого, и под радостный вой толпы…

— Ууу! — подвывал Мясник, крутясь волчком и опрокидывая в себя очередную рюмку самогона. — На, выпей еще!

Перовский благодарно брал рюмку, отхлебывал маленький глоток, и продолжал:

— Эти тугоумные материалисты запаслись мнениями обо всем, что выходит за пределы их кругозора. О древних Элевсинских мистериях, об архаических культах, о суфизме Востока. Они называют, но не знают, изучают, но не чувствуют. Понять что-то можно лишь изменив свой ум, проникнув в суть явления, а не пришпилив объяснение, словно бабочку, шпилькой. Эти люди собирают гербарии, но они не в состоя-

нии постичь онтологическую красоту живого мотылька.

— Кстати, у моего деда пасека есть, — сказал Мясник. — Скоро качать будет. Привезти тебе медку, Петрович?

— Что? — на секунду Перовский потерял мысль. Он беспокойно оглянулся, будто пытаясь отыскать ее хвост, но обнаружил только рюмку в своей руке. Удивленно моргнув, он допил ее содержимое, и, подняв вверх палец с длинным обгрызанным ногтем, продолжил:

— Наш мир оставлен богами, но мы способны поднять дух над материей, переплавляя свинец невежества в золото чистого знания.

— Аааaа-а! Как же ты хорошо говоришь! — орал Мясник. — За материю! Тьфу. За эту. Это. Дух!

Том подошел к Лелику. Тот о чем-то беседовал с поэтессой Оксаной Адамовной. Та держала его под руку и, загадочно закатив глаза, говорила.

— А знаете, Сергей, вы не смотрите на мой возраст. В душе я молода и по-прежнему остаюсь романтиком. Вот, к примеру. Денег у меня конечно же мало, но как получу зарплату, — на одну половину куплю палку колбасы и яиц. Нажарю, знаете ли, яиц целую сковородку. Люблю очень яичницу с колбасой, с лучком! И хлебушка туда

покрошить. А на вторую половину — куплю билет в Киев, и как ма-ахну на съезд националистов!

Лелик уже подвыпил, что было заметно по его раскрасневшемуся лицу. Он улыбался в бороду и щурил глаза.

— Знаете, Оксана Адамовна, — говорил он, — когда анархисты придут к власти, они не будут препятствовать вашему национальному балагану. И здесь нам с националистами по пути. Но только до тех пор, пока националисты не изберут себе фюрера. А вы такие, вам без фюрера нельзя. Хоть завалящего, хоть плешивого, но чтобы всех в узде держал. Я даже знаю, зачем вам фюрер. Вы по плетке тоскуете. Только кажется вам, что вы других пороть будете, а на самом деле — вас.

Оксану Адамовну такие шпильки не только не отталкивали, но даже заводили.

— Анархизм, Сережа, — это очень интересно, и, я бы даже сказала, — романтично. Меня это тоже в молодости покоряло. Это, знаете, такая свобода, такая свобода, знаете ли, — страстно говорила она, и ее грудь приподнималась от глубокого вздоха. — Но в нем слишком много индивидуализма. Это как парус одинокий. Такое добровольное политическое одиночество. Но мне кажется, — продолжала она, хитро подмигивая и

делано грозя пальцем, — что лично вам одиночество не грозит.

Лелик загадочно улыбался в бороду. Оксана Адамовна была пьяна и легка. Наслаждаясь эффектом, она жарко продолжала:

— Одиночество — плохое подспорье для управления страной. А в нашем национальном парламенте найдется место и для вас. Как для самовыдвиженца.

— С вами скучно. Вы же все теоретики. Кропоткин говорил, что человек, вкусивший жизни сполна, — он философ более, чем какой-нибудь отвлеченный Шопенгауэр.

— Ружье уже висит на стене, — плотоядно усмехнулась Оксана Адамовна.

— Я не уверен в ваших силах.

Оксана Адамовна протерла запотевшие старомодные очки в роговой оправе, впервые за вечер глянув на Лелика, как учитель смотрит на отстающего школяра.

— А вы знаете, чем Украина отличается от Греции?

— Чем?

— В Греции все есть, а на Украине все может быть.

* * *

…Уже светало, когда гости стали расползаться. Том курил во дворе, Монгол, невидяще глядя перед собой, сидел у крыльца на скамейке. На веранде, под столом, тяжело храпел Мясник, с чердака доносилось звонкое сипение Оксаны Адамовны.

На веранду вышел Лелик. Его пошатывало. Засунув в рот носик чайника, он жадно допил остывший чай, и, сплюнув заварку, спросил Тома:

— Вы остаетесь?

— Не, мы домой.

— Ну тогда валите отсюда. В Крым, в Крым, все в Крым. Башка болит, спать хочу — смерть. Надоели.

— А этот твой… Крымский… Адресок дашь?

— Ща, погодите, забыл. — Он мотнул головой, скрылся за дверью и пропал.

— Уснул, что ли? — Том с Монголом топтались во дворе, ежась от утреннего холодка и слушая первых утренних птиц.

Наконец дверь распахнулась, но вместо Лелика в дверях показались Силин и Перовский. Они молча стояли в проеме двери, схватив друг друга

за грудки, то ли чтобы не упасть, то ли выясняя отношения. Лицо Перовского, обычно бледное, светилось нездоровым румянцем. Силин же, наоборот, был опустошен и подавлен.

— То есть ты хочешь сказать, что мысль материальна? — наконец спросил Силин.

— Философия — это моя сущность, это стержень моего самоощущения! — отвечал Перовский.

— А ты невероятно талантлив, — устало произнес Силин. — Это я тебе как гений заявляю.

— А вы, однако, сволочь!

— А ты — настоящий интеллигент!

— Почему это? — насторожился Перовский.

— Потому что интеллигент со сволочью всегда на «вы». — Силин, наконец, оторвался от собеседника и устроился на скамейке у крыльца, пытаясь прикурить.

Наконец появился Лелик. Тяжело спустился по ступенькам, чуть не сбив Перовского, заметил Силина, остановился.

— Силин! А, Силин!

— Чего тебе?

— Давай выпьем.

— Так кончилось все.

— Это да, — Лелик укоризненно глянул в окружающий мир. — Ну, может, рюмку чаю накатим?

За всемирную анархическую революцию.

— Все это треп и чепуха, — Сказал Силин. — Лучше спички дай.

— А что не чепуха? Идеи твои русофильские?

— И идеи мои тоже. Спички — вот что нужно.

— А из искры пламя — слабо?

— Курить хочется.

— Слышь, Силин. А как же все эти истории про русский миф, про царство справедливости.

— Это все там, — Силин махнул рукой куда-то вдаль, в сторону разгорающегося зарею неба. — Это не для нас. У нас русская идея невозможна. У нас нет и не может быть русской оппозиции. Я сегодня это понял.

— Это почему же?

— А потому, что русский и украинец — это одно и то же. Вот казахи могли бы создать свою украинскую партию. И таджики. И молдаване. А русские — нет. Ну нет у них на этой земле никакой уникальности. Украинец растворяется в России так же без остатка, как и русский на Украине. Политика — это лишь форма, но сущностной инаковости нет, понимаешь? Никакого тебе уникального творческого предложения. Лучше всего это чувствует украинский националист, но он не может это принять, потому что тут же

умрет, превратится в русского. Оттуда у него такой отрицательный заряд, оттуда он не живет, а постоянно корчит из себя что-то, наряжается. Как в сказке, понимаешь? Националисты — это заколдованные русские.

— Я ж говорю, тут только анархия.

— Лучше спичек дай.

— А в анархисты вступишь?

— Вступлю, только до утра.

Лелик полез в карман, но вместо спичек с удивлением вытащил оттуда смятый конверт, клочок бумаги и карандаш. Некоторое время смотрел на эти странные предметы, потом сурово глянул на Тома.

— Что, и вы тоже против мировой революции?

— Мы за мировую любовь, — ответил Том.

— От любви до оппортунизма — один шаг. — Лелик расправил листок на колене, черкнул пару строк, засунул в конверт. — Передайте Индейцу лично. На конверте его обратный адрес.

— Найдем — передадим, — хмуро ответил Монгол, засунув конверт в карман брюк.

— Давайте, выметайтесь! Долгая дорога лучше, чем казенный дом. Да, и вот еще. — Лелик оглянулся, на миг стряхнув с себя алкогольный угар. — Как будете уезжать, осторожней на вок-

зале.

— Спасибо, Лелик. Удачи!

— Бувайте!

Они зашагали по направлению к лесу.

— Короче, рюкзаки не берем. С рюкзаками зайцем ездить нельзя, палево откровенное, — быстро заговорил Том, чавкая мокрыми от росы кедами по курящейся туманом полевой тропе. — Сумочка небольшая на нос, и все. Чтобы, там, самое необходимое. Первое. Взять по одной шторе. Это вместо палатки и спальника. Их все равно нет, а закрыться от ветра или комаров не помешает. И объем у них куда меньше палатки. Второе. Я возьму пару литров спирта. Это восемь батлов водки, а в случае чего — и магарыч, и антисептик. С пустыми руками в гости ехать стремно, а с таким багажом никакой индеец не откажет.

— Ого! Откуда спирт?

— С базы одной. Валера, колдырь дворовой, навел. За бутылку.

Том вдруг ярко вспомнил, как перелез забор склада, подкрался к большой серебристой бочке, достал разводной ключ. И вдруг метрах в пяти от себя увидел огромную белую овчарку. Он застыл, обмер со страху, затаился… Но пес прошел мимо, медленно, будто в забытьи, даже не повернув

голову в его сторону… Вернувшись под утро, они сидели на кухне у Серого и гадали, неподвижно смотря на две полнехонькие канистры.

— Валера клялся, что этиловый.

— Все равно стремно.

В этот момент к ним вышел заспанный кот Джем, и зевнув, тернулся о ножку стула.

— Хоть и жалко тебя, но выбора нет, — вздохнул хозяин, и откупорил канистру. Он отрезал коту, не избалованному едой и вниманием, шмат колбасы, и обильно смочил его спиртом. — Держи, Джем. Зверю зверево.

Джем брезгливо понюхал колбасу, потрогал ее лапой, недоуменно посмотрел на хозяина. В конце концов, демонстративно морщась, съел.

— Радикально, я понимаю, — развел руками Серый. — Но уж лучше кот, чем… А я чайничек поставлю.

Пока они заваривали чай, кот съел еще один кусок колбасы. Затем поднял голову, внимательно посмотрел на людей долгим человеческим взглядом. Пошатываясь, вышел в коридор… И, вдруг, рванув с места, поскакал галопом сквозь спящую квартиру, пока не ударился головой в дверь.

— Убился? — шепнул Том.

Серый прислушался.

— Непохоже.

Действительно, из-за угла вскоре снова выглянул кот. Он улыбался, хотя и был предельно сосредоточен, как-то излишне погружен в себя.

Том хотел было взять его на руки, но не успел. Кот, заняв исходную позицию для прыжка, замер на миг, а затем снова бросился вперед. Сухой удар полого предмета снова рассыпался по углам, затих.

— Во дает! Еще раз, и дыру пробьет, — прошептал Том.

Но третьего раза не было. Джем, вернувшись на кухню, прошел юзом вдоль стены, повалился на бок… И замер.

Приятели, поглядывая на кота, молча пили чай.

— Щас посмотрим, — наконец сказал Серый и пощупал кота за шею.

— Жив? — нетерпеливо спросил Том, уже разводя спиртом воду.

— Теплый! Дрыхнет радикально.

…Через час они стояли перед спящим котом на коленях, и, размазывая пьяные слезы, говорили:

— Прости нас, Джем. Прости за такое… Выручил, брат…

— И с тех запасов пару литров осталось, — за-

кончил Том.

Монгол угрюмо кивал, думая о чем-то своем.

— Третье. Смена белья. Чистая рубашка и шорты для прогулок по городу. Чтобы ежели чего, — никто не отличил нас от обыкновенных мажоров. Ну там, личные принадлежности. Нож, бритва, щетка, и все такое. Я бы охотничий нож взял, но мало ли. Возьму столовый. Теперь по жратве. По кило сала на нос. По две пачки риса и гречки на каждого. Ну там, или сколько в сумку влезет. По две пачки чая. Хлеба купим на месте.

— Слышь.

— А?

— А ты Лелику этому доверяешь?

— Не понял?

— Ну, не знаю. Мутный он какой-то.

— Почему?

— Не знаю, — Монгол пожал плечами. — Разговоры какие-то непонятные. А сам все зырк да зырк за всеми. Как надзиратель. Слушает, и на ус мотает. А ты ему взял и все рассказал.

— Да ты что? Да Лелик… — Том даже остановился.

— Да? Ну ладно. Может, показалось чего.

— Ну ты даешь!

— Забыли. Короче, из припасов главное — все

впихнуть.

— Впихнешь, если захочешь.

— Я флягу воды возьму.

— У меня есть карта железных дорог, с расстояниями, — помолчав, сказал Том. — Ну и ключ-треугольник от вагона. Когда едем?

— Хоть завтра.

— Не, завтра не годится. Если ориентировки есть, то сейчас самая страда.

— Ну, давай еще дня три посидим, и вперед. Только из дома не высовывайся.

— И ты тоже.

Отъезд

Монгол зашел к Тому на рассвете. Тома ждать не пришлось: вечером он долго собирался и даже думал, что проспит, но встал, неожиданно для себя, еще затемно. На вокзал пошли по шпалам.

Накануне оба сдали бутылки, собрали немного денег. По совету Лелика, это был неприкосновенный запас, который предполагалось распечатать только в Крыму, и то в случае крайней необходимости.

Вокзал встретил их стаей собак и веселыми, уже опохмелившимися путейцами. Они крутились у дрезины, задорно покрикивая друг другу что-то на их птичьем языке, из которого понятно было только непечатное.

— Запах долгой дороги. — Том с наслаждением вдохнул горький запах полыни и тающего под утренним солнцем креозота.

На перроне было пусто. Лишь на скамейке у вокзала сидели две толстые тетки, то ли приехавшие, то ли уезжающие.

— А скока ты перцю на три литра кладешь? — спрашивала одна.

— Та на глаз.

— А уксусу?

— Та на глоток.

Монгол оглянулся, понизил голос:

— Иди в тот конец платформы, а я вокзал обойду.

— Зачем? Там же ментовка, — не понял Том.

— Ориентировку хочу посмотреть. Они еще спят, не боись, — подмигнул Монгол. — Встретимся на другом конце.

— Аккуратно там. — Натянув поглубже кепку, Том пошел по перрону.

Монгол нагнал его через минуту.

— Я думал, нет никого, а там дежурный. Стоит, курит у отделения. А стенд прямо у него за спиной. Я не стал подходить, мимо прошел.

— Он тебя видел?

— Ага. Стрельнул, но не прицелился.

— Думаешь, не узнал? Мало ли? Цыплят по осени считают.

— Поздняк, цыплята на юг улетают, — усмехнулся Монгол.

В конце перрона они сели на скамейку.

— Кстати, ты знаешь, как снаружи вагоны различать? — спросил Том.

— Нет. Если ты не про цистерны.

— У плацкартных под окнами шесть ребер, а у

купейных два. На эсвэ тоже по шесть, но снаружи его и так видно: он ниже других. Вот и все.

— Откуда знаешь?

Том хмыкнул.

— Я ж тут после бурсы слесарем работал. Во-он там. Сутки через двое. — Он кивнул в сторону техстанции.

— А что делал?

— Стекла вставляли, замки ремонтировали. Два состава наших, один московский. Работы немного было, бухали больше.

— А я после школы на повара пошел, в столовую. Тоже быстро надоело. Надо было на водителя идти… Кажется, едет. — Монгол бросился было к вокзалу.

— Не спеши, здесь конец будет.

Монгол остановился. Мимо, шумно подтормаживая, проехал чихающий локомотив, за ним потянулась вереница грязных синих вагонов.

— Международный, — заметил Том. — Вряд ли влезем.

Двери открылись только в третьем вагоне. Больше отъезжающих не было, и они сразу бросались в глаза.

— Мест нет! — гаркнул проводник, не опуская подножки. Поезд простоял несколько секунд и,

чихнув, помчался дальше, в сторону восходящего солнца.

Они вернулись к техстанции, молча развалились на скамейке. Угнетающую тишину пустого перрона нарушали лишь собаки, лениво щелкающие зубами железнодорожных мух, деловито воркующие голуби да стрекотание старого механического табло в здании вокзала.

Том закрыл глаза. В тишине доносился неспешный говор вокзальных теток.

— Вродыло так вродыло. А я йому и кажу: та ты йижжай у город, та купы мэни банок на огурцы, — тихо говорила одна.

— А вин?

— А шо вин? Пишов на вокзал, Мыкола його проводжав. Гуляють по перону, туда — сюда, туда — сюда. Тоди бачуть — сотка лэжыть. Воны пишлы в гандэлык, та й пропылы. Тут пойизд, вин хвать за карман, а грошей нэма! То ж вин сам загубыв, потим знайшов, тай пропыв з Мыколою, нэхай йому грэць.

— А ты?

— Та отож сама пойихала.

— А вин?

— Та хто на. Мабуть знов з тым Мыколою, дидьки б його забралы!

— Авжеж!

— Та отож!

— Что это у тебя на сумке написано? — скучающе спросил Монгол.

— «Не проп'ємо Україну»? Сейшн в Киеве был. Мы с Серым ездили. По радио число сбрехнули, и мы приперлись на день раньше. Пришли под арку Дружбы народов. Внизу Днепр течет, красота такая. А там нет никого, сцену строят. Но мы быстро с местными панками познакомились, вписались на ночь где-то на окраине. На следующий день уже целой толпой пришли. Там Бутусов был, Сукачев. Но Мамонов — тот, конечно, всех порвал. Вроде кривляется, а будто телом твои мысли говорит. «Мухи источник заразы! Не убивайте мух!» Потом попса какая-то выступать пыталась, но они явно не туда попали. Народ им скандировать стал, в каком направлении идти. Тысячи людей, представляешь, посылают тебя на три буквы? Как они еще поют после такого, не понимаю. Я бы застрелился.

— Бабки, — весомо отметил Монгол.

— Но Киев — здоровский, — продолжал Том. — Там таких как мы, — тысячи. Неформальский город, не то что наш. Я думаю, скоро они всю страну изменят.

— Как изменят?

— Не знаю. В лучшую сторону. Свободы в них больше.

На горизонте вновь зашумел состав, и они подошли к платформе.

Поезд остановился. В вагоне напротив открылась дверь, выглянула сонная проводница.

— До Харькова подбросите? — поинтересовался Том. Голос его прозвучал неуверенно и даже как-то скромно.

Проводница зевнула, окинула перрон ленивым взглядом, молча закрыла дверь, и состав покатился дальше.

Время шло. Тетки уехали, их место заняла женская спортивная команда со смешными круглыми клюшками.

Вокзал оживал, а они все еще топтались на платформе.

— Может, нужно было хотя бы до Харькова взять? — спросил Монгол.

Том не ответил. Он чувствовал себя идиотом. Они пришли без денег на вокзал и хотят добраться аж в Крым. Дичь какая! К тому же не в их положении крутиться на таком стремном месте, как вокзал!

Они ушли подальше с перрона, сев на скамей-

ку у длинного деревянного барака техстанции. Монгол тоже разволновался.

— Уже восемь. Щас менты повыползают. Надо шота делать! Может хотя бы до Харькова купить? — повторял он.

— Уже опасно. Только у кассы светиться.

Больше всего Том боялся, что еще пару таких бесплодных часов, и их покинет азарт путешественников. Вначале робко, потом настойчиво застучат в голову трезвые мысли. Они заставят их одуматься, плюнуть, повернуть назад. Засесть на время дома. Но ведь это же не выход, это отсрочка.

Они просидели еще час, пока, наконец, не показался вдали видавший виды локомотив харьковского поезда. Народу на платформе было полно.

— Поздновато! — Монгол с досадой глянул на восток, где набирало свою жаркую летнюю силу солнце.

— Лучше поздно, чем никуда. — Том решительно зашагал к перрону. Он заготовил басню про провожающих, но проводник, седой растрепанный мужик в засаленном синем кителе, даже не глянул на них. Быстро проскользнув мимо проводника, они прошли в конец вагона, и, бро-

сив сумки на третью полку, поскорее вышли в курительный тамбур.

— Вокзал уезжай, уезжай, вокзал. Давай, дорогой, а то надоел уже, — прощался Том с родным городом.

Вокзал не слушал, продолжал тянуть пружину времени. Каждый миг был наполнен напряжением и каким-то беспомощным трагизмом. Оба непроизвольно дернулись, когда распахнулась дверь, и через тамбур протиснулась боком старуха с мешком и сумкой-«кравчучкой» на колесиках. Тепловоз издал, наконец, долгожданный свисток, и вокзал за окном медленно пополз назад.

— Да! Да! Четыре часа, и Харьков у нас в кармане! — Том жадно вглядывался в бегущие за окном пыльные заборы задних дворов. Его сердце ликовало. Он вдруг почувствовал, что вот сейчас, в этот самый миг у него началась новая, свободная жизнь. Мимо, в опостылевшее прошлое, трусливо бежали убогие бетонные дворы серых пятиэтажек с обозленными старухами у подъездов, мрачные закопченные цеха старого завода, размалеванные похабщиной заборы, вонючие помойки. Туда, в вечную память уходил целый мир казенных истин и придуманных героев. Что

было впереди? Он не знал, но был уверен, что там все будет искренно и честно. Там все будет зависеть только от него.

Минут через пятнадцать в тамбур заглянул проводник.

— А вы шо тут делаете? Де ваши билеты?

— А мы из соседнего вагона! — нашелся Монгол. — Покурить вышли.

Проводник недоверчиво оглядел их с ног до головы.

— Идите на свои места, у нас в поезде ревизоры.

Они перешли в другой вагон, и сели в самом конце.

— Вещи там, — сказал Монгол, — может, забрать?

— Забей. Проводники думают, что все пассажиры к вещам привязаны. А пассажиры думают, что это чьи-то соседские вещи. Нам бы от ревизоров как-то спрятаться.

— Может, наврал?

— Может.

Хлопнула дверь, и в дальнем конце вагона показались три человека в синей форме. Первым в салон едва протиснулся здоровенный белобровый дылда лет тридцати. Форменный китель

явно жал ему в плечах. За ним появился второй, крепкий, как броневик, дед. Следом семенил уже знакомый им проводник.

— Граждане панове! Показуем билет, — спокойно, совсем по-домашнему, сказал дед.

— Никто не встает со своих мест. Билетики, граждане, билетики, — вторил ему молодой, стараясь придать голосу казенный и официальный оттенок.

Граждане покорно потянулись к кошелькам и карманам.

— Валить надо! — Монгол дернулся было к двери, но Том остановил его.

— Погоди. Заметят. Чуть позже.

Он ловил момент, когда они отвлекутся на кого-то из пассажиров.

Ревизоры тем временем, стараясь не терять из виду вагон, задержались у какой-то старухи. Та долго рылась в вещах, и все никак не могла найти билет.

— Да куда ж я его подевала?! — причитала она, роясь то в сумке, то в большом мешке, то судорожно хватаясь за полы старенькой кофты.

Дед махнул рукой и пошел дальше по вагону. Проводник последовал за ним. Молодой остался.

— Шукай давай, а то ссажу, — с легким презре-

нием бросил он бабке. Это был явно сельский выскочка, из тех, которые, едва осев в городе, надевают на себя мундир гаишника или куртку вахтера, и после этого сразу становятся чрезвычайно важными людьми.

— Та куда ж?! Куда ж?! — кудахтала старуха чуть не плача, беспомощно озираясь по сторонам.

— А не то вон? — Сидящая на боковой полке девушка показала под стол, где белел листочек бумажки.

Молодой посмотрел на девушку, на бумажку.

— Не, не он, — вздохнула старуха, и вдруг как-то съежилась, замолчала, умоляюще посмотрела на ревизора.

— Ладно, живи, бабка. Помни мою доброту. — Дылда еще раз взглянул на симпатичную девушку.

— Спасибо тебе, родненький. Спасибо! — с чувством запричитала бабка, хватая его за рукав.

Улучив момент, когда старик скрылся в одном из плацкартов, а молодой отвернулся, Монгол и Том рванули к выходу. Это движение не укрылось от проводника.

— Э, а ну стой! Все на свои места! — крикнул тот.

Как назло, в этот момент из тамбура вошли какие-то дети, и друзья замешкались у туалета.

Старик-ревизор проворно схватил Тома за рукав и заслонил собой проход.

— Идем мы на места, идем! Р-разрешите пройти! — сказал Том.

— Вы из какого вагона? — рыкнул дед, отпуская его руку.

— В гости зашли! — Том отодвинул деда, и спросил, буднично растягивая слова:

— Петя, какой у нас вагон?

— Восьмой! — бросил Монгол через плечо.

Дед отпустил Тома, и они, наконец, выскочили в тамбур.

— Эй. Восьмой в другой стороне! — сказал проводник.

— А ну стоять! — крикнул молодой.

— Та не бежи. Никуда не денутся, — услышал Том вслед.

Миновав три-четыре вагона, они увидели, как навстречу им движется еще одна пара проверяющих.

— Ничего себе, обложили. Сколько по участку ездил, а такого шмона не припомню, — нервно усмехнулся Том. — Ловят, што ль, кого?

Друзья шарахнулись назад. Вагон был купей-

ный. Монгол распахнул дверь ближайшего купе. В нем было совсем темно и тихо.

— А у вас можно посидеть? — спросил он, с надеждой вглядываясь в сумерки.

— У нас нет местов! — донеслось из темноты.

Монгол дернул следующую дверь. Она была заперта.

— Брось тратить время. Купейная публика сострадать не умеет, — сказал Том.

— Что делать будем?

— Пошли в плацкартный. Там вроде дверь наружу открыта.

— Прыгать собрался? — хмыкнул Монгол.

Они вернулись в плацкарт, глянули мельком через стекло в салон. В другом его конце уже появился знакомый проверяющий. Друзья бросились в тамбур. Дверь наружу действительно была не заперта.

— Ну что? У нас один выход: это — выход, — Том рванул ручку двери.

— Ты что, реально прыгать? — снова спросил Монгол.

— Я похож на идиота? Тут за углом — лестница. Она либо откидная, либо из скоб. Если откидная — дернешь на себя. Перегнешься, полезешь по ней и сядешь на перемычке между вагонов. Жди

меня там. Я постараюсь захлопнуть дверь. Не кричи, я все равно не услышу.

Перегнувшись за угол вагона, Монгол схватился руками за толстые металлические скобы и полез наверх.

Том дождался, когда приятель исчезнет за углом, еще раз оглянулся, подождал несколько секунд. В тамбуре было пусто. Он свесился, нащупал рукой скобу повыше, затем перенес левую ногу на нижнюю ступеньку. Зацепив носком правой ноги дверную ручку, что есть силы дернул ее на себя. Дверь захлопнулась.

— Давай руку. — Монгол уже сидел вверху, на перемычке.

— Я ж говорил. Свежий воздух, и народу почти нет, — засмеялся Том. — Электрособщение начинается только по Богодухову. Это узловая под самым Харьковом. Хвала Горбачеву: если бы страну не развалил, — здесь были бы электрички, и все эти сопли над вагонами. А так — простор, дизеля. Теперь главное — на станциях не высовываться. И про мосты помнить, чтобы башку не снесло. Мне папка рассказывал, как они в молодости катались. Его приятель по составу шел, спиной к тепловозу, и на мосту… Сразу полчерепа. Ну что, готов?

— Готов.

— Пошли.

С перемычки межвагонного перехода они вылезли на крышу. Наверху было грязно. Многолетняя копоть и сажа покрывали крышу черным матовым цветом. Монгол пригнулся, боясь потерять равновесие, и стоял, крепко расставив ноги и чуть согнув их в коленях, будто вратарь перед одиннадцатиметровым.

— Расслабься! — сказал Том и вальяжной походкой прошествовал до конца вагона, легко перепрыгнув на следующий.

Сверху поезд оказался достаточно широким, чтобы по нему можно было без опаски прогуливаться вдоль и даже немного поперек. Монгол осторожно дошел до края вагона, с сомнением посмотрел вниз, где на месте вагонной смычки неслась под колесами серая каменная река.

— Не бойся, просто смотри вперед, и прыгай. Из-под тебя не уедет. Закон физики.

Монгол прыгнул, схватился за Тома, удивленно посмотрел назад, сплюнул.

— Прыгал, как в последний раз.

— Ты вокруг посмотри.

Монгол на всякий случай расставил пошире ноги, и решился, наконец, посмотреть вокруг.

— Мама дорогая!

Что это была за красота! Внизу, по обе стороны состава, насколько хватал глаз, мелькали залитые солнцем луга и перелески, зеленели легкой салатовой зеленью молодые березовые рощицы, поблескивали оконца небольших прудов с белыми крапинками гусей. Вдали, из белесого марева горизонта, над которым висел желток юного солнца, медленно наползал на них темно-зеленый ельник. Тепловоз то гудел басом, то веселым свистком выплевывал короткую копченую струю, обдавая колышущимся жаром черную ребристую крышу, и летел, летел вперед через мосты и переезды, плавно поворачивая то влево, то вправо. За тепловозом покорно поворачивал первый вагон, за ним второй, и вскоре доходила очередь до их крыши. Ласковый теплый ветер дул в лицо, снимая все напряжение их непростого отъезда. Беспричинная детская радость охватила Тома. Как он вообще мог — еще совсем недавно — думать о том, что можно остаться дома? Как можно было променять настоящие приключения на унылое и тревожное ожидание? Разве может человек что-то узнать о мире, и конечно же о себе самом, если не покинет свою нору? Если не решится, наконец, бросить все то, что держало его,

чтобы остаться только наедине с самим собой?

На время они даже забыли, куда едут и зачем, всецело захваченные скоростью и ветром. Они были рады, и им были рады все, кого они встречали на пути. На переездах им сигналили водители машин. В них тыкали пальцами дети, удившие рыбу в юркой, как змейка, покрытой плитами реке. А за одним из поворотов вдруг открылась широкая поляна. У ее края паслись лошади, а в середине не спеша, с оттяжкой косили траву крепкие, голые по пояс, мужики. Завидев их, косари разом побросали косы, и, что-то крича, долго махали им вслед своими большими соломенными шляпами.

И они тоже, размахивая руками, что-то кричали им в ответ, что-то глупое и пустое, чего все равно не понять, не расслышать от гула и ветра. У Тома сорвало с головы леликову кепку, но он даже не обратил на это внимания. Пьяные от восторга, от внезапного безмятежного счастья, они с криками бегали взад-вперед по крыше состава, то перепрыгивая с вагона на вагон, то таясь в межвагонных проемах у маленьких полустанков с суровыми седыми мужиками и дородными бабами, оцепенело держащими в руках свои свернутые желтые флажки.

В мире нет ни одного транспортного средства, по которому можно было бы бегать, скакать или прогуливаться снаружи на скорости под сто километров в час. Кроме крыши состава, ведомого дизель-электропоездом.

В лесу, на одном из плавных живописных поворотов, поезд остановился. Высокие сосны стояли совсем близко от дороги, а где-то в небесах их кроны почти смыкались величественным зеленым шатром.

— Как-то тут… Нехожено, — заметил Том. Ему все хотелось дотянуться до ближайшей сосновой ветки.

— Ишь! Куда это вы залезли? А если спадете?

Том глянул вниз. На тропинке стояла старуха, до пояса замотанная в теплый платок. В одной руке у нее была сумка-«кравчучка», другой она опиралась на толстую суковатую палку.

— Тебе что? Шла, — вот и иди дальше, — бросил Монгол.

— Ишь. Молодой та глупый еще, — обиделась старуха. — Я вот помру завтра, а тебе потом стыдно будет.

Монгол, не найдя что ответить, отвернулся. Наконец поезд тронулся, покатил дальше, обвевая лица путешественников веселым и теплым

ветром свободы.

— Прикинь, ревизоры сейчас встретились, а нас не нашли, — смеялся Монгол. — По купе пойдут.

— Не думаю. Туалет проверят, и… Знаешь, что это? — Том показал на длинный провод, идущий вдоль крыши одного из вагонов. — Это штаб. Радиорубка. Сто пудов, сидят сейчас там и в подкидного режутся. Или уже где-то вышли.

Погода начала портиться. Богодухов встретил их легким дождиком. Когда зазмеились влево и вправо стальные вены рельс, они решили вернуться в вагон. Тут возникла небольшая заминка, потому что все вагоны сверху были одинаковые, но лишь одна из дверей тамбура была не заперта.

— Видимо, здесь лезли: сажа больше всего вытерта, — раздумывая, предположил Том.

Монгол осмотрел ближайшие два вагона и согласился.

Раскрасневшиеся, разгоряченные, они вломились в душный, задраенный вагон, и, забрав свои вещи, перебрались в соседний. В их новой плацкарте сидело всего два человека: пожилой толстый мужик и древняя бабка. Веселый праздник на крыше вдруг резко сменила атмосфера дремлющего, разморенного духотой вагона. Тома

так и подмывало крикнуть: эй, вы что тут дрыхнете! А ну, все наверх!

Через полчаса за окном показался большой перрон, медленно втащивший за собой помпезное желтое здание харьковского вокзала.

Дождь усилился. Мелкая морось чертила на пыльных стеклах блестящие косые линии.

— В Харькове всегда дождь, — подала голос бабка. — Как ни приезжаю к дочке, так и дождь.

— А я тут живу, — многозначительно ответил мужик, доставая вещи.

— Здорово долетели! — откликнулся Том.

— Жаль, что поезд дальше не идет, — вздохнул Монгол. — Мне понравилось.

Умывшись в привокзальном туалете от липкой дизельной сажи, они направились в здание вокзала посмотреть расписание поездов. Тома вдруг охватил азарт, который, наверное, можно сравнить с охотничьим. Он улыбался. Он хотел штурмовать, вламываться, прятаться, он уже чувствовал, что впереди — еще далеко, но уже совсем по-другому, уже ощутимо маячит самое сладкое и удивительное место на свете — далекая и теплая страна Крым, место вечного праздника.

— Чего такой веселый? — спросил Монгол.

— Боялся, что не уедем, — сказал Том. — Теперь

проще. Дом уже далеко, и назад не вернемся. Сейчас сознание переключится на новый режим. Больше нет закрытых дверей, а в кармане весь земной шар.

— Типа кураж словил?

— Типа того.

Но карта беспощадно сообщала, что они проделали едва ли одну пятую пути. Зато после Харькова дорога шла уже строго на юг, с каждым столбом прямо приближая их к заветной цели.

Поездов на юг было много. Ближайший, Минск — Симферополь, стоял на втором пути.

— Провожаем! — Друзья зашли в вагон, и, перебравшись в соседний, дежурно бросили сумки и ушли в тамбур, покурить.

Вскоре поезд тронулся. Выждав, пока проводница соберет билеты, они вернулись к вещам. В вагоне было чисто и пахло дерматином, пассажиры в приподнятом настроении предвкушали долгожданный отдых.

Забравшись на пустовавшую вторую полку, Том облегченно вытянул ноги. Монгол сел на боковухе, раскрыл кем-то брошенную газету.

Напротив него сидел мужик средних лет. Ему явно хотелось пообщаться.

— Что пишут? — спросил он Монгола.

— Всякое. Японцы изобрели прозрачный металл… Человек провел в аду полтора года и воскрес… Астролог Павел Глоба предсказал, что Третья мировая война начнется в 2001 году. Путешественника Федора Конюхова похитили инопланетяне. А вот про криминал… У харьковчанки Зинаиды Ряшкиной на даче поселились мыши. От мышей помогает кошачий помет, — посоветовала ей ее соседка Петровна, и предложила Ряшкиной забрать содержимое лотка ее кота. Зинаида Ряшкина согласилась. Она положила себе пакетик в сумку, и поехала на дачу, чтобы разбросать там помет по огороду. На даче она обнаружила, что в автобусе карманники вытащили пакет вместе с содержимым… Заявление писать не стала, а сразу позвонила к нам в редакцию… Да, подфартило кому-то, — захохотал Монгол.

— Всю страну разворовали, сволочи! — согласился пассажир, глядя, как хорошенькая молодая проводница понесла мимо чай. — Девушка, а вы куда такая интересная?

— Чайку купите, — скажу! — кокетливо улыбнулась та.

— А, давайте, — вальяжно сказал он тоном миллионера и потянулся к карману.

Проводница ушла.

Мужик повернулся к Монголу и заговорил с той легкой непринужденностью, которая присуща публичным людям.

— Как-то послали нас снимать день ВДВ. Я фотографом работаю, в одной московской газете. Поехали на ВДНХ, снимаем. Вижу — десантник такой колоритный, в тельняшке. С дочкой маленькой, и флаг в руке. Я его снял, потом разговорились. А он и говорит: если мое фото в газету поставишь, — сто баксов дам. Сто баксов! Я — в редакцию и давай главреду втирать: смотри, какой актуальный образ: ребенок на руках отца — символ будущего, отец защищает ребенка! Надо ставить. В общем, продавил. Потом созвонился с десантником тем, захватил пять экземпляров, приехал. Захожу в квартиру, а в ней все увешано фотками… Алисы Селезневой! Ну, «Гостья из будущего», помнишь? А посреди комнаты — ее статуя в полный рост. Оказалось, что это ее муж. Развелись они, а он по ней скучает.

— Баксы-то отдал? — спросил Монгол.

— Отдал, конечно. — Фотограф увидел проводницу и тут же потерял к Монголу интерес. — Сюда, девушка!

— А вы будете? — спросила она Монгола.

— Из ваших рук — хоть яд, — пропел Монгол.

— Яду у нас для пассажиров не положено, — улыбнулась она и снова ушла.

Вернулась проводница уже в совсем другом настроении.

— Так. Чай у меня взяло двадцатое. А кто это наверху? — хмуро спросила она.

Том не отвечал, делая вид, что его это не касается.

— Гражданин! — она толкнула его в спину. — А вы где садились?

— А? Та мы в гости зашли, — протянул Том, будто только проснулся.

— Поспать? А у себя не спится, да? Вагон какой?

— Восьмой! — буркнул Монгол.

— У Любки? А ну, пошли к Любке.

Что только не предлагали ей Том с Монголом. Построить замок, подарить луну, родить сына. Все было тщетно. Поезд остановился на небольшой станции, проводница откинула подножку.

— Приехали, ребята. Добро пожаловать в Павлоград! — сказала она.

Они не спеша побрели вдоль состава, обращаясь к каждому проводнику. Но те, словно сговорившись, не откликались на их просьбы. У первого вагона они остановились. Дальше идти

было некуда. Над ними возвышалась проводница. Она, как холодная и неподвижная статуя, молча смотрела поверх их голов в неизвестность, туда, где исчезала вдали блестящая, как будущее, колея.

— Белорусы — это люди, сделанные из особенного, каменного теста, — громко сказал Том, надеясь на то, что его слова растопят лед в сердце проводницы. Но та закрыла дверь.

Тепловоз тяжело и сочувственно вздохнул.

— Теперь понятно, почему немцы так сильно буксовали в Белоруссии, — Том с ненавистью оглянулся на зеленую кишку состава. — Все дело в проводниках. Не пускали врага без билетов.

— А еще у них моря нет, — сказал Монгол.

Том глянул на жаркий, лоснящийся маслом, тепловоз, в окошке которого конопатый машинист протирал тряпкой желтые поручни. — И на крышу теперь не залезешь. Эй, уважаемый! Тут же на крышу нельзя?

— На крышу? Можно, конечно, но ненадолго. Пшик, и в пепел. Контактный провод. — Тот провел пальцем по горлу.

— Я так и знал. — Монгол бросил сумку на землю, сел на нее, перевязывая шнурок.

— Что, на юга едете? — безучастно спросил

машинист.

— Ага. В Крым, к другу. Только денег нет. А ваши проводники выгнали.

— Какие они мои? Я местный, — улыбнулся машинист. — Но таких как вы, я уважаю. Я, может, даже сам в душе такой. Путешественник, можно сказать. А то жизнь идет, а мы все работаем, работаем.

— Так может, подбросите?

Машинист мотнул головой, глянул куда-то вдаль, убрал тряпку.

— А, залазьте!

— От спасибочки! — они мигом взобрались по металлической лестнице в тепловоз.

— Чешите в заднюю кабину. Только ничего там не трогайте, а то не доедем, — машинист хлопнул бесцветными, как лен, ресницами. — Да, забыл. Мой участок до Запорожья, там тепловоз меняют. Дальше спросите.

— Спасибо! — Том распахнул внутреннюю дверь и осторожно ступил на вибрирующий, лоснящийся от масла пол. Пройдя друг за другом его вонючее, грохочущее и пышущее жаром чрево, они распахнули дверь задней кабины. Здесь было относительно тихо и просторно. На широком пульте замерли видавшие виды приборы, стрел-

ки, рычаги. Перед креслом машиниста торчал большой круглый руль.

— Прикинь, да. Руль. — Том подергал тяжелое много раз крашеное колесо.

— Руль как руль, — сказал Монгол, — нормально.

— А ты не думал, как ему рулить тяжело?

Тут до Монгола дошло.

— Руль, руль! — захохотал он. — Зачем ему руль?

— Потому что без руля не положено, — ответил Том.

Тепловоз свистнул, задрожал мелко, как огромный зверь, и потащил, наконец, за собой висящий под лобовым стеклом тамбур первого вагона. Всполошились приборы, дернулась в правом углу стрелка большого, как чашка, спидометра.

Монгол развалился на кресле машиниста. Кресло было единственное. К стене было привинчено откидное сиденье, но на нем было совсем тесно, и Том, постелив найденную в Харькове газету, улегся на полу.

— Слушай, нормально катим! Не потеряли ничего, — говорил Монгол, отмечая, как низкий вибрирующий гул срезает все высокие звуки его речи.

…60… 80…

— Ты только посмотри, как мы несемся!

100… 120… 140!!!

— Вот это да!

Летела к дому земля из-под колес, неслись в равнинную даль бескрайние поля склонивших головы, уже посеревших от зноя подсолнухов. Пугаясь гудков тепловоза, взмывали над ними тяжелые тучи воробьев. Тепловоз трясся в мелкой лихорадке, ревел, жадно глотая летящие навстречу столбы. Рессор в нем явно не было, и поэтому стыки рельсов чувствовались всем телом.

Через полчаса, устав стучать зубами, Том поднялся, посмотрел на газету. От мелкой тряски она расползлась под спиной на мелкие кусочки.

— Садись, поменяемся. — Монгол лег на пол, вытянулся во весь рост.

Том развалился в кресле, смакуя глазами обыденную заоконную живопись. Навстречу им надвигался широкий фронт черных облаков. Поезд летел в тревожную грозовую даль, изредка озаряемую бледными сполохами. Вскоре с неба посыпались капли, потянулись от них по стеклам длинные неверные нити. Но уже через полчаса косматые черные тучи стали сдавать позиции, уступая место легким курчавым барашкам, и

вскоре вновь засинело умытое дождем, ясное, как будто новорожденное, небо.

— Я вот думаю, не будет ли в Крыму холодно? — размышлял Том. — У меня одни штаны, да и те на колене протерты.

— В Крыму по-любому тепло. Это ж юг, — уверенно отвечал Монгол. — Там дождей, наверное, вообще не бывает. Зато если будет жарко — то всегда можно шорты сделать.

— А может, действительно у Индейца впишемся.

— Я бы хотел, конечно.

— Но кто его знает, что это за перец, — сомневался Том. — Может, он Лелика уважает, а нас на порог не пустит. Видал я всех этих друзей друзей, знакомых знакомых. Они, я так понял, лет сто не виделись. Мало ли, что с ним.

— Ладно, не парься раньше времени. Прикинь, мы на юг едем! На юг! Держи! — Монгол достал сигареты.

Ночевка

Время летело быстро, еще быстрее убегал длинный-предлинный день. Все так же текли вдаль рельсы, плавились на закате, остывали, кованые ударами тяжелых металлических колес. Их становилось все больше, пока не появились за окном в вечерних сумерках мрачные околицы закопченных заводов, подсвеченных редкими фонарями.

— Ты матери сказал, что уехал? — спросил Монгол.

— Да. Сказал, что к твоему дядьке.

— И я тоже.

— А насчет ментов предупредил?

— Конечно. Если спросят, — скажет, что ничего не знает. Уехал куда-то, на заработки.

— Правильно. Моя тоже, — успокоился Монгол.

Том сверился с картой.

— А вот и Запорожье. Нам на выход.

Они тепло попрощались с машинистом, и, помня о непробиваемых белорусских проводниках, остались ждать новый тепловоз. Его подали через четверть часа. Из окошка кабины торчал

пожилой мордатый машинист в синей фуражке и жевал пирожок.

— Уважаемый! — обратился к нему Монгол.

— Шо трэба, хлопци?

— Дядьку, а пустить нас до сэбэ.

— Та куды ж я вас визьму? — скучно бросил машинист, не переставая жевать.

— А в заднюю кабину.

— Та туды низя.

— Та мы ж тока шо там ехали!

— Та ни. Машина новая. А вдруг вы шось поломаете, а мэни отвечать. — И машинист исчез в кабине.

— Раз на раз не приходится, — усмехнулся Том.

— Но ночевать тут как-то не того.

Минут через двадцать подошел еще один состав. Народу перед ним почти не было.

— Так, провожатыми мы тут явно не впишемся, спросят. Есть еще вариант, — сказал Том. — Пошли.

Они прошли вдоль состава и приметили вагон, в который не было посадки.

— Ага, третий с конца. Раз посадки нет, — значит, здесь нас никто и не ждет.

— Ты обоснуй, что ли, — сказал Монгол.

— С этой стороны лезть стремно, заметят. Мы

обойдем поезд, и попробуем открыть вагон. Проводники — тоже люди: есть шанс, что дверь закрыта только на ключ-треугольник. Ну, а потом, как обычно: вещи где-то бросим, и гулять.

Они обошли состав, прошли, осторожно оглядываясь по сторонам.

— Третий! — Том полез в карман за ключом, но в этот момент Монгол толкнул дверь в тамбур, и она поддалась…

— Открыта!

Они быстро влезли в вагон, тихо прикрыли дверь.

— Кажется, влезли, — шепнул Том. — Сейчас пойдем…

В этот момент в тамбур ворвались два человека. Это были проводник и милиционер.

— Ага! Попались! Как сюда попали?

— Так дверь же открыта, — пожал плечами Том, одной рукой отряхивая штанину, а другой судорожно засовывая ключ в задний карман.

— Шо ты врешь! Я сам ее закрывал! У вас ключи есть!

— Нету! Открыта была! — наперебой затараторили друзья.

Проводник шагнул к двери, и стал сзади.

— Так, а ну честно! — заорал он. — Это вы вчера

Кременчугский обнесли?

— Мы утром еще в Харькове были!

— Куда направляетесь? — спросил милиционер.

— Мы в Крым едем, проездом. Мы тут пять минут…

— Билеты покажите.

— Какие билеты? — развел руками Монгол.

— Откуда приехали.

— Так мы их выкинули.

— А в Крым билеты есть?

— Нет. Мы ж на перекладных.

Озадаченный вид приятелей укрепил подозрения.

— Ага! Едуть в Крым, а билетов нет! А ну, показуйте карманы! — засуетился проводник.

— Так, сейчас наряд вызываем. — Милиционер для убедительности щелкнул рацией.

Том побледнел. Он почувствовал себя полным идиотом. Злополучный ключ-треугольник, на который он так надеялся, теперь жег задний карман. Мало того, что он не пригодился, стал почти уликой преступления, так и выбросить его не было никакой возможности. И это в их ситуации, когда с ментами лучше бы и не знакомиться!

— Мужики, да вы что?! Мы пустые. — Весело

улыбаясь, Монгол сделал шаг вперед, и ударил себя по карманам.

Мент тщательно обыскал его спереди, похлопал сзади.

— Эй, я щекотки боюсь, харош, але! — извивался Монгол.

— Я тебе сейчас алекну в отделении. Показуй сумку.

— Без проблем! — Монгол присел на корточки, и демонстративно широко расстегнул змейку.

Том понимал, что тот тянет время, чтобы дать ему возможность сбросить ключ, спрятать его куда-то. Но стоявший сзади проводник не давал даже надежды сделать что-нибудь незаметно. Том молчал, глядя вниз на Монгола и с трепетом ожидая своей очереди.

Наконец, не найдя у Монгола ничего криминального, милиционер повернулся к нему.

— Ты показуй, — поддакнул проводник.

— Нет у нас ничего! — Том интуитивно присел на корточки и стал возиться со змейкой.

— Тут одежда. — Он достал чистую рубашку. — А тут сало, гречка, рис. Тут ножик, спички, соль. Зачем нам это, если мы составы бомбим? Мы в Крым едем.

— Может, подбросите? Нам бы до Крыма, а де-

нег нет, — нашелся Монгол.

Мент как-то сразу поскучнел.

— А что вчера-то случилось? — Том встал, незаметно повернувшись спиной к стене тамбура, небрежно повесил на плечо сумку и скрестил на груди руки, всем видом показывая, что обыск окончен.

— Банда тут ходит, — сказал милиционер.

— Шныряют по вагонам, хватают что ни попадя, пока пассажиры на станцию покурить выходят, — добавил проводник.

— От гады, — неподдельно посочувствовал Том.

Тепловоз дал свисток.

— Ладно, хлопцы. Поезд трогается. Выметайтесь отсюда.

— А может, возьмете? — без особого энтузиазма сказал Том, спрыгивая с подножки.

— Дуйте, пока не передумали! — крикнул мент. Проводник закрыл дверь. Поезд тихо тронулся.

Они молча смотрели вслед составу.

— Уфф! — облегченно вздохнул Том. Тот случай, когда остаться хочется больше, чем уехать.

Он достал ключ, повертел его в руках, и уже размахнулся, чтобы выбросить его в черную от копоти придорожную траву, но тут Монгол

вскинул руку.

— Э, ты что?! Мне отдай. Еще пригодится.

— Несчастливый он какой-то. — Том отдал ключ, и они пошли к вокзалу.

— Нет худа без добра. Хоть выспимся. Я сегодня в пять встал. А кажется, что это вчера было.

Они посмотрели расписание поездов.

— Следующий только через три часа, а попутная «собака» через десять минут. Ты где хочешь спать? В запорожских хоромах, или где-то на полустанке?

— Предлагаю продолжить движение, — сказал Монгол.

— Поддерживаю единогласно, — ответил Том.

В вагоне электрички было почти пусто. Монгол сразу растянулся на деревянном сиденье и, подложив под голову сумку, закрыл глаза. Вечерело. В вагоне включили свет. Том уткнулся лбом в стекло, всматриваясь в мелькавшие на горизонте редкие огни и выхваченные из сумерек полустанки. Ему нравились маленькие станции с крохотными, выбеленными мелом заборчиками, развесистыми яблонями и ленивыми кассиршами. Правда, после скорых казалось, что электричка ползет ужасно медленно. Что можно выскочить из вагона и легкой трусцой оставить

ее позади. Но выбора не было.

Уже совсем стемнело, когда они доехали до конечной, — небольшой станции со старинным, украшенным колоннами вокзалом.

Зал ожидания был маленький, и оттого казался набитым битком. В углу на желтых фанерных креслах устраивались на ночь два бомжа. Тут же галдело семейство цыган. Трое чумазых детей ползали по полу, играя в какую-то игру. У окна, под батареей, спал старик. У расписания стояла закутанная в черное старуха кавказской национальности, неподалеку сидели двое подвыпивших мужиков, напоминающих беглых каторжников.

— Душевно, — Монгол окинул зал глазами.

— Синочки, помогите бабущке, не понимаю ничего, — попросила старуха.

— Куда едете?

— В Киев еду, к дочке. Станцию перепуталь, здесь выщель. — Она вдруг схватила руку Тома своей костистой, как птичья лапка, но сильной рукой. — Синочки, я правильно еду?

— На Киев только завтра, в два часа дня, другие тут, наверное, не останавливаются. — Том пожал плечами. — Зато рано утром есть поезд до Харькова. Если с пересадкой, то будет быстрее. А если

нет, то ехать проще.

— Ага! Ага! — успокоилась старуха.

Они вышли из вокзала. На платформе было пусто. Лишь во тьме, на самом краю перрона, сгрудившись у небольшого пузатого магнитофона, танцевали рэперы.

— Тоже куда-то едут, — сказал Монгол.

— Молодцы! Свободные люди! Хотя, конечно, дрянь слушают.

— Не всем же быть такими умными, как ты, — сказал Монгол.

— Синочки! — раздалось сзади. В дверях вокзала стояла все та же бабка.

— Синочки! — повторила она. — Помогите мне!

— Так рано еще, бабушка. До поезда далеко.

— Дущно там. Воняет сильно. Тут хорощо. Воздух.

Они отнесли к скамейке два ее тяжелых чемодана и узел тряпья.

— Вот спасибо вам. Подожьди! — бабка полезла в чемодан, и вытащила оттуда небольшой сверток, и сунула его в руку Монголу. — Чай хорощий, трава! Кипяток в поезде есть, можно в поезде попить.

— Благодарю, бабушка! — Монгол спрятал па-

кет в сумку, повернулся к Тому. — Надо искать, где спать будем.

— Может, где-то тут есть вагоны в отстойнике? У нас всегда за станцией стоят. Там и переночуем.

Спрыгнув с платформы, они пошли вдоль рельс, по тропинке. Наконец за покосившимся сараем забор вильнул в сторону, и впереди, освещенный тусклым светом фонаря, замаячил силуэт одинокого вагона.

— Смотри! На ловца и зверь!

С вагоном было что-то не так, но что именно, издали было не разобрать. Наконец, они подошли ближе. Вагон был сильно помят. Они медленно обошли его, заглядывая в черные пробоины выбитых окон, окантованных серебряной крошкой каленого стекла. Одна сторона его обгорела дочерна; низ, где заканчивалась сажа, был ярко-рыжим от ржавчины. В свете одинокого фонаря он казался страшным скелетом огромного зверя.

— Ну что, залезем, раз пришли? — невесело усмехнулся Том, и полез на подножку.

Внутри стоял еще не выветрившийся запах гари и чего-то горького. Полки были вспороты, из них торчали куски поролона. Хрустя осколками, они медленно прошли вагон насквозь.

— Ни одного целого стекла.

— Смотри, — сказал Монгол, показывая пальцем в сумерки тамбура.

Там, на стене было вырезано полуметровое слово: «ГРОЗНЫЙ».

— Что за Грозный? — недоуменно спросил Монгол.

— Столица Чечни, или как ее сейчас там… Ичкерии. С войны прибыл.

— Штык-ножом резано. — Монгол провел пальцами по глубоким треугольным зарубкам. — Интересно, как он к нам попал?

— Может, наш вернули? — Том пожал плечами, поежился. В вагоне было холодно. Ночной ветерок гонял по коридору мусор и невесть откуда взявшуюся осеннюю листву. Ему вдруг показалось, что, усни они здесь, — можно проснуться там, на Кавказе. Где-то в горах, прямо посреди боя.

Выпрыгнув наружу, они еще долго стояли перед изувеченным вагоном, завороженно глядя в выбитые окна.

— Пошли, что ли, — наконец сказал Монгол, и они побрели к вокзалу.

Рэперы куда-то ушли. На платформе было пусто, лишь на скамейке перед вокзалом сидела старуха.

— Не замерзли, бабушка? — они сели рядом.

— Нет, синочки, тепло тут.

— А вы сами откуда?

— Абхазия.

— Красивые места, — неожиданно встрепенулся Монгол.

— Быль там, да? — обрадовалась старуха, и ее сморщенное лицо оживилось.

— Да, в девяносто втором был, в августе.

— Вай, как же ты туда попаль? Там же война бываль, — горестно всхлипнула кавказка. Эмоции на ее подвижном морщинистом лице пробегали легко и быстро, как тени облаков.

— Ага. Как раз началась, — Монгол вытянул ноги, покрутил носками. — А мы не знали, что у вас война. Никто не говорил. У нас тогда все сразу деловыми стали. Крутились, что-то меняли. А у меня одноклассник был, Филин. Неприкаянный такой, все время его куда-то тянуло. Как-то раз он заехал в Армению и хотел на Арарат залезть, но там оказалась граница. Проволока колючая, КСП[3], все дела. Сработала сигнализация, его заметили. Он в камыши, его поймали. Допросили, ничего не поняли, и посадили в камеру, где-то

---

[3] Примечания: 3
Контрольно-следовая полоса.

в части. Ясное дело, напугали его как следует. Что светит ему как шпиону и перебежчику. Филин загрустил. Подумал, что жизнь кончена, что впереди тюрьма, а в тюрьму ему совсем не хотелось. Сделал он петлю из рубашки, кое-как голову продел, и повесился на лампочке. Но там то ли лампочка не выдержала, то ли рубашка порвалась. Упал он с табуретки и разбил себе башку. В части испугались ЧП и от греха подальше отправили его кукурузником на ближайшую железку, на станцию.

Монгол замолчал, достал сигареты, как хороший рассказчик, со знанием дела растянув паузу.

— Спички дай.

Он глубоко затянулся, выдохнул вверх, будто воспоминание, облако сизого дыма.

— Ну это присказка. Короче, приехал он домой и наврал нам, что в Грузии кожанки копейки стоят. Поехали, говорит, бизнес делать. А мы, балбесы, поверили. Деньги собрали, и двинули втроем. Пацаны совсем, не у всех еще паспорта были. Приехали в Адлер, спрашиваем: как в Грузию проехать? На нас все как на дебилов смотрят и молчат. Никто ничего не объясняет. С нами еще Сява был. Он и говорит: о, смотрите, автобус

в Новый Афон. Я там в детстве с родителями отдыхал.

— Это Грузия? — спросил Том.

— Не-а, еще Абхазия. Грузия дальше. Но мы до Грузии так и не доехали. Филин включил заднюю: я с этой стороны не был, дороги не знаю. На самом деле ему было везде хорошо, кроме дома. А нам вроде как уже все равно куда ехать. Заплатили мы кучу денег, и едем в этот Афон. Автобус пустой, кроме нас никого нет. По сторонам смотрим: вокруг горы, ущелья каменные, реки в них текут. Утесы над головой висят, лопухи всякие выше человека. Красиво. Водитель курит, ну и мы закурили. Хорошо. Вдруг смотрим, — нас «девятка» обогнать пытается. А водила наш резко руль влево, и давай ее к обрыву бортовать. Чуть в ущелье не столкнул. Вай, думаем, — Кавказ, джигитовка! Кое-как до этого Афона доехали. Спрашиваем, как в Грузию проехать, на нас опять смотрят и молчат. То ли языка не понимают, то ли говорить не хотят. Молчат все, как глухонемые. Сява и говорит: тут море есть, пошли купаться. Ну, пришли мы на море. Людей нет, туристов нет, пляжи пустые. На лодочной станции старики сидят за столом, молчат и траву курят. Дым до моря стелется. Искупались мы, сидим, думаем,

что дальше делать. Тут какой-то местный пацан подходит и говорит: «Валюта есть? А то я деньги разные собираю». Ну, поменялись мы с ним, рубли на купоны, по курсу. И тут он говорит: на берегу ночевать нельзя, могут быть диверсанты. С одиннадцати — комендантский час. У нас тут война с грузинами началась, мосты туда взорвали, так что извините, пацаны. Лучше к вечеру покинуть наш гостеприимный пляж, потому что с моря грузинский десант ждут, пострелять могут. Тут я вспомнил, как водитель «девятку» в ущелье сталкивал: у нее, наверное, грузинские номера были.

Посидели мы немного, и пошли куда-то. Идем, смотрим, а там такая маленькая станция между тоннелями. Вокзал старинный, с колоннами, речка недалеко. Водопад журчит. Красиво. Рядом кинотеатр, а оттуда слышно, что индийский фильм идет. А вокруг — прям как Индия, только слонов не хватает. Лианы, бамбуки, пальмы всякие. Банан цветущий видел. Поели в ресторане, там тоже пусто. Перцу у вас, бабушка, в пельмени стаканами сыпят. Говорят: вам еще повезло, потому что красный кончился.

— Итабуп[4], синок, хорошо рассказиваль, я как дома побываль! — старуха улыбнулась, прикрыла глаза.

— А вокруг горы, очень красиво! И решили мы вверх полезть. Идем по тропинке, вдруг смотрим, — мужик навстречу идет, не кавказец. Оказался украинцем, нам обрадовался. Меня, говорит, Шрамко зовут, я «Кобзаря» три раза читал. Потешный дядька. А потом говорит: не, в горы не нужно. Костер разожжете, и не узнаете, кто вас в спину грохнул. Тут вначале стреляют, а потом смотрят, есть что с человека взять, или нет.

Бабушка всплеснула руками, горестно ойкнула, и, подоткнув узел под спину, снова закрыла глаза.

Монгол выстрелил окурком в темноту. Тот взмыл ракетой вверх, упал на рельсы, рассыпался пучком искр.

— Мы назад спустились, а тут и вечер. Потихоньку постреливать стали. Вначале где-то далеко, потом все ближе. Мы давай в дома стучаться, любые деньги за ночлег предлагаем. Не пускает никто. Боятся. Или через дверь говорят, или вообще не отвечают. Мы забегаем в какой-то

---

[4] Примечания: 4
Спасибо (*абх.*).

подъезд. Сява в одну квартиру звонит, Филин в другую, я — в третью. Тут моя дверь открывается, и на меня девушка смотрит, через щель. В подъезде темно, она со света меня не видит, за дверь вот так вцепилась. Вся в черном, глазищи такие, на руке браслет серебряный. Я смотрю на нее, рот открыл. На ее красивое лицо, на брови. На губы, на глаза. Молчу и думаю: зачем я это увидел? Как теперь мне с этим жить? Стою, как замороженный, спугнуть боюсь, как зверя дикого. Тут она к темноте привыкла, и меня увидела. Так глянула, потом смутилась, а в тех глазах… И «чего приперся», и «ну как я тебе», и «хороша, но не для тебя». Но тоже молчит, смотрит с интересом. Ждет, наверное, как я скажу. А я стою и думаю: зачем, думаю, Бог такую красоту создал, если при ней язык не работает? А потом шум в коридоре, она исчезла, вместо нее старуха. Бабушка ее, наверное. Зыркнула на меня, и дверью хлопнула. А я так и стоял, пока Сява за рукав не дернул: бежать нужно.

Монгол замолк на секунду, вздохнул.

— Так вот. Выбегаем мы из подъезда, а вокруг уже грохот стоит. Стрельба, бэтээры: не ездят — летают. И тараканы кругом. Огромные такие, рыжие, по улицам шастают, ничего не боятся.

Чем-то на бэтээры эти похожи, только маленькие. Ну, бежим мы куда-то по кустам перебежками, падаем. И ржем в голос, и страшно. Вдруг смотрим — вокзал. Мы внутрь, а там пусто. Вообще никого. Ну мы уже не удивились, что никого. Кому хочется на работе сидеть, если война…

Монгол снова замолчал, поглазел куда-то вверх, задумался. Потом усмехнулся, повернулся к Тому.

— И знаешь, что мы сделали? Вот вообще не угадаешь. Там стояли такие желтые сиденья, из фанеры, ну, на многих вокзалах такие. Так мы под перила влезли, чтобы ноги вдоль рядов вытянуть, и заснули! Вырубились враз! Вокруг ад творится, ты как будто сидишь в железной бочке, а по ней со всех сторон кувалдами лупят. Грохот стоит, а мы спим! Я эту войну сквозь сон слышу, а встать не могу: устал как собака. И вроде как в детстве, — спрятался под одеяло, и не страшно. И пуля права не имеет.

— А потом?

— А потом в вокзал солдаты русские забежали. Смотрят на нас, как на инопланетян. Документы проверили, говорят: валите отсюда, идиоты, пока целы. Вас сейчас тут в капусту покрошат. Ну они там чуть погрубее говорили, я при бабушке

говорить не хочу. А тут как раз поезд идет. Нас в него и впихнули.

Монгол глянул на абхазку. Она молчала, монотонно покачивая головой.

— Поезд Сухуми — Москва, я запомнил, — сказал Монгол, чтобы рассеять всякие сомнения. — Ночью шел. Вот такая история, бабушка.

— Повезло тебе, синок! — наконец вздохнула старуха. — Пльохо, синок, когда война. Грузины и абхазы мирно жиль. Пришел Гамсахурдия, народ ограбил, ущель. Грузины войну не начиналь, абхазы не начиналь. Гамсахурдия начиналь, змия. Грузин погибаль, абхаз погибаль, друг друга стреляль. Я в Сухуме жила. Грузин прищель, ограбиль, моему мужу прикладом зубы выбиль! Зубы хорощие быль, ни разу к врачу не ходиль!

— Если бы плохие были, наверное тоже было бы жалко, — усмехнулся Том.

— И плохие жалько, и хорощие жалько! — причитала старуха. — Всех жалько! Плохой человек — он тоже жить хочет, он тоже пользу приносит немножько чуть-чуть иногда, да?

— Ну, теперь там как дела? Там Шеварднадзе, кажется? — спросил Том.

— Шеварднадзе всегда там, давно там! — прошипела старуха с неподдельной ненавистью. —

Шеварднадзе все устроиль, абхаз не любиль, змия! Дома пахать нужьно, сеять нужьно, убивать нельзя человек. Если убивать — кому жить тогда? Кому земля останется? Зачем земля, если человек стреляль, потом умер. Для могилы только земля, щито ли? Война сыновей не даваль, война сыновей забираль.

— Неужели нельзя собраться, обсудить все? Взрослые же люди.

Старуха вздохнула, невидяще посмотрела в конец платформы.

— У бещеный собака нет хозяина.

— Пойдем мы. — Том поднялся, взял сумку. Монгол тоже встал.

— Спокойной ночи, бабушка!

— Спокойной ночи, синочки! — эхом отозвалась старуха, и ее причитающий голос еще долго разносился по пустому перрону.

— Но вообще хорошие люди, — произнес Монгол. — Добрые, как дети. Зачем друг в друга стреляют, — непонятно.

— Ну, мы ж тоже в детстве друг в друга стреляли, — отозвался Том каким-то своим мыслям.

На вокзале почти ничего не изменилось: цыганский улей со своими многочисленными узлами и детьми уже притих. Бомжи, нахохлив-

шись, клевали носом. Время от времени кто-то всхрапывал, и под старинными сводами станции разносилось гулкое басовитое эхо. Ночевать рядом не хотелось.

— Смотри! — Монгол показал в темный угол вокзала. Там, у двери с надписью «Милиция» вела наверх широкая лестница с толстыми каменными балясинами.

Они тихо поднялись по ней и оказались на небольшой площадке с единственной дверью и большим арочным окошком напротив. На двери была надпись «Начальник вокзала». Под окном во всю длину стены располагался широченный и совершенно пустой подоконник. Там-то они и устроились, растянувшись во весь рост ногами друг к другу.

Все вокзалы пахнут одиночеством. Том любил их особый запах, но ночевать здесь ему еще не приходилось. Посторонние, чужие звуки окружили его, тревожили, мешали уснуть; где-то спросонок ругался пьяный, где-то хныкал ребенок. За стеклом, совсем рядом, на ветке дерева, трещала неугомонная саранча. Провалявшись с полчаса в напрасных попытках уснуть, он открыл глаза, глянул в окно. Напротив, над самой кромкой леса, виднелся кусок ночного лилового

неба. Где-то за небом протяжно завыла собака.

— Может, накатим по стакашке? — встрепенулся Монгол. В руках у него тускло блеснула стограммовая граненая стопка.

— Не хочется. Давай уже доедем.

— Ну, как знаешь. — Монгол снова лег.

«Зачем я тут? Какая нелепая сила вытолкнула меня с привычной орбиты, загнав на этот забытый полустанок? — размышлял Том. — Лежал бы себе тихонько, в своей теплой кровати. С одеялом, между прочим».

«Нет! — спорил он сам с собой, — спать всю жизнь в любимой кровати — это значит ничего не увидеть, не познать».

Но чужой подоконник давил кости, и, в отличие от призрачных будущих приключений, он слишком, чересчур реален. Он неуютен и казенен, как и льющийся с первого этажа унылый свет люминесцентных ламп.

«Зачем тебе все эти люди, все эти странные звуки? — вновь и вновь всплывали в его голове нотки сомнения. — Ты же не бомж, не нищий, не скиталец. Ты человек с паспортом и местом жительства. Ты недостоин жить в своем прекрасном доме! Ах, как он далек он отсюда. Там уже гаснут огни. Крепко прижавшись друг к другу, заснули

голуби на газовой трубе у подъезда. Уже затихла за домом пьяная гитара, прекратил скандалить сосед, и конечно уснула даже та глупая рыжая собачонка, которая вот уже целый месяц будит по ночам весь район. Все спят! А ты — не спишь, потому что ты — здесь! Пересидел бы дома месяц-другой! Зачем, ну зачем ты поперся куда-то в даль, в неизвестность!»

— Зачем-зачем? Зачем-зачем? — глухо простучал во тьме за окном поезд.

Том пытался чем-то отвлечься от этого потока предательских мыслей, ожидая, когда тело уснет. Крыть ему было нечем. Тяжело спорить с мыслями о комфорте, особенно в первую ночь путешествия. «Утро вечера мудренее, — подумал он. — Почему? Потому что завтра поток событий выметет из головы все лишнее».

Мысли лезли в голову одна за другой, как назойливые мухи, — бессвязные, обрывистые, чтобы опять вспыхнуть осознанием своей бессонницы.

«Я опять не сплю!» — и Том вновь выходил из полудремы, обижаясь на самого себя, и от этого просыпаясь окончательно. Монгол всхрапнул, перевернулся на бок, свесив руку с подоконника.

«Вот гад! Дрыхнет, как дома», — Том приподнялся на локтях, с завистью всмотрелся в его лицо.

За последний год, несмотря на разные характеры, они сдружились. Привыкший к суровым пацанским базарам Монгол говорил коротко, емко, иногда нарочито двусмысленно. Том, напротив, был любителем поспорить, пошуметь, часто только ради спора, занимая позицию, с которой он и сам был внутренне не согласен. Он воспринимал мир легко, доверяя ему самое сокровенное, и бескомпромиссно обличая его недостатки. Ему казалось, что если объяснить людям, в чем они заблуждаются, то сами они, по велению своего сердца, станут лучше. Его самоуверенная искренность на грани хамства многих отпугивала, других же, наоборот, привлекала. Сам же Том считал, что таким образом отсеивает нормальных людей от всякого непотребного мусора. Монгол хоть и посмеивался над этой наивной чертой Тома, но где-то внутри ему нравилась такая резкая, беззащитная прямолинейность друга. К тому же разговорчивый Том никогда не критиковал его за то, что тот никак не мог толком научиться стучать на барабанах, и Монгол был благодарен ему за это.

Ему вспомнились те домузыкальные времена, когда они с Монголом только познакомились и «бегали на сборы». Цепочка неустрашимых,

довольных собой пацанов бежала трусцой по знакомым и незнакомым улицам. Перемещались всегда бегом, чтобы не успели менты, чтобы не узнали граждане. Иногда бежали тихо и быстро, иногда страшно гремели палками и прутьями в поисках врага, который всегда был где-то рядом. Прохожих не трогали. Бывало, что на пути им встречались их ровесники, которые «не бегали» за район, и имели неосторожность попасться под руку. Их били, скидываясь каждый по удару, а в качестве платы за школу жизни выворачивали карманы.

Иногда Пятерка ходила на вражеские районы, собирательно называемые «волчарней». Чаще всего это была соседняя Стекляшка, реже — далекая Десятка. Их район был больше и сильнее Стекляшки, поэтому тем почти всегда перепадало. Стекляшка дружила с «Десяткой», и когда те выходили вместе, — непросто было уже пятерским.

Вся эта жесткая пацанская организация несомненно завоевала бы весь мир, если б не полное отсутствие координации. Иногда свои убегали от своих, иногда, спутав, кто теперь друг, а кто враг, дрались в потемках с неопознанной подмогой из дружественных районов. Часто, вместо того

чтобы спешить на помощь, понтовато цеплялись к девкам, зависали по дворам в случайных встречах со знакомыми. Бежали туда, где никого не было, терялись целыми толпами, потому что «кто-то сказал, что кто-то слышал, что на самом деле…» Иногда этот организационный бардак удавалось немного упорядочить Громозеке, толстому веселому пацану. Он был глазами и ушами района, рассекая на своем горбатом «Зепере» по окрестностям, высматривая врага и предупреждая о ментах. Но Громозека ездил без прав, и поэтому на чужой район старался не соваться.

«Сходки» длились недолго, — максимум минут пять-семь, и были совсем не похожи на борьбу или бокс. Эти нервные мероприятия с использованием мата и подручных средств почти всегда заканчивались лужами крови, рваными ранами и лежащими в отключке пацанами. Дрались все по-разному. Одни рвались в самое пекло, холодно и размеренно тренируясь в секциях и затем оттачивая свое мастерство в реальной обстановке. Другие отчаянно халтурили. Падая как подстреленные, они терялись в самом начале драки, предпочитая опасные минуты отваляться на земле. Большинство пацанов старались держаться толпы, дрались неумело, но зло и ожесточенно.

Менты в драку не лезли и никогда никого не разнимали. Они всегда отстраненно наблюдали, как с ревом толпа бежит на толпу, как летят кирпичи и бутылки, а над головами с неприятным режущим звуком гудят цепи. Стоя у своих машин, они ожидали развязки.

Ментов боялись и презирали. Но, в отличие от простых граждан, они имели что-то человеческое, какие-то цели. Тома же всегда поражал пофигизм обывателей. Они, покорители космоса, победители в войне, они боялись их, пацанов, — по сути еще совсем сопляков. Завидя бегущую толпу, прохожие отворачивали глаза, жались к стенам домов, закрывались газетами. Общество взрослых вдруг самоустранилось, рассыпалось, не смогло защитить себя от своих же детей. Когда-то оно дало слабину, и уже боялось загнать под лавку гонористую, чуть оперившуюся пацанву. Том чувствовал этот ядовитый адреналин безнаказанности; его ужасал и одновременно радовал истекающий от прохожих страх. Иногда ему хотелось избить их всех, — только затем, чтобы сделать сильнее, чтобы вызвать у тех хоть какое-то возмущение их вседозволенностью. Серые мыши, влачащие свою серую шкуру с работы домой. Жуя перед телевизорами, они проели

свою страну насквозь, и этот животный страх был естественным плодом их пофигизма.

Их новый район быстро разрастался, и, как уверенно говорили местные пацаны, стал самым сильным в городе. Уже несколько лет «Пятерка» гремела в оперативных сводках милиции, забрав первое место по преступлениям у соседнего частного сектора, где обитали цыгане. Приезжие пацаны, заселявшие новые дома, быстро перезнакомились, нашли общий язык. Вскоре у обеих школ района, у магазинов и районной поликлиники появились патрули. Двое-трое малолеток рысью подходили к возвращавшимся из школы подросткам, и, растопыривая локти, выдавали ультиматум:

— Слышь, дятел, чего за раен не бегаешь? В пятницу, на девять, к «Матрешке», на сборы. Не придешь — морду расквасим. По-ял? — говорили они, делано сплевывая сквозь зубы, и удалялись.

Эти внушения действовали: по пятницам к местной дискотеке из подворотен и остановок стекались компании подростков.

Сборы Егор долго игнорировал. Пару раз его ловили, пугали, что превратят в котлету. Он обещал, что придет, но так и не приходил. Но после того, как Кольке десятские проломили скейтом

голову, он подумал, что нет смысла получать от своих и от чужих.

На окраине их района, в небольшом лесопарке стояла старая деревянная сцена со скамейками. Когда-то здесь давали концерты областные музыкальные коллективы, но те времена давно ушли в прошлое, о чем свидетельствовали загаженные задворки, изрезанные ножами деревья и кучи битых бутылок по кустам. Теперь перед пустой сценой сидели на скамейках разномастные пацаны, знакомые и не очень, в спортивных костюмах и школьных штанах. Поплевывали семечки, курили, негромко переговариваясь, всем своим заговорщицким видом намекая на то, что здесь происходит нечто важное. Новички стояли отдельно, жались, робея, к сцене. Наконец появился невысокий и худой гопник.

— Братва, всем привет, — небрежно бросил он, и сразу подошел к сцене. Он был ниже Егора, с темноватым лицом, черными как смоль волосами и быстрыми блестящими глазами. Он был даже тщедушным по виду, но в его уверенной фигуре, в манере говорить сквозила непонятная Егору сила.

— Заправ! Заправ! — прошелестело над нестройным рядом новичков.

Пацаны повскакивали со скамеек и подошли поближе, послушать.

— Эй, тихо там, — крикнул кто-то.

— Кто не знает еще, меня Черя зовут. — Заправ прохаживался вдоль сцены. — Завтра встречаемся на бурсе, в это же время. Там Девятка будет, у нас с ними сейчас мир. На волчарню вместе повалим.

— А что брать? — спросил кто-то из новичков.

Черя смерил вопрошавшего взглядом, сплюнул, глянул на часы.

— Пацаны, стрела у меня. Монгол, обоснуй, а я двинул. — Махнув рукой кому-то в толпе, он скрылся за деревьями.

На сцену влез хорошо сбитый пацан с чуть узковатыми, будто припухшими глазами и сломанным ухом. Буцнув попавшуюся под ноги бутылку, он оглядел толпу, набычился, прошелся косолапо по сцене, и, пародируя школьного военрука, грозно рыкнул:

— Кто тут не понял?

Он, может, и хотел казаться страшным, но за этим рыком явно чувствовался добрый и веселый характер: заулыбались даже напряженные новобранцы.

— Вопросы? — еще раз повторил Монгол.

— У меня меч есть, — сипло сказал Егор. От волнения у него пересохло в горле.

— Не слышно. Громче скажи.

— У меня меч есть, — повторил он. — Меч брать?

— Ты что, мля, в сказке?

— Я первый раз.

— Погоняло есть, сказочник?

— Нет.

— Будешь Том. Кто не знает: с собой берете палки, цепи, арматуру. Только самое простое. Только то, что можно сразу сбросить, если винтят. Не надо мечей, луков и копий. Нунчак, звездочек и прочего дерьма не брать. В карманах — соль, перец, гайки, шарики от подшипников. У кого есть, — берите карты.

— А зачем карты? — спросил невысокий пацан, стоявший рядом с Егором.

— Ты тупой? Зачем карты, пацаны? — Монгол театрально развел руками, и все загоготали. — Играть, ясен перец. Если кто попал в ментовку, — кликуху не палить.

— А теперь что?

— А теперь все. По домам.

— «Пятерка» короли!

— «Пятерка» короли!!!

«Будто собаку назвали», — думал Егор, мысленно ощупывая свой новый статус по дороге домой. Его кличка ему не очень нравилась. Ему больше бы подошло «Сказочник», или, на худой конец, «Андерсен», но уж назвали как назвали. С другой стороны, теперь он был в системе, а система защищала его, по крайней мере, у себя на районе. И эта принадлежность к чему-то сильному и серьезному внушала уверенность в его пацанячьем завтрашнем дне…

Той же ночью ему приснился сон. Он стоял на морском берегу, около невысокой бетонной стены. Стена шла вдоль моря, как бы отгораживая от воды узкий, заваленный камнями участок берега.

К стене подошел Монгол. Том вдруг почувствовал, что во сне они давно и хорошо знакомы. Монгол похлопал по нагретому солнцем бетону и засмеялся:

— Слушай, ну а стена-то здесь при чем?

…Протяжный свисток проходящего поезда вывел его из забытья. Саранча за окном уже уснула. Стало тихо и в зале ожидания. Лишь время от времени сонный диспетчер унылым голосом объявляла ничего не значащие направления.

Том отчаянно пытался заснуть, то поджимая

ноги, то вытягивая, будто запихивал ими остатки дня в черный мешок ночи. Но короткая летняя ночь уже сдавала позиции: за окном уже виднелись еще неверные очертания ближайших деревьев и высоковольтных опор.

Он приподнялся, снова глянул на Монгола. Тот сладко сопел, наморщив брови.

— Вот же гад, — снова повторил Том и закрыл глаза.

В пути

С криками петухов их принял на вокзале заспанный милицейский наряд.

«Повезло!» — успел подумать Том, сползая с подоконника под ободряющее и почти нежное постукивание резиновой дубинки по ноге, — удалось-таки на часок отключиться.

Они спустились на первый этаж и открыли грязную, обитую коричневым дерматином дверь с надписью «Милиция», рядом с которой стоял старый-престарый велосипед.

За дверью была длинная узкая комната. У окна стоял большой заваленный бумагами письменный стол. За ним сидел участковый и что-то быстро писал. Вдоль стены, у входа, под стендом «Их разыскивает милиция» сидели на откидных стульях мрачные и запухшие граждане. Среди них выделялся косматый светловолосый человек с угловатыми чертами лица. Из коротких обшарпанных рукавов грязной куртки торчали узловатые руки с черными ногтями, в которых он сжимал бесформенный самодельный рюкзак.

«Наш человек», — подумал Том и нервно бросил взгляд на стенд с преступниками. Знакомых

рож на нем не оказалось.

— Так как же ты свою картошку бросил и на юг едешь? — спросил участковый.

— Ничего с ней не станется, — ответил Косматый, теребя рюкзак. — Я умный, бурьян не пропалывал. Солнцем не пожжет.

— Мичурин, — усмехнулся участковый.

— Еще одни, на юг. Наверху ночевали! — доложил сержант.

— Что вам там, наверху, медом намазано? — спросил участковый.

— Товарищ начальник, — бодро сказал Том, тыкая пальцем в окно. — Вот наш поезд подошел. Мы сейчас уедем, и больше с вами не увидимся. Отпустите нас, пожалуйста.

— Тамбовский волк тебе начальник, — буркнул участковый.

Косматый вдруг заерзал, и вскочил, глядя на дверь.

— Да не боись. Ничего с твоим драндулетом не случится, — сказал участковый.

— Товарищ начальник. Отпустите, — еще раз повторил Том. — Опоздаем ведь.

Участковый наконец оторвал глаза от бумаг, глянул в окно и привычно недоверчивым тоном сказал:

— Покажите документы.

Они достали паспорта.

— Куда путь держим?

— В Крым.

— С какой целью направляемся в Крым?

— С какой… В гости. Друг у нас там.

— Гражданин начальник, сейчас наш поезд уйдет! — повторил Монгол.

Участковый небрежно глянул в паспорта, и, кивнув сержанту, сказал:

— Петя, а ну досмотри их.

Сержант взял сумку Монгола, расстегнул змейку.

Среди носков и пакетов с крупой он заметил облупленную по краям красную флягу-книжку, достал ее, болтанул в руке. Тяжелая фляжка утробно булькнула, как бы подчеркивая, что полна до краев.

— Что здесь? — в его вопросе зазвенели плохо скрываемые нотки предвосхищения победы.

— Вода, — сказал Монгол.

— Вода? — недоверчиво переспросил милиционер, и его брови прыгнули вверх. Хохотнув, он с театральным жестом отвинтил крышку, понюхал содержимое. Недоверчиво пригубил. Монгол не обманывал.

Том сразу поскучнел. В его сумке лежала двухлитровая бутылка спирта. Перед сном он положил ее сверху, чтобы было удобно спать.

— А почему через нашу станцию? — подозрительно спросил сержант Петя.

— В Запорожье поздно приехали. Деньги кончились. Потом сюда, на электричке.

— Что ж вы, без денег, и в Крым?

— Так мы ж не отдыхать, мы к другу. Отпустите, а?

— А может, вы воры-гастролеры? — сурово спросил участковый.

— Та посмотрите на нас. Он волосатый, я лысый. Какие мы гастролеры? Это ж форменное палево, — засмеялся Монгол.

В этот момент тепловоз призывно свистнул. Монгол тоскливо посмотрел в окно.

У ментов, видимо, тоже что-то екнуло. Участковый кивнул сержанту, тот засуетился.

— Так, теперь ты! — сержант поставил на стол сумку Тома. Быстро расстегнул змейку, вытащил бутылку.

«Какая нелепая утрата. И врать глупо, — все равно же проверит», — мелькнуло в голове.

Сержант поставил бутылку на стол, брезгливо ковырнув в недрах сумки, затем взял спирт, и,

вложив его назад в сумку, застегнул молнию.

— А теперь быстро отсюда! — крикнул участковый.

Не дожидаясь повторного приглашения, они ринулись к выходу. В этот момент из кармана Монгола вылетела его граненая стопка, и, ударившись о каменные плиты, брызнула осколками по полу.

— Ха-ха-хахахахаха! — захохотал Косматый.

Поезд еще раз призывно свистнул, звякнули замки вагонов.

— А-аа! — заорал участковый, добавив пару крепких выражений. — Забрали осколки, и вон отсюда!

Поезд тронулся. Проводница уже убрала подножку, но, увидев двух бегущих пассажиров, участливо закричала:

— Давайте быстрее, мальчики! Запрыгуйте!

Они влезли в вагон. Успокоились, немного отдышались.

— Докуда едем?

Убедившись, что поезд набрал скорость, Монгол широко улыбнулся и ответил:

— А докуда довезете.

— Так, новости! На следующей станции выходьтэ! — сурово отрезала проводница.

— А какая следующая?

Женщина отвернулась, не удостоив их ответом.

Они снова спрятали вещи на третьей полке и пошли гулять по поезду.

— А спирт не нашли, вот балбесы! — засмеялся Том.

— Ага. И ориентировок на нас нет. — Монгол широко распахивал дверь очередного тамбура.

— Думаешь, вообще нет, или до этой дыры еще не добрались?

— Не знаю.

Поезд был забит битком, лишь в последнем вагоне пустовало несколько плацкарт. Они подсели в одну, где дремал лишь один седобородый старичок в пиджаке.

Том вглядывался в неродной пейзаж за окном, и никак не мог сообразить, что же в нем изменилось. Чем отличались все те же тополя, кусты, трава от его родных мест? Вроде все то же, но что-то в них было не то. Они стали будто суше и в то же время расслабленнее, привычнее к солнцу. Да и само солнце стало светить чуточку ярче, придавая зелени особый, южный блеск.

После очередной станции в плацкарт зашел здоровенный мужик.

— Це мое мисцэ! — сказал он, глядя на Тома сверху вниз.

Том молча пересел на боковуху.

Старичок напротив проснулся.

Мужик сел на свою полку, снял пиджак. Долго и осторожно вешал его на крюк рядом с окошком. Затем достал из сумки сало, хлеб, яйца, огурцы, фляжку и небольшую походную рюмку. Наполнил ее до краев, выпил залпом, не смотря по сторонам, полностью погрузившись в процесс поедания пищи. Старичка соседская трапеза не интересовала. Он снова задремал, время от времени просыпаясь, чтобы ненадолго взглянуть в окно. Новый пассажир выпил еще одну рюмку, закусил. Затем свернул объедки, спрятал бутылку в сумку, вытер стол, откинулся назад, и, довольно поглаживая живот, сказал:

— От скоро прийдэмо до влады, и будэ порядок.

Пассажир напротив открыл глаза. Ему явно не хотелось говорить, но, видимо почувствовав, что не ответить невежливо, спросил:

— Кто это — вы?

— Националисты, — тихо, но с едва сдерживающейся гордостью сказал мужик.

Старичок не ответил.

— А вы, я бачу, с Восточной, — продолжал му-

жик. — У вас тута все по-другому. Чыновныкив годуетэ.

Старичок пожал плечами.

— Все сами себя кормят, — осторожно и вроде бы дружелюбно протянул он. — Вон, только флот поделили, а уже корабли туркам продают. По цене металлолома. От ядерного оружия отказались.

— Розумиетэ, то зараз останне поколиння тых, хто правыв при совке. — Мужик положил на стол свои огромные тяжелые руки. — Цэ ж вси комуняки перекрашэни. Будэ новэ поколиння, чэсна молодь прийдэ до влады. А мы допоможэмо.

— Поможете? Как?

Мужик хищно засмеялся.

— Та як… Звисно як, — зброею[5].

Старичок замолчал.

— Вы мабуть, думаете, сив дядько, та й болтаэ? — усмехнулся пассажир. Он снова откинулся на спинку, будто раздумывая, заново оценил собеседника, быстро глянул по сторонам. Старичок не вызывал опасений.

— Навесни був у Нижневартовську, — со вкусом сказал мужик. — Вахта в мэнэ там була. Так туды пистолеты прямо з Тульского заводу вэзуть. Без

---

[5] Примечания: 5

Да как… Известно как, — оружием (*укр.*).

номеров. По триста доларив за штуку. Я купыв.

Мужик потянулся было к карману пиджака, помедлил. Вытащил оттуда носовой платок, и, промокнув вспотевшее от водки лицо, глянул туда, где, прислонившись щекой к окну, сидел Том. Тот безучастно смотрел в окно.

— …А из Средней Азии — лазерные прицелы по 50. — Мужик перешел на русский. — Сейчас такой 1000 зеленых стоит. Я себе на «Сайгу» купил.

— Не страшно? Нелегально ведь, — спросил старичок.

— Почему нелегально? Все легально, документы на «Сайгу» в порядке, — мужик подмигнул, засмеялся своей шутке, и потянулся было к пиджаку, но глянув на Тома, вновь убрал руки на стол.

— В Карпатах много оружия, — понизив голос и смакуя каждое слово, продолжил он. — Очень жаркие бои были, и с немцами, и с поляками, и с большевиками. Зброя по лесам осталась самая разная. В некоторых местах до сих пор ходить опасно. В детстве, помню, скрутим несколько немецких гранат в одну, да як жахнем. Любили это дело.

Старичок молчал.

— Сейи вэсны на Георгия хтось из «Дегтярьова»

полывав. Таке село в нас, бандеривське, — ухмылялся мужик.

Увидев недоумение на лице собеседника, объяснил:

— У нас в селе на праздник Георгия Победоносца в воздух стреляют. Традиция такая.

— А вы сами-то откуда? — спросил старичок.

— З Галычыны. З одного славетного села. Про Симчича чулы?

— Нет.

— З нашого села вин. То вин генерала Ватутина пидстрелыв. И не в ногу, як казалы при Совдепе, а в плечо. Двадцять пъять рокив по лагерях. И тиейи ж думкы: вид демократив этих толку не будет, они только о себе и думают.

— Вы считаете, что нужно воевать?

— Тут не в этом дело. — Собеседник потер багровые кисти рук. — У Дмытра Донцова очень точное разделение всех людей на казаков и свинопасов. Сейчас нами правят свинопасы. Их нужно прогонять, и чем скорее — тем лучше. Но они будут сопротивляться, потому что за ними администресурс. Неизбежно прольется кровь, но она только сплотит народ. Ведь совершенно иное дело — государство, построенное на крови. Совершенно другая крепость цемента. А збройи у нас забагато.

Очень много, все у всех есть, и все к тому идет.

Мужик говорил весомо, отрывисто, будто колол дрова. Он уверенно отвечал на все вопросы, обо всем имел ясное представление. Том вдруг вспомнил слова Силина про миф. Этот простой мужик чувствовал все то же самое! У него был свой миф о независимости, — миф куда более живой, чем в других местах Украины. Его ясная, первобытная уверенность в своих словах не имела ничего общего с отрывочными интеллигентскими рассуждениями Лужи. Но в то же время у них было и общее. Легкое чувство самоуверенного превосходства, которое замечалось и в жестах, и в повороте головы, и во взгляде. Это чувство как будто бы лишало их необходимости что-то доказывать в споре, как иногда бывает со взрослым, уставшим от глупых вопросов ребенка.

— Если бы не было СССР, Украина, по крайней мере Западная, жила бы совсем по-другому… — продолжал мужик.

— Были бы поляки. Чем не оккупанты? — отвечал старичок.

— Поляки — совсем другое дело. Польша — культурная, чистая страна. Дороги — как этот стол. — Он протер рукой по бежевому пластику. — Я в Польшу часто езжу, хорошо знаю.

— А то, что поляки относились к украинцам как к быдлу? А польский гонор?

— Та не, такого не было, то вы с евреями путаете. Вот во время войны Богдана Хмельницкого евреев били. С одной стороны украинцы, с другой поляки. Забирали награбленное добро.

— Да как же не было? — вдруг оживился старичок. — А как же ОУН? Она же против кого организовалась? Против пацификации Пилсудского. Я сам помню рассказы своих знакомых. А Бандеру к смертной казни за терроризм кто приговорил? Русские? Нет, поляки.

Мужик помрачнел, его глаза уперлись в лежащие на столе кулаки.

— В нашем селе, когда пришли немцы, — они убили двух ОУНовцев, — тяжело ворочая слова, сказал он. — А когда пришли большевики, то убили 276 человек. Включая маленьких детей. Просто срезали пулеметами, приговаривая: «все равно бандеровец растет». Как к ним можно после этого относиться? Во Львове на месте тюрьмы в несколько слоев трупы, известью присыпаны. И мы знаем, что это не немцы. Оттого большевиков не любили, и били, где могли.

— Вы поймите меня правильно, — сказал старичок. — Я большевиков не защищаю. И страна,

и Церковь от них тоже натерпелась. Но ведь и немцы. Немцы тоже людей расстреливали. Культурный народ, а человеческой кожей мебель оббивали. Это как? А Бандера, — он разве за немцев не воевал?

— Да не, — легко отмахнулся мужик, — он всю войну в тюрьме просидел. Как только они независимость провозгласили во Львове в 41-м, — его и посадили.

— Но власть-то во Львове была немецкая, она же не просто там появилась, — гнул свое старичок.

— Немцы были временными попутчиками. Бандера хотел суверенную Украину, просто советские пропагандисты все смешали. Вот Мельник говорил, что немцы нам союзники и братья до гробовой доски. Из-за этого начался конфликт между обоими, и бандеровцы мельниковцев почти уничтожили. Бандера знал, что какой бы империалист ни пришел, — политика будет та же. Вот, например, кого большевики преследовали в 1939 году, тех же и немцы в 1941-м. Кого били немцы с 1941-го по 1944-й, тех били потом и большевики. Они друг друга не уничтожают, эти империалисты, а дополняют. Но это все, как говорят в России, преданья старины глубокой.

Разве вам нравится то, что сейчас происходит? Ведь повсюду дерибан, бывшие коммунисты под новой вывеской делят государство, а народ опять где-то сбоку.

— Не нравится, — сказал старичок. — Но у меня на этот счет другое мнение.

— Какое?

— Я православный священник. И отвечу как православный. Национализм по своей природе опирается на кровь, в прямом и переносном смысле. Чтобы выделиться по этому признаку, нация вынуждена, понимаете, вынуждена подчеркивать то, что она лучше, особеннее других.

— Вовсе нет. Я, например, уважаю тех же поляков, или немцев.

— Проблема не в вас. Если это станет государственной политикой, то неизбежно найдутся люди, которые будут считать иначе. Люди — они разные. Появятся и те, кто, найдя в этой идеологии приемлемую для себя нишу, будут презирать других. Вот вы уважаете немцев. Среди них были и хорошие люди, не потерявшие остатки совести, и изверги. Изверги есть везде, но раскрыться, воплотить свои деяния они смогли только благодаря национализму, благодаря теории избранности. А без этой теории так бы и

остались до смерти милыми людьми. И немцы проиграли в войне не потому, что были плохо экипированы, слабы или неуверенны, а потому, что этой избранностью возгордились. Эта сатанинская гордыня уничтожила не одно племя. Вот, например, апостол Павел. Вы только представьте: человек принадлежит к народу, у которого — Завет с Творцом. С Богом! Он принадлежит к избранному народу, — чего еще желать? И вдруг он говорит, что язычники ему братья, и, преодолевая свою избранность, идет проповедовать к ним.

Мужик молчал, тяжело глядя на собеседника.

— Да, вы правильно сказали: кровь — это крепкий цемент, — продолжал священник. — Но ваш крепкий дом не устоит, поскольку у него нет фундамента, нет Бога.

— Хорошая проповедь. Я ничего против Церкви не имею. Алэ я вважаю, що Церква, як маты, должна быть национальная.

— Вот именно. Это потому что у вас место Бога заменила родина, территория. А Христос следующих за Ним призывал отказаться даже от родителей. Вот, например, есть у нас праздник Покров. Почему мы, славяне, празднуем день, когда Богородица разбила корабли наших предков у православного Константинополя? Потому что

мы в первую очередь христиане, и только потом — славяне, народ.

— Я, може, крови и не хочу, но жыття — воно такэ… А Покрова — це не тильки церковнэ свято. — Мужик опять перешел на мову. — Цэ ще й дэнь народжэння УПА.

Он хлопнул себя по коленям, давая понять, что разговор окончен, и, отвернувшись к окну, замолчал.

Поезд замедлил ход. За окном замелькали столбы станции, а затем появился небольшой, залитый солнцем перрон Мелитополя.

— Бувайте. — Мужик встал, слегка поклонился священнику, и вышел в коридор.

В вагоне стало совсем душно. Южное летнее солнце разогрело его как консервную банку.

— Новоалексеевка, — Монгол дернул Тома за рукав. Название станции он проговорил с таким благоговением, будто бы они ехали именно туда.

— И что? — не понял Том.

— Как что? Следующая — уже Крым. Пошли в тамбур, покурим.

— Пошли.

Они вышли, Монгол достал сигареты.

— Видел? — произнес Том. — Матерый бандера. Не то что наши местные интеллигенты. Совсем

другое тесто.

— Я думал, ты ему начнешь баки забивать, — отозвался Монгол.

— Зачем? Каждый сходит с ума по-своему.

— Я бы укатал его.

— А не надорвался бы? У него руки — как мои ноги.

— Здоровый шкаф громко падает, — зевая, сказал Монгол. — Но я не стал рисковать, потому что у него пушка.

— Откуда знаешь?

— По глазам понял… Он вначале перед попом хотел хвастануть, а потом тебя стреманулся. Эх, моего бы дядьку сюда.

— Ты, кстати, обещал рассказать. Кто он у тебя?

— Дядька у меня героический.

— Это я уже слышал.

— Ну как… — Монгол собрался с мыслями. — Ветеран войны, воевал где-то на Белорусском фронте. Потом попал в плен к немцам, отправили в концлагерь. Три раза бежал, на третий раз — удачно. Каким-то образом оказался во Франции, попал к маки, французским партизанам. Воевал с ними до победы. Награжден орденом Почетного Легиона. После войны, не будь дурак,

остался во Франции, поскольку в родной стране за плен можно было еще и сесть. Вернулся уже при Брежневе.

— А что государство? Не посадило?

— Не только не посадило, но еще и квартиру в Москве дало, и на работу устроило. Он до пенсии книги с французского переводил. А потом ему душно стало, — что-то с легкими. И вот, на Крым поменялся. Старенький он уже. Лет под восемьдесят, наверно.

— Героический дядька, да, — протянул Том. — Ты адрес-то хоть взял?

— Конечно. Мамка написала. И банку варенья ему передала. Чтобы уж совсем с пустыми руками не ехать.

Предвкушая скорый финиш, Том крутил в руках карту с расстояниями между станциями.

— Тут совсем немного. И тут… Теперь совсем другое дело. По логике, следующая Джанкой, а там уже и до Симферополя дэцл! Еще чуть-чуть…

Поезд летел вперед, как лошадь, почуявшая близкое стойло. Он был уже почти родной. Стыки рельсов стучали в унисон с сердцем, наполняя его радостью. Проводники все разом подобрели, радостно улыбались пассажирам. Том сам будто слился с длинной железной гусеницей состава

в единое целое, и они вместе неслись к цели, жадно вглядываясь в раскаленное белое марево горизонта.

Природа за окном изменилась до неузнаваемости. Жухлые, высушенные солнцем тополя, колючки и серо-желтая земля уступили место соляным озерам Сиваша. Заискрились седыми берегами мертвые заливы, запахло йодом, соленым морским гнильем, еще чем-то горьким, незнакомым.

В тамбуре их обнаружила проводница.

— А, вы ще тут? Сейчас станция будет, вы выходите, — она сделала ударение на букву «о». — Выходим, выходим отсюда.

Она стала выпихивать их в рабочий тамбур.

— Милая, дорогая! Что же вы делаете? Где же ваше милосердие?

— Вещи забирайте! — отрезала та.

Они забрали сумки, вышли в тамбур. Наконец поезд остановился. Проводница распахнула дверь, подняла подножку, и жестом предложила проследовать наружу.

Том осторожно выглянул из вагона.

За дверью, насколько хватал глаз, стелилась бескрайняя, будто занесенная снегом, слепящая глаза равнина. Напротив тамбура торчал ржа-

вый, покосившийся остов будки, больше похожей на заброшенную автобусную остановку. Апокалиптическую картину завершала вздыбленная колесами грузовика колея жирной грязи, которая исчезала в белом мареве горизонта. Какой-то неведомый шоферюга проехал навстречу солнцу прямо через безбрежную соленую долину.

— Вы что, смерти нашей хотите? Это же Луна. Там нет ничего живого. — Том спрятался назад в вагон, развел руками. — Куда выходить?

— Ну шо з вас визьмэш! Йидьтэ вжэ. — Вздохнула проводница, и махнула рукой.

— От вы людына, не то шо те белорусы. Та може вам налить? — спросил Монгол. — У нас спирт есть.

— Та жарко, мальчики, — проводница, подобрела. — Йидьтэ вжэ, ладно.

— Вот спасибо вам! А можно у вас кипяточку? — спросил Том.

— Ох, хлопчики, вам як мэд, — так и ложкой. Он, у титани визьмить.

Том достал кружку, Монгол насыпал туда бабкиной травы.

— Может зелье приворотное? — вдруг спросил он.

— Ты и без зелья того… — Том повернулся, об-

ратился к проводнице. — Не хотите чайку? Травы Кавказа. Бабушка собирала.

Через минуту они сидели в купе проводников и пили втроем ароматный травяной чай.

— Та шо ж мы, не люди?! Мы ж люди тоже ж, мы понимаем, — охала проводница.

— Добро всегда возвращается. Закон вселенной, — говорил Монгол, угощаясь печеньем.

— Дай-то Бог, дай Бог, — вздыхала женщина. — Симферополь скоро. Пиду билеты раздам.

Они сели в конце вагона. Рядом, в последней плацкарте, ехала компания волосатых. С третьей полки, из-за рюкзаков, торчала гитара. Разморенные южной духотой, они спали. Напротив, на боковухе, сидели две цыганки с младенцем. Том кивнул на цыган, шепнул Монголу.

— Вон, видишь. Это вечные трайперы. Целый народ, который тысячелетия ищет что-то, ищет. Народ в движении, народ без дома. Наверное, они сыграли когда-то в игру, где на семь стульев шесть человек. И, когда музыка прекратилась, им не хватило своего стула. И теперь они едут, едут. Профессиональные путешественники. Вот у кого опыт!

— Может, ты с ними в таборе хочешь пожить?

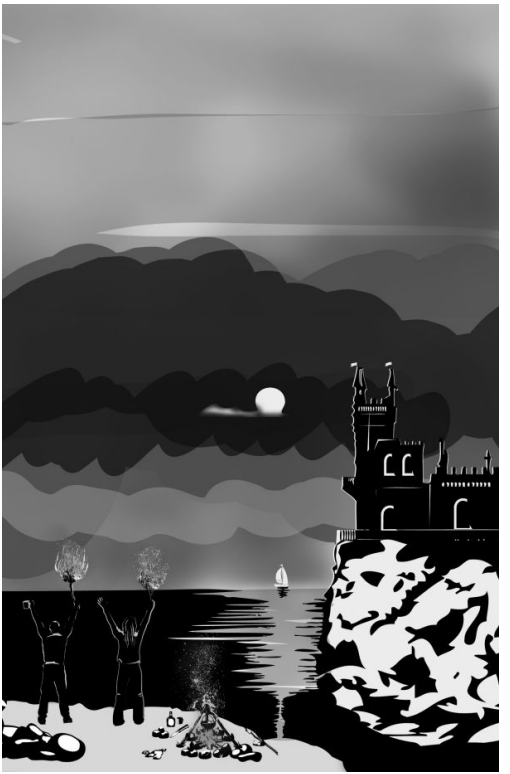
— Они меня не поймут. Я для них конкурент.

Симферополь начался внезапно. Когда за окном показалась белая колоннада вокзала с башенкой часов, пассажиры радостно засуетились.

— И все, что ли? — поскучнел Монгол. — Я бы дальше ехал.

Город встретил их теплым воздухом раннего вечера, запахом кипарисов и цветастой суетой приезжих. Проводники тепло прощались с пассажирами.

Часть 2



Крым

Они сели на скамейке у вокзального фонтана, раскрыли карту.

— Что-то тут Фрунзенского не видно.

— Мелковатая. Пошли, вон рынок. Там и узнаем.

Симферополь оказался грязным суетливым городом с разбитыми тротуарами и пыльными суетливыми дорогами. Тому он почему-то напоминал телеграфный столб, сплошь заклеенный старыми и новыми объявлениями.

Через четверть часа они уже знали, что Фрунзенское переименовали в Партенит, что это на побережье где-то за Алуштой, и дешевле всего туда добраться на троллейбусе.

Монгол долго ковырялся в карманах в поисках денег, пока на асфальт не выпал изрядно помятый Леликов конверт.

— Э, аккуратнее с почтой. Дай мне, у меня карманы поглубже. — Том расправил письмо, бережно положил его себе в задний карман, и они отправились на троллейбусную остановку.

Троллейбусы подъезжали один за другим, быстро всасывая в себя очередную толпу отды-

хающих.

— Может, так пролезем? — сказал Монгол.

— Не пролезем. Тут кондуктор. Бери до ближайшей остановки, а выйдем во Фрунзенском. Или как там его, — сказал Том.

— Сумку оставлю, — Монгол ушел к окошку кассы.

Том развалился у бетонной колонны. Его глаз лениво скользил по цветастым юбкам и летним шляпам, пока не наткнулся на длинноволосого блондина. Тот сидел неподалеку от него на куче рюкзаков и ел из пакета персики. Он поймал взгляд Тома, и между ними установилась та неуловимая связь, которая так легко появляется среди неформалов по принципу «свой — чужой». Том подошел поздороваться.

— Персик хочешь? — незнакомец опередил его и протянул пакет.

— Спасибо. Я два возьму, для товарища. Меня Том зовут.

— А меня Свен. Из Риги.

— А вы куда сейчас?

— Сейчас в Ялту. Там сейшн, много команд будет.

— А кто именно?

— Не знаю. Всякие. Местные, приезжие.

— Клево! Ладно, может еще увидимся. — Том пошел было к сумкам, но тут его осенило. Он бросился к Монголу.

— Слышь, едем до Ялты. Там сейшн, а Лелик говорил, что Индеец ни одного концерта не пропускает. Значит, сто пудов, он в Ялте! Может, даже играет.

— Во, масть пошла! — обрадовался Монгол.

Наконец к остановке, звеня и воя, подкатил их троллейбус, и они вместе с веселой толпой отдыхающих влетели внутрь. Троллейбус был древний и неповоротливый, как динозавр. Натужно взвыв, он покатил на пределе своих пенсионных сил, обдувая пассажиров из распахнутых окон. Степной ландшафт быстро сменили сопки, а за ними пошли кутающиеся в дымке облаков, покрытые сизыми лесами, горы. Троллейбус, утробно завывая, карабкался наверх.

По соседству с ними сидела компания хиппарей, которые ехали в их вагоне.

— Чего, пацаны, невеселые такие? Не выспались? — спросил Монгол.

— Цыгане с нами были и гитару мою увели! — Кисло улыбнулся темноволосый скуластый парень.

— Во как. — Монгол повернулся к Тому. — Ви-

дал, романтик?

— Столкновение цивилизаций кочевников. В большом вагоне кто первый встал — того и гитара, — изрек Том.

Троллейбус с трудом взял перевал и, весело звеня, покатился вниз.

— Море! Море! — встрепенулись дремавшие взрослые, а уставшие сидеть дети радостно полезли в окна.

За перевалом вдруг, — будто кто-то могучей рукой раздвинул горы и распахнул зеленый занавес, — открылся новый, неведомый мир. Внизу тяжелой стальной плитой лежало необъятное море. Справа оно упиралось в косматые, покрытые лесом утесы, над которыми высился угол похожей на шатер горы. Слева, за широкой солнечной долиной, топорщилось гигантскими каменными изваяниями длинное плоскогорье. Далекий морской горизонт клубился в туманной дымке. Его линия была размыта и нечетка. Там, где-то очень далеко, сливались воедино две одинаково чуждые человеку, непокорные стихии моря и неба. Они будто дразнили, необъятные, непостижимые, легко сосуществуя вместе, и при этом совершенно не нуждаясь в человеке. Тому на миг подумалось, что море напоминает время.

Вот оно, рядом, — ритмично бьет прибоем о берег, а другой его край, невидимый, непостижимый, теряется в вечности.

С пассажирами автобуса произошла неуловимая перемена. Все загомонили разом, повеселели. Так ребенок, предвкушая вожделенный миг счастья, с азартом и нетерпением ищет подарок под елкой.

«А ведь счастье — это когда нет невозможного», — подумал Том.

Солнце пробежало по его лицу, и в душе будто кто-то включил свет. Он вспомнил тот тонкий брюзжащий голосок, который глупо ныл в его голове этой ночью на неведомом полустанке, и усмехнулся.

Троллейбус повернул вправо и покатил вдоль моря по залитой солнцем дороге. Открытые окна дышали свежестью.

«До счастья теперь только рукой подать. Оно дорого победой, а они победили», — Том глядел в окно, жадно вдыхая смолистый запах таявших на солнце кипарисов. Монгол дернул его за рукав.

— В Ялту ехать не стоит.

— Почему?

— Народ говорит, что там нормального пляжа нет. Самые козырные — под Массандрой. Это

пригород. Выйдем раньше, искупнемся и пойдем себе по берегу. Говорят, что недолго. Времени еще часа три.

Они вышли в Массандре, и тут же увидели афишу.

— «В программе выступят около двух десятков рок-коллективов из Крыма, Украины, России и стран ближайшего зарубежья, — прочитал Монгол. — Вход 100 000 рублей.

Начало концерта в 21–00. Адрес: г. Ялта, городской курзал».

— Слышь, заломили цену, гады! — сказал Том.

— Как-нибудь залезем. Может, Индеец и пустит.

— Сильно мы ему нужны! — скептически заметил Том. Ему казалось, что чем меньше он будет надеяться на теплый прием, тем вероятнее он случится.

Массандра оказалась высоко. Они долго спускались к морю большим и густым парком, перепрыгивая через скамейки и срезая длинные тенистые аллеи. Впереди, за густыми кронами деревьев то и дело мелькал синий океан моря. И они неслись к нему, не разбирая дороги, предчувствуя, как уже совсем скоро окунут в воду свои потные, грязные, пропахшие железнодорожной

копотью тела.

Внезапно лес кончился, и они с разбегу вылетели на небольшую открытую площадку. До моря было еще метров сто. Оно было совсем рядом, неестественно синее, безбрежное, какое-то чересчур выпуклое, и шевелилось, будто живое. В самом его центре, прямо под слепящим южным солнцем, мерцало небольшое серебряное озерцо. В нем неподвижно стояли белые точки парусников.

Море! Том на миг подумал, что они никогда не доберутся до него… Оно тянуло к себе неведомой магией, обещая исполнение всех желаний, придуманных или еще нет. Оно так и будет маячить вечно, где-то чуть впереди, недостижимое в своей святой красоте. Как полузабытая сказка из детства.

С тихим остервенением они ринулись дальше. До долгожданной кромки прибоя оставалось метров двадцать, но тут перед ними встал двухметровый решетчатый забор.

— На штурм! — заорал кто-то рядом. Недалеко от них уже карабкалась через решетку компания каких-то хиппарей.

Еще минута, и, побросав сумки на галечный пляж, они спешно расшнуровывали кеды, рас-

путывали нахватавшиеся репейника шнурки, стаскивали одежду, подспудно соревнуясь друг с другом, будто от того, кто первый залезет в море, зависело что-то очень важное.

Монгол на миг опередил Тома. Он сходу разбежался, прыгнул, исчез под водой, вынырнул, сплюнул, улыбаясь во все тридцать два.

— Соленая.

Том нырнул следом в ласковую, переливающуюся солнечными бликами, воду. Она закурлыкала под грудью, тонкими струйками пузырьков покатилась вдоль тела.

— Я — прилетел! Вот оно, море! — громко пропел он.

— Вот оно, счастье, я прилетел! — подхватили неподалеку знакомую песню в незнакомой компании.

«Все свои! — подумал он. — Так и должно быть в сказке».

Через полчаса блаженства они, как земноводные, устало выползли на берег и вытянулись на обжигающей гальке.

Монгол был в восторге. Не прошло и пяти минут, как он снова ринулся в море, глубоко нырнул, размашисто поплыл кролем, вновь нырнул.

Том следил за ним из-под прикрытых ресниц,

и даже немного завидовал. Море, желанное, далекое, теплое, показалось ему простым соленым водоемом. В нем больше не было тайны, которая так манила его. Что это была за тайна? Тайна человека, который когда-то на заре своей юности вышел из воды? Тайна его детства? Неосознанная тоска по тем временам, когда *у него дома* все было в порядке?

— В одно и то же море нельзя войти дважды, — вздохнул он, и отвернулся, вдруг потеряв к морю всякий интерес.

Повсюду, куда ни кинь взгляд, возлежал различный неформальный люд. Это были нескладные, в рваной джинсе, бледные и загорелые, незнакомые, но такие родные люди. Они так же презрели обывательский быт тесных клеток панельных домов и ринулись куда-то далеко, в теплые края, в далекую Ялту. Лишь в дальнем углу пляжа, испуганно поглядывая в их сторону, жались друг к другу цивилизованные обыватели. Это они были формальными хозяевами пляжа, это их заботливо отделили от остального мира решеткой высокого забора и платным входом.

— Хороша водичка, — Монгол вылез на берег.

— Посмотри. Рядом — все свои. Настоящие.

— Свои дома сидят, — захохотал Монгол, с раз-

маху шлепнув его по спине медузой.

Том лениво мигнул глазами, поднял голову. Около них остановилась миловидная девушка. Она явно шла мимо, но вдруг нерешительно сделала шаг в их сторону.

— Простите, молодой человек! — обратилась она к Тому. — Я увидела у вас на сумке надпись «Не проп'ємо Україну». Вы были на этом фестивале?

— Был, — сказал Том, удивленно разглядывая гостью. Она была явно не из их теста.

— А я там выступала! — радостно сказала та.

Том всмотрелся в ее смутно знакомое лицо. Это была одна из известных украинских поп-певиц, которых частенько крутили по телевизору. Том никак не мог вспомнить, как ее звали.

— Да, помню! Замечательный концерт был, — нехотя ответил он, почесывая грудь. — Но вас там не очень приняли. Я вообще не понял, зачем вы там выступали. Это же был рок-концерт.

— Разве не все равно, какой концерт объединяет людей? — пожала плечами девушка.

— Конечно нет! Вы же продаетесь. А мы считаем, что песни, на которых зарабатывают, — это не песни, а… Как бы помягче… Птицы в клетках.

— Это не так…

— Вы же всегда думаете о земном, поете о земном. А рок поет о свободе от денег, от мира. О победе над собой.

Он смотрел на ее юную красоту, но она не побеждала его. Ему хотелось, чтобы с нее слез весь этот фальшивый лоск, этот пафос сытой и безболезненной жизни. Чтобы ей стало неуютно в своей искусственной золотой коже.

— Мы поем о любви. Чего же здесь земного? — сухо ответила певица.

— И почем у вас любовь? Вы ведь даже за этот пляж заплатили, правда?

— Извините! — деревянным голосом проговорила певица, и пошла, будто пьяная, к железным воротам пляжа.

— Что есть ты без того, что у тебя есть?! — сказал он вслед.

— Фу ты гад! — выдохнул Монгол, провожая взглядом ее дорогие бедра и стройную фигуру.

— Если цивилизованные люди вынуждены улыбаться тем, кого ненавидят, то панки любят только тех, кто им нравится, без лишнего лицемерия.

— Сам сочинил?

— Не-а. Это анархист Кропоткин. Правда, в моей обработке.

— Дурак твой Кропоткин. Плюнул звезде в душу.

— Если только у нее еще осталась душа. Принципы…

— Дурь какая-то эти твои принципы. — Монгол накрыл футболкой небольшой камень, положил на него голову, и закрыл глаза.

— Человек без принципов — что дерьмо в проруби.

— Согласен, но принципы принципам рознь. Жизнь — она штука длинная. Смотри, чтобы принципы твои не обломала.

— Если обломает, то грош мне цена. Превращусь в серую безмозглую единицу. В собаку Павлова. Буду ходить на работу, думать только о бабле и слушать таких, как она. Только если такое случится, — ты скажи мне, чтобы я пошел и с балкона спрыгнул.

— Ты хитрый. У тебя невысоко. Только ноги переломаешь, — усмехнулся Монгол.

Том закрыл глаза. Солнце разморило его. Идти никуда не хотелось. Бессонная ночь давала о себе знать, и накопленная усталость навалилась на приятелей.

Звон голосов и веселый плеск прибоя утихли, море превратилось в быструю горную реку. Он

стоял по колено в ее прозрачной ледяной воде, разглядывая на дне стайки юрких, похожих на аквариумных, рыбок.

— Эй! — услышал он, поднял голову, и вдруг увидел Светку. Она сидела на другом берегу, и что-то говорила ему оттуда, — настороженно, будто предупреждая… Но что? Ее слова терялись в шуме речки. Наверное, ничего хорошего. Ее брови были сдвинуты, руки сложены на груди. Ее слова, будто жухлые осенние листья, падали в воду и неслись вниз, крутясь в быстрых темных водоворотах.

Ноги онемели от холода. Не переплыть, не перенырнуть, — река унесет его, как щепку, туда, вниз, в бездну, в вечные сумерки, из которых никто не возвращался.

— Как же ее услышать? — будто повинуясь чему-то свыше, он опустился на колени и стал пить воду. Река отдавала железом.

— Ты не любишь меня, — сказала вода Светкиным голосом.

— Это не так! — закричал он, отрываясь от реки, но Светки уже не было. Вместо нее из красных кругов возникло хмурое лицо Монгола.

— Вставай! Надо концерт искать, а то стемнеет скоро, — сказал он.

Том моргнул, неохотно расставаясь со сном.

— Дай воды, — наконец прохрипел пересохшим горлом. Глянул невидяще в переливающуюся сине-зеленую пучину моря, вздохнул. Вычеркнуть. Забыть. Забыть, чтобы освободиться.

Огненный апельсин солнца уже сдавили покатые, укрытые лесом горы. Не удержали его в своих косматых объятиях, и он лопнул, брызнув оранжевым соком по небу. Многолюдная набережная празднично гудела, пестрела футболками, шляпами, купальниками, текла куда-то вперед, текла обратно. Том крутил головой, с восхищением разглядывая лопоухие магнолии, розовые платаны, какие-то другие невиданные деревья, цветущие розовым, белым, красным…

— Это не школьная пальма в кадке, да, — с восхищением трогал он волокнистый ствол тощей ялтинской пальмы.

— Во ты ботан, — хохотал Монгол.

Курзал все не находился. Редкие знатоки Ялты махали им руками куда-то дальше, вдоль берега. Зато слева и справа появлялось все больше неформально одетого люду, в цепях, с выбритыми висками, с ирокезами и длинноволосые. Маленькие компании легко находили общий язык, сливались в большие и, как старые друзья,

двигались вместе.

— Верной дорогой идем, товарищи панки, — кричал кто-то.

Том ощутил прилив радости, какой бывает перед праздником, когда вокруг много людей, и все заряжены весельем.

Толпа, превратившись в сплошной человеческий поток, весело и бодро текла вперед по набережной. В разные стороны от нее летели бутылки и банки. На пути оказалась небольшая площадь с ларьком «Пирожки». Какой-то юркий парень в черной косухе схватил с прилавка коржик и дал деру. Продавщица, полная румяная деваха с выбивающимися из-под косынки кудрявыми волосами, взвизгнув, выскочила из-за прилавка, и, придерживая рукой большую колышущуюся грудь, отчаянно бросилась следом. Бесхозный ларек тут же облепили волосатые, без разбору хватая пирожки, коржики и прочие хлебобулочные, — все, что попадалось под руку. В минуту прилавок оказался пуст.

Девушка вернулась злая, всклокоченная. Непонимающим, не верящим взглядом она глядела на пустой прилавок.

— Я купил! — сказал кто-то, бросив на блюдце пару мелких купюр.

— Ваш киоск будет вписан золотыми буквами в историю рок-н-ролла! — заржал другой.

Бурлящий человеческий поток катился все дальше, пока не уперся в какой-то концертный зал.

— Это тот? — нерешительно остановились первые.

— Да не. Тут тихо.

— Смотри. Это что за лажа? — возмутился кто-то, показывая себе под ноги.

Некоторые из плит были сделаны в виде звезд. На них тусклым мрамором поблескивали имена: «София Ротару», «Алла Пугачева», «Филипп Киркоров».

— А ну, пипл, станьте вокруг меня, — сказал кто-то. Его прикрыли.

— Вот теперь законченная композиция! — радостно заорал кто-то.

Они оба уже давно хотели по нужде, и, заприметив неподалеку небольшой парк, отошли в сторону от этого задорного балагана. Выйдя, наконец, из кустов боковой аллеи, они увидели идущих навстречу им двух молодых, аккуратно одетых людей. В их походке, в откинутых назад плечах, в смехе, в нарочитой жестикуляции было что-то вызывающее. Так ведут себя новые хозяева,

которые оценивают дом, не обращая внимания на собирающих вещи бывших жильцов.

— It's wonderful! — Том отчетливо услышал жующий гласные, будто надтреснутый говор.

— Иностранцы! — прошептал Монгол. — Смотри! Живые иностранцы!

— Похоже, что американцы, — со знанием дела сказал Том. Давай их стреманем.

— Зачем?

— А чего они… За девками нашими ездят! — нашелся Том.

— Точно! У, гады! — согласился Монгол.

Английским Том почти не владел, органически не переваривая этот предмет еще в школе, зато с удовольствием переводил тексты любимых групп. Когда они поравнялись с американцами, он сделал страшное лицо и прошипел.

— Мужики, а где тут курзал?

— I don't know! — парень поближе развел руками, и слегка отклонился от собеседника, дабы обозначить дистанцию.

— Шо, не вкурил, бродяга? Where is kurzal? — наседал Монгол сбоку. — Rock music?

— А, рок, джи-джи-джи! — радостно закивал второй, вроде бы понимая, о чем речь, но в то же время слегка бледнея. — We don't know!

— I tell you, you must die![6] — прошипел Том, ткнув пальцем в ближайшего субъекта.

Парочка шарахнулась в сторону, попятилась.

— I don't know! — закричали оба, и изо всех сил припустили по темной аллее. У угла один из них повернулся и закричал:

— Нэ стрэлюай! Нэ стрэлюай!

— Иди давай, а то отрихтуем по самый суверенитет! — крикнул Монгол.

Но те уже скрылись за углом.

— Вставили пистон! — хохоча, они вновь вышли на набережную, вдыхая пьянящую южную смесь смолы и моря. Наконец до них донеслось тяжелое тумканье бас-барабана, а вскоре показался и долгожданный музыкальный павильон. Ломиться сквозь кордоны не пришлось: большую открытую сцену курзала обрамляли закрытые трибуны. На их нешироких, слегка наклоненных крышах возлежали все те, кто решил посмотреть концерт бесплатно.

— Лежачие места! Это лучшие места на моей памяти, — воскликнул Том.

Они влезли на крышу, растянулись рядом с

---

[6] Примечания: 6

Я говорю тебе, ты должен умереть! (*англ.*) — Искаженная цитата из песни группы The Doors «Alabama song». В оригинале: I tell you, we must die!

русоволосым парнем в тертой кожаной безрукавке.

— Ты Индейца не знаешь? — на всякий случай спросил Монгол.

— Не, не знаю такого, — ответил сосед. — Я не местный, из Кривого Рога.

— О, панковское место. Говорят, у вас гопов много?

— Да, город стремный… Длинный, как кишка. Самый длинный в Европе. А гопов везде много. Ну ничего, живы покуда.

— Давно здесь?

— Уже месяц. Хорошо тут, в Ялте. Гопоты почти нет. Ништяков много. Только скучновато. Слишком все уютно. Ни коробок бетонных тебе, ни заводов. Летов тут вообще не звучит. Вот поешь его, а вокруг все эти пальмы, бабы полуголые ходят. Какая-то подделка во всем чувствуется. Не достоевское тут место. Зато хиппарям и растаманам — раздолье.

— Гопников не видно, — засмеялся Том. — Денег на Крым, что ли, нет?

— Э, не… — криворожец хитро прищурился, покачав пальцем, — здесь гастролеров много. Еще познакомишься.

— А где здесь вообще вписываются?

— А везде. Где лег, — там и вписка. Тепло.

Том перевернулся на живот и растянулся на не успевшей остыть от дневного зноя крыше, посмотрел на сцену. По ней из стороны в сторону носился кудрявый вокалист, время от времени бросая свое легкое тело прямо в ревущую под сценой публику. Толпа не давала ему упасть и торжественно водружала обратно. Повсюду царил живой, стихийный, никем не объявленный праздник. Хиппи и панки всех расцветок съехались сюда с просторов необъятного бывшего СССР. Кто-то сидел на трибунах, кто-то лежал вокруг, кто-то неподалеку бродил у моря. То тут, то там сизыми облачками клубился тяжелый дым с запахом поздней осени. Кто-то пил, кто-то спал, кто-то целовался. Кто-то, подперев руками голову, наслаждался концертом, мотыляя головой в такт музыке. Все эти люди были такими же, как он.

— Хорошо, — с чувством проговорил Монгол.

— Ага, — откликнулся Том.

Он вдруг ясно вспомнил тот промозглый осенний день три года назад, когда он купил на вокзале кассету с какими-то неизвестными ему группами. Купил наудачу, принес домой, включил, и… Его полностью, до кончиков ногтей, накрыл сибирский андерграунд. Прежний мир

рухнул, осыпался старой немощной штукатуркой. Да и был ли это его мир? Мир трескучих лозунгов, скрывавших обшарпанный фасад пропитанного лицемерием общества. Страна будто запуталась сама в себе, заблудилась в своих необъятных просторах. И вдруг он узнал, что где-то невероятно далеко, в Сибири, живут люди, которые чувствуют то же самое, что и он, и тоже устали от бесконечного вранья, от официоза. Он слушал их песни, будто пил чистую воду, и никак не мог напиться.

Продавец кассет, длинноволосый парень с серьгой в ухе, бывал в их городе наездами. Том жадно всматривался в незнакомые, неслыханные названия, выбирая группы наугад. Каждый раз он боялся разочароваться, но этого не случалось, потому что каждая песня, каждая строка была — *про него*. В один миг вырвалось наружу все его нутро, задавленное условностями, затаенное, замученное, будто бы он сам это пел, пел про себя.

Музыка изменила его. Он просто не имел права оставаться прежним. Том отпустил волосы, поменял одежду, а стены своей комнаты заклеил близкими по духу группами и певцами, фотографии которых непостижимым образом добирались до их захолустья. Но, конечно, глав-

ные перемены случились у него внутри. Он будто выпал из системы, отправился в свободное плавание.

Немного позже узнав, что музыка, которая ему нравится, называется панком, Том испытал некоторый шок. Тупые, наглые дебилы с ирокезами на башке — все, что он знал об этом странном движении из советской прессы. В магазине «Мелодия» винил с панк-роком отсутствовал как класс. Скудную информацию приходилось добывать по крупицам. Ему удалось узнать, что панки презирали смерть и моральные устои, плевали на общественное мнение, пили воду из луж, носили булавки, а свои ирокезы ставили непременно на блевотине. Что из этого было правдой, а что нелепым нагромождением слухов, выяснить было невозможно. К тому же вся эта атрибутика западного панка не очень вязалась с теми смыслами, которые открывались ему в новой, не слышанной доселе музыке.

…Инструменты бывают разные. Есть, например, столярные: их используют для починки дома. А музыкальные, — казалось ему, — сделаны для починки душ. Он стал музыкантом будто поневоле, в один миг своей жизни осязав нечто невыразимое, но ясно висевшее в воздухе. Это

было живое, искреннее чувство необходимости в честном слове. Он хотел петь о том, о чем молчали. И он купил гитару. А ему показалось, что — крылья.

Однажды к нему зашла соседка, Антонина Петровна.

— Егор! Еще раз услышу матерную песню про Ленина, пеняй на себя, — погрозила она кулаком.

— Всегда готов! — сказал он, и закрыл дверь.

— Засажу, контра! — гулко донеслось из подъезда.

Баба Тоня была не только человеком старой закалки, но еще и управдомом, поэтому слов на ветер не бросала. Вскоре к нему действительно пришла милиция, с обыском. Длинноносый участковый Онищенко, побродив по комнатам и порывшись в книжном шкафу, ничего запрещенного не нашел, и уже собирался было уйти, но вдруг обнаружил на столе флаг УССР.

— Скатерть? — печально спросил он.

— Флаг, — ответил Том.

— Я так и думал, — грустно ответил участковый, составил протокол и ушел. Вскоре Том узнал, что на него заведено уголовное дело по статье «надругательство над флагом». Следователь до-

прашивал его тяжело, пряча глаза, будто стыдясь своей работы. Егор, чувствуя себя как герой на допросе, смеялся ему в лицо. Страх ушел из страны. Все старое таяло, как весенний лед, все прошлое стало смешным, все страшное — понарошку. Вокруг посмеивались все, без сожаления пиная впавшую в маразм державу, будто надоевшую мачеху. Казалось, что достаточно взять пару точных аккордов, и страна, как стены древнего Иерихона, осыпется от резонанса новых песен. Так и случилось. Его дело закрыли в связи с преждевременной смертью государства.

Вскоре Том с друзьями сыграл на три гитары песню, впервые осязав тот радостный миг сотворчества, когда вдруг, из ничего, появляется цветок нового произведения.

— Собираем группу! — заорал тогда Дрим, бойкий высокий парень с серьгой в ухе. — Я пою, Том, — ритм, Ваня, — ты на басу.

— А что петь будем?

— Будем петь только правду.

— Для правды нужен ударник, и погромче, — заметил Иван, спокойный, и, как все басисты, немного отстраненный от мира человек.

Ударника найти было непросто. Но им повезло. Дрим обладал удивительным даром находить

со всеми общий язык. Он сходил в ближайшее ПТУ, задружился с комендантом общаги, и вскоре они заняли давно пустовавшую музыкальную студию. Комендант общежития, вынужденный сдавать отчетность по культурно-массовой работе, новому коллективу ужасно обрадовался. В студии с прошлых советских времен остался даже кое-какой аппарат: пара стареньких электрогитар без струн, клавиши «Электроника», два-три микрофона, пучок шнуров, мандолина и неплохая ударная установка. Вскладчину они купили старый микшер, ревербератор, примочки и прочие мелочи. И вскоре из окон студии полились первые, еще неверные звуки электрогитар. Все уборщицы стали с ними здороваться, а бурсаки на переменах с интересом заглядывали в окна, и даже угощали сигаретами.

Однажды они курили на скамейке во дворе общаги. Дрим что-то говорил про партии к новой песне, текст которой недавно написал, и тут все увидели Монгола. Он шел по прятавшейся в старых яблонях аллее, и за деревьями не видел их компанию. Монгол так и прошел бы мимо своей славы, если бы Егор не крикнул:

— Эй, Монгол!

— Чего, Том?

— На ударные пойдешь? — полушутя спросил он.

— Пойду, — сходу сказал Монгол, как будто бы за этим и шел. Сказал он это так легко и обескураживающе просто, что ни у кого не повернулся язык ему отказать. Ведь он был скорее гопник, чем неформал. Но ударника все равно не было.

Монгол подошел к ним, поздоровался. Оценивающе оглядел увешанную булавками куртку Тома. Сел рядом, отцепил одну, разогнул. Сощурив свои и без того узкие глаза, спросил:

— А так можешь?

И воткнул ее себе в ногу, повыше колена. По самую петельку.

Том, глядя на ногу Монгола, с сомнением пожал плечами.

— Вот видишь! — сказал Монгол, перехватив уважительный взгляд Дрима. — Не можешь, а носишь.

— Принят в группу! — постановил Дрим.

— Только у меня барабанов нет. Мне барабаны выдадут? — спросил Монгол.

— Был бы ударник, а барабаны найдутся.

Через год группа дала свой первый концерт в актовом зале ПТУ. Это был великий день творчества. Музы рока летали над общагой, обдавая

перегаром молодых пэтэушных девчонок, сельских пацанов и пришедших из округи редких панков. Монгол стоял на дверях, словно Батый, собирая дань с каждой твари, — с кого деньгами, с кого самогоном, с кого семечками. Это был странный праздник, маленький Новый год в серых буднях небольшого индустриального городка.

После концерта актовый зал оказался изрядно заблеван, часть кресел — распорота и сломана, а они стали звездами малой районной величины. Их узнавали на улице, здоровались за руку, зазывали на стакан. Администрация посчитала, что первый блин комом, и в отчет этот перегиб не вошел. Взамен подающий надежды коллектив должен был выступить перед стариками на Девятое мая в подшефном госпитале…

* * *

К реальности Тома вернула какая-то заварушка у сцены. Кудрявый исполнитель уже заканчивал вторую песню, но двое панков нашли где-то у сцены шланг с водой и открутили вентиль. Мощная струя брандспойта прошлась по сцене, облив вокалиста и всю команду с головы до ног.

— Охладись, чувак! — весело орали панки.

Вокалист почему-то обиделся. Не разделяя вос-

торгов публики, он прекратил играть.

— Фу-ууу! — недовольно завыли трибуны.

— Уроды! Вы облили водой мою гитару! — ругался Кудрявый в микрофон.

— Выступай давай, не растаешь! — орали ему.

Панки, закрыв вентиль, поскорее смешались с толпой. За ними уже бежала охрана.

— Чудак-человек, — пробормотал Том. — Хотел быть с народом, и заигрался. Народ плохой.

Монгол не ответил. Он лежал на спине и молча курил, глядя в небо.

— Хорошо, — снова сказал он, и улыбнулся.

Тем временем на сцену вышла регги-группа с вполне подходящим названием «По барабану».

Они долго раскачивались, и, наконец, запели. Текст песни был незамысловат:

— В твоих глазах озера, — в душе моей сушняк!

— В твоих глазах озера, — в душе моей сушняк!

Минут через десять трибуны впали в транс, притоптывая, раскачиваясь и подпевая группе. То ли накопившаяся усталость давала знать о себе, то ли все дело было в обрывистом, рубящем время на кусочки, реггее, но Тома вдруг оторвало от земли и понесло куда-то вверх, в налившийся теплыми красками закат, туда, где все принимали друг друга с открытым сердцем, где все были

друг другу братьями в правильном и добром мире, переполненном любовью и единением. На минуту ему показалось, что он попал в сказку, в место, где нет и не может быть врагов. Никто не посмотрит на тебя косо, никто не двинет тебе в зубы за странный прикид или неправильную длину волос. Ты больше не виноват в том, что не ходишь в спортивных штанах, не плюешь, сидя на корточках, семечки, не слушаешь блатняк. Ты — тот, кем ты хочешь быть, ты — настоящий, потому что свободен в своем выборе. Никто и никогда больше не заставит тебя быть кем-то.

— Новый год, — сказал он.

— Чего? — встрепенулся Монгол.

— Новый год, — повторил Том. — Время, когда все люди независимо от достатка, культуры, образа жизни, просто рады друг другу.

— А новый год летом — это правильно, — сказал Монгол.

Когда концерт кончился и народ стал расходиться, они стали поперек аллеи и, цепляясь ко всем, спрашивали, не знает ли кто Индейца.

Индейца никто не знал.

— Приезжие все, — удрученно констатировал Том.

— Смотри, как жестко пацана футболят, — Мон-

гол ткнул пальцем в мелкого, не по возрасту хайратого хиппаря в феньках по локоть и с рюкзаком за спиной.

— Пацаны, впишите меня кто-нибудь. Ну впишите, пацаны! — стонал пацаненок.

— Да пошел ты! — то и дело слышалось в его адрес.

— Может повод дал? — задумался Том.

— Здарова. — Из темени вышел их криворожский знакомый. С ним был один из выступающих, длинноволосый худой музыкант с бледным лицом и детскими синими глазами.

— Во, Винт, эти пацаны Индейца ищут.

— Отличный барабанщик, — ответил Винт. — Но на концерте его не было.

— Выходит, нужно к нему домой ехать, — сказал Монгол.

— Завтра с утра и поедем, — ответил Том.

— К нему без мазы ехать. Он крезанулся, — сказал Винт.

— Что, крыша поехала?

— Ага. Я его пару лет назад в Джанкое видел, он дынями торговал. Совсем никакой был. Бледный как тень, еле на ногах держался.

— Может, обдолбался чем-то?

— Да он и не слазил, — Винт пожал плечами.

Выходя, они вновь заприметили мелкого хиппаря. Он бросился к ним:

— Пацаны, впишите меня!

— Чувак, да легко. Пошли.

— А вы где зависаете?

— Мы, наверное, в парке заночуем, под Массандрой. Там скамеек много, места хватит.

— В Приморском? Не, это далеко. Эх, придется опять дома ночевать! — и он расстроенно пошлепал темным летним бульваром.

— Вот! Вот за это я и не люблю Систему, — сказал Том, глядя ему вслед. — У Системы нет средств борьбы с фальшивыми кадрами. То же самое было в КПСС. Только там были не дежурные фенечки и искусственно драные коленки, а посты и награды. И тут та же проблема: как отличить настоящих людей от замаскированных под неформалов обывателей.

— Шарик круглый. Жизнь сведет и разведет, — изрек Монгол.

Они вернулись в Приморский парк глубокой ночью и, развалившись на скамейках у круглой клумбы, быстро заснули.

Тому снилось, что он совсем старый. Кажется, ему лет сорок. Ночь, тишина. Он сидит под замком в сарае, и знает, что на рассвете его должны

расстрелять. Открывается дверь, но это еще не расстрел. В сарай вталкивают Монгола. Ему почему-то лет двенадцать, но он точно знает, что где-то здесь припрятан совок для мусора. Они находят его в углу под соломой, и долго роют подкоп в холодной, глинистой земле. За стенкой несется состав. В нем уезжает Лелик. Он что-то кричит им, — что-то очень важное, чего не разобрать за монотонным стуком железных колес…

Поезд ушел, но грохот остался. Он стал более дробным, совсем рассыпчатым, будто множество людей, собравшись вместе, выбивали пыльные ковры.

Замок

Протирая глаза, они ошалело крутили головой. Вокруг их клумбы, грохоча десятками сапог, бегали раскрасневшиеся, румяные солдаты.

— Быстрей, быстрей, быстрей! — покрикивал сержант, время от времени поглядывая на часы.

— Вольно! — наконец скомандовал он. — Закурить и оправиться.

Солдаты разбрелись в тени кипарисов.

Двое солдат сели рядом.

— Здарова. Сигареты есть?

— Для вас, пацаны, всегда есть. — Монгол достал пачку. — Сколько до приказа?

— Далеко. — Один из солдат махнул рукой.

— Шо так грустно? У вас же тут курорт! Санаторий!

— Дома не курорт, а свобода, — ответил второй.

— Надо, надо служить, товарищ боец, — серьезно сказал Монгол и хлопнул военного по плечу. — Родина в опасности.

— А ты откосил? — Солдат почувствовал иронию.

— Нет… Понимаешь, я бы рад служить, но не

разрешают. У меня в деле написано: неуравновешен, в случае чего могу застрелить сержанта, или даже генерала. Боятся меня. Я в танковые хотел, чтобы потом на Киев рвануть и пострелять там всех, кто у власти. Но психиатр зарубил, сволочь. Говорит, я служить права не имею, потому что историю поверну в неверном направлении. Так что смотрите в оба. Берегите наш покой. А мы купаться пойдем.

И они под нестройный солдатский матерок не спеша пошли вниз, к морю.

Море было теплее, чем вчера. Искупавшись, они вновь, как и вчера, побрели в сторону Ялты. Параллельным курсом с ними шли трое пацанов. Грязные, загорелые, в покрытой пылью одежде, без лоска и побрякушек. Собранные, немногословные.

— Панки, — сказал Том.

— Может — бомжи? — хохотнул Монгол.

— Не. Вон у одного паутина на сумке.

— А чего они такие грязные?

— Я на тебя через месяц посмотрю.

— Панк нот деад, — поздоровался Том, когда они поравнялись.

— И вам не болеть. Пожрать хотите? — сказал один из них.

— Пожрать всегда можно.

— Мы на рынок, там ништяков полно.

Они свернули куда-то от моря и долго шли вдоль зашитой в бетон, похожей на сточную канаву реки, пока не увидели распахнутые ворота рынка.

Панки, не обращая внимания на торговцев, шли куда-то вглубь рынка. Там, в углу за торговыми рядами находился большой сарай. Его широкие двери были гостеприимно распахнуты, внутри зеленела огромная гора блестящих арбузов. Рядом никого не было.

— Это наша столовая! — по-хозяйски сказал один из панков. — Набирай, пацаны.

— Это что, можно бесплатно? — удивился Том, на всякий случай оглядываясь, нет ли сторожей.

— Бери, не парься. Жаль, дыни не завезли.

— Завтра должны подвезти.

— Завтра вряд ли. У них привоз в понедельник.

— У них привоз по-разному.

Пока панки препирались друг с другом, Монгол с Томом выбирали крепкие, тяжелые арбузы, примеривались, давили, стучали. Наконец, взяли один, — здоровенный, с придавленным желтым бочком.

— Бувайте, мужики!

— Панки хой!

Попрощавшись, они сели у речки. Арбуз оказался сочным, нежным, сахарным. Здесь же, выкидывая корки, Том случайно увидел в траве едва початую бутылку бренди.

— О! Смотри, Монгол! Возьмем на вечер.

— Харчуют тут годно, алкоголь бесхозный. Можно до пенсии жить, но надо к Индейцу, — добавил Монгол. — Давай адрес.

— А что думаешь? Может, он реально крезанулся?

— Я ничего не думаю. Приедем — увидим.

Том полез в карман, достал конверт… Точнее то, что от него осталось. Это был смятый обмылок спрессованной бумаги со стершимися углами и бледными остатками типографской краски.

Еще не веря, Том снова полез в карман, но, ничего там больше не найдя, развернул конверт. Письмо было на месте, но адрес…

— Ага, вот. Партенит, улица С-сс… Или Р…

— Дай сюда! — Монгол выхватил конверт, разгладил его в руках.

Адрес было не разобрать.

— Джинсы вчера намокли, когда мы в курзал шли, — виновато сказал Том, — вот он отсырел,

и вытерся…

— Вот ты дятел! Мои карманы больше, мои карманы шире! И куда теперь? — Монгол поднес конверт к глазам, посмотрел на свет, сплюнул набок.

— Ты сам говорил: пошли быстрее, пошли быстрее! — взвился Том.

Монгол глянул на расстроенного Тома, смягчился.

— Так, ладно. Давай думать, что делать. Кто знает адрес? Кроме Лелика — никто. Винт этот, может, знает, но где его теперь искать? Лелик на даче. Телефона у него нет. Кто к нему может добраться? Может, Серый?!

— А может — ну его, Индейца этого? — сказал Том. — Смотри, как тут живут. Народ неформальский вообще не парится.

— Ты что? Он же барабанщик! — Монгол сказал это с таким благоговением, будто речь шла о Филе Коллинзе или Ниле Пирте.

— Тогда пошли искать почтамт, — вздохнул Том.

В почтамте было прохладно, пахло дубом и сургучом. Они заказали междугородний звонок.

— Вторая кабинка, соединяю! — объявила оператор. В трубке что-то щелкнуло.

— Алло!? Алло!? — к телефону подошла бабушка Серого.

— Передайте Сереже, чтобы срочно съездил к Лелику и взял адрес Индейца.

— Адрес Индейца… Да, хорошо, я все передам Сергею, — ответила бабушка, — какие нынче имена чудные пошли, молодой человек. Только Сережа взял да и на огород уехал.

— А когда будет?

— Денька через три.

— Хорошо. Мы потом перезвоним. Только вы передайте!

— Передам, голубчик! Я уж непременно передам! — ответила бабушка.

Том повесил трубку.

— Что же теперь делать? Пока он приедет, да пока к Лелику отправится. Если вообще найдет его. Этот товарищ может неделю где-то околачиваться, а то и больше.

— Значит, погуляем где-то, сколько нужно, — твердо сказал Монгол, все еще сжимая в руках затертый конверт. — Ты думаешь, мы здесь просто так? Тут, может, вся моя судьба решается. Так что не кисни. У нас три месяца впереди! В Партенит все равно успеем.

— А теперь куда?

— Сейчас решим. — Монгол подошел к газетному киоску и попросил карту. — О! Ну конечно! Поехали в Ласточкино гнездо! Тем более что оно почти рядом.

— А что там? — спросил Том.

— А я откуда знаю? Все туда едут. Там же гнездо это. Замок типа красивый. Мороженого пожрать с важным видом, — я матери обещал. У меня открытка есть, где мать на фоне замка мороженое ест. Пусть будет семейная традиция.

— А у меня фото деда, правда, без мороженого, — засмеялся Том. — Что-то в этом есть. Стабильность какая-то. Верность идеалам.

— Да и куда тут еще ехать? — подвел черту Монгол.

И они зашагали наверх, к трассе, по усыпанной алычой дороге.

— Ягоды разбросали, непорядок, — остановился Том. — Вкусные.

— Ты те, что потверже, в сумку клади. Пригодятся.

— Зажрались тут совсем.

— Э, да вы, мальчики, как с голодного краю! — смеялась торговка из ларька, глазея на них. — Смотрите, пронесет!

— Ну так нам чужого не надо, — отвечал Мон-

гол. — Мы все вернем, чуть попозже.

Они долго голосовали на трассе, но им не везло. Машины пролетали мимо, в упор не замечая двух путников.

— Может, надо было в чистое переодеться? — размышлял Том.

— Ага. В чистом только за бабки повезут, — уверенно отвечал Монгол.

Наконец, у обочины, лихо визжа тормозами, остановился видавший виды желтый «мерседес». За рулем сидел загорелый жилистый старик-кавказец. Испещренное глубокими морщинами, давно небритое лицо совсем не сочеталось с бледно-голубыми, почти детскими глазами. Слегка приплюснутую, похожую на бочонок голову венчал пушок седых волос.

— До Ласточкина подбросите?

— Садитесь, да?

— У нас денег нет.

— Вах, да какие деньги? Поехали, каращо?! — Старик возмущенно открыл ладони и, гостеприимно улыбнувшись им как старым знакомым, распахнул объятия.

— Спасибо вам, — Том прыгнул на переднее сиденье. — Не все такие добрые. Уже почти час стоим, а вы первый остановились.

— Да ти щто? Щито за люди такие пощли? Сумкой по лобовухе, да, сволочей таких, да?! — Он досадливо ударил руками по рулю и вдавил педаль газа.

Машина рванула с места, и они понеслись по дороге, лихо обгоняя идущие впереди легковушки и автобусы. Частокол кустов, кипарисов, разноцветных домиков и пыльных заборов слился в одну сплошную линию, за которой недвижимо и надежно сияло своей бескрайней синевой море.

— Все успеть надо. А то жизнь проходит так бистро… Щащлык скущать не успеешь.

«– Чито-грито, чито ма-аргари-то да», — доносилось из магнитофона.

— Из России? — спросил кавказец.

— Нет, с Украины.

— А я из Грузии, — благоговейно сказал он, будто коснулся драгоценного сосуда.

«Грузин с песней из „Мимино“ — что может быть нелепее?» — заулыбался Том.

— Грузия большая. Конещно чуть-чуть меньше чем Россия. — Старик швырял машину то влево, то вправо, будто уча непослушного коня. — Горы есть, море есть. Вино есть! Все есть. Мингрелия даже есть!

— Вы мингрел? — Том неотрывно смотрел на-

лево, будто проверяя, на месте ли море.

— Щито ты, обидеть хочешь? — расстроенно ответил старик. — Я кахетинец! Кахетинцы хорощие, добрые. — Он гордо взметнул вверх руку. — Не то что мингрелы. Мингрелы — хитрые, злые. Берия, например. Но я не антисемит. Я всех люблю. Евреев даже тоже немножько люблю. Но я вам скажу, евреи — это как дети по сравнению с армянами. Вы думаете, Ной просто так к Арарату пристал? Армяне ему такую скидку дали, он просто не смог отказаться. А зачем? Чтобы все потом про Арарат из Библии знали. А кто теперь про Казбек знает?

— Я знаю. Папиросы.

— Вот именно! — удрученно сказал дед. — Папиросы какие-то.

— Там же вроде все, кроме Ноя, потопли. Откуда армянам быть? — осторожно спросил Том.

— Вай, зачем так говоришь, если не знаешь? Ну дождик пощел, ну что армяне народ глюпый, не могли себе на Арарат свой тихонько залезть, и отсидеться? Сидищь високо, все видищь каращо, вниз плюешь, на дождик смотришь! Мечтаешь себе немнощько! А знаешь, о чем они мечтали?

— О чем? — спросил Том.

— Я тебе скажу, о чем. Они сидели там, и мечта-

ли, что у них там море будет, как в Грузии. Чтобы всех затопило, а им потом по всему миру плавать, гранат торговать. Но Бог — он не глюпый, он знает: все яйца в одной корзине никак держать нельзя, — лиса украдет! Поэтому вода сошла и народов стало много. Грузины, русские, абхазы…

— А я в Абхазии бывал. Там хорошо, — сказал Монгол.

Старик не ответил, лишь немного вытянулся вдоль спинки, расправил плечи и покрепче сжал руль.

В машине повисла тишина, лишь натужно взвывал на поворотах двигатель.

— Абхазы тоже глюпые. Мы им зла не хотели. Раньше ведь жили себе нормально. Никого не трогали, ну? Хорощо жили как, правда? И потом хотели вместе жить, богато жить, вино пить, песни петь, чтобы как в Европе, да?

Из-за поворота выскочил жигуленок, взвизгнул тормозами, в последний момент успев вильнуть к обочине.

— О, син осла, на права сдавай, да! — речитативом выстрелил дед. — Ти если не умеещь мащину водить, ты, слющай, возьми ее и об дерево разбей, да? Зачем она тебе?

Том потянулся за ремнем безопасности. Старик

поймал его взгляд и совсем расстроился.

— Обидеть меня хочещь опять?

«Что ж ты обидчивый такой?» — Том убрал руку. Он надеялся, что Монгол, который давно и глубоко засел в своем абхазском окопе, не будет продолжать разговор о чужой и непонятной ему войне.

— Мы бы добили их, если б не Россия, — беззлобно проговорил старик, обессиленно двинув рукой, будто Россия была не врагом, а страшным и неотвратимым стихийным бедствием. — Они им оружие дали. Добровольцы пошли, казаки.

Веселая песенка кончилась, в машине повисла тишина. Старик вилял на поворотах, время от времени ожесточенно дергая ручкой скоростей. Монгол с тоской поглядывал в окно.

— Ну скажи мне, чего они добились? — вдруг вскрикнул водитель, полуобернувшись к Монголу, словно тот решал все вопросы абхазской независимости. — Счастья? Щито, им легче стало, да? За маленький мухой большого слона не видят совсем!

Монгол не ответил, и его молчание вдруг повисло осязаемым, тяжелым упреком. Старик это явно чувствовал. Он хотел разрушить эту тишину, в которой бесплодно таяли его слова, но не

мог справиться с ней в одиночку.

— Они первые стрелять начали, — наконец сказал он, будто зашел с козырей. Повернувшись к Монголу, он растопырил ладонь и добавил:

— Щито молчишь, как мертвый стал?

— Насильно мил не будешь, — сухо сказал Монгол, глядя в окно.

Старик замолчал. Он будто успокоился, сбавил скорость. Потом вильнул к обочине, остановился.

— Шени траки лапораки![7] Выходи!

Они вылезли из машины.

— До Ласточки-то далеко? — миролюбиво, будто ничего не произошло, спросил Том.

— Рядом! — рявкнул старик, попытался рвануть с места, но машина, чихнув, вдруг заглохла. Он выключил двигатель, снова включил, но машина не заводилась.

Монгол непроизвольно хохотнул. Его настроение явно улучшилось.

— Ах ты, туда-сюда отвечаешь! — заорал горячий кахетинец, и разразился отборной русско-грузинской бранью. Остатки его седых волос дыбились на плоской голове, лицо, несмотря на

---

[7] Примечания: 7

Грузинское ругательство, букв. «Это задница твоя говорит».

загар, стало багровым. Брызгая слюной, он достиг такой степени кипения, что Том испугался, — не за себя, а за здоровье старика. Таких матов Том не слышал даже от привокзальных бомжей.

Они шли вдоль дороги, а старик все кричал им вслед. Но чем больше он орал, тем веселее становилось Монголу.

Наконец машина завелась. Поравнявшись с ними, старик сбросил скорость, набрал в грудь побольше воздуха и крикнул:

— Чтобы у тебя язык отсох, ищак карабахский!

— А ты… Мингрел! — захохотал Монгол.

Старик открыл было рот, пусто щелкнул зубами. Его искаженное гневом лицо вдруг совершенно преобразилось, расслабилось.

— Э, нет! — он дурашливо улыбнулся, посмотрел вверх, будто перебирая в памяти всех своих предков до самого Ноя. Затем поднял вверх указательный палец и уверенно заявил.

— Я не мингрел. Я кахетинец.

И, дав по газам, скрылся за поворотом.

— Ехай давай, хмели-сунели, — крикнул вслед Монгол.

— И охота была тебе язык чесать? — наконец спросил Том.

Монгол взглянул на друга, вздохнул.

— Я не чесал. Я зализывал.

Наконец впереди показался знакомый с детства силуэт замка с изящными стрельчатыми оконцами и увенчанными флажками остроконечными башенками.

— Чисто сказка! — Монгол даже остановился, глянул из-под ладони. — Интересно, он жилой или нет?

Поравнявшись с ним, они спустились по лестнице к замку. На двери висело меню и расписание работы ресторана.

— Тю! Ты видал? Эскалопы в томатном соусе! — прочитал Том. — Что за эскалопы такие?

— Это ракушки кажется, типа крабов. Я ел когда-то, — неуверенно сказал Монгол. Он быстро потерял к замку интерес, и теперь свесился с обрыва через небольшой колончатый парапет. Там, над вечерним изумрудом воды летали белые чайки.

— Елки, а я-то думал, тут живет прекрасная принцесса, — разочарованно сказал Том. — Ну или, на худой конец, — королева. А тут эскалопы какие-то. Кругом все продано. Прям в самое сердце ранили, сволочи.

— Ладно, ладно, выдыхай! Сегодня у нас праздничный вечер у костра.

— Надо уже о вписке подумать. Куда-то ехать не хочется.

Монгол глянул на противоположную сторону бухты. Там, будто выдавленный горами, нависал над морем скалистый утес, укрытый сверху небольшими кряжистыми деревцами. Над ним высилось белое здание какой-то гостиницы.

— У бомжа везде дом. Можно хотя бы во-он на этой скале. Как тебе апартаменты с видом на замок и под бренди с алычой? — спросил он.

— Пошли. Заодно и мороженое купим. Я ларек у гостиницы видел. Смотри, а вон птица какая-то. — Том показал на прибрежный утес, который венчала фигура каменного орла.

Вскоре они уже сидели около скульптуры птицы, уплетая мороженое и любуясь морем. Каменный орел, распахнув метровые крылья, будто парил над обрывом. «Спой, птичка!» — написал кто-то под памятником большими красными буквами. Том забрался на верхушку утеса, лег на птицу и, положив руки на крылья, полетел, полетел куда-то над сверкающей внизу морской долиной.

— Кра-со-та-а! — заорал он протяжно, и посмотрел вниз.

Внизу, под утесом, противно и радостно виз-

жали бакланы, еще ниже монотонно било в щербатые каменные зубы море. Чуть левее, быстро размахивая руками, уже плыл Монгол.

Том спустился следом, разделся. Пляжа здесь не было: из воды торчали большие, местами острые, покрытые зелеными волосами водорослей, валуны. Схватившись за один из камней, он наступил на что-то скользкое. Ойкнул, чуть не порезав ногу, опустил руку поглубже и вытащил из-под воды притопленный, полный ракушек, пакет.

— Эгей, я жратву нашел! — заорал он Монголу.

Монгол выполз на берег, с сомнением поглядел на содержимое пакета.

— Эту штуку жарят, на противнях. Серьезно, я в Ялте видел, — тут же заявил Том. — Это наверное и есть эскалопы.

— Они самые, — уверенно подтвердил Монгол. — Вон, смотри, как раз для них.

Неподалеку валялся ржавый железный лист. Вскоре на нем, выпуская пузыри, зашипели толстые морские ракушки.

— Прям не верится, — чавкая, сказал Монгол. — То бренди тебе, то арбузы. Теперь вот эскалопы. Если тут всегда так, то я вообще домой не вернусь. Меня мать заставила кулинарный закончить. Всегда дома мясо будет, — обещала. И что? Теперь

я повар, а мяса нет. А она — так вообще вегетарианка.

Перекусив, они постирали вещи и задохнувшиеся от пота кеды. Затем поднялись на скалу, которую видели со стороны замка, и, пройдя по обрыву, вышли на широкую, напоминающую балкон, площадку. С двух сторон ее росли кривые, вымотанные непростой скалистой жизнью, дубки. Утес с замком, как на открытке, живописно возвышался напротив. Внизу, в темени узкого залива виднелась небольшая пристань с лесенкой вверх.

— Как дома. — Монгол осторожно глянул вниз, и, стараясь не подходить близко к краю, по-хозяйски развесил на деревцах мокрую одежду и обувь.

Стояла та теплая, тихая и безветренная погода, когда кажется, что ты дома, а не на улице.

Они развалились на балконе, любуясь красотами. Через час одежда совсем высохла.

— Схожу в гостиницу за водой, — наконец сказал Том. Он надел белую рубашку, спрятал за воротник хвост волос, взял флягу, пластиковую бутылку и полез наверх по склону, пока не наткнулся на присыпанную щебнем тропу, ведущую к белому зданию с надписью «Парус».

Со стороны обрыва территория гостиницы оказалась совсем не огорожена. Пройдя по тропе к зданию, Том натолкнулся на пожилого бородатого мужика в фартуке. Тот поливал из шланга клумбу.

— Красивая клумба, — сказал Том скучающим голосом уставшего от отдыха человека.

— Да разве это клумба? — с неподдельной горечью сказал дворник. — Ты бы видел, какая красота была здесь раньше! А это — так, жалкие остатки. Все повыкапывали. Все самое красивое из санатория унесли.

— Кто повыкапывал? Воры?

— Что ты, какие воры? — засмеялся мужик. — Мы сами и повыкапывали.

— А зачем?

— Как зачем? Домой, на дачу, — проговорил он с довольной хозяйской основательностью.

— Хорошая у вас работа.

— Жене моей это скажи. Она не ценит, — устало махнул рукой дворник.

Том вернулся, когда уже темнело.

— Ну что там? — спросил Монгол. Он уже притащил из дальнего конца балкона несколько сухих дубовых веток и возился с костром.

— Это не гостиница, а санаторий, — ответил

Том. — Люди там — не то, что мы. Живут в совсем другом мире. Заплатили кучу денег за лечение, чтобы жить в скворечнике, в то время как подлинное исцеление души может наступить только на улице, среди всей этой настоящей красоты и природы. А со стороны обрыва у них и забора нет: отсюда просто никто не ходит, даже свалиться можно. Поэтому они пробираются к морю в обход, по лестнице. Я зашел, спросил, где вода. Меня отправили в столовую. В столовой приняли за своего. Вот, немного свежего хлебушка прихватил.

— В таком прикиде тебя от цивила вообще не отличишь.

— Я цивилизованный неформал, — сказал Том. — Поэтому и несистемный. Да и вообще, что такое неформал? Попытка надеть маску клоуна, чтобы получить пропуск туда, куда ты никогда не попадешь? Или шанс получить свободу от условностей?

— Харош философии, Том. Тебе от таких мыслей череп не жмет? Я тут веток дубовых собрал, а еще пару банок нашел, из-под колы. Чай в них заварим.

— Ну что, накатим за проезд? — Том достал бутылку с темно-коричневой жидкостью. — Эвон

какую штуку выкинули. Франция. В.С.О.П. Никогда не пробовал.

— Понюхай вначале. Мало ли.

— Спиртом пахнет.

— Ну раз спиртом, то можно! — захохотал Монгол. — Только я стопку разбил. А кружку забыл.

— Я знал. У меня есть запасная.

Когда совсем стемнело, и над морем появилась полная рыжая луна, откуда-то налетели комары, целым столбом кружась над их головами. Монгол отгонял их факелом из дубовой листвы.

— Ветки тонкие, как спички, а горят долго. Наверное, растут здесь лет сто, просто вырасти не могут.

— Три дня мы тут не протянем, — сказал Том. — Завтра валить надо. Место какое-то беспонтовое, и принцессы нет. Совсем пусто. — Том прихлебывал из кружки обжигающую янтарную жидкость. — Я думал, тут какое-то движение есть. Как в Ялте.

— Ага. Пенсионерская романтика.

Бренди расслабило.

— А тебя так и не отпустило? — спросил Том.

— От чего? — не понял Монгол. Или сделал вид, будто не понял.

— От Абхазии.

— Не знаю. — Он уставился куда-то в теряющийся в сумерках горизонт. — Притупилось уже как-то. На самом деле мне, конечно, все равно, кто там прав, кто нет. Я в политику не лезу. Я просто не люблю, когда так говорят.

— У меня похоже было, — сказал Том. — Ездили как-то раз с пацанами на озеро, купаться. Познакомились там с двумя девчонками. Одна, Лена, — так себе. А Света — красоты неописуемой. Волосы платиновые, а глазищи такие стальные, аж смотреть страшно. Как зыркнет, — так и сердце колотится, а внутри все прям сжимается. Конечно, мы, — все втроем, — сразу в Светку влюбились. А девчонки с нами вроде как и дружить не против. И каждый день мы ездили купаться, а в конце дня провожали их домой. Но они до самого дома провожать себя не разрешали, — наверное сплетен боялись. И мы прощались с ними метров за сто от двора. А любовь — штука такая, она жертв требует. Каждый день хочется большего. Страшно интересно, где они живут. И вот как-то раз собрались мы ночью, и пошли. Дошли под утро, забрались на крышу дома, откуда должно быть видно, где они точно живут. Сели на крыше, и смотрим, откуда же наша Света в школу пойдет. Шурик даже подзорную трубу

взял. Ждем-ждем, уже опоздавшие в школу бегут, а ее все нет. Солнце припекает, спать хочется, мы на крыше развалились, греемся. И вдруг — прямо напротив нас, на девятом этаже распахивается дверь, и на балкон, потягиваясь, в ночной рубашке выходит… Она! Мы еле спрятаться успели, она не заметила. Ну, а дальше было дело техники. Посмотрели номер квартиры, а потом уже через домофон связались, узнали фамилию.

— Круто.

— Нифига не круто. Через неделю Светка узнала, что мы ее фамилию знаем. И, конечно, сразу подумала на подругу, поссорилась с ней. В итоге обе с нами общаться перестали.

Том бросил в костер ветку можжевельника. Она затрещала, покрылась густым, стелющимся дымом. Ярко вспыхнули иглы, закрутились, превратившись в белый пепел. Запахло хвоей.

— И все?

— Не. Через пару лет я гулял вокруг нашего дачного озера, забрел куда-то. Вдруг слышу, а в одном из домов пианино играет. Знаешь, эта мелодия… «К Элизе» называется. Тада-татата… Та-та та-там…

— Знаю. Моцарт, — уверенно ответил Монгол.

— Не, Бетховен, кажется. Ну это не важно. Надо

же, думаю, — пианино, и на даче! И тут случайно увидел в окне ее мать. Оказалось, что у них там тоже была дача, а наши матери были немного знакомы. И однажды я уболтал мамку в тех местах прогуляться. И мы как бы случайно зашли в гости. Светка, конечно, не ожидала. Даже уйти пыталась. Но я ей все объяснил, что все глупо так вышло. Что никто ее не сдавал, — просто она всем нравилась. И мы помирились. Я бегал потом к ним почти каждый день. А однажды и говорит:

— Наши соседи уехали, у них яблоки пропадают. Пошли, нарвем.

Мы перелезли через забор, собираем, а их много. Такие огромные, спелые, красные. А она вдруг говорит:

— А ты когда-нибудь целовался?

— Я говорю, — конечно.

— А с кем?

Я наврал, что с одноклассницей. Потом ее спросил. Она сказала, что тоже целовалась, с одним знакомым мальчиком. А я сказал, что не верю. А потом она говорит:

— Хочешь, я тебя поцелую?

Я, конечно, согласился.

А потом она такая говорит:

— Я думаю, мы найдем общий язык.

Она любила говорить всякие такие штуки. И мы поцеловались. Если честно, то я до этого еще не знал, что если целоваться с девушкой по-настоящему, то языки… В общем, это было первое и последнее лето, когда я ее видел.

— Заливаешь поди. Как-то красиво слишком.

— Я заливаю, а ты наливай…

— И что потом? — Монгол подлил бренди.

— Я ее отцу сразу не понравился. Он там какой-то известный кооператор был, краской торговал. Однажды он мне прямо сказал: вали отсюда, и больше тут не появляйся. Поэтому я ее на улице ждал, у дома. На пляж ходили купаться, иногда ко мне, в гости. Как-то раз я проводил ее, иду назад, а тут отец едет… Выскочил из машины, ударил меня. Я упал. А он — к багажнику. Вытащил молоток, и за мной. Я тогда еле ноги унес. А она потом ко мне в гости пришла, и говорит: ты чего не заходишь? Ну, я ей тогда все высказал. А потому, говорю, что твой отец — придурок. Она обиделась, — ты его не знаешь, он хороший, просто ему сейчас очень тяжело. Слово за слово, — поссорились мы, и она ушла. Я потом ждал ее, думал, что придет, но… А потом и лето кончилось. И вот сижу я как-то вечером. Дождь идет. А я в окно смотрю и думаю: вот дурак. В

первый раз так глупо расстались, и во второй — тоже. Короче, нарвал цветов на огороде, и к ним пошел. Прихожу, а замок новый. В доме тихо. Ну, я потоптался на пороге, решил постучать. Открыла какая-то тетка, незнакомая. Оказалось, что Светкин отец недавно умер. Где-то через неделю после того, как мы с ним столкнулись. У него там с бандитами какие-то терки были. Те вначале просто наезжали, но у них получалось плохо, и его стали банкротить. Суд за судом он проигрывал. Ну, ясно, что там все было подмазано, но он, видимо, на что-то надеялся. А потом, когда всего лишили, то… Мотор и остановился. А мать дачу своим знакомым оставила, и уехала со Светкой в Москву.

— Адрес есть?

— Нету. Не дала. Сказала, что где-то дома потерялся. Я бы тоже не дал. Мало ли.

— Страдал потом, — констатировал Монгол, глядя на утес с изящным замком.

Том помолчал, подбросил дров, поворошил палкой в золе.

— Надо же, вот бывает. Казалось бы, живет себе где-то человек, тебе вообще чужой, и ты о нем ничего не знаешь. А потом увидел раз, и как прилипнет к душе, — без кровищи отодрать

невозможно.

— Я в таких случаях говорю себе: упрощаем.

— Это как?

— А вот так: когда хреново, то говоришь себе вслух «упрощаем». И все. Только обязательно вслух, иначе не сработает. Я когда-то в школе на математике, когда дроби проходили, вдруг понял: так оно и в жизни. Ну, типа не может быть все так плохо, как кажется. Есть еще что-то хорошее, чего не знаешь. Поэтому делим плохое на хорошее. Упрощаем. Не знаю, как оно действует, но сразу легче.

— Прикольно, — Том кисло улыбнулся. — Надо будет попробовать.

— Тихо! Слышишь? — встрепенулся Монгол, всматриваясь в мерцающую лунную дорожку.

Море застыло, будто затаилось. Луна уже побледнела, и, словно ожидая чего-то, таинственно освещала пустую бухту и серебряный замок. И вдруг из черной морской мглы до них донеслась… музыка. Где-то далеко, над гладью моря, там, где колыхался едва заметный огонек, тихо играл саксофон. Звуки протяжной мелодии далеко разносилась по замершему, будто остекленевшему морю.

Они стояли, замерев, стараясь уловить мотив.

Звук нарастал. Через четверть часа к пристани, сверкая огнями, подплыла небольшая белая яхта под парусом. Из нее с хохотом и гиканьем вывалился пьяный народ, который полез по лестнице к замку. Забравшись наверх, они стрельнули шампанским, весело зазвенели бокалами. Саксофонист старательно выводил известную мелодию. Компания подпевала.

— Гудбай Аме-ри-ка, ооо! — разносилось над тихим морем, будто над безлюдной площадью, — где я не был ни-ко-гда!

— Хорошо играют. — Монгол уже уверенно сидел на краю, меланхолично свесив ноги с обрыва. — Душевно.

— Из Ялты приплыли, — весомо сказал Том. Других прибрежных городов он не помнил.

Когда яхта уже отчалила от берега, его вдруг осенило.

— Слушай, так это же Бутусов с группой! Я в Ялте их афишу видел! Точно говорю. — Он вскочил, пошатнулся, и, хватаясь за ветки, чтобы не полететь с обрыва вниз, заорал во всю глотку.

— А-ааа! Спасите нас! Помогите!

— Ты чего орешь? Думаешь, ты им нужен?

— Это же Бутусов! — твердил свое Том. — Он же свой! Наш, неформальский! Я его в Киеве видел,

живьем! Он должен нас забрать!

— А, ну тогда другое дело! Эй, на баркасе! Бросай якорь, человек за бортом! — заорал Монгол.

Они запрыгали, размахивая руками и крича в темень, где еще виднелись тусклые огни уходящего судна.

— Тут все продано! Тут одни мертвые эскалопы!

— Здесь жизни нет! Нет жизни! No fun, no way, no fun!

Но лишь протяжная грустная мелодия была им ответом.

— Они нас не видят! — наконец догадался Том. Сорвав несколько дубовых веток, он щедро облил их бренди и поджег. Пламя взвилось в сумерках, осветив склон.

Они снова запрыгали на каменном карнизе, замахали факелами, но яхта уходила в море все дальше, пока не исчезла во тьме.

Вскоре затихла и мелодия. Они сели рядом, свесив ноги с обрыва. Наверху светила луна, внизу тихо хлюпало море, и будто не было ни яхты, ни музыки.

— Странно, — вздохнул Том. — Наверное это не Бутусов был? Иначе бы вернулись.

— Может, — эхом ответил Монгол.

— А почему же они только из «Нау» играли?

— Не знаю. Давай квакнем.

Наливать было лень. Том посмотрел в небо, хлебнул из горла, отдал бутылку другу. Потом заполз поглубже в нишу балкона, в сумерках нащупав сумку, подоткнул ее себе под голову.

— Знаешь, я сейчас что-то такое почувствовал. Ну, типа что прошлого больше нет. Того самого, откуда мы приехали. Что все прошло. Все хорошо будет, все как с самого начала. Нам так повезло, что мы живые, что мы здесь. У нас ничего нет, и поэтому весь мир — наш!

— Слышь. А мне вот интересно, на кой они ночью в ресторан ломились? — спросил Монгол.

— Не знаю. Может, тоже принцессу искали.

Дядя

Утро выдалось душным и каким-то совсем прозаическим. Напротив, у замка, фотографировались туристы, неподалеку от них, стоя у своих машин, гомонили водители. Над головой что-то не поделили бакланы. Истерично визжа, они устроили драку прямо в воздухе. Вечерней сказки как не бывало.

— На дождь, что ли? — Том жадно припал к бутылке с водой. — Хорошо, что солнце не печет.

— Куда теперь двинем? — спросил Монгол.

— Не знаю. Может, в Партенит?

— А что толку? Ходить по городу и спрашивать, кто тут Индейца знает? Это ж не деревня.

— Тоже верно. — Том встал на ноги, и тут же со стоном повалился на землю. Расшнуровав обувь, осторожно вытащил розовые, будто из бани, ступни.

— Заночевал в мокрых кедах, дурак. Снять поленился. Больно, как на гвоздях стою.

— Идти можешь? — спросил Монгол.

— Пока нет. Давай пожрем, может, отпустит. — Держась за отвесную стенку обрыва, Том переминал ноги.

Они перекусили бутербродами с салом, и вскоре уже, вяло голосуя, медленно ковыляли вдоль трассы.

— Откуда сало такое вкусное?

— У соседа по даче купили. У них там целая технология. Свинью пшеничной соломой смалят — для аромата. Сено нельзя: горчить будет. Оно дольше, чем горелкой, зато бензином не воняет, и шкура мягкая, темно-желтая. Сосед говорит, что у него лучшее сало на Украине.

— О, кажись тормознул. — Монгол кивнул на остановившийся метрах в двадцати от них старенький зеленый «москвич».

За рулем сидел веселый рыжий мужик в заношенной тельняшке и с якорем на руке.

— Садитесь, инвалидная команда. Вам куда?

— Хотя бы до Ялты. Только денег нет.

— Поехали. Хоть я и не очень люблю волосатых.

— Почему?

— У самого сын такой. — Мужик засмеялся, нажал на газ.

В салоне, провонявшем бензином и разогретой пластмассой, было жарко.

— Вот баня-то! Дождь будет, — бормотал водитель, вытирая лицо. А что с ногами? Шины

проколол?

— Не-е… — замялся Том. — Заснул в обуви. Никогда не думал, что так бывает.

— В море нужно было зайти, по самые Дарданеллы. Клин клином. К вечеру отпустит, расходишься. Вы только приехали? Я вижу, белые совсем. А где остановились? Жилье не нужно?

— Не, — ответил Том. — У нас все равно денег нет. Мы у приятеля остановимся, только найти его пока не можем.

— Тоже неформал?

— Типа того, — неуверенно ответил Монгол. — Мы его давно не видели. Он в Партените живет.

— Это кто у нас там в Партените неформал? — озадаченно сказал водитель. — А он не барабанщик часом?

— А вы не знаете, где он живет? — Том даже подпрыгнул на месте.

— Не, я с ним не знаком. А сын мой, Васька, знает. Он играл с ним. Отличный барабанщик! Но он вчера на Демерджи ушел.

— Сын?

— Ага.

— А что это — Демерджи?

— Вот отдыхающий пошел, — водитель в сердцах ударил по рулю. — Ничего не знает. Это гора

такая, над Алуштой. Красоты, я вам скажу, неземной! Там такие каменные столбы есть, десятки метров в высоту. Как лес стоят, на склоне. На них сосны растут, деревья всякие. Только вы на них не лезьте, а то не слезете.

— А что ваш сын там делает? Ну, там, — просто поход, или концерт? — спросил Том.

— Там вроде слет у них, или как там по-вашему, — замялся водитель. — Тусовка, мать ее туды. Вот и мой вчера пошел, тусоваться. А может, и этот ваш приятель с ним.

— Так это прямо наверху, что ли?

— Ну а где ж еще? Не в море.

— Я бы сходил. Я в горах ни разу не был, — сказал Том.

— Вот все у нас так, набекрень, — ответил водитель. — Страну развалили, и поэтому в горы не ходят. Вы думаете, тут нет связи? Связь есть, и прямая. Объясняю. Раньше в стране была героика. С детства мальчики хотели служить родине, летать на ракетах, открывать новые острова. В каждом ребенке воспитывали решимость, готовность на подвиг, на преодоление себя. А теперь что? Все живут как амебы. Героев и ученых заменили певцы, колдуны и комики. Теперь не ты должен делать, доказывать, преображать, а тебя должны

развлекать и нежить. Молодежь какая-то пошла непонятная. Вот вы о чем мечтаете?

— Пожрать нормально! — тут же среагировал Монгол.

— Пожрать! Вся страна теперь пожрать мечтает. Измельчало время. Ничего великого! Поэтому-то люди не в походы идут, а на побережье ломятся. А что тут делать? Жариться, как сарделька? Если ты не моряк, — что ты знаешь о береге? Что ты там увидишь? Ты же не пенсионер, кости парить. Иди в горы! Это в Крыму — самое главное. В горах не бывал — значит, Крыма не видал. Вон Чатырдаг! — Водитель показал на мелькающую за деревьями, похожую на шатер гору. — Красивая гора? Так бери и лезь. Покоряй! И красиво, и не высоко.

— Ничего себе, не высоко!

— Да ладно вам, не Гималаи. Вот сколько ты на девятый этаж поднимаешься? Пять минут. А сверху смотришь, — уже высоко. Теперь представь, куда ты поднимешься за два часа? Это ведь недолго. Тридцать метров — это пускай пять минут. Триста — меньше часа. Три часа — километр. А тут всего полтора. Накинь час на отдых. Выйдет часов в пять в одну сторону, и то если очень медленно. Вниз — и того проще, за час спуститесь.

Зато там… Сердце останавливается. А если вам все равно, где ночевать, — так идите туда. Вы ж свои, волосатые, они своих же не бросят.

— А вон то что за горы? — Монгол кивнул налево, где виднелся сине-зеленый массив прятавшихся в облаках пиков.

— Там Роман-Кош, высшая точка Крыма. Красота первозданная, — прицокнул языком водитель. — Но туда лучше не соваться: заповедник и правительственная дача. Если егеря поймают — это еще полбеды, а вот если президентская охрана… Они на всю голову больные, им везде покушения мерещатся. А при достаточном усердии за поимку особо опасного туриста можно и звездочку на погон заработать. Ну, вы поняли. И других мест хватает. Тут можно всю жизнь ходить, и все не излазить.

— А как на это Демерджи попасть? — спросил Том.

— Нужно до Лучистого доехать, это село на склоне. Только я туда не еду. А до Алушты могу подбросить. Едем?

— Едем! — сказал Монгол.

— Какие тут названия! Лучистое, Приветное, Родное. Прям романтика. — Том вертел головой, разглядывая знаки. Настроение у него припод-

нялось.

— У меня теща в Приятном Свидании живет, — усмехнулся водитель.

— Красиво там? — тут же откликнулся Том.

— Конечно… «Черный квадрат» Малевича видели? Это он там рисовал. Ночью.

И водитель весело захохотал.

— Эх, да Крым — это лучшее место в мире. Это я вам как моряк заявляю. Я по всему миру на сухогрузах ходил. В Норвегии был, в США, в Канаде, на Кубе. Да везде. У нас тут сама земля такая. Добрая, плохого не терпит. Тут каждый бомж — Диоген. Лучше Крыма на свете места нет, и быть не может. А знаете, почему?

— Почему?

— У нас море другое, закрытое. Вот взять, к примеру, океан. Он ревет, валы длинные катит. Грохот стоит, будто под водой турбина работает. Средиземное море, Карибское там, всякое. На берегу спокойно не посидишь, не расслабишься. А у нас море — ласковое, тихое. Иногда пошумит, конечно, — но это так, для порядку. Характер показывает. Ну, и соли мало. Можно нырять и даже глаза не закрывать. В океане так не получится. Такое вот у нас море. Ручное, малосольное. Оно не только тело, оно душу лечит.

— Как бы нам их найти, наверху? — допытывался Том.

— Та сколько той Демерджи? Поднимитесь — узнаете. Может, услышите даже. Они же молчать не будут.

— Интересно, а про Бермудский треугольник правда? — спросил Монгол.

Водитель минуту ехал молча, думая о чем-то своем. Затем ответил.

— Я не был. Друг мой был, Петька. Он на барке «Крузенштерн» матросом ходил. Есть у нас такой парусник, трофейный. Короче, плывут они на Бермудах, смотрят, — яхта без якоря болтается. Посмотрели в бинокль, — на борту никого. Прочитали название, позвонили в ближайший порт, уточнили. Оказывается, что эта яхта неделю назад как утонула. Народ едва успели вертолетом эвакуировать. Владелец — американец, уже страховку оформлял. Ну, они взяли ее на буксир, и в ближайший порт притащили. Вот и вся история.

— Значит, — правда?

— Правда.

Машина остановилась у алуштинского автовокзала.

— Вон она, Демерджи, справа по борту, — водитель кивнул на курящуюся в грозовых облаках

зеленовато-коричневую громадину.

— Спасибо!

— За спасибо солнце светит! — шофер дал по газам, затем вдруг остановился, сдал назад.

— А знаете, как их хозяин яхты отблагодарил? Выставил им ящик шампанского. Такие они, капиталисты. — Он сплюнул в окно и уехал.

Они стояли и молча смотрели на гору. Тому вдруг страшно захотелось оказаться там, среди далеких, будто отлитых из воска, каменных столбов. Защемило сердце, будто он был уже там, — давным-давно, в далеком сне, в детстве, в переживании бабушкиной сказки, когда все предметы были огромные, но не пугали, а восхищали своими размерами. Гора манила его смутным, сосущим под ложечкой обещанием чуда.

— Что думаешь?

— Что я, дурак, туда лезть? — прозаично сказал Монгол.

— Ты же вроде не против был?

— Я? — удивился Монгол. — Пошли купаться. Заодно ноги полечишь.

— Ну да. Да я бы и не дошел. Ноги болят до сих пор. — Том бросил прощальный взгляд на гору.

— Ты что, не вкурил? Здесь же мой дядька живет, — сказал Монгол. — Давай искупаемся, чтобы

тебя отпустило, а потом уже к дядьке зарулим. Он такие истории знает! Про концлагерь, про немцев. Про французских партизан.

Алушта показалась им шумным, как базар, пыльным и бестолковым городом. Здесь было то тесно, то неудобно, то как-то чересчур просторно. Изнывая от духоты, они долго брели к морю, пока, наконец, не заблестела перед ними на солнце широкая набережная. За ней грохотало почерневшее от непогоды море.

Том лежал на берегу, наполовину забравшись в воду. Ноги покалывали.

Монгол лениво швырял в воду камешки. Безмыслие и полная беспечность овладели обоими.

— Слышь, Том?

— Чего?

— А вот прикинь. У моего дядьки из близкой родни — только моя мать. Он помрет, квартиру ей отпишет. Будем сюда девок возить.

Том не ответил.

Уже вечерело. Как всегда, хотелось есть, а идти никуда не тянуло.

— Воздух тут такой, что ли? — говорил Монгол. — Все время спать хочется.

— Значит, в горы не идем? — вновь спросил Том.

— Зачем? Дядьку найдем, перекантуемся у него дня два-три. От него Серому позвоним, и всех делов.

— У него телефон есть? Ты ему звонил?

— Кому?

— Да дядьке своему!

— Не, я лучше без звонка. Пусть это вроде как сюрприз будет. Он у меня дядька героический, ему к сюрпризам не привыкать.

— А, ну тогда ладно. Так, может, сейчас и пойдем?

— Погоди. Дай настроиться. — Монгол подложил под голову камень, закрыл глаза.

Всю дорогу он ждал этой встречи, но когда далекий дядя оказался где-то рядом, его вдруг объяла неясная тревога. Он тянул время, будто боялся чего-то, — нелепого, непоправимого. «А вдруг он умер?» — стукнула в голову мысль. «Да нет, если умер, мать бы знала» — успокаивала другая. Но тревога не уходила.

— Не нравится мне погода, — сказал Том, мрачно смотря в небо.

— Ага. Как в теплице. — Монгол открыл глаза, привстал на локтях, посмотрел в сторону гор. Оттуда ровным полукругом, будто крышка кастрюли, наползал на Алушту иссиня-черный

грозовой фронт.

— Пора двигать.

— А куда?

— Сзади море. Значит, — только вперед. — Монгол полез в сумку, вытащил из нее блокнот с адресом. — Хоть этот сохранился. Пошли.

Непогода приближалась. В лицо подул резкий ветер, взметнул пыль вдоль обочин, утих. И сразу начался дождь. Вначале мелкий и теплый, он быстро превратился в настоящий тропический ливень. Вдоль дороги забурлил, понесся к морю грязно-бурый поток, увлекая с собой в водоворотах мусор, окурки, сорванные с деревьев листья. Затем посыпался, весело поскакал по лужам град. Резко, по-осеннему похолодало, будто между гор на Перевале кто-то открыл невидимый шлюз для ледяного ветра. По желтому небу неслись оттуда к морю низкие, черные облака. Прохожих словно смыло. Застигнутые врасплох отдыхающие, прикрываясь пакетами, бежали по своим укрытиям.

— Вот тебе и курорт. Как в холодильнике, — стучал зубами Том.

— Сейчас отогреемся, — сказал Монгол.

Через полчаса блужданий они, промокшие до нитки, стояли, наконец, у одинокого подъезда свечи-высотки.

— Пошли, — оробевшим голосом сказал Монгол, и они зашли в полутьму дома.

В подъезде было тепло, но лифт не работал. Под кнопками этажей Монгол рассмотрел гнездо для магнитного ключа-чипа.

— Смотри. Лифт платный!

— Да не может быть. Что за бред? — Том выжал из футболки воду, надел рубашку.

— Да вот, читай. — Монгол показал на стенку лифта, где висел неровный кусок бумаги:

«Уважаемые жильцы! Для зарядки чипа на август месяц просьба обращаться в ЖЭУ по месту жительства гражданина. Заряженный самостоятельно чип может выйти из строя и испортить оборудование».

— Ребята, вы едете? — откуда-то сзади, из полутьмы, выплыла женщина с сумками.

— Едем.

— Какой этаж?

— Восьмой, — наугад сказал Монгол, вытирая похолодевшую от дождя голову.

Женщина достала ключи, приложила чип, и лифт поехал.

— Поехали.

— А что, у вас тут лифт платный?

— Да, — сказала женщина. — Так даже лучше.

— Чем лучше?

— Понимаете, на лифте ездит кто попало, а за электричество платят жильцы.

— А я вот читал, что скоро в Алуште тротуары платные сделают, — сказал Монгол.

— Тротуары? Как это? — недоуменно спросила женщина.

— А чтобы кто попало не ходил. Бомжи, туристы всякие. Или плати, или иди себе по дороге. Зато красиво будет. Перила всякие, асфальт целый, без ям.

— Я эту инициативу тоже поддерживаю, — вставил Том. — Но я против того, чтобы в магазины был платный вход. Это, я считаю, — перебор. Я понимаю, если ничего не купил, тогда конечно, плати на выходе. Но за вход! Не, это перебор!

— Согласен, — подтвердил Монгол.

Женщина открыла было рот, но ничего не сказала, и вышла на шестом этаже.

Они поднялись на седьмой, и сразу нашли нужную квартиру.

Монгол подошел к двери, постоял, вздохнул, затем решительно и громко постучал. Гулкое эхо разнеслось по пустому подъезду.

За дверью было тихо.

— Нет никого? — Том расположился на сту-

пеньках.

— Ну не пошел же он гулять под дождем, — сказал Монгол и позвонил.

— Может, он оглох со старости? В старости всякое бывает. — Том достал потертый конверт Лелика, разгладил его, в который раз пытаясь различить стертые буквы адреса.

— Может. Какая разница, все равно идти некуда. — Монгол терпеливо жал кнопку звонка.

— А может, уехал куда, — проговорил Том.

На этот раз Монгол не ответил. Он молча и терпеливо стучал. Потом снова звонил. Потом бил кулаком. За дверью было тихо.

— Или, там, в магазин пошел, — рассуждал Том.

— Вряд ли. Он уже наверное старый совсем.

— Ну как-то же он питается.

— Дай сигарету. — Монгол закурил, присев было на ступеньку, прислушался к тому, что происходит за дверью. Не просидев и минуты, вскочил, и снова заколотил в дверь.

— Может, — боится?

— Кто? Дядька?

Монгол все стучал и стучал, будто боясь прекратить, боясь признать то, что он не увидит своего дядю, возможно, больше не увидит никогда.

Затем стал выстукивать на двери барабанные партии. В какой-то момент он так забылся, что простучал почти всю «One» группы Metallica.

Когда он заканчивал последний припев, на площадке одновременно открылись три двери.

Том вдруг понял, что все это время их пристально разглядывали в глазки. И когда самый храбрый сосед решился выглянуть, его тут же поддержали остальные.

— Ходят тут, ходят, стучат! — хором заголосили жильцы.

— Да что вам надо?

— Милицию нужно вызвать!

— Там вообще никто не живет!

— А мы не к вам! — отрезал Монгол, и вдруг услышал, как за дядиной дверью зазвенели ключами. Защелкали, зашаркали, завздыхали. Наконец, распахнулась четвертая дверь, и в ее темном проеме они увидели глубокого сгорбленного старика. Он был в пижаме и тапочках. Остатки его седых волос были всклокочены. Гостей он явно не ждал. Тому даже показалось, что непобедимый дядя был расстроен, и даже несколько напуган.

— Что вам нужно? — дрожащим голосом тихо пролепетал старик.

— Дядя Петя, узнаете меня?! — громко и радостно приветствовал его Монгол, так, чтобы слышали все соседи, чтобы эхо прокатилось до первого этажа, — я ваш племянник, Саша!

И он широко растопырил руки, собираясь обнять старика.

— А, Саша. Ну, заходи, — печально сказал дядя Петя.

— А я с другом! — довольно сказал Монгол, кивнув на Тома. Том тут же вскочил со ступенек, и невольно вытянулся перед стариком, как вытягивается курсант перед генералом.

Дядя Петя скептически оглядел Тома, словно это был какой-то неодушевленный предмет. Чурка, или каменная статуя.

— Но я гостей не ждал, — уныло сказал он. — Поэтому друг твой пусть здесь постоит.

Монгол кивнул, извиняясь, повел плечом, и нырнул, как в омут, в темную прихожую. Пока он привыкал к полумраку, дядя защелкнул дверь.

— Дядя Петя, я от вашей сестры Марины. Я ее сын. Вы меня узнали? — громко, и почему-то по слогам заговорил Монгол.

— Узнал, Саша, конечно узнал, — устало сказал дядя Петя, выдавив скупую улыбку, но глядя куда-то в сторону. — Марина, говоришь?

— Да. Марина. Это мама моя. От нее вам огромный привет.

— Тетя Марина. Правильно, правильно. — Дядя по-прежнему стоял в коридоре у двери, не проявляя никаких признаков радушия. В руках он сжимал тяжелые выпуклые очки в роговой оправе. Его узловатые, покрытые черными венами кисти сильно тряслись. Очки были перемотаны синей изолентой. Они молча стояли и смотрели друг на друга. Монгол не знал, что сказать. Ожидая другого приема, он вдруг потерялся, совсем как в детстве покорно отдав взрослому инициативу. Но дядя инициативу не брал.

— Я разуюсь? — Монгол наклонился.

— Не нужно, не нужно, не напачкаешь, — поспешно ответил дядя.

— Ой, забыл! — спохватился Монгол. Он вспомнил про свой главный козырь, можно сказать, червовый туз. Не даром же он так далеко и долго тащил эту тяжелую никчемную склянку. Присев на корточки, Монгол расстегнул сумку и быстро зарылся в ее содержимое, пока не вытащил на свет темную пол-литровую банку.

— Вот вам варенье! Мама сама варила. Из наших вишен, огородных, — радостно сказал он, будто привез дяде Пете саму молодость.

Передавая подарок, он изо всех сил пытался настроить старика на дружественный лад, и даже немного поклонился, одновременно чувствуя себя полным идиотом.

— Спасибо, — без энтузиазма сказал дядя Петя. Он осторожно взял баночку, и тут же поставил ее у себя под ногами, на пол.

Дядя явно был не дурак. И даже, возможно, любитель преферанса.

— В прошлом году такой урожай вишен был! Все ветки усыпало! — громко сказал Монгол, стараясь сдерживать нахлынувшее было разочарование. — Вот мы и закатали.

— Это хорошо, это хорошо, — бесцветно ответил дядя.

— Дядя Петя! Мама сказала, чтобы мы вас навестили. Может быть, вам чего нужно? Убрать, или, может, посуду помыть? Мусор вынести? Ковер выбить? — Монгол начал было импровизировать, но непроницаемое лицо дяди только сморщилось от неудовольствия.

— Спасибо, мне ничего не нужно, — сухо ответил дядя, переминаясь с ноги на ногу.

Монгол вздохнул. Поток спасительных мыслей в его голове иссяк. В разговоре снова повисла угрожающе длинная пауза.

— А у вас переночевать можно? — Монгол пошел в открытую. — А то на улице ливень, холодно, мы промокли. У нас даже теплой одежды нет. Мы у друга остановились, но он в другом городе. А вам подарок завезли. Нам только на ночь.

Дядя стоял неподвижно, глядя на Монгола печальными, выбеленными временем глазами. Он был где-то далеко. Монгол отчаянно пытался расшифровать сложный ребус морщин на его лице, раскусить секретные коды его партизанской души, но чувствовал, что все слова уже сказаны.

— Видите ли, Саша, — наконец, сказал дядя. — Я в последнее время стал часто падать. Очки вот разбил. Видите? — Он поднял очки повыше, чтобы Монгол хорошо рассмотрел перемотанную изолентой дужку. — Поэтому, увы, приютить я вас не могу.

— Дядя Петя, — пролепетал Монгол, — мы всего одну ночечку. Мы на кухне, на полу, под столом ляжем. А рано утром сразу уйдем. Нам только…

— Видите ли, Саша, — с грустным терпением, будто учитель неразумному двоечнику, повторил дядя, — я в последнее время стал падать. Я часто падаю. Годы все-таки берут свое, возраст… Я вот вчера шел в магазин, упал, и очки свои разбил. — Он снова повертел очки у самых глаз

Монгола. — Поэтому…

— Я понял, — промямлил Монгол. — Выздоравливайте, дядя Петя. Всего хорошего.

Монгол медленно взял свою сумку, слегка пошатнулся, чуть было не опрокинув неуклюжую вешалку, и шагнул к двери.

— До свидания.

Дядя не ответил. За спиной дважды щелкнул замок.

Монгол присел на ступеньку рядом с Томом, некоторое время молчал, трогая онемевшую челюсть. Щеки горели, будто кто-то наотмашь шлепнул его по лицу мокрой половой тряпкой.

— Куда теперь? — Том все понял без слов.

— На автовокзал пошли. Там хоть дождя нет.

Когда они приплелись к автовокзалу, дождь совсем прошел.

— Мальчики, ночлег недорого, — насели на них несколько женщин в белых кедах, цветастых платьях, в больших соломенных шляпах и возрасте.

— Спасибо, мы уже уезжаем, — сказал Том, и от них сразу отстали. В зале ожидания было много свободных мест. Они сели в углу, у камеры хранения.

Монгол намотал ремень сумки на руку, и тут же закрыл глаза.

— Дядька твой настоящий партизан. — Том попытался взбодрить друга.

— Завтра в горы пойдем, — неожиданно ответил Монгол, не открывая глаз.

Ночь прошла в полузабытьи. В здание вокзала постоянно входили люди, толкались, шумели. Вопили дети, кашляли старики. Том время от времени открывал глаза, проверяя, все ли в порядке. Монгол уже спал. Его расстроенное лицо по-детски расслабилось, замерло, лишь подрагивали время от времени ресницы.

«Все-таки верный друг», — подумалось ему.

Действительно, несмотря на все гопничьи замашки, в Монголе была одна удивительная черта — помогать, без лишних вопросов идти на выручку.

Он вспомнил, как на следующий день после разговора с матерью про отравление он зашел к Монголу.

— Привет! Тут одного урода нужно проучить. Я сам буду разбираться, а ты в дверях постой. Я просто не знаю, какой он комплекции.

— Прямо сейчас? — Монгол, не дожидаясь ответа, сразу стал одеваться. — Приправы брать? Или чисто на кулаках?

— Забей.

— А куда идем? — Монгол на секунду остановился у зеркала, прищурил свои и без того узкие глаза, почесал сломанное ухо, и, выпятив челюсть, скорчил рожу.

— Сейчас на маршрутку, и до общаги у завода. Уже девять часов. Думаю, он дома.

— Пошли, — сказал Монгол, и его глаза загорелись недобрым огнем.

Через полчаса они стояли у серой девятиэтажки.

— Ну что, Пятерка короли? — спросил Том.

— Не то слово, — Монгол натянул на затылок кепку.

— Чистый гопник.

— Жизнь не пропьешь, — ответил Монгол.

В холле заводского общежития царил вечерний полумрак. Тусклая замызганная лампочка едва освещала небольшое пространство между стойкой вахтера, лестницей и двумя длинными коридорами, уходящими в гулкую темноту здания. За стойкой около чахлой пальмы дремала пожилая вахтерша. Общага приглушенно гудела. Где-то в гулкой трубе коридора трещал телевизор, доносился негромкий смех. Пахло яичницей и кислой капустой. Вернувшиеся с завода работники ужинали.

Том сразу направился к вахтерше. Та говорила по телефону.

— Вы Марья Афанасьевна?

— Она завтра, — прикрыв рукой трубку, сказала женщина. — Чего надо?

— Мы электрики. Она просила пробки посмотреть. — Том мельком показал ей свое старое удостоверение слесаря.

— Секунду, — сказала в трубку вахтерша и подозрительно посмотрела на Тома. — Не поздновато для электриков?

— Как смогли. — Он пошел к лестнице.

— А твое?

— Да не взял я, ясно же, раз во внерабочее. — Монгол улыбнулся, и, наклонив голову, заговорщицки подмигнул вахтерше. — Мы за магарыч. Вы же своего из жека все равно не дождетесь.

— На пятом этаже, левое крыло не горит, — крикнула вслед вахтер.

Они поднялись на шестой этаж, и, пройдя в самый конец, остановились перед с цифрой 606.

Где-то хлопнула дверь, из темного прямоугольника тоннеля потянуло теплым обжитым жильем.

Том нажал на ручку. Дверь была закрыта. Он постучал.

— Кого там несет? — за дверью послышался хорошо поставленный баритон.

— Свои.

— Свои дома сидят.

— Открывай.

— Не открою, — гонористо отвечал кто-то.

— Галушко здесь проживает? — казенным голосом прогнусавил Том. Его начал раздражать этот идиотский диалог.

— Здесь, — дверь, наконец, открылась, и на пороге показался плотный мужик среднего роста, лет сорока пяти. Широкое, плоское лицо, жесткая, слегка ироничная складка губ, оценивающий взгляд небольших карих глаз. Широкие скулы резко сходились на небольшом остром подбородке. Выглаженная рубашка, галстук, на голове — идеальная прическа с ровным пробором. В руках — чашка чая. Впечатление портили лишь спортивные штаны с растянутыми коленками. Человек явно только что пришел с работы, и еще не успел переодеться.

Долю секунды он оценивал непрошеных гостей, пытаясь понять, что им нужно. Том заметил, что в глубине комнаты сидит еще один человек, и смотрит что-то по телевизору.

— Ты Галушка?

— Галуш-ко. — Галушко чуть задрал подбородок, и его тонкие губы скривились в ухмылке. — И почему на ты…

«Странно, будто не со мной». — Том много раз проигрывал в голове этот миг, хоть и старался спрятать его в тайниках своего сознания, переживая, что не получится так, как надо, но все произошло легко, очень быстро и даже как-то естественно.

«Этот урод в майке хотел отравить мою мать», — подумал он, и в голову вновь ударила обжигающая ненависть.

Том сходу ударил Галушко в челюсть, а затем, не дав опомниться, выпрыгнул, пнув того ногой в грудь. Юрист влетел в комнату, чашка в его руке взмыла вверх, и, описав дугу, вдребезги разбилась о потолок, оставив на нем коричневую кляксу. Галушко, забившись в угол у дивана, прикрыл лицо рукой.

Монгол зашел следом и осторожно прикрыл дверь.

— Понял, за что?

— Му-жики??? За… За… Что? — эхом переспросил Галушко и его брови удивленно поползли вверх, а перепуганные глаза забегали по комнате, ища спасения.

— Еще не понял?

— Я не…

Том ударил еще, целясь ногой в лицо, но тот отдернул голову, и удар пришелся куда-то в шею. Он ударил еще раз, сверху, прокрутил ногой, будто раздавливая гадкого, скользкого слизняка. Галушко то ли взвизгнул, то ли всхлипнул, затравленно выглянул из-за руки. Затем как-то обреченно съежился, сел, подобрав под себя ноги, по-детски громко шмыгая разбитым носом и вытирая кровь. Еще недавно веселый, задиристо-громовой, он уже согласился со своей ролью жертвы.

— Понял, за что?!!!

— Я… По… Не… — Заискивающий голос толчками выдавливал из себя жалкие, беспомощные звуки.

— Это мы только разминались. Сейчас мы тебя бить будем. — Монгол вытер шею, хрустнул пальцами.

— Да объясните же, наконец! — вдруг завизжал юрист, сплевывая на пол кровавую слюну.

Монгол вдруг потерял к нему интерес, посмотрел на потолок, глянул на соседа по комнате. Тот замер, втиснулся в кресло, уставившись в футбол. Происходящее в комнате его не касалось. Телеви-

зор весело трещал: одни футболисты шли в атаку, их соперники отчаянно оборонялись. Монгол подошел к нему, заинтересованно глянул в экран.

— «Динамо»?

— Не, «Шахтер», с «Днепром» играют, — громко, чересчур по-дружески залопотал мужик, будто отгораживаясь от проблем соседа. — Уже дополнительное время. Дело к пенальти, но судья…

Монгол повернулся к Галушко, присел на корточки, и вдруг звонко шлепнул того ладонью по щеке.

— Я ничего никому не должен! — вдруг заголосил Галушко. — Да объясните же! Это какая-то подстава!

Том схватил его за челюсть, и вкрадчиво произнес:

— Ты не понял? Если кто-то кого-то отравит, я тебя убью. Теперь понял?

— Понял. — Юрист обмяк, стараясь не глядеть в глаза. И вдруг затараторил, поспешно выговариваясь, будто выстраивая вокруг себя частокол из слов. — Та пацаны, та не берите в го… Та то пьяный базар. Та то попутали. То несерьезно, то по пьяни…

— Та то не важно, — в тон ему сказал Том, снял висящее на крючке полотенце, вытер руки.

— Пошли, Саня.

— Пошли, Егор. — Монгол посмотрел на Галушко, улыбнулся ему как старому другу. — Тебе еще повезло, что Егор добрый. А я бы тебе на память палец отрубил. И заставил бы тебя его съесть. Для начала. Или на бабки поставил бы.

В дверях Том обернулся. Галушко так и сидел на полу, закрыв голову рукой, не решаясь пошевелиться. С потолка падали редкие капли чая.

Они вышли из общаги, и, с наслаждением вдохнув свежий летний воздух, зашагали по тенистому бульвару.

— Будешь конфету? — Том достал из кармана замусоленную барбариску.

— Давай! Это ты правильно сделал, что клички не засветил, — довольно сказал Монгол. — Если ментам сдаст, зацепок ноль.

— Он знает, кто я.

— А, ну ладно. Но все равно не сдаст, — сказал Монгол.

— Похоже на то. Слишком обделался.

— Не в этом дело. Мы у него дома были. Если бы на улице, или там, на работе, — он мог бы. Дом — это святое. Его никто не защитит. Это потом прятаться надо, жить где-то. Все менять. Ради чего?

Они замолчали. Летний ветерок донес до них запах цветов.

— Спасибо, Монгол. Выручил.

— Сам справился, — довольно сказал Монгол, натянул козырек кепки на лоб и сплюнул. — За что ты его?

— Мать хотел отравить.

— Что ж ты раньше не сказал? — Монгол даже остановился. — Я бы ему башку проломил. Или ахиллесово сухожилие перерезал. Эх, добрый ты слишком. Он это не оценит.

— Ладно, давай, на репетиции встретимся.

— Бувай.

Лучистое

Рассвело как-то сразу, быстро. Автовокзал зашумел, задвигался. Они умылись в туалете, набрали воды.

— Ну что, в горы не передумал? — Том потер пекущие от бессонной ночи глаза.

— Пошли, — упрямо проговорил Монгол.

Утро выдалось ясным. На небе со вчерашнего шторма не осталось ни облачка.

Город кончился. Они не спеша брели по дороге в сторону Перевала, — туда, где маячили рваные, вспученные склоны Демерджи. Где-то там, наверху, сидел какой-то Вася, который знал, где живет Индеец. Слева и справа, отгороженные от дороги стройными рядами кипарисов, манили своей свежей салатовой листвой виноградники.

— «Обработано химикатами». Значит, для нас. — Том перелез через остатки ржавой сетки-рабицы и стал отгрызать длинные желтые гроздья мелкого винограда.

— Загнуться не боишься? — с раздражением спросил Монгол.

— Нет. От винограда я не умру, — засмеялся Том. — Я умру от передозировки. Или, на худой

конец, от старости.

— Сейчас в горах скрутит, а лазарет далеко. И привет.

— Монгол, ты чего? — Том перестал жевать. — Вчера же дождь был.

Монгол на секунду замер, хлопнул глазами, тут же ринулся в заросли виноградника. Настроение у него улучшилось.

…Еще через полчаса они увидели припарковавшийся у обочины экскурсионный автобус. Раздетый по пояс загорелый водитель откручивал ключом гайки колеса.

— Мож, подсобить чего? — Обратился к нему Том.

— Да не, ребята, не надо.

— А вы нас до Лучистого не подбросите?

— Не, я туда не еду. Лучистое не на трассе. Но это недалеко, — коротко говорил он, вытирая пот кепкой. — До поворота могу подбросить. А там пешком дойдете.

Они забрались в автобус, присели на ступеньки. Отдыхающие украдкой рассматривали новых пассажиров. Наконец водитель запрыгнул в кабину, и автобус натужно тронулся вверх, по серпантину.

— С левой стороны нам открывается величе-

ственный шатер Чатырдага. Ее западная вершина в Крыму — четвертая по высоте, — скороговоркой строчила миловидная экскурсоводша. — Говорят, что эта гора меняет свой цвет каждый час, двадцать четыре раза в сутки. Две его вершины напоминают шатер, отсюда и его название, Шатер-гора. — А справа нам открывается Демерджи, в переводе Кузнец-гора. Демерджи славна своими огромными каменными столбами. Про нее есть красивая легенда. Когда-то, в старые времена, этот край покорил злой воин, обративший в рабство местных жителей. На горе, прямо в жерле вулкана, он организовал кузню, где день и ночь ковал себе оружие. Дочь одного из жителей, самая красивая в округе девушка по имени Мария, пошла просить этого воина отпустить ее старика-отца. Но воин отказал ей. «Я не только не отпущу твоего отца, но и возьму тебя в жены», — ответил он Марии. Девушка упала на колени и громко зарыдала. И тут гора, не выдержав, извергла из себя тонны лавы. Воин погиб, все его пленники превратились в каменные столбы, а у края горы, со стороны моря, вы можете увидеть женский профиль с зачесанными назад волосами. Это и есть голова Марии.

— Не понимаю, почему она за него замуж не

вышла? — громко спросил Том. — Муж перспективный, не за горами — яхты, путешествия, рестораны. Жена олигарха. Отличный карьерный рост. Что еще нужно для счастья?

— Эх, молодые люди, не в деньгах счастье! — сказала полная дама в летах, сидевшая ближе других.

— А в чем же еще? — спросил Том, делано разводя руками.

Автобус возмущенно загомонил.

— Какое меркантильное поколение выросло! — проворчала неподалеку старушка.

— Эх вы, молодежь бездуховная! Вот в наше время! — в сердцах сказал сидевший рядом с дамой пожилой господин.

— Вы верите в Бога? — спросил Том.

— Нет. А при чем тут Бог?

— То есть вы — материалист?

— Предположим, — осторожно сказал господин.

— Тогда объясните мне, что же может быть в вашем материальном мире выше материальных благ? — спросил Том.

Пока пассажир собирался с мыслями, водитель остановил автобус, махнул рукой.

— Ребята, вам по этой дороге.

Дорога шла в гору, то выныривая из пролесков, то снова кутаясь в листве. Впереди маячила подернутая дымкой горная стена с пучком каменных столбов над обрывом. Вскоре она спряталась за склонами покрытых виноградниками и рощицами холмов.

— Я чета не понял, — сказал Монгол. — Ты ж вроде атеист? А тут взял такой, и на мужика наехал.

— Да мужик, в общем-то, прав. Просто я не люблю, когда человек, не зная другого, сразу начинает ставить ему диагноз. А так… Откуда я знаю, как оно там все устроено. В доброго дедушку на небе я, конечно, не верю. Но вот есть же, например, брехня, или, там, лизоблюдство. И люди знают, что это плохо, просто слабы этому противостоять. Это же не они сами придумали. Даже маленький ребенок знает, что врет, и от этого краснеет.

Попутных машин почти не было. Монгол то и дело поднимал руку, но никто не останавливался. Солнце уже высоко поднялось над морем и припекало покрасневшие за пару дней плечи. Сквозь пение птиц ветерок доносил откуда-то издалека стрекотание двигателя. Звук то пропадал совсем, то снова приближался. Вскоре впереди послышался звон колокольчика и неясная дробь. Вдруг

из-за поворота дороги, выпучив налившиеся кровью глаза, выскочила грязно-белая корова. Они шарахнулись в сторону, едва успев выскочить из-под копыт. Корова, смешно подпрыгивая и занося задом, проскакала мимо них.

Следом из-за поворота вылетел мотоцикл.

— Мила! Мила! Стой, гадюка! — орал мотоциклист.

Он пронесся мимо них и скрылся в облаке пыли.

Село встретило их крепким навозным духом, гавканьем и кукареканьем. Оно наползало медленно, пестрыми огородами. Затем потянулись небольшие аккуратные домики. Жмурясь небольшими оконцами, они подставляли солнцу свои беленые бока. За селом, укрывшись в лиловых складках горы, паслись кони. Над ними уходил вверх поросший деревцами рыжий склон, увенчанный бугристой каменной стеной.

В центре села на небольшой площади стояла церковь, автобусная остановка и магазин с размашистой надписью «Продукты». У магазина гордо и боязливо крутил ощипанной шеей петух. Тут же две бабки продавали груши, огурцы, мед и травяные сборы. Около них стояла немолодая тетка, рассказывая свежие городские сплетни.

— …И он чувствует, что умирает. Лежал уже три дня, не вставал. Родня съехалась. Жена у постели, плачет, дети, внуки. Гробовщики приехали, мерку снимать. А он: оставьте нас с моей женой одних. И тут все вышли. А он ей и говорит: «Жена моя! Я изменял тебе всю жизнь с соседкой нашей, Зинаидой Филипповной. Хочу попросить у тебя перед смертью прощения». Ну, делать нечего, — поплакала она, плюнула в ту сторону, и простила. Позвали священника. Тот исповедался. Потом встал, воды попил, и вдруг ожил. Вышел на двор, и сразу, на радостях, к соседке поболтать. Так жена всех повыгоняла, батюшку поблагодарила, а потом ка-ак дала ему дрозда! «Ах ты кобелина!» — орала. Гоняла его по двору, гоняла, он за табуретку зацепился, да и ударился о печку темечком. Пока «скорая» приехала, — помер.

— А ей что?

— А ничего. Списали на несчастный случай. Плакала, конечно, потом, убивалась. Муж все-таки.

— Ты-то откуда знаешь?

— Сестра ее мне по секрету рассказала, она все в окно видела.

— Чего ж плакала?

— Не уберегла потому что.

— А уберегла бы, — простила?

— Может, и простила бы, — весомо сказала одна из собеседниц.

— А ты бы простила?

— Ой, девочки. Жизнь такая… Простила бы.

— Простила, не простила, а то, что убила — это доказанный факт.

— Почему убила, если сам ударился?

— Потому что покойному плохо было. Сорок дней кошка шипела. Шерсть дыбом, глазищи горят. А на сороковой день успокоилась. Значит — не просто так помер. Считается, что убила.

— Бабушки, почем огурчики? — спросил Монгол.

— Та почти даром, мальчики. Берите, не пожалеете. Смотрите, вкусные какие. Свои, чистенькие, только сорванные. Один к одному огурчики! Лучше не найдете! Без удобрений, все натуральное.

— А где тут вина можно взять? — спросил Том.

— Вон там мужчина сидит, на разлив продает.

— Где?

— А во-он там, за углом, — привстала одна из женщин. — Через три дома, ворота красные. Там, ага. Так вы у него не берите, а то потравитесь. Лучше в магазине возьмите.

— Вы наверх? — спросила другая.

— Ага.

— Подниматься лучше во-он туда, там дорога, — наперебой стали советовать женщины. — Ночью в горах может быть холодно, и воды там нет. Поэтому набирайте здесь, в роднике. Родник вон там, под грушей. Груш в дорогу возьмите! Сладкие, хорошие!

— Спасибо!

— Идите, идите, деточки! Идите, дорогие, в эти ваши горы, — кричали бабушки вслед.

— Я бы тут жить остался, — сказал Том.

— А зачем вино? — спросил Монгол. — У нас же спирт есть.

— Не-е, спирт — это не то. Наутро пить по-любому захочется, а вдруг там воды нет? Вино — совсем другое дело. Это кровь земли. От него правильная энергетика исходит.

— Какая разница, что бухать? Денег почти нет. Мы уже третий день тут чалимся, а Индейца ни одного не встретили.

— Монгол, ты чего? — Том даже остановился. — Мы с тобой проехали сотни километров без копья, чтобы в Крыму о деньгах беспокоиться? Сам же видел: то арбузы, то эти… Эскалопы! Тут и без денег жить можно. Вот сейчас и избавимся от этого буржуйского пережитка. Пустые карманы

еще никому не мешали.

— Зачем карманы, если они пустые? — буркнул Монгол, но вдруг махнул рукой, легко рассмеялся, почесав на голове жесткий ежик волос.

— А, ты прав. Нафиг. Все нафиг. Упрощаем.

Время в селе — вязкое как патока. Тянется медленно, долго, а в центре и вовсе стоит. Петух в центре села скрипит тяжело, немощно, будто ворочает жернова времени. Живет село тихо, а стоит крепко, как камень, уверенно, невозмутимо. Жарится, не боясь, под южным солнцем как цепкая лепешка при дороге. Можно пройти его насквозь, а солнце не сдвинется с места. Лишь протарахтит вдали мопед, сонно звякнет натянутой цепью собака, да на обочине у колодца победно и гордо зашипит гусь. Подожмет оранжевую ногу, глянет снизу, да и пойдет по своим делам рвать серую, уже иссохшую от зноя траву.

Груши у родника действительно оказались вкусными. Набрав воды, они двинулись вверх, по желтой полевой дороге, медленно забирая к морю. Ноги Тома еще побаливали после ночи в кедах, но идти оказалось легче, чем они ожидали.

— Смотри! Ух, красота!

Слева, под склоном горы, за косматым кустарником росли из земли высоченные каменные

столбы. Кривые и ровные, составные, изогнутые, покосившиеся, они грудились, наползали друг на друга. На некоторых, изо всех сил цепляясь за жизнь, росли кривые горбатые сосенки. Место было одновременно и страшным, и сказочным.

— Ты по поводу денег не боись, — говорил Том, не спеша поднимаясь по дороге. — Как только человек остается один на один с миром, без страховки, то есть без денег, без связей, без привычной постели, то включается какая-то новая логика обстоятельств. Не знаю, как это назвать. Рок, или там, судьба. В общем, жизнь к тебе начинает поворачиваться по-другому, мир тебя кормит.

— По-твоему, люди и с голоду никогда не умирали? — спросил Монгол.

— Голод — это другое. Там еда, если даже и есть, то она куда-то девается. Засуха там, неурожай. А если у нас вдруг еда кончится, то как-то все само образуется. Не умрешь, короче, без причины, земля прокормит. Бомжей вот кто кормит? А чем панки хуже бомжей?

— Так ты проверить решил? — усмехнулся Монгол, поднял голову.

Над горой, перевалив зенит, лениво и вечно светило солнце. Внизу за маревом горячего воздуха таяло село. Оттуда сквозь пронзительный

хор цикад доносился заливистый лай собак и блеяние коз. За селом в широкой долине изумительной бирюзой синело небольшое овальное озерцо. Еще дальше, за стеганым зеленым покрывалом холмов тянулась нитка шоссе. На ней, под могучим Чатырдагом, притаилась крохотная желтая букашка троллейбуса. Все будто замерло под зноем, застыло, боясь пошевелиться, экономя силы. Картину оживляли лишь тени облаков: они легко скользили по лугам, по лесочкам, по виноградникам и полянкам, то опускаясь, то вновь подымаясь на холмы, без устали спеша на простор, к морю, на берегу которого искрилась белая россыпь Алушты. На севере, под громадными уступами Демерджи, виднелись следы мощного обвала: как будто неведомый великан разбросал гигантские каменные кубики величиной с дом. Мимо кубиков по дороге плелись в село гнедые кони.

— Смотри, как оно все тут… Красиво, сука. — Монгол вытер пот со лба.

— Давай отдохнем. Привал. — Том посмотрел вверх, на по-прежнему далекую вершину. — Я вот думаю. Скоро вечер, а мы прем неизвестно куда. А вдруг нас тот моряк развел? Про Ваську этого, сына своего. Что скажешь?

— Я ничего не скажу, — ответил Монгол. — Залезем, — посмотрим. Не понравится, — слезем. И зачем ему врать?

— Мало ли, — пожал плечами Том. — Люди разные. Иногда просто так врут, со скуки.

— Ну, ты взял бы и тормознул в Партените. Мимо же ехали. Походили бы, поспрашивали. Может, нашли бы уже. А то не пойми где шаримся. Ищем, как тот пьяный под фонарем, где светлее.

— Ты ж к дядьке своему хотел, в Алушту.

— А ты?

— А мне, если честно, из машины вылазить не хотелось. Ноги болели.

— Ладно, посмотрим. Может, поднимемся, а они там сидят, тепленькие. И жилья бесплатного вокруг — уйма. Где лег, там и спи.

— Ну да. Только со жратвой проблемы.

— Ты ж только что сказал, что земля прокормит.

— Я вот еще что подумал, — сказал Том. — А вдруг если мы сейчас к Индейцу припремся, если он нас впишет, — так ничего больше тут и не увидим.

— Это как знать. Мы ж к нему не привязаны. Может, он вообще дома не сидит. Может, со всеми местными музыкантами перезнакомит.

— Кто его знает. Столько лет прошло. Винт говорил, что он его года два не видел. Может, тот вообще с музыкой завязал. — Том снял кеды и высыпал из них целую пригоршню камушков, вытянул уставшие ноги.

Жизнь вокруг бурлила: повсюду сновали муравьи, прыгали кузнечики, кружились пестрые бабочки. У обочины тропы, в красно-рыжей пыли Том заметил целый ряд небольших лунок. Он поймал муравья и бросил его в лунку, замер над ней. Вначале ничего не происходило. Муравей пытался выбежать из лунки, осыпая край. Он почти добрался до верха, но вот из самого дна лунки вынырнули небольшие белесые, слегка изогнутые клещи. Они стали быстро подрывать ту часть склона, по которому отчаянно карабкался муравей. Наконец он скатился вниз, и, намертво зажатый двумя серпами, исчез в пыли воронки. Том как зачарованный смотрел на эту битву.

— Это что? — спросил Монгол.

— Личинка муравьиного льва. Я про них в детстве читал. Сам муравьиный лев на мотылька похож, или на муху. А это его личинка. Она величиной с клопа, под песком прячется. Все, как в жизни. Жил себе человек, жил, а потом попал в яму житейскую, и все. Нет человека.

— Тут все — как у нас в детстве. Помнишь, когда наш новый район только заселяли?

— Помню, конечно, — отозвался Том, глядя в небесную синь, где нарезал большие круги черный ворон. — Ящерицы бегали за домом, пчелы-бабочки. Шмелей белопопых руками ловили. Они почему-то не жалили, жал у них не было. Мы привязывали к ним нитки, и бегали по двору. Куда все ушло?

— Все уходит. Пошли, и так засиделись.

Ближе к вершине горы столбы вокруг будто потеряли форму, они стали толстыми и приземистыми, похожими на джиннов из восточных сказок. Некоторые истуканы были словно слеплены из плоских серых лепешек, другие напоминали толстые, тянущиеся к небу хоботы, третьи двоились и троились у вершин, четвертые грудились, словно криво вбитые доски. Горбоносая голова Марии была уже совсем рядом. Вблизи она совершенно утратила свою девичью привлекательность.

— Мама дорогая, как быстро постарела! — сказал Том. — Прекрасное видится на расстоянии. А вообще тут ночью можно заикой стать.

— А мне вот уши заложило, например, — откликнулся Монгол.

Ночь во рту

Солнце уже закатилось за Чатырдаг, окрасило далекие горные пики за его шатром в алые, желтые и оранжевые цвета. Над ними багровились небольшие облачка, и на миг дальние горы превратились в курящиеся вулканы. Краски переливались в небе, гасли, снова светлели, и, наконец, бледнели. Все вокруг быстро укрыли сумерки, и лишь небо было необычно светлым. Наполненный густыми травами воздух посвежел, и только от раскаленных за день камней все еще веяло теплом. Вокруг были разлиты густые травяные ароматы, звенели в траве цикады, прыгали кузнечики. Из-под ног, поджав уши, бросился наутек тяжелый, толстый заяц, и, нарезая длинную дугу, скрылся за склоном.

Наконец они поднялись наверх. Вершина все еще оставалась немного выше, прячась на небольшом пятачке среди высоких выветренных столбов. На одном из них была укреплена железная тренога.

— Вершина! — показал на нее Монгол.

Том огляделся. На верху не было ни души, зато дорог было множество. Они вились вокруг овра-

гов и камней, пересекались, исчезая за краями ближайших холмов, терялись в кривых сосновых перелесках, в пестром одеяле холмов, в вереницах каменных зубов, исчезали в зеленеющих свежей травой провалах. То, что выглядело снизу простой вершиной, оказалось огромным холмистым плоскогорьем, тянущимся вдаль на километры.

— Какой-то немногочисленный фестиваль, да? — нахмурился Монгол. — Может, перерыв у них? Или ужин?

— Ладно, слушай, нужно ночлег делать, а то впотьмах вообще кисло будет. — Том поежился.

— Надеюсь, луна появится. Вчера вроде была. Пойду посмотрю вокруг.

— Давай, я тут буду. Осторожнее там.

Монгол скрылся. Том снял обувь, стал разминать разбухшие ступни.

Минут через двадцать тишину разорвал пронзительный крик.

— Нашел! Нашел!

Из темени выскочил радостный Монгол. Его лицо сияло.

— Я нашел обалденное место!

Он потащил Тома куда-то через кусты. Они долго прыгали по камням, пока, наконец, не влезли в скалистую щель, напоминавшую бал-

кон. Здесь можно было стоять во весь рост, было тихо и безветренно. Горизонтальный каменный потолок плавно уходил под скос в глубь щели, где смыкался с полом. В центре, на слегка занесенном песком полу, из круглых булыжников был выложен очаг. Какой-то неизвестный предшественник заботливо сложил у него целую кучу дров. Панорама отсюда была просто роскошной: далеко внизу, у кромки отливающего синевой берега переливалось разноцветными огоньками ночное ожерелье Алушты. За ней темнела невысокая гора. Еще дальше укрывал Партенит своей медвежьей тенью Аюдаг, а дальше море плавно перетекало в небо.

— Похоже, мы как раз у Марии во рту, — заметил Том.

— Надеюсь, что она женщина не болтливая.

Через час из-за моря вылупилась полная луна, неспешно поползла по небосклону.

Они приготовили чай, в тихой суете сварили в пивных банках немного гречки.

Стояла удивительная тишина, будто мир затаился перед бурей. Лишь с далекого берега слабый ветер время от времени доносил шум города.

— Смотри! Смотри! — вдруг крикнул Том.

— Куда?

— Да вот же. Дорожка!

Справа, над Чатырдагом седой шапкой клубилось густое сиреневое облако. Левее, словно на нитке, висела над морем луна. Она была какая-то огромная, таинственная, доисторическая. Она плела вокруг себя тонкую серебряную пелену радуги. Сколько раз она проделывала этот древний, как земля, трюк, и каждый раз он срабатывал, все так же завораживая глаз обещанием чуда. Но дело было не только в этом. Морской горизонт совершенно растворился в темноте, соединив море и небо в единое целое. Лунная дорожка начиналась сразу под луной, в небе, проходила через море, и заканчивалась на линии черного как смоль, усыпанного золотом огней берега. Эта дорожка сбивала с толку: небо полностью проглотило море, и горизонт будто съехал вниз, к побережью, распахнув перед ними сплошной, заснеженный звездами, холодный, затаившийся космос. Завороженные картиной, они долго молчали.

— Смотри, — моря нет. Только космос.

— Чего уж тут смотреть? — Монгол вздохнул, достал вино. — Давай накатим, что ли, для порядку.

— За Индейца этого непременно выпить надо,

дай Джа ему полную пазуху здоровья, — сказал Том, с наслаждением вдыхая горечь горных трав.

Они долго сидели молча, словно на краю мира, медленно цедя алуштинский портвейн и заедая его грушами. Небо над морем уже побледнело, когда Том выполз наверх и нарезал, сколько мог, сухой длинной травы на подстилки.

— Четвертая ночь уже, а только первый раз засыпаем в удобствах. На гостиницу похоже. — Монгол достал штору.

— Номер с видом на космос, — заметил Том. — Только четвертая ночь, а столько всего произошло.

Они замолчали.

— А это ты хорошо про вино придумал, — наконец проговорил Монгол. — Вино в тему. Даже пить не хочется. Жалко, — до того хорошо.

— Слушай, а ты реально в Абхазию ездил?

— Не, брешу.

— Страшно было?

— Ага. Особенно в поезде Сухуми — Москва.

— Это когда обратно ехали?

— Ага. Вот это был поезд так поезд! Память на всю жизнь. Нас проводник даже в вагон из тамбура не пускал: думал, что мы беженцы, без денег

едем. А в другом вагоне был платный видеосалон. Об этом нам сказал какой-то обдолбаный пацан в тамбуре, который требовал от нас дури. А мы, прикинь, мы тогда еще не знали, что такое дурь. Короче, мы туда пробрались. Заплатили по рублю за вход, сели сзади. Вагон — вообще без переборок: просто корпус, стены одни. В нем стоят два ряда школьных парт, а на последней, напротив нас, — бутыль с чачей. Телевизора почти не видно: он в другом конце вагона, светит зеленым в плановом дыму. И знаешь, что поразило? Тут, за окном — реальная война, в людей живых стреляют. А в вагоне — человек тридцать пьяных, обкуренных кавказцев гульбанят и смотрят придуманный боевик. Вот это страшно. Люди от войны бегут, бухают как в последний раз, радуются, что живы остались. Кто-то уже лежит, кто-то вяло дерется, кто-то ругается. А рядом с нами, вокруг парты с бутылью, ползают на четвереньках два грузина, и матерятся, чачу ругают. И знаешь, что я в тот момент подумал?

— Что? — эхом спросил Том.

— Что мой дядька бы не испугался.

Монгол замолчал. Том услышал, как где-то далеко внизу заброшенным котенком жалобно пищит ночная птица.

— Пересидели мы там фильм, пошли в вагон. А тут на боковухах три места, как раз под нас. Я только сумку под голову успел положить, и меня срубило. То ли устали так, то ли там распылили чего, — запах сильный стоял, пирожными. А может, надышались просто, в салоне. Закрываю глаза, — и в голове калейдоскоп, картинки крутятся… А наутро проводник орет: «Выходите, — Сочи». Прям на станции разбудил, гад, будто знал, чтобы кипиш поднять не успели. Мы тогда еле выскочить успели. Короче, всех, кроме меня, обнесли. У меня тоже все карманы вывернуты, ну там, правда, ничего не было. А Колька только паспорт домой привез, бизнесмен. Потому что нефиг друзьям про куртки врать.

— Повезло тебе.

— А еще смешно было, — продолжал Монгол. — Туда ехали, в поезде — жара. Он вдоль моря идет по одноколейке: мы остановились и ждем встречного. Час стоим, два. Все уже мокрые от пота. Поезд белорусский, Минск — Адлер. Окна, ясное дело, закрыты на зиму, чтобы никто не простудился. За окном — бетонная стена, за ней пляж и море. А у стены — деревянная лестница. Все смотрят в окна и слюни пускают. Никто не рискует. А мы побросали вещи, и по лесенке бегом на

берег. Искупаемся три минуты, и назад бежим, в поезд. Я первый раз нырнул, — так даже окурок забыл выплюнуть. Не поверишь, — четыре раза бегали. Весь поезд на нас с завистью смотрел, но никто не рискнул больше. А вот назад, с Кавказа ехали, — за вещи зубами держались. Такая вот история… Страшно стало жить. Опасно. Будто дом был теплый, и вдруг, посреди зимы, стена отвалилась.

Монгол замолчал, молча смотря на звезды.

— Знаешь, почему я в горы пошел?

— Из-за дядьки?

— Ага. Он всю жизнь для меня примером был. Отца заменил, в каком-то смысле. Отец нас бросил в детстве, я его почти не помню. Я и вырос на рассказах матери о нем… А тут… Понимаешь, если бы он сказал мне: ты зачем меня разбудил, старика? А ну пошел вон, упал-отжался, десять километров кросс, — я бы понял, я бы побежал. До утра бы бегал. Но не так все в жизни, не так… Старость… — голос Монгола задрожал, — старость, понимаешь, это такая сука… Это, получается, что для человека — страшнее смерти. Смерть людей просто убивает, а старость… Старость унижает.

Том лежал, молча смотрел на звезды, слушал.

— Меня же били в школе, — продолжал Мон-

гол. — Ну, поначалу. Я скрывал, врал, но потом мать уже все поняла. Учителям ничего не сказала, отдала меня в секцию, на борьбу. Михал Михалыч, тренер мой, меня на сборы таскал, дрессировал как собаку. Я за это ненавидел его поначалу, а теперь понимаю, что он все правильно со мной делал. Он мозги мне вправил. Если б не он… Хороший человек был, короче.

— Это же физрук наш школьный? Он умер?

— Его убили, года три назад. Кстати, под твоим домом.

— Я не знал. А кто, за что?

— Не знаю. Когда вся эта ботва политическая началась, он без работы остался. Бухать стал люто. Помню, как он сидел на скамейке. Такой никакой, меня не узнал. От дверного ключа прикурить пытался. Я уже думал — все, погиб человек, спился. Ан нет, он потом в какую-то фирму встрял, и сразу вверх пошел. В костюме ходить стал, с галстуком, аж помолодел. Говорил: еще год, и я своих внуков обеспечу. А потом просто на каких-то малолеток у вас во дворе нарвался. Может, думал, что здоровый, — справится… Мне мой сосед, ПолитИваныч, говорил, что свидетели были. Видели, как его толпой ногами добивали. А менты эти показания выкинули, чтобы дело

замять, типа несчастный случай. Шел себе человек, потом споткнулся, упал об столб, и умер. Хороший человек был Михал Михалыч… Ладно, давай спать.

Том повернулся на бок. Наконец-то ничего вокруг не шумело, не ехало и не свистело, лишь луна тусклым путеводным фонарем светила перед ним. Она была похожа на фонарь у подъезда отца — такой же круглый и одинокий, один на весь двор.

Он вспомнил, как стоял тогда под ним, после похода к Галушке, как прислушивался к себе. Конечно, наказание Галушки принесло облегчение, и еще какое. Но оставалось что-то, отчего по-прежнему ныло сердце. Будто жгла в глубине его души рваная рана, которую наспех залили зеленкой, завязали кое-как, авось само зарастет.

«А если убью? — холодком пробежало по спине, и он сам удивился своему бездонному покою в похолодевшей, будто отчужденной, душе. — Как выпадет».

Дверь в квартиру отца оказалась незапертой. Из ее недр пахнуло куревом, старым хламом и грязной одеждой. Отец сидел на замызганном диване и играл на баяне. Его сгорбленный силуэт сквозь клубы сигаретного дыма едва виднелся

из прихожей.

Не жаль мне лет, растраченных напрасно,
Не жаль души сиреневую цветь.
В саду горит костер рябины красной,
Но никого не может он согреть.

Напротив, восседая задом наперед на изящном, явно дореволюционном, стуле, сидел его собутыльник Николай Иваныч, — крепкий мужик с плоским, вечно красным лицом. Одна из ножек стула была перемотана изолентой, отчего он напоминал породистую, но искалеченную собаку.

Рядом, на столе, стояла бутылка. Тут же, рядом с дымящейся, переполненной окурками пепельницей валялись огрызки хлеба, несколько перышек лука и ошметки копченой рыбы. К этой нехитрой снеди стул добавлял какое-то забытое благородство, будто перенося собутыльников лет на сто назад.

Отец, увидев сына, сдавил баян; тот ответил густым нестройным гулом. Он снял его с плечей, потянулся было к бутылке, чтобы спрятать ее, но движение оказалось заторможенным, потеряло смысл. Рука изменила направление; отец взял папиросу.

— А, Егорчик! Заходь! — приветливо сказал Николай Иваныч и встал. Он был, как обычно, трезвее отца. — Смотри, який стул у батька, а? Моя старуха продала. Обмываем обновочку!

— Почему без стука? — нарочито грубо спросил отец, пытаясь за интонацией скрыть свое опьянение.

— Пошли, поговорим, — сказал Том.

— А у меня от Николай Иваныча секретов нет. Правда, Коля?

— Да не, шо ж ты, — встрепенулся Николай Иваныч. — Раз надо с батьком, то я выйду, як Егорчик шось хоче сказать.

— Сиди, — повелительно сказал отец.

«А может, оно и к лучшему», — подумал Том. Будто становясь не собой, будто слыша себя сбоку, тихо сказал:

— Ты что, сволочь, мать хотел отравить?

Отец поднял на него обессмысленные глаза. Сосредоточился, стараясь выглядеть трезво и сурово, сказал:

— Ты как с отцом разговариваешь?

Это был не его язык. Бравада была явно рассчитана на Николая Иваныча.

— Сема, ты шо, сдурел? — Николай Иваныч мигом сориентировался, и занял сторону Егора.

Он не любил конфликтов.

Отец усмехнулся, молча налил рюмки.

— Давай, сыну налей тоже, — сказал Николай Иваныч. — Егорчик, бери.

— Я не буду, — сказал Том, не отрывая глаз от отца. «Садануть его по ребрам, под дых, — так, чтобы он скрутился пополам, чтобы опрокинул все это барахло, эту замызганную рюмку, чтобы разлетелись все эти окурки вперемешку с хлебом, чтобы он упал в эту грязь, и лежал в ней, тварь, чтобы забыл навсегда… Убить. Если не убить, то хотя бы избить, напугать, — сильно, страшно, тяжело. Один раз и навсегда», — жарко стучало в сердце.

— Попав у болото, — по-жабъячи й вый, — с шутливым нажимом сказал Николай Иваныч, вставив ему рюмку в руку.

Том, не глядя, отшвырнул рюмку, и, сжав кулаки, пошел на отца.

— Ты… Ты… — его чувства не вмещались в жалкие, нелепые угрозы, — ты понимаешь, что ты… Ты — предатель!

— Стой, стой, Егорчик, та ты шо?! Не надо, так не надо. — Николай Иваныч всполохнулся, подскочил к Тому, и, став между ним и отцом, вежливо, но крепко перехватил его руку. — Ты

шо, Егор, цэ ж твий папка. Цэ ж папка твий! Не надо, не надо так.

Том потом долго вспоминал простые и ясные слова Николая Иваныча, пытался понять, почему они так сильно подействовали на него. Может быть, потому, что они были полны человеческого участия, какой-то забытой отцовской заботы, за которой кроется простая и понятная честная мужская дружба.

Его взведенная пружина будто остывала, но не ослабла, — так, затаилась до поры. Некоторое время они стояли в нелепой позе, будто ожидая чего-то.

Отец молча курил, ни к чему не готовясь, ни от чего не защищаясь, смотря прямо перед собой и сбрасывая пепел на пол. Его багровая рука слегка подрагивала. Молчал и Егор, с ненавистью смотря на отца.

— Харош! Ладно вам, мужики. Ну шо ж вы так, в самом деле? — лопотал Николай Иваныч. — Ты, Егор, неправ. На батька нельзя руку подымать. — А ты, Сема, смотри у меня. Чтобы я про маты и слова поганого нэ чув. Егор, все? Отпускаю руку. Харош спорить, орлы. Давайте лучше накатим.

Он затянулся, но папироса, все время бывшая в свободной его руке, уже потухла.

— Бач, шо робыться? — Николай Иваныч расстроенно показал Тому потухший бычок, и с деланой аккуратностью положил его в пепельницу. Затем, как бы доверяя сыну, смело шагнул к коридору, поднял с пола рюмку, вновь наполнил ее самогоном.

— Егорчик, ты не волнуйся. Все будет хорошо. Все пройдет, все позабудется, как белых яблонь дым. Ну шо, можэ выпьешь?

Том все смотрел на отца. Он пытался сказать что-то веское, значимое, но все правильные слова, которые крутились в его голове, были или слишком пафосны, или уже не к месту мертвы.

— Убить бы тебя, да трогать противно, — наконец выдавил он, и пошел к двери.

— Далеко пойдешь! — сказал отец, опрокинул в себя рюмку.

— Далеко пойдешь! — еще раз крикнул он вслед.

— Не дальше твоего, — бросил Том, и вышел.

Николай Иваныч догнал его на лестнице, остановил за плечо.

— Егорчик, шо там у вас случилось?

— Он мать хотел отравить.

— От жэж. — Николай Иваныч неподдельно расстроился. — От жэж я ему дам. Но ты прости,

ты прости его. Ну я ему дам!

Том не ответил. Сбежав по ступенькам, он выскочил в темень двора.

— Прости его, Егор! — строго и громогласно донеслось сзади.

Он вспомнил, как пришел тогда домой, тихо закрыл за собой комнату, растянулся на диване. В глубине души он был благодарен этому простому мужику. Конечно, могло быть гораздо хуже. Как тогда, когда папка в последний раз избил мать. Она вытирала в ванной опухшее от слез лицо, а он, страшный и пьяный, стоял, пошатываясь, в боксерской стойке у коридора, и был уверен в своей силе, в своей пьяной правоте. Том, тогда еще совсем подросток, выбежал из комнаты, и вложил в свой удар всю свою годами копившуюся обиду, всю свою злость. За вечера, которые они с матерью сидели допоздна на улице, страшась зайти в дом. За ежедневные крики и пьяную матерную брань, под которые год за годом проходила их жизнь, готовилась еда, делались уроки. За все те многолетние унижения, которые терпели они, когда еще жили вместе. Том ударил снизу, самодельным кастетом со свинцовой вставкой. Отец, не привыкший к ответу, удара не ожидал. С пустым звуком громко лязгнула челюсть, и его

тело, тогда еще крепкое, с глухим грохотом упало на пол, опрокинув ведро с водой. Том тогда выбежал из дома, а отец, по словам мамы, еще долго лежал в коридоре, в луже воды, потом закрылся в ванной и долго умывался, приходя в себя, привыкая к этой новой реальности.

«Странная все-таки штука — ненависть, — думал Том, рассматривая луну. — Она дорога и душевно затратна. Она полна страсти и участия. Николай Иваныч тут ни при чем. У меня ничего не получилось, потому что я к нему ничего не чувствую. Я привык к нему, как человек привыкает к хромоте, к опухоли, к висящему животу. Он мешает жить, но не вызывает ненависти, а лишь стойкое отвращение. Но ведь ничего не кончилось, — вдруг отчетливо стукнуло в его голове. — Ничего же еще не кончилось».

Демерджи

Утром, наскоро продрав глаза, они перекусили салом и хлебом, выпили чаю и натаскали новых дров к очагу.

Небо было прозрачным и нежным.

— Не думал, что в горах так тепло. Жить можно. — Том хрустнул суставами. — Странно, что тут так мало народу.

Забравшись на вершину, они любовались окрестностями. Внизу, по балкам, кое-где еще крался ночной туман. Над горами, там, где вчера спряталось солнце, почти на уровне их глаз, клубилось розовое облако. Оно вдруг превратилось в слона. Слон бодро вытянул вверх хобот, и, поднимаемый теплым потоком воздуха, устремился вверх, вытягивая вниз, к земле, из середины брюха тонкую белую пуповину.

— Это же розовый слон! Рождение слона! Эх, почему у меня нет фотоаппарата?! — ругался Том. — Это ж нереально! Это же самый настоящий, беспримесный, породистый слон! Никто ведь не поверит в такое!

— Слон и слон, — пожал плечами Монгол. — Мало ли какие облака бывают. А Вася, похоже,

спекся. Пошли вниз, что ли.

Перепрыгивая с камня на камень, он отправился вниз, на плоскогорье. Том последовал за ним.

Обогнув несколько высоких камней, они услышали совсем рядом звонкий детский голосок.

— Привет! Вода, мороженое! Пепси, фанта! Шампанское!

У плоского, похожего на покосившийся стол, камня, стоял татарчонок лет восьми. Рядом с ним в тени лежало большое клетчатое одеяло.

«Вот же. Тут лезешь-лезешь. Думаешь, что к облакам поднялся, что ты почти герой, а тут, — на тебе! Гастроном!» — подумал Том.

— Ты здесь музыкантов не видал? — вместо ответа спросил Монгол.

— С утра никого типа не было, — ответил пацан.

— А это вершина?

— Ну типа да. Но тут еще одна есть. Это типа Южная. Но есть еще типа Северная.

— Может, этот моряк перепутал? — сказал Том.

— А как на нее попасть? — спросил Монгол.

— На сервер идти надо, вдоль обрыва. Над типа Лысым Иваном.

— А как он выглядит?

— Увидите — сразу поймете.

— А вообще далеко до него?

— Как пойдете — так и придете. По дороге идите, и все.

— Куда идти?

— А вон типа туда! — татарчонок махнул рукой.

Том снял с ключей брелок-открывашку.

— На воду меняемся?

Глаза у пацана загорелись.

— Только одну бутылку.

— Давай.

— Маленькую.

— Литровку давай.

— Ладно, — пацан полез под одеяло, и вытащил оттуда бутылку воды.

— Ледяная! Ты смотри, ее пить невозможно. — Том подбросил запотевшую бутылку на руке. — Холоду от горы набралась. Ну так что, идем, на типа Северную?

— Пошли, типа. Все равно у нас еще пару дней в запасе, пока Серый не приедет, — сказал Монгол.

По витиеватой горной тропке они шагали с холма на холм вдоль обрыва. Жгучее крымское солнце немилосердно пекло затылок. Южная вершина горы, где они ночевали, уже почти спряталась за холмами, и лишь несколько самых

верхних камней с вышкой еще маячили сзади. Слева от дороги тянулся застывшей каменной волной рваный край плоскогорья. Под ним громоздились, наползали друг на друга, как высокие пни гигантского леса, каменные столбы Демерджи. Справа, насколько хватал взгляд, виднелось клочковатое желтое море густой, некошеной, выжженной солнцем травы.

Плоскогорье то дыбилось покатыми холмами, то змеилось перелесками, то проваливалось в конусообразные впадины, дно которых было покрыто блестящей, будто лакированной растительностью. Кое-где из-под земли, покрытые пятнами стелющихся кустов, выглядывали белые, изъеденные причудливыми рытвинами, камни. Некоторые из них тянулись длинными полосами десятки метров, напоминая хребты огромных древних ящеров. На пути, оттеняя суровость выветренного пейзажа, то и дело встречались сказочно пушистые сосновые рощицы или отдельные, будто натыканные нетрезвым садовником, стройные сосенки. А дорога все бежала вперед, вилась по живописным холмам на север.

— Построить бы тут дом, и смотреть всю жизнь на это, — сказал Том. — И красиво, и нет никого.

— Оно и к лучшему, что никого нет, — ответил

Монгол. — Поэтому тут столько кислорода. Зато куда дальше, спросить не у кого.

Их путь пересекал огромный провал, будто кто-то огромный раздвинул, разделил горы, легко разбросав повсюду утесы и холмы, да и забросил это дело.

Одна дорога сворачивала вправо, вглубь плоскогорья. Вторая, поменьше, шла влево наверх.

Они остановились.

— Лучше влево. Высоту не потеряем, и ближе к краю, — решил Монгол.

Том пожал плечами.

Однако дорога привела их к смотровой площадке и окончилась ничем.

Внизу по-прежнему виднелись столбы. Некоторые торчали совсем рядом со склоном, прикрывая плоские островки вершин кривыми сосенками. Над столбами, на уровне их глаз, парил орел. Отовсюду под разными углами стоймя торчали изломы тысячелетних наслоений. Там, где в щелях камней нанесло дождями хоть немного пыли, цеплялась за жизнь трава; тянула к небу свои худосочные стебельки, покрытые мелкими белыми и желтыми цветочками. Кое-где, в слоях слежавшейся морской гальки виднелись окаменевшие, побелевшие от времени ракушки.

Том посмотрел на север, куда вдоль обрыва шла еле приметная тропа, покачал головой.

— Тупик. Нужно на развилку возвращаться. Тут почти никто не ходит.

— По дороге высоту потеряем. Ты видел, какой там спуск? А потом обратно вверх лезть. И откуда мы знаем, куда она вообще идет? Там же края не видно. А если она от края уйдет, то ориентиров никаких, — отвечал Монгол.

— Тут ясно, что ничего не ясно. Главное — тупо на север идти.

— Ну и я говорю. Пошли по тропе вдоль обрыва. Она должна быть короче. Не ошибемся.

— Ладно, пошли. — Том посмотрел на натруженную, как муравьиная тропа, укрытую голубоватой дымкой трассу.

Но тропа несколько раз обманула их, иногда виляя невпопад, а иногда подводя просто к обрыву, поглазеть на ползущий по склону каменный лес. Наконец, они выбрались на лысый отрог плоскогорья на самом краю провала. Тропа ушла резко вниз и почти исчезла в камнях. Внизу маячил густой лес, полный колючих кустов и деревьев. Здесь явно никто не ходил. Но Монгол смело полез вниз.

— Надо вправо забирать, — уверенно сказал он,

будто они шли через парк в родном городе.

— Ты ж не хотел высоту терять.

— Нормально, — сказал Монгол.

В лесу было прохладнее. Они шли напрямик, без тропы, пока не уперлись в сплошную стену кустов терновника. За ними маячила солнечная полянка. Расчищая проход ножом, они, наконец, прорвались через высокую изгородь колючих зарослей и вышли на поляну. Вся она была покрыта сплошным ковром цветущих трав. Над ней тучами носились бабочки, звенели пчелы, тяжело гудели толстые черные шмели. Ветер сюда совсем не задувал, отчего над поляной недвижимо стоял тяжелый горячий запах цветов.

— Привал. — Монгол повалился в тени раскидистого дуба на краю поляны.

— Запах какой!

— Все-таки надо было по дороге идти, — сказал Том.

— Чувак, если всегда по дороге ходить, — ничего нового не увидишь.

За поляной снова потянулся молодой, густой лес. Спуск становился все более скалистым. Внезапно их путь преградила толстая стальная проволока. Она была натянута как струна, и уходила куда-то вниз, со склона.

— Я в кино видел. Можно ложку согнуть, и на ней по проволоке вниз съехать, — тут же заметил Монгол.

— Это здорово. А там не показывали, как на ней наверх заехать?

— Показывали, конечно, — хмыкнул Монгол. — Только тут вилка понадобится, для лапши. Пошли вдоль нее, что ли?

Том с сомнением поглядел вверх, на колючки, в которых пряталась стальная нить.

— Пошли назад.

— Ты что? Это ж далеко.

Том молча перекинул через плечо сумку, и пошел в обратную сторону.

— Вот ты упертый, — Монгол ругнулся, нехотя полез следом.

Наконец они выбрались на малозаметную тропу и по ней вышли на дорогу. Огибая провал, она ползла наверх, между поросшими лесом холмами.

Хотелось пить. Голова гудела от жары.

— Сколько у нас воды? — спросил Монгол.

— Пол-литра.

— Смотри! Яблоня!

Около дороги стояло одинокое дерево, усеянное плодами величиной с каштан.

Они уже встречали несколько яблонь, но их плоды были не крупнее вишни и совсем горькие.

Том съел одно, прямо с кочаном, скривился.

— Чистая кислота. То, что нужно.

Голова от кислых яблок действительно посвежела.

— Опа! У меня виноград остался. — Монгол достал привявшую гроздь вчерашнего винограда.

Перекусив, они развалились под деревом у обочины дороги. Клонило в сон. Здесь их ждала новая напасть: мошки, которые почему-то облюбовали именно это место, столбом крутились под яблоней, норовя залететь то рот, то в глаза. В ушах звенело от зноя.

Лениво отмахиваясь от назойливых насекомых, они, наконец, задремали. Но жестокое солнце нашло их вскоре под неровной тенью яблони.

С трудом поднявшись, Том отошел от тропы по нужде. Сделав несколько шагов по жесткой щетине выжженного солнцем луга, он расстегнул штаны и вдруг отшатнулся назад. Прямо под ним, надежно прикрытая длинными белесыми прядями некошеной травы, едва виднелась черная полуметровая щель.

— Ух, мать… Еще бы шаг, и привет. Вовремя

остановился. — Том присел на корточки, раздвинул траву и швырнул вниз камушек. Тот долго скакал звонкой косточкой по отвесным сводам, пока не затих в глубине горы.

— Что там? — лениво подал голос Монгол.

— Да так. Канализация.

За весь день они не встретили ни души, не считая старый ЗИЛ, который протарахтел за дальним холмом, и, подняв тучу пыли, исчез в ближайшем лесу.

— Красиво, а не радует, — сказал Монгол, оглядываясь вокруг.

— Жарко потому что.

Они медленно брели вверх, по совсем облысевшей горе. На восток до самого горизонта по-прежнему тянулись холмы, кое-где покрытые пятнами рощиц, выгоревших на солнце луговых проплешин и неровных рядов пушистого сосняка. На западе, по ту сторону долины, все так же величественно синела, горбатясь своими двумя дымчатыми вершинами Шатер-гора. Лучистое осталось далеко позади. Понизу от него тянулась песочная нитка дороги. Она двоилась, троилась, путалась сама в себе, и, наконец, вплеталась у них под ногами в зеленый ковер леса. Он раскинулся по долине от самых склонов Чатырдага,

заполонил длинную балку и окрестные холмы, поглотил дымчатое серебро старых одичавших садов и разбился о непокорную Демерджи.

— А сколько той горы? — бурчал Монгол. — Тут можно всю жизнь ходить, и не встретиться.

— А-а!!! Вот же он! — Том вдруг остановился.

Напротив, на другой стороне балки виднелась невысокая вершина, напоминающая сжатый кулак. От кулака тянулся на север узкий перешеек, укрытый неровными рядами насаженных сосен. Он оканчивался безлесой покатой горой с узкой щелью, напоминающей глаз.

— Не попутаешь, — подтвердил Монгол.

Они одновременно поняли, что голая гора с глазом — это и есть Лысый Иван, грозящий своим кулаком кому-то на запад. Лобастый великан с поросшим лесом загривком будто увяз по плечи в земле, но сейчас встанет, поднатужится, выберется из-под косматой лесной зелени…

Идти сразу стало легче. Желтая дорога струилась по розовому от заката склону, пока, наконец, не открылась впереди лысая выгоревшая поляна. На ней высились два ржавых, будто забытых мощной древней цивилизацией, локатора. Вершина хорошо просматривалась снизу. Она была пуста. Они остановились неподалеку.

— Наверное, это вершина, — проговорил Том. — Иначе бы эти штуки сюда не тащили.

— Тут тоже никого.

В этот момент в тени локаторов появилась человеческая фигура. Незнакомец увидел их и бросился навстречу.

— Нашел! Нашел! Я его нашел! — заорал он, размахивая руками. На плече у него болталась сумка с привязанной одеждой. Рядом весело неслась огромная черная овчарка.

— Ну вот и все. Это точно должен быть Индеец, — нервно засмеялся Том, вглядываясь в странную фигуру.

— Ага. И сам в руки идет.

К ним бежал высокий, худощавый человек с давно не стриженной копной каштановых волос. Резкие, будто вырубленные из камня скулы с двумя глубокими складками, немного горбатый нос: пришелец действительно напоминал индейца.

— Я его нашел! — незнакомец, наконец, подбежал к ним, и, задыхаясь, упер руки в колени. — Я нашел папоротник!

— Вы из Партенита? — сразу спросил Монгол.

— Почему из… Нет, я из Симферополя, — удивился человек.

— Не Миша? — на всякий случай, уже без осо-

бой надежды уточнил Том.

— Нет. Игорь... — пришелец досадливо отмахнулся от ненужных слов, чтобы вновь вернуться к своему восторгу. Потрясая сумкой, он явно удивлялся, почему никто не разделяет его радости.

— Я нашел его! Я нашел папоротник!

— Здесь его полно, — сказал Том.

— Нет, вы не понимаете! — незнакомец отмахнулся. — Это же краекученник орляковый! Он был найден в Крыму всего в двенадцати экземплярах, и только на Аюдаге. Здесь есть альпийская вудсия, есть алтайский костенец. Даже скребница есть, — единственный сухолюбивый папоротник в мире. Но он не здесь, а в Крымской Африке, — это за Форосом. Есть щитовник, пузырник, листовик, орляк, кочедыжник. Это все — папоротники. Но краекученник — это невероятная, нереальная, неимоверная редкость! Это чудо, господа, это чудо! Я искал его десять лет, а нашел вчера. И вы — первые живые люди, с кем я могу поделиться этой радостью. Так что давайте выпьем. — Он беспокойно оглянулся на запад. — А то скоро солнце сядет. Надо спешить. У меня спирт есть.

— У нас тоже спирт.

— Ну и правильно. Спирт — это самая нужная

вещь в горах. Воды, правда, не предлагаю, я его чистым пью. Зато конфетки есть. Я всегда в горах конфеты ем. Увидите фантик, — я прошел. Это глюкоза, корм для мышц. В горах вещь очень важная.

Том вдруг понял, как же дико, до рези в животе, хочется сладкого.

Незнакомец достал коричневый пузырек с красной крышечкой и маленькую металлическую стопку, разлил по очереди. Спирт сухим песком прокатился по горлу и тихо запылал в желудке.

— Я гербарист. Ну, и еще философ, — выдавил Игорь, раздавая конфеты. Немного помолчав, смущенно добавил:

— И поэт немножко. А вы, я вижу, тоже налегке. Это сейчас нам с погодой везет. Ночевать вполне терпимо.

— А что делаешь, когда холодно?

— Я нахожу плоский камень, разжигаю под ним костер, и сплю на нем. Часов до трех ночи хватает.

— А потом?

— А потом греюсь о собаку. Да, Алтай? — он потрепал пса по голове.

— А где здесь Северная Демерджи?

— Вот она, везде.

— А вершина?

— Да вот же она, с ретрансляторами. Я там отдыхал, а потом вас услышал.

— Мы музыкантов ищем. Не попадались?

— Музыканты? Здесь вообще много народу шляется. Но музыкантов я не видел. Там же пусто. Место голое, спрятаться негде. А если кто и был сегодня — скорее всего ушли. Погода портится.

— Где же она портится? Небо чистое, жара.

— Давление упало. Завтра скорее всего дождь будет. А вы давно здесь?

— Со вчера. А вообще — первый раз.

— Ну, ребята, вам просто повезло. Горы вас пропустили. Это сейчас штиль, даже ветра нет. Завтра начнется.

— Сегодня утром роса была, — заметил Том.

— Ты все эти равнинные приметы оставь. Тут утром роса, днем жара, вечером дождь, ночью град. Так что не советую задерживаться.

— А вода тут есть? — спросил Монгол.

— Вы с южной вершины? Значит, родник прошли пару часов назад. А второй — вон там, на Иване. Там и переночевать можно. Я как раз туда иду.

— Пройдешь мимо воды, и не заметишь. — Том

посмотрел на Монгола.

— Погода здесь по-другому устроена, — продолжал Игорь. — Сегодня, скажем, тучки набежали. К вечеру, если много не набралось, то они растают, и до утра снова небо чистое. И так каждый день, только тучек все больше. Но если к обеду их станет много, — уже не рассосутся. Будто чаша переворачивается, и все. Льет как из ведра.

Свернув с дороги, они стали забирать к натоптанной тропе, тянущейся вдоль склона, туда, где заманчиво зеленело ровными рядами сосен седло горы.

— Там и родник, и от ветра можно спрятаться, — повторил Игорь. — А во-он там мята растет. Сейчас нарвем, чаю заварим.

Том никогда не видел такой мяты. Ее сочные, гнущиеся под собственным весом метровые стебли были покрыты мясистыми серебряными листьями. Они нарвали ее целую охапку, по дороге захватив чабреца, несколько полуоблетевших стебельков зверобоя, горсть ягод шиповника и еще какие-то известные только Игорю травы.

Вскоре, облегченно побросав сумки, они уже лежали на мягком ковре из сосновых иголок, наслаждаясь смолистым хвойным ароматом еще не остывших от дневного зноя деревьев. Место

было действительно уютным. Здесь, между покатым склоном Демерджи и каменной головой Ивана, было заметно теплее, будто из холодной улицы они вошли во влажный, но теплый дом. Отдохнув, разожгли костер, заварили чай и молча наслаждались густым душистым отваром из горных трав.

Тишину нарушил натужный треск мотора.

— О, мы его утром видели. — Монгол привстал на локтях, глядя, как сверху осторожно сползает по склону груженный сеном старенький ЗИЛ. Издалека уклон казался совсем отвесным, и было непонятно, как грузовик до сих пор не скатился кубарем с обрыва. Наконец тот медленно, будто крадучись, без происшествий сполз вниз, и, поравнявшись с ними, остановился. Из кузова спрыгнул крепкий плечистый дед в старом засаленном пиджаке. В руках он держал небольшой холщовый мешок. Грузовик бибикнул и покатил дальше по каменистой разбитой дороге.

— Добрый вечер, мужики. О, и Игорек тут! Сколько лет, сколько зим? Можно мне к огоньку? — дед поздоровался со всеми за руку. — Мне бы до завтра с вами пересидеть, и обратно на покос. Если вы, конечно, не против.

— Дядь Саш, завтра скорее всего дождь будет, —

сказал Игорь.

— А может, и пронесет. Нам немного осталось. Кто тут не знает, — меня дядя Саша зовут. Я тут самый старший, но можно просто Саша. — Дядя Саша не спеша вытер носовым платком загорелую шею, обветренное лицо со сломанным носом, промокнул редкую лысоватую голову. Затем сел у костра, не спеша, по-крестьянски основательно установил рядом свой мешок. Возраст его было сложно определить, но, судя по тому, как по-молодецки он перемахнул через борт грузовика, золотой октябрь его жизни еще не думал уступать место поздней осени.

Развязав затянутую тесемку, он вынул из мешка тщательно укутанный в газету котелок, полный некрупной сырой картошки.

— Отличная картошечка, «Американка». Вкуснее не найдете.

Затем, поковырявшись еще, он вытащил банку тушенки и початую буханку хлеба.

К вечеру слегка похолодало. Монгол пошел за дровами, а Игорь с Томом отправились на родник. Пройдя пушистый сосняк, они спустились в балку, покрытую многолетним ковром жухлой рыже-розовой листвы. В небольшом овраге из ржавой, приваленной камнем трубы тонкой

струйкой сочилась вода.

— Хорошо, что не пересох. — Игорь подставил пластиковую бутылку. — Год на год не приходится.

Вода была ледяная.

У костра

«Какая странная компания, — Том шевелил в костре ветки. — Дед-крестьянин, гербарист-философ с овчаркой и два панка. Таким разным людям внизу, на равнине, собраться практически невозможно. А тут все друг другу — будто старые друзья. Та же простота и непосредственность, с которой дружат незнакомые дети в песочнице».

— Дядя Саша, а вы тут музыкантов не видали? — спросил Монгол. — Они тут вроде концерт какой-то давать собирались.

— Так мы косим далеко отсюда, — дядя Саша махнул рукой на восток. — Наверху, на яйле. И где им тут играть? Разве здесь, на седловине. Тут хоть вода есть. Ну, может еще на Красной пещере, — она от трассы недалеко. Туда всякие буддисты-кришнаиты иногда наезжают. А наверх тащиться тяжело, и продукты нужны… Хотя постой. — Он хлопнул себя по лбу. — Пару дней назад на той стороне яйлы видал каких-то. Мы вечером назад ехали, — мимо нас компания шла. С гитарами шли, точно.

— А куда шли? — оживился Том.

— Судя по направлению, — вроде на Караби,

через Стол-гору. До Караби там просто делать нечего, если только не вниз, на Генеральское, и дальше к морю. А на Караби метеостанция, при ней что-то типа гостиницы, там можно комнату снять. И электричество есть, и вода привозная. Там и могли остановиться.

Он загреб картошку в угли, затем, сдвинув камни, поставил на них котелок с водой.

— Это они, — уверенно сказал Монгол.

— Если точно не знаешь, куда пошли, то в горах искать бесполезно, — отозвался Игорь. — Они могли и на Большие ворота пойти. Могли на ту сторону, на Пчелиное податься, если на Белогорск нужно. А могли просто кругаля сделать, по красивым местам. Тут же кругом красота, а люди — они же не в магазин идут, они любуются. Они могут за камень зайти, а ты мимо пройдешь, и не увидишь.

— А как долго до этой Караби идти? — не унимался Монгол.

— Так вы и дороги не знаете? — дядя Саша поднял брови. — А карта есть?

— Нету.

Дядя Саша нахмурился.

— А оно вам надо?

Том пожал плечами.

— Мы вас с утра до того края плато подкинуть можем. А там до вечера успеете. Ноги у вас молодые.

— А мы никуда не свалимся? — Том вспомнил заросшую травой щель, в которую не угодил лишь по чистой случайности.

— Если по тропам и дорогам, то проблем не будет. Хотя на Караби возможно все.

— А что это за Караби такое?

— Это большое плато. Степь напоминает, только оно все в ямах, в пещерах, в лунках. Корова, бывало, забредет в такую лунку, спустится на дно, где трава посочнее. И все, нет коровы. Лежит на дне колодца.

— Зато новую пещеру открыла, — усмехнулся Игорь.

— Еще там лошади дикие живут, — продолжал дядя Саша. — Пасутся табунами, но близко к себе не подпускают… Да-а. Ну так вот. Перед Караби есть вершина Кара-Тау. Вы в любом случае мимо нее пойдете. Она над Караби нависает, как бортик у сковородки. И с нее уже метеостанцию видно. Главное — держаться направления, чтобы море всегда справа было. А компас есть?

— Нету.

— Ну вы даете! — рассердился старик, хлопнув

себя по коленям. — Тогда лучше вообще не идти. Вы понимаете, куда собрались? Горы шуток не любят. В Крыму больше всего народу гибнет. Больше, чем на Кавказе, на Алтае. А почему? Потому что на высокие горы идут люди подготовленные, со снаряжением. А у нас горы низкие, и все относятся к ним несерьезно. А сколько тому человеку надо? Три метра, чтобы шею свернуть. Горы могут так запутать, — только держись. Я тут все дороги знаю, а и со мной бывало. Или, там, погода. Сейчас курорт, через минуту — дождь или, еще чего доброго, снегопад. Что, погрустнели? Ну, это я так, инструктаж для порядку. Если ходить правильно, — дойдете быстро. В Лучистое можно за полдня смотаться.

— До Лучистого полдня? А мы со вчера идем.

— Если по низу, то тут совсем рядом, — вставил Игорь. — А зачем вам эти музыканты?

— Одного знакомого ищем. Барабанщика, — отозвался Том.

— Он что, с барабанами в горы пошел? — не понял Игорь.

У костра захохотали.

— Тут, кстати, случай был, — смеялся дядя Саша. — Фильм в горах снимали, про пионеров. Актеры бухали между съемками, и, как это часто

бывает, в разгар пьянки выпивка кончилась. Так они двумя колоннами в Лучистое спустились, с барабанами. Все помятые, небритые, но в пионерских галстуках и пилотках. Впереди актер шагает, известный такой, с усами. Забыл фамилию. В руке горн, на рукаве — красная повязка с крестом. Врач ихний, значит. Затарились они водкой, и так же под барабанный бой в горы ушли. Так им старики салют отдавали, со слезами на глазах.

— Так и бродят до сих пор, с барабанами, — засмеялся Игорь.

— Ну что? Завтра двинем? — оживился Том.

— Куда? Пальцем в небо? — Монгола вдруг разобрали сомнения. — Идти еще день не пойми как, за компанией неизвестных музыкантов, веря в то, что среди них идет барабанщик без барабанов. Лажа какая-то.

— А что, назад? И ты сам пошел, я же не тащил, — пожал плечами Том.

— Я думал, что горы — это… Как-то попроще. Что мы поднимемся на вершину, а они где-то там и сидят. Ну, или на склоне. А тут не вершина, а целая горная страна. Ищи ветра в поле. Жратвы у нас почти нет. Вода, опять-таки, неизвестно где. Это тут Игорь родник показал. А ты бы его так нашел? Отож.

Том промолчал. Он не разделял уныния друга. Ему все время казалось, что все — не зря, что в любом испытании есть какой-то смысл, что еще немного, и они наткнутся на этого неуловимого Индейца. Что он где-то совсем рядом, за горой, или за вон той рощицей, будто дразнит их своей неуловимостью, будто испытывает их выносливость.

— Я не то что категорически против, — помолчав, смягчился Монгол. — Просто не ясно, сколько еще по горам шататься. Может, лучше Серого на берегу обождать?

— В горах все видно, а перспективы нет, — скаламбурил Игорь.

— Точно. А тут еще и ноги болят, — откликнулся Монгол.

Ноги действительно горели. Болели ступни от острых камней, ныли колени, ныли плечи от сумки. Сейчас, на привале, это было не так заметно, но Том понимал, что назавтра, как и после любой тренировки, мышцы заболят куда сильнее.

— Но даже, предположим, мы их нашли, — продолжал Монгол. — И даже этот барабанщик среди них. Но он нас вообще не знает. Одно дело — его дома застать, и, в случае чего, откланяться и отчалить. На берегу погода потеплее, ништяков

много, есть где спрятаться. Другое — здесь. Они тебе скажут: пиплы, а тут, на Карабях, можно четкий номер снять, и пожрать неслабо. Но — только за бабки. А у нас бабок нет. Я, может, и не против добрым людям на хвост упасть, но тут же не набережная, не рынок. Они ж когда жратву в горы тащили, на нас не рассчитывали. Он пошлет нас подальше, и все. А дома бы не послал. Вот я о чем.

— Плохо ты Лелика знаешь. Не такие у него друзья, — уверенно сказал Том. — И вообще, мир не без добрых людей. Везде выживали. А вот то, что ноги болят, — тут ты прав, даже как-то слишком.

— Не найдете, — повторил свое Игорь.

— Согласен, — подтвердил дядя Саша. — А и вправду, зачем вам Караби?! Оставайтесь! Завтра машина приедет, на покос мотнемся. Траву покосить хотите? Завтра как намантачим!

— Монгол, ты как?

Помрачневший совсем было Монгол вдруг расхохотался.

— Ну а чем же нам еще тут заниматься? Приехали человека искать, не нашли. И остались траву косить. Все логично.

— А мне нравится, — сказал Том. — Мы же не спешим. Я за покос.

— Завтра дождь будет, — снова сказал Игорь.

— А может, и не будет. В горах всякое бывает, утром посмотрим, — ответил дядя Саша. Ему явно не нравилась всезнающая Игорева категоричность.

Наконец закипел-забурлил кипяток в котелке.

Они разлили воду по кружкам и банкам, набросали туда собранные травы.

— Уфф, душистый какой.

— Мята, чабрец, зверобой, ромашка, шиповник, лимонник, шалфей, — не без гордости сказал Игорь. — Звучит как музыка, только для сбора поздновато.

К вечеру еще похолодало, но костер и чай не давали замерзнуть. С балки понесло сыростью. Вверху, почти над головой, бычился в наступающих сумерках крутой затылок Лысого Ивана.

— Вон она, Северная Демерджи, — дядя Саша повернулся и кивнул на вершину, где торчали напоминающие локаторы железки. — Кажется, гора тебе, и все. Но если рано утром, на восходе солнца в ясную погоду залезть во-он туда, к ретрансляторам, а Чатырдаг будет еще в тумане, то на нем можно увидеть редкое явление. Такой радужный круг, а в нем — как бы фигура человека. «Брокенский призрак» называется. Я всего

два раза видел.

Он умолк, шумно втянув воздух ноздрями и слегка зажмурившись от удовольствия.

— Я горы люблю. Жить без них не могу, — продолжил он, помешивая чай. — Все, кто родились на равнине, до конца своих дней будут удивляться горам. Мы с женой как приехали сюда в 60-е, — так и остались тут, и ни разу не пожалели. Сказка.

Внезапным порывом ветра разметало жухлые буковые листья, закружило пепел над костром. Сырым холодом, будто из погреба, снова повеяло откуда-то снизу. И все стихло.

Лишь потрескивал костер, и в темнеющем бездонно-сиреневом небе гортанно хрипел ворон.

— У нас дома гор нет. Но тоже интересное случается, — неспешно сказал Монгол, многозначительно посмотрев на Тома. — Том не даст соврать. Местечко одно у нас в лесу, угол между двух рек. Мостов рядом нет, дорог нет. Короче, глухомань. Мы там весной с пацанами отдыхаем. Была там одна заброшенная дорога, от реки. Когда-то там песок намывали, и вывозили по этой дороге в город. Но это давно было, — теперь одни ржавые железки на берегу валяются. Дорога эта уже деревьями заросла, еле заметно. Как-то

раз мы с пацанами там отдыхали. На третий день слышим: в чаще кабан визжит. Там вообще следов кабаньих полно, но живого еще ни разу не видели. Том такой говорит: пошли кабана зарежем. Мешок мяса будет. Пошли, говорю. Ну, взяли мы ножи и пошли. Так, Том?

— Ножи у нас знатные были, — подтвердил Том. — Охотничьи.

— Что ж вы, с ножами-то и на кабана? — усмехнулся дядя Саша.

— Так понты карман не тянут, — хохотнул Монгол. — Но это ж на третий день было. Третий день на природе — это уже совсем другой человек.

— Есть такое, — засмеялся дядя Саша.

— Вначале, конечно, на понтах пошли, — вставил Том. — Когда уже близко подобрались, тут реально страшно стало. Но назад же не пойдешь, это ж не по-пацански.

— А кабан уже где-то рядом верещит, будто режут, — продолжал Монгол. — Мы идем медленно, на деревья смотрим, чтобы было куда, в случае чего, тикать. А лес, как назло, старый, — ветки высоко. Река недалеко, но там бурелом. Даже бежать некуда. А звук уже совсем рядом, за бугром. Ну, короче, высовываемся. А там… — Монгол глянул на Тома.

— А там…

— А там — лесник с бензопилой! Дерево пилит, а пила визжит так, будто кабана режут!

У костра снова захохотали.

— А вообще не отличить было, — подтвердил Том. — Чистый кабан. Ууууии-ууиии!

— Но это не все, — продолжал Монгол. — Ну, поржали мы, конечно, что пилу с кабаном перепутали. Облегченно поржали, не скрою. И на обратном пути случайно вышли как раз на ту заброшенную дорогу. Она к полю ведет. До наших там крюк получался, зато идти полегче. И вот идем мы по ней, и вдруг слышим сзади, — разговор.

Монгол замолчал. Все слушали, затаив дыхание, лишь дядя Саша громко причмокивал чаем.

— Оборачиваемся, а сзади — мужик идет, а с ним — мальчик лет шести. Будто из ниоткуда появились, и за нами идут. От берега! Одеты чисто. Мужик — тот вообще в костюме: рубашка, галстук, ботиночки блестят. И это в такой глуши! Один вопрос в голове: откуда они идут? Да еще так вырядились. Тут же одна река в другую впадает, идти некуда, даже тропинок нет. Чаща вокруг, до ближайшего села — километров семь. Мы идем себе, прибалдели, конечно, но виду не

подаем. И спросить вроде как неудобно. И тут они сами нас догоняют.

— Ребята, как отсюда выйти? — мужик спрашивает.

— А вам куда?

— Мы в Федькино идем, на день рождения.

— Э-э, Федькино на другой стороне реки. Как же вы сюда попали? — спрашиваем.

— Не знаю, — отвечает, — мы до Беседовки добрались, а там на Федькино через лес пошли, и заблудились.

— И Беседовка на другой стороне. Здесь вообще нет ни сел, ни мостов. А ближайший мост — он подвесной, на турбазе, километрах в трех отсюда. Может, вы там речку перешли?

— Мы вообще речку не переходили! — говорит. — И на турбазе не были.

Пошли мы назад. Отец заботливый такой, все время что-то сыну рассказывает, показывает. На просеке пацан на змею наступил, у нас там гадюк полно. А отец ему спокойно так: «Сынок, осторожнее!» Хороший папка, короче… Ну да ладно. Вывели мы их нашими тропами на турбазу, довели почти до Федькино, и там распрощались. Мужик этот на радостях нам денег на сигареты дал. Так, Том? Я ничего не сбрехал?

— Все так и было, — подтвердил Том.

— Вот такая реальная история, — закончил Монгол. — Портал там какой-то на ту сторону, или что. Не знаю.

Помолчали.

— Ишь! — наконец крякнул дядя Саша, отставив кружку. — У меня прям случай был.

Он ткнул в темную гущу балки, замолчал, улыбнулся, и, достав из кармана алюминиевый портсигар с ракетой и надписью «Двадцать лет советской космонавтике», взял оттуда щепотку табаку. Затем скрутил самокрутку и закурил, глядя на крутой склон лысой горы.

— Да, тоже забавно вышло, — медленно протянул он, с удовольствием окунаясь в воспоминания. — Здесь, недалеко. Вот так же сидел, годков десять тому. Сено косили. А наутро — билет на поезд. Мужики без меня закончат, а я встану раненько, и прямо отсюда на вокзал. По лесочку в Перевальное, а оттуда до Симферополя транспортом. Все ж попроще, чем с Лучистого. Жена рупь на такси дала, но я его тут же в горючее конвертировал. Посидели вечер, крякнули. А с утра я вниз потопал. Мог бы на Перевал пойти: там остановка ближе. Но в горку не хотел. Иду вниз, дорогу знаю. С утра туман стоял, лето сырое

было. А за неделю до того ливень прошел, и дорогу размыло. Лесники уже объезд прокатали, я по новой колее пошел, и развилку свою пропустил. Когда понял, что не туда иду, — времени уже не осталось. И назад не пойдешь! Направление вроде верное, но кто его в лесу знает. Я — бегом вниз. Билет карман жжет. Думаю: вот же дурак, почему из дома не поехал? Зачем рупь пропил? Это ж горы! На старуху проруха. До поезда час, а мне час — только на троллейбусе пилить. И вдруг прямо передо мной шлагбаум, а за ним — дорога. Трасса! Вижу, не прошел я развилку, а раньше свернул. До Перевального еще бегом вниз минут двадцать. А на спуске машину не остановишь. Ну, думаю, — все. Приехали. Иду и думаю, что жене сбрехать? Тут мимо меня троллейбус едет. Я смотрю на него с такой тоской звериной: куда ж ты, гад, без меня? А он проехал метров десять, и — ба-бамс! Рога слетают! Выходит водитель, штанги цеплять. Я вижу, что успеваю. Притормозил, подошел спокойно так. Красиво. Влез не спеша. Вида не подаю, а самого от радости распирает. Вот повезло! А в этом троллейбусе мой харьковский одноклассник с отдыха вертался. Ну, говорит, ты даешь! Едем себе мимо, тут мужик из кустов вылазит. Рукой взмахнул, — троллейбус сломался. А

мужик влез, как к себе домой. А мораль какая?

— Вставать раньше, — сказал Том.

— Нет.

— Пить не на свои, — усмехнулся Игорь.

— Нет.

Дядя Саша посмотрел на Монгола, но тот промолчал.

— На Перевал идти, в горку! — дядя Саша хлопнул себя по коленям.

Все замолчали, глазея в костер.

— Ты про Существо расскажи, — Монгол толкнул Тома в бок.

— Та не. Та ну, зачем? — помрачнел Том.

— Думаешь, не поверят?

— Не в этом дело.

— Расскажи, хватит ломаться, — сказал Монгол.

— Я не ломаюсь. Просто не люблю эту историю. И не в вере дело. Стремная она какая-то. Непонятная. После нее я чувствую себя идиотом.

— Верить — то уже наше дело. А твое рассказывать, — рассудил дядя Саша.

— Харош, выкладывай, — поддержал Игорь.

— Ладно. — Том помолчал. — Монгол уже говорил про наше место в лесу. Это было там же, только не в лесу, а рядом, на поле. Однажды

пошли мы туда втроем. Я, Серый, и еще один приятель, Стас. Собирались ночевать, но одного не дождались. Он должен был подъехать на мопеде, жратву привезти. День прошел, уже вечереет, а его нет. Ну, думаем, если встретим — то навстречу, а если нет, то сидеть нет смысла. Ни еды у нас, ни теплой одежды на ночь. Короче, пошли мы назад. Вышли из леса, пересекли поле, речку перешли по мостику, на холмик поднялись. Тут Стас вдруг поворачивается, и мычит что-то нечленораздельное. Только воздух хватает, и пальцем в лес тычет. Мы повернулись, смотрим: сзади, через поле, где мы шли, метрах в трехстах идет существо, высотой метра четыре. Идет как человек, ровно и прямо. Шагает на двух ногах, и шаги такие огромные, метра по два. Идет быстро, так решительно, пересекая поле недалеко от нашей полянки. Мы стоим в ступоре, молчим и смотрим. Я как-то рационально это объяснить пытаюсь. На ходулях? Невозможно. Это весна: поле вспахано. Его и без ходуль тяжело пройти. Да и какие в лесу ходули? У нас-то их и в городе никогда не было. А тут он прет по полю, еще и с такой скоростью. Кто-то несет кого-то? Тоже не вариант. Если бы кто-то сидел на плечах у другого, то был бы гораздо ниже. Для такой высоты их должно быть

трое, а то и четверо. Слишком высокое оно было, и шло так легко, бодро, будто спешило. Такие вот мысли в тот момент пролетели в моей голове. И еще одна была: если оно вдруг повернет к нам, то с такой скоростью догонит нас через минуту. Как бы мы ни убегали.

— И что потом? — спросил Игорь.

— А потом оно просто в землю ушло. Прямо в поле, как в подпол, по ступенькам.

— А вы?

— А мы постояли и домой пошли. Всю дорогу молчали: как-то мутно было после этого на душе. Прибило, короче. Говорить тяжело было, будто мешало что-то. И что говорить? Никто не поверит. Все НЛО видят, о них в газетах пишут каждый день, а мы — вот такое. А недавно вспоминали об этом. И вдруг выяснилось, что все помним его разного цвета. Серый говорит, что он был белый, Стас — что он серый был, а я вот точно помню, что он был совсем темный. Такая вот странная «разница в показаниях». Может, это уже игра мозга. Ну, как бы от стресса. Такая вот история.

У костра повисла тишина. Костер немного прогорел, из-за чего поляна будто уменьшилась. Все непроизвольно вздрогнули, когда неподалеку протяжно взвыла какая-то птица.

— А приятель-то ваш пришел? — наконец спросил дядя Саша.

— Да, приехал вечером. У него тогда мопед сломался, он чинил. Мало того, что приехал, они там вдвоем приехали, и всю ночь на поляне гульбанили, рядом с тем полем. С музыкой, еще за девками в село ездили. Он потом говорил: чего не дождались? А я ему: да мы больше туда ни ногой!

— И что, больше не ходили?

— Ходили, конечно, года через три. Уж очень красиво там.

— Нечисть какая-то. Эх, жаль фотоаппарата не было, — сказал дядя Саша.

— Жаль, — ответил Том.

— А может, место такое. Аномалия, — добавил Монгол. — Мужик же с ребенком на другой берег тоже как-то попал.

— А может, от ЛЭП. — Том пожал плечами. — Там рядом, на просеке, мачты стоят. Я не знаю, короче. Дядя Саша, дайте папироску.

Он уже обратил внимание, что сигареты у дяди Саши самодельные.

Старик неспешно, будто нехотя, потянулся за пазуху, сказал нараспев:

— Из старых запасов табачок. Сейчас такого нет. Только в одном месте в Крыму выращивали:

в Генеральском.

— Табак по Крыму везде выращивали, — возразил Игорь.

— Ботаник, а не знаешь. То сигарный рос, а это сигаретный. «Дубек» называется. Весь в Штаты шел, за валюту. Из него потом «Мальборо» делали.

— Я не ботаник, я гербарист, — поправил Игорь.

— Та то не важно, — срезал дядя Саша. — Я тут постарше вас, я лучше знаю. Важно то, что в Генеральском особый климат: там ущелье такое, Хап-Хал называется — «Волчья пасть» по-русски. Со стороны моря оно открыто, а со стороны гор — тупик. И там все время стоит теплая пробка воздуха. Самое оно для хорошего табака. Да что теперь говорить? Все порушили, даже табака нет.

Том понюхал самокрутку, размял в пальцах. Запах табака совсем выветрился.

— Сколько всего построили, столько придумали, а все пошло прахом, — продолжал дядя Саша. — Почему? Советская власть всем добра хотела. Воспитывала человека, стремилась к лучшему. А человек мало того что не воспитался, да еще и страну развалил. Выходит, дело не в воспитании.

— А я думаю, что страна надорвалась, — сказал Игорь.

— Это как?

— Вот почему капитализм победил? Потому что он туп и низок. Это животное начало человечества. Это как желание человека обезопасить себя, запастись едой, придумать способ, как самому стать жирнее и сильнее. Это все глубоко животные инстинкты. Разрешение на ношение оружия — типичное проявление капитализма. В нем есть зачатки справедливости, но они еще на уровне рода, семьи. Это очень низкий, примитивный уровень, и поэтому к нему всегда легко скатиться. Я здесь ничего нового не придумал, просто Маркс видел смену формаций в историческом развитии, а я развития не вижу, я вижу все эти формации в виде пирамиды. Иногда, в определенные периоды, человечество мобилизуется и залазит повыше, где мораль почище. Есть у него, у человечества, такое стремление — становиться лучше. А иногда оно скатывается, как мы, почти к феодализму. Но это не значит, что история пошла вспять. Мы просто временно сползли с более высокой ступени социализма. Социализм — это уже видовая справедливость: это тонкий баланс интересов, защита слабых, справедли-

вое распределение благ. Социализм — дитя не корысти, но веры: он заставляет человека лезть выше, преодолевать инстинкты. Коммунизм еще более самоотвержен, он где-то почти под облаками идеализма. Поэтому все это развитие, эти призывы стать лучше — это не движение вперед, это стремление вверх, попытка пересилить притяжение, победить в себе животное. Беда в том, что инстинкты — они непобедимы *до конца*. По крайней мере в ближайшие тысячи лет. Кто-то, конечно, может жить как Павка Корчагин, но большинству людей это не нужно. Нужен либо личностный надрыв изнутри, либо жесткий диктат снаружи. А поскольку не все готовы надрываться, то коммунизм обречен стать для масс страшной, кровавой диктатурой: большинство людей готово оторваться от своего животного начала только под угрозой смерти. Капитализм в этом не нуждается. Капитализм живуч, потому что он не упрекает твое животное начало, а мирится с ним, лишь немного ограничивая своего зверя. Жестокость коммунизма — она массовая, жертвенная, и демонстративная, поскольку она всегда во имя чего-то. Жестокость капитализма — она примитивная, бытовая. Жертв капитала может быть куда больше, чем жертв коммунизма,

но никто не увидит в этом трагедии. Все эти разорившиеся банкиры, неудачники-самоубийцы, наркоманы и гангстеры растворяются в бытовой статистике смерти. В этой трагедии нет пафоса, нет надрыва. В этом-то и загвоздка. Поэтому в случае чего капстрой организовывается быстро и легко, как торговцы на рынке. Как ткани тела после небольшого ушиба. А при развале социализма или коммунизма обществу выше падать, и поэтому сложнее переходить к более примитивным формам выживания. Это уже как перелом костей или травма головного мозга.

— Типа рожденный ползать упасть не может? — усмехнулся Том.

— Типа того.

— То есть, чтобы не падать, — лучше не вставать? — подытожил дядя Саша.

— Так я не постулирую, я констатирую, — отозвался Игорь.

Некоторое время все молчали, переваривая сказанное.

Наконец дядя Саша подытожил:

— Умно, но сухо.

— Что сухо? — не понял Игорь.

— Сухо балакаем, — захохотал дядя Саша, косясь на стоявшую у дерева бутылку спирта. — На

пустой желудок с такой философией и до язвы недалеко.

— А и вправду, давайте накатим! — сказал Монгол.

Все сразу оживились. Том вытащил из сумки бутылку, разлил по кружкам и банкам, разбавив спирт родниковой водой.

— Картошка еще сыровата. Зато мята — отличный закусон, — вставил Игорь. — Успокоительная травка, хотя, конечно, не полынь. Вот если полынь настаивать на водке, — абсент получится. Обалденная вещь. Совсем по-другому на мозг действует. Я бы сказал, отрезвляюще. Рекомендую.

Дядя Саша выпил первым, крякнул. Заговорил поспешно, пока другие закусывали, — старая застольная хитрость.

— Все это, Игорек, — холодные игрушки ума. Умно, конечно, звучит, стройно, но ничего эта философия человеку не дает! Так, фантастика одна. Может, сейчас с Ивана камень скатится, и будь здоров.

— Нет, дядя Саша, вы не правы. Может это все и чушь, но многие фантасты толкали науку, — отвечал Игорь, причмокивая мятой.

Дядя Саша махнул рукой, и, отойдя к лесу, лег

под ближайшей сосенкой на мягкий многолетний ковер из иголок.

— Прильну, с вашего позволения, к корням. К истокам, — усмехнулся он и, закурив, выпустил вверх, как паровоз, столб дыма.

В темноте было видно его чубатое, освещенное сполохами костра, побагровевшее лицо.

— Фантасты. Досталось мне от этих фантастов, — сказал он куда-то в небо. — Я на Байконуре служил. Однажды еду на своем МШ-10 на 95-ю площадку. В степи — ветерок, суслики торчат. Хорошо, одним словом. Вдруг руль отказывает. Перетерлась трубка гидроусилителя руля, но это я уже потом узнал. Я руль кручу двумя руками, а вывернуть не могу. Гидравлика отказала, а мне еще 90 кэмэ пилить. А сзади, как назло, кортеж: на Вторую площадку космонавта везут. Спереди — шушарик с автоматчиками. У каждого — по три рожка, по две лимонки. Следом спецавтобус с этим гребаным, прах его побери, космонавтом. За ним — еще два шушарика, затем ВАИ, потом ГАИ. А у меня даже пистолета нет. Громкоговоритель: принять вправо и остановиться. А я не могу. Это — Байконур, а на Байконуре не шутят. Тут космос — вот тут, рядом! Это все, понимаете? Останавливаться не будут. Изрешетят в хлам, и поминай как

звали. Если везучий, то — погиб при исполнении. Что им до меня? Я козявка мелкая. А там — космонавт, ради которого они всю эту хиромантию вокруг построили. Мне повторяют. Слышу, уже затворы щелкают. Дорога узкая! Я по тормозам: выскочил, руки кверху. Жизнь моя короткая, как пташка малая, перед глазами пролетела. Как же тогда мне жить захотелось! А они не тронули меня. Просто объехали, и все. А я еще долго стоял там, в степи, с поднятыми руками, обернуться боялся. Страшно. Чуть не обгадился. Кто я такой в этом мире? Пыль. Но зато я тогда многое понял. И о жизни, и о космосе. Всего перевернуло.

— Давай, дед, делись, — сказал Монгол.

Дядя Саша повернулся, закашлялся, тяжело сплюнул.

— Я вас постарше, хотя, конечно, для молодежи это не важно. Самое дорогое, о чем говорить, чем дорожить… — оно всегда просто и понятно. Оно рядом. Это как жену обнять, другу помочь. Или ребенка поцеловать. Думать, как любовь сохранить: свою и родных. Как простить. Как вырастить что-нибудь в саду, создать, родить. Оно вроде все просто на словах, но это так кажется. Я вот с женой тридцать лет живу, и каждый день — как последний. Иной раз убить бы, а иной раз

до смерти люблю, аж сердце болит. Все вокруг: любовь, любовь… А что это такое? Вот что?

— Нету никакой любви. Есть инстинкт размножения, — сказал Игорь. — Иначе чем объяснить то, что единственная избранница живет, как правило, не на другом конце земли, а где-то в соседнем доме. Значит, она легко заменяема. Инстинкт и симпатия.

— Ничего ты не понимаешь в любви, — заявил дядя Саша. — Знаешь, как я со своей женой познакомился?

— Как? — Монгол выковыривал из костра картофелину.

Дядя Саша причмокнул.

— Я как на Байконуре служил… Еду, смотрю — на Веге сайгаки. Голов сто! Я начальнику штаба сказал. Выдали нам оружие, пулеметы. Ну, поехали, настреляли. Обдирали потом всю ночь. На следующий день двойные порции всем, дополнительный паек. Командир мне хотел ефрейтора дать, а я ему: «За что вы меня так не любите? Дайте лучше отпуск». Он и согласился. А я сказал сам себе: кого увижу первой, — на той и женюсь. И женился. Какая тут любовь? А с другой стороны, я же без нее не могу. Если посмотреть, то она же моих детей вырастила. И меня столько лет тер-

пит. А все вокруг: любовь-любовь. Тьфу. Любовь — она вот такая, как жизнь. Без всего этого.

— Похоже, картошечка готова, — сказал Монгол, перебрасывая одну из руки в руку.

Вооружившись палками, все стали выкатывать из костра пепельно-серые картофелины. Том снова разлил спирт.

— Я вас постарше, хотя вам оно… — продолжал дядя Саша. — Потом поймете. Потом человек начинает все мерять смертью. Он внутренне готовится. А когда она приходит, то он вдруг понимает, что не готов. Почему? Потому что ему больше никто не поможет. Не спасет. Все, приехали, выходим. Ни карты, ни компаса. Человек уходит туда всегда в одиночку. А тут уже привык к жизни. Купается в ней, кокон плетет. Привык к шуму, к друзьям, ко всем этим предметам. А за этим шумом не слышно вечного. Но если на секунду прислушаться…

— Дядя Саша, подползайте.

Старик затянулся, снова сплюнул прилипший к языку табак, явно пытаясь подобрать слова. Затем махнул рукой, снова подполз к огню. Поджав ноги, снял свои видавшие виды разбитые ботинки и сунул ступни в самое пламя костра.

— …Все вокруг — это миг, пыль. В один момент

всего этого не станет. Не станет ведь? Не станет! И каждый окажется тем, чем сюда и прибыл. Маленьким, беззащитным ребенком. Без всех этих соплей и масок… Меня любили! Я отмечен наградами! Сам Иван Иваныч меня уважает! Все! Ничего не останется! Страшно? Да! А что тогда с вечностью делать?

— А что? — эхом отозвался Монгол, хотя, конечно, его больше интересовала картошка.

— Я и сам не знаю. Какие-то убеждения нужны. Идеалы. Что-то внутри такое, важное. Когда не убил никого, не обокрал. Тогда не так страшно. Страшно, но не так. И не в том дело, что там тебе зачтется. А в том, что ты подлецом отсюда не ушел. Не испортил здесь ничего, не сломал. Бережно тут ходил, как по музею. А что там дальше — не важно. Все остальное — красивые слова. — Он выстрелил щелбаном бычок в костер.

Все как-то незаметно, но быстро захмелели. Разговор тлел, обрывался и вновь начинался, когда кто-то подбрасывал в него сухое бревнышко новой, незатронутой темы.

— Пойду прогуляюсь. — Том стрельнул у дяди Саши самокрутку и пошел по тропинке, туда, где спящим медведем чернел покатый бок Демерджи. За ним увязался Алтай. Пес держал

дистанцию, делая вид, что бежит сам по себе.

Том любил не столько одиночество, сколько тишину, но тут ему вдруг сильно захотелось побыть одному, обдумать, пережить все, что с ним произошло за последние две недели.

Тропинка взбиралась вверх, мимо зарослей шиповника, и терялась в сумерках. Стараясь смотреть только под ноги, чтобы не покатиться вниз по склону, он не заметил, как снова оказался на плоскогорье. Неподалеку загадочно белела целая рощица истерзанных ветром березок. Одни, прижатые к густой траве, будто ползли по земле, не в силах оторвать от нее свои стволы, и лишь выбрасывая вверх тощие слабенькие побеги. Другие смело росли вверх, но потом, будто раздумав, поворачивали вниз, и, делая кольцо, снова устремлялись вверх. У некоторых ствол был тоньше веток, другие напоминали шлагбаумы, третьи, извиваясь, застыли в кривом хороводе, обнимая друг друга. Их жуткие искореженные силуэты будто кричали, каково им в этих, открытых горному ветру, местах.

— А тут сурово бывает, — пробормотал он, поднял голову и застыл с немым восторгом. Над ним распахнулась тихая, полная звезд, молчаливая бездна. Звезд было столько, что кружилась голо-

ва. Знакомые с детства созвездия вдруг поблекли, растворились в мириадах новых, невиданных доселе светил. Будто живые, они поблескивали своим холодным бриллиантовым светом недостижимого и необъятного сокровища. Лишь над морем огромная сумеречная туча наотмашь растеклась брызгами по темно-лиловому небу.

Чатырдаг слегка покосился на бок; вчерашнего ночного облака на нем не было. Том вдруг подумал, что, уставшее от дневной беготни, оно дремало уже на какой-нибудь вершине Кавказа, или даже Гималаев.

Его вновь настигло то странное чувство отчужденности, с такой силой накрывшее его в больнице. Будто впервые он увидел весь этот мир, в который неведомой, непонятой силой его швырнуло откуда-то извне, из чего-то мягкого и теплого. Где он был раньше, до этого мира, — холодного, как родниковая вода? Он не помнил. Его память с трудом находила в себе обрывки воспоминаний, но все они были будто не его, словно чужая жизнь вспоминалась ему. Яркая, но бессмысленная череда событий, наполненная звоном и шумом, но не имеющая чего-то более важного, глубокого, — иначе отчего эта тоска? Его ли это жизнь? Пустой калейдоскоп ожиданий,

который однажды выпадет из его ослабевших рук. Когда-то, — разве так важно, когда именно? Выпадет, это уж точно. А что останется? Гитара, пачка фотографий и слезы родных, которые, впрочем, тоже высохнут. Но где и о чем была та, настоящая жизнь, которую он вдруг так ярко осязал, почувствовал на миг? Или, может быть, он не помнит ее лишь потому, что ее еще не было? Может быть, ее нужно начать? Но как начать ее, глубокую, полную, осмысленную? Кто ему подскажет, куда идти вот этими самыми ногами, в какую сторону ступать по новому пути? Никто? Вот эти люди, — там, внизу, у костра? Вряд ли. Нелепый случай, поворот судьбы? А вообще, зачем он здесь? Далеко от дома, в горах, где никогда не был, с какими-то незнакомыми людьми, открывает рот, смеется, говорит какие-то слова. Чем вся эта череда нелепиц отличается от сна?

Или он — отбившийся от своих инопланетянин, когда-то высадившийся на этой странной, больной человечеством планете, и забывший свою миссию. И лишь сильный удар по голове смог слегка приоткрыть завесу памяти, намекнуть на то, что с ним было что-то еще, что-то очень важное.

Те, кто бросил его здесь, забыли о нем. А эти

люди внизу — такие же одинокие и такие же потеряшки. Сидят, жмутся в прохладе ночи к пламени. Словно муравьи, постукивают усиками друг друга, пытаются понять, кто они и зачем. Сверяют часы и ощущения. Мелькают на соснах их тени у костра, машут крыльями, подобно летучим мышам. Путники на окраине планеты, бесстрашно несущейся в иссиня-черной, полной серебряных звезд космической бездне. Они собрались в поисках истины, у каждого есть часть карты Вселенной, которую он почувствовал, постиг; и они пытаются сложить ее осколки вместе, так же не зная, кто они, зачем, в чем смысл их существования. Они спорят, к одним теориям прибавляя новые, каждая из которых вроде ухватывает суть, но со временем истина линяет и, как старая газета, превращается в правду… Они — как первоклашки, к которым зашел учитель старших классов, написал звездным мелом на небесной доске сложное логарифмическое уравнение да и ушел, позабыв об ответе. И вот они с гомоном тыкают в доску своими пальчиками, спорят, пытаясь понять, расшифровать неизвестные знаки, непонятые письмена. А потом звенит звонок, и они выходят из класса в бездну вечности, так и не узнав ответа…

А Светка? В этом была еще одна тайна. Странное, навсегда потерянное им, но столь близкое его сердцу существо было тоже из другого мира. Из мира, где время текло по-иному. Где они хорошо знали друг друга, были похожи, понимали с полуслова, с одной черточки. Два одинаковых «я» в этом странном лабиринте — это было совсем другое дело. Его можно обжить, свить где-то в его в укромном тупике гнездо, оставив поиск выхода на потом. Двое — это уже почти весь мир. Так и было! Они жили вместе явно не одно столетие, ведь и само время растворяется в любви. Иначе бы не было той боли в душе, той раны. А потом… Откуда этот черный холодный мрак?

— This is the end, beautiful friend![8] — Неожиданно протянул он.

Мир будто остановился. Том долго стоял, запрокинув голову, смотрел на звезды и ждал ответа. Ему казалось, что сейчас вот-вот случится что-то важное. Что черное небо, подмигивающее ему всеми своими несметными глазами, вдруг откроет ему свою самую главную тайну — тайну Смысла. И он поймет все. И станет счастливым.

Но ничего не произошло. Лишь немного заныла

---

[8] Примечания: 8

Это конец, мой прекрасный друг! — цитата из песни группы The Doors «The end».

шея, а где-то рядом в темноте, громко щелкнув зубами, зевнул Алтай. Реальность медленно, но неотвратимо обретала форму, становилась своей, привычной. Вернулось прошлое, проникло в память, поселилось там. Как поспешно накинутое холодное пальто, нагревшись, становится своим, неотделимым от плоти, незаметным.

— Ну что, пошли, собака? — прошептал Том.

И они поспешили вниз по склону.

— О, вернулся. — Дядя Саша, лежа под деревом, открывал банку тушенки. — На кого ты нас покинул, кормилец? Ты же на разливе.

— Сейчас все исправим. — Том вновь плеснул спирт по кружкам.

Алтай, учуяв мясо, метнулся к старику, радостно виляя хвостом.

— Не укусит? — дядя Саша прикрыл рукой банку.

— Алтай! Что такое? А ну место!

Пес, заскулив, нехотя вернулся к хозяину.

— Я помню из школы, был какой-то философ греческий, — говорил Монгол. — Все писал там что-то, думал, а ему варвары башку снесли, и все. И нет философа. А все потому что либо валить ему нужно было, либо воевать учиться. Мы вот сидим тут, рассуждаем о том, о сем. А завтра за-

воюют нас китайцы, отберут землю, и все наши разговоры — так… Грязь в канаве.

— Ага, Архимед. Чертежи свои защищал, — отвечал Игорь. — А итог? Ни его, ни чертежей. Можно было бы поступить по-другому. Если ты слабее и не можешь сопротивляться силе — встройся в нее. Женись на китаянке. Ничего страшного в этом нет. Просто твой сын будет говорить, что его предки построили Великую Китайскую стену, а также первыми полетели в космос. Великая дружба народов в отдельно взятой семье.

— Егор, подай хлеба, — дядя Саша хрипло закашлялся.

— Ну сами посудите, — продолжал Игорь. — У нас в генах кого только нет. Русские, татары, поляки, немцы. Заметьте, внутри человека разные национальности не воюют. Или вот взять негров и индейцев. Первые отправились из Африки в рабство, смирились, но выжили, и теперь благополучно живут в США, и даже права качают. А вторые гордо и красиво отказались работать на белых. Это было выше их достоинства. И что? Теперь жалкие остатки великих племен веселят своих бывших колонизаторов в балаганах. Смирение негров спасло их, а гордость индейцев

погубила. Вот тебе и рабство. Посмотрите на растения. Они не кричат, не стонут. Они спокойно делают свое дело, тихо прорастая там, где можно прорасти. Без лишних слов.

— Логично, — наконец сказал Том. — Но ведь сильный не считается со слабым. Сильный считается с равным себе. Только тогда он договаривается. А если тебя победил народ, у которого — запрет на смешанные браки? Если в его схеме будущего для тебя нет места. Что тогда? А главное то, что не ты, а за тебя решают, убить тебя или помиловать. Подстричь твою траву или перепахать, залить асфальтом. Разве такого не было? Сплошь и рядом в истории, только из них уже не ответит никто. И если твоему роду грозит несколько поколений быть бесправным рабом, и при этом ты не знаешь, — может, их, твоих потомков, в расход пустят, как индейцев? А неграм просто повезло жить в эпоху хоть и диковатую, но уже не варварскую. Да и то, сколько миллионов их утопло, померло с голоду? Молчит океан, молчит земля. Сила — вот единственный способ сохраниться. Хотя, на первый взгляд, идея отменить границы — она хорошая.

— Жратва! — дядя Саша разложил на своем мешке несколько кусков хлеба с намазанной на

них тушенкой.

— Дядя Саша, а вы что думаете? — спросил Монгол, уважительно глядя на бутерброды.

— А что тут думать? За меня горы скажут. — Дядя Саша повернулся на бок. Огонек сигареты осветил его морщинистое лицо.

— Я тут немного постарше. Я вам скажу, хотя вы, может, и не поймете. Это Лысый Иван. На нем полвека назад сидели такие же пацаны, как вы, и долбили внизу немцев на трассе. А когда те шли на них облавой, — они минировали вот эти тропы, уходили этими самыми балками. Вон туда, через перевал на Роман-Кош, или туда, через Кудрявую Марью на Долгоруковскую. А оттуда на восток, в пещеры Караби и дальше. Прятались в щелях, в скалах. Жили под камнями, в норах, в ущельях. Мы привыкли к памятникам, наградам, к фильмам. А каково им было? Здесь же леса маленькие, болот нет. Все простреливается, все окружить можно. Не то что в Белоруссии: отступил в топи, передохнул. И это не турпоход на недельку, чтобы и песни под гитару, и жратвы полон рот. Это оккупация! Война с неизвестным концом, ведь вокруг враг, и он сильнее! А в горы уходили целыми семьями, потому что и детей убивали. Вот семья лесоруба или, там, лесника. Он

все дороги знает. Если семью в лес не увел, — ее обязательно расстреляют. Зачем? Чтобы лесник своих пожалел, из лесу вышел. Чтобы тропы показал, где партизаны. Про пещеры рассказал, про ущелья, тайные источники, про укромные места. Окружить помог. А ведь жалко же семью. Твои же! Твои дети, внуки! А выбор? Предать таких же, как ты, своих ребят? Или родных потерять? Поэтому уходили семьями. А кто не успевал семью спрятать, — знали, что ее ждет. И — все равно уходили. Ради сопротивления… Горы все знают. Ветер, дождь, снег. Бежит молодая мать, держит на руках младенца. И — никуда не деться, ни в один поселок не зайти. Зайдет подальше в чащу, выкопает ребенку ямку в земле, чтобы не дуло. Листвой присыпет, чтобы потеплее, веточкой прикроет, чтобы не разметало, а тут — немцы. И опять нужно идти, все дальше и дальше. У детей обуви давно нет, все стоптано: идут в обмотках. Они плачут, а плакать нельзя. Их берут на руки, привязывают к спинам, несут этих несчастных детей по лесам, от смерти. Об этом не говорят, потому что нет тут картинки. То ли дело — таран, самоподрыв, смерть на амбразуре! Тут в кино не покажешь. Тут пытка, растянутая на годы. А люди выбирали именно такую жизнь. Звериную, но

жизнь, потому что не было бы им никакой жизни при немцах. Всех убивали, угоняли, отправляли в лагеря. И не получили бы немцы на орехи, если бы не было здесь таких бесстрашных ребят. А не было бы их — не было бы и вас. И скажи мне, Игорь, что они были не правы? Да я тебе морду набью!

— Не, мордобоя не надо, — сказал Том.

— Не парься, не набьет, — шепнул ему Монгол. — У него собака.

— Дядь Саша, та все хорошо. Дайте лучше самокрутку.

Дядя Саша долго соображал, достав было свой портсигар, но потом снова сунул его в карман.

— И вообще, — продолжал он, — я не уверен, что кто-то из них женился бы на немке. Врага презирали. Дух был другой у времени. Или у народа, я уж не знаю, как это сказать. Самосознание, что ли. И Сталин тут ни при чем. Без Сталина то же самое было бы. Грызли бы зубами. Сейчас этого нет. Есть вот такие игорьки, им все равно. Зато на Перевале какой-то ублюдок с памятника бронзовые доски посрывал. Вот так и разменяли свою память… На цветмет.

Все молчали, разметая остатки еды. Картошка действительно была вкусная.

— Да я и не настаиваю, — примирительно сказал Игорь и пьяно улыбнулся, вытирая черный от картошки рот. — У каждого своя правда.

— Не, вот это ты не прав, — снова горячился дядя Саша. — Знаю я эту тему. У всех своя правда, все чуть-чуть виноваты, по обе стороны — герои. Нет никаких понятий, все размыто.

— Да не злись ты, дядь Саш. Не торкнуло его просто. — Монгол размахивал окурком. — Это не объяснишь. Меня вот торкнуло. А его — нет. Том, вон, — свидетель. Попросили нас на День Победы выступить перед ветеранами в местном госпитале. Концерт пообещали. Дрим, вокалист наш, обрадовался страшно, думал, что всю нашу программу откатаем. Потом что-то поменялось, и организаторы сократили наше выступление до трех песен. А потом вообще говорят: много конкурсов, стихов полно, так что вы там одну песенку спойте, и все. Дрим обиделся, и решил им не свою, а чужую зарядить. Там, короче, старик-инвалид сбегает из дома престарелых, а его санитары догоняют, и забивают ногами. Жесткая песня, короче. Вышли мы, как на расстрел. Смотрим: стариков полный зал. Сидят тихо, покашливают. Ну, думаем, в последний раз выступаем. После такой песни нас в бурсе точно не оставят. Ну, и

врубили.

Спели мы, стоим, смотрим, — такая тишина в зале. И вдруг — как захлопают. Овация! Сидят деды, бабки старые смирно, хлопают, у многих слезы на глазах. И тут до меня дошло. Они и слов-то наверное не поняли, там не звук был, а рев. Но им просто вживую никто песен не пел уже лет сто. Они и этому рады, они плачут. А мы, придурки, спели старикам на праздник одну песню, и такую срань. Мы думали, что мы бесстрашные герои. А они нас победили. И стыдно мне за это до сих пор так, что и передать не могу.

— Да… — Дядя Саша крякнул, почесав в затылке. — И какая мама вас выносила?

— Но это же не только я, это же вокруг разлито, — продолжал Монгол. — Говорят, у белорусов такого, как у нас, нет. И в России такого нет. А у нас — цветочки-речевки, пионерский салют у памятника. И все, ничего живого. Перекормили нас этим героизмом, чи шо? Или это что-то в почве такое? Может, радиация?

— Историю никто не учит, — горько сказал дядя Саша. — История это такая наука, она как фонарь. В светлое время, когда все в порядке, она вроде и не нужна. А когда тьма находит, то без этого фонаря — никуда. Без побед прошлых, без

понимания. Когда о прошлом те так говорят, а эти эдак, тогда и памяти не остается. Тогда забыть проще. Вот потому-то была страна, и нету. И медицина была бесплатная, и образование, и в автоматах газированной воды стаканы никто не крал. В городах воду дождевую пили, не боялись. На подъездах замков не было. Теперь весь Крым — в заборах, пляжи поделены, каждый как в клетке сидит. Всем плевать… Некоторые сейчас в Бога верят. Им проще. А я не верю. А все эти теории про добрую Вселенную не стоят моих дырявых носков. — Для убедительности он пошевелил пальцами на ногах.

— Я сейчас вам про Бога расскажу, что я понял, — вдруг встрепенулся Игорь. — Я, допустим, верю, что человек произошел от обезьяны. Но в слове «произошел» есть корень «шел». Другими словами, если человек когда-то стал видоизменяться, то почему бы не предположить, что он до сих пор — в движении? Эволюция не закончилась, понимаете? Любая остановка есть деградация.

— Ну ты загнул, ботаник, — сказал дядя Саша.

— А это значит, что сам человек неизбежно, если у него в запасе даже не вечность, а хотя бы столько же лет, сколько существует жизнь, — он

должен дойти, добраться до состояния Бога, — продолжал Игорь. — Ведь если он действительно развивается от простого к сложному, то неизбежно придет к состоянию божественному, совершенному. Просто сейчас он прошел лишь часть пути. И знаете, что дальше?

— Что? — спросил дядя Саша.

Игорь прилег на пса, уставился в небо, блаженно улыбнулся.

— А дальше это — конец его как человека. Конец странствий в обладании Вселенной. Конец ошибок и белых пятен, постижение всех ее законов, обладание возможностью создавать все. Бог — это конец эволюции и ее венец. Это вечное состояние покоя, конец желаний, отсутствие всяких стремлений. Это качественное изменение, это все. Человека больше не будет. Тупик, понимаете? Эволюция приводит к смерти.

— Почему? Может, наоборот, к вечной жизни? — спросил Том.

— Не знаю. Я лишь знаю, что то существо, которое в итоге получится, будет очень мало напоминать нас.

— Ну и что? Мы же не тоскуем по обезьянам, — сказал Том. — К тому же, может быть, смерть — это тоже просто этап эволюции.

— Может быть. Ведь человек не станет Богом, если не научится преодолевать смерть. А Бог не может умереть. Наверное, это единственное, чего не может Бог.

— А мне кажется, что нет никакой эволюции. — Том подлил спирт. — Есть опыт, который передают нам предки. Плохой, хороший. Короче, свои шишки. Если бы все развивалось само, умные люди не гибли бы тупо пачками от ножей каких-то гопников. Просто так, молодые, в расцвете сил. От понтов перед девками. От передозировок. Нормальные, хорошие пацаны. Я вот, сижу здесь, у костра, и Монгол сидит, а Ваньки нашего — нет. Зато убийца отсидит, выйдет из тюрьмы.

— А самолеты! Помните? — вдруг прорезался дядя Саша. — Самолеты летали над головой? Каждый день ведь летали. Их же как мух было. А теперь вообще нет. Медным тазом все. И кучка негодяев правит миллионами бесправных рабов.

— Да что вы все по совку тоскуете? — встрепенулся Игорь. — Такая же кучка выживших из ума идиотов и правила. Не по родине вы тоскуете. Ничего она вам не дала. Вы по молодости тоскуете. По Байконуру вашему.

— Мой адрес — Советский Союз, — пьяно под-

твердил дядя Саша, и глаза его потеплели.

— А я вот не переношу, когда государство меня строит, нормирует, форматирует, — сказал Том. — Жениться можно только в государстве, дом построить — в государстве. Даже тихо умереть, чтобы государство не выпотрошило твой труп в морге, тоже нельзя. А если тебе что-то от него нужно — побегай по инстанциям, поклянчи, занеси, сколько можешь, каким-то мутным людям с потухшими глазами и куриными жирными ляжками, которые часами перебирают бумаги и непременно орут на тебя, просто потому что ты имел наглость к ним обратиться. Зато если в армию или на войну — тут государство очень хорошо о тебе помнит. Тут всегда озаботятся, тут за тобой присмотрят, напомнят, а если понадобится — сами придут. Потому что их, всю эту сволочь, охранять нужно, защищать, чтобы жили жирно, чтобы плодились хорошо.

— За космос, пацаны, — произнес тост Монгол.

— Да какого? — продолжал Том. — Какого лешего, спрашивается? Я родился на этой планете, и подозреваю, что всего один раз. У меня — моя личная, уникальная, ни на кого не похожая жизнь. У меня — моя личная свобода, которую ограничивает только моя личная смерть. А ка-

кой-то вонючий упырь начинает учить меня, где мне тут ходить, как дышать? Ведь это так просто понять! Достаточно однажды посмотреть на небо, соизмерить себя со вселенной, с этим бесподобным, опрокинутым на голову космосом, почувствовать, что весь этот неповторимый мир отражается в тебе, он создан для тебя.

Том вскочил, поднял к небу распахнутые руки.

— На миг, на один миг он изъял тебя из ничто, дал возможность чуть-чуть подышать, взглянуть на всю эту кра-со-ту-у! А тебя с детства загнали в лабиринт, как крысу, и ты всю жизнь бежишь по придуманным кем-то коридорам, даже не всегда врубаясь, в каком несусветном бреду ты живешь. Получается, что государство — это огромный паразит, капкан, аппарат принуждения. Зверь, который питается твоей свободой. Говорят, что оно сдерживает мир от полного хаоса. Но вот мы сидим в Крыму, у костра. Вроде бы на территории государства, а на самом деле — нереально далеко от него. И получается, что вне государства мы люди свободные, а в нем — служим лишь тем, кто хорошо устроился. А я, к примеру, вообще не устраивался. У меня нет денег, регалий и заслуг перед обществом. Я не хочу никому ничего доказывать. Так оставьте мне мою свободу, ведь она

— моя, она родилась со мной. Это моя свобода ошибаться, это моя свобода умереть так, как я хочу. И мне плевать, что думает об этом весь этот мерзкий, трижды проданный мир! Мир, который вообще имеет цену. Тот, кто играет по этим правилам, становится его рабом, даже если ему и удается выклянчить место с жирной похлебкой.

— Ого, зарядил! — восхитился Монгол.

— Да, красиво задвинул, — согласился дядя Саша. — Но ты забыл про роддом, где вылупился, про квартиру, в которой живешь, про школу с поганым директором, где были еще и учителя, которые чему-то тебя научили. Про бассейн, турники, наглядные пособия. Про асфальт, по которому ты ходишь. В горах, в пещере ты бы вряд ли долго прожил, так?

— Но это, все это сделали не они, не государство. Это сделал народ, в том числе и я, и мои предки.

— А сделали бы они все это без государства? — продолжал дядя Саша. — Может, каждый, будь он сам себе начальник, пошел бы своей дорогой?

Том подбросил в костер веток.

— Не знаю. Я знаю лишь то, что правда и власть несовместимы. А люди, чуть только получают власть, сразу превращаются в надсмотрщиков.

— А по-другому не бывает. И не будет. Человек

так устроен. Кто наверху — тот управляет. Кто внизу — ему не нравится.

— Я думаю, человека можно изменить, — проговорил Том. — Или заставить.

— Ну хорошо, предположим, что ты прав, — сказал дядя Саша, хлопнув себя по коленям. Его морщины разгладились, на озаренном костром лице не было ни тени иронии. — Завтра же, прямо с утра, мы начинаем менять мир. Итак, что ты предлагаешь?

— Я не знаю, — Том стушевался. — Я хотел бы, чтобы все люди жили честно и открыто. Чтобы не делали друг другу западло. Чтобы гопников не было. Чтобы не было всех этих идиотских законов и уставов, присяг и приказов. Чтобы люди смеялись над собой, а не выставляли с умным видом свою казенную заученную тупость только потому, что так написано в учебниках. Чтобы не продавали себя за деньги, душу свою не продавали, суть. Чтобы цель у жизни была радоваться, а не иметь. Чтобы люди не умирали заживо, чтобы сохраняли до старости ту радость, какую имели в детстве. Чтобы каждый мог делать то, что вздумается, не быть скованным условностями, чтобы никто не лез со своими понятиями к другим. Чтобы люди научились жить, любуясь

природной красотой, чтобы больше думали о вечном. У человека есть право и на жизнь, и на смерть, и на ошибку. И нечего совать сюда свой нос всякому государству.

— Э, да я знаю, что тебе нужно, — вдруг посерьезнел дядя Саша. — Точно! В табор тебе надо, к цыганам! Смотри сам. Полная свобода — раз. Никакого тебе государства. Где хочешь, там и живешь, — два. Опять-таки степи-кони-медведи, природа всякая. Три. Песни и пляски под гитару — четыре. Наркотики — вообще без проблем. Пять! — и он снова захохотал своим заливистым смехом.

— Не иначе Кропоткин всю эту заразу в таборе подцепил, — вдруг сказал Монгол.

— Кто?

— Да Кропоткин. Теоретик анархизма. Так, Том?

— Я думал, ты панк. А ты гопник, — Том фыркнул.

— Я? — делано переспросил Монгол. — А мне пофигу. Я вообще никто, — так, покурить вышел. А те старики? Ты считаешь, то, что тогда было, — тоже панк?

— Куда фига — туда дым, — ответил Том.

— Ты не спрыгивай, скажи как есть.

— Плохо вышло. Но ты пойми, Монгол, Дрим не целился в стариков. Он в начальство целился. Да, промазал, просто никто ничего не понял, кроме нас. А старики… Они же для нашего государства — что елочные игрушки. Их достают ко Дню Победы, как из коробки, отряхивают пыль, любуются. И — снова забывают на год.

— Ладно, проехали, — мирно согласился Монгол. — Меня просто всю жизнь цепляло: вот говорит человек умно. Профессор там, доктор наук. А вечером по улице идти боится. Или соберутся люди, все сплошь умные. Считают себя элитой, гениями. А попроси кого помочь, так и чаю не дадут. Фальшь одна. Поэтому я за дядьСашу. ДядьСаша жизнь понял.

— Во, тезка, дай пять! — дядя Саша протянул Монголу руку, и тут же делано встревожился.

— И что, этот Кропоткин всю планету в табор хочет превратить?

— Ну, как водится, поначалу на России испробовать, — подыграл Монгол.

— Вот так всегда! — проворчал дядя Саша. — Все им нужно на России испробовать. Народ для них шо те кролики. Вот есть, к примеру, человек. Нормальный с виду, живет как все. Ходит по земле, с соседями здоровается. А потом взбредет

ему в голову какая-нибудь идея. Услышит он ее, или прочитает, — не важно. Обмозгует ее так и эдак: хороша идея! Потому что вывод у каждой хорошей идеи — как у самогонного аппарата: какое бы дерьмо ни заложили, на выходе чистый первак. Но это в теории, конечно. Казалось бы, от хорошей идеи кругом одна польза должна быть. Но человек еще не знает, получится оно или нет, — а уже от радости с ума спятит. Носится с этой идеей, как пьяный: глаза дикие, блестят. Все о будущем говорит. Прошлое, ясно, ругает, — ярко, сильно. Но, что интересно, он обязательно начинает ненавидеть то, что есть, а любить то, чего еще нету и, может быть, не будет. Что-то такое рядом ему сразу становится омерзительным, какие-то люди, дела. Поэтому и настоящее ему тоже не нравится, оно ему испорчено. И не важно, дурак или умный. Если поумнее, то все по полочкам ответит. А если дурак, то просто не согласится. Одна беда: всех учит, как надо, а сам работать не хочет. Вот старое разрушить, поорать — это пожалуйста, это с превеликой радостью. Но хуже всего то, что человек такой идеей может любую свою дрянь оправдать. А разве такое добром кончается? И как ему объяснишь: а если ты, мил человек, ошибся? Почему из-за твоих

опытов другие должны страдать? На себе пробуй! Так ведь нет! Весь мир столбом поднимет, а себя не тронет. И разве орут ради хорошей идеи? Разве ссорятся? Хорошая идея — она вот, везде. Она не где-то там, она вот тут. В природе этой. В терпении. В мозолях. Я так скажу: если тебе не нравится какой-то политик, — ты лучше пожалей его, если сможешь. Просто следующий будет или хуже, или тупее. Потом еще вспоминать мои слова будешь и скажешь: прав был дядя Саша…

— Да помер уже, — вдруг сказал Монгол.

— Кто? — не понял старик.

— Кропоткин.

— Да я в общем… Ну ладно, давайте дернем. Надоела мне ваша политика, — вздохнул дядя Саша, как будто не он начал этот разговор.

Вновь брякнули кружками, замолчали. Вечерняя истома после тяжелого дня брала свое. Уставшие, тихо подергивались мышцы в ногах. «Подойди кто сейчас, скажи: вставай, или убью, — не встану», — подумалось Тому.

— Ладно! Хватит плевать в колодец мелкобуржуазных ценностей! — наконец сказал Игорь. — Обратимся к хокку.

— А что это?

— Японская поэзия.

— О, культурная программа! — важно сказал дядя Саша, и даже приподнялся на локтях.

— Валяй! — засмеялся Монгол.

Осенний ветер.
Осыпаются буквы
Моих записок.

Все как-то сразу замолчали. Запахло прелью, по-особому зазвучала ночная лесная тишина. Воздух стал будто объемнее, плотнее.

И только дядя Саша с иронией проронил:

— Что, и все?

— И все.

— Маловато как-то.

— Не, нормально. Просто коротко, — отозвался Монгол. — Давай дальше.

Воодушевившись, Игорь встал.

Ссора с любимой:
Стало коротким опять
Наше одеяло.

За окном темень,
Будто там ничего нет.
Качает вагон.

В зимней куртке – вдруг —
Цветок мать-и-мачехи:
Замкнулся мой круг.

Игорь читал медленно, с паузами. И чем дольше он это делал, тем мягче становилось лицо дяди Саши. Он уже совсем успокоился, даже как-то помолодел, и, наконец, сказал совсем примирительно:

— Ну, куда лучше, чем про политику!

Хороший был год:
Много яблок. И только
Тебя больше нет.

Игорь замолчал.

Том вдруг заметил, что его развезло. Голова отяжелела, все окружающее как-то враз надоело. Эта пьянка, этот длинный день, который все никак не кончался и который требовалось обрубить решительно и бесповоротно. Он встал, шатаясь, подошел к автору, обнял его, и даже записал Игорев адрес. Затем свалился под дерево и, из последних сил набросив на себя одежду, закрыл глаза.

— Игорек, ты хороший человек! — сквозь полудрему слышался голос дяди Саши. — А я тебе

хотел морду набить! Я тебя уже второй раз в жизни встречаю, и оба раза в горах. А ведь я знаю, что в горах плохих людей не бывает, но ты! Ты мне стал как внук. Или как сын. Или как брат! А знаешь, почему? Потому что душа у тебя тонкая. Ты завязывай с этой всей твоей болтологией, с китайцами. Это я тебе говорю, потому что я постарше тут. Пиши лучше, работай над собой в культурном направлении… Поэзия твоя хорошая, правильная. А мысли… Мысли не те.

— А вдруг я завяжу с мыслями, и у меня дар пропадет? Вдруг писать не смогу?

— Ну тогда и не пиши вообще. Лучше талант потерять, но человеком остаться. Талант — он ведь к человеку как бесплатное приложение. Не главное он.

— А что главное?

— Главное? Ну вот представь, что таланта у тебя нет. Бывает такое? Бывает, конечно. И что от тебя останется? Понимаешь? Бывает так, что талант ого-го, а человечек — так себе, дрянненький. Так что до своего таланта тебе еще дорасти нужно.

Игорь икнул.

— Вот ты, например, знаешь, почему хороших людей в горы тянет? — продолжал дядя Саша.

— Почему?

— Потому что в горах небо всегда больше земли! Так и в человеке неба должно быть больше, чем земли.

— Да вы поэт, дядя Саша.

— Ты меня, Игорь, не обзывай. Я хочу умереть честным человеком.

— Э, народ! Выключайте хокку, отбой, — буркнул Монгол.

Дождь

Кто-то тихонько тряс его за плечо. Отгоняя липкий утренний сон, Том с трудом открыл глаза.

Над ним стоял дядя Саша. Уже рассвело. На дороге, пониже их поляны, в облаке сизого дыма пыхтел вчерашний грузовик.

— Мы на покос не поедем, дождь собирается. Можем вас до Лучистого подбросить.

— Спасибо, дядя Саша, — прошептал Том. — Мы сами.

— Ну, бувайте. Мы поехали. — Старик махнул рукой и зашагал к машине. Грузовик развернулся и скрылся за сосняком у дороги.

Том покрутился на отсыревшей за ночь хвое, но спать уже не хотелось. Он встал и, разминая затекшую от твердой земли спину, пошел на родник, умываться.

Когда он вернулся, Монгол все так же мирно посапывал, уткнув нос в рукав утыканного репейником свитера. Неподалеку, в обнимку с овчаркой, спал Игорь. Том застыл в нерешительности. Можно было бы еще поваляться, растянуться во весь рост, но они скоро уйдут отсюда, и может, больше никогда не увидят этих

мест. А ему было так жалко терять время на сон в таких красивых краях.

Куда идти, они так и не решили. Но можно хотя бы разведать окрестности, решил он.

Ему очень хотелось залезть на вершину Демерджи, чтобы увидеть то редкое явление, о котором вчера рассказывал дядя Саша. Но солнца над горой не было, а лезть просто так наверх не хотелось.

Том размялся, еще раз посмотрел на спящего Монгола.

«Не панк, говоришь. Ну и спи тут». — И он трусцой побежал по тропе вдоль сосняка, — туда, где в сизом утреннем мареве горбатился Лысый Иван.

Эта вершина была ближе, и куда ниже Демерджи, нависая над местом их ночевки крутой каменной шишкой. Тому непременно хотелось посмотреть на седловину сверху и, может быть, увидеть место, где сидели партизаны. Подъем оказался крутым, но достаточно коротким. Когда Том взобрался наверх и тропа стала более пологой, вершина оказалась значительно дальше, чем ему виделось снизу, будто отдалилась от него, превратившись в невысокий пологий холм. Том посмотрел назад и обнаружил, что прошел довольно много. Вдобавок подъем стал легче. «За

полчаса сбегаю, а они еще и не проснутся», — мелькнуло в голове, и он бодро потопал наверх.

Тропа вела все дальше и дальше, бодро виляя между сизых, покрытых ржавыми лишайниками, камней. Когда трава совсем исчезла, сменившись каменистыми россыпями, он выбрался на вершину, обернулся.

Небо хмурилось. Сзади кривым зубом-карнизом нависала над балкой Демерджи-гора. Ее вершину, куда он чуть было не полез, уже скрывали низкие серые облака. Они медленно ползли к седлу, стекали узкими языками к седлу, будто дымился от лесного пожара склон. Еще ниже, в балке под седловиной, плескался туман. Зато на юге, там, откуда они вчера пришли, за тяжелыми, будто грязный поток, тучами, открывался совершенно другой мир. Там, в голубом небе, висели легкие, безмятежные облака. Словно многоэтажные замки, подсвеченные желтым, розовым, оранжевым огнем, нелепо радостные в этой предгрозовой тишине. За ними синей полоской жизни сияло море. Было видно, что погода там совсем иная, теплая и солнечная.

На другой стороне долины высился мрачный шатер Чатырдага. К нему тянулся поросший лесом Иванов кулак. За кулаком кучерявился

облаками склон серой, в подпалинах, горы. Еще правее, из-за отвесного обрыва, доносился снизу гул трассы.

Том повернул голову вправо и на северной стороне склона увидел лежащую голую женщину с поросшими лесом бедрами и бюстом в виде двух конических сопок.

— Кудрявая Марья! — рассмеялся он.

Подойдя к краю, — туда, где в сизо-зеленой дымке деревьев прятался перевал, он попытался представить, куда лучше поставить пулемет. Откуда-то снизу, из-за кулака, доносился едва слышный шум машин, но из-за низких облаков ничего не было видно. Площадка была удобной, и, хотя до шоссе было далековато, но если взять винтовку с оптическим прицелом… Да нет, какая винтовка? Тут лучше миномет поставить, пристрелять шоссе… Или сорокапятку, чтобы прямой наводкой. А лучше — зенитку. Правда, как ее втащить? А главное — куда прятать при отступлении? Нет, все-таки лучше миномет…

Сзади обдало волной холода. Он обернулся и обмер. Со всех сторон на Ивана, словно щупальца, ползли языки серых, холодных туч. Они уже перевалили через отрог-кулак и облизывали отвесный западный склон горы. Просматривался

лишь небольшой кусок вершины, часть склона и ускользающий вниз пунктир тропы. Вся эта перемена произошла настолько быстро и неожиданно, что Том даже растерялся. Туман будто не приполз откуда-то издалека, а просто образовался где-то рядом.

Прощальным взглядом он ухватился за тонущие в белом молоке верхушки деревьев и быстро поспешил назад. Через пару минут его окутал плотный слой облаков. По неопытности он даже не успел запомнить какие-то вешки обратного пути. Стараясь держаться выбранного направления, Том осторожной поступью шел вниз, по дыбившимся из земли камням. Камни в один миг стали скользкие, будто превратились в торчащие из травы куски льда.

— Не хватало еще ногу сломать, — он сбавил скорость. Вздохнув поглубже, взял себя в руки, и, зябко поеживаясь, двинулся было снова, как вдруг, совсем рядом, отчетливо услышал чьи-то шаги. Шаги были мелкие, осторожные, и стихли на миг позже того, как он остановился. Холодный пот пробил его до самых пяток. Он резко повернулся, но не увидел ничего, кроме тумана. Осторожно присел, попытавшись поднять ближайший булыжник, но тот, как назло, будто

прирос к земле. Том снова встал, прислушался. Сделав еще два шага назад, он снова услышал движение, теперь сзади, снова обернулся, замер…

— Туман! — спасительная догадка неожиданно вспыхнула в мозгу. Звуки его собственных шагов уходили во мглу, и, отражаясь от облака, как от стены в комнате, возвращались к нему с небольшой, едва заметной уху задержкой.

— Надо же, сам себя испугался! — громко, нарочито непринужденно сказал Том, стараясь не замечать в голосе натужные нотки. Облегченно вытер со лба то ли пот, то ли налипшую облачную морось, снова глубоко вздохнул. Постоял немного, решив наконец, что окончательно успокоился, сделал несколько шагов вперед, стараясь не обращать внимания на доносящийся из-за спины хруст камней. Но тут тропа… Исчезла! Она и так едва угадывалась среди мелкой белесой каменной ряби, но тут ее следы скрылись окончательно. Повсюду, в редких клочках травы, земли просто не осталось: в сплошном, плотном как вата, холодном сумраке виднелись лишь вымытые веками камни. К тому же после приключения со звуком его внутренний компас совсем сломался. Том интуитивно понимал, что тропа прячется где-то здесь, что нужно продолжать идти вниз,

и взял левее, но вскоре оказался на краю невысокого, но крутого спуска, поросшего ольхой, шиповником и молодыми кустистыми дубками. Лезть вниз, в колючки, ему никак не хотелось. Да и не был он здесь. Том вернулся на место, откуда свернул, стараясь успокоить колотившееся от волнения сердце.

— Нормально, — зачем-то сказал он, отдышался, пытаясь сориентироваться по солнцу, но небо над головой сияло совсем однотонно, словно рассеянный прожектор бил сквозь белую простыню. Том двинулся влево. Впереди оказался длинный пологий склон, сплошь поросший мелкими белыми цветами, совсем незнакомый, который к тому же никак не заканчивался.

Он продолжал спуск, пока слева не выросла сплошная темная стена кустистой колючей поросли. Вскоре она совсем окружила его, и он оказался на небольшой поляне. В самом ее центре, среди робкого радужного тумана в каком-то странном танце стыло небольшое белое облачко. Оно было метров шесть в высоту, висело вертикально, почти касаясь земли, и то кружилось волчком, то выворачивалось наизнанку, то вспучивалось, словно бурлящая вода в кастрюле. Время от времени из него высовывались язы-

ки-щупальца и растворялись в тяжелом прелом воздухе. Как завороженный, он смотрел на этот странный танец неведомого, инопланетного существа. От облака веяло холодом, но оно выглядело настолько живым, одушевленным, что сковало Тома каким-то животным ужасом. В носу запахло кровью. Проглотив тяжелый комок, он бросился назад, наверх, и вновь заметался по вершине, словно потерявшийся зверек.

Вдали прокатились первые раскаты грома. Погода окончательно испортилась.

Том снова побежал вниз по склону, навстречу грому, изо всех сил надеясь, что если тучи пришли с Демерджи, то и эпицентр непогоды должен быть где-то там. Но расстояние было слишком большим. Места вокруг были совершенно незнакомые: вновь какая-то небольшая поляна, отвесный каменный обрыв.

— Монгол! — что есть силы закричал Том. Его осиплый голос глухим ойком растворился в вате, будто бы он стоял не среди гор, а сидел в обитой войлоком студии звукозаписи. На крик никто не ответил. Лишь где-то неподалеку сорвалась с ветки тяжелая большая птица, и, со свистом махая огромными крыльями, полетела прочь.

«Полезу вниз», — задыхаясь в разреженном

воздухе, он упрямо ринулся через кусты, и тут же зацепился за колючку. Со злобой рванул ногу, и штанина лопнула поперек, обнажив колено.

— Баран, — с ненавистью на самого себя буркнул он, вытер рукой лицо.

Обрыв был невысокий. Снизу, вдоль каменной стены росли несколько кривых дубков. Схватившись за ветку, он прыгнул к стволу дерева, уцепился за него. Затем осторожно полез по скользким веткам вниз, с тревогой поглядывая на зависший над головой, поросший лишайником каменный куб величиной с гараж: тот не падал лишь потому, что его подпирал ствол сизого от мха и совсем не толстого дерева.

Спрыгнув на землю, он отряхнул с себя прилипшие со склизкого ствола мох и грязь. В заднем кармане обнаружилась спрятанная про запас Игорева конфета. Том машинально развернул фантик, отправил ее в рот, и тут, к своей неописуемой радости, прямо перед собой увидел вполне приличную тропу: красновато-землистая полоса, виляя между кустов, вела куда-то вниз по склону. Он здесь не был, это была явно другая тропа, но, в конце концов, все тропы ведут куда-то, подумал он, и с облегчением зашагал по ней. Настроение улучшилось.

— Куда бы я не вышел, — рассуждал он, прыгая с камня на камень, чтобы лишний раз не мочить о траву обувь, — я наверняка попаду на дорогу. Если выйду на дорогу, — пойду по ней вверх, в обратную сторону. Гора-то небольшая, а, значит, дорог тут много быть не может. А уж дорога точно выведет туда, куда нужно.

Тропа между тем вела куда-то через густую чащобу, и в некоторых местах ему едва удавалось продираться между старых кряжистых деревьев.

«Тут, похоже, давно никто не ходил», — невесело думал он, то и дело обламывая слева и справа колченогие сизые ветки. Но возвращаться назад не хотелось: мягкий неспешный спуск манил куда-то вперед, давая возможность подуставшим ногам хоть немного отдохнуть. Наконец тропинка стала шире, и вдруг… Неожиданно оборвалась. Том едва не шагнул в темно-молочную мглу, в последнюю секунду устояв на каменном обветренном краю. Внизу, едва заметные в тумане, тянули свои сизые руки к небу огромные многометровые буки.

— Вот тебе и здрасьте. — Он почесал в затылке, присел на камень, завязал шнурок уже промокшего кеда.

Длинная извилистая полоса земли, так похо-

жая на тропу, оказалась сухим руслом водяного стока, видимо, намытого во время бурных ливней. Поэтому-то и не ходил по ней никто.

— Монгол! — снова заорал он в сизую мглу, и что есть силы швырнул куда-то вниз круглый, обмытый древним морем, голыш. В ответ внизу, в чаще задвигалось что-то тяжелое, огромное, и, с хрустом ломая толстые ветки, медленно пошло прочь.

— Зверь? А вдруг нет… — Ледяной озноб снова пробежал у него по спине. Том осторожно отступил от обрыва. Враз вспомнились вчерашние разговоры у костра и то жуткое Существо, что он когда-то видел…

Стараясь ступать как можно тише, побрел назад.

* * *

— Саня!

Монгол открыл глаза. Над ним стоял Игорь.

— Сань, вставать надо. Сейчас дождь польет.

Монгол нехотя поднялся, посмотрел на близкое, грозовое небо. Склон Демерджи, по которому они вчера спустились на седло, растворился в тумане. За краем их поляны все превратилось в молоко.

Вокруг было тепло, тихо и как-то тревожно.

— Ты Тома не видел?

— Не-а. Я встал, а его уже не было.

— Ты давно встал?

— Полчаса. Только костер успел развести. Еле развел. Спички отсырели.

— А ты на родник ходил?

— Его там нет. Уходить нужно. Скоро начнется…

— Что, гроза?

— Ага.

— Куда же он запропастился? — Монгол вышел из леса на седло, но из-за плотного тумана никого не увидел.

— То-ом! — заорал он.

Ответа не было, и он вернулся к костру. Игорь вытащил из костра жестяную банку с водой, бросил в нее горсть собранной вчера травы.

— А он с дедом не мог уехать?

— Да не, зачем? Если бы уехал, сказал бы. — Монгол пожал плечами. — И сумка его тут.

Прошло полчаса. Они выпили весь чай, поставили еще, а Тома все не было.

Заморосил дождь. Холодный и неспешный, с крупными каплями, он тихо ощупывал землю, уныло шуршал в хвое и забирался за шиворот, явно решив пролить все вокруг хорошо и осно-

вательно. Костер еле тлел, с трудом переваривая сырые дрова.

— Ты сушняк с деревьев ломай, — подсказал Игорь. — Ветки над землей — самое сухое топливо в лесу.

Вдруг неподалеку тяжело и гулко рвануло.

— Что это? — Монгол вздрогнул. В ушах у него зазвенело.

— Это гром такой, в тумане. — Игорь тревожно посмотрел вверх. — Похоже, что мы в эпицентре. По такой погоде лучше высоко не подниматься. В прошлом году на Караби в туриста молния попала.

— Убило?

— Не знаю. Когда приехала «скорая», еще жив был. В синяках весь, с ожогами. Его прямо с метеостанции забирали. В тумане вообще гулять опасно. Я как-то весной в туман попал, два дня потом выбирался. И карта была, и компас, но в тумане от них толку мало. Направление вроде и верное, а чуть в сторону взял, балкой ошибся, и без ориентиров дорогу не найти. Смотришь на карту: может, ты тут, а может, во-он там. Тут столько народу погибло. И не просто погибло — сгинуло, что и не найти! Иногда идешь старой тропой, глядь — рядом пещера новая открылась.

Спустишься туда, а на дне колодца — уже целый холм из костей. Друг на дружке лежат слоями: звери, люди…

— А куда ж тут спрятаться, если дождь? — Монгол старался не думать о том, что могло случиться с его другом.

— Здесь неподалеку пещера есть. Большая, просторная. Но я туда не пойду… А еще случай был. Вел когда-то ребят по Караби, дошли до Сухого озера. Тоже в туман попали, но я там все кочки знаю. Вдруг смотрю — фигура мимо идет. Заметил нас, подбежал и говорит: мужики, а где здесь военная часть? Я ему: ты что?! Это же на север километров восемь! А он: харош заливать! Я десять минут назад из машины вышел, а она у части припаркована. И часы мне показывает. Я говорю: не может такого быть. А он ругнулся, и назад в туман ушел. А в прошлом году случай был…

— Ладно, харош грузить, я понял. Ты скажи мне, где пещера, и иди. А я его подожду.

— Это вон там, по склону, на север. Но ее в тумане не найти, только зря время потеряешь. К тому же на склоне деревьев нет, а молнии людей любят. Сиди лучше здесь. Если он до вечера не появится, иди в Лучистое, вызывай спасателей. А я на троллейбус пошел, на Перевал. Ну, счастливо!

— Спасателей! — Монгол проводил его взглядом, сплюнул и сел под деревом, накрывшись куском полиэтилена. Недалеко в небе снова тяжело бумкнуло. Он злобно посмотрел наверх, затем полез в сумку Тома, и, достав бутылку спирта, щедро разбавил им чай.

— Ментов еще позвать, — проговорил он и выпил, кривясь, до дна. Продышавшись, вышел на поляну и снова заорал.

— То-ом!

Ответа не было.

* * *

Том медленно брел вверх, по стоку. «Надо успокоиться», — монотонно и глупо стучало в голове. Он уже почувствовал, что каждый неосмысленный спуск требует куда более трудного подъема, и теперь старался экономить силы. Но хуже всего было то беспомощное, угнетающее состояние слепоты, которую он ощущал с тех пор, как потерял ориентацию в пространстве. Наконец он вернулся к дубку, по которому спускался вниз. Он не проскочил его по чистой случайности, заметив неподалеку от «тропы» свой ярко-красный фантик от конфеты.

Заморосил косой дождик. Том поднял голову

вверх, в мутное покрывало тумана. Вокруг все так же, невозмутимо покачивая ветвями, высился холодный, надменно отстраненный, молчаливый и вечный лес.

— Куда мне идти! — в беспомощном отчаянии он вдруг рухнул, как подкошенный, на колени, сам не понимая, что с ним происходит, то ли молясь, то ли кашляя, то ли рыдая. Слова не поддавались, лезли из него с трудом, как из тюбика, — глупые, сиплые, стыдные.

— Бог! Не знаю, есть ты или нет! Если ты есть, — помоги мне. Научи меня, куда идти! Помоги мне, пожалуйста.

Не особо надеясь на ответ, понимая всю нелепость, комичность просьбы, он в то же время осознавал *странную верность* своего поступка. Конечно, его оправданием могла быть лишь крайняя степень безвыходности, но каким-то непонятным образом Том чувствовал что-то еще, какое-то непонятное внутреннее успокоение, которое никак не вязалось с его положением. Эта странная расслабленность даже несколько напугала его, как пугает истощенного человека осознание неминуемой смерти. Он живо вскочил с колен, и в ту же секунду в его сознании вспыхнула яркая картина. В памяти вспомнился

вчерашний теплый вечер, когда они с Монголом шли по ту сторону седловины и смотрели на Лысого Ивана. Перед глазами встала желтая песчаная дорога с высокими, пронизанными корнями сыпучими обочинами, и острые верхушки сосняка, рядами взбиравшегося вверх. Игорь рассказывал, что их насадили еще при Хрущеве, для укрепления склонов.

— Елки! — вскрикнул он.

Место, где они остановились и ночевали, находилось у края ельника, а он тянулся далеко вдоль седловины, у подножия этой злополучной горы. Здесь же не было ни одной ели. Значит, нужно искать еловый лес!

Он попытался влезть назад по тому же дубку, но не тут-то было: его мокрая кора выскальзывала из рук, оставляя на ладонях грязные следы.

— Ах, ты так?! — Том даже разозлился. Он уперся спиной в его ствол, и, цепляясь за камни и ветки, взобрался на склон по скалистому обрыву. И снова пошел наугад, по скользкой, отполированной сырым туманом каменной полке, пока не увидел внизу, в рваном просвете туч несколько темно-зеленых остроконечных верхушек. Это случилось почти случайно, будто кто-то на миг, полунамеком приоткрыл плотную завесу об-

лаков, — мол, смотри быстрее, только для тебя покажу чуть-чуть, больше не могу держать эти воздушные воды.

Не разбирая дороги, цепляясь за терновые колючки, продираясь сквозь заросли шиповника, он ринулся вниз. Его путь пересекла заброшенная лесная дорога. По ней давно никто не ездил: прямо посреди влажной выбоины от колеса росла высокая тонконогая поганка. Ельник, который он видел вдали, был еще ниже. Дорога шла параллельно ему, забирая резко вниз. Но, помня печальный опыт необдуманных спусков, Том наугад идти не хотел.

«Может, это вообще не тот ельник, мало ли? — Его вновь разобрали сомнения. — ЗИЛа здесь точно не было, а значит дорога левая».

Вокруг шумел старый лес: белесые мачты буков уносились вверх, пряча свои недостижимые кроны в низких облаках. А он все стоял посреди дороги, раздумывая, в какую сторону идти. Ветер утих. Солнце осветило деревья, и в туманном воздухе от их высоких стволов прочертились на миг длинные тени.

«Тени! Еще утро, а, значит, солнце где-то на юго-востоке. Нужно идти вниз!» — и он быстро зашагал по дороге.

Спуск окончился. Впереди показался шлагбаум. Дорога вильнула и вывела его на другую, более наезженную, глубоко промытую колею. В свежих лужах виднелись четкие следы протекторов. Выше седловины дорога просматривалась хорошо, здесь же, по обочине, росли ели. Это значило, что нужно было идти вверх, налево. Не прошло и десяти минут, как он, усталый и мокрый, еще не веря своим глазам, увидел знакомую поляну и скрючившуюся под елкой фигуру Монгола.

Монгол сидел к нему спиной, накрывшись от дождя сумкой. Услышав шаги, он вскочил на ноги.

— Том, ты совсем дебил? Я думал, ты, может, подох уже!

— Я кричал, — тяжело дыша, Том присел рядом.

— Я тоже! Голос сорвал.

— Дурак я, прости. В облаках ничего не слышно. Как в вате.

— Куда ты свалил?

— Пошел посмотреть, где партизаны. Рано встал, не хотел тебя будить.

— А, главное, неясно, что делать. Сидеть и ждать, или в ментовку идти? — Монгол махнул рукой. — Ладно, упрощаем. Пошли уже куда-то.

Побросав в сумки свои нехитрые пожитки, они быстро двинулись вниз по дороге, ежась от первых крупных капель дождя.

Вскоре их накрыл ливень. Где-то рядом, почти над головой, в клубах серых туч гремели раскаты грома.

— Бам! Бам!

Тому казалось, что это партизаны заряжают тяжелые пушки и что есть мочи бьют по немцам.

— Гром без эха. Никогда такого не слышал. — Том пытался отвлечь друга.

Монгол молчал, шлепая мокрыми кедами по разбитой дороге, превратившейся в сплошной ручей.

— Какой, нна, здесь Индеец? — он вдруг схватился за голову. — На пляж, в тепло. Все, точка.

Дождь усиливался, пока не превратился в сплошной ливень. Через полчаса одежда промокла насквозь, стала коробом, мешая идти.

— Ванна небесная! — закрывая лицо от ледяных струй, прокричал Том.

Ручей превратился в поток. Они шлепали вниз, по щиколотку увязая в бурой жиже, стараясь обгонять резво несущиеся вниз камушки, веточки, листья. Еще через полчаса дождь вдруг прекратился, и из-за туч вышло солнце. Горы, недавно

мрачно-фиолетовые, стали вдруг серебряными.

Дорога вильнула вправо и исчезла за поворотом. Прямо через лес шла тропа.

— Пошли, срежем! — сказал Том, и тут же умолк.

— А пошли! — неожиданно согласился Монгол.

Они пошли по тропе прямо, через лесную чащу. Вокруг лежали исполинские, вывернутые с корнем стволы буков, словно туши невиданных змеев, обнажившие на изломах темно-розовую плоть древесины. Стволы некоторых деревьев, потерявших от времени кору, закручивались в спираль, будто огромные буры, прилетев неведомо откуда, ввинтились в землю, и стояли здесь веками, пока не сгнили совсем.

В послегрозовой тишине звенели, тихо падая, искрящиеся на солнце капли. Необычно яркие, светились умытые дождем листья.

— Грибы!

За поворотом дороги вдруг, — в траве, под деревьями, под ногами, куда ни кинь взгляд, — вылезли дождевики, лисички, белые. Некоторые храбро торчали прямо посреди тропы: нагибайся, рви, иди дальше. Их было очень много, и Том на секунду подумал, что они ненастоящие. Он стянул с себя мокрую футболку, завязал ее, и вскоре

она доверху наполнилась грибами. Еще через полчаса на лес снова опустился туман.

Тропа кончилась, и они снова вышли на дорогу. Поворот к троллейбусу на Перевал они скорее всего пропустили, но останавливаться и экспериментировать с непонятными проселочными дорогами, ведущими неизвестно куда, не хотелось. Все, что было на них, давно промокло до нитки, а перспектива снова заблудиться и остаться ночевать в горах под дождем не радовала.

Том втайне надеялся, что резко налетевшая непогода так же быстро и рассосется, но дождь превратился в затяжную мелкую морось и не собирался останавливаться, глухо барабаня по опавшей многолетней листве. Разбитая, засыпанная крупными булыжниками дорога поворот за поворотом вела вниз, и казалось, ей не будет конца, если бы не лес, который заметно мельчал, то и дело разбиваясь на рощицы и уступая место небольшим кустистым полянам.

— Смотри, кто-то идет впереди! — сказал Том, тыкая пальцем на обочину. Там, в промокшей грязи, дымился чей-то свежий окурок.

— Давай ускоримся, может, он подскажет чего.

Они пошли быстрее. Неожиданно быстро темнело. Дождь снова усилился.

Через некоторое время впереди в вечернем дождевом мороке мелькнул силуэт человека.

— Привет!

Путника звали Иваном. Он был из Конотопа. Вдобавок он оказался поразительно похожим на их хорошего приятеля Ужа, с которым Том родился в один день и год.

— Ого! Почти земляк! — хохотнул Монгол. — Сам где ночевать будешь?

— А я вижу, вы налегке. Ничего, у меня палатка есть! — ободряюще пробасил Иван. — Она хоть и одноместная, но, может, как-то влезем! Да и село скоро.

— В советской одноместной трое легко вмещались, — уверенно сказал Монгол.

Иван не ответил.

Лес кончился. Повсюду виднелись то ли небольшие деревья, то ли большие, покрытые шипами, кусты. Слева вдруг выплыл из темноты огромный каменный куб величиной с двухэтажный дом.

— Это место обвала, — сказал Иван. — Я был тут. До села, мне кажется, еще минут пятнадцать.

Кусты измельчали, почти исчезли. Вскоре сквозь непрерывный шум ливня они услышали лай собаки.

— Село! Дошли! — с облегчением выдохнул

Том.

Они подошли к крайней хате и остановились перед забором, глядя на свет одинокого окошка.

Иван развязал рюкзак и достал палатку.

— Ба, хоромы! — присвистнул Том. — Ты сам-то в нее влезешь?!

То удивительное изделие, которое Иван назвал одноместной палаткой, по величине было похоже то ли на гроб, то ли на комфортабельный спальник с каркасом.

Монгол быстро оценил положение, присвистнул.

— Ладно. Пойду в деревню, — сказал он.

— Ага. Кому мы нужны. Кто же пустит не пойми кого, да еще ночью?! — с сомнением проговорил Том.

— А какие варианты? Я бы пустил. Да вот и свет горит. Пойду спрошу, — упрямо повторил Монгол, и ушел.

Они стояли под деревом, молча глядя в холодную мокрую пустоту. Ливень в незнакомом месте особенно удручает. Прошло время шуток, причитаний и нервного хохота. Прошло все, кроме холода и усталости. Не осталось ни мыслей, ни идей. Отсутствие сил притупляет даже неприятные переживания. Тому казалось, что лучше

просто стоять вот так, промокшим до нитки, под бесконечным дождем, потому что все остальное — только хуже. Они и стояли. А дождь лил и лил, будто бы в этом мире не осталось ничего, кроме дождя.

— Пошли! — Монгол призывно махнул им рукой.

Похватав вещи, они пошли на голос, на свет.

— Заходите, гости дорогие, располагайтесь. Да не волнуйтесь вы, вас таких много ко мне ходит, — весело сказал им хозяин, хорошо выбритый худощавый человек лет сорока, с седеющими висками и быстрыми блестящими глазами. — Вас тут много таких ходит. А моя хата — с краю. Да заходите же скорее.

Еще не веря, Том осторожно вошел в дом, и тут же стукнулся головой о невысокую притолоку. Медленно, одеревеневшими от холода обескровленными пальцами они поснимали с себя опостылевшую мокрую обувь, носки, футболки.

В большой пустоватой комнате было жарко натоплено. Пахло молоком, капустой, травами, обжитым жильем.

— Снимайте одежду. Вешайте сюда! — хозяин показал им на веревку посреди комнаты. — Я вот как раз сегодня стирал, и не убрал.

Хата была приземистая, просторная, небогатая. Старый круглый стол, стулья, ковер на стене, небольшой сервант с сервизом. В центре дома располагалась большая, потрескивающая дровами, беленая печь. От нее веяло теплом. Над печью висели большие пучки травы, каких-то сушеных цветов. По печи ползали маленькие дети. Они бегали за печью, выглядывали из-под стола, прятались за шкафами и занавесками, с застенчивым любопытством разглядывая незнакомцев из-за развешенных повсюду пеленок. Вскоре Том понял, что не может их сосчитать.

— Это сколько же у вас детей?

— Восемь.

— А хозяйка где?

— В роддоме.

Через полчаса, уже немного отогревшись, они пили травяной чай и ели жареное сало.

— А не страшно вот так пускать к себе незнакомых?

— Я стараюсь жить по заповедям Божиим, и везде дела Христовы творить, — ответил хозяин. — Ближнему всегда нужно помогать.

Том хотел было поспорить насчет религии, ввернуть пару известных распространенных шпилек, и уже открыл было рот, но тут вспом-

нил сегодняшнее утро в горах, и себя — жалкого, немощного, молящегося… И умолк.

«Может, случайно все это, то воспоминание, про елочки? — пришло в голову. — Стресс, там, или повезло просто? Но я же не вспоминал, да и не вспомнил бы. Оно ведь само пришло, аккурат в ту самую секунду. Если Бога нет, то это все случайно. А если есть, если Он помог мне, а я спишу это на случайность… Это ли не предательство?»

— Мы все забыли Христа, — продолжал хозяин, пеленая щекастое румяное дитя. — Многим и так хорошо. Потому что Христос требует меняться. Рядом с ним сложно выпить, или покурить. Неуютно как-то. Христа не любят, гонят отовсюду. Христа распинают всегда и везде, куда бы он ни пришел. Будь он посреди нас, — его бы послезавтра распяли. Мы не любим нравоучений. Даже если нравоучитель прав, и от этого зависит наше спасение.

— Вер много, много и нравоучений, — сказал Иван.

— А еще у вас тут грибов много, — перебил его Монгол. — Мы набрали чуток. Может, заберете?

— Спасибо, у меня своих хватает. Здесь вообще грибов полно. Как дождь — так и грибы.

— А это что там за камни лежат? Обвал был? —

спросил Том.

— Давненько. В 1927 году, после землетрясения. Раньше Лучистое больше было, потом его от опасных мест отодвинули… Ладно, ребята. Я вижу, что вы еле живые! Ложитесь-ка спать.

Хозяин выдал им одеяла, и они без лишних слов повалились в ряд на деревянном полу.

Утро началось с петухами. Сухие и счастливые, они оделись, поблагодарили хозяина. Тот стоял у калитки, помахал им рукой, и пошел в дом…

В Ялте

Погода с утра наладилась. Небо выплакалось, и теперь любовалось своей синевой в серо-молочных лужах предгорья.

— Протестант явно. Хорошо, не грузовой попался, — сказал Иван, когда они шагали по селу.

— А по мне — хоть кришнаит. Пустил, и слава Богу, — ответил Монгол.

— Не скажи. Меня сосед-пятидесятник как-то раз на собрание к себе пригласил. Они у нас на пустыре собираются. Пришло их человек двадцать. Ну, помолились они, попели там что-то. И вдруг — все одновременно — ка-ак начнут болтать какую-то тарабарщину! Орут, дергаются, плачут, вопят. Кто-то о землю башкой бьется, кто-то голосит навзрыд. Ни одного понятного слова, ни одного вменяемого человека. А когда все вокруг с ума сошли — это, я тебе скажу, ого-го. Через пять минут крыша течь начинает.

— У тебя потекла?

— Я знаю способ, — продолжал Иван. — Садишься в полный лотос, и ставишь вокруг себя астральный кокон. Энергетическая защита.

— Знаю. У меня мать такой шнягой страдает, —

сказал Монгол.

— Я в это тогда особо не верил. Но ты прикинь картину, — продолжал Иван. — Три десятка сумасшедших в конвульсиях, а посреди них чел в позе лотоса, сидит и молчит.

— И как, помогло?

— Что?

— Ну, кокон этот.

— А то. Крыша-то на месте. Хотя потом недели две в себя приходил. — Иван нервно засмеялся.

— Какой-то ты впечатляемый. Прям как наш Том, — улыбнулся Монгол. — Но ему можно, его по голове стукнули.

— Не в этом дело, — ответил Иван. — Это сложно понять, пока сам не попробуешь. Поведение — это коллективный договор. Если с тобой кто-то рядом, пусть даже один, — ты можешь с ним оценить обстановку, перекинуться мнением. И тогда тебе плевать на всех остальных, будь их хоть тысячи. А когда вокруг — хотя бы с десяток сумасшедших, и нет ни одного нормального, то через пять минут теряешься. Ориентиры уходят. Ты уже сам думаешь, что с ума спятил. Одного сломает десяток.

— Тебя же не сломали.

— Ну так я всегда в коконе, — засмеялся Иван

и похлопал рукой по палатке. — Том, а ты что думаешь?

— О чем?

— Ну, об этом типе.

— Ничего не думаю. Банально все это, — с ноткой вековой усталости вздохнул Том. — Нет, спасибо ему, конечно. Но выходит так, что добро какое-то натужное, вымученное. Он же нас приютил чтобы спастись, а не просто так, от широты души, как мы вписываем у себя дома незнакомого панка из Сибири. Как-то все это… Искусственно, что ли. Буддисты все эти, кришнаиты. Пляшут, орут чего-то, доказывают. Потом дерутся друг с другом, кто прав. Крестовые походы… Не маразм ли? Хотя у католиков еще осталось что-то такое… Костелы там, химеры всякие. Эстетика. Что-то они такое чувствовали, стремились к чему-то. Православие — вообще банально. Посты какие-то, маслице-водичка, все эти крестные ходы в никуда, с капустой в бороде. Примитивно. Зачем вообще что-то доказывать, если вот оно — добро. Разлито вокруг, в небе, в траве этой, в природе. Живет себе веками, о Боге не орет, ничего никому не доказывает. Живи как хочешь, слушай себя, не ищи чужого. Бери меньше, давай больше, и никому не мешай. Вот и вся религия… Так, Монгол?

— Бог далеко, а жизнь близко. — Монгол неопределенно повел рукой.

— Так ты вообще в Бога не веришь? — спросил Иван.

— В человеческом облике — не верю. Слишком он слабый какой-то. Или ошибается. Иначе откуда войны, беды, болячки всякие? Зачем это?

— Ну, а вообще, хоть в какого-нибудь Бога веришь? — допытывался Иван.

— Какая разница, верю я в него, или нет? — вдруг вспыхнул Том. — Бог — это такое понятие… Такое… О нем вообще сложно говорить, есть он, или нет. Что ни скажешь, — все равно мимо. Он где-то по ту сторону слов. Он — как снег. Покрывает все, искрится на солнце. Не трогай эту красоту, чтобы не испортить. А люди берут его в руку, сминают в снежок, а потом швыряют им друг в друга.

Они дошли до центра села, сели на остановке.

— Биб! Биии-иб! Биии-ии-ии-ииб! — Нарастал протяжный сигнал и стрекотание двигателя.

— Свадьба! — Монгол вскочил со скамейки. — Сельская свадьба! Может, пожрать удастся?

Они подбежали к повороту, откуда доносился звук. Там, в конце дороги, медленно, неохотно вышагивала знакомая им грязно-белая корова.

Сзади нее ехал, сигналя, мотоцикл.

— Знакомая свадьба. Каждый день женятся, — захохотал Том.

Монгол сплюнул. Они вернулись на остановку. Иван достал карту, раскрыл, повертел ее так и эдак.

— Ладно, мужики, пойду я дальше, — наконец сказал он.

— Сам-то куда? — спросил Монгол.

— На Каменные грибы.

— А что там?

— Как что? — недоуменно проговорил он. — Грибы каменные.

— Пока, земеля!

— А мы чего? — Том повернулся к Монголу. — В Партенит?

— Ты как хочешь, а я дальше пешком не пойду. Автобуса ждать буду.

Том помолчал, почесал ухо, посмотрел на дыру в джинсах.

— А может его вообще не будет?

— Будет! — уверенно сказал Монгол.

Минут через десять к остановке подошла женщина с сумкой, села рядом. Смуглая, морщинистая, с натруженными сухими руками и восточным разрезом глаз, она с интересом раз-

глядывала пришельцев.

— Молочка не нужно, мальчики?

— Нет, спасибо. А автобус будет?

— Конечно будет, обязательно будет.

— А скоро?

— Скоро будет, скоро. А творожку, ребята?

— Не, спасибо!

Том успокоился. Он вытянул ноги, прикрыл глаза, и даже, кажется, немного задремал. Прошло полчаса. Автобуса не было.

— Красиво у вас тут!

— Мне тоже нравится! — подхватила женщина. — Я сама ссыльная, из Средней Азии вернулась. У нас в Нижнегорском такие ветра были, так плохо. Здесь хорошо.

— Нижнегорский — это Средняя Азия? — уточнил Том.

— Да, Средняя Азия, Средняя, мальчики. А сметанки не хотите?

— Нет, у нас денег нет.

— Я уступлю.

— Где же ваш автобус?

— Будет, скоро будет.

— А точно будет?

— Конечно, точно будет! У меня племянник на нем водителем работает. Поэтому и будет.

Может, сырку возьмете? Недорого. Свеженький сыр, вчера делала.

Прошло еще полчаса. Автобуса не было.

— Может, он устал? — задумчиво глядя на дорогу, проговорила женщина Востока.

Солнце уже припекало. Время ползло вслед за тенью, так медленно, как это бывает только в центре села. Тихий металлический звон вывел Тома из оцепенения.

Мимо проходил мужик с видавшим виды, громыхающим всеми частями тела велосипедом. На багажнике лежал мешок картошки.

— О, это сосед мой, из Нижнегорского приехал, — сказала женщина. — Энвер! Энвер! Привет! Как дела? Как там, в Нижнегорском?

— Я как раз оттуда еду, картошку везу, — охотно отозвался Энвер. — Все по-старому, Айше. Вчера дождь был.

— У нас тоже дождь был. А Мустафу не видал?

— Он корову пошел пасти. Сегодня его очередь.

— А, точно! Как же я забыла?

— Пойду дальше, — улыбнулся мужик, и, тарахтя велосипедом, продолжил свой путь.

Айше повернулась к приятелям.

— У Мустафы сегодня очередь корову пасти, — сказала она так, будто эта очевидная вещь должна

быть известна всем на свете.

— А кто такой Мустафа? — спросил Том, начиная что-то подозревать.

— Как кто? Племянник мой, водитель. Не будет автобуса, мальчики. Мустафа пошел корову пасти. Сегодня его очередь. — Айше встала, взяла сумку с молоком и пошла в ту сторону, откуда пришла.

— Душевно тут. — Том проводил ее взглядом.

— Ну, посидели, и ладно. — Монгол встал. — Пошли в Партенит, короче.

— Пошли. Главное, мимо не проскочить, а то тут из Средней Азии пешком ходят, — засмеялся Том.

— Когда приспичит, оно везде недалеко, — хмыкнул Монгол.

По дороге из Лучистого их догнала большая компания волосатых ребят с гитарами. Было видно, что они, драные и запыленные, тоже спустились с гор.

— Ребята, а вы Индейца из Партенита не знаете? — дежурно спросил Том, когда они поравнялись.

— Не, не знаем. Мы из Донецка, из Николаева.

— Вы не на концерте в горах были?

— На концерте. Ну как концерт. Народ собрался, человек двадцать. Посидели у костра под гитару,

и разошлись.

— На Караби ходили? — с видом знатока спросил Монгол.

— Не, это далеко. Мы на Джурле три дня стояли.

— На Джу?.. — Том переглянулся с Монголом. Тот развел руками.

— А что это — Джурла?

— Это водопад, недалеко от южной вершины. Вернее, каскад, там целые каменные ванны вымыты. Это во-он туда, вдоль моря. — Худой сероглазый паренек в хайратнике показал в сторону головы Марии.

— А мы на север пошли. Нам сказали, что концерт на Демерджи.

— Ну да. Демерджи — вот это все! — Паренек окинул рукой высящуюся над ними громадину плоскогорья.

— Демерджи — наше все! — подхватила симпатичная белокурая девушка в фенечках по локоть.

— А вы теперь куда? — Монгол с интересом взглянул на девушку.

— Как куда? Сегодня же в Ялте концерт БГ! Еще успеваем.

— Поедем? Может, он там появится? — без эн-

тузиазма сказал Том.

— Это я уже где-то слышал, — мрачно усмехнулся Монгол, спохватился, еще раз глянул на девушку. — Но ехать, конечно, надо.

Они шли рядом. Девушку звали Вероника. Монгол рассказывал ей о том, как они бесстрашно покоряли горы, живя в пещерах целую неделю без воды и еды, питаясь мятой и мхом.

— А потом мы руками поймали дикого зайца и зажарили его на костре.

— Вот это да! — говорила Вероника.

— Это чепуха. Нужно только знать, как ловить. Мы вон с ним на кабана с ножом ходили, — говорил Монгол.

— И как?

— И все. Нет кабана.

— А ведь правду говорит, — усмехнулся Том, вполуха слушая трепотню друга. Его разморило. Беспощадное крымское солнце жгло голову. К тому же ему мешала разорванная штанина. Она все время цеплялась за колено.

— Монгол, нож дай.

— Держи. Догоняй! — Монголу не хотелось терять спутницу.

Том сел на землю, обрезал штанины, и через полминуты остался в джинсовых шортах. Одну

из штанин он засунул в сумку, а из второй соорудил нечто вроде длинной шапки, вывернув ее светлой стороной наружу.

Когда он догнал Монгола, между ним и Вероникой уже красовался крепкий парень в зеленой бандане.

— А вы слышали историю про разбогатевшего хиппаря? — громко спросил он.

— Нет, нет! Расскажи! — тут же откликнулась Вероника.

— Ну короче, жил в Крыму хиппарь один. И внезапно разбогател. Не знаю как, история умалчивает. Будем считать, что привалило ему наследство. Ну вот он дом купил, машину. Работать не нужно. И с тех пор ездит по Крыму и всяких хиппарей бесплатно довозит. Моего брата возил, так что все на самом деле.

— А где он живет?

— Не знаю. В Планерах, наверное. Где ж еще хиппарю жить?

— А что такое Планера? — спросил Монгол.

— Ты не знаешь, что такое Планера? — ужаснулась Вероника.

— Планера — это братская любовь, — важно ответил парень в бандане.

— Ясно, — с умным видом сказал Монгол, и

Вероника засмеялась.

— Ну, это такой поселок, где пипл неформальский тусит. Там все живут, как хотят. Музыка везде. Все любят друг друга. Свобода, короче. Про Вудсток слышал? Вот там так же. Мекка типа.

— А где это?

— На востоке, где же еще? — Вероника махнула рукой назад. — Мы туда после концерта двинем.

— Точно, на востоке. — Монгол хлопнул себя по лбу. — Я Тому говорю: смотри, это ж те самые Планера, где народ тусит. А Том: пошли в горы, пошли в горы. А вы надолго в Планера?

— Не знаю. Если хорошо впишемся, то будем там до сентября жить, пока не похолодает. А если нет, — в Лиску двинем. Или на Мангуп.

— Там тоже хорошо, — со знанием дела сказал Монгол. — Только в Лиске народу много. Мы там были. Пиплу тьма. Отстой, короче. На Мангупе, кстати, тоже были. Там грязно в этом году. В прошлом лучше было. Так что оставайтесь в Планерах. А мы одного приятеля разыщем, и тоже — в Планера.

Так, незаметно коротая время разговорами, они дошли до трассы.

— Рассредоточьтесь вдоль дороги. Перед толпой никто не тормознет, — парень в зеленой бандане

наконец-то отшил Монгола от Вероники. Все разошлись вдоль трассы, потихоньку спускаясь к Алуште, и стали махать руками проезжающим машинам. Один за одним неформалы исчезали в легковушках, автобусах, грузовиках.

Монгола подобрал рефрижератор. Том вписался в рейсовый «икарус». Довольно быстро они оба вновь оказались в Ялте, и вскоре уже сидели в сквере у набережной перед большим белым зданием, из которого доносился знакомый, слегка блеющий голос.

Монгол искал глазами Веронику, но не мог найти.

— Понравилась? — спросил Том.

— Они наверное внутри. Билеты купили, — обреченно сказал тот. — Эх, не надо было вино брать.

— Так ты за концерт БГ готов последние копейки отдать? — засмеялся Том. — Вот это Монгол! Не-а, ты точно не панк. Ты мажористый хиппарь! Столичный такой, лакированный. Иди, слушай свой… Фонтан фальшивого света.

— Причем тут вообще БГ? — помрачнел Монгол.

— Ладно, шучу я. Не грузись, через пару часов увидитесь. Все равно Индейца ждать будем.

Вокруг здания, на скамейках и газонах грудились толпы неформалов всех расцветок.

Они сели под деревом, рядом с бритоголовым парнем в футболке Sex Pistols с сантиметровым ирокезом на голове и в тяжелых литейных ботинках с металлическими набалдашниками. Около него лежала батарея пустых пивных бутылок. Он уже изрядно набрался.

— Промедол, — отрекомендовался он, и неопределенно повел пальцем в сторону, откуда доносились проникновенные звуки гитар и скрипки. — Вот вам налицо старая неформальная дилемма. Почему кумир закрылся стенами от народа и поет о свободе? Почему он говорит, что не в деньгах счастье, а на него нельзя посмотреть бесплатно?

— Ты Индейца не знаешь?

— Я тут вообще никого не знаю, — панк икнул и поднял вверх большой палец. — Вокруг все такое незнакомое. В зеркало смотрю — там чувак какой-то. Ты кто такой? — Спрашиваю. А он мне такой: а ты кто такой? Не нахожу понимания. Что это за город вообще? У нас, в Конотопе, моря нет. Зато трамваи есть, и вороны. Ворон очень много. Тут тоже трамваи есть, но тут пальмы. Я вообще не втыкаю, что происходит.

— Вот. Еще один из Конотопа, — сказал Монгол. — Кучно пошли.

— Ага, только первый — как трагедия, а второй как фарс, — заметил Том.

— Как фарш, — Промедол вдруг вскочил и бодрыми зигзагами поспешил к концертному залу. Подтянувшись на руках, неожиданно резво взобрался на высокий подоконник. Затем, отчаянно удерживая равновесие, встал во весь рост и, заглядывая внутрь сквозь плотно задернутые шторы, стал орать прямо в стекло:

— Бо-рис! Вы-хо-ди! Бо-рис! Вы-хо-ди!

Его начинание подхватили все окрестные неформалы. Они собрались под стеной и, дождавшись паузы между песнями, скандировали:

— Бо-рис! Вы-хо-ди! Бо-рис! Вы-хо-ди!

— Играй бесплатно, Боря!

— Гребень, здесь собрались самые верные твои соратники, — кричала подвыпившая простоволосая толстушка в народном платье и паре килограммов фенек. — Они приехали к тебе, но не могут тебя увидеть! Скажи, в чем лажа?

В ответ ей снова зазвенел из-за окон высокий голос певца:

– Эй вы, как живется там?

У вас есть гиппопотам,
А мы в чулане
С дырой в кармане,
Но здесь забавно,
Здесь так забавно…

— Боря, вылазь из чулана! Мы тебе пиво купим! — орал Промедол.

Певец продолжал выступать, изливая свои сладкоречивые песни и никак не реагируя на призывы извне. Наконец Промедолу это наскучило, он слез с подоконника и пошел к своему пиву. Пива на месте не оказалось. Панк разочарованно развел руками, плюнул, и двинулся к ближайшему ларьку.

Через минуту на набережной появились два сине-желтых уазика, а откуда-то сбоку вынырнул милицейский автобус. Лихо визжа тормозами, они остановились у концертного зала.

— О, «канарейки» пожаловали! — лениво сказал Монгол.

Из уазиков выскочило с десяток человек в черной форме с надписями «Беркут» на спине. Они были с дубинками, на плечах болтались укороченные АК. Красиво рассыпавшись цепью, они быстро окружили ближайший сквер и погнали

попавших в кольцо неформалов к стене концертного зала. Сильно не церемонясь, они хватали людей за шиворот и вели к стене. Сопротивлявшихся валили на траву, пинали, били дубинками, заламывали руки. Тех, кто пытался выскочить из окружения, догоняли, сбивали с ног и волоком тащили к стене.

Том с Монголом сидели немного поодаль, вне окружения.

— Расстреливать их, что ли, собираются? — недоумевал Монгол, меланхолично наблюдая, как к ним бежит здоровенный мент в черном берете.

— Встать! — мент подбежал вплотную, схватив Тома за руку. — К стене! Руки за голову!

— А мы при чем? — удивился Том.

— Встать, я сказал! — ощерился мент и ударил его дубинкой по ребрам.

— Садисты! — Том схватился за бок и заковылял к концертному залу.

— Один. Два. Три. Ноги расставили!.. — Менты, щелкая рациями и позванивая тяжелой амуницией, равняли шеренгу пленных. — Паспорта! Лицом к стене! Двенадцать… Тринадцать… Всем достать документы! В правую руку, над головой. Двадцать пять! Двадцать шесть!..

— Как в кино! Эту бы энергию, и на пользу обществу, — пробормотал Том, потирая ушибленный бок.

— Скорее цирк! — ответил ему сосед по несчастью. — Ребра целы?

— Целы вроде. — Том всмотрелся в лицо собеседника. — Жека! Елки-палки, это ты? Здарова! Не узнал тебя!

— Том?! Ну где бы мы еще встретились, как не у стенки?!

Они обнялись. К ним тут же подбежал беркутовец.

— Молчать! Стоять, не разговаривать!

— Ладно, потом поговорим. Надеюсь, нас не расстреляют. Если что, то мы на роднике стоим, под Гурзуфом.

— Ну, значит, и мы подтянемся! — засмеялся Том.

Том повернулся в другую сторону. Крайним в их цепочке у дальнего угла здания был худой длинноволосый блондин. Он постоянно оглядывался. Улучив момент, вдруг оторвался от стены и дал деру. Ему повезло. Хотя до угла дома было метров десять, но «беркута» так упивались своим величием, что никто не заметил его бегство.

— О! Один ушел! Молодец!

— Клоуны! — сказал Монгол. — Боевиков насмотрелись, вот и выпендриваются. — А кто это, рядом с тобой?

— Это Жека, панк из Киева.

Скажи мне, что я сделал тебе,
За что эта боль?
Но это без объяснений,
Это, видимо, что-то в крови,
Но я сам разжег огонь,
Который выжег меня изнутри.
Я ушел от закона,
Но так не дошел до любви, —

сочилось из окна над ними.

— Ненавижу БГ, — сказал Том.

В экзекуции повисла пауза. «Беркут», победно чирикая рациями, вяло равнял нестройную неформальную шеренгу у стены и явно чего-то ждал. В этот момент рядом с Томом неожиданно появилась девочка лет трех. Она пришла откуда-то с набережной, видимо, убежав от зазевавшихся родителей. Улучив момент, она пробралась между бойцами «Беркута», подошла к зданию, и, став между Томом и Жекой, тоже подняла свои маленькие ручки над головой. Воспринимая все

происходящее как интересную игру, ребенок с детской любознательной улыбкой заглядывал в лица стоящих у стены людей.

— Ну, теперь я спокоен. С нами будущее! — сказал Жека. — Народ! Сфотографируйте кто-нибудь!

Между тем снаружи оцепления стали собираться зеваки. Кто-то щелкал семечки, кто-то ждал, чем все кончится.

— Что же вы делаете! — заголосила какая-то бабка. — Невинных хлопчиков мордуете!

— «Беркут» на окорочка! — заорал кто-то из-за деревьев.

— Чие дите! Заберите! — крикнул один из ментов. Ребенок у стены под стволами автоматов портил всю картину. К нему уже бежала мать.

— 17-й, дайте еще автобус! — сказал в рацию кто-то из ментов.

Вскоре подъехал еще один ПАЗик.

— Ну что, граждане хиппи, панки и прочие придурки, подходим по одному. Сдаем паспорта и грузимся в автобус, — весело помахивая дубинкой, скомандовал здоровенный, как бык, офицер.

Концерт кончился. Из дверей уже потянулись люди, а они все сидели в автобусе. Монгол невесело смотрел в окно на здание концертного зала.

Набережная пустела, но ни Вероники, ни ее друзей видно не было. «Беркута» ушли, и в автобусе остался лишь молодой сержант в форменных серых брюках и рубашке. Он понуро и терпеливо стоял на ступеньках, держа в руках пачку изъятых паспортов. Разномастный волосатый народ гудел и смеялся, все еще надеясь, что их выпустят. Все вдруг разом замолчали, когда в кабину запрыгнул водитель. Автобус повернул куда-то вглубь города, повез их вверх, от моря, петляя кривыми ялтинскими улочками. Он то и дело подпрыгивал на колдобинах, и наконец, протиснувшись в узкий переулок, остановился у серого трехэтажного здания.

— Так, все выходим по одному, строимся, — скомандовал сержант, сжимая пачку паспортов.

Пленные построились.

— За мной. — Сержант двинулся к ближайшей двери. Неформалы потянулись за ним.

— Ялтинское отделение милиции № 2, — прочитал кто-то вывеску на стене.

Когда они вошли во двор, в здании отделения неожиданно погас свет.

— Стойте на месте! — испуганно закричал сержант. Волосатые замерли, тихо посмеиваясь.

Сержант бросился к автобусу, и через секунду

вытащил из кабины два старых, напоминающих угольные утюги, аккумуляторных фонаря.

— Так. А ну-ка, давайте станем паровозиком, — заговорщицки, голосом воспитателя из детского сада сказал сержант.

Неформалы построились паровозиком.

— Передайте, пожалуйста, последнему в цепочке. — Он протянул руку в густую ялтинскую темень, и дал кому-то один из фонарей. — Так, теперь осторожно! Идем за мной!

— Ту-ту-уу! — прогудел кто-то.

Паровозик, похихикивая, двинулся во двор и заехал в здание отделения милиции.

— Светите! Осторожнее, здесь стулья. Не упадите. Осторожнее! Осторожнее! — командовал сержант.

Наконец все хиппи и панки зашли в здание и сгрудились в коридоре. В конце коридора был открыт один из кабинетов. Там, у свечи, сидел за столом упитанный милиционер и грыз семечки. В кабинете сразу стало тесно, вдоль стен зашатались причудливые длинные тени.

— Тайная вечеря! — шепнул кто-то.

Сержант поставил свой фонарь, оставил на столе паспорта и на ощупь вышел в коридор. Толстый мент, хитро постреливая глазками, раз-

валился на стуле.

— Так, а ну, тишина! Эй, ты! Свети сюда!

Он взял верхний паспорт, и, вытерев потную шею, прочитал.

— Михайлов Леонид Петрович!

— Я! — из темноты шагнул высокий длинноволосый парень.

На секунду Тому показалось, что их посвящают в подпольную комсомольскую ячейку.

— С вас полагается штраф в размере трехсот тысяч.

— А за что?

— За нарушение общественного порядка.

— А я не нарушал. Там кто-то в окно полез и сбежал, мы даже не знаем, кто.

— Не знаем! Мы ни при чем! Нас просто так похватали! — загалдели все, надеясь на то, то их многочисленные возмущенные голоса как-то повлияют на дежурного. Толстяк отстраненно выслушал их возмущения, пролистал паспорт. Когда все затихли, продолжил.

— То есть вы, Михайлов Леонид Петрович, отказываетесь платить? Хорошо, тогда составляем протокол, — привычным, нарочно будничным голосом сказал он, и потянулся за бумагой. — Завтра рассмотрим ваше дело, когда придут

остальные сотрудники.

— А где я буду их ждать? — спросил Михайлов.

— Не волнуйтесь, у нас обезьянник есть. Посидите там до утра, — ответил дежурный ялтинского отделения милиции № 2.

Хиппари приуныли. Сидеть в обезьяннике никому не хотелось.

Михайлов молча достал из ксивника три зеленых бумажки.

— Свободны! — толстяк протянул ему паспорт.

— Я вас на улице подожду! — крикнул тот друзьям, и вышел в коридор.

— Михайлов Сергей Леонидович!

— Петренко Иван Федорович!

— Мартынов Никита Петрович!

— Кухарчук Владимир Николаевич!

Эти странные названия людей, будто клички из другой, казенно-деловой вселенной, гулким эхом откликались в длинном коридоре.

Арестованные выкупали свои паспорта и выходили.

— Кошковалова Наталья Ивановна! Можно просто Каша, — грустно произнесла миловидная девушка, с ног до головы украшенная бусами и феньками, небрежно бросив на стол смятые бумажки. — А нас так красиво ловили. Как бан-

дитов в кино. И такая проза в конце.

— И не стыдно деньги у девушки требовать? — вырвалось у Тома.

— Самый умный? — мент коротко посмотрел на него.

— Я не буду платить! — шепнул Монгол. — Облезет, боров жирный. Пусть в обезьянник, — мне по барабану. Не холоднее, чем в горах.

— А ты юморист. Чем платить? У нас уже бабки кончились! — усмехнулся Том.

— А, точно! — с облегчением сказал Монгол. — Гребень облез, и они облезут.

Мент между тем, стараясь выглядеть невозмутимым, долго рассматривал чей-то паспорт.

— Янис… Янис… Балбес! — наконец выдавил он.

— Моя фамилия Ба-албес, — с прибалтийским акцентом произнес худенький паренек в футболке с пацификом.

Несколько человек в коридоре прыснули от смеха. Где-то рядом распахнулась дверь и показался силуэт милиционера.

— Шо за хохот? Я вам милиция, чи дэ? — загрохотал он.

— Чи дэ! — вырвалось у Монгола.

Все снова прыснули. Милиционер, уставший

немолодой мужик с маленьким крючковатым носом и рыжей щеткой усов, подошел к Монголу, взял его под локоть.

— А ну, пишлы, побалакаем.

Монгол скрылся за дверью ближайшего кабинета, через минуту вышел, скрючившись пополам, тяжело хватая открытым ртом воздух.

— Ще у кого вопросы йе? — спросил вслед усатый мент и, грозно оглядев оставшихся, хлопнул дверью.

Все как-то подобрались, замолчали.

— Семенов Евгений Юрьевич!

Из угла шагнул вперед Жека.

— Толик, заплати за меня! — сказал он полноватому коротко стриженному парню с электронными часами на руке. Толик вообще выбивался из всех, и Тому вначале показалось, что он попал сюда случайно.

— Так и быть, выкуплю вас, крепостных, — посмеялся Толик, неспешным барским движением достал толстый бумажник и отслюнявил несколько крупных купюр.

Наконец подошла очередь Монгола.

— С вас штраф триста тысяч.

— Я ни в чем не виноват.

— То есть вы отказываетесь платить? — снова

насупился толстяк и с суетливой деловитостью полез за бумагами. Будто надоело ему брать деньги и захотелось наконец все сделать по-честному, по закону.

— Я не отказываюсь. У меня денег нет, — сказал Монгол, осторожно щупая свой живот.

— У меня тоже! — шагнул из темноты Том.

— Хорошо. Так, все на выход, вы двое — остаетесь.

Жека что-то шепнул Толику.

— Та ну, — тот с сомнением замотал головой.

— Да ладно тебе. Ты же за бухлом в соседний ларек на такси ездишь.

Мент замер, вороша бумаги. Его глаза бесцельно блуждали по комнате, будто бы до этого разговора ему и вовсе не было никакого дела.

— Так то для себя жеж! — сказал Толик и громко добавил:

— Эх, пользуетесь моей добротой… Плачу за всех!

— Да не надо, слышь, не надо! — занекали Монгол и Том. — Нам хоть в обезьяннике, хоть где.

Толик замер в нерешительности.

Жека молча взял у Толика деньги, сунул толстяку половину.

— Хватит?

— Ладно, прощаю! Все на выход.

Они вышли под теплое южное небо и с наслаждением вдохнули свежий морской воздух.

— Спасибо, мужики! Спасибо, Толик.

— Да не во что! — самодовольно отмахнулся тот. — Деньги правят миром. Ладно, где тут море?

— Вниз, наверное, — предположил Том.

— Логично!

И они зашагали куда-то вниз темными ялтинскими переулками.

— Меня Жека зовут! — Жека протянул Монголу свою крепкую короткопалую руку.

— Как вообще, в Киеве? — спросил Том.

— Да как… Я в тюрьме сидел. В позапрошлом году в Москве переворот был. А я там у своих московских панков вписывался. Потом, когда заваруха началась, мы с анархистами пошли Белый дом защищать. Пришли поздно, когда его уже блокировали. Так мы в него по канализации пролезли. Кого там только не было! Многие, конечно, за идею шли, как наши. А некоторые — просто за оргтехникой лезли.

— Там панки вроде по обе стороны воевали…

— Я не знаю, кто из панков за Ельцина был, и что это за панки тогда… С другой стороны, Нестор

Иваныч ведь тоже то с теми воевал, то с другими… А я тогда совсем глупый был, наивный. Гадов пострелять хотелось. Но поскольку мне на тот момент еще восемнадцати не было, то Руцкой и Хасбулатов оружия мне не выдали. Зато зачислили меня в какую-то казачью бригаду, которая во внутреннем дворике стреляла со скуки по депутатским машинам. А потом, когда Ельцин победил и Белый дом взяли, то нас всех в Бутырку отправили. Вот там жесть была, я чуть умом не тронулся. Выпустили нас через полгода, по амнистии. Даже сигареты какие-то интересные вернули, которыми я в Белом доме разжился. А вот медальки и значки казачьи почему-то конфисковали.

— А чего чуть не тронулся?

— У нас в камере радио было. И нам каждый день включали выступления «Его Святейшества Преподобного Учителя истины Секо Асахары». Секта такая есть японская — Аум Синрике. Представь себе. Россия, Москва, — Жека даже остановился. — Тюрьма, в ней сидят анархисты, а им каждый день вещают: «Всевозможные военные конфликты и стихийные бедствия, где страдает много людей, являются отличным источником подкормки для вредоносных духов, а когда пла-

нета оказывается порабощенной вредоносными духами, она приходит в жалкое состояние: опустошенность на физическом уровне и духовный сомнамбулизм». Этот Душа Истины еле-еле спас землю от порабощения, а мы тут со своей убогой политикой… Я даже как-то проникся. Говорили, правда, что первое время у меня после тюрьмы глаза стеклянные были. Потом вроде отпустило.

Они вышли на набережную.

— Пойду, прогуляюсь, — мрачно сказал Монгол и ушел.

— Чего это он? — спросил Жека, глядя Монголу вслед.

— Девушку потерял. Кстати, ты случайно Индейца не знаешь? Это барабанщик из Фрунзенского. Из Партенита.

— Не-а. Мы сами под Гурзуфом стоим. Вот, на Гребня поглядеть съездили. Поглядели, ага.

— А в Гурзуфе есть почтамт? Чтобы позвонить.

— Не знаю, не звонил. Из Алушты точно можно. Ну, пошли, что ль, портвейн пить?

— У нас денег нет.

— Не парьтесь. Толик угощает.

Толик действительно притащил из магазина несколько пакетов портвейна. Кто-то приволок гитару.

Вернулся Монгол. Молча сел рядом, выпил, отвернулся к морю. Судя по всему, Веронику он не встретил.

Спев все песни, какие помнили, они уснули вповалку на газоне, под тихое поскрипывание мачт на ялтинском причале.

Назарыч

Поутру все пошли купаться на ближайший городской пляж, а затем, когда город уже гудел как улей, зашли в недорогую столовую у подъемника.

— Тот самый подъемник. Здесь «Асса» снималась, — многозначительно сказал Жека, расправляясь с тушеной капустой. — Помнишь: «Под небом голубым».

— Под небом голубых, — с ненавистью произнес Монгол, глотая макароны.

— Тебе БГ не нравится? — спросил Жека.

— Ага. Со вчера. У меня с ним теперь личные счеты.

— Он-то тут при чем?

— Ладно, проехали.

— А-а, — наконец догадался Жека. — Сань, если судьба, то встретишь, никуда она не денется. В общем, приятного общепита! Мы сегодня в Гурзуф возвращаемся. Толик билеты купил на троллейбус. Мы там на самом берегу стоим. А на обрыве, над нами, место обалденное. Отличная поляна, родник недалеко. Там, правда, какие-то люди странные стоят, но если вы с ними догово-

ритесь, — места хватит. И Партенит ваш совсем рядом. Может, там чего узнаете. Поехали?

— А сам Гурзуф как?

— Отличное место. Главная тема в Гурзуфе — это бар «Тарелка». Там кипит неформальная жизнь. Собираются совершенно особенные люди. Остальное — на любителя.

— Поехали.

Вскоре они уже сидели на толстых и скрипучих сиденьях старенького, похожего на обмылок, троллейбуса.

— Слушай, Жека. А вот Толик ваш, — он же вроде вообще не вашего поля ягода, — вполголоса спросил Том.

— Это сосед мой, — сказал Жека. — Если честно, то это он нас всех сюда приволок. Его отец в Крым автобус из Киева перегонял, ну а мы все на халяву и влезли. Он — добрый, хотя и с мещанскими закидонами. Знаешь, есть такие. Вроде как городские, а изо всех дыр село лезет. Просто ему с хайратыми по приколу тусоваться, он этим себе самооценку поднимает, и готов за это платить. А мы готовы пить за его счет и говорить ему, какой он крутой. Такой вот патологический симбиоз. Брательник его на стоянке барахло сторожить остался, а Толик с нами в Ялту поехал. Хотел

Гребня послушать. Только на концерт опоздали. А тут и менты…

Наконец, троллейбус остановился. Они облегченно выбрались наружу и по крутой гурзуфской тропинке пошли к сине-зеленому морю. Оно манило своей безбрежной искрящейся далью. В предвкушении отдыха все были в приподнятом настроении. Том шел позади Монгола, в самом хвосте длинной цепочки людей разной степени волосатости. Неожиданно тропу перегородило козлиное стадо. Впереди важно ступал большой белый козел, за которым шел невысокий, высушенный дочерна щедрым южным солнцем старик.

— Кто такие, почему не знаю? — по-хозяйски грозно и одновременно смешно спросил он.

— Назарыч! Да ты что, не узнал? — Жека, сбросив рюкзак, хлопнул его по плечу.

— Приехал? — дружелюбно улыбаясь, Назарыч явно пытался вспомнить, кто перед ним.

Все стали здороваться с пастухом.

— Саша.

— Назарыч.

— Толик.

— Назарыч.

— Борис.

— Борис? О! У меня козел Борис!

— Назарыч, приходи на родник сегодня, стихи читать.

— Обязательно буду! — Назарыч приложил два пальца к виску и повел своих коз наверх, а компания отправилась дальше.

— Я познакомился с ним в прошлом году, — говорил Жека. — Этот дед пишет отличные стихи. Простые и добрые. Великое счастье и хорошая примета — повстречать Назарыча. Но еще больше повезет тому, кто слышал его дивные глаголы. Назарыч — он как пугливая птица удачи. Его бесполезно звать. Он приходит сам, тогда, когда чувствует, что нужно прийти именно сюда.

Они спустились вниз, прошли насквозь виноградник и остановились на обрыве, возвышающемся метрах в двадцати над берегом. Слева, за небольшим леском, на фоне Аюдага виднелись гурзуфские скалы-близнецы, а справа, за виноградниками, белым парусом маячил санаторий соседнего поселка Ай-Даниль.

Большая, укрытая рощицей поляна у родника, про которую говорил Жека, была действительно занята. И не только она. И в самой рощице, и на берегу моря, — все было забито самым разным народом. Лишь с краю лесочка пустовал неболь-

шой загаженный пятачок.

— Если почистите, — будет отличное место… Тут какие-то восточные люди живут. — Жека показал на двух молчаливых женщин, несших к роднику грязную посуду. — А вон их гуру.

На обрыве, скрестив руки, стоял крепкий бритоголовый мужик с хорошо выраженным мышечным рельефом. Он стоял неподвижно, как скала, и молча смотрел вдаль.

— Памятник, — пробормотал Монгол.

— Они здесь живут как монахи Шаолиня. По деревьям, правда, не бегают, но над землей летают. Правда, нызэнько-нызэнько, — засмеялся Жека. — Ну ладно, бувайте. Во-он мы там стоим, — он кивнул вниз, где у кромки моря топорщился зеленый тент и виднелась кривая, сплетенная из тростника, халабуда.

Том пошел на родник. Увидев идущих навстречу женщин, он громко спросил:

— Добрый день, товарищи женщины. А можно рядом с вами стать?

— Тщщщщ! — зашипела одна из них, сделав страшное лицо и поднеся палец к губам. — Тихо! У нас не принято говорить. Слова портят ауру места!

— Хорошо! — прошептал Том. — Мы будем

молчать.

— Вообще мы никого к себе не пускаем, но так и быть. Вы можете здесь поселиться, если только будете молчать. В самом крайнем случае говорить тихим шепотом.

— Мы согласны! Мы готовы умереть здесь, и не издать ни звука.

Одна из женщин посмотрела на Тома как-то по-матерински, — с сочувствием и недоверием одновременно, но ничего не сказала.

Они очистили небольшую полянку от мусора, заодно раздобыв пару замусоленных кружек и миску. Затем притащили соломы и камышей, и вскоре уже сидели на обрыве, свесив ноги вниз и любуясь окрестностями. Как же здесь было хорошо! Звенящий и жужжащий край, где если солнце и опускает в воду свои золотые ресницы, то совсем на чуть-чуть, а зима не наступает никогда. Крым — место, где, как в детстве, все больше, выше и зеленей! Край вечного праздника!

Пока они готовили еду, Том мимоходом наблюдал за их необычными соседями. Молчунов набралось десятка два. В основном это были женщины за сорок. Среди них мелькали два-три подростка и двое маленьких детей. К вечеру, когда солнце скрылось за горами, они собрались

на самой большой поляне и выстроились рядами по четыре. Впереди молча стояли юноши и дети.

Лысый гуру вышел вперед, повернулся к ученикам, расставил пошире ноги, потоптался. Он был в просторном белом кимоно.

Медленно, с силой вдыхая воздух, он поднял руки, затем опустил их, присел на одно колено, выпрямился, прижал руки к груди… Все повторяли за ним. Дети старались больше всех, отчего раз за разом падали на мягкую, покрытую сухим сеном, землю.

Тома отвлек Монгол.

— Пошли в этот Тифлис, за хлебом.

— В Гурзуф, что ли?

— Может. Я не помню, как его там, по матери. Есть хочется.

— Так денег нет.

— Было у меня немного денег, на нычке, — вздохнул Монгол. — Эти уже совсем последние.

Они спустились на неухоженный дикий берег и через полчаса вышли на окраину города.

Гурзуф оказался каким-то совсем домашним. Кривые улочки, отполированные до металлического блеска каменные лестницы, уютные тупички среди цветастых домов, притаившиеся по углам огромные камни дикой, выпирающей

из земли породы. Белые лесенки, ведущие в крохотные, будто вывернутые наизнанку дворики-квартиры со старыми продавленными креслами, фикусами в кадках, моложавыми старухами в белых шляпах и непременными черными котами. Длинные, напоминающие старые деревянные поезда, мансарды вторых этажей. Увитые виноградом каменные дома, цветы в горшках, цветы на стенах, карабкающиеся лианами по столбам и заборам, цветы на окнах и улицах. И крыши, крыши, крыши, — ржавые и новые, укрытые старой черепицей и крашеной жестью, с крохотными чердаками и кривыми оградками, с позабытым деревянным хламом и блестящими баками для воды. Крыши, бегущие вверх, скачущие ступенями вниз, перетекающие, сползающие, сливающиеся в одну сплошную пеструю лестницу, укрывающую собой целый город… Казалось, сама жизнь обосновалась тут — цепко, надолго, крепко оплетя его своими живоносными корнями.

— Это не город, — Том не мог сдержать своего восхищения. — Это камень, на котором гнездятся люди.

Побродив по улочкам, они купили хлеба и отправились вниз, к морю.

— Пошли сюда, — сказал Монгол.

— Мы тут не были.

— Да какая разница? Направление то же. А там как-то вывернем.

— Пошли. — Том пожал плечами.

Дорога свернула вправо, затем вновь пошла вверх. Монгол уверенно шагал вперед. Они вроде бы шли к лагерю, но забирали все выше, петляя среди домов и гаражей, пока не вышли на дорогу, поросшую по обочинам старыми елями и пыльными кипарисами. Дома кончились.

— Что за дороги? Ни одной развилки. Теперь идти в самый назад, — буркнул Монгол, сел на асфальт и, сняв кеды, принялся связывать порванный шнурок. Том сел рядом, у вмурованной под асфальт сточной трубы. Один ее край торчал из обочины, немного свисая над склоном.

— Хорошая нычка! Я бы сюда что-нибудь запрятал. Никто не найдет.

— Никто бы сюда ничего не спрятал, по одной причине. Это сточная труба, из нее все вымоет, — рассудительно ответил Монгол.

Том устало поднялся, заглянул в трубу. Засунул в нее руку…

— Опа! — и с выражением фокусника он вытащил оттуда пухлый пакет.

— Уфф, — выдохнул Монгол, вытаращив глаза. — Открывай скорее!

В пакете оказались аккуратно свернутые штаны болотного цвета и черная мастерка с затягивающимся желтыми шнурками капюшоном.

— Вот это подарок! — воскликнул Том, победно размахивая обновкой. — Смотри, как раз на меня. А я уже жалел, что из джинсов шорты сделал. Ночи-то, оказывается, даже в Ялте бывают прохладные.

— Карманы проверь.

Том порылся в карманах.

— Пусто.

Он запихал вещи в сумку.

— Никто бы не нашел твою нычку, ага, — усмехнулся Монгол.

— Нет худа без добра. И тряпки нашли, и за хлебом сходили, — сказал Том.

— Ну раз назад идти, может, на базар зайдем. Вдруг чего обломится, как в Ялте.

Они повернули назад, и вскоре окунулись в базарную толчею. Бойкие татары зазывали к помидорам, молчаливые мужики в майках и белых кепках продавали вяленую рыбу, бабушки торговали душистыми лепешками и малосольными огурцами. Пахло персиками, кислой капустой и

жизнью. Им досталась оставленная кем-то подбитая дыня, которую они тут же съели.

Уже недалеко от набережной, умываясь в небольшом каменном колодце, они снова встретили Назарыча. Тот был уже без коз.

— В аптеку иду, — Назарыч хитро улыбнулся.

— Приходите к нам в гости, — сказал Том. — Стихи почитаете. Мы у родника стоим.

— Сегодня обязательно буду.

Назарыч не обманул. Он пришел к ужину.

— У нас есть чай и спирт. Если смешать, то отличный коньяк получается, — прошептал Том. — Есть будете?

— Нет. Закуска градус крадет. А чего вы шепотом говорите? — шепнул Назарыч, улыбнувшись щербатым ртом.

— У нас тут соседи трошки того. Странные. Просили не шуметь.

— А мне все равно. — Назарыч притих, пожал плечами. Вечерний ветер вспенил седой венчик его волос, и тот вдруг полыхнул вокруг головы солнечным нимбом.

Чокнувшись, они сели у костра.

— Вот наступил как-то день сантехника, — прошептал Назарыч. — И рабочие попросили меня написать по этому поводу стих. Ну, я набросал

так, на бумажке. А потом вдруг слышу по радио: с днем сантехника поздравляют и читают мой стих. Стащили у меня и на радио отослали. Вот так. По радио! Такой вот стих:

С крана капает вода
Кто его починит?
Звать сантехника сюда:
Он его починит.
Он, держа в руках отвертку,
Поменяет водовод.
Он прокладку ставит ловко, —
Кран за новенький сойдет.

— Мне нравится! — внезапно восхитился Монгол. — А как ты писать стал?

— Да как… — усмехнулся Назарыч. — Дело в том, что меня давно не должно быть в живых. Лет двадцать назад я полез на дерево за сливами. Ветка сломалась, я оборвался и распорол себе живот о сук. Порвал кишечник. Шансов выжить почти не было, но я выкарабкался. Врач сказал, что теперь я должен навсегда завязать с алкоголем и пить только козье молоко. С тех пор я бросил пить и завел коз. И вот тогда что-то во мне перевернулось. Я стал писать стихи. Первые

стихи, конечно, были невеселые.

Я бросил пить.
Ко мне друзья не ходят.
Сижу один.
Мне грустно, одиноко.
Пью козье молоко.
Страдаю и грущу.
О, где же те былые времена,
Когда я был здоров
И пил я, что хотелось.
И самогон, и водку, и вино.
Теперь на прошлое смотрю в окно.

— А через несколько лет такая тоска меня взяла! — продолжал Назарыч. — Ради чего я живу? Разве это жизнь? В чем ее смысл? Я не выдержал и стал снова выпивать, стараясь в меру совмещать приятное с полезным. Это время я считаю началом расцвета своей поэзии.

Я снова начал пить!
Ко мне друзья вернулись!
Приятно, весело в компании сидеть.
Шутить и петь.

И говорить смешно
О всем на свете.

Назарыч читал и читал свои стихи. Том поначалу расстроился. Он ожидал чего-то большего, а тут перед ним сидел обыкновенный старик-графоман. Поэт из тех, которые так часто навязываются со своим творчеством, часами мучая терпеливых и тактичных слушателей. Но то ли алкоголь действовал как-то особенно творчески, то ли от стихов Назарыча исходила какая-то живительная доброта… В очередной раз поразившись детской простоте и незамысловатости некоторых Назарычевых строк, Том вдруг почувствовал, что дело вовсе не в тщеславии поэта, да и стихи не об этом. Назарыч был не из тех, о ком он подумал. Он просто пел о том, что видел, рифмовал бытие. Но видеть его так, как умел Назарыч, по-доброму просто, мог далеко не каждый.

— Назарыч, у вас не талант. У вас — дар! — взмахнул пальцем слегка окосевший Том, тоже переходя на «ты». — Твои стихи — это такой невообразимый оптимизм, это такая радость, что не каждому дано. Такие стихи не пишутся рассудком. Конечно, тебя никогда нигде не издадут, да и не нужно это, потому что твои стихи неотделимы

от тебя. Они просто умрут на бумаге. Кто сможет почувствовать эту радость, эту любовь, если не услышит их вживую, от автора? Эти живые слова, неотшлифованную простоту. Как там, про санаторий?

И пусть огнями манит крематорий,
А в переулке прячется злодей, —
Прекрасный Ай-Данильский санаторий
Излечивает недуги людей! —

Тут же напомнил Назарыч, хмельно улыбаясь.

— Четыре строчки, а все сказано!

После второй кружки Назарыч резко захмелел. Уговоры читать стихи шепотом на него больше не действовали.

— Назарыч, потише! — умоляюще прошептал Том.

— Я же сказал, что мне все равно, — громко проговорил Назарыч. — И вообще, я у себя дома, а…

— Назарычччч!!!

— А хотите, я вам сейчас «Бородино» прочитаю, — внезапно закричал он, будто сбрасывая с себя последние остатки субординации. Не ожидая ответа, вскочил на ноги, пошатываясь, подошел к обрыву, повернулся лицом к морю, расставил пошире ноги и, подняв подбородок, взволнован-

но начал.

– Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?

С каждой строчкой его звонкий голос становился все громче. Чем шире разворачивалась битва, тем больше она захватывала Назарыча. Он расправил плечи, выпятил грудь. Затем, нависая над самой пропастью, выбросил вперед правую руку и начал реветь так, что слышно было, наверное, в Турции.

И молвил он, сверкнув очами:
«Ребята! не Москва ль за нами?
Умремте ж под Москвой,
Как наши братья умирали!»

Назарыч орал в горизонт, остатки его волос развевались на ветру, и Том понял, что они уже потеряли его, что он — там, за границами времени, рядом с Кутузовым, то тяжелым палашом рубит французского кавалериста, то среди пушкарей, ругаясь, выкатывает орудие из засады и дает прикурить флангу вражеских гренадеров…

Медитативная аура поляны была безнадежно испорчена. Они как-то одновременно и обре-

ченно поняли, что их скорее всего выгонят, но совершенно не жалели об этом, ибо то, что исходило от Назарыча, было тем редким и тем *настоящим*, чего так мало бывает в жизни. Они стояли рядом, обнявшись, смотрели в море, слушали этого удивительного деда, в душе радуясь такому незапланированному «патриотическому бунту».

Под горой из палаток выползали жители берега и удивленно глядели вверх, на утес, в сумерках пытаясь рассмотреть оратора, рев которого уже перебивал шум моря.

Изведал враг в тот день немало,
Что значит русский бой удалый,
Наш рукопашный бой!.. —

грозил кулаком Назарыч, в такт топая ногой. Его голос несся над бирюзовой морской равниной, и было уже ясно, что враг не пройдет и что само море, Крым и Назарыч — равновеликие стихии. Хотя временами казалось, что Назарыч чуточку больше.

Когда он закончил читать, даже море затаилось. Назарыч тронул всех. Ему долго рукоплескал берег, хлопали, смеясь, будто сбросив нелепые словесные оковы, и Том с Монголом.

— Еще! Еще! — доносились снизу чьи-то восторженные крики.

— Нет, хватит! — откланявшись, Назарыч попрощался и поковылял домой напрямки, через виноградники.

— Назарыч, приходи еще! — крикнул Монгол.

— Не придет, — вдруг отчетливо понял Том.

— Почему?

— Такое не повторяется.

Уже наступила ночь. Они лежали на камышовой подстилке. Том прислушался. Молчуны не подавали признаков жизни.

«А ведь Назарыч — настоящий панк», — подумал Том, и закрыл глаза. Он вдруг живо вспомнил, как папка впервые показал ему незабудку.

— А почему незабудка? — он, тогда совсем еще маленький, с немым восторгом рассматривал небольшую полянку невероятно ярких, будто горящих голубым пламенем, цветов.

— А потому что как увидишь — никогда не забудешь, — сказал папка, подмигивая маме, и мама улыбнулась. Том действительно запомнил это на всю жизнь. И место, где это произошло, и время, и погоду. И настроение.

Еще вспомнилось, как отец притащил из своего НИИ окуляр и что-то долго считал на бумаге. А

затем принес длинную алюминиевую трубу. Они вставили в нее линзу, которую купили в магазине «Оптика», а затем установили ее на стойку от старого фотоувеличителя, и ему открылся новый мир. Он часами рассматривал в окно круглую, как блюдце, луну. Она едва помещалась в окуляр.

— Луна всегда повернута к нам одним боком, — говорил папка.

И они поворачивали телескоп куда-то в другую сторону.

— Сатурн в сотни раз больше земли, — продолжал отец. — Но если его поместить в большой аквариум, он бы плавал, как пемза.

— Ничего себе! — говорил маленький Егорка, широко открывая глаза. — А наше солнце — оно большое?

— Как сказать. Есть звезды в тысячи раз больше. Например, красный гигант Бетельгейзе. Его должно быть видно с балкона.

И они шли на балкон.

— А есть звезды диаметром всего в десять-пятнадцать километров, но гораздо тяжелее нашего Солнца, — рассказывал папка. — Сядешь на такую, и тебя сразу раздавит в лепешку. Или на ногах не устоишь, ведь есть звезды, которые крутятся вокруг своей оси со скоростью сотни

километров в секунду.

— Ничего себе! Бе-тель-гей-зе! — по слогам повторял Егор. — Я обязательно стану космонавтом!

— Для этого нужно много учиться и заниматься спортом. Ты готов?

— Готов!

Тревога

Наутро Том обнаружил себя завернутым в штору, а значит, все было в порядке. На поляне было как-то по-особенному тихо. Он привстал, удивленно посмотрел вокруг и присвистнул.

— Монгол, слышь? — толкнул он друга.

— Чего тебе? — закутанный с головой Монгол не желал разворачиваться.

— Молчуны свалили.

— Да ладно? — недоверчиво донеслось из-под савана.

— Бежали вслед за французами. Теперь вся поляна — наша!

Еще не веря своим глазам, они медленно обошли поляну, где еще вчера были свалены горы вещей. Везде было пусто. Заглянув в каждый уголок, они подошли, наконец, к самому красивому месту, где стояла палатка гуру. Небольшой и ровный участок земли выдавался балконом над ровным краем обрыва. В центре полянки было небольшое кострище, вокруг лежали мягкие охапки золотистого сена. На самом краю обрыва, будто перила, росли небольшие кустики и несколько кривых деревьев. За ними распахивал-

ся вид на побережье, с левой стороны которого пил черноморскую воду медведь-богатырь Аюдаг.

— Слушай, такое место, а никого нет, — по привычке прошептал Том.

— А чего ты шепчешь? — сказал Монгол и заорал: — Эгеге-гегей!

И они пошли на родник, умываться.

У родника, спиной к морю, стоял художник. Он смотрел на невзрачный земляной утес на склоне, нависавший над ближайшим виноградником, и, подперев рукой подбородок, задумчиво курил. На вид ему было лет сорок. Его черные как смоль, уже седеющие волосы были зачесаны назад, узкое загорелое лицо украшала небольшая неаполитанская бородка.

Том заглянул ему через плечо и увидел на мольберте невнятную розово-голубую мазню.

— Привет. Можно сигарету попросить? — сказал Том.

— Можно. Попроси, — меланхолично ответил художник.

— Хорошо! — Том засмеялся.

Художник будто только увидел их и, вместо сигареты протянув руку, отрекомендовался.

— Меня Веня зовут. Хотя мне это имя не нра-

вится, но разве будешь спорить с мамой?

— А что это? — Том показал на мольберт.

— А вот она, — художник показал пальцем на большой кусок земли, висящий над укрытым виноградником склоном. — Я не пишу Аюдаг. Его видят все. Это скучно. Я пишу то, чего никто не видит. Вероятно, совсем скоро этот бесценный шедевр будет стоить, как квартира. Это я вам как еврей говорю. Не хотите приобрести, с хорошей скидкой?

— Аюдаг — попса?

— Попса, — согласился Веня. — Но дело не только в этом. Вот, например, на этой скале я бывал. Я видел ее, пил на ней вино, я чувствовал ее дыхание. Я спал с ней, понимаешь? А что такое Аюдаг? Недостижимая открытка. Красота, которую не пощупать. Теперь на него не подняться, он закрыт для посещения. С той стороны горы — военный санаторий с охраной. С этой — главный пионерлагерь Союза, «Артек», где отдыхают теперь толстые дети помещиков и капиталистов. Тоже ходу нет. С юга море, с севера обрыв. Вот Гуля Королева могла бы его нарисовать. Вы «Четвертую высоту» читали?

Не дожидаясь ответа, художник отложил кисть и замер в театральной позе.

— Тридцатые годы. Ночь! Гуля, отважная девочка-пионер, отличница и спортсменка, одна идет на гору. Вокруг — тьма. Крики птиц, завывания животных, шипение змей. Кругом таинственная южная природа, — все непонятно, к тому же тревожна международная обстановка. Справа Гитлер, слева — Халкин-Гол. Но она, преодолевая себя, идет и идет все выше, по Пионерской тропе, на вершину. Ночной лес страшен. В нем полно волков, клещей, недобитых белогвардейцев и прочих злодеев. Ее факел предательски гаснет, но сердце ее пылает во тьме! Громко читая клятву пионерки, она смело идет по звездам и интуиции. Еще чуть-чуть, и вот она, долгожданная вершина! Но тут — снова беда: наверху ее хватает держи-дерево! Страшное, непостижимое в своем растительном коварстве. Храбрая Гуля борется с ним изо всех сил, но силы неравны. Колючие ветки оплетают пионерку, связывают ноги, жмут молодое розовое тело, пионерский галстук бессильно повис… Но что это? Над горизонтом, из черной морской пучины с первыми звуками далекого горна бодро выныривает красное пролетарское солнце! Его первый луч снимает заклятие, и держи-дерево превращается в заурядную колючку. Гуля спасена!

— Да ты поэт!

— Еще как! — Веня снова повернулся в сторону горы:

— Медведем его называют, — снисходительно произнес он. — Был он медведем, да сплыл. А теперь — крыса. Сами смотрите. Крыса же?

— Ну, не знаю. — Том пожал плечами. — Похож, конечно, немного. А может, это выбросившийся на берег кит?

Веня насупился, снова взял кисть.

— Ты в какой школе учился? — сердито спросил он. — Китов в Черном море не бывает.

— Ладно, харош трепаться, — сказал Монгол. — У нас тут, короче, поляна освободилась, большая. Тут какие-то каратисты стояли, но мы их выгнали. Места много, а народу нет. Вместе веселее, и если кто за едой в Гурзуф — другой за вещами посмотрит. И родник совсем рядом. Хочешь, у нас поселяйся, пока не заняли.

— Приду, — коротко ответил Веня и, наконец, угостил их сигаретами. — С тех пор как нашу посудину выбросило на этот треклятый остров, старый матрос рад любой живой душе.

Художник вновь взял кисть и углубился в творческий процесс, а они вернулись на поляну. Разожгли костер, поели гречки с салом и, засунув

сумки поглубже в густую щетину колючего самшита, пошли в Гурзуф.

Этот удивительный город, будто старинная открытка, поворачивался к ним все новыми и новыми улочками и уголками.

— Смотри. — На одной из улиц Монгол увидел магазин. — Здесь картины какие-то продают. Пошли, заглянем.

Дверь зазвенела висюльками. В полумраке магазина было прохладно, звучала приятная музыка. Все стены помещения снизу и до высокого потолка были увешаны разнокалиберными картинами. Напротив, за прилавком, стояла полная, ярко накрашенная женщина.

— А у вас Ван Гог есть? — громко спросил Монгол.

— Такого не держим. У нас только местные, крымские таланты-самородки, — бесцветно ответила продавец.

Взгляд Тома безучастно скользил по видам Аюдага, утесов, парусов, штормов, гурзуфских переулков и вдруг наткнулся на одну из картин, совершенно выбивающуюся из всех. На ней грубыми сильными мазками был запечатлен худой высокий мужчина в плаще и нелепой шляпе с огромными полями. Он шел по унылому зелено-

му полю, волоча за собой рассохшийся дощатый ящик на деревянных колесах. В ящике сидела девочка с бантами и улыбалась огромным, почти до ушей, ртом. В руках у нее был ярко-сиреневый надувной шар, который выбивался из пастельных, приглушенных тонов картины. Лицо ребенка сияло счастьем, нелепым посреди унылой реальности. Все полотно было противоречивым, сумасшедшим, будто кадр из страшного мультфильма, будто ночной кошмар.

Глядя на нее, Том вдруг почувствовал, что дома что-то произошло. Что-то плохое, чья-то смерть. Это осязание беды не имело ничего общего ни с рациональными выводами мозга, ни с органами чувств. Это было сильное и ясное знание откуда-то *изнутри сердца*, будто удар в грудь. Ничего подобного он никогда не испытывал.

— Что это за художник? — как можно спокойнее спросил Том.

— Местный художник, наш, — ответила продавец, подчеркнув слово «наш». — «Холодное лето» называется.

«А может, это чистое совпадение?» — Том неотрывно всматривался в это странное полотно, будто ища разгадку своего странного, ошеломляющего знания. Может, картина не является

причиной этого знания; может, он оказался здесь случайно, в тот момент, *когда произошло это*. Но что-то в картине гипнотически притягивало его, будто она была не просто так, будто являлась спусковым крючком всех его переживаний.

В смешанных чувствах он топтался у прилавка, не зная, что делать.

— А сколько стоит эта картина? — спросил он.

— Дорого, ребята, очень дорого.

— У вас тут все дорого. А сколько?

— Даже не спрашивайте, — сказала продавец, смерив его взглядом.

— Мне нужно домой позвонить. — Том чувствовал, что неясная тревога овладевает всем его существом.

— Я бы и сам звякнул, но откуда? — безучастно сказал Монгол.

Они вышли из магазина.

— Ты не понял. У меня что-то дома случилось. Прямо сейчас. — Отчетливо проговаривая слова, Том смотрел куда-то в сторону. — Я думал, такое только в кино бывает, когда показывают, что на фронте кого-то убили, а мать чувствует. Только что. Что-то произошло…

Он говорил какие-то слова, — непутево, несвязно, ненужно, словно боялся остановиться, за-

молчать. Слова сыпались из него как горох из дырявого мешка.

Монгол внимательно посмотрел на него, без тени иронии сразу приняв все, что сказал Том.

— Ты в голову-то раньше времени не бери. Мало ли, может клеманулo просто. У меня такое было. Случай был один. Я тогда тоже думал, что отец помер.

— И что? — с надеждой спросил Том.

— А ничего. Всякое бывает. Ты не думай, оно само пройдет.

— Да я стараюсь.

Назад идти не хотелось. Они долго гуляли по городу, пока небо над морем не окрасилось в нежно-сиреневый цвет. Монгол что-то рассказывал, пытаясь отвлечь Тома от дурных мыслей. Том кивал, пытался слушать, но никак не мог прийти в себя. Его лицо будто стало чужим, потеряло чувствительность.

В самом конце набережной Монгол вдруг показал пальцем на большой желтый диск с иллюминаторами, и радостно заорал.

— Смотри! «Тарелка»! Как же мы ее раньше не заметили?

Они подошли к ресторану, о котором им рассказывал Жека. Здесь было действительно уютно и

как-то по-человечески просто. Под кривыми кедрами, нависшими прямо над круглыми желтыми столами, галдела подвыпившая публика. Столов было немного, но за каждым могла уместиться компания человек по восемь.

В углу бара, ближе к морю, укрытые от остальных столиков толстым стволом сосны, сидели четверо мужчин и девушка. Один из парней показался Тому знакомым.

— К вам можно? — спросил Том.

— К нам нужно! Эй, волосатый! Садись к нам! — гостеприимно и нетрезво донеслось до них.

— Нет, к нам! — пошутил его сосед, пытаясь по-дружески приобнять Тома.

— Меня Степан зовут, — представился смуглый молодой человек за тридцать.

— Федор, — щелкнул квадратной челюстью здоровенный сосед Степана, аккуратно сжав своей кувалдой его руку.

«Киллер», — почему-то подумал Том, глянув в холодные и черные, как у рептилии, глаза Федора.

— Людмила, — представилась единственная дама, симпатичная длинноволосая брюнетка.

— Это Иван Петрович! — Степан похлопал по плечу уже изрядно захмелевшего лысоватого

мужичка лет пятидесяти с глазами навыкате. Одетый в хороший пиджак и благоухающий одеколоном, он сидел немного особняком, подчеркивая, что сам по себе.

— Петрович, а расскажи нам еще чего-нибудь.

— Молчи, скрывайся и таи и чувства и мечты свои, — Иван Петрович пьяно улыбнулся и прислонил палец к губам.

— А это Фат, — продолжал Степан. — Фат! Ты сам откуда?

— Я гражданин мира! — ответил Фат, длинноволосый блондин с бледным скандинавским лицом. Монгол вспомнил его.

— Слышь, а это не ты в Ялте на концерте БГ от «Беркута» сбежал?

— Я!

— А нас замели.

— Ты девочку видел? Которая под стенкой стояла? — спросил Фат.

— Видел.

— У меня там друг был, он тоже успел свалить. У него как раз в фотоаппарате пленка кончилась, так он на себе волосы рвал. Такой кадр пропал!

— Мир тесен! — Степан с интересом слушал их разговор. — Федор, а купи нам водочки и бутылку колы. Водка с колой — хорошая штука. Не

пробовали?

— Нет, — ответил Монгол. — А кола-то зачем?

Степан засмеялся.

— Фат! А сыграй-ка нам что-нибудь.

Тот обернулся, достал из-за спины гитару и, перекрикивая общий шум и гам, запел:

Громкие фразы! Довольные лица!
В городе этом проживают тупицы.
Зловоньем и смрадом наполнен их мир,
И странно, что я до сих пор еще жив.

На берегу сточной канавы
Построен мой дом из веток и хлама.
В завтрашнем дне толпы спокойны
Там, где идут локальные войны…

Когда он допел, все сдвинули тяжелые стеклянные бокалы.

— Вы сами-то откуда? — спросил Монгол.

— Из Москвы. Слыхал?

— Слышал, да. Россия, кажется, — хмыкнул Монгол.

— Точняк! — Степан полез в рубашку за сигаретами, оттуда вывалилась на стол стодолларовая бумажка.

— Степан, не сори деньгами, — озабоченно

сказала Люда.

— А что с ними еще делать?! — крякнул Степан, выворачивая содержимое карманов. На стол выпали целая пачка долларов, ключи от машины, тяжело звякнула бензиновая зажигалка.

— И не такое видали! — мягко проговорил Иван Петрович. — Спрячь, не быкуй. Люда дело говорит.

— Я не быкую, я страдаю. А хочешь, — Степан взял в кулак ворох купюр и, прищурив глаза, обратился к Тому, — тебе дам?

— Мне не нужно.

— Не хочешь — как хочешь. — Степан убрал руку.

Том вдруг вспомнил хмурый апрельский день, раскисшую грязь на задворках городского рынка. Он стоит у длинного вещевого склада. Мимо бегут грузчики, вытирая на ходу пот, толкают перед собой пустые и полные тачки. Работа тяжелая, с шести утра. Зато платят каждый день.

— Тебе чего надо?

Он оглядывается.

На пороге склада — начальник. Румяный, совсем молодой, — всего лет на пять его старше, но уже оплывший не по возрасту, с круглым животиком, выпирающим из-под чистой белой

рубашки. Черный галстук в горошек, гордо ломаются наглаженные стрелки черных брюк. Под ними, прямо посреди раскисшей весенней жижи аккуратно сияют блестящие ботинки-лодочки. Чванливый взгляд свысока, оттопыренная губа, длинная сигарета с фильтром.

— Глухой, штоле?.. Эй! Давай, давай, профессор! — вполоборота кричит он понурому старичку-грузчику в больших треснутых очках.

— Ничего. На фонарях бы вас вешать… — Том отворачивается и идет прямо через лужи к выходу.

— Том, ты что? — Монгол тряс его за плечо.

— А? Не, нормально. — Том улыбнулся, глянул исподлобья на новых знакомых. — Задумался просто. Дайте гитару.

Много еще алмазов и нефти
В землях народных лежит.
Товарищ! Доколе сосать будет недра
Кровавый богач-паразит?

Или гнева народного пламя
Не горит больше в наших сердцах?
И вспомнит ли русское знамя
Уже подзабытый Рейхстаг?

Разве мы с тобой не мечтали,
Когда завоюем весь мир,
Чтобы бедные на ноги встали,
Чтоб голодным устроить пир?

Чтобы где-то в далекой Тулузе
Во славу наших побед
Хвалили отечественные французы
Наш добрый чешский абсент!

Помолчим, товарищ. Не жалко.
Реку времени не повернуть.
Твоя газовая зажигалка
Осветит наш верный путь.

— Браво! — грустно сказала Люда, хлопнув в ладоши.

— Хорошая песня. — Степан вытащил стодолларовую бумажку и сунул Тому. Из его сумки посыпались на стол зеленые купюры.

— Зачем мне это? — Том испуганно отстранился.

— Э, стоп, — вдруг сказал Федор. — Погоди. Это как бы про нас песня? Это наезд?

— Эх, Федор, деревянная твоя душа! — Степан даже просветлел лицом. — Вот! Вот! Видишь,

какие пацаны! Я же говорил тебе, что есть такие. Мне не жалко, а им не надо. У них в голове и карманах гуляет ветер свободы, а мне дорого то, что не продается. Значит, будем с этим бороться вместе. Насчет денег — это правильно.

Он отшвырнул деньги.

— Степан! — Укоризненно протянула Люда, оглянулась по сторонам, поспешно сгребла со стола содержимое Степановых карманов в свою сумку.

В кафе включили веселую музыку. Люди потянулись на небольшую танцплощадку.

— Посмотрю на море. — Том вылез из-за стола, подошел к голубому парапету, закурил. Внизу, в тупичке на набережной прятались влюбленные парочки. Слева чернел в сумерках силуэт Медведь-горы. Небо померкло: планету укрыла своими крыльями синяя бабочка ночи.

Он молча смотрел на море и, несмотря на алкоголь, все никак не мог отделаться от тяжелого камня на сердце, мысленно возвращаясь к пережитому. Их приключение будто выцвело враз, потеряло важность. Все вокруг стало пустым, неинтересным, бессмысленным.

«Плевать на все, домой поеду», — подумал он, выбросил окурок и вернулся за стол.

Рядом, но так неизмеримо далеко, стоял гул веселья, звенела посуда, мелькали в танце потные, раскрасневшиеся, веселые лица. Иван Петрович уже клевал носом. Федор пил водку, резко запрокидывая назад свою тяжелую чугунную голову. Люда молча курила, Степан обнимал Люду и пытался петь.

— Ой-да не вечер, да не ве-е-чер! Мне-е малым-мало… Водки мне мало! Водки хочу!

Тут же появился официант.

— Держи! — Федор протянул ему стодолларовую купюру. — Два пузыря принеси. Сдачу себе оставь.

— Федор, хватит! — беспомощно страдала Люда.

— Ну нет у меня другой бумаги, — сердито буркнул тот.

— Не жадничай! Жадность — сестра нищеты, — смеялся Степан. — И ведь не поймет! Все беды от баб! Правда, Иван Петрович?

Иван Петрович поднял голову, посмотрел на Степана нетвердым взором и отрицательно помахал пальцем.

— Неее-ет. Не от баб, — ясно сказал он. — Дайте воды.

Ему подвинули стакан колы.

— Растолкуй, Петрович! Ты умеешь! — мотнув головой, сказал Степан и поднял руку, чтобы все замолчали. Чувствовалось, что речи Ивана Петровича ему нравятся.

Иван Петрович отхлебнул из стакана, откашлялся, собрался с мыслями.

— Да просто мы все уроды, — наконец произнес он. — У нас не было нормальных семей, где отцы любили бы матерей. Революция разрушила семейный уклад, выстроенный еще по Домострою, но не сумела создать свой. Вначале большевики хотели уничтожить семью как пережиток прошлого. Потом бессчетное количество крепких мужчин выполола война. А социалистические отношения окончательно лишили мужика инициативы хозяина. Оттого в семьях наших поселились ссоры, измены, разводы и вечный бардак. Мужчина заучил лишь то, что женщина должна его бояться. Но разве в этом суть семейного счастья? Разве можно построить счастье на страхе? Женщины интуитивно ищут силу, но в наших мужиках ее не воспитали. Наши дамы в большинстве своем существа от природы слабые, они не могут по-мужски логично объяснить, описать эту беду. Они могут только реагировать. Кто-то истерит. Кто-то уходит. Кто-то, наплевав

на свою женственность, превращается в мужика. Конечно, это не решение, это бегство. Но самое страшное заключается в том, что решения у этой проблемы нет, поскольку роль сильного мужчина должен был впитать с детства. А как себя переделать, если он уже вырос, уже отлит в болванку? Он же теперь слаб, истеричен, он бросить курить не может! Да еще знать бы, куда идти, что чувствовать, что переживать? От природы задумано так, что мужик — это не тот, кто грохает кулаком по столу, а жена перепуганно соглашается. Это тот, кто контролирует все. Это щит семьи, это скала, это уверенность. Это тот, кто всегда в курсе, кто решает, как поступить. Мужик — это не роль, не игра, не поза. Это не понты пацанские, как сейчас говорят. Это состояние души. Это не бицепсы. Это внутренняя сила, а дает ее правильная мужская любовь. Это особая любовь. Не та, когда «ты должна, потому что я прав»… Это любовь, которая: «я дам», «я спасу», «я помогу», «ты сегодня оденься, а то холодно». Я люблю, — это значит я прикрою, я научу, я помогу, я убаюкаю. Я посуду помою, если угодно, чтобы тебе было легче. Я отдам, потому что имею. Имею, потому что у меня есть сила отдать. Такая трудовая любовь не кончается, а только увеличивается.

Тогда жена сама хочет быть слабой, жертвенной, доброй. Она более интуитивна, и поэтому она проще чувствует то, как правильно жить. Тогда в ее непростой голове наступает покой.

— Браво! — снова захлопала Люда. — Отлично сказано.

— Золотые слова! Возьми! — Степан вновь достал откуда-то стодолларовую купюру.

— Ты что, купить меня хочешь? — недовольно поморщился Иван Петрович.

— Петрович, ты что? Я не покупаю. Я оцениваю, — рассмеялся Степан.

— А, ну тогда ладно. — Иван Петрович взял купюру, потер пальцами рифленый профиль американского президента. — Мы оформим ее как взнос в фонд мирового благоденствия. Я по миру поездил. В Европе — не только молодежь, там даже старики за ручку держатся. Глазу приятно. У них хоть форма сохранилась, а у нас и этого нет. А вот на Кавказе — там все эти родо-племенные отношения расписаны с пеленок. По ним этот каток не прокатился. Мужики — это мужики. Бабы — бабы. Каждый знает свою роль и дорожит этим вечным порядком, воспринимая любое новшество как ересь, как опасное стремление к хаосу, к разрушению. Они сохранили это. Мы их

уважаем не за высокую культуру, не за науку, не за живопись. Мы их уважаем за неизвращенную природу отношений. А у нас… Превратили семью в… в… в вертеп! Одни растут без отцов, простите, ссыкунами. Боятся всего на свете, и только улица вместо отца. А улица бывает разной. Она может воспитать, а может и убить, искалечить, посадить, превратить в морального урода. В других семьях мужики пьют, бьют жен да порют своих детей. И те вырастают тупыми, озлобленными урками. А потом ловят тех, кто послабее, и бьют, вымещая все обиды, самоутверждаясь. А этой идиотской войны не было бы, если бы не…

— Хорошо залил, Петрович, — сказал Федор. — Я не знаю, как там было. Может, раньше и бананы на березах росли. Но вот скажи, если все уже поломано, то вот нам что делать? Разве не нужно учить наших поломанных баб? У них же тоже все набекрень. Бабу нужно учить, иначе она не будет тебя уважать. Она же баба.

— Согласен, — неожиданно проговорил Иван Петрович. — Но только ту бабу, которая сидит в тебе. Вот ее-то и нужно бить, причем лупить беспощадно.

— О! — восхищенно сказал Степан.

— Ты на что намекаешь? — Федор снова сжал

кулаки.

Иван Петрович смерил его взглядом, выдержал паузу.

— Ты, Федор, не кипятись. Старших уважать нужно.

— Да я так… — Федор тут же смягчился.

— Но я понимаю, о чем ты, — продолжал Иван Петрович. — Есть такие бабы, которым мозги можно вправить только кулаком. Что это за бабы?

— Что за бабы? — вопрошал Степан.

— Те, у которых опять-таки не было нормального отца. Такая баба интуитивно ищет мужественность, но не понимает, что это такое и какая она должна быть. У нее нет ее образца, поскольку в детстве не было примера уверенной отцовской защиты, крепкого плеча. Она видела только грубость и хамство. И она находит грубость, убеждая себя в том, что это и есть мужественность. «Бьет — значит любит»: вы слышали что-либо дебильнее? Конечно, пофигизм хуже боли, но разве это норма?

— Лана, харош грузить, Петрович. Выпей, — сказал Федор.

Иван Петрович выпил и сказал:

— Дама и господа, я закругляюсь. Людочка,

простите нас, мужиков. Хотя и не мы, мужчины, в этом виноваты. Возможно, когда-то мы научим этому своих детей, как-то восстановим нашу мужскую роль. Мы будем стараться, и просим вас терпеть и любить. Не лично вас, но в вашем лице… Всех женщин. И от имени… Всех мужчин…

— Спасибо! — Люда опустила глаза.

— А пойдемте гулять! — вдруг закричал Степан. Ему уже давно не сиделось на месте.

Пошатываясь, они всей компанией вышли из кафе. На их пути оказалась большая лужа.

— О, сейчас фокус покажу! — Степан указал пальцем в ее центр. — Смотрите! Здесь два мира. Это небо. Это то, куда мы уйдем.

Все глянули вниз, в лужу, где качались черные, на фоне фонаря, силуэты.

— А море — это откуда мы вышли! — заорал Степан, и прыгнул в самый центр лужи, обдав всех волной теплых, пахнущих асфальтом брызг.

Всем стало весело. Хохоча и вытираясь, компания двинулась по полутемной аллее.

— Петровича забыли! — Монгол обернулся и пошел назад.

Ивана Петровича как-то вдруг резко развезло. Шатаясь, он добрел до ближайшего фонаря, облокотился, чтобы отряхнуть штанину, чуть не упал.

Монгол успел подхватить его под локоть, усадил на скамейку.

— Догоняйте! — остальные медленно двинулись дальше.

— Петрович, пойдешь? — Монгол без интереса глянул вслед удаляющейся компании. Ему не хотелось бежать следом. К тому же новый знакомый своей недавней речью будто расставил в его душе все по своим местам.

— Зачем они нам? — Иван Петрович пьяно улыбнулся и, приобняв Монгола как старого приятеля, небрежно махнул рукой. — Пропащие они люди, последние дни доживают. Жалко мне их. Молодые ребята, но глупые!

— Почему последние дни?

— Это же видно. Шальные деньги кружат голову. А что такое деньги? Это костыли неумения. Люди — они же как гусеницы. Одни всю жизнь жрут капусту, а другие превращаются в бабочек. Ты куришь? — Иван Петрович потянулся за сигаретами.

— Закурю. — Монгол сел рядом. — А ты учитель?

— Нет… — Иван Петрович неопределенно махнул рукой и близоруко уставился на собеседника своими бесцветными глазами. — Я, скажем так, в

сфере подбора кадров. Все люди живут в масках, потому что привыкли так жить. Да и не могут они по-другому. Я разбираю их спектакли, изучаю роли. Роли могут быть прекрасными и неуклюжими, но я смотрю не на это. Важна не сама роль, а то, насколько глубоко человек сросся со своей маской. Такое случается иногда, и горе тому, с кем это случилось. Ведь сам актер никогда не пишет свою роль. Зачастую он даже не знает, кто его режиссер, кто управляет им, кто создал его маску… Брат наш Зигмунд копал в том же направлении, но, как мне кажется, немного не в ту сторону. Дело не столько в детских травмирующих переживаниях, сколько вообще в детском опыте, в окружении. Я тебе больше скажу. Я уверен, что человек становится революционером, авантюристом или социопатом не тогда, когда его доконала власть, а только потому, что в его детстве между матерью и отцом не было нормальных отношений. Иначе бы он отрефлексировал любую психологическую травму еще в детстве, в семье.

— А Ленин? Он же вождь, революционер.

— А что — Ленин? У Володи Ульянова отец месяцами дома не появлялся. Все ездил с инспекциями народных училищ, занимался крестьянским просвещением. Благородно? Да! Но это было для него

важнее воспитания своих детей! Есть такая порода людей: вечные командировочные, ратующие за большое дело. Любители помогать дальнему, забывая ближних.

— У меня тоже в семье… Папка бросил, — неожиданно для себя сказал Монгол. — Алименты не платил. Теперь в бегах.

Иван Петрович неуклюже расплылся по скамейке, сорвал с ближайшего лаврового куста жесткий ярко-зеленый листок, задумчиво пожевал его.

— Это видно. Забудь.

— Я и так его почти не помню.

— Не, не это. Забудь то, что я говорил. Про все эти традиции, про Домострой… Это истории для профанов. Жизнь — она как слоеный пирог. Была бы у тебя нормальная семья, — ты б дома сидел, пироги жевал, да маму с папой слушал. И ничего интересного в своей жизни не увидел. Так радуйся! Тобой руководят не семья, не традиции, — само Провидение дарит тебе опыт! Судьба — твой собственный наставник, она учит тебя по-настоящему — *быть*. Она раздает щедро, но только тем, кто не боится брать. Запомни: историю делают не маменькины сынки, а люди отвергнутые, часто выброшенные на обочину…

Мы вообще плохо знаем свою историю. На самом деле история — это субстанция, у которой два состояния: твердое и газообразное. В твердом виде она содержится в учебниках. Но если люди плохо учат ее, то она приходит в газообразном виде. И висит над ними едким ипритовым облаком, пока не рассеется… Вот тот же Ленин… Папку не видел, а какой глыбой оказался. Над собой работал…

— Работал-работал и на мавзолей заработал! — хихикнул Монгол.

— На мавзолей!!! — Иван Петрович будто услышал откровение. Его выпуклые глаза помутнели. Он вдруг нагнулся, попытавшись снять ботинок, но не справился с ним, и только выронил сигарету.

— Эх! — откинувшись на спинку скамейки, он закатил глаза. — Ну почему я не родился в Древнем Египте! У них была удивительная чуткость к порядку. Их общественный камертон верно оценивал бесконечно важную роль сакрального. Вся их жизнь была исполнена глубочайшего символизма и одновременно — смысла, потому что в идеале смысл и символ тождественны. Они понимали самую суть бытия! Они были воинами духа, несущими свою вечную службу на страже порядка в этом безумном океане хаоса.

— Ну ты завернул, Петрович! — восхитился Монгол. Он любил такие речи.

— Да-да! Египтяне умели молчать. Они знали, что есть два искушения — переменами и стабильностью. Перемены всегда связаны с аскезой, с физикой. С трудностями перелома эпох. Но куда тяжелее переносить неизменность. Это пытка самой вечностью. День за днем одинаково ползет солнце, чертит век за веком одни и те же тени, и ничего нового вокруг. Но они были мудры! Они хранили этот порядок, не поддаваясь искушению перемен, они уподобились вечному солнцу. Перемены всегда шумят, как торговки на базаре, они не оставляют после себя ничего, кроме суеты, раздражения и простатита. Египтяне умели молчать, как ночное небо. Они знали, что только молчанием можно победить века. Тишина и неизменность закона останавливает время, превращает в ничто его песочный ручей. А ведь только остановив время, можно приоткрыть завесу тайны Сущего, можно понять все. Мне кажется, что именно от египтян я унаследовал свое умение читать по лицам. С каких-то пор они стали для меня открытой книгой. Глаза, — в них все сказано.

— Прикольный ты чувак, Петрович! — улыб-

нулся Монгол.

Вместо ответа новый знакомый вытащил из кармана пиджака маленькую плоскую бутылочку и протянул ее Монголу. — Прошу!

Монгол выпил. Жидкость была очень крепкой, с сильным мятным ароматом.

— Это что за штука?

— Это чудесный скрепляющий раствор. Дай мне. — Петрович крупно хлебнул, почти не поморщился.

— Алкоголь — это великая вещь. Вот, например, свобода, равенство и братство. Казалось бы, — недостижимый идеал, мечта человечества. А выпьешь, — и вот они, рядом сидят. И свобода. И равенство. И братство, конечно. Правда, не все это понимают. Иногда я думаю: зачем огород городить? Масонство, опять же. Ты слышал о масонах?

— Что-то слышал. Мать говорила, что они миром правят…

— Миром правит любовь. А масоны — они так, прислуживают.

— Ты и масонов видел?

— Каждый день вижу. С утра, в зеркале, — хищно засмеялся Иван Петрович, — хотя я там и не всегда отражаюсь.

— А… — Монгол поперхнулся. — Ты… И вправду, что ли?

— Т-цццц! Не нужно кричать на весь мир. — Иван Петрович потупил глаза и картинно приложил палец к губам.

— Ух ты! Никогда не видел живого масона! — Монгол даже отклонился подальше, чтобы рассмотреть Ивана Петровича целиком. — А какой градус?

— Не важно. Вот каникулы кончатся, и напишу зодческую, на повышение.

— Правильно! Градус — он такой. Чем выше, — тем крепче! — засмеялся Монгол. — А меня принять можешь?

— Тебя? — Иван Петрович усмехнулся. — А зачем тебе это?

— Как зачем? Кто же не хочет управлять миром?

— Чтобы управлять миром, нужно уметь управлять хотя бы женой. Ну, или небольшим банком. У тебя есть жена или банк?

— Пока нет, — вздохнул Монгол.

— Ну ничего, все еще впереди. — Собеседник высосал остатки абсента, вновь попытался снять ботинок.

— Я знаю, что мой эликсир смирения не прине-

сет мне ни блага, ни покоя, — слегка надтреснуто произнес он. — Дело в том, что познание добра и зла в трезвом состоянии часто оказывается для меня занятием непосильным. Оно уносит меня в бездну бесчеловечности. И чтобы во мне не возник бессмысленный и беспощадный бунт, я подавляю его таким нехитрым способом. Я знаю, что этот бунт не даст мне ни познания, ни отдохновения. Он не решит проблем, а лишь сбросит излишек моего напряжения на окружающих. Как говорится, либерте, эгалите, алиготе. Иногда мне кажется, что все человечество — это погреб. Создатель выпивает нас одного за другим, а наши тела-бутылки отправляет в утиль, на переплавку.

Он, наконец, снял ботинок, обнажив дырявый носок, вытряхнул камушек. Обуваясь, завалился на бок, чуть не упав со скамейки.

— Дай огня, Прометей.

Монгол чиркнул спичкой.

Сделав несколько затяжек, Петрович закрыл глаза и отключился. Монгол покрутился вокруг скамейки, посмотрел по сторонам. Искать Тома в ночном Гурзуфе было глупо. Все равно обратный путь к роднику лежал через «Тарелку», а, значит, рано или поздно Том пройдет мимо. С другой

стороны, сторожить пьяное тело ему совсем не хотелось.

— Слышь! — Монгол потряс собеседника за плечо. — Я потопал.

Иван Петрович с трудом разлепил глаза, с потусторонним удивлением посмотрел на Монгола, ослабил на шее галстучный узел.

— А, Генрих?! Ты помнишь, что это за галстук?

— Генрих не стреляет. Мне больше нравится Вальтер, — усмехнулся Монгол, вспомнив самодельный Ванькин пистолет.

— Не-ет, Генрих, ты помнишь, что это за галстук. Это удавка. Это виселица, на которой давно болтается моя жизнь!

— Я не Генрих. Похоже, ты перебрал, Петрович.

Монголу сразу стало скучно. Интересные разговоры явно кончились.

Он постоял еще минуту, раздумывая, что делать, и тут в дальнем конце аллеи появился одинокий силуэт.

Фигура странно перемещалась зигзагами от фонаря к фонарю.

Грызя листок лавра, он напряженно всматривался вдаль, пока, наконец, не догадался, в чем дело. Заглядывая в урны, к их скамейке медленно

приближался бомж.

— О! Диоген! — засмеялся Монгол, не спуская глаз с бродяги.

— Диоген?! Что за ложа? Это в Лондоне? — тут же отозвался Иван Петрович, не открывая глаз.

— Да, брат, крепко ты на курорте лишним градусом здоровье подорвал. Слышь, Петрович. У тебя трешки нет до получки?

— Увы мне. Я рад и тем крохам удовольствия, которые выпадают на моем жизненном пути, — ответил масон.

— Я так и думал, — хмыкнул Монгол.

— Я питаю свой внутренний труп, но не питаю иллюзий, — продолжал Иван Петрович. — Но время читает мою книгу жизни слишком быстро. Я боюсь не успеть. У меня такое чувство, что они (он вздернул руку вверх) водят нас за нос. Они морочат нам голову! В реальности у нас нет никакого влияния. Нет, мы не избалованы. Мы хотим всего чуть-чуть: истины и сладкой жизни. Чтобы впустили, так сказать, в лоно. Брюссель, Гамбург. Поездки, стажировка. Чистая постель, завтрак в номер. Но, по совести говоря, мы для них — слуги в прихожей. Мы никто!.. Нам давно пора устроить великую братскую революцию. Перебирайся к нам, в Питер, Генрих. Взносы, ко-

нечно высокие, но посильно. Нам нужно снести этот шалман ко всем чертям. Я слишком стар и слаб, чтобы провернуть такое в одиночку. Мастеру нужен подмастерье. Ты! Ты станешь нашим Робеспьером!

Монгол почти не слушал эту малопонятную и несвязную исповедь, которая к тому же становилась все тише. Он решил дождаться, пока бомж пройдет мимо, и тогда уже точно уйти.

— Молчишь? Ты не отвертишься, Генрих! — Иван Петрович полез во внутренний карман пиджака и извлек оттуда авторучку. — Я напишу тебе адрес. Бумага… Где же бумага?

Порывшись в карманах, он обнаружил подаренную Степаном купюру.

— Петрович, ты что? — отшатнулся Монгол. — Это же баксы!

— Наш фирменный бланк. — Иван Петрович начертал на стодолларовой банкноте несколько непонятных каракуль.

— Держи. Это пропуск. Будь готов, брат.

— Да без проблем. Всегда готов! — Монгол, еще не веря самому себе, аккуратно спрятал купюру в карман.

— И смотри, без шуток. Ты же знаешь, я умею читать по лицам.

— А что сейчас у меня написано? — ухмыльнулся Монгол. Его лицо сияло.

— Сядь рядом! — Иван Петрович осоловело вгляделся куда-то сквозь Монгола, и вдруг неожиданно поцеловал его в губы.

— Придурок! — Монгол оттолкнул его, вскочил, отплевываясь, и зашагал по аллее прочь.

— Лицом к лицу лица не увидать, — послышалось вслед.

* * *

Том шел рядом со Степаном. Аллея кончилась, и компания вышла на набережную.

— Я вам завидую. Вы чистые в своей нищете, и поэтому с вами хорошо. — Степана слегка шатало из стороны в сторону, будто он шел по палубе. — Но вы на богатых зла не держите. Оно само так вышло. Просто страна сломалась. Рынок наступил. Кто мог — похватали остатки того, что падало. А какие варианты? Оно и так бы развалилось. Или кто-то другой подобрал бы. Мы не виноваты в этом бардаке, но мы не безучастны. И я, вот честно, не видел в наше время кого-то, кто заработал что-то умом, трудом. Не знаю я таких. Одни понты и базары. Кому-то повезло взять побольше, а кто-то уже кости в землю зарыл… Всем,

конечно, хочется вот так, как в кино, пожить широко…

Он вздохнул, широко развел руки, обнял спутников.

— Во-от так пожить, чтобы наотмашь, чтобы ни о чем не парясь. И я так думал, что поживу, но не получается. Не радостно на душе. Муть какая-то и тоска зеленая за всем за этим. Страшно, понимаешь, и не оттого, что боишься кого-то. Когда кого-то боишься, тогда проще порешать, тогда все понятно. А тут — как развели тебя на что-то дорогое, на душу, на мать, а как вернуть — не знаешь. Вначале я думал, что все будет по-старому, только я при бабле. Ну, будто клад нашел, а все вокруг — такое же, как и раньше. А потом вдруг понял, что твой клад всем нужен, и чтобы быть на уровне, за бабки нужно драться. И ты меняешься, — постепенно так, незаметно. По головам лезешь, становишься жестче, конкретнее. Иначе пропал, иначе затопчут… На тебе такой панцирь уже, кора. Там через знакомого переступил, там кинул, там подставил. Там друга не выручил, потому что он вроде бы уже и не друг, а конкурент… А потом — глядь, а его и в живых уже нету. А ты живешь вроде, а по сути давишь себя, как клопа, но задавить не можешь, — только вонь одна и

кровь. И вот оно — твое бабло. Зачем оно тебе? Для счастья. А счастья — нет! По всем раскладам оно должно быть, а его нет. Нет! Нет этого гребаного, вонючего, подлого счастья, пропади оно пропадом!

Степан махнул рукой, сплюнул, туманно посмотрел вокруг.

— Почему его нет? Я долго думал, почему, и понял. Потому что все, что я могу купить, — оно ведь и так мое. Я просто меняю его на бумажки. Для радости вкалывать нужно. А как тут вкалывать, если я по миру как по своему музею хожу. На даче картошку копать? А зачем? Я же просто руку протягиваю и беру. Но только хвать… А оно сразу ненужным становится. Деньги — это же такая штука… Такая сила… Это же наши мечты, это наши исполненные желания! Но они теперь не в кайф, пацаны, желания не в кайф стали. Такой вот заколдованный круг. Материальное я меняю на материальное, а тоска-то, — он постучал себя в сердце, — она-то вот здесь. Ее не купить, не пропить. Я уже ничего не чувствую, я как душевномертвый. Вот только жжет в груди иногда так, как будто кишки на руку наматывают. Я выпью иногда, и фотографии старые смотрю. Пацаны со двора, одноклассники. На их улыбки смотрю,

на глаза их чистые, и мне хорошо становится. А потом — бац! Как же я еще живу? Это же конец! Дальше — все, нет жизни. Запрещающий знак «Конец дороги». А наутро — глядь, живой вроде. Хотя на самом деле… Я просто ноги переставляю во времени.

А тут вы такие плывете, навстречу. Правильные, без всего этого… Как у вас тут говорят, майна. Светлые. Живете без денег. И вас не мучает вся эта невыносимая легкость кошелька. Песни поете какие-то свои дурацкие, про справедливость. И с вами мне вроде как хорошо и просто. Такая вот ситуация на фронтах.

— Мы как группу собрали, то вначале хотели бесплатно играть, — сказал Фат. — А у нас на районе было здание заброшенное. Бассейн не достроили. И мы решили дать там концерт. Пришли, стали настраиваться. Один местный панк помог, бросил из квартиры кабель, мы запитали аппарат. Ну, а потом вдарили. А у бассейна стены жестяные! Что это был за саунд! Все звенит, дребезжит! На звук местные жители сбежались. Старики какие-то пришли, матери с детьми. Сидеть негде: везде мусор, кирпичи битые. Пацаны местные по балкам на стены залазили. А потом оттуда швыряли в нас камнями. Просто

так, со скуки. Я им ору в микрофон: ща играть прекратим. А им пофиг. Они не ценили то, что мы делали. Короче, за час все песни прогнали, а народу мало. Расходились злые, недовольные, мне потом чуть гитару не разбили. Это я к чему… Мы тогда поняли, что деньги все же брать нужно. Хоть копейку, хоть стакан семечек, — не для нас, а для самих людей. Короче, не в наживе дело, а в ценностях. Люди ценят что-либо настолько, насколько дорого оно им обходится. А если тебе много бабла за так досталось, то и радости нет.

— Хм. То есть, если везде наступит изобилие, то люди перестанут ценить что-либо вообще? — вдруг сказал Степан.

— Золото дорогое, поскольку редкое, — пожал плечами Фат. — Тебя деньги не радуют не потому что ты такой, а потому что у тебя их много.

— Значит, проблема как бы не во мне, а в деньгах? — обрадовался Степан.

— Выходит, что так. Может, нищим раздашь? — усмехнулся Том. — Сейчас нищих много.

— Не-а. Не раздам. Не потому что денег жалко. Мне просто нищих не жалко. Нищий — он слабый, а я слабых не люблю. Возьми себя в руки, найди себе дело, не ной, встань на ноги. Вот тот, кто не просит, — тот сильный. С тем я готов

делиться, но так ему и не надо. Просто каждый по-разному расплачивается. Слабый достатком, сильный — покоем.

Их привлек шум в конце набережной. Там, у парапета, стоял какой-то парень и разыгрывал целый спектакль. Он то читал стихи в ролях, то брал в руки гитару и разбавлял монологи песнями. Вокруг него собралась толпа зевак. Наконец, окончив играть, он сорвал бурные аплодисменты и, сев на корточки, закурил.

— Привет. У тебя отличные песни. — Том протянул руку.

— Татарин. Но можно просто Валик. Я за Гурзуфом живу, на отстойниках.

— Это где?

— Железную лестницу видел? Там немного пованивает, зато близко к городу. Вода есть, море рядом, а тебя с берега вообще не видно.

— А мы дальше стоим, на роднике. Приходи к нам, поиграешь! — гостеприимно предложил Том. — У нас поляна большая, полупустая. Дерьмом, конечно, не воняет, зато виды неописуемые.

— Приду! — тут же согласился Валик.

— Степан, а где сотовый? — вдруг спросила Люда. Весь вечер она была самая трезвая из всех.

— Не знаю, милая. Где же он? — Степан лапал себя по карманам.

— Пошли искать.

Когда они вернулись к «Тарелке», Монгол махнул им рукой.

— Петрович в отключке.

— Опять! — Федор взвалил на плечо Ивана Петровича и ушел.

Степан покрутился вокруг и тут увидел бомжа. Тот, низко нагнувшись, опасливо шевелил палкой в луже какой-то темный предмет.

— Что, дед, телефона не видел? — Степан нагнулся, взял сотовый, отряхнул его от воды и вернулся к компании.

— Слышь, а позвонить можно? — спросил Монгол. — Очень надо.

— Тот молча сунул ему аппарат.

— Не мне, Тому. — Монгол протянул трубку другу.

Том осторожно взял двумя пальцами небольшой, играющий красным перламутром брусочек со светящимся зеленым окошком дисплея, черными резиновыми кнопками и толстой короткой антенной.

— Гудка нет. Может он — того? Разбился?

— Просто набирай.

Том набрал свой домашний, волнуясь, замирая сердцем, прислонил к уху.

— Алло? — трубку взяла мама. Она была слышна неожиданно хорошо.

— Мам, привет, — как можно спокойнее сказал он. — У вас все в порядке?

— Да, все хорошо. Только у папки дома стекло разбили.

Том чуть не выронил сотовый. Будто многотонный груз спал с его плеч.

— А ты где? — мать не успела дать ему расслабиться. — А то тут милиция приходила, спрашивала.

— Я на море. У меня тоже все хорошо. А что говорили?

— Сказали, что по какому-то делу, опросить хотели как возможного свидетеля. Я пыталась выяснить, но они сказали, что нужно твое присутствие. Наверное, боялись, что могу тебя о чем-то предупредить. Ты когда появишься?

— Не скоро. Я тут, может, работу найду. Ты им не говори, где я. Скажи, что на заработки уехал.

— Я так и сказала.

— Ладно, пока.

— Пока.

Том отдал трубку Монголу.

— А можно еще? — спросил Монгол.

— Звони, не парься, — сказал Степан.

Монгол набрал номер Серого.

Трубку опять взяла Сережина бабушка.

— Сейчас позову. Сережа!

— Привет! Да, я взял адрес. Сейчас продиктую. Поселок Партенит. Улица Строительная, дом 10. Квартира 13.

— Сам-то как?

— Я нормально. А Лелика менты забрали.

— Откуда знаешь? — похолодел Монгол.

— Сам видел. Я к нему как раз за адресом пришел.

— И что, свинтили?

— Ну как свинтили, — замялся Серый. — Я к нему пришел, адрес забрать. А тут какой-то мент приехал. Они переговорили, потом сели в машину и уехали. Как друзья, радикально.

— Ясно. Так я и знал.

— Я сам в шоке радикально, — сказал Серый.

— Что еще нового?

— Вроде ничего. Говорят, что Трампелю за Ваньку десятка светит.

— Ладно, бувай! — Монгол выключил телефон, невидяще посмотрел на Тома.

— Монгол, телефон верни.

— Благодарю, Степан! Выручил! — тот пришел в себя.

— Водки хотите?

— Нет, мы домой.

— Ну, если захотите, — приходите на «Тарелку».

Они попрощались и медленно побрели назад, на родник.

— Ну, что молчишь? — спросил Том. — Что там Серый? Адрес есть?

— Адрес-то есть. Прикинь, Лелика менты забрали! — Монгол на всякий случай оглянулся назад, но на ночной аллее уже никого не было.

— Серьезно? — переспросил Том.

— Ага! — неожиданно бодро сказал Монгол и вдруг остановился. — Только он с ментами как свой был. Я же говорил тебе! Я вижу его насквозь. Это стукачок местный. Недаром он у себя эти собрания проводил. Сдал он нас, сто пудов. А ты с ним как со своим… Хорошо, что ты пакет постирал. Это нас от Индейца Бог уберег. Видишь, он даже через тебя, неверующего, действует.

— Шо за бред? А зачем ему нас в Крым отправлять? Он бы сказал: сидите дома, а потом нас тихонько ментам бы и слил.

— Откуда я знаю? Может, попридержать хотел

зачем-то. Может, обстановку выяснить. А вдруг у него какой-то кореш из ментов в отпуске был? Выйдет, ему дело передадут, а он нас и хлопнет. Ты думаешь, там дураки сидят? Я даже звонить себе не стал. Мало ли.

— А ко мне уже менты приходили, — вздохнул Том. — Похоже, что кранты. Выходит, что и Индеец этот — подстава?

— Выходит, что так.

Том прислушался к себе, вспоминая ту привычную обреченность загнанного зверя, с которой он выезжал из дома. Но на душе у него, несмотря на за этот тревожный день, было по-настоящему хорошо и спокойно.

— Ладно, переживем! — наконец сказал он. — Главное, что все дома живы. А что же это со мной такое было? Я же *чувствовал*, что кто-то умер.

— Я же говорил! Клемануло тебя просто. Это, наверное, после сотрясения. Бывает. Одно ясно: домой нам нельзя.

— Нет, с Индейцем все как-то сложно. Его же местные знают как барабанщика. Если бы он на ментов работал, наверное, тоже бы знали.

— Скажешь тоже.

— Все равно что-то тут не вяжется. Короче, нужно найти его и все выяснить.

— Ага! А он нас под белы ручки…

— А зачем Лелику весь этот цирк с Крымом? Что, у него ближе ментов нет? Мы же могли не доехать, могли остаться у твоего дяди, могли еще что-то…

— Да. С дядей непонятно, — согласился Монгол. — И опять-таки он хороший барабанщик. А хорошие барабанщики на ментов работать не могут.

Над морем уже повисла сизая утренняя дымка, когда они добрались до своей поляны. Нарождался новый день.

«Уже утро. Хорошо-то как!» — Том старался не думать о том, что услышал. Вытянувшись на душистом сене, он укрылся шторой и заснул по-детски безмятежным сном.

— А может, и не сдаст, — спросонья подтвердил Монгол.

В Ай-Даниле

Погода резко ухудшилась. На побережье задул с гор холодный пронизывающий ветер. Над гордыми утесами Ай-Петри клубились черные грозовые облака. Море будто чем-то тревожилось. Оно негостеприимно переливалось свинцовым блеском, бурлило водоворотами под затянутым дымкой солнцем. Лезть в него совсем не хотелось.

Они сидели на обрыве, пили чай и обсуждали, что делать дальше.

— Я тут подумал. А давай письмо прочитаем, — сказал Том. — Может, поймем что-то?

Монгол молча полез в сумку, нашел там конверт, раскрыл.

— «Здравствуй, дорогой Миша. Насилу сплавил этих оболтусов из дома. Накорми их, дай переночевать и гони в шею. С любовью, Лелик».

— Может, шифровка какая? — Том взял письмо, посмотрел на свет, покрутил.

— Вроде больше ничего.

— Над огнем нужно подержать, — Монгол зажег спичку.

— Пусто.

Монгол спрятал письмо в конверт и вдруг расхохотался.

— Да не, лажа какая-то. Индеец явно не при делах. Нужно в Партенит. И чем скорее — тем лучше. А Лелик — еще тот друг. Мог бы как-то по-человечески написать. Гони, говорит, в шею. Но не мент, это точно. Ну что, вперед? Может, хоть пожрем разок нормально. Хотя я бы хотел барабанить поучиться.

— Может, вообще его выкинуть? — Том кивнул на сумку.

— Письмо?

— Ага.

— Не надо. Без него вообще беспонтово. Давай к нему с приветом завалим, а там посмотрим по ситуации. Если с порога прогонит — письмо отдадим. Ну что, когда двинем?

— Чего тебе приспичило? Успеем еще.

— Надоело уже тут. — Монгол посмотрел вокруг. — Дрова эти достали, рукомойники. А вдруг он впишет? Хочется уже пожить по-человечески. На кровати поспать, яичницу пожарить на плите.

— Не понимаю, чем тебе тут не живется? Вот домой вернешься, будет тебе и кровать, и яичница. А если не впишет? Народ вокруг веселый, только

знакомиться стали.

— Если Лелик не впишет, я бы в Планера двинул. Там хоть Вероника есть. Можно сказать, любимый человек. А тут народу много стало. Надоело, короче. С молчунами как-то спокойнее было.

— Ну давай еще денька три поживем и двинем.

— Ладно, — нехотя согласился Монгол.

Действительно, за последние пару дней их поляну плотно заселили. Ближе всего к ним подобрался художник Веня. Его синяя палатка стояла метрах в десяти от них. За ним устроились какие-то Жекины знакомые, которым надоело жить на берегу моря. Чуть дальше, тоже на пятачке над обрывом, обосновался Глеб — потертый жизнью флегматик из Запорожья. Выше, над родником, поселились двое толстяков из Москвы, а на самом краю поляны устроилась семья хиппарей с ребенком. Ребенку было года полтора. У него были васильковые глаза и светлый непослушный чуб. Он никогда не плакал, зато все время стремился сбежать от родителей, и если это удавалось, то носился по поляне, по-пингвиньи махая своими короткими ручонками. Родители зорко следили за ним, отлучаясь только по очереди.

— Параноид! — метко назвал его Глеб. — Психоз, связанный с манией преследования.

— А ты кто? Панк? — спросил Монгол.

— Наверное, — неуверенно сказал Глеб.

— Это просто. Ты что слушаешь?

— Гробов, ДК.

— А, ну тогда панк, — сказал Монгол. — Главное, что не «Сектор Газа». А то подделок развелось. Что групп, что панков.

— Я у Летова дома был, в Омске, — сказал Глеб. — Он на первом этаже живет, в обычной пятиэтажке. И это все басни, что у него дома асфальт на полу, а все стены заклеены вырезанными из журналов глазами.

За спиной послышались веселые голоса.

На тропинке несли с родника воду двое москвичей. Над ними веселым волчком крутился целый комариный рой. Полные, одутловатые, не по возрасту похожие на мешки, с налетом присущей жителям мегаполисов детской наивности на лице, они сильно отличались от остальных. К тому же они говорили не привычное «пацаны», а странное и нелепое «парни».

— Привет, парни! — весело крикнул один, задорно взмахнув пухловатой рукой.

— Здарова, — ответил Глеб.

Они прошли мимо, затем, пошептавшись о чем-то, повернули назад.

— Парни! А как вы спите? — непонимающе спросил один. — Прямо так, без палатки, на земле? У вас и спальников нет?

— Не-а.

— И карематов?

— Мы все взяли, но в самолете забыли, — ответил за всех Монгол. — Карематы потеряли, эскалопы испортились. Особенно карематы жалко.

— Да, не повезло вам, парни! — искренне посочувствовали москвичи и двинулись было к своей поляне.

— Эй, парни! А правда, что вы у себя в Москве яблоки в магазинах покупаете? — весело и беззлобно крикнул вслед запорожец Глеб.

— Лучше брать у бабушек на рынке. А что? — удивились москвичи.

— Деньги девать некуда, — прыснул Монгол.

— А еще говорят, что вы воду из-под крана кипятите, — давясь от смеха, добавил Веня.

Те ничего не ответили и, отмахиваясь от комаров, побрели к себе на стоянку.

— Ха, над парнями — комары, а над пацанами нет. Интересное явление, — отметил Монгол.

— На свежую кровушку летят, гады. Кстати, а что такое карематы? — спросил Том.

— Не знаю. В первый раз слышу.

— Подстилка такая, чтобы спинке тепло было, — отвечал Глеб. — Чтобы, значит, жить на берегу моря, как у себя дома, на матрасике.

— Ясно, парни! — Том состроил умное лицо, и все снова захохотали.

— Как они сюда попали, вообще неясно. Прикид яркий, мажорный, но и на мажоров не похожи, раз тут выживают. Как будто мама погулять отпустила и где-то задержалась.

— Да они упакованы по полной! С таким барахлом в тундру ходить можно. Вот сопрут у них майно, — тогда узнают, почем фунт бытия.

— А тут вообще воруют? — спросил Том.

— А то! В прошлом году ребята стояли, аккурат на вашем месте. Палатку, наивные, поставили выходом к обрыву, чтобы в море купаться и видеть, если кто в гости зайдет. Ну, плавают себе, довольные, на палатку поглядывают: все хорошо. Поднимаются, а у палатки спина разрезана. Денег нет, документов. Паспорта, правда, потом вон в тех кустах нашли.

— Том, а где сало? — вдруг спросил Монгол.

— В пакете было, в моей сумке. — Том только

сейчас заметил, что Монгол уже довольно долго роется в вещах.

— Нету здесь.

Они обыскали все вокруг. Все было на месте: документы, вещи, нож. Даже спирт, которого осталось грамм семьсот.

— Мужики, кто-нибудь сало брал? — с последней надеждой спросил Монгол, но все развели руками.

— Если спирт остался, то брал не человек. Скорее всего ежи утащили, — со знанием дела сказал Глеб. — У нас в прошлом году пакет с крупой уволокли. Мы потом остатки в кустах нашли. Я с тех пор всю жратву на деревья вешаю.

— Да там нормальный кусок был, непочатый. Вот маленький остался. Маленький не взяли, сволочи!

— Тут такие ежи! — продолжал Глеб: — С кота!

— Вот же гады, — сокрушался Монгол. — Тут и так жрать нечего, а теперь вообще. Подорвали нашу продовольственную базу.

— Бесполезно. Не найдешь. — Веня, скрестив руки, наблюдал, как в поисках сала Том шарит в колючках самшита. — Лучше думай, как жить дальше. Я, например, картины пишу. Но есть и другие способы заработка. Можно, например,

нарвать винограда и отнести его на рынок. Плюс — его заберут сразу. Минус — скорее всего очень дешево.

Том не отвечал. Сала он не нашел, зато обнаружил в кустах целый лабиринт полузаросших тропинок и теперь блуждал по ним, собирая ветки для костра.

— Можно еще набрать камней, расписать их аюдагами типа Гурзуф-95, и продавать по дешевке. Краску я дам.

— Панк ненавидит капитал и общество потребления. Панк презирает весь этот официальный балаган, именуемый государством. Уважающий себя панк не будет сидеть на берегу и торговать камушками. Это к хиппарям, — сказал Том.

— Есть менее приличный способ. Можно нарвать лаврушки у «Тарелки» или, там, розмарина. Раздобыть дешевых горшков. Воткнуть побеги в горшки и продавать как саженцы. На хлеб с маслом хватит. Минус — нужно валить до того, как они завянут. Хотя вянут они долго.

— Вот подойдет ко мне старушка, достанет свой тощий кошелек… Так я ей сам все и расскажу. И про веточки, и про горшочки. Нет, нельзя такое. Пенсионеры и так государством обижены. Что ж мне, против этих несчастных стариков на

стороне уродов выступать? И хотя их обиженность напрямую истекает из их доверчивости, но все равно как-то… Не по-человечески. — Том вытащил из вороха опавшей листвы спрятанные кем-то ласты.

— О, да это же средства производства! — сказал Веня. — Кстати, в Ай-Даниле есть недостроенный пирс. Трубы такие из воды торчат. На трубах мидий — валом. И народу почти нет.

— Вот это надо попробовать. Мы вечером вернемся. Ты посмотри за нашим местом, чтобы не занял кто.

— Удачи! Если через месяц не вернетесь, я буду считать поляну свободной, — ответил Веня.

Монгол и Том похватали сумки и вскоре уже шагали по пыльной полевой дороге на запад, туда, где за нестройными рядами виноградников утопало в зелени белое здание Ай-Данильского санатория.

— Сейчас пару пакетов нарвем. Один съедим, второй в Гурзуф на продажу, — предложил Монгол. — У ресторана с руками отберут. Хлеба купим. И сала. Не, лучше мяса.

Море штормило. Холодные пенящиеся валы бутылочного цвета с протяжным грохотом катили на засыпанный морским мусором безлюдный

берег. Ветер сдувал их искрящиеся на солнце гребни. Вода, будто вырываясь из морской пучины, медленно карабкалась вверх, все выше и выше, чтобы затем надорваться, непосильной ношей обрушиться с шумом вниз, и, разбившись на мелкие пенящиеся барашки, наперегонки бежать к берегу. Покрыть его на миг белым бархатным одеялом и со свистом, пожирая неосторожные камни, поспешно отступить назад, в пучину.

— С-сссссссссссссссс!

Тому вдруг показалось, что эта разбушевавшаяся стихия злится именно на него, никчемного, отверженного, потерявшегося в собственной жизни. Или это — *сама его жизнь*, что не так давно дула легким бризом в его косой черный парус, вдруг превратилась в мрачную, сырую бездну, готовую проглотить его без остатка…

Они молча брели вдоль кромки прибоя, переступая тут и там через окаменевшие от соли мореные доски, старые измочаленные пакеты, обрывки канатов, мотки свалявшейся ветоши, банки, бутылки и прочий хлам, пока не показались вдали торчащие над водой пеньки ржавых труб. Там же, среди больших валунов, тянулась по берегу бетонная стена. И берег, и стена показались Тому смутно знакомыми, но он никак не

мог вспомнить, где и когда видел этот странный пейзаж. Его вдруг снова охватила странная тревога, неясное предчувствие чего-то неизбежного, какого-то рока, от которого не уйти, не скрыться.

Стена оказалась высотой около двух метров. Монгол подошел к ней и, погладив шершавый бетон, засмеялся:

— Слушай, ну а стена-то здесь при чем?

— Рок. Точно рок, — пробормотал Том и даже остановился. — Мы словно кадры в чужом кино. Иногда пленку назад передергивают. Надоест — выключат…

— Чего?

— Да так. Когда-то мне приснилось, как ты говорил эти самые слова. Вот так, едешь куда-то, доказываешь что-то, думаешь, что свободен, а потом бац… Просто все уже было.

— А тут камушки красивые. — Монгол разглядывал под ногами разноцветную гальку. — Может, реально продавать?

— Это же яшма! Надо домой мешок захватить! Лежать потом будет под кроватью, пока мать не выкинет, — засмеялся Том, надевая ласты.

Ежась от холода, они зашли в воду и поплыли к ржавым, поросшим водорослями трубам. Волны здесь были значительно меньше. Улучив момент,

Монгол схватился за рваный край одной из труб, подтянулся, заглянул внутрь.

— Тут вода теплая. Прям залезай и грейся.

— Ты держи пакет, я буду нырять. Потом поменяемся, — сказал Том и нырнул в холодную темень, к основанию трубы, туда, где ракушки были покрупнее. Схватив одну из них, он попытался было оторвать ее, но она так крепко приросла к основанию, что ему едва хватило воздуха, чтобы с ней справиться. Он переплыл к трубе подальше, но здесь прямо вдоль берега неслась целая морская река, и если бы он не схватился за ее край, его бы непременно унесло куда-нибудь в Ялту.

Повесив пакет на трубу, Монгол выбрался на берег и вскоре принес Тому острую железку. И хоть дело пошло немного быстрее, но через полчаса они замерзли и полностью выбились из сил.

— Ладно, давай отдохнем пока. — Монгол уныло разглядывал скудный улов. В пакете не было и половины.

Они сели на берегу. Лезть опять в холодную воду совсем не хотелось. Вдруг вдали появилась лодка. Она плыла вдоль берега. В лодке сидели два пацана лет десяти. Отчаянно работая веслами против течения, они медленно продвигались вперед, к трубам, пока, наконец, не набросили

на одну из них веревочную петлю. Второй конец веревки был привязан к носу лодки, и она тут же натянулась струной.

— Эй, пацаны! Вы тоже за мидиями? — спросил Том.

— Не, просто плаваем.

— А ласты нужны?

— Покажи.

Том показал ласты.

— Не галоши, размер регулируется. Пакет мидий надергаете, и ласты ваши.

Один парень не проявил к ластам никакого интереса, зато у второго глаза сразу загорелись.

— Годится, — он прыгнул в воду.

— Чего ж ты друга бросаешь? — сказал Том. — Помогай!

Второй пацан прыгнул следом.

— Да, бизнесмен из тебя не получится, — ухмыльнулся Монгол. — Я дрова поищу.

Том сложил под стеной из камней очаг, нашел где-то старую крышку из-под кастрюли, глянул на море. Уже темнело. Пацаны, синие, покрытые мурашками, отчаянно фыркая, рвали мидии.

Наконец, вернулся Монгол. Он притащил на плече длинную цилиндрическую штуковину, сваренную из арматурных, обшитых досками

прутьев. На досках висели лохмотья выкрашенного серебрянкой брезента.

— Видал?

— Что это?

— Какая разница? Лишь бы горело. — Монгол стал обдирать с нее доски, складывая их поленницей у очага.

Пацаны, наконец, залезли в лодку и погребли к берегу.

— Не можем больше. Холодно.

— Ладно. — Том отдал им ласты, забрал пакет. — Пока, пацаны.

— Пока! А кстати, вы знаете, что жжете?

— Нет.

— Здесь когда-то фильм снимали. А это акула, в которой типа нашли письмо капитана Гранта. А вон еще камень оттуда! Ловите!

Из темноты к ним полетел огромный булыжник. Монгол едва успел увернуться. Булыжник врезался в стену, и отскочил от нее как футбольный мяч.

— Офигеть! — Монгол взял его в руки. Это был обтянутый коричневой тканью кусок пенопласта.

— Я думал, что мне кирдык. Вся жизнь перед глазами прошла.

— Может быть, этот камень держал в руках сам капитан Грант! — Захохотал Том, нарезая остатки хлеба.

Монгол суетился у очага, подбрасывая дрова, меняя мидии. Те шкворчали и пузырились, открывая свои беззубые розовые рты, пока, наконец, не застывали, пожелтевшие, на кастрюльной крышке. Запах еды приподнял друзьям настроение.

— Вроде готовы. — Том набросал травы под стеной, разлегся у костра.

Они одновременно схватили по ракушке, отправили в рот.

И — чуть не поломали зубы.

— Что за лажа? Песок? — Том вытащил изо рта несколько неровных перламутровых шариков.

— Это жемчуг!

— Давай сюда. Может пригодиться! На хлеб поменяем. — Монгол достал из сумки спичечный коробок.

К концу ужина жемчужные шарики плотно покрыли дно коробка.

— Эх, хорошо-то как. — Оглядывая суровое, потемневшее от непогоды море, Том прихлебывал горячий чай с мятой. — Знаешь, это вот то самое, настоящее. Ну были бы у нас деньги, — мы б сиде-

ли где-то в Гурзуфе и никогда бы сюда не пошли. А теперь мы жжем ту самую знаменитую акулу, в чреве которой было найдено письмо капитана Гранта! Мы вошли в историю, Монгол!

— И что? — не понял Монгол.

— Это же здорово! Сам посмотри. Безденежье — залог любого приключения. Деньги убивают реальную жизнь. Они дают комфорт, который облепляет нас, делает жизнь набором функций. Самое страшное, что с ним невозможно бороться. От него можно только убежать. Капитал поэтому и живуч, что проник в самое сердце человека. Вырви из него капитал, и станешь свободным, самодостаточным.

— Это все базары красивые. Посмотрел бы я на тебя, если бы у тебя вдруг появились большие деньги, — сказал Монгол.

— Ты хочешь увидеть, как я превращаюсь в мудака? — спросил Том.

— Что, страшно? — Монгол отвел глаза. Было видно, что он хочет что-то сказать, но не решается.

— Что с тобой, Монгол?

— Мне вся эта компания на поляне надоела. Давай здесь ночевать? — сказал он, кивая на склон. — Вон, трава растет. А поляну нашу все

равно никто не займет.

Выложив землю плоскими камнями, они укрыли ее осокой, густо покрывающей крутой покатый берег.

— Да у меня диван на даче тверже! — Том лежал на мягком ложе и курил, глядя, как над горизонтом гаснут вечерние краски.

— Ладно, давай спать. — Монгол уткнулся носом в кулак и закрыл глаза.

— Смотри! Фонарик!

— Где? — вскинулся Монгол.

Кто-то ходил совсем рядом с их стоянкой, у дальнего конца стены, переворачивая у самой кромки прибоя тяжелые морские камни.

— Пойду посмотрю, кто там шастает, — недовольно пробормотал Монгол.

— Пошли. — Том встал следом. — Вокруг пусто, жилья нет. Стреманем его. Только аккуратно.

Дойдя до конца стены, они увидели мужскую фигуру. Человек, застыв в сгорбленной позе, светил себе под ноги фонарем.

Монгол подошел поближе и, цыкнув сквозь зубы, хрипло спросил:

— Слышь, сигареты не будет?

Мужик вздрогнул, выключил фонарь.

— Не курю, — перепугано сообщил он.

— Потерял чего?

— Да нет. Крабов ловлю. — Тот снова включил фонарь и посветил на один из камней. На нем замер, подняв клешни, небольшой, похожий на луноход, краб.

— А зачем тебе крабы?

— Наживка на рыбу.

— А что тут клюет?

— Бычки, барабулька бывает. Ерш берет. Окунь встречается. — Медленно, неохотно говорил мужик, будто выдавая военные тайны.

— А клюет хорошо?

— По-разному. Бывает, что дельфины рыбу к берегу загоняют, — тогда хорошо. Бывает что не клюет.

— А дельфинов вообще едят? — спросил Монгол.

Мужик недоуменно посмотрел на двух собеседников. Они ему явно не нравились.

— Не принято. Это вроде как людей есть.

— Не бойся, — сказал Том. — Ты же неделю назад сидел на этом самом месте и уплетал за обе щеки. И ничего вроде.

— Так он дохлый был, я ж его не убивал, — не моргнув глазом, ответил Монгол.

Мужик молча взял пакет, выключил фонарь и

быстро пошел в сторону Ай-Даниля.

— Как думаешь, поверил? — Том смотрел ему вслед.

— Раз стреманулся, значит, поверил. Не фиг тут лазить. Ладно, давай спать.

Том достал из сумки найденные у Гурзуфа штаны и черную мастерку, переоделся. Штаны были из толстого мягкого хлопка, а капюшон затягивался на лице так, что снаружи оставался только кончик носа. Стало совсем тепло.

— Здорово, — пробормотал он и тут же уснул.

Труп

Монгол проснулся рано. Потянулся, осмотрелся и, зябко ежась, полез на склон, в кусты. Вчерашние мидии явно не пришлись по вкусу его кишечнику. Уже спускаясь вниз, он увидел вчерашнего ловца крабов. Тот был уже без фонаря и пакета, зато держал в руке бутылку вина. Его явно что-то озадачило. Стоя у стены, он колебался, по какую сторону стоит ее обойти. Там, где шумело море, прыгать по большим, омываемым морем валунам, было неудобно и даже опасно. По другую сторону стены, вытянувшись во весь рост, лежал затянутый с головой в черное Том.

Мужик, наконец, решился. Выбрав опасный путь, он запрыгал по мокрым камням. Когда стена кончилась, он, оглядываясь, побежал в сторону Гурзуфа.

Монгол спустился вниз, лег, но заснуть уже не удалось: целая стая чаек, обнаружив объедки их вчерашнего ужина, подняла неимоверный гвалт. Они носились над головой, хлопали крыльями и пронзительно визжали.

— Похоже, природа объявила, что подъем, — наконец сказал Том.

Они собрали остатки вчерашнего хвороста, разожгли костер, и через полчаса уже уплетали наваристый рис со вчерашними морепродуктами.

— Смотри, опять кого-то несет. Просто проходной двор.

Со стороны Гурзуфа к ним приближались два человека. Рядом с ними бежала большая собака.

— Да это опять тот, вчерашний… Точно он. Что это его болтает?

Когда люди подошли ближе, стало ясно, что их знакомый с утра уже крепко нажрался. В одной руке у него была пустая бутылка, в другой — ржавая арматура со следами пенопластовых поплавков. Его напарник, хмурый молодой человек в выгоревшей футболке, молча следовал за краболовом. Рядом весело крутилась и прыгала молодая овчарка.

Пришельцы тупо посмотрели на них, обошли стену, прошли немного дальше, вернулись. Поднялись, прошли над ними по заросшему бурьяном склону, пошарили в осоке, затем вновь спустились к берегу.

— Э, а что ищем? — наконец не выдержал Монгол.

— Тррр-руп! — пронзительно воскликнул му-

жик-краболов.

Друзья притихли, молча доедая остатки еды. И тут Монгола осенило.

— А, теперь ясно! — расхохотался он. — Так вы вечером приходите. Тут такие трупы обычно ночью лежат.

— Ага. А днем их в Гурзуф уносит. С попутным ветром, — добавил Том.

Краболов никак не отреагировал на эти слова. Он все ходил по кустам и среди камней, энергично нагибался, вытягивал шею, замирал на цыпочках, явно раздражаясь отсутствием всяких признаков мертвеца. Зато молодой сел на камень рядом с Томом.

— Я сторожем в Гурзуфе, на лодочной станции, — негромко сказал он, трепля загривок овчарки. — Этот дебил утром прибегает, руками машет: там труп! Там труп! С головой зашит в черное.

Том молча расстегнул сумку, достал мастерку, улыбнулся.

— Вот в это зашит.

— Вот же гад! — сторож с ненавистью посмотрел на краболова. Тот продолжал прочесывать осоку на склоне.

— Взять его! Вкуси! Вкуси! Взять! — скомандо-

вал сторож собаке, тыкая пальцем в краболова.

— Эй, ты чего это? — опасливо сказал мужик. Спускаться он уже не спешил.

Овчарка радостно гавкала и виляла хвостом.

— Ладно, удачи в поисках! — засмеялся Том. — Пошли мы.

И они пошли назад, к роднику.

— Мы уже здесь как аксакалы. Загорели, засолились, — довольно сказал Монгол.

— Тебя домой не тянет?

— Меня? Пока нет. Не, конечно хорошо бы на диване растянуться перед ящиком, миску-другую борща жахнуть. А потом как вспоминаешь всю эту историю… И еще Лелик этот. А ты?

— Тоже непонятно, — сказал Том. — Меня как в магазине с картиной перемкнуло, так ехать решил. И все равно было, что там со мной будет. А теперь вроде отпустило. Еще пожить хочется. На свободе.

— Ну тебе-то проще. Ты, может быть, еще как свидетель прошел бы. А я…

— Это если у ментов по делу проходить. А если эти бандюки найдут, так обоим мало не покажется.

— Это да. Ты Лелику точно доверяешь?

— Доверяю.

— А мне вот кажется, что он стукачок. Думаешь, мало таких? — продолжал Монгол. — Откуда в городе взялся, непонятно. Собирает у себя самых стремных людей. Сам ходит, слушает, кто чем дышит. А потом его раз, и в ментовку. Инсценировка задержания, чтобы агента не спалить. Но палиться на даче не перед кем, поэтому они не очень старались. Вот Серый случайно и засек. Это ж как дважды два… А ты ему все про нас и вывалил. Только зачем ему нас к Индейцу отправлять, я все равно не въехал. Что думаешь?

— Не знаю. Не хочется в это верить…

— Я даже слышал…

— Что?

— Ну, может слухи… — Монгол замялся, умолк. Посмотрел на небо, предвкушая, как вывалит сейчас своему другу страшную, невероятную тайну, после которой мир уже никогда не будет прежним.

Монгол откашлялся, выждал паузу. И выдохнул:

— Его в Макдоналдсе видели!

— Та ладно, — оторопел Том. — Та не… Наврали. А кто видел?

— Знакомый один мой… Не знаю, может ошибся.

— Не может быть! — Том не мог поверить в такое подлое предательство анархических идеалов. — Стоп! А почему тогда ко мне менты приходили, если Лелик нас слил? Он бы сказал, что мы в Крыму. Нет, тут что-то не так.

— Да, опять непонятно, — согласился Монгол.

Они поднялись по пыльной полевой дороге, свернули на тропу и долго шли вдоль забора, разглядывая через сетку чахлые виноградные лозы. Ягод здесь совсем не было.

— Как там твой отец, кстати?

— Бухает, — отозвался Том. — Я был у него после того, как… Ну после Галушки. Больше не ходил.

— Ясно. Все бухают, вся планета, — вздохнул Монгол. — Ну мы-то — ладно, у нас еще печень молодая. А они? Какое-то поколение порченное. Ух, как же я этих всех алконавтов ненавижу. И не поймешь их, на что способны. Никогда непонятно. То ли понты колотит, то ли… Всю жизнь трус, а как выпьет, так… А твой, он как, — реально мог бы?

— Не знаю, — пожал плечами Том.

— Вот сука старая.

— Не говори так, — тихо сказал Том.

— А что не так?

— Это мой отец.

— Мудак он, а не отец, — процедил Монгол.

Том вдруг размахнулся, и что есть силы двинул Монгола кулаком в челюсть.

«Отдых кончился, мастырим лыжи», — подумал он, с ненавистью смотря на друга и ожидая крепкой борцовской ответки.

Но Монгол вдруг улыбнулся своей обезоруживающей улыбкой, сплюнул и, почесав скулу, иронически прищурился.

— Опа. Вечная проблема интеллигента — он не знает, как толково дать в нос. Ну кто так бьет? Это же несложно. Вот почему это умеет любой тупой гопник, типа меня, а ты — нет? Потому что тут мозгами думать не нужно. Любой удар должен идти через голову в мозг, то есть пробивать в затылок. Тогда ты можешь вырубить человека. И чем быстрее ты его вырубишь, — тем лучше, иначе драться не имеет смысла, зря только пальцы разобьешь. А это что?.. Стань вот так.

Монгол как ни в чем не бывало взял Тома за руки.

Том глянул ему в глаза, но и на самом их донышке не увидел ни злости, ни обиды. И машинально повиновался.

— Левую ногу вперед, чуть согни в колене, правую чуть назад, упри ее носком… — продол-

жал Монгол. — Так. Носок правой ноги разверни наружу. Так. Оба колена чуть присогнуты. Под правым каблуком — три пальца от земли.

Монгол опустился на колено, и вставил пальцы под правый кед Тома.

— Так, три пальца, хорошо. А теперь — бей всем корпусом, всей правой частью… Та не рукой, корпусом бей. Проверни носок правой ноги на точке, где стоишь, и выпадай всем телом, чтобы разворот был, чтобы корпус шел. Почувствуй. Рука — это продолжение тела. Видишь, как идет все тело? Бьет корпус, а не рука. Запомнил? Рука идет расслабленная, кулак сжимай только в конце удара. Тогда удар быстрее. Пальцы не подгибай, а в ладонь упри, а то сломаешь. Теперь бей в висок, или в подбородок. Ну, — бей.

Вместо удара Том обнял Монгола.

— Монгол, не говори больше так о моем отце. Не надо.

Они медленно пошли дальше.

— Ладно, не буду. Я как про своего вспомнил, так и закипело. Просто я… Я про своего отца одно помню, — сухим, обезвоженным голосом проговорил Монгол. — Было мне лет пять. Мы тогда в двухэтажке жили. В малосемейке, на втором этаже. У нас был такой маленький балкон. Старый,

ржавый, мы на нем только цветы держали. И вот как-то отец пришел домой, синий в дюпель. Страшный такой, огромный. Красный. Начал орать. Потом стал мамку бить. Я, помню, реву, забегаю на кухню, а мать мне: «Сашенька, иди на балкон, собери народ». Это звучало так глупо, так странно, это я уже тогда понимал. Как можно собрать народ? Но я послушался, побежал на балкон. Выхожу, а под балконом — уже толпа стоит, человек десять: все на меня смотрят. Столько незнакомых, взрослых глаз смотрят на меня. А я — как на сцене, аж голова закружилась. И тут кто-то из них кричит:

— Что у вас там происходит?

А я им кричу вниз:

— Папка пьяный.

И все эти люди — они загалдели недовольно и к нам пошли, разбираться. И кто-то из них тогда отца таки приложил. Или мне, может, так хотелось. Я помню, что отец тогда сильно испугался. То есть для меня это был и не отец как бы, а просто какой-то злой человек, который обижал мать, и его нужно было терпеть.

— А где он сейчас?

— Не знаю. Свалил куда-то. Знаешь, как в песне поется:

Папа может, папа может
Жить с кем угодно.
Только с мамой, только с мамой
Не может жить, —

Монгол замолчал, пнул ногой камень: — Иногда я думаю… Что я вроде как старший брат того себя, маленького. И я уехал куда-то, и не смог его защитить. И мне его жалко, но я не могу его укрыть, не могу ответить. И еще я знаю, что из таких воспоминаний — только два выхода: простить его или убить… Ну, ты понял, как надо?

— Понял. Спасибо, Монгол.

— Не за что. Бей — вкладывайся. Дистанцию держи, сразу не кидайся, а то вдруг там приправа какая. Но если пошел — не останавливайся, при буром, старайся достать. Против света не становись. Солнце там, или фонарь, — лучше чтобы у тебя за спиной был, — так выиграешь долю секунды в реакции… Если он здоровый, — держи на расстоянии. Если можешь свалить — вали. Бей с ноги, садись на руку и бей в голову, пока не вырубишь…

Над ними уже маячил земляной утес, который рисовал Веня. Когда они вернулись на поляну, он разливал кипяток по чашкам. У костра лежал

Жека.

— С возвращением! А у вас тут хорошо. На берегу холодно совсем.

— Как дела?

— Никак. Толик с ума сходит. Жратву делит. Кто сколько съел, кто чего купил. — Жека прихлебывал из кружки дымящийся чай. А еще бандиты московские домой уехали. Те, которые всех поили. У них, оказывается, багажник был водкой забит по самую крышку. И они ее всю в «Тарелке» на шампанское поменяли, бутылку на бутылку. А у них «мерин» черный. Так вот они на него все гуртом залезли, на крышу, на капот. Ехали по набережной и всех вокруг шампанским обливали.

— А еще сегодня утром менты приходили, — сказал Веня.

— И что?

— А ничего. У всех паспорта забрали, и мы пошли в Гурзуф их выкупать. Да, Жека?

— Да.

— Но только у Жеки Толик есть. А кто заплатит за бедного еврея? — вздохнул Веня.

— Что, заплатил? — спросил Монгол.

— Не-а. Я единственный не заплатил. Я ж еврей.

— Как?

— Подумайте сами, — сказал Веня. — Если бы это был штраф, то была бы квитанция. Им же за бабки отчет нужен. Но ведь ежу ясно, что бабки они забирают себе. Ну вот я и спросил: «На каком основании?» Они мне говорят: «Вы нарушаете режим прибрежной полосы». Я говорю: «А где можно прочесть за этот режим? А то мне мама говорила: „Веня, всегда соблюдай законы, а то они вмешаются в твою жизнь“. Покажите мне бумажку, на которой написано: там-то и там-то стоять с палаткой нельзя». Они мне: «Самый умный?» А я: «Вы будете спорить с моей мамой? Это бесполезно!» Они говорят: «Забирай паспорт и вали отсюда». Ну, я не гордый, я и свалил.

Бен Ган

Утром поляна была разбужена громкой песней. В самом ее центре, резко рубя гитарные струны, кто-то орал:

Слышишь сдавленный стон над равнинами рая,

Слышишь песню, в которой – гитара и крик!

Это мчится Бен Ган, сам себя обгоняя:

Его прет, он орет, его крыша горит!

Бенга-ан! Бенга-а-а-а-а-ан!

Том сразу узнал певца.

— Валик, или как там тебя… Татарин, что ты орешь! Утро еще! — спросонья проговорил он.

— Я покинул свой наблюдательный пункт, свою спасительную бухту, бросил свой виноградник, и пришел к вам. — Татарин швырнул свой баул в центре поляны и сел у костра.

— Как тебя звать-то, музыкант? — спросил его Глеб.

— Зови меня Татарин. А еще иногда я бываю Цой, но это по настроению. Можно также обра-

щаться ко мне Бен Ган. Или просто Валик. А по праздникам… Сегодня как раз праздник, — день Солнца! Сегодня я Шопен! Люди доброй страны Крым! Просыпайтесь все!

— Уважаемый Шопен! — из палатки выполз заспанный Веня. — Самодеятельность у нас строго по графику. Прошу соблюдать нормы общежития.

— Без проблем. — Татарин ушел в дальний конец поляны, где тут же принялся наигрывать песни.

Тем утром заснуть больше никому не удалось. Все лежали, молча слушая гитару.

Несмотря на оборванный сон, в глубине души Тому было радостно, что на их поляне появился немного чудаковатый, но талантливый человек. Монголу же такое соседство с самого начала не понравилось.

— Вот вечно ты приглашаешь не пойми кого. Превратил поляну в проходной двор, — ворчал он. — При молчунах хорошо было. Тихо.

— Поляна принадлежит всем классным людям. Этот — классный, — спорил Том. — А молчуны сами ушли, никто их не выгонял. Тут я не виноват. И вообще это все Назарыч дейстройщик.

— У нас такое правило. Кто новый пришел, тот

еду и готовит, — сухо сказал Веня.

— Вам повезло. Вас ждет не просто стол, а праздничный стол. Я буду готовить пищу богов!

Валик, устроившись у костра, стал чистить и резать лук, собранный Веней около рынка. Луковицы были мелкие, подгнившие. Валик резал их и плакал. Веня принес большую кастрюлю.

— На Западе, — расхаживал он у костра, — чтобы не плакать, перед каждой нарезкой лука точат нож.

— Запад непревзойден, — утираясь, говорил Валик.

— А на Востоке считают, что от слез помогает, если за уши засунуть луковую шелуху, — продолжал Веня.

— Восток непостижим, — Валик, обливаясь слезами, молча творил божественную пищу.

— Но, я вижу, эти способы не для таких могучих титанов, как ты.

— Нет, — соглашался Валик.

— Так чего же ты плачешь?

— Я плачу от счастья, — отвечал Валик. — Сегодня бессмертные боги будут завидовать смертным.

— Да, — Веня с сомнением посмотрел на творение его рук. — Как говорила моя бабушка, ты как

Жванецкий, только даром.

Наконец, вода в большой Вениной кастрюле закипела. Валик ухнул туда пачку риса, бросил следом остатки кислого винограда, принесенного кем-то из ближайшего виноградника.

— Созвездие Мыши сошлось с созвездием Ящерицы! — закричал он, повязав на голову огромное полотенце и колдуя над огнем в стиле средневекового алхимика. — Этот день вы не забудете никогда!

— И мне кажется, что ты прав, — скептически усмехнулся Веня. — Не пойму только, почему меня это тревожит.

Когда рис сварился, Валик вылил в кашу полбутылки припасенного портвейна.

— Готово. Налетай!..

Жители поляны мигом набросились на еду, но вскоре потеряли энтузиазм и, побросав ложки, разошлись. Обед был необычно коротким.

— На моей памяти это первый и единственный раз в истории вечно голодного крымского человечества, когда оно не смогло доесть еду до конца. — Веня сидел у свой палатки, в задумчивости ковыряя в зубах и глядя в небо. — Впрочем, здесь нет ничего удивительного. Смертные никогда не станут богами. Их примитивные, низ-

менные вкусы не способны подняться ввысь, они навсегда прикованы к запаху жареной плоти.

— Он просто не знает, что кровью написаны не только правила техники безопасности, но и поваренная книга, — мрачно добавил Глеб.

Не унывал один Валик. Плотно пообедав, он принялся обустраивать выбранный им уголок поляны, время от времени хватая гитару, чтобы наиграть на ней приходящие на ум строки.

— Бен Ган!!!! Бен Гаааа-ан!!!!

В промежутке между творческими порывами он достал из большого армейского баула и развешал на ветках свои многочисленные вещи. Тут были футболки, майки, шорты, тельняшка, спортивные штаны, носовые платки, большое махровое полотенце и даже цветастый флаг какой-то африканской страны.

Когда песню «Бен Ган», вопреки своему желанию, выучили все вокруг, Валик немного успокоился, и тут же приступил к написанию следующей.

Кто-то тихо играет на дудочке.
Кто-то тихо говорит слова.
И от этих слов, от этой музычки
Улетает моя голова.

Он брал тексты легко, словно из ветра. Все живое вокруг вежливо и терпеливо радовалось. Но готовить ему больше не доверяли.

В ресторане

День, как обычно, прошел в мелких заботах — собирании дров, штопке вещей, готовке. После обеда из Гурзуфа вернулся Веня. Он продал одну из своих картин и принес еды.

Монгол целый день ходил сам не свой. Его переполняло приподнятое праздничное настроение. Наконец, к вечеру он не выдержал, подошел к Тому и, заговорщицки подмигнув, вытащил из кармана стодолларовую купюру.

— Хотел на Планера оставить, но передумал. Ну что, гульнем?

— Откуда? — недоверчиво спросил Том.

— Петрович дал, — лицо Монгола сияло.

Лицо Тома вытянулось, глаза будто потемнели, стали колючими, как мелкие горошки перца.

— Что, нищим на море неплохо подают? — сухо ответил он. — Гопник ты, а не панк.

— Я?! — обиделся Монгол. — Да пошел ты. Чегевара хренов.

— Сам пошел. — Том отвернулся.

Монгол плюнул, взял свою сумку, вытряхнул ее содержимое, перебрал. Надел чистую рубашку, для виду немного покрутился на поляне.

— В последний раз спрашиваю: в Тифлис идешь?

— Нога болит, — отрезал Том. — Иди, гуляй, мажор.

Монгол повернулся и молча зашагал в сторону города. Чувствовал он себя неловко, но самое неприятное было в том, что он никак не мог разобрать, в чем причина этой неловкости.

— Ну да, конечно, ты остался, потому что ты типа выше денег. Весь такой чистый, святой прям. Но, если разобраться, то что я такого сделал? Украл? Нет. Отобрал? Тоже нет, — бормотал он себе под нос, разводя руками. — У них денег девать некуда, сами раздают. А это вообще пропуск: Петрович мне на ней адрес написал. Так в чем дело?

Он снова прислушался к себе. Стало немного легче, но мутный осадок предательства почему-то оставался в душе.

— Да кого я предал? — чуть было не закричал он. Остановился, посмотрел вокруг. Перед самым городом, у спускающейся к берегу бетонной дороги курил человек. Монгол стрельнул у него сигарету. Глубоко затянулся, пошел было дальше. Потом обернулся, посмотрел вдаль, на узкую полоску берега под неровным сыпучим обрывом.

— Ну и сиди там, придурок замороченный, —

буркнул он и, окончательно смахнув паутину ненужной рефлексии, бодро зашагал по бетонке наверх.

Вечерний Гурзуф встретил его ароматами жареного мяса и женских духов. Монгол сбавил темп, не спеша, с предвкушением праздника прогулялся по набережной, вальяжно зашел в какой-то ресторан, украшенный у входа большими пальмами в тяжелых деревянных кадках. Вечер только начинался, посетителей было немного. Он выбрал себе столик в углу и с наслаждением погрузился в мягкое кожаное кресло. Наконец, подошел официант.

— Что будем заказывать?

— У вас эскалопы есть? — как можно небрежнее спросил Монгол.

— Эскалопов нет.

— Ну тогда мне борщ и пюре с биточками.

— А что пить будем?

— Водки, сто пятьдесят. Не, давай двести. А вы валюту принимаете?

— У нас ресторанная наценка, свой курс.

— Хорошо.

— И сдачу мы даем рублями.

— Ладно. Можно меня сразу посчитать? — Монгол широко протянул зеленую бумажку.

Официант взял купюру, покрутил ее в руках, рассматривая написанный адрес, брезгливо посмотрел на свет. Ушел, принес еду и сдачу.

Монгол не собирался здесь надолго засиживаться. Еще недавно он был нищ, но теперь в его карманах было без малого полтора миллиона. Примерно три зарплаты.

«Странно», — подумал он, время от времени трогая располневшие карманы, словно боясь, что они исчезнут. От сотни непонятных баксов не было того ощущения денег, которое давали теперь эти плохо намалеванные украинские рубли. У него даже слегка закружилась голова: он не помнил, держал ли вообще в руках такую сумму. Да еще где? На юге, на курорте, сидя в ресторане!

— Свобода, Том, — это не голодать у ручья, — пробормотал он себе под нос. — Свобода — это когда можно позволить.

Наевшись до отвала, он откинулся на спинку стула и закурил, лениво рассматривая стену бара, где стояли соки и всевозможные экзотические бутылки. Непривычно сытная еда и водка разморили тело, но душа металась в нем, она страстно требовала приключений. Чтобы четкая музыка для души, чтоб красивая девчонка на коленях, и он — при деньгах и при параде. Чтобы все вокруг

только и говорили: о, ты крут, о, как же ты крут, чувак!

«Видела бы она меня сейчас», — он вспомнил о Веронике, их мимолетное, так нелепо оборвавшееся знакомство.

Где-то в глубине души саднила история с Томом, но тут ему в голову пришла спасительная мысль. «Ладно, посмотрим. Вот когда мешок жратвы принесу на поляну, чтобы на всех. Мяса принесу, хлеба, шампанского. Тогда и посмотрим, какой ты герой. Будешь жрать, или нет». Улыбнувшись своей находчивости, он повернулся к выходу и вдруг увидел, как в дверном проеме, цокая высокими каблуками, появилась высокая девушка. Откинув непослушные рыжие волосы, она прошла мимо него, обдав волной духов, и села на высоком стуле у бара.

— Валера, соку мне налей, — небрежно сказала она бармену.

Монгол, развалясь в кресле, с удовольствием разглядывал ее стройную фигурку. Идти куда-то еще ему сразу расхотелось. Он вдруг понял, что впервые за всю поездку избавился от столь любимых Томом случайностей судьбы и стал, наконец, хозяином положения.

Немного посидев для приличия, он не спеша

подошел к бару, сел рядом с девушкой.

— Слышь, братуха, коньячку мне плесни.

— Какого? — спросил бармен, чем застал Монгола врасплох.

— Хмм… Вон того. — Монгол показал на пузатую бутылку, напоминающую большой пузырек с духами. — Пятьдесят граммов.

— Это «Камю», он очень дорогой. Наливать? — с профессиональной ноткой неуверенности спросил бармен.

— Наливай, наливай, — небрежно сказал Монгол.

Валера взял большой фужер, налил. Коньяка оказалось на донышке.

Монгол небрежно понюхал содержимое фужера, и, посмотрев на соседку, выпил залпом.

Соседка, хлопнув длиннющими ресницами, пробежала по нему взглядом и вдруг прыснула. Она действительно была очень красива. Тонкие черные брови, небольшой округлый рот с припухшими, будто от долгих поцелуев губками, зеленые глаза, полная грудь, слегка не соответствующая ее узкой талии.

— Привет, — невозмутимо сказал Монгол, будто только заметил эффектную соседку.

— Привет, — кокетливо ответила та ему, буд-

то старому знакомому, и снова глянула на него пронизывающим, как рентген, откровенным взглядом.

Монгол немного смутился, чувствуя, как к лицу приливает жаркая волна крови. В горле сразу пересохло.

— Выпить хочешь? — прохрипел он.

— Купи мне шампанского, — она сразу перешла на «ты» с той многообещающей ноткой капризничающей девочки, которую вначале нужно повеселить.

— И еще раз коньяк и шампанского, — заказал Монгол, почувствовав во всем теле накатывающее возбуждение.

Бармен разлил алкоголь, отошел.

— Ты местная? — спросил Монгол, чтобы что-нибудь спросить.

— Не-а, приезжая. С Дальнего Востока.

— Ну, и как там?

— Где?

— На Дальнем Востоке.

Девушка усмехнулась.

— Ну раз я здесь, то, значит, наверное, не очень, — жеманно ответила она.

— Сейчас в России везде не очень. Скоро она совсем развалится, — авторитетно заявил Монгол.

— Думаешь?

— Все так говорят.

Девушка отхлебнула шампанского, посмотрела куда-то в сторону.

— Да и пусть.

— Не жалко?

— Не-а. Там уже жалеть нечего. Как Мамай прошел.

Она помолчала, окинула взглядом стойку.

— Но вообще и здесь тоже не очень. Я за такие деньги могла бы и у себя работать.

— Загадочная русская душа, — хмыкнул Монгол. — А ты здесь работаешь?

— Рядом, по соседству. Смена кончилась. — Она протянула узкую руку с длинными, ярко-красными ногтями к фужеру, и они чокнулись.

— Меня Виолетта зовут.

— Очень приятно. Меня Саша. А ты красивая.

— А я знаю, — в тон ответила она и, стрельнув взглядом, отвела глаза.

— А хочешь «Амаретто»? Ликер такой. Пробовала?

— Да, хорошая штука. Валера, плесни мне «Амаретто», — обратилась она к бармену.

— А я вон ту штуку попробую. Виски.

— Он дорогой очень, — уважительно сказала

Виолетта.

— Я обычно бренди пью. Французский. Своп. Неплохая вещь. — Монгол небрежно достал из кармана толстую пачку купюр. Девушка отвела взгляд.

Время текло тонкой струйкой в фужеры, пьянило, кружило голову, обещая роскошный сказочный вечер. На стойке перед ними появлялись то экзотические коктейли в больших треугольных рюмках, то высокие фужеры с долькой лимона, то широкие и тяжелые стаканы-бочонки. Деньги таяли.

«Как бы все не пропить», — думал Монгол, чувствуя, что не может оторваться от ее глаз. Это сладкое общение целиком захватило его, как наркотик, как липкая цепкая паутина.

Ее тоже слегка развезло.

— И она потом уехала в Италию, родила ребенка, потом развелась. Муж ей отписал дом на побережье, машину. Живет теперь в свое удовольствие! Представляешь? — Она засмеялась, невзначай прикоснувшись к его руке.

— Чего руки такие холодные? — спросил он, уже плохо понимая, о ком она.

— Не греет никто.

— Я согрею, — сказал он, приобняв ее и уже

откровенно пожирая глазами ее декольте.

Темнело. Ресторан медленно наполнялся посетителями. По стенам загорелись, побежали цветные веселые огоньки, зазвенела посуда, слышался приглушенный смех. К дальней стене зала вышли одетые в белые костюмы музыканты, вынесли аппаратуру, стали настраиваться и, наконец, заиграли. Молодая солистка в блестящем облегающем костюме затянула унылую, как степь, кабацкую песню. Затем вышел плотный пожилой мужчина в белом пиджаке, шляпе и клетчатых брюках.

Плыла луна среди ветвей,

В пруду пиликали и квакали лягушки,

А в том саду пел соловей,

И мы с Маруською молча чавкали ватрушки.

И вот пошли с Маруською в ЗАГС

И расписались там в журнале для начала,

А чтобы брак наш укрепить,

Святая церковь нас с Маруською обвенчала.

Песня всем понравилась. Ресторан долго хло-

пал, женщины то и дело кричали «Браво!»

— Бока, «Черный ворон», — крикнул кто-то из глубины зала, подняв в руке купюру.

— Пошли? — Монгол пригласил Виолетту на танец.

— Я плохо танцую.

— Я тоже. — Он взял ее за талию и они медленно закружились, стараясь попасть в такт.

Мужик в шляпе, задрав брови, затянул на восточный манер:

Черный ворон труба черная черней,

Жизнь проходит из одних только черных дней.

Всюду горе и в душе моей темно,

Вот такое черно-белое кино.

— Плохо стучит, — сказал Монгол, кивнув на барабанщика. — Сейчас я покажу, как надо.

— Саша, не надо! — попросила она, и он сразу понял, что надо.

— Надо! — сказал он, подошел к барабанщику и, когда тот опустил палочки, попросил сесть. Тот не хотел, что-то говорил.

— Вставай! Я тоже барабанщик! — гордо сказал Монгол, сунув ему несколько купюр.

Ах, как больно, как обидно, – не пойму
В этот черный день по-прежнему пою.
И никто ведь не увидит слез моих,
Как всегда ты, я чужой среди своих.

Монгол устроился на стуле, но был неприятно разочарован. Барабаны стояли странно и неудобно, ему никак не удавалось развернуться. К тому же сама установка состояла лишь из рабочего, хета и одной тарелки. Кое-как отстучав песню, он вдруг увидел, что Виолетта, слегка пошатываясь на каблуках, побрела к выходу. Он догнал ее у самых дверей.

— Прости, мне нужно идти, — сказала она.

— Я тебя провожу!

— Нет, не надо. Я рядом живу.

— А зачем тебе домой? Может, погуляем, искупаемся?

— Меня от этого моря воротит. И купальника с собой нет: я ж с работы.

— Я отвернусь! — сказал Монгол, глядя ей в глаза.

Она засмеялась, чмокнула его в нос.

— Если хочешь, то я переоденусь, и скоро вернусь, — загадочно прошептала она.

— Приходи конечно, я буду ждать, — обрадо-

вался он.

Она длинно посмотрела на него, резко отвернулась, будто обрывая магию момента, и легко побежала вниз по ступенькам. Монгол посмотрел ей вслед, а затем, засунув руки в карманы, победно прошествовал за свой столик. Ему было хорошо! Сердце пело! Сердце стучало так, как умеет стучать только сердце барабанщика!

— Братан, в картишки не желаешь? — скучающим голосом обратился к нему худенький чернявый паренек, перелистывая в руках замусоленную колоду.

— Не, не хочу.

Паренек ушел.

Прошло еще полчаса. Монгол сходил в туалет, умылся. Холодная вода на миг отрезвила его. Проверив карманы, он вытащил из сильно похудевшей пачки купюру в 50 тысяч.

— Мало ли. Хоть на хлеб, — пробормотал он, стараясь не думать о еще недавно нарисованном в его воображении роскошном пире, который собирался устроить на поляне. — В конце концов всех кормить я не собирался, а Том сам виноват.

Засунув купюру в носок, он вернулся в ресторан и заказал себе еще выпить.

— В «Буру» срежемся? — к нему снова подошел

Чернявый. — А то я автобуса жду, одному скучно.

— Денег нет, — ответил Монгол.

— Да не боись, на просто так поиграем, на счет, — сказал Чернявый.

— Развести меня хочешь? На просто так — это на «без интереса».

— Музыку знаешь, музыкант? — Чернявый усмехнулся, почесал нос. Будто еще раздумывая, подсел за столик и перетасовал колоду. — Ну ладно. Давай тогда на «без интереса». Сдвинь.

Монгол рассеянно глянул на дверь ресторана.

— Ладно, давай.

Чернявый раздал по три карты.

— А я тут сижу, жду автобус, даже поиграть не с кем, — скучно повторил он. Монгол вскрыл карты. Ему повезло.

— Тридцать два, — гордо объявил он.

— Двадцать пять, — сказал Чернявый. — Молодец. Сдавай, а мы запишем.

— Зачем писать, если на интерес? — спросил Монгол.

— Порядок такой. — Чернявый достал листочек и записал выигранную Монголом цифру.

Монгол раздал карты. Ему снова повезло, потом снова. Через полчаса игры на бумажке красовались цифры 0–500.

— А ты хорошо играешь! — восхищенно, но как-то слишком деловито произнес Чернявый. — Сам где обитаешь, братишка?

Это скучающее внимание насторожило Монгола.

— Там, — Монгол неопределенно махнул рукой.

— Отдохнуть приехал? А сам откуда?

— Из Харькова, — он улыбнулся.

— О, земеля! — потеплевшим голосом сказал Чернявый. — А там где?

— У Барабашки живу. — Монгол плохо знал Харьков, но зато вспомнил название рынка.

— Я видел, как ты стучал. Хорошо работаешь. Ты лабух?

— Не, чисто панк-группа. Никакой коммерции.

— Я люблю панк. «Сектор Газа» уважаю, пацаны четко за жизнь поют. Пришел бы вас послушать. А где в Харькове играете?

— Сумская, 10. — Монгол сказал первое, что пришло в голову. — Базара нет, приходи. Бесплатно пропустим.

— Зайдем, послушаем. Сдвигай.

Монгол выиграл еще пару раз, но везти вдруг резко перестало. Чернявый начал отыгрываться.

— Что-то ты форму теряешь! — ухмыляясь, раз

за разом сдавал он.

Виолетты все не было.

«Где же она ходит?» — подумал Монгол, то и дело поглядывая в сторону выхода. Ситуация начинала его напрягать. Музыканты уже ушли, за ними потянулись и посетители. Зал опустел, ушло куда-то и ощущение праздника. За последние полчаса Монгол не только не взял ни одной взятки, но и ушел далеко в минус. Впрочем, он расстраивался не столько из-за игры, сколько из-за отсутствия девушки.

«Кинула меня. Бухнула на халяву, и кинула», — подумал он, вздохнул.

— Пять сотен торчишь! — радовался его соперник.

— Бывает. — Монгол криво улыбнулся, решительно хлопнул себя по почти пустым карманам. — Ладно, благодарю. Хорошо поиграли.

И он, пошатываясь, встал из-за стола.

— Э, ты куда собрался, зема? — Чернявый подружески улыбнулся.

— Та стрела у меня с девчонкой. Гулять буду.

— Так дела не делают. Ты проиграл, — нужно расплатиться. — Тихо, но одновременно твердо сказал Чернявый.

— Ты что, с дуба рухнул? — Монгол остано-

вился, вперив в собеседника жгучие перчинки глаз. — Мы ж на «без интереса» играли. По всем понятиям это не на бабки.

— Бабки на рынке семечки продают. — Чернявый глядел на Монгола снизу вверх. — Ты же вроде музыку блатную знаешь, зема? За стол без денег не садятся. За такое по любым понятиям закукарекать можно.

— Шо ты сказал? — Монгол удивленно глядел на тщедушного и явно глупого собеседника, и не верил своим глазам. «Вырубить его с ноги, и уйти? Или поиздеваться?» — думал он, ожидая, когда на него накатит справедливая волна гнева.

Чернявый явно чувствовал угрозу. Он весь подобрался, вжавшись в кресло и, не спуская глаз с Монгола, нервно теребил колоду карт.

Но злость не приходила. Самоуверенные слова Чернявого настолько не соответствовали его тщедушной комплекции, что эта отчаянная храбрость вызывала к собеседнику и уважение и неподдельный интерес.

«Я его выключу, свалю, а она сейчас придет. Нужно еще немного потянуть». — Монгол сплюнул, демонстративно повернулся, и вразвалку подошел к бару. Обернулся, оглядел пустой ресторан, и вдруг рассмеялся. Он понял, наконец, в чем

дело. Этот нагловатый картежник до боли напомнил ему Тома. Та же упертая вера в силу слова, совершенно не подкрепленная собственной физикой. Только если его приятель летал в своих бескорыстных фантазиях, то этот харьковчанин был вполне земным. Но если он такой земной, то почему не боится? Каратист? Нет, слишком дохлый, и к тому же курит. На спортсмена вообще не похож. Здесь был какой-то секрет, ребус, который ему ужасно хотелось разгадать.

— Повторить? — бармен посмотрел на Монгола.

— Налей-ка мне того самого. «Камю». — Он порылся в карманах, собрал оставшиеся деньги. — На сколько тут хватит?

Бармен пересчитал деньги.

— Сто пятьдесят грамм.

— Пополам, в две тары.

Взяв бокалы, он вернулся к своему столику, сел напротив. Долго посмотрел в упор на Чернявого, ухмыльнулся, подвинул бокал.

— Держи, орел. А ты не боишься, что я тебя здесь похороню?

Чернявый отхлебнул из бокала.

— Хороший коньяк, — невозмутимо ответил он.

— На последние деньги купил. — Монгол вдруг захохотал, неподдельно восхищаясь самим собой. — Нету ничего. Мы, панки, — такие. Для нас бабло — пыль.

— Для меня тоже. — Чернявый поглядел в опустевший фужер. — Как будешь долг возвращать?

— А ты мне нравишься. Я вообще уважаю тех, кто борзеет, и не боится. — Монгол откинулся на спинку, привычно глянул в сторону выхода. — Ты типа меня развел, да?

— У каждого свой хлеб.

— Ну вот скажи мне, чего ты такой ушлый? Зачем тебе бабки?

— Тратить.

— На что?

— На себя.

— Ну вот потратил ты их на себя, и что дальше?

— Мне нравится.

— Деньги счастья не приносят. — Монгол будто забыл, как и почему оказался в ресторане. Он старался говорить языком Тома, будто бы споря с самим собой, и одновременно втайне желая услышать самого себя со стороны. — Для панка деньги — это вообще мусор.

— Мусор? Ну так отдай мне тот мусор, что

проиграл. Зачем он тебе? — ровно и спокойно отвечал Чернявый.

— Видел я этих богатеев, — продолжал Монгол, не особо веря себе. — Тоска одна. Ты понимаешь, что не в бабле счастье?

— Я знаю. Если не в бабках счастье, то чего они тебя парят? Верни долг, и живи без денег.

Монгол ухмыльнулся. Да, все именно так, все было правильно. Эта простая и понятная житейская философия была ему куда ближе, чем жертвенные умозаключения Тома. Конечно, будь тот рядом, то задвинул бы куда более убедительную и заковыристую телегу о бескорыстии и всеобщей любви. Монгол и сам любил послушать Тома, даже не понимая, почему. Но его не было. Зато как раз в этот самый момент дверь в ресторан распахнулась, и на пороге показались пятеро крепко сбитых ребят и девушка. По-хозяйски оглядев помещение, они сразу направились к их столику. Впереди, раскачивая плечами, шел крепкий блондин в короткой кожаной куртке. Его бицепсы с трудом вмещались в ее совсем не узких рукавах.

— Здарова! — Все кроме девушки поочередно поздоровались с Чернявым за руку, мельком взглянули на Монгола. — Проблемы?

— Да вишь, лабух пятьсот баков заторчал, а отдавать ломит. — Чернявый сразу расправил плечи, расслабился. Его голос стал громче, увереннее.

— Базар не по понятиям, — сказал Монгол, трезвея и лихорадочно соображая, что делать. Ребус сложился, но настроение сразу испортилось.

— Понятие одно: играть сел — бабульки на стол, — сказал кто-то из пришедших.

— Да ладно, пацаны, понял я, но бабла все равно при себе нет. — Монгол выдавил улыбку, похлопав себя по карманам. — Даже на билет домой. Все пропил.

— Если на билет нет, можно к ментам на вокзале подойти, — неожиданно сочувственно произнесла девушка. — Если сказать, что ограбили, они справку выпишут и в поезд посадят.

— Ирка, рот закрой, тебе слова не давали. Пойди вон, лучше у Валеры пробей, — сказал Блондин.

Девушка фыркнула, недовольно пошла к барной стойке. Переговорив с барменом, вернулась.

— Пустой вроде, — небрежно бросила она.

Монгол взял свой бокал, жадно допил до дна. «Если одного со мной пошлют, то вырублю. А если двое, а если с пушкой?»

Компания хмуро стояла вокруг стола, как врачи

у постели умирающего, соображая, что делать с трупом.

— Ты где живешь?

— В Харькове, — ответил Монгол. — Пацаны, мы ж земляки.

Компания захохотала.

— Чувак, ты еще жив, потому что земляки, — произнес Чернявый.

Все снова засмеялись. Смеялся и Монгол. Со стороны это напоминало встречу старых друзей.

— Зема, а здесь где остановился?

— Там, наверху, — ответил он, небрежно махнув рукой.

— Бабки дома есть?

— Да говорю же, пропил все.

— А ну, встань.

Монгол встал, пошатнулся.

Один из пацанов похлопал его по карманам, по рубашке.

— Пустой.

— Ладно, — наконец сказал Чернявый. — Ты мне коньяк купил, а я добрый, когда кто-то добрый. Завтра вечером приходи сюда, с ловэ. Займи у соседей, или пусть родственники телеграфом вышлют. Ты же не сирота? С друзьями приходи. Если завтра бабулек не будет, — мы включаем

счетчик: по сотне тысяч в день. И не шути, а то на Барабашке тебя все равно поймаем. В студию зайдем, аппарат заберем. Ты понял?

— Понял. Лады, пацаны. — Монгол встал из-за стола и, не оглядываясь, направился к выходу.

«Как лошка развели, красавцы, — думал он, жадно вдыхая свежий морской воздух набережной. Оглядываясь назад, не идет ли кто, он судорожно перебирал, как бусины, события вечера. — Но я тоже не идиот».

И тут он увидел ее. Виолетта стояла у обочины дороги. Она была одета в длинное зеленое платье, которое делало ее стройную фигуру еще утонченнее. Фонарь эффектно освещал ее спадающие волнами на плечи огненные волосы.

Рядом, на высоком каменном парапете стояла пустая винная бутылка и два полных стаканчика.

— Ну наконец-то! Привет, — немного обиженно сказала она, откинув волосы. — Где ты ходишь?

Эта фраза прозвучала так обыденно, так по-домашнему, будто ревнивая жена разговаривала со своим мужем.

— Я тебя внутри ждал, — удивился он своей недогадливости. — Мы же вроде договаривались…

— Наверное не поняли друг друга. — Виолетта передернула плечами, как бы стараясь забыть досадное недопонимание. — Держи.

Монгол взял стаканчик. «Надо же, стояла, терпела. Ждала меня ночью. Значит — верная», — уважительно подумал он.

— Прогуляемся?

— Конечно!

Они медленно шли вдоль набережной, пока не остановились у скамейки, укрытой густой листвой цветущего олеандра.

— Прикинь, а здесь гранаты растут, — сказала спутница.

— Настоящие гранаты? — не поверил Монгол.

— Ага.

— Где?

— Да вон, — висят.

Монгол вгляделся в темный куст свисающих из-за забора веток, покрытых мелкими зелеными листочками. Затем подпрыгнул, схватился за ограду и, подтянувшись, сорвал с длинной, как удочка, ветки красноватый плод. Гранат оказался совсем небольшим, и к тому же незрелым. Он был полон белесых, слегка розоватых ягод. Но это был настоящий, экзотический плод!

— Обалдеть! Гранаты! — восхитился Монгол,

впившись зубами в кислые незрелые зерна.

— Выкинь, — Виолетта взяла его за руку, выбросила гранат и, вернув ему стаканчик, загадочно улыбнулась: — Ну что, за нас?

— Ага. — У Монгола слегка закружилась голова. То ли эти нехитрые слова выбили из него остатки разума, то ли после пережитого в ресторане ударил в голову запоздалый хмель. Он почувствовал себя будто древний рыцарь, который, чудом спасшись от чудовища, освободил свою возлюбленную из заколдованного замка.

Чокнулись.

— Выходи за меня замуж, — неожиданно для себя ляпнул он и тут же подумал, что сказал это слишком рано. Поспешно и, наверное, не к месту.

— Я подумаю, — Виолетта смущенно повернулась, обдав его волной сладких духов и кокетливо моргнула длинными ресницами.

И они снова чокнулись.

Монгол выпил и подумал, что уже не жалеет о сказанном. Что вот оно и наступило, то долгожданное счастье, когда все по-взрослому, а это и есть та самая, единственная, которую искал. Та самая любовь, о которой мечтают пацаны, — чтобы оба, чтобы с первого взгляда, чтобы красивая,

чтобы верная, и — до гробовой доски. Когда чувства — глубже, чем слова, и куда весомее, чем все эти глупые басни убежденных холостяков-неудачников. Когда больше никто не нужен, да и большего нечего ждать, поскольку и нет ничего большего, чем сердце, переполненное любовью к красивой и желанной женщине!

Запах ее духов, ее глаза, близкие, манящие, ее талия, ее грудь, — все это было его, его родным, его любимым, будто принадлежало ему всегда, просто пряталось где-то до поры, до этой сладкой поры обладания.

Виолетта переминалась с ноги на ногу, будто ждала чего-то. «Она ждет от меня каких-то важных слов, дел», — осенило его.

— Ты не подумай чего. Я тебя как увидел, так сразу и полюбил. У меня серьезные намерения. Я все могу, я, знаешь… У меня знаешь, какие друзья! У меня квартира есть. У меня мама добрая. Она будет любить тебя, — ты не думай. А какие она борщи варит!

Виолетта молчала. Монгол осекся.

— Я забыл, а ты откуда приехала? — сказал он, чтобы что-нибудь сказать.

— С Венеры, — ответила девушка.

— Я сразу понял, что ты с другой планеты, —

сказал он, удивляясь самому себе, своему лирическому настрою… И в этот миг его мозг, будто старая патефонная пластинка, медленно остановился…

…Сознание вернулось к нему уже глубокой ночью. Он лежал на боку, явно на скамейке, судорожно хватая ртом воздух. Его, видимо, только что стошнило: изо рта медленно стекала тягучая слюна. Он попробовал пошевелиться, но не смог. Все тело потеряло чувствительность, превратилось в бревно. Откликался почему-то лишь придавленный телом мизинец левой руки. Перед глазами мутным расплывчатым пятном блестели залитые рвотой доски скамейки. Напротив, неподалеку, стоял фонарный столб. Его яркий белый свет до боли, будто сваркой, резал ему глаза.

Где-то совсем рядом звенели женские голоса.

Он прислушался. Сознание было словно в сумерках, но все же достаточно ясное, чтобы понимать, что происходит.

— Ты его убила? — спрашивал высокий женский голосок. Монгол узнал его. Это была та самая Ирка, которая пришла в бар с компанией Чернявого. Ему стало неуютно от своего беспомощного состояния.

— Не-а, пожалела, — отвечала ей Виолетта. —

Забавный такой лошок, из провинции. Жениться мне предлагал.

— А деньги? Не нашла?

— В карманах нет. Похоже, что пропил все, гад. Или спрятал где-то. Я видела у него не меньше лимона.

— Мальчики тоже ничего не нашли. Валера на баре сказал, что должны вроде остаться, но я Артуру не сказала. Он в последнее время на меня совсем волком смотрит. Кобель.

— Может, в трусы спрятал? Или в носки?

Монгол почувствовал, как холодные женские руки снимают с него ботинок.

Он опять попытался пошевелиться, но с ужасом понял, что совершенно парализован. Его тело было будто придавлено тяжелой каменной плитой.

— О, и вправду что-то есть! Ха, да тут копейки. На опохмел оставил, гад.

— А в трусах поискать не хочешь?

Девушки снова засмеялись.

— Ты мне, кстати, за юбку Ленкину еще должна.

— Да помню я. Видишь, не подфартило. У-у, гад. Все пропил. Только зря клофелин потратила, — ответила Виолетта, и Монгол почувствовал легкий удар каблуком.

— Злая ты, Танька. Он на тебе жениться хотел.

— Как же, жениться! С его мамой жить в Кацапетовке? Им, кобелям, одно нужно, — запрячь и ехать. Ладно, пошли домой. Вон книжка какая-то валяется… Подложи ему под голову, что ли, чтобы язык не заглотил.

И девушки, весело смеясь, зацокали по набережной своими высокими каблуками.

Город мертвых

...Монгол шел по узкому и длинному коридору. По обе стороны, в грубо отесанных каменных стенах, виднелись широкие темные ниши. В их сумеречной глубине просматривались огромные сковороды и котлы, подсвеченные багровыми сполохами костров. В котлах варились живые люди. Все они истошно вопили: их унылый и обреченный крик сливался в протяжный вой, уходящий вверх, в почти смыкающиеся над головой закопченные каменные своды.

«Помер, что ли?» — подумал Монгол и поднял лицо вверх: в узком проеме стен едва виднелось далекое желтовато-серое пасмурное небо. Он снова посмотрел вокруг. Страшные рогатые черти, будто сошедшие из самых нелепых средневековых бредней, наяву поджаривали людей. Его передернуло. Происходящее было настолько реальным и одновременно невыразимо обыденным, давнишним, что он в ужасе представил свою дальнейшую судьбу. А она решалась прямо сейчас: рядом с ним, крепко держа его за правую руку, семенил небольшой серый бесенок. То, что этот был бес, а не просто невысокий грязный

человек, Монгол почувствовал как-то сразу. Душа заныла тоской чего-то незавершенного, нелепо оборванного, будто страшные беспощадные силы выдернули его, не спросив, из привычного распорядка, и теперь решают за него его судьбу, где он — просто жертва обстоятельств, глупый, несчастный человек.

— Ты не бойся, — спутник словно услышал его мысли. — В нашем городе каждый знает, где и за что он похоронен.

Эти слова Монгола совершенно не утешили. Он шел, судорожно перебирая в памяти свои пацанячьи грешки, и надеялся, что мрачный сводчатый коридор никогда не кончится, или кончится ничем. Но вот его своды раздались вширь, и они вышли в огромный зал, посреди которого стоял черный трон из полированного камня. Над ним клубился темный пар, от которого веяло затхлостью и холодом. Перед троном стояли две невысокие колонны, увенчанные белыми бараньими головами. Под ушами у каждой из голов имелась дополнительная пара тупых, будто огромные зубы, выпуклых рогов. Бесенок, наконец, отпустил его руку и стал немного поодаль, почтительно склонив голову. Монгол подошел к колоннам, потрогал их каменные, гру-

бо отесанные головы, их пустые глаза. «Как грубо сделано… Без любви», — пришла в голову мысль.

Он оторвал взгляд от колонн и тут увидел, что облако рассеялось, а на троне восседает огромный рогатый бес. Цвет его кожи был ярко-красным, из-под уставших век смотрели пепельно-черные глаза.

— Имя? — спросил демон трубным, глухим басом, и от эха его голоса задрожали стены.

— Божий раб Александр, — бодро отчеканил бесенок и снова поклонился.

— Почему это я раб? — недовольно, даже обиженно пробурчал Монгол. — Я свободный человек.

Ответ сатане понравился.

— Рано ему сюда, — протрубил он и небрежно отмахнулся от него, как от чего-то ненужного.

Бесенок почтительно развернулся и повел Монгола назад. Они долго шли по тому же коридору, затем свернули из центральной аллеи куда-то в сторону. Здесь в стенах были устроены большие комнаты с маленькими оконцами, напоминающие бараки. Монгол подошел к одному из окон, остановился. Всмотрелся в дохнувший сырым подвалом полумрак. Пол, стены и даже потолок комнаты были сделаны из черной, склизкой

от сырости земли. В дальнем углу помещения сидел бледный человек в свисающих клочьями, дырявых лохмотьях. Чтобы немного согреться, он обнимал себя руками, то и дело клюя носом. Наконец, он заснул, но стоило его голове бессильно свеситься на грудь, как из щели в потолке выползло страшное, похожее на огромную креветку, существо. Шурша длинными хитиновыми ногами, оно подбежало к спящему, и, протянув тонкий суставчатый хоботок, впилось ему в шею. Человек вскрикнул от боли, проснулся, отмахнул гада рукой. Существо отскочило, сухо стуча лапками, вскарабкалось по склизкой земляной стене и снова затаилось в щели.

Человек нервно дернул шеей, обернулся к окну, и тут заметил Монгола. Он встал, с интересом сделал несколько шагов навстречу окну, остановился. Их глаза встретились. Монгол ожидал от узника отчаянных просьб, рыданий, стремлений вырваться из этого страшного места. Но человек с холодной безучастностью посмотрел на него, повернул в свой темный угол и, подоткнув потеплее лохмотья, снова закрыл глаза.

Они пошли дальше, двигаясь то вверх, то вниз, поворачивая, ныряя в арки, снова спускаясь и подымаясь. Монгол шел, задумчиво переживая

холодный взгляд незнакомца.

В нем не было той *незавершенности несчастья,* которое присуще всем земным человеческим страданиям, с их борьбой и надеждами на окончание. Нет, здесь была непонятная Монголу, спокойная и осознанная *вечная* обреченность правильно осужденного.

— Здесь нет ничего удивительного. — Бесенок снова прочел его мысли. — В стране смерти их души *равны* тому месту, в котором находятся.

— А это правда, что вы — ангелы… Только падшие? — спросил Монгол.

Бес поморщился.

— Мы и есть истинные ангелы, но не падшие, а свободные. Мы предпочитаем называть это эволюцией. Свобода всегда лучше рабства.

Монгол, наконец, разглядел своего путника. Сам бес сошел бы за ребенка лет десяти, если бы не слишком серьезные лиловые глаза на темном, будто измазанном грязью, плоском лице. Штаны и рваный свитер на нем были настолько грязные, будто их специально полоскали в сточной канаве. На правой руке бесенка отсутствовали четыре пальца.

— Где потерял?

— За неповиновение начальству, — бес согнул

крючком единственный большой палец.

«Впрочем, — подумал Монгол, вглядываясь в его лицо, — ничего особенного. Встретил бы я где-нибудь вечерком в „Ромашке“ подобного гражданина, — подумал бы, что это обрубщик с литейки. Зашел на кружечку».

Стены вновь распахнулись, и они вышли на угол широкой квадратной площади, окруженной высокими глухими стенами. Им предстояло пересечь ее по краю, вдоль одной из стен: на другой стороне виднелся узкий каменный проем. Вся площадь была засыпана крупным, будто морским песком. Бесенок семенил по нему легко, проворно, Монгол же ступал тяжело, увязая в песке почти по щиколотку. Его внимание привлек центр площади. Он был огражден невысокой, напоминающей могильную, чугунной оградкой. За ней виднелись разбитые на квадраты небольшие участки земли. На каждом участке стоял совсем крохотный, будто с детской площадки, домик, рядом виднелась маленькая скамейка. У ближайшего домика сидел на скамеечке закутанный в темно-серое тряпье человек. Его сухой силуэт показался Монголу смутно знакомым.

«Отец!» — Его вдруг отчетливо, как спицей, кольнуло в сердце.

Вырвавшись из маленькой, но цепкой ручонки, он ринулся к ограде, легко перемахнул ее, подбежал к отцу. Тот сидел неподвижно, обняв колени, и смотрел перед собой. Рядом с ним стоял наполненный землей маленький гробик, из которого торчало небольшое зеленое деревце.

— Батя…

Отец очнулся, поднял на сына свое изможденное лицо, встал. Он явно хотел что-то сказать, но не мог раскрыть рта. В его глазах была и боль, и мука, и стыд, но в то же время Монгол отчетливо понял, что отец рад встрече.

Он сильно постарел, высох. Его посеревшая кожа была покрыта темно-коричневыми пятнами. Так мог выглядеть человек, лет двести просидевший в холодной сырой яме.

Монгол обнял его, прижал к своей груди, чувствуя, что тот едва тепл.

«Так вот почему он сидит вне своего дома: внутри еще холоднее! — обожгло его. — Им всем не хватает тепла, не хватает солнца, но они не могут умереть, потому что в каждом из них есть его частичка… Крохотная искра вечности, заложенная при рождении!»

— Тебе нельзя здесь долго стоять. — Бесенок дернул его за руку.

Монгол встал, бросил на отца последний взгляд. У того в глазах стояли слезы. Монгол повернулся и пошел, не оглядываясь, дальше.

— Так он умер *тогда*! — Он вдруг вспомнил, как убеждал Тома, что с его отцом ничего не случилось.

…Наконец, стены кончились, и длинный мрачный коридор вдруг превратился в дорогу. Они шли по ней, пока не мелькнул впереди обрывистый берег узкой реки, в которой медленно текла черная, как смоль, вода.

На мосту бесенок остановился.

— Мне дальше нельзя! — сказал он, и исчез.

Монгол перешел через реку и зашагал полями между зеленых холмов к далекой горе, вершина которой терялась в облаках. Неподалеку, в солнечной рощице звонко защебетали птицы, и от этого на душе стало легко и радостно. Он остановился. Птицы то ли пели, то ли разговаривали на непонятном ему языке, издавая звуки длинными расширяющимися клювами, напоминающими старые четырехугольные громкоговорители. Эти незнакомые слова странно откликались у него внутри: он понимал этот язык не умом, а самим сердцем, и оно трепетало от радости. С его плеч будто сняли тяжеленный мешок, который висел

на нем в Городе мертвых.

«Надо же, давление у них какое. Глубоко, наверное», — подумалось ему, и сама эта мысль заставила его безмятежно улыбнуться, будто все плохое навсегда осталось там, позади. На душе было невыразимо хорошо. Монгол поднял голову, зажмурился. Солнце по ту сторону моста, — белесое, подернутое дымкой, едва светило и совсем не грело. Здесь же оно лучилось особым, переливающимся огнем, словно окошко в сказочный мир, и грело, будто живое, самую душу. Птицы остались позади, но где-то рядом, — то ли внутри, то ли в легком, благоухающем цветами прозрачном воздухе у дороги, — зазвучала нежная мелодия, напоминающая тонкий звон колокольчиков. Он шел по этой дороге тысячу лет, а музыка все играла…

…Монгол очнулся, когда солнце было уже высоко. Он лежал в конце набережной, недалеко от того места, где они пили. Все тело ломило, будто после соревнований. Лицо горело. Рядом со скамейкой неаппетитной подсохшей лужицей растекся его вчерашний ужин. Монгол медленно поднял тяжелую, как скафандр водолаза, голову, ощупал себя. Кроме сильного похмелья и ссадины на ноге особого ущерба не было. Все его карманы

были вывернуты. Денег в носке не оказалось.

— Клофелинщица хренова, — просипел он пересохшим горлом. Зачем-то перекрестился и неровно двинулся к морю. Затем вернулся к скамейке, взял в руки старую зачитанную книгу. На зеленой ее обложке красовалась размашистая надпись: «Маугли».

Часть 3



Толик

Незаметно бежали дни, спешило в прошлое жаркое лето, укутанное в пестрый халат цветущего юга. Крым, этот край бесконечного праздника, дышал зноем, благоухал разогретой смесью сосновых, кипарисных, розмариновых и еще невесть каких ароматических растений, которые каждой своей колючкой цеплялись за жизнь и за ноги. В разлитом безмятежном тепле притупились страхи и опасения. Каждый вечер гурзуфская «Тарелка» гостеприимно зазывала отдыхающих, и все так же гитары в руках длинноволосых людей боролись с ритмичным уханьем ресторанных колонок. Казалось, что так уже будет всегда, до самой их смерти. Что навеки остановилось над ними горячее солнце, и вечное море у их ног до конца их жизни будет швырять на берег свою фальшивую каменную монету.

Единственной проблемой райского обитания было то, что у них почти кончились съестные припасы. Еда вдруг стала играть в их непростой жизни определяющую роль. Все вертелось вокруг еды, все свободное время тратилось на ее добычу, приготовление и блаженный отдых после при-

ема пищи. Свобода вдруг практически исчезла, и праздные отдыхающие уже не казались Тому жалкими безвольными рабами государственной системы. Вернее, у них были иные зависимости, но и иные свободы. Более того, они, казалось бы, куда более зависимые, могли позволить себе куда больше, чем свободный от всяких систем Том. Эта странная ловушка занимала его, и он не находил из нее выхода. В запасе оставались пачка риса, небольшой кусочек сала, который они тщательно экономили, початая пачка чая, луковица и пара чесночин. Том считал, что отправляться в Партенит следует тогда, когда станет совсем тяжело.

— Чем позже к нему приедем, — тем позже уедем, — рассуждал он.

Монгол уже совсем пришел в себя. После событий в ресторане его тело покраснело, а на следующий день покрылось болезненной сыпью, которая, впрочем, быстро прошла. Он не рассказывал Тому, что именно произошло с ним, медленно, внутри себя переваривая события того вечера, и тот странный сон, который видел. Монгол был благодарен приятелю за то, что тот ничего не спрашивал. В Партенит он уже не рвался, в Гурзуф не ходил, предпочитая отлеживаться под деревом, читать «Маугли» или смотреть на

море.

Как-то раз они сидели на обрыве, пили чай с виноградом и смотрели вниз.

— Слышь, Том.

— Чего?

— А ты в Бога типа не веришь?

— А ты?

— А я вот, наверное, поверил.

— Я бы может, тоже поверил. — Том усмехнулся. — Только не могу верить на слово. Это же… Как себя потерять. Ты же другим станешь. Навсегда.

— Тю. Я с любой бабой другой. С одной такой, с другой — этакий. А ты разве нет?

— Не знаю. Нужно быть одинаковым со всеми.

— Или в монахи податься? — скучая, продолжал Монгол.

— Монгол монах! Я представляю, — захохотал Том. — День проживешь, и сбежишь сразу. Если, конечно, из мужского. Там же скука адская!

— Адская? Что ты вообще знаешь об аде? Ты там был?

— А ты?

— Может, и был. — Монгол отвернулся.

— Пошли искупаемся, что ль? Может, внизу какой жратвой разживемся, — меланхолично сказал Том.

— Пошли, — без особой надежды ответил Монгол. — Все равно делать нечего.

Лагерь Жеки оказался пустой. Рядом с их стоянкой скопилась целая гора консервных банок, бутылок, сигаретных пачек, пакетов из-под вина, повсюду валялись яичная скорлупа, картофельные очистки и арбузные корки. Посреди всего этого в гордом одиночестве стоял Толик и ел виноград. На его выпуклом животе чернел мужественный анфас Че Гевары.

— Широко живем! — сказал Том, глядя на гору мусора.

— Не жалуемся, — Толик важно поплевывал виноградными косточками. Виноградины он ловко забрасывал в рот почти от пояса. Иногда они не попадали, и он давил их шлепанцами.

Вдруг, будто что-то вспомнив, он заговорщицки подмигнул Тому.

— Пошли, покажу шось.

Они подошли к одной из земляных складок обрыва. Там, укрытые от прямых лучей солнца, стояли ящики с влажной землей. В них пробивались молодые ярко-зеленые перышки лука и укропа.

— Бач, моя любовь и гордость, — ухмыльнулся Толик. — Огород.

— Виноградом не угостишь, огородник? — спросил Том.

— А ты мне шо?

— А шо надо? — оживился Монгол.

— Ну, не знаю. У меня все есть. — Толик поскучнел. — Шо ж с тебя такого поиметь? О! Придумал. Отожмись тридцать раз. Не, пятьдесят.

— За виноград? Да пошел ты.

— Слабак! — засмеялся Толик. — Та ладно, пошутил я. Щас за так дам. Я сегодня добрый.

Он полез в стоящую под обрывом халабуду. Она была основательно сплетена из веток и тростника, укрыта полиэтиленом, кое-где укреплена досками. В ее наполненном лучами полумраке валялись вперемешку инструменты, банки, какие-то тряпки, матрасы, мотки веревок, коврики и рюкзаки. Некоторые ветки были крепко приколочены к доскам гвоздями. На них висели пакеты с едой и вещами. Было видно, что Толик ко всему подходил основательно.

— Хоромы какие, — присвистнул Монгол, придирчиво оглядывая строение. — Сам построил?

— С братаном! — гордо сказал Толик, доставая из недр постройки небольшую, уже подвявшую кисть винограда. — На, держи.

— Все хорошо, одна неувязка, — вздохнул Мон-

гол. — Ковра на стене не хватает.

— Что, и молоток с собой привез? — Не поверил своим глазам Том.

— А как же. Не тут жеж покупать! Молоток, гвозди, пассатижи, отвертки — все с собой. Если б знал, шо тут подъезд есть, — я бы дизель-генератор захватил.

— А вот тут, кстати, диван бы стал. — Том подмигнул Монголу. — Тогда можно было бы, как нормальные пацаны, лежать, пить пиво, и смотреть на море.

— И телевизор, — подсказал Монгол. — Если генератор есть, то телевизор по-любому нужен. Без телевизора, я считаю, вообще весь отдых насмарку. Не по-пацански как-то. Беспонтово. Но антенну нужно к нам тянуть, наверх. А то тут сигнала не будет. Не Турцию же смотреть?

Толик глупо улыбнулся, вышел из халабуды. Озадаченно посмотрел вверх, на обрыв, почесал в затылке.

— Тут целую бухту надо. Если на ваше дерево повесить, то метров двадцать с гаком.

— Что ж ты так? Был бы первый лагерь на Крыму.

— Та я жеж кажу, в первый раз тут стоим, — совсем расстроился Толик. — На разведку, можно

сказать. В следующем году по-любому все будет. Гостиницу, сука, сколочу, с бассейном. Пять звезд.

Монгол отошел к морю. От смеха он согнулся пополам.

— Шо с ним? — недоуменно спросил Толик.

— Видать, виноградом отравился. Блевать сейчас будет.

— Э-э! Харош! Блевать — вон за тот колышек! — забеспокоился Толик.

— Уходим, все! — Монгол, наконец, пришел в себя.

— Ладно, Толик, пошли мы. Спасибо за виноград.

— Сто грамм и пирожок! — ответил Толик.

Когда они поднялись наверх, в лагере царила паника. Супруги-хиппари метались по поляне, заглядывая в палатки и кусты.

— Параноид сбежал! — меланхолично сказал Глеб.

— Вы ребенка внизу не видели?! — в отчаянии всхлипнула хиппи-мама.

— Не, там его точно не было, — сказал Том, чуть было не добавив «живого». Действительно, выжить, упав с такого обрыва, не было никаких шансов.

Безуспешно обыскав окрестности, они сели у себя на полянке.

— В бега подался, отвечаю, — сказал Монгол. — Я с детства был испорченный ребенок, на папу и на маму не похож. Я женщин обожал еще с пеленок. А ну-ка Жора, подержи мой макинтош.

— Тссс! — сказал Том. — Смотри.

Параноид стоял в небольшой ямке за кустом, на самом обрыве, и неотрывно смотрел на море. Монгол тихо подкрался сзади, и крепко обнял ребенка.

— Попался! Сколько же ты тут стоял?

Ребенок улыбался. Его васильковые глаза сияли.

— Вот и встретились два космоса, — сказал Том. — Эге-гей, нашли беглеца!

— И ведь хватило же ума остановиться.

К ним уже бежали перепуганные родители.

— Слышь, так и не пожрали. У нас даже хлеба нет, — сказал Монгол.

— Давай винограду поедим. — Том пожал плечами.

— Может, в Гурзуф сходишь?

— Я все время хожу.

— Мне нельзя. Завалить могут.

— Кто?

— Есть люди добрые, — поскучнел Монгол. Он сел на самый обрыв и наугад раскрыл книгу «Маугли». Читать ее не хотелось. Он понюхал страницы, пытаясь восстановить в памяти запах духов Виолетты, или как там ее, запах своей короткой и яркой любви.

«Странно. Она меня могла убить, но я ее совсем не могу ненавидеть, — думал он. — Кто-то мудрый сказал, что любовь сильнее смерти… Что-то я сентиментальный стал, сука».

Книга пахла затхлой бумагой.

Он пролистал ее, будто ища ответа на свой нелепый вопрос, захлопнул в сердцах, бросил тоскливый взгляд туда, где утопал в зеленой мгле кипарисных пиков шумный Гурзуф.

— Упрощаем! — Монгол повернулся спиной к городу, и, уткнувшись носом в рукав, уснул.

Виноградный царь

Времени было много. Время текло беззаботно и медленно, как мед. Его можно было намазывать на хлеб, но хлеба не было, а без хлеба время было совсем пресным. Том послонялся по поляне, со скуки заварил чай.

— Как дела? — услышал он шепот. Рядом стоял Глеб.

— Как всегда. Жрать хочется.

— Пошли за виноградом. Нож возьми.

Выйдя из своего леска, они поднялись по грунтовке, туда, где простирался укрытый виноградниками склон с «Вениным» утесом.

«Мы в эту сторону до сих пор не ходили, если не считать того дня, когда, спускаясь с трассы, встретили Назарыча», — Том не спеша ступал вверх, по иссушенной солнцем пыльной дороге.

— А зачем так далеко? Мы ж вроде внизу рвали.

— Видишь, во-он тот маленький красный домик. Это сторожка, — вполголоса сказал Глеб. — Рядом со сторожкой самый лучший виноград. Он совсем другой. Крупный, белый.

— Слушай, это же воровать…

— Стремаешься? — Глеб с тревогой посмотрел на Тома.

— Та не.

— А чем дело?

— Ну, нехорошо как-то.

— А ты представь, что там засел злой и жадный виноградный царь. Он отобрал у крестьян виноградники, и сам пьет вино. А что не так? Сказка снова стала былью.

— Логично, — вздохнул Том.

— Давай обойдем и подберемся поближе. Лучше бы, конечно, вечером, но я тут у соседей на пару часов дуршлаг взял. Надавим сока.

Они шли медленно, будто гуляючи, понемногу поднимаясь наверх, к трассе. Затем, резко пригнувшись, юркнули в сторону от дороги и рванули между рядами невысоких бетонных столбиков, подпиравших виноградные лозы. Уже через минуту Том резал тяжелые кисти желто-зеленых с патиной полупрозрачных ягод. Отрывались они тяжело.

«Я ворюга», — ежился Том, непроизвольно втягивая голову в плечи.

— Давай я буду резать, а ты мешки держи, — прошептал Глеб, украдкой посматривая по сторонам… Вокруг было тихо.

Еще пять минут, и они уже возвращались с двумя тяжелыми пакетами отличного винограда.

— Глеб, а что это за место такое, Планера? — вдруг спросил Том.

— Ты не знаешь?

— Меня Монгол туда тянет.

— Этот поселок раньше Коктебель назывался. Не так давно ему снова это название вернули. Не все водители еще знают, уточнять нужно. Так что если поедете в Планерское, то не удивляйтесь, что попадете в Коктебель.

— Ну а вообще? Почему о нем так много говорят?

— В 70-е годы поселок облюбовали неформалы. Нам тоже нужен был свой Вудсток. На нашей совковой планете где-то должно было появиться царство справедливости. Где все люди братья, где царствует вино, любовь и музыка, где нет денег и все живут как хотят. В общем, кто Планеров не видал — тот в Крыму не бывал.

Глеб вдруг шумно втянул носом воздух и остановился.

— Не может быть… — сказал он, наслюнил палец, и, определив направление ветра, сделал несколько неуверенных шагов от дороги вглубь виноградника. Там, увидев что-то под ногами, он

призывно махнул рукой Тому.

— Смотри сюда.

В тени одного из кустов, между виноградными столбами была выкопана неглубокая яма длиной около метра. В ней густо росли крепкие и коренастые кустики конопли. Их яркие верхушки чуть-чуть выглядывали из ямы. Сладковатый смолистый запах растекался по округе.

— Ай-яй-яй! Одни девочки. — Глеб восхищенно прицокнул языком. — Возьмем кустик?

— Да ну ее. Она ж чья-то.

— И виноград чей-то.

— Не скажи. Виноград государственный. А трава — чья-то.

— Ладно, — нехотя согласился Глеб, и они зашагали дальше.

Черное на белом, кто-то был неправ.

Я внеплановый сын африканских трав! —

неслась веселая песенка над лозами.

Они взяли у Вени большую кастрюлю, и вскоре в нее с аппетитным лопанием ягод потекла душистая нежно-зеленая жидкость. Когда кастрюля наполнилась доверху, Глеб крикнул:

— На дегустацию!

Сок оказался не таким сладким, как ягоды, но здорово перебил аппетит.

Битва при роднике

К вечеру проснулся Монгол, подошел к костру, уныло разбавив сок горячим чаем.

— Чего грустишь? — спросил его Веня.

— Грустно потому шо.

— Понимаю, — горестно вздохнул Веня, — дела амурные. Но я тебе один способ подскажу. Если хочешь закадрить хиппушку, закати глаза и скажи волшебное слово.

— Какое?

— Кали-Юга.

— Это что?

— Индусы считают, что мы живем в эпоху Кали-Юги. Раньше были другие эпохи, когда жилось и жирно, и духовно. А теперь все стало плохо, потому что миром управляет злая богиня Кали. Но если ты вздохнешь рядом с ней, и скажешь: Кали-Юга, сестренка, — то она твоя.

Монгол не ответил.

— Я, кстати, Кали-Югу не отрицаю. Может, поэтому от женщин одно зло. — Веня по-турецки уселся у костра, глядя в огонь. — Ну, конечно, мама — это полбеды. Но вторые, основные полбеды — это все-таки жена. Ты, вот, например,

скажешь ей слово. А она обязательно найдет в нем какую-то дрянь, о которой ты и не подозревал. Ты начинаешь ей объяснять, а выходит, что оправдываешься. Или, вот, к примеру, такой важный вопрос, как прием пищи. Все знают, каким образом идет путь к мужскому сердцу. А в жизни я говорю: «Маш, я голодный». А она мне: «Да как же! Ты же поел». — «Когда? Я еще не ел ничего». — «Да что ж ты обманываешь? Ты ж с утра банан съел!» Представляешь?! Банан! Нет, я многое могу понять, я человек понятливый. Но так же нельзя!

Монгол улыбнулся.

— А покупки? Идешь с женщиной на базар, — еды бери на неделю. Можно сгинуть там, на базаре. Или вот кино. У нас фильм один шел, драма. Я говорю: «Тебе драм в жизни мало?» А она: «Все говорят, что хорошая, пойду и все!» Ну ладно, я уже билеты купил. И тут она: «Не, я не пойду. Я же должна накраситься. Если драма хорошая, то я расплачусь. А если расплачусь, то тушь потечет!»

Сейчас вроде смешно, а тогда… А вот как-то раз, встали утром. Она на меня косо так смотрит. На вопросы не отвечает. Целый день дуется, срывается по пустякам. К вечеру я не выдержал. «Да

что с тобой такое?» — говорю. А она: «Ты мне во сне изменял».

У костра засмеялись.

— И поэтому ушел? — спросил Монгол.

— Да нет, конечно, — отмахнулся Веня. — Из-за такого не уходят. Но ощутите творческий размах!

— Может, сон в руку? — спросил Глеб.

— Или вот еще. Соседи у нас были сверху, Смирновы. Они тоже в Израиль собирались. Мама мне как-то говорит: «Веня, Смирновы едут, и нам в Израиль пора». А я ей: «Мама, кому в Израиле нужны мои шедевры? Смирновым? Так я им могу их еще здесь продать, в полцены…» Так вот, Смирновы.

Ругались мы с ними часто, потому что Иосиф Абрамович днем спал, а по ночам тихонько работал сапожником. А когда у тебя сосед сверху — ночной сапожник, это не только грустно, это пагубно отражается на печени. Пару раз мы органы вызывали, но вы же знаете нашу гуманную милицию! И вот однажды ночью жена не выдержала и пошла к ним наверх. Ну, думаю, все! Отгулял Иосиф Абрамович свое, и в Израиль больше не поедет. Прислушался я, а там тишина такая стоит, гробовая. Полчаса, час. Ну, думаю:

наверное у Иосифа Абрамыча сердце заболело, валерьянку пьет. Наконец, возвращается, довольная. «Маша, чего так долго?» — «Я с ними поругалась, конечно, а заодно их кошке коготки подрезала».

— Какая замечательная женщина! — сказал Глеб. — Я так и не понял, почему ты ушел? Она тебя не любила?

— Меня? Что ты! С Богом сравнивала. «Все из-за тебя», — говорила. Но если мама и жена договорятся, — пиши пропало. Они за тебя все решат, а потом — оп, и старость. Я это понял, и ушел. На свободу с чистой совестью. Вот с мужиками все просто и ясно. Мужик — это…

— Дарова, неформалы, типа. Или как там. — В круг света из-за деревьев вышли два крепких качка. Один демонстративно держал на плече новенькую, поблескивающую лаком, биту.

— Кароч, мы тут виноградник сторожим, — сразу начал один. — Мы все видим, кто ходит, откуда. Сегодня кто-то из ваших на виноград ходил. Нам оно сиренево, — рвите. Но если хоть один куст травы пропадет, — ребра переломаем. Поняли?

— Какой травы? — спросил было Веня.

— Какой надо.

— А мы не…

— Да нам побоку. Поняли?

— Поняли.

И качки исчезли так же быстро, как и появились.

На поляне воцарилась тишина. Лишь на холме неподалеку толстые московские соседи громко спорили из-за того, кто пойдет в Гурзуф за едой. Веня почесал свою бородку.

— Как говорила моя мама, когда начиналось что-то плохое, — не бойся, Веня, это еще не конец.

— Это точно. Бывало и похуже, — сказал Глеб.

— Что бывало? — не понял Монгол.

— Тут бойня была, в девяностом.

— Расскажи!

— А что рассказывать? В Москве это почему-то называли «День москвича». Хотя другие говорят, что все дело в Дне Харькова. Но его отмечают 23 августа, а то было раньше, так что не выходит. Короче, обычно к 23-му в Крым съезжаются харьковские гопники. Не только, конечно, из Харькова, но из других городов, местные тоже подтягиваются. Такая добрая традиция у них — избивать волосатых. Я поведение дегенератов не обсуждаю, над больными не смеются. Короче, в начале августа прошла тема, что в Гурзуфе будет

панк-фестиваль. Это вроде как симферопольский горком комсомола замутил. Тогда у КГБ была задача иметь среди волосатых побольше глаз и ушей, и комсомольцы из штанов выпрыгивали, чтобы среди неформалов за своих сойти. Ну, и слух пустили, что Летов будет, Янка. Лаэртский. Олди. Ник Рок-н-Ролл. Конечно, народу сюда навалило — тьма. Холмы эти, пляж, — хайратыми было забито все до самого Гурзуфа. Конечно, местным это быстро надоело. Все вокруг блюют, матом ругаются. Мало того что прибыли с них нет, поскольку стоят дикарями, так еще и цивилов распугивают. Короче, кругом один вред. Ну, а местные менты, не особо разбираясь, что там будет за фест, подключили шпану порядок наводить. Не знаю, крымские они были или с материка. Наш запорожский ОМОН засветился, я даже узнал одного. Поначалу пьяных и обдолбанных в Гурзуфе отметелили. Вся набережная в кровище была, «скорые» забирать не успевали. А поскольку народ жил в основном на побережье, то гопы и сюда ломанулись. Но к тому времени часть избитых уже успела вернуться в лагерь и рассказать о местном гостеприимстве. В общем, народ был морально подготовлен и занял оборону. Похватали палки, арматуру. Даже хиппари

пристроились лагерь защищать. Гопы, конечно, не ожидали, что их при параде встретят, ну или еще толком крови не попробовали. Ну, выяснили отношения, перетерли все, замирили. Те назад ушли, а наши, естественно, расслабились, даже колы на радостях с обрыва покидали. А под вечер сюда снова пришли гости. Только уже не гопы, а менты переодетые, а с ними качки какие-то, спортсмены. Тут уже разговоров не было, они просто шли лагерь уничтожать. И вот тогда всех дубасили без пощады. Баб били, детей. Страшно было. Пацан какой-то наверх, через виноградники побежал, — я за ним. Так цел и остался.

— Убили кого-то?

— Я не видел. Мне говорили, что одного парня убили точно. Но я думаю, что и не одного. Хотя потом это дело замяли, и в газетах писали, что вообще ничего не было. А то, что я сам видел, — так это девушка беременная вот с этой самой скалы упала. Вроде жива осталась, но у нее выкидыш был. А там ведь целыми семьями стояли. Тех, кто хотел в палатках отсидеться, ногами и прутьями метелили, не разбираясь. И попробуй вылези — сразу с ноги в лицо получишь. А мы в лесу отсиделись, под утро вернулись. Лагеря нет, кровища везде. Феньки валяются, зубы чьи-то,

сережки сорванные в крови. В итоге фестиваль не состоялся, а народ потом из Гурзуфа выбирался как мог, — через Ай-Даниль, через виноградники. Партизанскими тропами.

Философия момента

— Том! Том! — Кто-то тряс его за плечо.

Он открыл глаза, непонимающе глянул на Валика, который сидел рядом.

— Валик, ты с дуба упал? Еще солнце не взошло!

— Самое время! Пошли за едой! — заговорщицки прошептал тот.

— Хоть бы предупредил, — пробурчал Том. Есть спросонок совсем не хотелось, но шанс раздобыть еды в эпоху хронического недоедания мигом прогнал сон.

Вскоре Том, потягиваясь, уже спешил по тропинке за Валиком. Шли по направлению к городу. Дойдя до старой железной лестницы, Валик остановился.

— Там отстойники, — таинственно прошептал он. — Над ними дачи. Я тут жил, все разведал. На дачах никто не ночует. Забор только в ежевике, а на воротах колючая проволока. Ну ничего. Ты, главное, не шуми.

— Я не хочу воровать.

— Это не воровство. Это завтрак туриста.

Они долго поднимались по скрипучей ржавой

лестнице, пока Валик не остановился напротив небольшой темной полянки в кустах.

— Мое место, — шепнул он, — подожди.

Он перемахнул перила лестницы, и, перепрыгнув через промытый дождями овраг у ее края, скрылся в темноте.

«Как он тут жил?» — Том всматривался ему вслед, стараясь не вдыхать вонь очистительных сооружений. Идея лезть к кому-то на дачу ему не нравилась. С другой стороны, им нужно было что-то есть, а есть было совсем нечего.

Валика не было ровно минуту. Наконец, он появился, сжимая в руке теплое пальто. Приложив палец к губам, призывно мотнул головой и полез дальше, вверх по лестнице. Том молча последовал за ним.

Лестница кончилась, и вскоре они оказались у ворот какой-то дачи. Валик схватился за ржавый прут, и, подтянувшись, швырнул пальто поверх ворот. Пальто повисло, надежно прикрыв собой острые шипы колючей проволоки.

Через несколько секунд они, полуприсев, уже крались между клумб и грядок.

— Помидоры!

Том вдруг понял, что у него нет пакета. Он завязал футболку, но емкость вышла совсем

небольшой.

Валик тоже не взял с собой ничего. Но его это не беспокоило. Он сел на землю и стал уплетать один за другим огромные, лопающиеся по швам розовые помидоры. Затем переместился на луковую грядку. Выдернув парочку сладких фиолетовых луковиц, снова захрустел зубами. Затем полез за огурцами.

«Индивидуалист», — подумал про себя Том, засовывая помидоры в футболку. Лук и огурцы он распихал по карманам.

Между тем Валик, уже изрядно подкрепившись, по-хозяйски оглядывал Тома.

— Ты поешь, — шептал он, хлопая себя по брюху. — Унесешь больше.

Том съел огурец, и вдруг почувствовал неодолимый, животный аппетит. Хотелось мяса, хлеба. Хотелось есть все.

Небо между тем светлело. Под ногами обнаружилась грядка с морковкой и укропом.

Морковь была огромная. Обтерев ее наспех руками (раз в сумерках не видно, значит, чистая), он глубоко хрумкнул.

— Ну ты кроль, — неожиданно громко сказал Валик.

— Ты что? — шепнул Том, и даже присел на

месте.

— А никого здесь нет, — спокойно сказал Валик, и сплюнул. — Наелся? Пошли.

В этот момент где-то совсем рядом спросонок тявкнула собака. И — залилась лаем.

В доме послышался неясный шум, в окошке вспыхнул свет, звякнув, покатилось ведро.

Они уже карабкались через ворота, когда в доме хлопнула дверь, и сзади раздался истеричный бабий вой.

— И-ии, нелюди! Ах, нелюди!

Том перелетел через ворота первым, спрыгнул, подвернул ногу. Огурцы с луком выпрыгнули из его карманов и весело поскакали по площадке перед воротами. Он вскочил, хромая, наспех собрал их. Валик лез следом, на ходу пытаясь снять проткнутое колючкой пальто, но то намертво прилипло к воротам. Наконец, он снял одежду с ржавых иголок и невозмутимо зашагал к лестнице. Том уже ждал его там.

— Нелюди-и-и! — орала женщина, колотя кулаком по воротам под отчаянный собачий лай.

У лестницы Валик на миг обернулся.

— Ключи забыла, что ли? Или ее там как вторую собаку держат? — удивленно проговорил он.

Море встретило их покоем. Людей вокруг не

было.

— Пошли в Гурзуф, рассвет встречать? — предложил Валик.

— А жратва?

— Да вон, в камни засунь, — потом заберем.

Когда они дошли до окраины, уже совсем рассвело. Том слегка прихрамывал. Косточка на ноге распухла. Валик на ходу сочинял стихи:

Небо, наше небо! Дай нам, деткам, хлеба!

Облака, облака! Дайте деткам молока!

На набережной было пусто, лишь в середине ее, у олеандровых кустов подметала набережную одинокая дородная дворничиха.

— Утро — это малое сотворение мира, — таинственно говорил Валик. — Людей почти нет, как и тогда…

— Ну ясно. Я Адам, вон там — Ева. Ты — Змей Искуситель. А где Бог?

— Вон он! — сказал Валик.

В этот момент изо рта вечно пьющего Медведя выплыло розовое солнце, и мокрая прибрежная галька вспыхнула червонным золотом, будто сумасшедший богач усыпал берег моря золотыми

монетами.

— Бог! — сказал Валик, и упал перед солнцем ниц. — Создатель всего щедр! Вот они, отблески космического коммунизма. Вселенная справедлива и добра к нам. Коммунизм — это любовь и честность. Ты видишь золото этой гальки? Видишь алмазные россыпи звезд по ночам? Это все — намеки, прообразы будущего царства справедливости. Скоро вся наша вселенная станет обитаемой и справедливой. Ради этого стоит жить?

— Стоит! — сказал Том, и тоже упал на колени.

Кланяясь солнцу, они то вздымали руки вверх, то ударялись головой о мостовую.

— А ну давай, двигай! Разлеглись тут! — беззлобно буркнула дворничиха, и в ее словах чувствовалось, что видала она и не такое.

— Невежда! — сказал Валик, отряхивая колени, и они пошли дальше.

— Насколько я понимаю, с коммунизмом сейчас вообще туго. Особенно на других планетах. Но как ты собираешься осваивать иные миры? — спросил Том.

— Это просто. Для того чтобы преобразовать вселенную, вовсе не обязательно летать на Марс в тяжелом и душном скафандре. Жалкий матери-

ализм — ничто по сравнению с теорией красных кристалликов. Ты когда-нибудь растворял в воде марганцовку? Кристаллы исчезают, но раствор становится красным. Так и мы после смерти растворимся во вселенной, но если мы будем жить как коммунисты, и верить в изменение мира, то ее цвет уже необратимо изменится. Так или иначе мы покинем свою мясную оболочку. А та нематериальная идея, которую мы унесем с собой, она сделает космос красным.

— А если другие не захотят жить при коммунизме?

Валик пожал плечами.

— Это не важно. Просто так случится, потому что это правильно. Я же ничего не выдумал.

— А откуда ты это знаешь?

— Ага! Каждый хочет понять, как устроен мир, но не каждому это удается. А я узнал. Как-то раз я прочитал у Папюса, как исполнить любое желание. Естественно, я хотел понять все. Папюс, в отличие от Маркса, считал, что для исполнения желания вовсе не обязательно строить, сеять, или пахать. Можно пойти узким путем посвященных. Так сказать, оседлать реальность с черного хода. Можно нарисовать на полу звезду, надеть туфли с загнутыми носками, воскурить шафран с хвостом

мыши, сказать нужное заклинание, и оба-на! Желаемое! Правда, здорово?

— Толково, — сказал Том.

— Все нужные ингредиенты для заклинания я собрал, — продолжал Валик. — Была, правда, одна закавыка: помимо мышиных хвостов и толченых лягушек нужно было принести человеческую жертву. Всего одну, но без нее заклинание не работало. В этом Папюс, по сравнению с Марксом, был чистым гуманистом. Звезды все-таки положительно влияют на людей. Но я не знал, как это сделать. Убивать я не хотел. А рядом со мной жил один вредный сосед. Ему страшно не нравилась моя собака, и он все время пугал, что ее отравит. Однажды я сцепился с ним в лифте, схватил за шкирку и сказал, что убью. А он через пару дней взял и помер. Я не знаю, от чего. Но тогда я понял, я почувствовал, что это — знак! Это и есть моя сакральная жертва! Все остальное было делом техники.

— И ты понял все?

— Да! Это случилось где-то через месяц. Я шел босиком из города, по трассе. Мне было так хорошо. И вдруг пошел теплый летний дождь. Солнце садилось за лесом, а я шел на запад, вслед за солнцем. Птицы пели мне песни, повсюду зеле-

нела жизнь, а я все шагал, и шагал, и вдруг стал счастлив. Я понял, что гармония Вселенной — это и есть космический коммунизм, справедливое преображение всего мироздания человеком. Я поднял глаза на небо, и вдруг увидел в облаках себя, играющего на гитаре!

— Здорово! — восхитился Том.

Воодушевленный воспоминаниями, Валик продолжал:

— Мы — апостолы космического коммунизма! Мы взяли Гурзуф босиком и без оружия! Мы — победители ночи! Мы — те, кто достоин встретить зарю нового мира! Но где цветы, где фанфары? Где, наконец, красная ленточка, которую нужно обязательно перерезать? Где люди? Они спят! Они нежатся в своих теплых кроватках, теряя бесценные минуты, когда звезды закрывают глаза, а птицы открывают рты. Люди просыпают во сне самое дорогое время, — время честности. Ты никогда не обращал внимания, что одни и те же люди очень различаются в зависимости от времени суток? Вечером они — нахохлившиеся, осторожные, как курицы, днем — закрытые, деловые, как чемоданы. И только утром, ранним утром, они — как дети. Только утром они напоминают настоящих людей, — тех, первых, которые

были в самом начале, когда океаны еще дымились, а звери сами шли в руки. Утренние люди открыты, как мир, и редки, как бриллианты.

— Не знаю, что там открыто и где, но даже магазины еще закрыты. Похоже, что в самое радостное время суток спит все человечество! — ответил Том. — Кроме нас, конечно.

— Нна, б. — Громко послышалось откуда-то сверху.

Они остановились. По широкой беломраморной лестнице, по-лягушачьи шлепая вьетнамками, спускался огромный лысый мужик. Он был одет в широкие красные шорты и цветастую рубаху, в раскрытом вороте которой поблескивала толстая золотая цепь. Из коротких рукавов торчали две толстые руки с застывшими в растопырке пальцами. Богатырь по-детски коротко глянул на Валика и Тома, почесал покрытое рубцами безбровое лицо, и, не глядя, сунул каждому свою растопыренную пятерню.

— Н-нна, б!

Том пожал руку и подумал, что по-прежнему спит у родника, а этот новый русский из анекдота ему просто снится.

— Эта… Эта… Эталон, — прошептал он. — Парижский музей мер и весов!

— Вова, нна! — небрежно сказал Вова, поведя плечом на север, и они сразу поняли, что он живет здесь, в роскошном белом отеле, а сейчас просто вышел подышать и проверить, все ли вокруг в порядке.

— Нна, — повторил Вова, весомо поднял подбородок, и стало ясно, что отель ему вполне нравится, а если кто-то против, то лучше бы ему и не родиться.

Том поднял голову, посмотрел на роскошный, утопающий в ярко-красных каннах, фасад гостиницы и подумал, что для полноценного человеческого общения вполне достаточно и одного слова «нна».

Поздоровавшись, Вова гордо распахнул рубаху и показал свой голый торс. Его широкая грудь и выдающийся живот были сплошь покрыты рубцами и шрамами. Наискось, от правого соска к левому нижнему ребру шел ряд неподдающихся загару круглых розовых отметин.

— Афган, нна, — Вова ткнул пальцем в шрам на груди, потом повел рукой вниз.

— Ростов, нна. Москва, нна. Африка, нна.

Наконец, проведя рукой по ровной череде отметин, нежно сказал.

— Курган, нна.

— Ничего себе, сколько дырок. Как же тебя не убили? — Том со всех сторон рассматривал Вову, как музейный экспонат.

— Меня, нна? — Вова удивленно поднял место, где когда-то были брови, показал неприличный жест, и Том понял, что Вова вечен.

— Медовый месяц, нна. — Вова опять ткнул пальцем наверх — Жена, нна. Красавица.

— Так чего ж ты тут?

— Я импотент, — спокойно и ровно сказал Вова, как будто бы речь шла о герпесе.

Валик открыл рот, и забыл его закрыть. Он смотрел на Вову во все глаза, то хватая рукой воздух, то щелкая зубами, явно пытаясь что-то сказать. На миг Тому показалось, что Валика парализовало.

— Я не видел в жизни человека сильнее себя, — наконец выдохнул он. — Теперь вижу. Как же это здорово, Вова, что ты родился!

— Нна, б, — согласился Вова.

— Как же здорово! Есть ты, есть он и я, есть этот мир. Как здорово, что мы тут встретились! И я хочу поделиться с тобой тем, что имею. Той радостью, которую испытываю. Каждый миг, который пробегает во времени, — он проходит не просто так. Он создан для нас, и мы можем прожить его,

наполнив смыслом. Это и есть философия момента. Каждый из нас обладает невероятной силой, нужно только открыть в себе ее источник.

Вова наморщил лоб. Ему было непонятно.

— Посмотри на это солнце, — продолжал Валик.

— Эта? — Вова ткнул пальцем в наливающийся жаром алый шар, и Тому показалось, что солнце на миг задумалось, стоит ли вообще подниматься этим утром, или лучше переждать.

— Это все — наше! — продолжал Валик. — Оно создано для нас! Мир просыпается только потому, что все любят друг друга.

— Нна, — неопределенно сказал Вова.

Валик сбился, кашлянул. Он говорил явно не на том языке.

Вова моргнул, доверчиво и прямо посмотрел на Валика своими детскими глазами.

— Фи-лософия, нна! — неожиданно подсказал он.

— Да! Да! Философия! Точно! Вот оно! Да! — Валик наконец оседлал волну. — Вова, а ты когда-нибудь дарил своей невесте цветы?

— А н-на?

— Ну как зачем? Просто потому что — любовь!

— Н-на? — с сомнением повторил Вова.

— Цветы — это проявление любви.

Вова удивленно выпустил воздух из легких.

— Пацаны не поймут, нна.

— Пацаны поймут, — вкрадчиво сказал Валик. — Только ты и она. Твоя любимая невеста. Твоя жена. Подари ей букет цветов. Она будет рада, а ты будешь рад от того, что рада она.

Том стремглав бросился на клумбу у лестницы, где росли высокие красные канны. Цветы оказались жесткими, вырывались с корнем, и нижние части стеблей ему пришлось отгрызать зубами. Вскоре в его руках образовался немалых размеров букет.

— Это тебе, Вова, — отплевываясь, сказал Том. — Пойди, отнеси ей. Не поломай только.

— Нна они ей? — с сомнением проговорил Вова. Медленно, как в трансе, зажал букет в своих огромных кулаках, стал ногой на ступеньку, в нерешительности остановился. — Так она спит.

— Пусть спит. Не буди. Просто положи букет рядом с ней. А потом, когда проснется, — скажи ей, что это букет для нее, потому что ты ее любишь.

— Пацаны, я ннне… Нна? Не, нна? Нна она… — замычал Вова, с застывшей улыбкой изумленно глядя то на непонятные цветы, то на этих странных людей. Огромный, как бык, он вдруг оробел,

как школьник перед первым экзаменом. Всех троих вдруг охватила необычайная, по-детски беспричинная радость.

— Давай! — Валик хлопнул его по плечу.

— Н-нну. — Вова наконец решился. Медленно повернувшись, он вытянул перед собой обе руки с зажатым в них букетом и осторожно двинулся вверх по лестнице, будто по минному полю где-то в далеком Афганистане. Его не было минут пять. Когда он вернулся, то вернулся явно не весь. Это был другой Вова. По-прежнему грозный, но ошарашенно счастливый.

— Фило-софия! — Он сел на ступеньку, крепко обнял руками свою битую-перебитую голову, поглядел на курящуюся розовыми облаками Медведь-гору, прислушался. Внутри него явно что-то происходило. Что-то таинственное, непонятное щелкало в его душе, чему он не находил ни слов, ни объяснений. Наконец, он поднял голову.

— Нна, пацаны. Нна сейчас со мной что-то сделали, — проговорил он, глупо и страшно улыбаясь. — Я, нна, не понимаю, что это, но, б… буду, что-то только что со мной, нна. Такого никогда, нна, и вот. Фило-софия, нна!

— Ты не разбудил ее?

— Ннне. Рядом положил, и ушел. Но, нна, что вы

со мной сделали, пацаны? Я не пойму что, пацаны… Я, нна, с пацанами в таких терках бывал, но такого не было, б… буду. Но это, нна, это, нна…

Он вдруг встал во весь свой рост, — простой, как танк, незамысловатый, переполненный восторженной силой.

— А-аа! — заревел он. — Да я! Чего хотите? Все будет!

— Немного вина не помешало бы, — тут же сказал Валик.

— Магазины еще… — вставил Том.

— На базар, — Вова мотнул бычьей шеей, и они направились вверх, по выдраенным до блеска каменным гурзуфским ступеням.

На базаре Вова купил им две двухлитровки домашнего вина и четыре пачки сигарет. Вернувшись назад, они сели на набережной и, глядя на море, молчали.

— Я нна, — Вова кивнул на лестницу и попрощался.

— Пока! Все люди братья, Вова!

— Братва, нна. Философия!

Вова ушел.

— Как же хорошо! — сказал Том.

— Ты тоже это чувствуешь? Вот он, еще один луч на заре космического коммунизма! — сказал

Валик.

Том поглядел по сторонам. Солнце уже начинало пригревать, на пляжи выбирались первые купальщики. Некоторые ныряли в утреннюю прохладную воду, другие спешили занять места получше, и, бросив на пляже полотенце или покрывало, спешили домой.

Он пил вино, пытаясь понять, отчего ему так хорошо, будто в душе после дождя поднялась радуга. Это было как-то связано с Вовой, но в чем дело, и при чем тут он, разобраться не удавалось. Какая-то догадка крутилась у него в голове, которая то приближалась с каждым следующим глотком, то вновь отдалялась. Валик бормотал что-то про светлое будущее, но вино быстро взяло верх над космическим коммунизмом, и вскоре он, завалившись на бок, уснул. А Тому, несмотря на сонный песок в глазах, совсем не спалось. Он взял недопитую баклагу, сигареты и пошел в лагерь. Его по-прежнему переполняла радость, которой хотелось делиться с каждым, чтобы сделать счастливым весь мир. И если светлое будущее коммунизма еще не наступило на других планетах, то изменить ситуацию в отдельно взятом Гурзуфе было всецело в его власти.

— А кому вино?! Бесплатное вино! Сигареты! —

закричал он на всю набережную, вскочил, и, пошатываясь, отправился по берегу. — В Гурзуфе наступил космический коммунизм! Все бесплатно! Подходите! Налетай, народ!

Парочка купальщиков шарахнулась от него как от чумного. За всю дорогу до родника у него вежливо взяли пару сигарет. Вина не захотел никто.

Зато на стоянке коммунизм был понят и принят всей грудью, но быстро кончился. Том не видел этого. Бросив под ноги полную овощей футболку, он с улыбкой на лице заснул сном младенца.

Ежик

Он проснулся вечером. Прямо над ним темнела земляная осыпь обрыва. Совсем близко шумело море. Немного болела голова, но явно не от удара. Рядом стоял Монгол.

— Жив? Ну ты летчик. С такой высоты, и без парашюта! Пьяным всегда везет.

— Дай руку. — Том поднялся, стараясь не трясти головой, и полез наверх.

Вскоре пришел Валик. Он был помят и расстроен.

— Почему ты меня бросил? Почему забрал вино?!

— А что мне оставалось делать? Караулить тебя или на себе тащить? — Том развел руками. — А вином я угостил остальных людей этой планеты. Я устроил в Гурзуфе космический коммунизм.

— А, ну если так, то хорошо. Это правильно! — Валик сразу успокоился. — Мне был знак во сне. Я ухожу. Я спрячу свои вещи на отстойниках. Там же, справа от лестницы. Там есть полянка, в ней нора. Присмотри за ними. Я, может быть, вернусь через пару недель… Или через месяц.

Он скомканно попрощался со всеми, забрал

свою гитару и ушел.

— Отмаялся, — сказал Веня, глядя ему вслед.

— Великий человек, — отозвался Том. — Космический странник. Одинокий астероид любви.

Берег вновь укутала теплым одеялом черная южная ночь, и жители поляны беззаботно уснули.

Не спалось только Монголу. Его вновь накрыло воспоминаниями про Виолетту, — красивую, стройную, коварную. «Разбогатею, — приеду снова, — думал он, вертясь на охапке сена. — Отпущу бороду, волосы. Куплю ее на ночь, а наутро побреюсь. Скажу: что, не узнала? Пушку привезу, в карты проиграюсь, потом из ресторана выйдем, и одному башку прострелю».

Полусонные мысли унесли его в оружейный магазин, где висели добротные дробовики, блестящие длинноствольные магнумы и небольшие автоматы УЗИ. Он долго выбирал себе оружие, пока не достиг того странного состояния, когда вроде и не спишь, а наутро понимаешь, что спал. Краем глаза он видел тропинку, проходящую недалеко от их крохотной полянки.

Из облачной занавеси кокетливо выглядывала луна. Ее свет падал на очаг, лежащего ничком Тома, на посуду и разбросанные вещи, тут и там

прикрытые иссиня-черными тенями веток. Вдруг у тропы, на фоне белеющего сена, мелькнула чья-то тень. Что-то черное подошло-подкатилось к нему из кустов.

«Снится, наверное», — подумал Монгол, и замер. Существо вразвалку подошло ближе и вдруг прыгнуло ему на грудь. Оказавшись неожиданно тяжелым, оно стало душить его всем весом, вцепившись в горло маленькими когтистыми лапками.

— А-аа! — заорал Монгол и вскочил, сбрасывая с себя странное нечто.

— Что там? — из темноты возникло перекошенное лицо Тома.

— Ффуу-ухххх! Жуть какая-то приснилась, — Монгол сидел на земле и, тяжело дыша, тер шею. — Никогда еще в жизни не было, чтобы какая-то тварь меня душила. Тяжелая такая. Я проснулся, а ее нет. Недоброе это место. Демон какой-то, или леший.

Монгол перекрестился и, перевернувшись на бок, сразу же уснул.

Но теперь уже не спалось Тому.

«Чудится спросонья», — прислушивался он к невнятным ночным звукам и шорохам, напоминающим топот многочисленных маленьких ног.

Топот исходил из ближайших кустов и постепенно усиливался.

— Тоже мерещится? — Том приоткрыл глаз и вдруг увидел пробежавшую совсем рядом черную тень. Это был явно не демон, а самый обыкновенный еж, но, как и рассказывал Глеб, величиной он был не меньше кошки. Как же он был не похож на тех милых созданий, которых среднестатистический гражданин встречает где-нибудь в парке или в лесу у дачи. И которые целиком — от сопливого носа до крохотного хвоста — умещаются на человеческой ладони. О, как же любит этих существ отверженное природой человечество за их полное отсутствие интереса к этому самому человечеству.

Нет, это были совсем другие животные. Наглые и толстые, они еженощно делали налеты на дикарей, расхищая их и без того скудные запасы. В поисках добычи ежи шумно рыскали по поляне, шуршали пакетами, фыркали под нос. Кроме колючек эти жирные твари ничем не отличались от крыс.

Один из ежей смрадно фыркнул у самого его лица. Том осторожно протянул руку к сумке, и, нащупав дубовую рукоять, медленно вытащил свой кухонный нож. Лезвие тускло блеснуло при

лунном свете.

Заслышав тревожный шорох, ежи попрятались было в сумерках кустов, но долго их ждать не пришлось. Один, особенно наглый зверек, подошел к самому лицу Тома, и обнюхав его, вцепился зубами в сумку.

Том вскочил и свечой взвился над ежом, отрезая его от ближайших колючек. Еж, перемахнув через Монгола, бросился бежать в дальний конец поляны. Он быстро достиг спасительных кустов самшита, но их поросль была очень густой. Том бросился следом, стараясь боковым зрением не терять место, где исчез еж. В два прыжка он достиг самшитового частокола, в недра которых уходило наглое существо. Лезть туда было бессмысленно. Где-то почти под ногами с тяжелым хрустом протискивался сквозь переплетенные ветви толстый зверек. Полагаясь на обострившееся за голодные дни чутье, Том наугад метнул свой тесак на метр вперед, в самую середину трещавших веток.

Треск затих.

Том подошел к кострищу, снял с котелка палку. Вернувшись к кустам, ткнул ее в то место, куда бросил нож, и с удовлетворением почувствовал мягкую тушку убитого врага. Опираясь на палку, он дотянулся до рукояти ножа и аккуратно

вытащил его вместе с добычей. Нож пробил ежа насквозь, пригвоздив его к земле.

На удивление, на поляне никто больше не проснулся. В палатке храпел Веня, посапывал под своей шторой Монгол.

Том вытащил нож, посмотрел при свете луны на неподвижного ежа. Он почувствовал себя первобытным охотником, вернувшимся в лоно природы. Правда, это лоно оказалось не таким, как обычно рисуется сытому воображению. Ему вдруг страшно захотелось разорвать животное зубами, выпить до капли его кровь, вымазаться ей с головы до ног. Снять его скальп, съесть сердце. Это — не месть. Это — награда сильнейшего.

Держа в одной руке ежа, а в другой окровавленный нож, Том отправился на родник. Там он вспорол зверьку брюхо, почти наощупь выпотрошил, промыл в ледяной родниковой воде, и, вернувшись на поляну, положил в кастрюльку заметно уменьшившуюся тушку. И тут же заснул крепким сном победителя. Ежи в ту ночь больше никого не беспокоили.

* * *

Наутро они развели костер и съели ежа с рисом. Мясо было не ахти, жесткое, к тому же его было

совсем немного. Но для них это был настоящий праздник.

— Жестокий ты человек, Том, — обгладывая тонкую синеватую ногу животного, говорил Монгол.

— Кстати, у женщин вообще переход в состояние природы происходит гораздо проще, чем у мужчин, — отвечал Том. — Помнишь, как мы в нашем лесу супы из гадюк варили. Девчонки всегда поначалу говорили, что есть не будут. А ели всегда первыми. Сразу после первой рюмки. Удивительно.

— А помнишь, как мы на речке лягушек с рисом варили? — отвечал Монгол. — У них были такие человеческие пальцы, а мы были типа как великаны, которые едят пойманных людей.

— Я за тебя отомстил, — Том положил себе добавки.

— Не, то не еж был, — Монгол посерьезнел. — Я проснулся, а он исчез. Такой круглый, как мяч, волосатый, и глазки такие красные. А главное, — тяжелый, гад, как гиря. Нечисть какая-то. Если б не со мной произошло, я бы не поверил. Вот, у нас любят говорить, что первые люди глупые были, и всяким персонажам сказочным поклонялись. Лешим, русалкам. А я если б президентом был,

то всех наших ученых на природу бы отправлял. В колонну по два, и вперед. Месяца на три, на практику, дикарями. Чтобы они из кабинетов своих повылазили и реальную жизнь узнали. А потом объясняли людям, почему первобытные духам поклонялись. Природа — она здорово мозги прочищает.

Мясо придало им бодрости. Заметно повеселев, они спустились к морю, и, искупавшись, вытянулись на берегу, лениво наблюдая за Жекиной компанией.

Толик был, как всегда, в работе. Держа в зубах гвозди, он приколачивал к своему бунгало полочку. Жека разжигал костер, Каша чистила картошку.

— Толик, тебе мясо нужно? — крикнул Монгол.

— Почем? — недоверчиво спросил Толик.

— Бесплатно. Можно охоту организовать. У нас наверху ежей полно. А из шкурок коврик сошьете, в шалаш.

— Ежей есть нельзя. Они несъедобные, — сказала Каша.

— Нормальные, съедобные. Мы вон только что ежика слопали за милую душу. Отличное мясо.

— Вы ежика съели? — в Кашином горле застрял ком.

— Ага. Наказали. Они у нас сало украли. Так что око за око…

Не дослушав ответа, Каша бросила картофелину в котел и побрела куда-то в палатку.

Остальные встретили эту новость гробовым молчанием. Только Жека, пожимая плечами, смущенно улыбался. Но особенно расстроился Толик.

Он выплюнул гвозди, сел на валун и, достав пачку «Мальборо», закурил. Ощущение нарушенных законов природы мучало его, требуя возмездия, наказания. Или хотя бы порицания.

— Вы понимаете, что сделали? Они живут у себя дома, в природе. Они охотятся, они маленькие и классные. А вы у них в гостях! — с видом смертельно оскорбленного человека он расхаживал между мешком с картошкой и горой пустых консервных банок.

— Та нормально. Мы ж к ним в кусты не лазим. Так что это они у нас в гостях были.

Толик хотел что-то ответить, но в этот момент у него на руке запиликали часы.

— Ух ты, «Монтана»? — Монгол отвлек его от грустных мыслей. — Хорошие часы. Девять мелодий! Я такие свои дома оставил.

— У меня здесь восемнадцать. И те, в которых

девять, тоже есть, но эти играют громче. И «Электроника» еще. Там семь мелодий, — ответил Толик, не расставаясь с ноткой трагизма. Затем махнул рукой, будто стараясь отогнать приятные воспоминания. — Как вы вообще после такого спать сможете?

— Теперь точно сможем. Надеюсь, они к вам переберутся, — сказал Том. — Живите с ними в мире и гармонии.

Из палатки выбралась Каша. В ее руке был бутерброд.

— Э, ты куда в одиночку хомячишь! — крикнул Толик.

— Толик, прости. Просто я всегда стресс заедаю, — виновато сказала Каша. — Ужас! Они же такие милые! Живые! Как вы вообще могли поднять на них руку?

— Сытый голодному не товарищ! — мирно заметил Монгол.

— Изверги! — Толик бесцельно бродил по берегу, нервно сбивая пепел. — Ничего человеческого. Да, рожденный ползать летать не может.

— А мне голодный летчик Мересьев гораздо ближе, чем набитый городским майонезом пацифист, — срезал Том.

— А ну, валите отсюда, пока… — Толик выплю-

нул сигарету.

— Пока что? — вальяжно поинтересовался Монгол.

— Пошли, Монгол. — Том приподнялся. — Солнце тут жаркое. Народу явно голову напекло.

— Ладно, пошли! — Монгол нарочито медленно встал, и они побрели к себе в лагерь.

О музыке

К вечеру жители поляны, поев, традиционно болтали у костра.

— Музыка! Музыка собрала всех нас. Вон там, в городе — там по-разному. А здесь…

— Ну, не знаю, — отвечал Веня. — Я сам по себе приехал. Я художник. На музыку мне немножко плевать.

— Ты подтверждаешь правило. Причем не просто музыка, а музыка идеологическая. Рок — он в каком-то смысле религиозен.

— Идеология — это время, это суета. Музыка должна быть начисто лишена идеологии. Это я тебе как еврей говорю. Все, к чему прикасаются липкие идеологические ручонки, рано или поздно приходит в негодность. Возьми немецкие марши. Сколько энергии, сколько силы! А кто теперь их слушает? И ваш рок-н-ролл уже уходит в прошлое. Конечно, что-то останется. То, что лишено идеологии. Битловское Love Love Love, и всякое такое. И Бах с Чайковским останутся. Потому что они не прогибались под сиюминутное, они описывали Вечность.

— Мы говорим о разных вещах, — отвечал

Глеб. — Рок без идеологии — это попса. Даже не так. Рок — это идеология, выраженная в музыке. У коммунистов, например, была «Искра», а у панков — Чистяков, или, там, Неумоев.

— А что это за идеология? Секс-драгс-рок-н-ролл?

— А почему бы и нет?

— Это, я тебе скажу, все в прошлом. На Западе уже наступила эпоха секс-драгс-попс.

— Почему?

— Сейчас объясню. — Веня достал из костра уголек, прикурил.

— У меня есть брат, — он, как ни странно, тоже еврей. Он уехал в США — сейчас многие туда уезжают. И он мне все про тамошний рок объяснил. Короче, мы совершенно не знаем Запад. Все самое главное там произошло в 60-е. Это вообще ключевые годы для понимания их психологии. Тогда у них забил творческий фонтан, — появились не только группы, но и писатели, режиссеры. Это началось как реакция на войну во Вьетнаме и вылилось в пацифизм. Появились хиппи, анархисты и прочая марихуана. Но вьетнамская война стала просто катализатором раскрепощения. На самом деле вся эта молодежная движуха боролась не столько с войной, сколько с традиционным об-

ществом. С лицемерами, которые прикрывались церковью и этикетом и посылали людей умирать в далекую чужую страну. Помнишь пинкфлойдовскую мясорубку из The Wall?

— Помню. Но пинки — это ж Англия.

— Одно и то же мировоззрение. Протестанты — они же лезут во все дыры. Они пугают, требуют, шантажируют. Они делают тебя виноватым, потому что хотят тобой управлять. У них веками была жесткая, регламентированная жизнь, задавленный моралью мирок. А после Вьетнама эта пружина распрямилась. Молодежи надоело жить по-старому, и под видом протеста против войны они легализовали весь этот секс-драгс, который, как водится при капитализме, стал еще и средством заработка.

— У нас ведь тоже был свой Вьетнам.

— У нас было немножко иначе. Наш диктат был политическим, их — пуританским. В России был Бог утешающий, прощающий. Но он всем надоел своей тихой добротой, и его свергли. Лично я считаю, что Советы сделали ошибку, когда осмеяли идею Бога. Тем самым они оказались как бы снаружи человека, и потеряли важный рычаг воздействия на его мораль. Они дали советскому гражданину возможность закрыться внутри себя

со своими кухонными ценностями. А на Западе Бог остался, но он был жесткий, даже суровый. От него нельзя спрятаться на кухне. Они действовали изнутри, держа человека за самое святое, — за душу. Поэтому проигрыш во Вьетнаме для молодых оказался победой над старым занудным Богом. И с тех пор эта свобода у них как бы освящена кровью павших во Вьетнаме, отвоевана у темного прошлого. Свободные отношения стали святыней, а трезвость и традиционная семья — отстой и провинциальный пережиток. И когда Моррисон пел о желании убить отца и поиметь мать, — он пел не о сексе, а о преодолении векового рабства… Они пели о любви, потому что это было запрещено. А наши пели о политике, потому что у нас было душно. Западная молодежь была озабочена сексуально, наша — социально. Но секс и политика — это два разных мира и отдельный разговор. Вот ты только что «Олди» напевал. Нормальные тексты, но вот что странно. Одна песня начинается трагически «Я родился в болоте», а за ней тут же идет «Девочка, давай». Эй, приятель! Как ты можешь петь о постели, если ты родился в болоте? Вокруг одни пиявки да лягушки, тут мир нужно менять, а ты о бабе думаешь! Лажа какая-то. А вот Цоева «Восьми-

классница» — образец целомудрия, потому что девочка у Цоя — не дает. На Западе эту песню никогда не поймут, а для нас это естественно. И поэтому-то в СССР секса не было: с отношениями все было в норме. Поэтому наш Афган не стал Вьетнамом. Вот и вся разница.

А тогда, в 60-е, западное общество пошло вразнос. Стали плодиться различные движения, общества защиты животных, миллионами печатали феминисток. Маркузе говорил, что на смену рабочему классу пришел студент. Под шумок за свои права стали бузить голубые. Вся эта неподконтрольная стихия была признана угрозой государственной безопасности. Нужно было все это опопсить, оседлать, убрать остроту. Конечно, самых буйных и непримиримых тихо устраняли. Кому-то помогли уйти от передоза, кто-то ушел сам, кого-то купили. А остальное решили не подавлять, а легализовать. В Штатах открывают подпольные гомоклубы, которые быстро становятся популярными, потому что в них творится настоящий садо-мазо-содом. Это делают модным. В гомобарах появляется стиль диско — в основном это нарезка удачных блюзовых и рок-н-ролльных кусков, которые закольцованы в танцевальном ритме. Да, у истоков диско стояли гомосеки. Я тебе

больше скажу. Первыми длинные волосы стали носить гарлемские голубые — в знак протеста. Они презирали половые различия. А тамошние лесбиянки стали стричься под мальчиков. Уже потом эта мода перешла на головы рок-музыкантов. Слыхал, Том?

— Ты подрываешь мою веру в рок. — Том как раз расчесывал свой конский хвост. Волосы, совсем жесткие от морской воды, будто превратились в паклю.

— Я мог бы прочесть курс лекций, но это будет дорого стоить. — Веня улыбнулся и театрально развел руками. — Только потому, что бесплатное знание тяжело дается… Короче, когда стало все можно, то протесты кончились. Травоядные 80-е прошли под знаком попсы, королевой которой стала Мадонна. Она добила старую мораль, канонизировав на экране разврат. С тех пор вся попса канала MTV — это виляющие задом девки. Так умер западный рок. Нет, еще кое-где бегают старички, но они уже ничего не решают. Но и этого мало: чтобы рок не стучал из гроба, то все эти Мадонны, Кайли Миноуги и прочие — они обязаны вести социальную работу. Они ездят с лекциями, выступают за свободу отношений и права голубых. У них все это завоевано в борьбе,

а у нас — извратит и фу. Мы любим старую добрую «Аббу» как две целомудренные пары, а они считают, что это два мальчика и две девочки…

— Да мне, по большому счету, плевать, какая у них за бугром история протеста, — ответил Глеб. — У них рок против одного был, у нас — против другого. Мы ведь говорим не о том, против чего они протестовали, а о том, что есть рок, и почему он. Идеология это, или все же больше музыка. Возможно, рок действительно умрет, но, может быть, в его короткой жизни иные задачи? Например, изменить мир к лучшему.

— Как? Ну вот как можно изменить мир? — Веня вскочил с пенька, заходил вокруг костра. — Вот, например, ты. Как ты его меняешь? Обнес соседний виноградник? Украл на рынке яблоко? Заблевал пирс? Разве не за это вам вломили здесь в 90-м? Можно бесконечно осуждать продажных ментов и гопников, но разве они не были по-житейски правы?

— Да правы, конечно. — Все так же односложно отвечал Глеб. — Никто не говорил, что панки не должны огребать. Панки в идеале должны быть рядом со смертью. Мировой мещанский быт непобедим, поэтому в конечном итоге сам протест против мира упирается только в смерть

протестующего. Компромисса быть не может, иначе исчезает идея борьбы, а рок превращается в попсу. Остальное — оттенки, этапы. Так что, наверное, рок — это все-таки идеология. Просто не все хотят в это верить. Человек может победить мир лишь тем, что умрет несломленным. А кто-то на этом геройстве наживается, играет в это. Есть фальшивые группы, фальшивые поклонники. Как говорится, или панк, или про панк. По форме вроде то, а копни — сплошь цинизм, тотальный выпендреж, или вообще заработок. В общем, рок — это такая легкая, эфемерная субстанция. Только начинаешь его изучать, а он тут же испаряется. Если честно, то я сам не знаю, что такое рок. Наверное, попытка человека быть свободнее, чем остальные, в этом бараке под названием «планета Земля». Но ведь свобода — она на то и свобода, чтобы ее нельзя было закуклить в четкое понятие, как муху в янтарь. Что-то такое, наверное, было у первых христиан. Их убивают, а их все больше. Почему? Потому что они — немой укор убийцам. Те чувствуют, что они сильнее этого мира. Что их невозможно купить ничем тленным.

— Ладно. Про Мадонну интересно было. А еще у них негр белый плясал. Я спать! — Монгол устало

махнул рукой и скрылся в темноте.

— Вот почему рухнул СССР? — продолжал Глеб. — Все эти экономические обоснования — в пользу бедных: в войну было хуже, а люди терпели. Но эта лицемерная ложь и хамство в каждом заведении, — в конторе, в магазине. Пустые плакаты с застывшими улыбками на ободранных бетонных стенах, елей в газетах и ТВ, жирные ряшки политиков. Я вот никогда не понимал, зачем говорить: «Народ и партия едины». Если они едины — зачем писать об этом? А если нет — зачем врать? Или вот, например, «да здравствует Ленин». Как он может здравствовать, если он давно в гробу? А ведь такая брехня торчала отовсюду. Само время как будто выцвело. Эта фальшь, которая пронизала все сверху донизу, которая убила страну, она же — от этого самого безверия. Ты вроде бы и хочешь верить, но верить — не во что, а без веры жизни нет. Вот от этого страна и померла. И мы, мы ее разрушали сами, разрушали тем, что пели, что слушали. Ее иммунная система не справилась с нами.

— Хорошо. Ну, завралась страна. Ну, разрушили вы ее. Но нельзя же вечно петь на руинах об ужасном прошлом. Нужно же еще немножко строить.

— Ты наверное ждешь, что я скажу нечто вроде:

«Страну спасет террор». «У власти сволочи». «Нужны новые чистки». «В борьбе обретем мы право свое». Да ничего подобного я не скажу, — продолжал Глеб. — Я скажу, что все это бесполезно. Я анархист. Что бы ни построили, повсюду будет все та же ложь, лицемерие и эксплуатация. И дело не только в том, что цепочка избирательного права выталкивает наверх сплошь то, что не тонет. А в том, что большинство людей вообще не готово жить честно. Они просто не умеют так жить. Честность — это миф, идеал, это из области бабушкиных сказок на ночь. Их совесть забита, задавлена с детства. Они привыкли прогибаться и врать, вначале маме, потом учителям, жене, начальству, детям. Себе. Есть люди, которые об этом не думают. Есть те, которые приняли это, и живут с особым цинизмом, наплевав на бабушку и ее идеалы. Но есть другие. Они чувствуют эту повсеместную ложь. Они понимают эту слабость человеческую перед ложью, это пресмыкательство перед начальником, перед чиновником, перед ментом. Они не хотят участвовать во всей этой трахомудии. На кой ляд, говорят они, вся эта система, если мои родители всю жизнь горбатились на заводе, а в итоге могли позволить себе путевку в какую-то Евпаторию, и то по большому

блату, и не каждый год. Где справедливость? Почему я, нищий, но свободный, не могу приехать в красивый Гурзуф, Симеиз или Ялту, чтобы купаться там, где я хочу, а не там, куда меня направит мой купленный с потрохами профсоюз? Может, я хочу плавать рядом с моим начальником цеха или председателем колхоза?.. Поэтому никакой победы быть не может. Ни при совке, ни при капитале, никогда и нигде. Есть только два варианта: бежать куда-то в Сибирь, в тайгу, жить там самодостаточно. Или просто сдохнуть. Так что строй, не строй, — все бесполезно, кроме перманентной революции, поскольку эта тема борьбы за честность, за справедливость, за равенство — она идет сквозь века. Может, раньше это были святые. Сейчас вот — панки, хиппи. Идеология свободы находит свое воплощение в каждом веке, в каждом обществе. Поэтому дело не в том, как они называются, а в том, что чувствуют, как живут. Такое вот юродство как форма обличения окружающего лицемерия.

— Замечу! Юродство себя ради, — вставил Веня.

— Нет, не себя, — ответил Глеб. — В панке вообще себя очень мало, а по-хорошему-то и быть не должно. Правильный панк может быть только

ретранслятором вечной чистой истины, а там, где примешивается человек, там появляется уже какой-то ил, мусор. Панк по сути и с жизнью-то мало совместим, он не от мира сего. В идеале панк должен умирать при родах. Когда у человека открывается острое чувство фальши во всем, что происходит вокруг, тогда у него появляется жажда по Настоящему. Вот читаешь, скажем, Достоевского, или, там, Кизи. Или Маркеса. И понимаешь: вот, они сказали Истину. Донырнули до нее, как ныряльщик ныряет за жемчужиной, вытащили на поверхность. Ты это чувствуешь, тебе хочется кричать: да! Да! Это так! Они заставили тебя на секундочку коснуться того, что вечно ускользает. Что не требует доказательств, потому что сердце чувствует его истинность. Того, ради чего мы вообще созданы на этом свете. Ведь человек, коснувшийся Истины, понимает, что она важнее всего, пытается хоть какое-то время жить ей, нести ее в себе. Поэтому дело не во Вьетнамской войне. Вьетнам — это декорации времени для сцены, на которую вышла вечная Истина, спусковой крючок для очищения цивилизации. Ведь разрушение чего-то плохого всегда несет чувство очищения. Достоевский несет, Берроуз несет. И до нас докатилось вот это, — ис-

креннее, невыразимое, вечное. То, из-за чего все еще наступает завтрашний день. Иначе не было бы всей этой тяги, не было бы бесконечных «собак» в Крым, забитых искренними и честными людьми с пустыми карманами.

— Как говорит моя мама, ты ищешь завтрашний день в другом месте. Вот что стало с этим бунтом? Где теперь все эти Кизи и Лири? А нету их. Повыдохлись! Одного поколения хватило, потом вновь пришла попса. Это как с большевиками. Вначале верили, потом делали вид, что верят, а потом и кривляться надоело. Плодов не густо.

Все замолчали, завороженно глядя в ночной костер.

— Что тут непонятного? Те за бабки думают, а наши за веру, — из тьмы раздался голос Монгола. — Это потому, что авторитеты у нас с ними разные. Я вообще уверен, что любой авторитет из всех этих, общепризнанных, — зло! Достали все эти классики. Ходят за тобой гуртом, с пеленок. Поглядывают с портретов, строго так смотрят. Что-то там требуют, чего-то ждут от тебя. Чтобы ты их читал, чтобы ты им верил. А ведь они так же встроились в этот мир. Так же квасили, женам изменяли. Какие они авторитеты? Написать можно всякое. А копнешь человека, а там земля одна.

Но ты будь либо авторитет, либо не отсвечивай. А эти, которые правят нами, они как бы приводят их в свидетели, хотя сами по себе вообще по жизни никто. Они просто вовремя прогнулись, хорошо устроились. Но ты как бы уже с детства всем этим гениям должен…

— Про авторитетов — это точно, — сказал Глеб. — Раньше все говорили о том, что нужно уважать старших, слушать стариков. А я смотрю, — старики первые перекрасились. Вот у меня отец недавно ногу сломал. Я побежал за врачом в поликлинику, а там рабочий день уже кончился. Доктор уже переоделся, но сказал: ладно, заеду к вам, тем более что мне по пути. Вышли мы из больницы, а у него тачка — я такой в глаза не видел. Длинная, огромная. Салон из кремовой кожи, потолок высокий. Решетка радиаторная как зубы блестит. Я, конечно, офигел, но виду не подаю. Еду себе, балдею, а там езды до дома — от силы минут пять. И вот подъезжаем мы к дому, — не спеша, красиво, как в бухту на линкоре. Бабки у подъезда рты открыли. Врач уже вышел, а я дверь открыть не могу: внутри ничего похожего на ручку нет! И тут доктор на глазах у всех соседей обходит машину, и мне открывает дверь! Как шофер начальнику. Но самое смешное

было дальше. После этого все бабки со мной здоровались. Месяц, или даже два. Потом видят, что шофера моего уже нет, и перестали. Наверное, подумали, что я разорился. С такими здороваться — только время тратить. Не авторитет.

— Авторитеты! — снова донеслось из темноты. — Вот у меня сосед, пацан пятилетний, как-то в гости зашел. Мать ему старый плакат Ленина показывает и говорит: а знаешь, кто это? А он ей по слогам: Та-рас Гры-горовыч Шэв-чэн-ко. Ты понимаешь? Идола поменяли, в мозг новую тырсу засыпали. И ты с этой тырсой в голове живешь себе, живешь. Учишь что-то там, веришь. А потом — бац! И умираешь. Вон у нас с Томом столько друзей в могиле. Хорошие пацаны, а уже за оградкой лежат. И я вот думаю, — а зачем они все это делали? Читали всех этих болтунов, учили там что-то. От смерти их это не спасло ни разу. Они свалили отсюда вообще по малолетке. И теперь сидят там такие, и спрашивают: а что это было, пацаны? А зачем мы тратили на это время? А что нам дала алгебра или, это, как его… рисование? Ничего не дало. И кто это не понимает, тому нужно витамины принимать, от мозга.

— Ты Тараса не трожь, — зевнув, сказал Том. — Он еще при царе панковал.

— А что касается истины… — Монгол не слушал его. — Я зуб даю, что если бы кто-то и знал истину, и хотел бы ее людям донести, то заткнули бы его в два пенделя, да еще и люлей отгрузили бы, — по-сталински, для порядку. Потому как бардак от этой истины такой начнется, что и беспредел раем покажется.

— Конечно, субкультура может быть чиста, честна, искренна, — продолжал Веня, обращаясь непонятно к кому. — Но она ведь как паразит. Есть такое растение — омела. Может, видели, — зеленые шары-паразиты на старых деревьях. Омела зеленеет зимой, желтеет весной и опадает летом. У нее все наоборот. Иногда эта штука даже зеленее самого дерева. Омеле может не нравиться его носитель, но она не имеет корней. Так и вы. Если вы не хотите ничего созидать, так зачем ругать старое гнилое дерево, на котором выросли? Вы же без него, иными словами, — без краденого винограда на грядке, просто не выживете. Вы ищете Истину на дне чужого колодца. Вот поэтому рок и умрет.

— Что ты к этому винограду привязался! — устало сказал Глеб. — Как будто сам его не ешь?

— Я ем, и страдаю от этого, а вы считаете, что он — ваш. — Веня зевнул.

— Я знаю массу панков и хиппарей, которые работают на заводах, и им просто не хватает этих грошей на нормальную жизнь в нашем воровато-том обществе. Я также знаю мажоров-тунеядцев, которые прекрасно вписаны в этот мир. И если такой урод приезжает в Ялту, снимает дорогой номер в отеле, и выходит перекусить на набережную, то сам бог велел отобрать у него жратву. Мы плюем в лица людям, обществу, которое думает только о бабле. Обществу это не нравится. Вот и все дела.

— Все ясно, — подытожил Том. — Люди — вот главная проблема человечества.

— Харош спорить, философы, — глухо пробормотал Монгол. — Все ваши мысли происходят от ваших мозгов. А мозги нужно экономить, чтобы соображать. Они, между прочим, электрические. Точка.

Братушки

Том проснулся рано. Солнце уже встало над миром, но едва уловимая прохлада давала знать, что еще утро.

Вставать не хотелось, и он лежал, глядя сквозь прищуренные веки на небо. «Вот он, возврат в природу без прикрас, — думал он. — Нужно постоянно добывать себе пищу. Чем и занимаются животные. Государство всего лишь упростило этот процесс».

Чувство голода стало их постоянным спутником. Их желудки подтянулись, стали неприхотливы к пище и скромны в запросах. Вначале это не очень их беспокоило: перебиться едой удавалось всегда. Но постепенно Том стал замечать, как недоедание меняет его отношение к людям, к жизни. В нем будто просыпалось временами животное — огромное, страшное, немилосердное. Сытые спокойные люди, сидящие на набережной в ресторанах, стали раздражать его своей расслабленностью, самоуверенностью. «Что с вами станет, если вы лишитесь своих денег? Как быстро слетит ваша тонкая человеческая оболочка, и вы покажете вашу животную суть?» — думал он.

Постоянное переживание голода притупило все остальные чувства. Море будто выцвело, потеряло свою освежающую праздничную радость. Само путешествие наполнилось неприличной суетой в постоянных заботах о прокорме. Весь распорядок дня, весь смысл жизни вертелся теперь только вокруг еды. Вначале ему казалось, что он стал, наконец, свободным, победил комфорт и обывательщину. Но со временем такая жизнь породила целую уйму новых проблем, на решение которых уходила большая часть времени и драгоценных сил. Он чувствовал себя крысой, бегущей в лабиринте в поисках куска сыра. Диким зверем, который всю жизнь добывает пищу, а отдыхает лишь тогда, когда наелся. Конечно, презираемый им комфорт не стал от этого лучше, но и такая жизнь больше не приносила радости.

Гурзуф будто отдалился от родника. Ходить туда стало тяжело, и теперь это был целый турпоход. Постоянное недоедание вовсе не стимулировало активных поисков еды, а, наоборот, вызывало сонливость и апатию. Нужно было что-то менять. Например, двигаться в Партенит. В конце концов, он обещал Монголу отправиться туда через три дня, а с тех пор прошла целая неделя. Голодная фантазия рисовала ему, как их встретит Индеец.

Он должен быть непременно гостеприимным (Том все-таки верил в искренность Лелика) и невероятно щедрым. Он может наверняка дать им немного денег на дорогу (Том бы на его месте отдал таким, как они, последнее). Деньги они потом обязательно вышлют, а домой доедут, конечно, зайцами. Но здесь они потратят их на хлеб и колбасу. Или даже отварят пельмени! Ах, колбаса! Это полузабытое, почти мифическое создание, покорно склоняющее под ножом свое розовое тело… Да и вообще, при чем тут нож…

Какая-то невнятная возня неподалеку привлекла его внимание. Том приоткрыл глаза.

Монгол явно куда-то собирался.

«Наверное, зубы чистить. Все равно ведь в Гурзуф не пойдет, — невесело подумал он. — Зачем вообще чистить зубы, если есть нечего?»

Монгол вернулся, когда Том уже разжег костер. Как-то криво улыбаясь, высыпал из подола футболки несколько банок консервов, буханку хлеба и две пачки крупы.

— Уважуха. — Том протер глаза, и с удовольствием убедился, что продукты никуда не исчезли.

— Вот знаешь, Том, — ответил Монгол, странно вращая глазами. — Я хоть и русский по паспорту,

но сегодня я Лужу понял. Короче, слушай…

…С утра ему не спалось. Монгол встал, выпил воды от голода, но заснуть уже не мог: в желудке громко и тревожно урчало. «За виноградом, что ли, сходить?» — мелькнула мысль. Он умылся, пошел на родник почистить зубы, и в этот момент легкий ветерок донес до него тревожащий запах мясного супа. Ветер шел сверху, оттуда, где стояли двое толстяков-москвичей. Не раздумывая, Монгол пошел на запах.

— …И Паулюсу нужно было прорываться к Белой Калитве. Там стояла Четвертая армия и итальянцы, — донеслось до Монгола из-за деревьев. — А он, дурак, Гитлера послушал, и время потерял. У Гитлера принцип был: не оставлять захваченное, чтобы не повторить ошибку Наполеона. Тот зимой назад пошел, и армию потерял. Я бы на его месте весной начал…

Нос Монгола не обманул: посреди поляны горел костер, в нем, утробно булькая, варилась в большом овальном котелке каша. Москвичи сидели на земле, к нему спиной, перед импровизированной, сделанной из камушков, картой.

— Если бы он в самоволку двинулся, то отправился бы за графом Шпонеком, — отвечал второй. — Тот в Крыму стоял. Он когда с Керчен-

ского перешейка отошел, его судили, а потом и расстреляли.

— Победителей не судят. Кстати, я бы на месте Шпонека отвел лишь часть…

— Хэндэ хох, мужики! — весело сказал Монгол.

Москвичи непроизвольно вздрогнули, повернулись.

— Привет, — без особого восторга произнес один из них.

— Что-то вы рано как-то? — Монгол поздоровался за руку и по-хозяйски уселся у костра, поглядывая на котелок.

— Уезжаем сегодня. Барометр упал. Завтра дождь будет, сильный. — Один из толстяков кивнул на дерево, где висел какой-то круглый прибор.

— Упал, так повесьте! — засмеялся Монгол, не отрывая глаз от котелка. И добавил уже с легкой укоризной. — Что ж вы так? Рядом столько жили, а в гости ни разу не зашли.

— Так ведь и вы не зашли, — осторожно ответил москвич.

— А хотите винограда купить? Дешево совсем. Отличный, такого на рынке не найдете.

— Нет, спасибо.

— А пожрать с вами можно? — спросил Монгол

напрямую.

— Покушать хотите? Садитесь, конечно. Почему бы братушек не покормить?

— Каких еще братушек? — насторожился Монгол.

— Выражение такое есть. Так русские называли дружественные им народы.

— А-а. Ну тогда ладно, а то я уже напрягся. У меня во дворе жил один, по фамилии Братушка. Гнида редкая, опыты над кошками ставил.

Москвичи достали длинную палку, сняли с костра котелок. Монгол выкатил пенек, устроился поудобнее, взял ложку, и, не дожидаясь особого приглашения, набросился на суп.

Хозяева поляны стояли рядом, нерешительно переглядываясь.

— Что вы, мужики, как не свои? — гостеприимно сказал Монгол. — Давайте, присаживайтесь! Отличный суп, густой. Или уже каша!

— Видите ли, молодой человек, у нас не принято из кана есть.

— Из чего? — Монгол перестал жевать.

— Из кана. Этот котелок называется «кан».

— А? Ну так накладывайте себе, а то стоите, как в гостях! А я так поем, я не стесняюсь. — Монгол сам засмеялся своей находчивости, но поперх-

нулся, да так, что кусок мяса выскочил у него изо рта и упал на землю. Он подобрал его, вытер приставшую сухую траву, и снова отправил в рот.

Одного из толстяков передернуло.

— Пойду руки помою, — проворчал тот, и пошел куда-то за край поляны.

Другой, подбоченясь, сверлил Монгола презрительным взглядом.

— Да, какие разные планиды, — задумчиво сказал он. Есть он явно не торопился.

— Что за планиды? Вы астрономы? — чавкая, спросил Монгол.

— Планида, молодой человек, — это судьба.

— Так, я шота не понял. — Монгол упер руки в колени и даже перестал жевать. — Что вы носом вертите? Вам что, пожрать со мной западло?

— Видите ли, юноша. Сегодня мы едем на другой конец полуострова, — вкрадчиво сказал толстяк. — И мы сварили много, потому что рассчитывали остаток нашего завтрака взять с собой. А теперь, ввиду такой жары, он пропадет, прокиснет.

— А шо, у вас больше жратвы нет? — удивился Монгол. Он почувствовал себя неудобно. Он нечаянно объел ребят, и теперь те обречены на долгую голодную дорогу. Нехотя оторвавшись от

кана, он встал, вытер рот, и тут увидел стоявший в стороне у палатки пакет продуктов.

— Да вот же жратва, пацаны! Смотрите, сколько! Консервы, два хлеба, крупа! На пол-Китая хватит. Смотрите, я нашел жратву! — Он вытряхнул на землю пакет с продуктами.

— Что это? Завтрак туриста! Зашибись! А тут? Фрикадельки! А это что? «Доширак». Это типа нашей «Мивины», что ли? Зальете кипятком, и все!

Монгол думал, что его новые знакомые забыли про свои запасы, и обрадуются такой находке. Но тут один из толстяков подскочил к палатке и, заламывая руки, закричал:

— Да как вы смеете лезть к чужим вещам! Да вы знаете, кто я такой? Я — кандидат медицинских наук!.. У меня отец профессор! Я… Станислав! — он обернулся. — Станисла-ав! Поди сюда! Это невыносимо!

На краю поляны показался Станислав. Он все слышал, и был явно взволнован. Его раскрасневшееся лицо, покрытое белыми пятнами, тряслось от гнева.

— Феликс! Я здесь! Я уже иду на помощь! — взвизгнул он. — Что ему нужно от нас, Феликс? Вот тебе и братушки! Покиньте нас немедленно!

— Ладно, ладно, мужики. Не хотел обидеть. —

Монгол непонимающе пожал плечами. Его кураж мигом прошел. Он снова почувствовал себя неуютно, будто оказался посреди Красной площади в измазанных навозом сапогах. — Я думал, что… Ну ладно… Нервные вы какие-то.

Он уже повернулся и зашагал по тропе к своим, как вдруг отчетливо услышал в спину:

— Ишь какой!

— Не зря говорили, что во время войны среди хохлов — одни предатели.

Монгол повернулся, подошел к Станиславу, смерил его взглядом и с размаху залепил ему звонкого леща.

— Это тебе за предателей, клоун!

Станислав ойкнул, оступился, и упал. Держась за щеку, он поджал под себя белые жирные ноги. Феликс взвизгнул.

Монгол зло взглянул на Феликса, и снова подошел к палатке. По-хозяйски взяв пакет, собрал туда рассыпанные продукты. Потом, подумав, вытащил половину, оставив себе две пачки крупы, четыре банки консервов и буханку хлеба. Подошел вплотную к Феликсу, страшно посмотрел ему в глаза.

— Ленин сказал делиться.

Тот стоял навытяжку, немного поджимая ногу

и поглаживая себя по безволосой груди. Его челюсть тряслась.

— Пиу! — Монгол ткнул его пальцем в пуп. — Бувайте, братушки.

И, придерживая полный подол продуктов, зашагал по тропинке вниз.

Потоп

К вечеру погода резко изменилась. Море стало угрожающего серо-стального цвета. У горизонта оно было совсем черным. Недалеко от берега долго крутились в море два высоких водяных смерча, а рядом с ними, поблескивая на солнце серыми боками, резвилась стая дельфинов. Потом солнце спряталось, и с гор подул промозглый ветер, волоча тяжелые, будто мешки, серые и низкие облака. Из них посыпались редкие крупные капли.

— Что-то будет. Но уже как-то стремно, — изрек Веня. — На Востоке за такой прогноз погоды визирю отрубали голову.

На небе — будто кто-то услышал его слова, — глухо и тяжело грохнул раскат грома.

— Как говорила моя мама в моем маленьком детстве, — не бойся, Веня, гром — это еще не погром.

Дождь пошел, когда солнце уже спряталось за горами. Постепенно усиливаясь, к ночи он превратился в ливень. Натянув под деревом небольшой кусок полиэтилена и несколько пакетов, Монгол и Том укрылись под ними, наблюдая с обрыва унылую картину потемневшего побе-

режья. Жекина компания, изрядно нарезавшись накануне, ринулась было переждать дождь в море, справедливо полагая, что в воде дождя нет. Но небо от этого не стало суше, и после часового купания народ выполз на сушу и попрятался в Толиковой халабуде.

Дождь был крупный, с пузырями, и отчаянно холодный. Он монотонно и тревожно барабанил по земле, тарелкам, кастрюлям. Рядом с Вениной палаткой образовался ручей. По нему текла рыжая глинистая вода, постепенно превращая зеленую поляну в сплошную огромную лужу. Время от времени по его руслу врывалась со склона новая порция воды, будто кто-то вверху нажимал на педаль огромного сливного бачка. Веня попробовал было отвести его подальше от палатки, но вскоре таких ручьев стало много, и он бросил эту затею. Дождь не умолкал. Грязные потоки пронизывали лесок, неслись через всю поляну, и обрывались вниз, подмывая корни висящих над обрывом деревьев, смывая с обрыва ветки, траву и мусор. Туда же время от времени обваливались большие куски земли, с дробным глухим грохотом падая на пляж. Часам к двум ночи до всех стало доходить, что вокруг не просто дождь, а настоящее стихийное бедствие. Том

выглянул вниз с обрыва. Толикова халабуда, видно, дала течь: жители берега повыскакивали из своего убежища и, перекрикивая шум дождя, заметались вокруг вещей, пряча и привязывая уже не только то, что могло промокнуть, но и кастрюли, сковородки, котелки, — все, что могло уплыть или сгинуть под слоем грязи.

— Кто там пел: наша крыша — небо голубое? — внизу зло орал пьяный Толик. — Крыша ваша потекла!

Том огляделся вокруг, снова спрятался под деревом. Их роскошная зеленая лужайка превратилась в мелкое глинистое озерцо, а дождь и не думал прекращаться. Часа в три по земле весело поскакали градины величиной с вишню.

Бездомные граждане разбились по палаткам. Глеба приютила семья Параноида, а Тома и Монгола пустил Веня. На полу в палатке хлюпала вода: защитные канавки-водоотводы давно утонули посреди сплошной бурой жижи.

Устроившись на влажных пеньках, они кружками вычерпывали воду, молча ожидая утра.

— Как-то на маевке попали под дождь, тоже без палаток. — Том достал бутылку со спиртом. — Выпили, а потом бац, — и сразу утро.

— Я вообще спирт не пью, причем долго и

часто, — сказал Веня. — Но, увы, сейчас этого требует философия момента…

Дождь немного поутих. Веня выглянул наружу, грустно обтер свою кружку от налипшей грязи и сказал, грустно улыбнувшись:

— В детстве мне говорили: Веня, мы возьмем тебя на море, если будешь хорошо себя вести. В старости скажут: Веня, мы возьмем тебя на море, если будешь хорошо себя чувствовать. Так выпьем же за море, которое, в отличие от родни, всегда нам радо.

…К утру они, мокрые и веселые, выбрались из палатки. Долгожданный рассвет никогда не встречался так бодро и радостно, как в то утро. Он имел все признаки новой эры человечества.

— Адама из рая выгнали даже без зубной щетки, — довольно сказал Веня. — А у нас целая палатка.

Дождь прекратился, когда уже рассвело. Выйдя из палатки, они увидели, что их зеленая поляна превратилась в землисто-желтую, полностью закатанную глиной ровную площадку с небольшими лужицами воды. Ни травы, ни сена на ней больше не было. Не только берег, но даже море поменяло цвет. Оно стало желтовато-молочным, местами нежно переливаясь радужными

разводами бензиновой пленки. В нем плавали небольшие островки мусора из сбившихся вместе ящиков, досок, пакетов, будто где-то рядом произошло кораблекрушение. На горизонте, в сиреневой утренней мгле доисторическими мамонтами трубили корабли. Их тревожный и протяжный стон катился далеко вдоль берега.

Том обернулся.

Посреди поляны, по щиколотку в воде, стоял Параноид и хлопал своими космически синими глазами. В его измазанной грязью и жиром ручонке был крепко зажат обсосанный, как леденец, кусок сала. Том сразу узнал характерную мягкую темно-желтую шкурку с черными оспинками от соломы. Он вздохнул, почему-то воровато оглянулся назад, — не видит ли кто еще, затем хлопнул в ладоши.

— Иди, иди домой.

Параноид повернулся и послушно побежал к себе. Том подошел к обрыву.

— Ну, чтобы у нас было много денег, и мы не потеряли на этом здоровье! — засмеялся Веня, и они снова с громким треском сдвинули кружки.

Солнце уже припекало, когда они, развесив на деревьях промокшие тряпки и обувь, повалились кто где и уснули жадным поспешным сном.

Полотенце

К обеду обеспокоенный состоянием Валикового гардероба, Том пошел к отстойникам. Он обнаружил вещи именно в таком виде, как и предполагал: присыпанные грязью и мусором, они плавали посреди вымытой потоком лужи.

— Они сгниют, Валик, — вслух сказал Том. — Все тленно, кроме твоих стихов и космического коммунизма.

Он развесил их сушиться на ветках, но затем, подумав, что их могут заметить с лестницы и непременно украдут, взял с собой, раздав по дороге каким-то волосатым и семье Параноида. Себе он оставил большое, немного потасканное махровое полотенце с изображением выходящей из моря обнаженной женщины.

— Продам в Гурзуфе и куплю хлеба, — сказал он Вене.

— Не продашь ты его. Оно старое и грязное. Это я тебе как еврей говорю, — ответил тот.

— Посмотрим, — пожал плечами Том и отправился в Гурзуф.

«Буду продавать его как коврик, — пришла ему в голову гениальная мысль. — Если как коврик,

то вроде и ничего».

— Коврик! — кричал он, идя по берегу и размахивая цветастым полотенцем. — Коврик! Покупайте коврик! Задешево отдается в хорошие руки!

«В самом деле, — убеждал себя Том, — психологически куда проще топтать чужое полотенце ногами, чем вытирать им лицо».

Но ковриком почему-то никто не интересовался. Граждане обходили Тома, даже не смотря в его сторону. Так он дошел до самого конца набережной.

— Молодой человек! Что там у вас? — к нему повернулась пожилая дама.

— Коврик, — обрадованно произнес Том, разворачивая полотенце. — Почти новый, совсем неплохой.

Дама мельком глянула на рисунок.

— Это же не коврик, — укоризненно сказала она, — а просто грязное полотенце.

— Я вам предлагаю коврик. Можете использовать его как полотенце. — Пожал плечами Том.

— То есть вы мне предлагаете вытираться чужим грязным полотенцем? Вам не стыдно? — Дама махнула рукой, и пошла своей дорогой.

— Да, торгаш из меня… — мрачно пробормотал

Том, глядя ей вслед. — За весь берег один покупатель, и того прогнал.

Где-то в глубине души он, на дух не переносивший коммерцию, чувствовал себя предателем, прикоснувшимся к чему-то постыдному, к миру дельцов и барыг. Но эта мысль, к сожалению, совершенно не притупляла чувство голода.

Бросив полотенце на плечо, он стал подниматься в город.

— Коврик не нужен? Купите коврик, — без особого энтузиазма говорил он встречным нарядным отдыхающим. Коврик никто не брал.

Мучительное урчание в желудке привело его на рынок. Здесь можно было найти горсть вялого винограда или даже разжиться подгнившей дыней. Веселый гомон и крики зазывал, приправленные благоуханием свежеиспеченных лепешек, душистым базиликом и тархуном, резким запахом солений, напоминали ему о чем-то далеком, смутном, но бесконечно радостном. То ли о детском карнавале, то ли о позабытом походе с мамой на рынок. На прилавках всюду теснились румяные яблоки и пышные розовые помидоры, громоздились, будто соревнуясь, кто выше, пирамиды картофеля и поленницы кабачков. Лакированно поблескивали горки перца, важно топорщились

своими подвявшими желтыми цветками пузатенькие, будто выточенные по единому шаблону, огурчики, щерились зубами из своих загадочных темно-красных утроб гранаты. В невысоких фанерных ящиках истекали соком надрезанные на пробу персики; в них деловито хозяйничали осы и кишели жирные зеленые мухи. Все это великолепное разнообразие наслаждений было создано Ее Величеством Природой для человека, — тому оставалось лишь с удовольствием отправлять его в рот… Но на этот праздник жизни у Тома не было входного билета. Бесцельно слоняясь меж торговых рядов, он оказался, наконец, в самом дальнем углу рынка. Толкучка осталась позади. Покупателей здесь почти не было, да и торговцев, за исключением двух женщин, тоже. Одна торговала лепешками, а у другой были дыни и крупный, будто наполненный солнцем, белый виноград.

Том остановился, не в силах оторвать взгляд от душистого, со слегка подгоревшей корочкой, лаваша. У него, кажется, даже слегка закружилась голова.

— Так вы берете? — наконец спросила торговка.

— А почем дынька ваша? — отошел он к другой,

чтобы как-то оправдать свое замешательство.

— Та за недорого отдам.

Том пошел дальше.

— Я уступлю, — крикнула вслед женщина.

Том рассмеялся.

— Да я так, поинтересоваться.

— А что не нравится? Ты попробуй.

— Я бы с радостью, но денег нет.

— И что же такое за день сегодня?! — всплеснула руками торговка. — Ни у кого денег нет! А ты откуда такой, безденежный?

— Из Слобожанска.

— Мама дорогая, земляк! — радостно заорала женщина, почему-то важно кивая соседке по прилавку. — А ну стой, земляк! Ну, как там у нас, на родине?

Это прозвучало так, будто оба они когда-то жили на Марсе.

— Та никак, — пожал плечами Том. — Стоит город. Новостей нет.

— Ага. Ага, — закивала женщина. — А улицу-то до конца провели? Ну ту, что в центре, она еще в склады упиралась.

— А где это?

— Ну там, там еще такой разворот большой был, машины по кругу ехали. — Торговка изо всех

старалась вспомнить хоть какое-то название, но не могла.

— Где? — беспомощно спрашивал Том.

— Там еще такой тупик был, а обещали улицу. Ну там же, там, там! Где раньше круглое здание было, и еще сквер за углом. Не помните?.. А, фонтан! Фонтан! Там еще фонтан был, в сквере.

Том не помнил. На секунду ему показалось, что она вообще из другого города, который по какой-то досадной оплошности чиновников имеет то же название.

— Не знаю, — он вдруг подумал, что ему прямо сейчас нужно непременно вспомнить что-то, какое-то близкое этой женщине место, узнать то, о чем его спрашивают.

— А дом? Дом на углу сдали? — не унималась женщина, ухватившись за новое воспоминание. — В самом центре, у почтамта.

— Почтамт стоит. А дом… Я не знаю. Там давно ничего не строят. Палатки одни. Все торгуют. Вам, кстати, полотенце не нужно?

— А мост? Новый мост построили? Ну там, за объездной, на окраине? — будто цепляясь за последнюю соломинку, спрашивала землячка. — Его пятнадцать лет назад начинали. Не знаете?

— Нет, моста так и не построили. Стройку за-

бросили, — уверенно сказал Том.

— Да, везде так. Жаль! — вздохнула женщина, кивнув соседке. С глубоким сочувствием посмотрев на него, добавила:

— Давайте ваше полотенце. Сколько хотите?

— Сколько дадите. Чтобы на хлеб хватило.

Женщина заплатила хорошо. В придачу к деньгам Том получил большую спелую дыню, два помидора, пару груш и две большие виноградные грозди.

— Зина, дай ему лепешку еще, я куплю. Привет передавайте… Всем землякам… Скажите, что мы их тут помним.

— Спасибо! Та приезжайте в гости! — засмеялся он и пошел к набережной.

Через полчаса на поляне стоял пакет с едой. Помимо дыни и помидоров здесь было две буханки хлеба, лук, пачка гречки и даже небольшой кусочек местного сала, которое, впрочем, оказалось довольно жестким.

— Но как?! — не веря своим глазам, Веня даже вылез из палатки.

— Где прошел хохол, еврею делать нечего! — захохотал Монгол.

С тех пор художник смотрел на Тома с неподдельным уважением, и даже оставил ему свой

молдавский адрес, расписавшись в блокноте непривычной глазу латиницей.

В заднице

Они прожили еще одну ночь. Вечера стали сырыми и холодными. И хоть вода после потопа уже ушла, но их поляна, покрытая теперь толстой глиняной коркой, выглядела совсем уныло и негостеприимно. Жить здесь больше не хотелось.

— Сама природа говорит: валить надо. — Монгол с трудом разжигал костер из мокрых ветвей можжевельника. Том не спорил.

Позавтракав, они объявили во всеуслышание, что к вечеру выступают в Партенит. На поляне сразу возникла суета, будто перед праздником. Всем хотелось как-то оформить расставание. Веня накануне продал свою странную картину с розовым утесом, и теперь торжественно разливал по кружкам бутылку вина, которую припас на важный повод. Том собирал вещи. Монгол проводил инвентаризацию.

В дорогу с ними отправлялись головка чеснока, полпачки риса, полпачки чая, двести грамм спирта и полтора литра воды. Все собрались на поляне. Том бросил прощальный взгляд на море.

— Что-то я уже устал. Может, останемся? — пошутил он.

— Ага. И сразу к Толику в гости. Прощения попросим, и ежика ему подарим. Жареного! — бугагакнул Монгол.

На берегу между тем происходила какая-то возня. Толик шумно спорил с Жекой.

— Ты же не только халявщик, ты же нищеброд. Куда ты денешься? — доносилось снизу.

— Я халявщик? — отвечал в ответ Жека, — да пошел ты… Ветер уносил его злые слова в море.

— Когда проголодаешься, — возвращайся, — хохотал в ответ Толик.

Он кричал еще что-то, но Жека его не слушал. Он вдруг ринулся к халабуде, вытащил оттуда рюкзак, и, запихав в него свои пожитки, решительно зашагал к тропинке. У тропы он обернулся и крикнул:

— Кто-то пойдет со мной? Или вам жратва дороже? Ну и сидите на цепи.

— Брось ты, Жека. Оставайся, — донесся тоненький голосок Каши.

— А что, идите, кто хочет. Мне дешевле будет. — Толик обвел взглядом свою компанию.

— Долой эксплуататоров! — крикнул Монгол с обрыва. — Жека, пошли с нами! Мы тоже уходим.

Жека приветственно махнул им рукой и через

минуту появился на поляне.

— Что, поссорились? — спросил Том.

— Этот упырь вообще концлагерь устроил. Туда не сходи, этого не возьми. — Жека бросил рюкзак на землю. — В Киеве был сосед как сосед, почти друг даже. А тут раскрылся… Как людей власть меняет.

— Друзья познаются в Крыму, — вставил Веня.

— И враги тоже.

— А что случилось?

— Та ничего. Просто у кого деньги, тот и прав. — Жека усмехнулся. — А деньги остались только у Толика. Вот мы и ходим туда, куда он, и делаем то, что он хочет. Почему? А просто жрать хочется! А, главное, я вообще не понял, как это произошло! Как-то плавно, незаметно. Вроде когда уезжали, то друзьями были, а тут постепенно стали вроде как холопы.

Короче, мы с Кашей, чтобы развеяться, его брата подговорили: Колян, твои деньги — наша экскурсия. Повезем тебя на Поляну Сказок. Только Толику не говори, а то не пустит. Тот загорелся. Он совсем зеленый еще, но зато с деньгами. И все ему интересно, все посмотреть хочет, а мы сидим тут на приколе, как суслики, потому что Толик деньги экономит.

Вчера решили ехать. Пока дождались, когда Толик проснется, когда в Гурзуф свалит, — уже полдня прошло. Пока наверх выбрались, пока доехали, — уже поздно было, «Поляна» закрылась. Но мы-то уже приехали, и, чтобы не обламываться, через забор перелезли. А там красиво. Парк крутейший. Растения всякие, тропинки, статуи деревянные, зеркала кривые прямо на улице стоят. Мы ходим себе, кривляемся. А тут — бац! Из-за угла медведь выходит. Самый настоящий бурый медведь. Здоровый такой, сволочь. Смотрит на нас своими мелкими глазками, и о чем-то явно плохом думает. А Каша возьми и заори: «Ой, какой хороший мишенька пришел!» Тот услышал, и навстречу. Может, ручной, может, нет. Как-то не очень хотелось вникать, что у него там в башке, — мы на тапки нажали, и через забор. Вот и вся история. Толик, конечно, узнал все вечером, и давай орать: «Почему не сказали? А если бы медведь Коляна задрал?» И ведь не в брате дело. Ему просто обидно, что он главный, а его не позвали. Без него, кормильца, поехали. Ну, там, слово за слово, — а вы кто такие? А я вас содержу!

В этот момент на поляну поднялась Каша.

— Жека, я с тобой. Ты куда сейчас? — сказала она.

— Еще не знаю, — он повернулся к Тому. — А вы куда?

— Мы в Партенит, приятеля нашего проведать.

— В Партените делать нечего. Там и стать негде. Мы, наверное, в Лисью Бухту поедем. Или на Чуфут-Кале.

Вскоре на поляну поднялись еще двое Жекиных спутников.

— Он там вдвоем с братом остался.

— Ну и флаг ему в голову, — Жека совсем просветлел.

— И генератор на шею, — заржал Монгол.

— А что мы есть будем? — спросила Каша.

— Еще не знаю, — ответил Жека. — Крым прокормит.

Солнце перевалило к вечеру, когда Том, Монгол и новоприбывшие гуськом потянулись по обрыву к Гурзуфу.

— Верной дорогой идете, товарищи! — крикнул Веня им вслед. — Только сдается мне, что в другую сторону…

Уже на берегу Том повернулся, бросил последний взгляд на море, на обрыв, где они жили. На берегу, у горы хлама виднелась крохотная фигурка Толика.

— А может, вернетесь? — Монгол напустил на

себя сочувственной серьезности. — Харчи, как-никак. Койко-место.

— Я даже знаю, что он скажет. Пацаны, да чего вы, я ж пошутил, — сказала Каша.

— Не, я зуб даю, он до сих пор не верит, что мы уйдем, — ответил Жека. — А как вернемся, то скажет: ненадолго вас хватило. Нет уж, лучше с голоду сдохнуть.

Наконец, они выбрались на трассу, попрощались с киевлянами и зашагали на восток.

— Пока! На повороте на Артек слева шелковица, — крикнул вслед Жека. — Пожрите там, за нас.

Шагалось легко и радостно. Еще бы, ведь впервые за все путешествие у них была более-менее ясная цель. Был адрес, и даже кое-какая еда.

Его дворцы в столицах.
Его Артек – в Крыму.
Все будущее мира
Принадлежит ему!

Он честен и бесстрашен
На суше и в воде —
Товарища и друга
Не бросит он в беде, —

громким пулеметным речитативом звенел всплывший в Томовой памяти детский стишок.

Они шли друг за другом, прижимаясь то к неровному бордюру трассы, то к каменному, поросшему елками парапету. Совсем рядом неслись, обгоняя их, троллейбусы, автобусы, грузовики. Впереди, дыбясь крутыми склонами, зеленел запретный Аюдаг. Он медленно менял форму, медленно превращаясь из узнаваемого мишки в высокий холм, а затем в усеченную, приплюснутую сверху пирамиду.

— Смотри, посох. — Том поднял с обочины ровную длинную палку охристого цвета.

Монгол взял посох, понюхал.

— Можжевеловый.

Посох был действительно добротный. По нему тянулась вязь сложного узора из трав и непонятных значков.

— Это знак судьбы. Судьба указывает нам на долгую дорогу! — сказал Том.

— Ну ее к Тому, эту дорогу. Надоело, — ответил Монгол. — Это я не про тебя.

У остановки они остановились передохнуть. Сразу за ней, к подножию Медведь-горы, вела разбитая грунтовка, которая терялась в ближайшем винограднике.

Монгол сел на асфальт, не спеша расшнуровал свой успевший протереться кед и вытряхнул камушек.

— Сколько нам еще?

— Не знаю. Наверное, полпути прошли. — Том поднял глаза, посмотрел на обрывистый склон горы. — Раз остановились, — пошли хоть виноград пощипаем.

Виноград оказался вкусным, сочным, спелым. Наевшись до отвела, они развалились на земле, лениво глазея на живописный, заваленный внизу огромными глыбами склон горы. До Партенита было рукой подать, и они не спешили.

— Крутая гора, — наконец сказал Том, громко выплевывая виноградную косточку.

— Ага, — поддакнул Монгол.

— Прикинь, на нее раньше пионеры ходили, а теперь она только для богатых детей. Обидно.

— Что, залезть хочешь? — усмехнулся Монгол.

— Еще не знаю.

— Мне Ивана хватило.

— Так то Иван. К тому же там целое плато. А тут — так, холмик в полкилометра.

— Не, нафиг! — снова фыркнул Монгол.

— Там Гуля была, — продолжал Том. — Пионерка какая-то забралась, а мы типа мимо прошли?

— Не, не полезу.

— Мы ж панки, Монгол.

— Сам лезь.

— Ну сам, так сам. Адрес я помню. В Партените встретимся, — с напускной безучастностью ответил Том.

— Ладно, счастливо. Тогда завтра, у Индейца, — так же холодно ответил Монгол. Он поднялся, сорвал гроздь винограда и, сунув ее в сумку, побрел к трассе.

«Надо было хотя бы про время договориться. — Том лениво смотрел ему вслед. — А толку? Откуда я знаю, когда спущусь?»

Все вышло как-то спонтанно, необдуманно. Только что они были вместе, и вдруг расстались. Без прощаний, без ничего. Даже припасы не поделили. У Тома оставались хлеб, крупа и спирт. Монгол забрал воду и спички.

«Без воды тяжело будет, но не бежать же теперь следом. Ладно, виноградом обойдусь, там деловто. В два раза ниже Демерджи». — Том вернулся к винограду. Нарвав немного ягод, он побрел к подножию горы. И вдруг услышал сзади за спиной знакомый голос.

— Стой, Конюхов!

Том остановился.

— Вот все у нас не как у людей. Даже на гору через зад лезем. — Монгол как ни в чем не бывало озабоченно глядел вверх. — Я тут подумал, а вдруг ты опять потеряешься?

— Зато дождя над ней точно не будет, — как ни в чем не бывало ответил Том, быстро подумав про себя: «Вот Монгол! Я бы так не смог».

Скрывая радость, он отвернулся от приятеля, старательно делая вид, что оценивает высоту горы. — В конце концов это просто куча земли. Спустимся с нее прямо в Партенит.

Разбитая дорога вела к подножию Аюдага. Справа виднелись чахлые полузаброшенные виноградники, слева — какие-то дачные заборы.

— Хутор Полудневка, — громко прочитал Монгол.

Гора будто подобралась в высоту, сжалась с боков. Дорога свернула вправо, а они двинулись напрямик, через кусты и кривые одичавшие деревца, обходя огромные, явно скатившиеся сверху темно-бурые камни, пока не уперлись в пыльную осыпь щербатого склона.

Монгол обернулся.

— Солнце садится, — сказал Монгол. — Можем не успеть.

— Сегодня сядет, — завтра встанет. Наверху

переночуем, — беззаботно ответил Том и, не оглядываясь, полез вверх.

Подъем был не таким уж крутым, хотя и сыпучим. Хватаясь за кусты и камни, они быстро поднимались вверх.

— Смотри, опять закат. — Том показал на желтый диск вечернего солнца. Оно снова появилось над высоким плоскогорьем за спиной.

— Ага, романтика. Так можно встречать его бесконечно.

— А если очень быстро лезть, то его до утра поднять можно, — засмеялся Том.

Пока они отдыхали, солнце село опять. Они вновь догнали его, хотя уже совсем выбились из сил. Подъем становился все круче. Вокруг быстро темнело.

Хватаясь за ветки, они медленно и упорно карабкались вверх. Тому сильно мешал посох, который он был вынужден держать в руке. Но выкидывать его было жалко. Подтянув ремень сумки, он заткнул посох за спиной и, наконец, освободил руку.

— Я буду царь горы! — Монгол обогнал Тома. Из-под его ног время от времени срывались камни и куски земли. Увлекая за собой целый поток камней поменьше, они водопадом ссыпались

вниз, прямо Тому на голову.

— Слушай, царь, сдвинься куда-то. За тобой только в каске идти.

Монгол перебрался на неширокую полку, и взял левее. В южной фиолетовой тьме они быстро потеряли друг друга из виду. Через некоторое время деревья кончились, стало светлее, но было совершенно непонятно, сколько они прошли. Тому хотелось верить, что до вершины осталось совсем чуть-чуть, но проклятый склон никак не кончался. Вдобавок он стал совсем отвесным. Гора будто росла вместе с ними.

Вечерняя заря совсем угасла, растаяла в небе, и теперь приходилось ощупывать каждый камень, прежде чем поставить на него ногу.

— Монгол! — позвал Том. Тот не ответил.

Том добрался до невысокого деревца, оперся на него ногой, обернулся назад.

Под ним чернильным пятном растеклась внизу теплая тихая бездна. На ее дне неверно поблескивали огоньки трассы.

Неожиданно его накрыла липкая волна страха.

«Вот мы придурки. Гуля-то по Пионерской тропе ходила, а мы, идиоты… Ради чего? Зачем?!!»

Он снова глянул вниз. Прозрачный воздух доносил оттуда чистые и ясные звуки: позвякивание

троллейбуса, шипение шин, чей-то тихий смех. Судя по всему, они залезли достаточно высоко. Но он помнил, что ближе к вершине склон горы выглядел более покатым, в то время как над головой по-прежнему продолжалась почти отвесная стена.

Он отвернулся. Пересилив себя, полез дальше почти на ощупь, отодвигая от глаз кривые пучки каким-то чудом уцепившихся за склон колючек.

«Хорошо, что под ногами обрыва не видно, а то было бы страшнее», — подумал Том, и в этот момент земля под ногами стала таять, быстро превращаясь в нечто мягкое и невесомое, как вата. Он судорожно вцепился за торчащий перед лицом камень, и вовремя: из под ног с каменным скрежетом ушел вниз целый кусок склона. В одну секунду Том оказался висящим на отвесной стене. Медленно повернув голову, глянул вниз, через плечо. Обрыв было видно метров на десять. Дальше склон терялся в поднявшейся пыли и невнятных ночных тенях.

«Человеку для смерти трех метров хватит, — вспомнил он слова дяди Саши. — А мне, конечно, нужно больше. Но где? Эльбрус? Эверест? Нет, невысокая, вдоль и поперек излаженная школьниками гора! Более идеального места для самой

дурацкой смерти не найти!»

Он висел над склоном, еще пытаясь бодриться, но уже чувствовал, как откуда-то из-за спины, с легким ознобом нарастает холодный и скользкий, отчаянно трезвый ужас безвыходности. Положение осложнялось тем, что грунт вокруг был сыпучий, и камни, за которые он держался руками, могли легко вывернуться и полететь вниз, вместе с ним.

— Саня! — заорал Том что было сил. — Саня, я завис.

— Выбирай дорогу полегче! — донесся откуда-то сверху беспечный голос Монгола.

— Саша… Мне, кажись, хана!

Чтобы хоть чуть-чуть облегчить руки, он попытался зацепиться ногами хоть за что-то внизу, но ничего не нащупал, и тут его прорвало. Он заматерился, — неожиданно, непривычно для себя, натужно и громко выплевывая из души страшные грязные слова, будто ища в них опору, силу. Он орал, чувствуя, как медленно, в судороге, стынут руки, давясь словами, будто истекая ненавистью ко всему на свете. Но вот слова разом иссякли, и ничего не изменилось.

— Бросай посох, — послышался из темноты встревоженный голос Монгола. До него, кажется,

дошло.

Все еще пытаясь зацепиться ногой за какой-нибудь камень, Том слегка повернулся на руках. Посох выскользнул из-под ремня сумки и с сухим деревянным звоном застучал по камням вниз.

— Бросай сумку! — заорал Монгол.

— Ну уж дудки. Сумку я не брошу. — Побелевшими от напряжения костяшками пальцев Том упрямо ощупывал перед собой камни.

Шипя и ругаясь, он ткнулся телом в небольшой валун, торчавший на уровне живота. Оторвав левую руку, вставил пальцы в какую-то щель рядом. Отпустив правую, подергал камень. Тот шатался, но выбора не было. Том взялся за него осторожно, стараясь не переносить на булыжник весь вес, все еще вися на кончиках пальцев левой руки. Затем уцепился правой рукой еще ниже, за корень куста, схватил его кулаком, стараясь упереться в склон, чтобы корень не вырвался из земли. Наконец оторвал левую руку, зацепившись еще ниже, не обращая внимания на пульс в висках и бешено колотящееся сердце. Чтобы дать отдохнуть пальцам, он несколько раз лихорадочно пытался стать ногами хоть на чем-то, перенести на них часть нагрузки, но каждый раз камни выворачивались из-под ног, содрогая все

тело, опасно дергая руки, а сумка предательски норовила соскользнуть на живот. Он быстро бросил эту затею, используя только пальцы, стараясь не раскачиваться, не обращать внимания на боль, цепляясь за очередной камень и медленно спускаясь вниз.

Реальность будто сбросила с себя тонкую липкую пленку всегдашней уютности и неуязвимости, с которой он так свыкся, иногда даже в глубине души полагая, что все вокруг — понарошку. Что, как он ни поступи, — с ним никогда и ничего плохого не случится. Он всегда хотел почувствовать, где этот край вседозволенности, наивно считая, что если его в чем-то ограничивали, то за этим краем сокрыт какой-то секрет, запретная комната с тайным знанием. Он исподволь шел навстречу этому краю, лез на рожон, а оказалось… Он просто играл в жизнь и заигрался, сам пришел к тому, чтобы однажды случились с ним эти самые обстоятельства, где он — не хозяин положения, а их беспомощная жертва. Но что дальше? Что он искал в этом? Тайну? Истину? Здесь нет ничего, кроме смерти. Боже, какой бред!

Все эти мысли, плохо осознанные, в миг пронеслись в его голове, но ему почти не было до

них дела.

Метров через шесть ему, наконец, удалось перенести вес на ногу и немного ослабить сведенные судорогой пальцы, как вдруг камень вывернулся… Не удержавшись, Том полетел навзничь вниз… И через секунду мягко ткнулся спиной в густую, как щетина, крону небольшого колченого дерева. Дерево устояло, угрожающе нагнулось; он сполз с него, успев схватиться за кривой ствол, торчавший над небольшой плоской площадкой, и, наконец, поставил на нее ноги. Боясь шевельнуться, не отпуская дерева, еще долго стоял, молча приходя в себя. А еще через минуту уже стоял в самом низу стенки, с которой только что чуть не полетел. Отдышался и, собравшись с силами, взял левее, — туда, где поднимался Монгол. Новый маршрут оказался более скалистым, словно лестница, и от этого менее опасным.

— Я здесь! — Монгол сидел на небольшой каменной плите. Она образовывала потолок крохотной, не больше гроба, пещерки. — Живой?

Вместо ответа Том показал Монголу свои скрюченные, сбитые в кровь пальцы. Руки дрожали.

— А я тут пещерку нашел. Похоже, что это и есть задница Медведь-горы!

— Не то слово, — выдохнул Том, стараясь успокоиться. — Все, привал. Дальше пойдем с утра. Давай спать.

— Давай! — Монгол втиснулся в пещерку. Том залез на ее плоский потолок-плиту, вытащил найденные накануне штаны и, не в силах переодеться, подложил их под себя. Глянул вниз. Под ним, над склоном торчали из пещеры кеды Монгола.

Положив сумку под голову, он вытянулся на плите. Здесь, сверху, места было еще меньше: его ноги тоже свисали над обрывом. Устроив их на развилке ствола худосочного деревца, тянувшего свой ствол откуда-то снизу, он провалился в сон.

Аюдаг

Солнце было уже высоко, когда Том открыл глаза. Из колышущегося океана зелени доносился снизу монотонный гул трассы. Справа, за склоном, едва видимые за порослью кривых деревьев, белели верхушки партенитских пятиэтажек. Место, которое они чудом нашли в потемках, оказалось совсем крохотным пятачком на отвесном обрыве. Здесь было совсем тесно.

«Будто и не было ничего», — Том встал, поглядел на свои пальцы. Осторожно размялся, глянул наверх, оценивая высоту, на которую они забрались, но обзора почти не было.

Быстро вскипятив чаю в закопченных алюминиевых банках, они двинулись дальше, наверх.

Карабкаться при свете солнца оказалось гораздо легче. Склон тем временем все больше покрывался лесом, почва уже не сыпалась под ногами. Трасса внизу совсем затихла. Наконец, подъем стал совсем пологим, и вскоре они уперлись в целую кучу наваленных камней, за которой начиналась тропа.

Вокруг шумел старый высокий лес, звенели птицы, в глубоких буераках лежали покрытые

мхом деревья.

— На Демерджи было проще, — вытирая пот, выдохнул Том.

— Зато тут дорога одна. Не ошибешься.

Медленно, отдыхая от подъема, они шли по тропинке в сторону берега. С каждым метром тропа становилась все более утоптанной. В нее, как в ручей, со всех сторон впадали более мелкие тропки. Вокруг появились банки, винные и водочные бутылки, старые пакеты, пачки из-под сигарет и прочий туристический мусор. Повсюду, — на больших дымчато-сизых камнях, на поваленных деревьях, на скалистых уступах красовались свежие и совсем старые надписи:

Здесь был Юнат. 1976
Тут був Борода. Львів, 1989.
Здесь были Фима и Вася. 1933.
Тут была Людочка. 1910.

Все это действовало угнетающе.

— Дорога! — закричал Том. — Ты посмотри! Сюда ведет дорога! Колея от колес! Это как же так?! Мы, значит, лезли-лезли. Жизнью, блин, рисковали. Чуть не погибли, можно сказать. А наверху — такое! Сволочи. А вот фиг вам, а не дорога. Ходите по своему гадюшнику сами. А мы

напрямик пойдем.

Том решительно зашагал прямо, но вскоре, зацепившись за куст, разодрал рукав футболки.

— Да тут не одно держи-дерево. Тут держи-лес!

Исцарапанные и исколотые, продираясь сквозь колючие дебри, они упрямо шли напролом, к берегу.

— Ничего не видно. Мы хоть к морю идем?

— К морю, конечно. Мы же вперед идем. Значит, сзади трасса.

Наконец, тропа пошла вниз.

Справа от них увеличивалась пологая яма, которая постепенно превратилась в глубокую балку. На другой ее стороне длинным языком вытянулся покатый, поросший кустарниками склон. Очевидно, они шагали по такому же языку, только более высокому, пока не вышли на небольшую круглую полянку. Дальше склон резко ушел вниз, а перед глазами открылась, наконец, широкая и бесконечно лазурная даль моря.

Влево и вправо от полянки уходили две тропы, а прямо внизу виднелась зажатая между двумя вертикальными скалами узкая и совершенно дикая бухта. Там, у покрытого сыпучими валунами склона, призывно плескалось синее-пресинее, чистое, нетронутое и оскорбительно мокрое мо-

ре. Оно казалось неожиданно близким — только руку протяни.

— Море! И — никого!

— Влево или вправо? — засмеялся Монгол, кивнув на тропы, и они, не сговариваясь, побежали по камням прямо вниз.

Со спуском творилось что-то непонятное. Море было вроде бы совсем рядом, но они спускались, спускались, спускались… А оно все так же синело внизу, — только совсем чуть-чуть увеличился белый прибой.

Том остановился, глянул вверх. Они спустились метров на сто.

— Это обман зрения! Здесь же все относительно: камни, берег, море, деревья.

— Угу, — тревожился Монгол. — Медведь нас развел. Нам еще назад карабкаться, а солнышко уже того.

Действительно, они рассчитывали на менее сложный и долгий спуск. Их полуторалитровая бутылка воды уже кончалась, а во фляге было и того меньше. Чтобы укрыться от солнца, они старались идти по краю бухты, в несмелой тени невысокого каменного откоса. Тома подташнивало. Он всматривался в прибой, пытаясь угадать, сколько еще до берега. Наконец стал слышен его

шум, а у волн появились брызги.

Грязные, уставшие, с саднящими от пота царапинами, они с наслаждением бросились в прохладную воду. Тому показалось, что она зашипела вокруг его раскаленного тела.

Они долго сидели в воде, стараясь не думать об обратном подъеме. Безжалостное солнце будто прилипло к зениту. Оно немилосердно жгло макушку, и спрятаться от его жестоких лучей можно было лишь под водой.

— Слушай, а зачем нам до тропы на самый верх лезть? Нам же все равно в Партенит. Может, за этой стеной тропа есть? — Том кивнул на отвесную скалу, которой оканчивалась бухта.

— Может, — согласился Монгол.

Намотав на голову смоченные в море футболки, они полезли вверх, пока не достигли того места, где можно было перемахнуть через стену. За ней открылась точно такая же небольшая бухта-близнец. Противоположная ее сторона ограничивалась такой же каменной стеной.

Не спускаясь, они прошли по склону бухты. От камней поднимался жар, будто они шли по краю огромной сковороды. Футболки на голове быстро высохли.

— Надо одеться. Сгорим.

Они вновь перемахнули через стену-скалу, но и за ней их ждала такая же бухта. Но на этот раз внизу, на берегу, стояли две палатки.

— Смотри! Живые люди!

Обрадовавшись, они вновь запрыгали по валунам к морю, и вскоре уже стояли около ближайшей из палаток.

— Эй, есть кто живой? — осторожно спросил Монгол, с восхищением разглядывая выгнутые дугой пластиковые штанги, растягивающие палатку без традиционных советских опор у входа. Покатые, с блестящими колышками, они смотрелись на диком пустынном пляже как инопланетные корабли.

— Импортная.

В палатке раздалось шуршание, тихий шепот. Затем откинулся полог, и из нее вылезла ослепительно красивая блондинка. Она была так прекрасна, будто сошла с эротического плаката. Сделав ладонь домиком от солнца, она удивленно смотрела на них и молчала. Миниатюрный купальник тщетно пытался скрыть выдающийся, ровно загорелый бюст. Огромные глаза застенчиво хлопали длинными ресницами.

«Голову, что ли, напекло», — сглотнул Том, прикрывая свисающий на груди лоскут грязной

футболки, глянул на Монгола. Судя по его открытому рту, тот видел то же самое.

Тут в палатке снова раздался какой-то шорох, и следом вылезла такая же ослепительная брюнетка. Лоснящиеся, накрашенные девушки молча и несколько испуганно рассматривали незваных гостей.

— А вы кто? — наконец спросила очаровательная блондинка.

— Здравствуйте, девушки, — бодро сказал Монгол. — Мы известные путешественники. Покорители гор и перевалов.

Тут открылась вторая палатка, и из нее выбрались два накачанных мужика. Здоровые, как быки, выглядели они неприветливо. Друзья с недоумением таращились на их совершенные тела. Грязные, в разорванных о колючки футболках, они словно попали в какой-то голливудский фильм про идеальных людей.

— Чего надо? — хмуро спросил один из качков.

— У вас воды нет? — поинтересовался Том, размазывая по лицу грязную струйку пота.

— Воды нет, — с легкой брезгливостью ответил качок, картинно поглаживая красивый бицепс.

— Как же вы тут живете? Без воды?

— Нам каждый день на корабле завозят.

— А, ну тогда ладно, — сказал Монгол, как будто бы спустился только за этим. Они повернулись, и медленно потащились вдоль берега, к дальнему краю бухты.

— Эй! А вы откуда взялись? — крикнул вслед второй. — Нам тут полную дичь обещали.

— Оттуда! — Том ткнул пальцем то ли в небо, то ли в нависающую над бухтой, потрескавшуюся буханку горы.

— Мы первые, разведка, — серьезно добавил Монгол. — Там, сзади, целый отряд идет. Будут здесь лагерь ставить. Пионерский слет. Дружба народов. Но пасаран!

Идеальные люди ничего не ответили, и снова попрятались по палаткам.

Отойдя к самому краю бухты, друзья вновь полезли в море. Вода немного взбодрила прохладой, но никак не утолила жажду.

— Зачем ты их так? Они же теперь не расслабятся.

— Потому что воду зажали, мажоры гребаные. А эти качки вообще мне все настроение испортили, — ответил Монгол.

— Смотри, вон там, кажется, что-то съедобное. — Том выбрался из воды и поспешил к чему-то зеленеющему среди камней у самой

кромки прибоя. Это казалась огромная кисть винограда. Виноград был крупный, породистый. Том не видел такого даже на гурзуфском базаре. Рядом с кистью блестела монетка.

— Ого, дойчмарка. — Том подбросил монетку в руке.

— Лучше бы это был стакан воды, — мрачно сказал Монгол, плавая на спине «звездочкой». — Виноград только в море помой. Может, эти граждане заразные какие.

Отдохнув, они снова полезли наверх, под скалой. Этот подъем окончательно выбил их из сил, тем более что за очередным скалистым гребнем вновь открылась такая же унылая и раскаленная на солнце бухта.

— Как будто по кругу ходим, — пробормотал Том.

— Берег нарезан как торт кусками. Водит нас медведь за нос, сволочь! — злился Монгол, отмахиваясь от мелких назойливых мушек. Их налетела откуда-то целая тьма. Они вились столбами над головой, лезли в глаза и рот, мешали дышать.

Тени совсем исчезли, воздух недвижимо стоял над раскаленными камнями. Солнце будто звенело в ушах. Гудела голова, перед глазами плыли

красные круги.

— Надо опять купаться. А то помрем тут, на жаре, — пошатываясь, сказал Том, тоскливо глядя на склон, где высоко вверху зеленели деревья.

В изнеможении они спустились к морю, окунулись, укрылись на берегу под чахлым кустиком.

— Зато дождя нет, — мрачно усмехнулся Монгол, достал фляжку, поболтал ее. Воды оставалось пару теплых глотков. Он нехотя спрятал ее назад.

— Смотри, вон бутылка, — вяло сказал он. — По крайней мере здесь кто-то был.

— Она закрыта. Может, ее сюда морем выбросило?

Том нехотя встал, подошел к бутылке, посмотрел на свет.

— Слышь, она вся в тине. А внутри записка!

— Карта с кладом? — оживился Монгол.

— Щас поглядим! — Том с размаху разбил бутылку о камень, развернул большой листок.

— Что там? — Нетерпеливо спросил Монгол.

— «Юрий Куклачев и его кошки. Ялта-1992» — громко прочитал Том.

— А ты сокровищ ждал? — Монгол сплюнул, закрыл глаза.

Как ни странно, эта афиша здорово утешила

обоих. Где-то далеко, за горячими камнями и высокими утесами существовал целый мир, где выступал Юрий Куклачев и его кошки. Там точно была вода, а неоспоримое доказательство их существования Том только что держал в руках.

Они давали надежду, что все не зря — нужно было лишь упрямо идти вперед.

Отдохнув, они вновь полезли вверх. Шатаясь, спотыкаясь, перемахнули через очередную скалу-стенку, глянули вниз, и обомлели, не веря глазам. Очередная бухта была гораздо просторнее предыдущих. Внизу, посреди пляжа стояли широкие, уставленные яствами столы. Вокруг столов, прямо на гальке, неторопливо танцевали мужчины в строгих костюмах и женщины в нарядных платьях. Играла музыка, кто-то пел в микрофон. Праздник был в разгаре.

Том не помнил, как спустился. Он обнаружил себя уже совсем рядом с отдыхающими.

— Смотрите, туристы! — радостно засмеялся какой-то мужик. Он был будто окружен красным ореолом раскаленного марева.

— Люди! Дайте воды, — сквозь гул в ушах услышал Том свой хриплый голос.

Веселый мужик, по виду тамада, взял чистый стеклянный стакан, подошел к другому столу, где

рядом с высокой вазой, украшенной бананами и виноградом, стояло несколько бутылок минеральной воды. Он открыл бутылку, взял стакан, поднес его к бутылке, перевернул, и начал лить в него воду. Эти незамысловатые действия, судя по тому, сколько ждал Том, длились несколько лет, а может, даже и веков. Веселый человек улыбался и лил, лил в бездонный стакан мурлыкающую, переливающуюся пузырьками, сверкающую на солнце воду. Он лил ее целую вечность, тысячу лет и еще один день.

Том не помнил, как стакан оказался в его руке. Он пил жадно, большими глотками, морщась от пузырьков газа и сочувственно разглядывая Монгола сквозь дно стакана. Ведь тот ждал воды на одну вечность дольше.

— А как отсюда выбраться?

— Идите по этой тропе, наверх метров триста, — сказал тамада. — Там есть пятачок, оттуда в Партенит идет тропа. А дальше дорога, разберетесь.

И они вновь полезли вверх, карабкаясь быстро, неловко, с каким-то злобным остервенением хватаясь руками за все подряд, пока не достигли плоской площадки с двумя тропинками. Тупо глазея по сторонам, они не хотели верить тому,

что увидели.

— Слушай, ну как? Это же та полянка, на которую мы с утра спустились! — Монгол развел руками.

— Точно. А вот, внизу, наша первая бухта. Мы по кругу обошли всю голову и поднялись сюда же! — прохрипел Том.

Но печалиться по этому поводу не было сил. Они брели по тропе, стараясь не думать о том, сколько еще до Партенита, пока не вышли на дорогу. Она шла почти ровно по склону горы, прячась среди гранитных утесов, огромных валунов и деревьев. Дорога сделала с ними невероятное. Еще недавно они едва ползли, умирая от жары и усталости. А теперь, немного отдохнув, быстро шагали вперед, смеялись и даже шутили.

— Прямая дорога — это как на диване лежишь, — изрек, наконец, Монгол.

Гора неожиданно быстро кончилась. Быстрый витиеватый спуск, и они вошли в распахнутые ворота санатория. Он оказался огромным и совсем пустым. Время здесь будто застыло, намертво сохранив советский бетонный дух, растворенный в благоухающей южной хвое. Они долго шли через огромный парк с высоченными платанами, прошли белоснежную ротонду,

дельфинарий, закрытый магазин с размашистым названием «Изумруд», и, учуяв запах еды, вышли к столовой. На кухне никого не было. Напротив, у стены, стоял целый ряд умывальников. Том, не до конца веря своим глазам, подошел к одному из них, и, как когда-то в прошлой жизни, повернул вентиль крана. Из него потекла вода. Она пузырилась, шипела, и по вкусу ничем не отличалась от газированной.

Они с жадностью хлебали эту воду, заливали ее в себя, будто в бензобаки, умывались, подставляли под краны шеи и головы. Казалось, что здесь, у крана, можно было бы жить до самой старости.

— Вы откуда? Вы откуда?! — рядом закричала здоровенная повариха.

— От медведя, — сказал Монгол. — Где у вас тут выход?

Еще через полчаса блужданий по поселку они сидели на скамейке у панельной пятиэтажки. Здесь, на пятом этаже, жил тот самый, полумифический Индеец. Это был их долгожданный, нелегкий, но вполне заслуженный и неожиданно быстрый финиш. Осталось подняться на пятый этаж, но они не спешили.

— Письмо у тебя? — наконец спросил Монгол.

— У меня, — вздохнул Том.

— Ну что, пошли. Последний подъем! — Монгол хлопнул себя по коленям и открыл дверь подъезда.

Не спеша, с привалами, как бывалые путешественники, они профессионально поднялись на пятый этаж.

Звонок не работал. Монгол постучал. За обшарпанной дверью было тихо. Монгол постучал еще… За дверью никого не было.

— Может, подождать?

— Думаешь, он не слышит, как твой дядя?

Спустившись, они снова сели на скамейку. Рядом играла детвора. Из подъезда с трудом тащил велосипед пухлощекий бутус лет восьми.

— Пацан, ты здесь живешь? — спросил его Том.

— Да. А кто вам нужен?

— Музыкант. С пятого этажа. Знаешь его?

— А, барабанщик! Знаю. Только его нету.

— А давно?

— Давно. Года три не видел. А может, даже больше.

— А где он, не знаешь?

— Не знаю. Либо сдох, либо сбомжевался… — холодно и даже презрительно ответил ребенок.

Время шло, а они по-прежнему сидели на скамейке. Оба ощущали некоторую опустошенность,

думая, что делать дальше. Цель поездки, все время маячившая где-то впереди, вдруг исчезла.

— Куда теперь? — Том наконец произнес эти слова.

Монгол не ответил. Он молча поднялся со скамейки, и в эту секунду на первом этаже, прямо напротив них открылась форточка. Из нее выпало полбуханки серого хлеба. Монгол подскочил к окну, поднял хлеб, бережно отряхнул прилипший к нему мусор. Хлеб был совсем свежий. Монгол посмотрел наверх, но за бликующим стеклом никого не разглядел.

— Благодарствуем, — сказал он и положил хлеб в сумку.

Когда они поднялись на трассу, уже совсем стемнело. Мимо проносились машины, выхватывая из тьмы часть горного склона и мозаичную остановку с надписью «Партенит». Бетонная крыша остановки была сделана из двух наползающих друг на друга кругов. Они забрались на верхний, и, бросив сумки под головы, устало вытянули ноги на разогретом за день бетоне.

— Ну и денек, — наконец выдохнул Монгол, достав флягу с водой. — Часа четыре назад чуть не подохли. А теперь лежим вот, водичку пьем. Он поболтал фляжкой. Фляжка тяжело и полно

курлыкнула. — Тепло, приятно.

— Кстати, а ведь мы ту воду на горе так и не допили, — вдруг сказал Том. — Там же чуток оставалось. Если бы я писал книгу про человека, который умирал в пустыне от жажды, я бы никогда не написал, что он допил воду *до конца*. Последний глоток — это уже не глоток. Это как последняя надежда.

— Когда-нибудь ты напишешь книгу про наши похождения. Про Назарыча. Про ежика.

Том посмотрел на Монгола, как будто впервые его увидел.

— Ты смеешься? Кто поверит, что грузин ехал в машине под «Чито-дрито»?

— Ну наврешь. Напишешь — армянин.

— А что мы нашли бутылку бренди, а потом пакет мидий. А склад с арбузами? А хлеб из окна? Прямо чунга-чанга, синий небосвод. Ешь кокосы, жуй бананы.

— Ну ты же про жизнь писать будешь, а не басни сочинять.

— А Медведь-гору ты сзади видел? Туда же в своем уме никто не полезет. Она же почти отвесная!

— Так мы ж ночью лезли! — нашелся Монгол. — В темноте не видно.

— Не, Монгол. Реальность невысказуема. Это

такая штука… Со смещенным центром тяжести смысла.

— Я тебе точно говорю. Все песни пишут, а ты книгу напиши, в стиле панк.

— Я даже знаю, как она будет называться. «Преодолевая разум». Как тебе?

— Назови лучше «Гуляй-Лето».

— А что это?

— Была со мной история. Помнишь, когда тебя с картиной перемкнуло. Я тебе говорил еще, что случай странный был. Ну и вот. Как-то ездили мы в Ленинград, на соревнования. В седьмом классе, кажется. Когда все кончилось, у нас оставался свободный день. Тренер отпустил нас самих по двое-трое по городу погулять, и вечером за вещами домой вернуться. А жили мы в Лигово. Это далеко, нужно на электричке ехать с Балтийского вокзала. Ну, погуляли мы с другом Генкой по городу, и на вокзал приехали. Смотрим, на лавке колдырь какой-то спит, а неподалеку — бутылка вина непочатая. И — никого рядом. Я ее схватил машинально, в сумку сунул. Говорю потом: «Генка, попробуем?» Все равно соревнования кончились. Тот отказался. А я говорю: «Слабак ты». И полбутылки залпом выпил. Иду такой, трезвый, и ни в одном глазу. Думаю, вот колдыри

слабаки. Еще выпил. И тут ка-ак даст по мозгам. Я бутылку выкинул, говорю: «Не могу идти, Генка! Двоится все! Веди меня домой.»

Дорогу мы знали. Главное было в электричку на Лугу не сесть, но они в другом месте стояли. Тут смотрим — наша электричка. Только они обычно зеленые были, а тут синяя подошла. Мы сели, едем. Я голову к окну прислонил, чтобы прохладно было, а напротив женщина сидит. Вся в золоте, с браслетами. На мать мою ни капли не похожа, а глаза — точно ее! Мамкины. Я честно говорю, я тогда испугался, протрезвел даже. Смотрю на нее, а на меня из незнакомой тетки мать моя смотрит. Смотрит и молчит. Ну вот не бывает такого, чтобы у двух людей глаза одинаковые были, а тут… Короче, мы уже долго едем, Генка забеспокоился. Говорит: не туда едем, станции вообще незнакомые. И тетка эта вдруг тоже говорит: «Я, кажется, не в ту села».

Выходим мы с теткой на ближайшей станции. А там платформа и лес такой дремучий: елки высокие, как стена стоят. На табличке написано: «Гуляй-Лето». И больше никого, кроме нас.

Мы до конца станции дошли, чтобы рельсы перейти и обратно ехать, а тетка эта отстала. Тут навстречу электричка. Мы бегом, Генка в

последний вагон впрыгнул, а я снаружи остался, и двери держу. Думаю, что раз глаза мамкины, то это все не просто так. Может, знак мне какой? Хотя я тогда вообще ни во что не верил. А тут прям знание такое, что сомнений нет. И так нехорошо на душе. Как у тебя было.

Монгол вдруг осекся, замолчал, что-то обдумывая. Достал сигарету, закурил, глядя в небо.

— А дальше? — спросил Том.

— А дальше Генка видит, что я снаружи, и тоже из вагона выскочил. Пока тетка дошла, электричка эта уже уехала, и мы снова втроем стоим. А тетка и говорит: «Спасибо вам, что подождали. А вы сами откуда?» Мы: «С Украины». А она: «Я так люблю украинские песни!» И начинает петь любимую песню моей матери. «Тече вода». Песня не очень известная, сам понимаешь. Но я-то знаю, что это за песня! А она мне как будто знаки подает. Мол, ты что, не понял еще? Короче, у меня тогда чуть крыша не потекла. Я и так все вижу, все понимаю, но не скажешь же ей: что там, дома?

— А Генка?

— А Генка вообще не понимает ничего. Стоит, смеется, песню слушает. Короче, приехала электричка, мы сели, а тетка отвела меня в тамбур, и говорит: «Маму слушай, только пива не пей, и

все будет хорошо».

— А потом?

— Приехали назад на вокзал, попрощались. И в Лигово уже на зеленой «собаке» прибыли.

Я потом домой звонил, перепуганный. Но самое смешное, что на карте Ленинградской области никакого «Гуляй-Лета» нет. Я искал ее, хоть что-то похожее, куда мы могли приехать. И Генка искал. Прикинь, да? Я с тех пор, кстати, пива не пил. До того случая, в «Ромашке». Сейчас вот думаю, если бы тогда пива не пили, может, быть все по-другому пошло…

— Пива не пьешь, а заливаешь, — хохотнул Том.

— Да пошел ты. — Монгол отвернулся.

— Ладно, извини.

— Ты, Том, аккуратнее на поворотах. Мать — не тема для шуток.

— И дома ничего не произошло?

— Я ж говорю, что нет. Мать жива. — Монгол снова повернулся к Тому. — Я тебе зуб даю, что все так было. Что-то непонятное происходит иногда. Случается.

— А отец?

Монгол не ответил.

Холостяцкий салат

День на остановке начался рано, с гомона первых пассажиров. Солнце уже позолотило море длинной широкой дорогой. С каждой минутой она наливалась платиной, пока не рассыпалась отдельными блестками по сине-зеленой, бездонной, как небо, глади.

Спрыгнув с крыши, они не спеша побрели вдоль трассы.

— Куда теперь? — спросил Том.

— А поехали в Планера! — внезапно спохватился Монгол. — Говорят, что там вроде любовь братская.

— Думаешь, она еще там?

— Кто? Любовь? — Монгол сделал вид, что не понял.

— Да ладно! — Том засмеялся, хлопнув приятеля по плечу.

Они шли, раз за разом поднимая руку, но автостоп совсем не работал.

Вскоре вдоль дороги потянулся укрытый густыми зарослями дачный поселок. Крохотные маленькие домики аляповатым винегретом лепились-наползали друг на друга, прячась в

увитых виноградом заборах.

— Есть хочется. Пошли, в гости зайдем, может, накормят? — предложил Монгол.

Они подошли к воротам поселка. На них висел видавший виды замок с кодом.

Том взял его в руки, повертел колесики с цифрами, и замок открылся.

— Ну ты прям апостол Петр! — восхитился Монгол.

— Замок старый, места под нужными цифрами вытерты.

За воротами потянулась между участками узкая разбитая грунтовка.

— Тихо как! Вымерло все.

— Так сегодня понедельник. — сказал Том.

— Откуда знаешь? — удивился Монгол.

— Народ в машинах мрачнее обычного.

— Кукаре-ку-у! — Неожиданно раздалось совсем рядом.

За забором, буквально в метре от них, сидел в клетке большой рябой петух. Людей вокруг не было. Быстро перемахнув через калитку, они подошли к клетке. Она была большая, добротная, из мелко переплетенных стальных прутьев. На дверце курятника висел большой амбарный замок. Петух при их появлении беспокойно заку-

дахтал и замахал крыльями.

— Эх, жаль, что кусачек нет, а то бы с нами пошел, — сказал ему Монгол. Петух тревожно дернул головой, явно не желая куда-то отправляться.

Не спеша пройдя по участку, они нарвали болгарского перца, дернули пару луковиц, взяли несколько зрелых помидоров и небольшую дыню.

— Живем! — Том довольно хлопнул по своей потяжелевшей сумке. — Теперь можно хоть на край света!

— Мы уже давно на его краю. Дальше некуда…

— Эй! Стой, раз-два. Кто такие? — резкий окрик застал их врасплох.

Сзади стоял, пошатываясь, высокий худой дед в широкой соломенной шляпе. На его угловатых плечах висел драный плащ, делая старика похожим на ожившее чучело. В руках, на манер ружья, он держал палку и целился в них.

— Путешественники! — сказал Монгол.

— Музыканты! — добавил Том.

— А! Ну тогда заходите в гости! — человек снова пошатнулся, убрал «ружье» и радостно растопырил угловатые руки. — Заходите, заходите!

— Может, ну его? — шепнул Том. — Вдруг он

видел, как мы… Сдаст еще.

— Не видел. Далековато. И на сторожа не похож.

— Да не стесняйтесь. — Дачник подошел ближе, обдав их крепким перегаром. — Мы, крымчане, народ гостеприимный! Я — дядя Гриша. Меня тут все знают.

Его искренняя пьяная улыбка и незамысловатость выражений подкупали. Пройдя несколько участков, они нырнули под увитую виноградом арку и вошли в дом.

— Вот моя берлога, — дядя Гриша широко окинул дом рукой, и потупился. Они удивленно глазели по сторонам. Изнутри все стены дачи составляли один тщательно прорисованный лесной пейзаж. В дремучих чащах прятались медведи, лоси, волки, кабаны. Из-за кресла пугливо глядел заяц, над головой у него, у вешалки, на большой разлапистой ели сидела сова. В соседней комнате спускался у кровати целый каскад водопадов; струи собирались внизу стены в одно большое озеро, поросшее по берегам камышом и небольшими березками. На одной из березок Том заметил искусно спрятанный выключатель. На другом дереве висели часы с кукушкой. Они показывали полдесятого утра. Эффект этих нехитрых

и трогательных рисунков был удивительный: маленький дом изнутри казался значительно больше своих размеров.

— Да вы художник!

— Так, балуюсь на досуге! — скромно ответил дядя Гриша, явно довольный произведенным эффектом. — А вы какими судьбами к нам?

— Мы проездом.

— Жилье не требуется? Ялта, Алушта, Гурзуф?.. Да что я говорю? Вы, наверное, голодные! Сейчас мы заделаем холостяцкий салат. Дарю свой фирменный рецепт.

Он метнулся к серванту, мигом достал разделочную доску, надел фартук и стал похож на заправского повара.

— Итак, берем огурцы, помидоры, красный лук. Все мое, все сам вырастил… Добавляем селедку. Вместо селедки пойдет соленая килька или мойва, но у нас есть отличная селедочка. Все это крупно рубим, перемешиваем, добавляем немного масла, солим, и — все.

Через пять минут на столе красовался эмалированный тазик, полный салата.

— От жены остался, — дядя Гриша кивнул на тазик. — Годовщина сегодня. Помянуть надо.

Затем спустился в погреб и вытащил из его

недр запотевшую бутылку.

— А вот самогоночка. Тоже своя. — Хозяин разлил самогон по маленьким замызганным стопочкам из темно-зеленого стекла.

Выпили.

— Хорошая была женщина! Грустить не давала, — дядя Гриша прослезился. — Все прошло, как белых яблонь дым… Но хватит о грустном: между первой и второй, и далее — со всеми остановками. Давайте выпьем за мир во всем мире и разрядку международной напряженности.

— Дядя Гриша, еще же десяти нет! — робко проговорил Том.

— Кто не пьет, — тот не ест! — отрезал дядя Гриша, снова наполнив стопки. Салат был прекрасен. Им обоим хотелось наесться впрок, про запас, хотелось проглотить его целиком, не пережевывая эти сочные, переливающиеся в масле растения, эти отливающие металлом розоватые кусочки селедки среди фиолетовых полумесяцев сладкого, хрустящего лука.

— Так! — Дядя Гриша снова взялся за бутылку. — Я же совсем забыл! Сегодня как раз большой праздник!

— Какой?

— Триста лет русской балалайке! — захохотал

хозяин.

— Отличный у вас салат! — восхищенно сказал Монгол.

Глаза у дяди Гриши заблестели. По-отечески взглянув на Монгола, он смахнул слезу. Его как-то быстро развезло.

— О, это лучший салат в мире, я считаю… Чем бы вас еще угостить?.. О! Хотите, я вам настоящий пистолет покажу?

— Пистолет? — Монгол перестал жевать.

Не дожидаясь ответа, дядя Гриша рванул в угол комнаты, где в полумраке виднелась крутая деревянная лестница на чердак.

— Сейчас! — сказал дядя Гриша и, потирая руки, наступил на первую ступеньку.

— Сейчас! — он наступил на вторую доску, и в его голосе появились странные, стальные нотки.

— Сейчас, сейчас, погодите! — голос дяди Гриши с каждой ступенькой наливался звоном злого торжества.

Его ноги еще не скрылись из виду, а с чердака уже доносился злой рев разгневанного зверя.

— Сейчас вы у меня узнаете! — со злорадным предвкушением заорал дядя Гриша, грохнув чем-то тяжелым об пол. Дом вздрогнул, лопнуло чердачное стекло, вывалилось наружу, и, ударив-

шись о козырек, звонко разбилось о крыльцо.

— Убью! — взвыл дядя Гриша.

— Бежим! — крикнул Том. Перебросив через плечо сумку, он рванул было к двери, но Монгол успел перехватить его за руку.

— Стой. Мало ли, — шепнул он, кивнув головой в сторону двери, и прислонил палец к губам. Затем, зачерпнув рукой салат из миски, отправил его в рот, не сводя глаз с чердачного люка. Дядя Гриша продолжал бушевать, швыряя о стены какие-то тяжелые предметы. Казалось, что он ищет там не пистолет, а что-то размерами не меньше гаубицы. Наконец, шум наверху стих. Было слышно тяжелое сопение дяди Гриши, затем раздался глубокий облегченный вздох, и наверху что-то лязгнуло. Звук был протяжный, неприятный, и глаза у Монгола от удивления полезли на лоб. Он толкнул входную дверь и бросил наружу жестяное ведро. Громко загрохотав по бетону дорожки, оно укатилось куда-то в листву винограда.

— У-у, падлы! — Дядя Гриша, тяжело прошагав к окну, замер прямо над ними. Никого не увидев, он снова расстроился, завыл, как раненный зверь, и решительно зашагал к лестнице.

— Пора! — Увидев появившуюся ногу, Монгол схватил тазик с остатками салата, и они выско-

чили из дома. Весь дом снова заходил ходуном. Непроизвольно пригибаясь, и в то же время стараясь не уронить салат, они бегом пересекли опасный участок. Калитка была приоткрыта. Вой дяди Гриши смолк. В конце проулка уже виднелись шмыгающие по трассе автомобили.

— Стой! — крикнул Том.

— Чего? — Монгол остановился.

— Нехорошо как-то. — Он кивнул на тазик. — Память. Давай вернем.

— Ты что? У него там что-то потяжелее пистолета. Не слышал, как он там затвором лязгнул?

Том молча выгреб рукой остатки салата, и, подбежав к углу участка, швырнул тазик через забор.

— Вот ты замороченный! — восхищенно сказал Монгол.

До ближайшей остановки шли молча, часто оглядываясь и по-деловому облизывая руки. Наконец, звеня всеми частями тела, подъехал старенький троллейбус. Суровая женщина-кондуктор перекрыла вход.

— Деньги давайте.

— Пустите доехать. Мы от экскурсии отстали, и вещи в камере хранения забыли. Вы же видите! У нас с собой даже рюкзаков нет! Тут же рядом!

— Докуда?

— До Планерского. Или как там его, Коктебеля.

Кондуктор ойкнула.

— Отстали так отстали. Ладно, поехали! — Махнула она рукой.

Они сели на пол, около кабины.

— Что, это далеко? — тревожно спросил Том.

— Далеко. Туда троллейбусы не ходят. На автовокзале в Алуште уточняйте.

В Планера

Перекусив и искупавшись, они медленно гуляли по алуштинской набережной.

— К дяде зайти не хочешь? — спросил Том.

Монгол внимательно посмотрел на него, но, не увидев иронии, мотнул головой.

Набережная была полна народу. Отовсюду доносилась музыка, симпатичные девушки продавали пиво, пирожки и сладкую вату.

— Интересно, где же этот Коктебель? — Монгол глазел по сторонам. Он уже отвык от такого количества людей.

— Куда-то на восток. — Том пожал плечами, и вдруг остановился около художника-карикатуриста. Тот читал газету. Желающих нарисоваться не было.

— Привет! Слушай, а нарисуй нас, — попросил Том.

— Сто тысяч. — Художник оторвался от чтения.

— За сто тысяч каждый может. А вот двоих — и забесплатно нарисовать можешь?

— Как это? — недоуменно спросил художник.

— А так. Просто потому, что настоящее искусство не продается.

— Не, я так не смогу. Я бы тут не торговал, — засомневался художник.

— А в качестве рекламы? — спросил Том.

— В качестве рекламы можно. Но только одного. Садись! И улыбайся на все сто тысяч — неожиданно добавил он.

— Граждане! — тут же заорал Том, — подходите! Только сегодня лучший художник Крыма показывает свое настоящее искусство!

Вокруг остановилось несколько скучающих человек.

— Шедевральное мастерство! Невероятный лик человека! Память незабываемых дней! — кричал Том.

Наконец, художник предъявил портрет. Из узких плечиков таращилось на Тома вытянутое щекастое лицо с жалким хвостиком волос. Внизу прилагалась подпись: «Егору от Толика. Алушта».

— Спасибо! — Том скрутил портрет в трубочку. — Ни одно доброе дело не пропадет в этом мире.

— Я знаю! — Толик обреченно махнул рукой и вновь углубился в газету.

Разузнав на автовокзале дорогу, они пошли на восток по живописному горному серпантину.

Алушта осталась за спиной. Путники медленно поднимались наверх, время от времени голосуя редким автомобилям. Никто не останавливался.

— Вот же люди, — вяло проворчал Том, — те, кто едет с кем-то, — беспомощно поднимают руки. А те, кто пустой, просто отмораживаются.

— Чужая голова не болит. Ну зато Машка с нами, — Монгол кивнул головой вверх. Там, за крутыми склонами Демерджи, в легкой голубой дымке все так же маячила гордая и высокая голова Марии.

— Как высоко! — Том остановился, посмотрел из-под руки на знакомую гору, обернулся, и тут увидел, как сзади, на одной из петель дороги мелькнула открытая красная машина с сияющей на солнце радиаторной решеткой.

— Смотри, — кабриолет! Сюда едет. Может, это тот самый разбогатевший хиппи?

Он махнул рукой, и машина резко затормозила. За рулем сидел молодой парень в красной рубахе и черных солнцезащитных очках. На руке его поблескивали большие часы. В салоне играл блюз.

— До Коктебеля подбросишь? — спросил Том.

— Сколько?

— Что значит — сколько?! Километров?

— Денег сколько?

— Денег нет. Бесплатно подбросишь?

— Вы что, идиоты? — сказал водитель, и дал по газам.

— Сам идиот! — крикнул вслед Монгол, и они побрели дальше.

Долго ждать не пришлось. Вскоре около них остановился старый вишневый жигуленок, за рулем которого сидел крепкий седой мужик лет пятидесяти.

— Куда?

— До Планерского. Только у нас денег нет.

— Садитесь, — коротко сказал водитель.

Монгол сел спереди. Он почему-то сразу почувствовал, что за рулем — военный.

Мужик ехал молча, крепко сжимая плетеную баранку руля жилистыми руками. На зеркале заднего вида весело подпрыгивал миниатюрный человеческий скелетик.

Том пытался было заговорить, но шофер никак не реагировал, время от времени вставляя какие-то малозначительные междометия.

Монотонный серпантин убаюкал его. Том даже задремал, но за очередным виражом машина вдруг резко сбросила скорость. Свернув в узкий тупик, они остановились у ничем не примечательной стены, затянутой диким виноградом.

— А теперь сидите тихо, и не рыпайтесь, — спокойный, но жесткий, как сталь, голос шофера моментально вывел его из сна.

Раздался щелчок, затем гул невидимого мотора. Виноград зашевелился, и Том увидел, как стена медленно отодвинулась в сторону. За ней открылась бетонная дорога, ведущая к небольшому зданию, напоминающему КПП.

Монгол сидел неестественно прямо. По его шее ползла капля пота.

«Приехали!» — Том сидел сзади, глядя на его взмокший затылок, и думал, что с этим делать. Он мог в любую секунду рвануть дверцу и убежать, но что будет с Монголом? Скорее всего, он не успеет. Но даже если они оба выскочат — не окажутся ли они полными идиотами? А вдруг ничего страшного, и этому есть какая-то неизвестная им, но тривиальная причина?

Тем временем ворота сзади закрылись.

Том медленно расстегнул сумку, нащупал рукоять ножа и, высвободив его из-под вещей, аккуратно положил сверху. Бить живого человека ножом ему еще не приходилось. И, если честно, совсем не хотелось.

Водитель проехал под козырек ко входу в здание, которое оказалось заправкой. На ней не было

ни души. Мужик вставил в шлагбаум карточку, заправился, и проехал заправку насквозь. Слева показался поросший деревьями склон горы, в котором виднелся мощный бетонный портал, закрытый серебристыми воротами с желто-черным треугольником радиации. Справа мелькнуло небольшое, напоминающее карандаш, помещение. На его алюминиевом боку виднелась клепаная овальная дверь со звездой и обрывками рубленных цифр. «Из самолета в сортир переделали», — догадался Том.

Бетонка уперлась в кусты. Впереди сдвинулись другие, такие же неприметные ворота. Жигуленок вывернул на трассу и вновь понесся вместе с потоком машин по виляющему горному серпантину.

— Только что вы побывали на территории секретного ядерного военного объекта, — сухо сообщил водитель. — Только не говорите никому, где это, ладно?

— Хорошо! Конечно! — почти хором ответили друзья.

Спать больше не хотелось. До места назначения они доехали в полном молчании и скомканно попрощались у автовокзала.

— Стремный водила. А я уже за ножом потя-

нулся. — Том все еще переживал происшествие в поездке.

— По поводу? — непонимающе спросил Монгол.

— Ну как же… Сидите, не рыпайтесь.

— Тю, нашел чего бояться, — засмеялся Монгол.

— У тебя же самого шея взмокла.

— Жарко в машине было, — невозмутимо ответил он.

Планерское встретило их пылью, лаем собак и криками зазывал. Поселок расположился на берегу широкой живописной бухты. Слева розовел уходящий далеко в море мыс, справа бугрилась невысокая скалистая гора, укрытая по склонам желтой, выгоревшей на солнце травой. Солнце уже заползло за него, вытягивая в море длинные прибрежные тени. Они молча шли друг за другом к морю, как незнакомые, чужие люди, без всякого желания общаться.

Том чувствовал, как на него нахлынуло непонятное раздражение. Ему вдруг до смерти надоело это странное путешествие, не имеющее четкой цели и не увенчавшееся ничем. Единственным его плюсом было время, которое прошло с момента их отъезда, но стоил ли этот месяц всех

их непростых приключений? Нельзя ли было пересидеть его где-то поблизости, — там, где время не столь бесчеловечно, где не так долго тянутся длинные-предлинные, нескончаемые, вечные дни?!

Монгола тоже тяготило их долгое общение. Будто острыми крючками цепляя за самую душу, вновь тревожили его воспоминания о своем дяде. Чуждый всякой романтики, Монгол рассчитывал именно на него, в глубине души вовсе не собираясь путешествовать с Томом по чужим, пусть и красивым, местам. Если бы он знал, что так выйдет с дядей, то ни за что бы не поехал к какому-то там барабанщику.

Погруженные в свои мысли, они вышли, наконец, на набережную, побрели по берегу, к горе.

— Где-то здесь живут всякие хиппи и панки. Может, под этой горой? — задумчиво рассуждал Том.

— Почему?

— Потому что там красиво.

— Оно везде красиво, только достала уже эта красота. — Монгол с ненавистью поглядывал на приближающуюся рыжевато-серую громаду, увенчанную сверху огромным каменным пнем. — Ты как хочешь, а я в горы больше не

полезу!

У самого ее подножия их остановил военный патруль.

— Территория вулкана Карадаг — это заповедная зона. Проход запрещен! — весело сказал военный, поправляя на груди старенький военный бинокль.

— Во как. Тем лучше. Товарищ солдат, а где тут волосатые обитают? — спросил Том.

— Во-он там, в зеленке! — пограничник махнул рукой в противоположную сторону бухты, где на желтом обрывистом склоне моря темнели клочки серебристых рощиц.

Берег тянулся нудной чередой аляповатых строений, пестрых ларьков и гостиничных корпусов. Казалось, что его набережная с бесконечными столовыми и чебуречными никогда не кончится. Зато на берегу и в море, компаниями и поодиночке, — везде попадался разный волосатый люд.

— Тихо как-то. А говорили, что Мекка! — пробормотал Монгол, пнул попавшуюся под ноги бутылку. Та, пролетев несколько метров, разбилась о парапет.

— А так можешь? — Том с разбегу прокатился по луже, подпрыгнув в самом ее центре. Веселые брызги окатили набережную и прохожих.

— А так? — Монгол попытался было преодолеть лужу на одной ноге, но поскользнулся и форсировал лужу уже на спине.

— Не запомнил, как! — засмеялся Том. — Повторить сможешь?

Стало немного веселее.

Набережная окончилась небольшим холмом, за которым уже маячил покрытый чахлым леском берег с пестреющими тут и там палатками.

— Зеленка!

— Щас базарить будем, по понятиям, — осклабился Монгол.

— Зачем?

— Ты видишь, народу сколько? Это значит, что все хорошие места забиты. А я устал с дороги и хочу занять нормальную поляну. Ща найду, если там есть кто, — скажу: ты откуда, кто на районе заправ, как кликуха, почему за район не бегаешь, бабки давай или вали отсюда… Ты только не мешай мне, я сам.

— Я тогда в другом месте стану, — сказал Том.

— Почему? — удивился Монгол.

— Гопов мне и дома хватает.

— Зануда.

На подъеме к Зеленке он быстро вошел в роль: набычился, растопырил локти, выпятил челюсть,

и, постреливая исподлобья глазами, пошел вперед по узкой тропе.

Попадавшиеся навстречу люди старались не встречаться с ним глазами.

Наконец, Монголу приглянулась уютная, закрытая со всех сторон деревьями полянка. В ее центре еще дымились выгоревшие угли очага, рядом стоял большой закопченный котел. На поляне явно кто-то обитал. Пока он оценивал, куда лучше бросить вещи, из кустов, словно из сказки, выплыла загорелая девушка. Она была немного старше их. Простоволосая, худая и совершенно голая, не считая нескольких незатейливых фенечек на руках. На ее шее, едва прикрывая маленькую вздернутую грудь, висела гирлянда из полевых цветов.

— Привет. Вы наверное ищете, где стать? — спросила она. Нет, пропела, проворковала.

Монгол, еще секунду назад страшный и свирепый, совсем потерял дар речи. Он стоял совершенно растерянный и хлопал глазами, стараясь не смотреть, но и не в силах отвернуться.

— Становитесь у нас. Поляна большая, места всем хватит, — продолжала девушка. — Меня Аня зовут.

Монгол все еще стоял в ступоре, не в состоянии

выговорить ни слова.

— А, вы наверное есть хотите? — Аня обезоруживающе улыбнулась.

— Как вы можете такое спрашивать?! Конечно, хотим. Заждались уже обеда, — наигранно возмутился Том. — Где тут у вас стол?

— А здесь везде стол, — засмеялась Аня. — Ну, тогда вон там суп, в котле. Он, правда, немного поостыл, но еще теплый.

— Вот ништяк! Вот он, рай! — Том, бросив сумку, плюхнулся рядом на землю.

— Да, рай! — засмеялась Аня, и исчезла в кустах.

Монгол все стоял, ошарашенно смотря ей вслед.

— Видишь, какие гостеприимные, — шепнул Том. — А тебе бы все быковать.

Подкрепившись, они стали обживаться на небольшой, укрытой от ветра прогалине. Холмистый, поросший деревьями берег моря, где они остановились, представлял собой целую систему небольших заселенных пятачков, находящихся на разной высоте и соединенных между собой тонкими тропами. Некоторые тропинки вели куда-то наверх, некоторые спускались к морю, но их поляна, как и под Гурзуфом, располагалась

на крутом отвесном обрыве. Людей здесь было немало, но и мест хватало на всех желающих. Повыше, на краю одной из полян над балкой был устроен туалет; рядом с ним на стволе дерева был заботливо прикручен рукомойник, сделанный из перевернутой пластмассовой бутылки. Чувствовалось, что народ жил здесь давно и основательно. Этот удивительный симбиоз незнакомых, но открытых друг другу людей почему-то напомнил Тому колонию птиц, живущих на отвесных морских скалах.

Аня оделась, когда небо стало сиреневым. Она оказалась местной. Дома ей было скучно, и на Зеленке она жила с самого мая. Впрочем, это было и так видно по ее ровному загару в тех местах, где обычно начинается одежда.

Сколопендра

Они сидели у костра и смотрели на море. Монгол, не жалея красок, рассказывал Ане о том, как они целый месяц жили в горах без воды, а потом пошли на кабана и увидели высокое двуногое Существо, которое называется Брокенский призрак. История получилась страшной и таинственной. Аня оказалась впечатлительной, и очень трусила, вздрагивая от каждого шороха. Уже совсем стемнело, как вдруг откуда-то сверху ударил луч мощного прожектора. Он заметался по небу, то и дело останавливаясь то на линии горизонта, то на черной тени Карадага. Вскоре появился второй луч. Он бил откуда-то с запада. Лучи то гонялись друг за другом по небу, то писали что-то среди звезд, то останавливались на каком-нибудь суденышке.

— Ишь, играют. Над нами военная часть! Это наши погранцы оттуда бьют. А вон тот, второй, — это из-под Ялты светит…

Аня вздрогнула, услышав шорох шагов, повернулась.

— О, а вот и наши воины пришли.

Том ожидал увидеть пограничников, но на

поляне показались два волосатых парня с небольшой собачкой.

— Это Глюк и Куба. Пиплы, у нас пополнение.

— Монгол.

— Том.

Новоприбывшие сдержанно поздоровались, сели у костра.

— За знакомство? — Том достал остатки спирта.

Но Глюк и Куба отказались.

— А чего так? Болеете? — сочувственно спросил Монгол.

— Мы — воины. А воины не пьют алкоголь и не тратят энергию на женщин, — сказал Глюк, угрюмый лобастый тип с темными косичками жидких волос на круглой голове.

— С женщинами — это вы правильно. А с кем воюете? — спросил Монгол.

— С несовершенством. Если вкратце, то воин — это человек, который собран, текуч, мобилизован и безупречен. В принципе, каждый человек может достичь безупречности. Но не каждый человек готов пожертвовать житейскими радостями, чтобы стать воином.

— А что будет, когда вы достигнете безупречности? — спросил Том.

— Тогда мы увидим мир таким, какой он есть.

— А мир вокруг — с ним что-то не так? — насторожился Монгол.

— Мы видим лишь иллюзию. Чтобы увидеть мир таким, какой он есть, необходимо много энергии, — сказал Куба, худой пацан со светлыми кудрями.

— Я тебе скажу, спирт — чистая энергия. А когда выпьешь, так вообще никаких иллюзий нет, — захохотал Монгол.

— Мулька, иди сюда, — Глюк позвал собачонку цвета красного кирпича, потрепал ее по заросшей волосами морде.

— Это болонка? — спросил Том.

— А разве это имеет значение? Животные породу не выбирают, — ответил Глюк.

— А это он или она?

— А какая разница? Или ты хочешь сказать, что если бы ты узнал ее пол, то изменил бы к ней свое отношение?

— Ясно. — Том пожал плечами, и больше ни о чем не спрашивал.

— Я так и не понял, — это Коктебель или Планерское? — Монгол решил разрядить обстановку.

— Раньше поселок назывался Планерское, — ответила Аня. — Здесь, на горе, была планерная

база. Вообще, это родина советского воздухоплавания, тут хорошие восходящие потоки. Здесь тренировались Ильюшин, Чкалов, Королев. Еще говорили, что некоторым удавалось отсюда подняться с небольшим количеством топлива, которого хватало до Турции. И после этого базу прикрыли.

— Их никто бы не выпустил. А если бы и пропустили, то сбили бы еще над нейтральными водами, — весомо вставил Глюк, и тут же, без перехода, продолжил:

— Ладно, давайте обсудим, как жить будем. У нас все общее, но халявщиков нет. Все готовят, моют, стирают. От каждого по способности, — каждому по потребности. Вы будете с нами, или по-своему?

— Давайте вместе, — Монгол с интересом поглядывал на Аню.

— У вас деньги есть?

— Есть! — гордо сказал Том, и полез в карман. — Дойчмарка!

— Ясно. — Глюк повертел монетку в руках. — Завтра утром пойдем за бутылками. Только вставать с рассветом, а то бомжи все соберут.

Вечер закончился как-то постепенно. Прожектора потухли, когда они уже допили остатки

спирта. Аня спала в спальнике, на самом краю поляны. Монгол спьяну хотел помочь ей отойти ко сну, но не нашел понимания и вернулся к Тому.

— Интересно человек устроен. Как спать — так одевается, как жить — раздевается, — пробурчал он.

Том не ответил, прислушиваясь к тихо тренькающей вдалеке гитаре.

— Слышь, Том. Как она тебе?

— Не в моем вкусе.

— Ну и дурак. Девка голая ходит, а ему пофигу.

— А тебе что ни девка, то интересная. Веронику свою уже забыл?

— Спи давай.

Том уже засыпал, как вдруг что-то назойливо защекотало его в области живота.

«Муравей», — подумал он, и, ударив кулаком по животу, перевернулся на другой бок.

В ответ он почувствовал три-четыре довольно болезненных укола. Но ему так хотелось спать, что выяснять, кто его укусил, не было никакого желания. «Наверное это муравей укусил меня перед смертью», — подумал он. Этот полусонный вывод показался таким убедительным, что он совсем успокоился. Подоткнув под себя штору, он почти провалился в долгожданный сон, если

бы не треклятый муравей. Он уже щекотал его теперь где-то в районе лопатки.

«Какой странный муравей. Почему он не умер от такого удара?..» — подумал Том…

Сон прошел мигом. Не делая резких движений, он осторожно убрал штору. Медленно встал, стараясь не прижимать одежду к телу, аккуратно вытащил футболку из штанов, тряхнул ей. Откуда-то из-за спины упало на землю что-то длинное, черное. Извиваясь, оно быстро поползло под мирно посапывающего Монгола.

— Фонарик! Дайте фонарик! — закричал Том.

На поляне тут же поднялась суматоха. Все заголосили, зашумели. Вскочил, как подстреленный, Монгол.

— Где змея?! Какая змея?! — заорал он, высоко подпрыгивая над землей, будто скакал по углям.

— Что там случилось? — из своего мешка кричала Аня.

— Не подходи! Укусит! — на всякий случай отвечал ей Куба.

Наконец, Глюк приволок фонарик. Его слабый луч судорожно заметался по траве, выхватывая носки, кеды, ложки, ноги, бледные перекошенные лица.

— Туда, туда утекло! — кричал Том, тыкая в

охапку сена, на которой за секунду до того стояли босые ноги Монгола. Монгол отпрыгнул, как кузнечик, из опасного места, и все, наконец, увидели в ворохе сухой травы длинную и толстую сороконожку.

Том схватил подвернувшийся под руку кед, и несколько раз ударил по ней, но она продолжала бежать, ловко извиваясь среди разбросанных по земле вещей.

— Твердая, сволочь!

— Ребром бей гада, ребром!

Ему сунули в руки палку, и, наконец, сороконожку удалось переломить пополам. Скрутившись бубликом, она затихла.

Подцепив палкой, ее аккуратно положили в банку, и долго, как завороженные, разглядывали через стекло. Это было членистоногое страшилище сантиметров пятнадцать длиной, серого цвета, с многочисленными желтыми, еще подрагивавшими лапками и двумя жутковатыми бивнями красноватого цвета на хвосте.

— Не знаю, кто это, — медленно проговорил Глюк. — Ане покажи, она спец по местным жителям.

Том вдруг понял, что у него нестерпимо жжет в районе живота. Он задрал футболку.

— Глюк, посвети.

На животе, прямо над пупком, вздулась большая багровая шишка. В ее центре было несколько красноватых точек. Том с немым вопросом оглядывал зрителей.

— Что там такое? — к ним подошла Аня.

Глюк молча предъявил ей банку.

— Это сколопендра. Взрослая особь. Ядовитая. Бывает, что смертельно, но это не часто случается. У тебя астма есть?

— Вроде нет.

— А аллергия?

— Не знаю.

— Ясно. — Аня вздохнула. — Ну что тебе сказать? Если до утра не помрешь, — значит жив останешься.

— Самое время спирту накатить, за здравие, — флегматично заметил Глюк. — Спокойной ночи.

— Ты не переживай, — сказал Куба. — Бытие гораздо сложнее, чем кажется. Смерть — это всего лишь сон. Если у тебя достаточно энергии, ты вспомнишь себя. Если нет — твоя индивидуальность сотрется. В любом случае — спокойной ночи.

Все как-то неподдельно чувственно попрощались с Томом, и снова разбрелись по местам.

— Не вздумай помирать. Нам еще домой ехать. — Монгол попытался утешить друга. Затем лег, буркнув напоследок:

— А чего орали: змея, змея!

И тут же захрапел.

Том растянулся на своей подстилке, глядя сквозь листву на звезды и прислушиваясь к каждому шороху. Сердце нервно колотилось. Болела, как от температуры, голова.

«Какая глупая смерть в раю, — думал он, осторожно касаясь похолодевшими руками горящего огнем живота. — Где мрачные и почтительные гробовщики? Где родня, ловящая последние слова дрожащих губ? Вокруг море и лето. Закончился длинный жаркий день. Вокруг все спят, и никакого внимания к умирающему».

Эта мысль позабавила его. В самом деле, о чем полагается думать в последнюю ночь? Раздавать указания родным и близким? Нет ни родных, ни указаний. Писать завещание? Условия не позволяют, да и завещать нечего, кроме разве что гитары, пары десятков виниловых пластинок и нескольких самиздатовских журналов. Напиться в хлам? Спирта ему совсем не хотелось. Как-то глупо пить перед смертью. Это как прийти на собственные похороны в костюме клоуна. К тому

же спирт кончился.

А что потом? Потом — *тело*. Он живо представил себе их вокзал, подходящий поезд. Встречающую мать с черной траурной повязкой на голове, с зажатым ладонью ртом. В руке — букет цветов, — непременно бумажных: как еще встречать возвращающегося издалека покойника? Рядом — суетливый и скорбный Монгол: он приехал раньше. Мать смотрит на него с едва скрываемым осуждением: не уберег друга. Монгол чувствует это, и пытается отвлечь ее словами, рассказывая последние минуты его жизни. Они должны быть красивыми, потому что последние, и их не испортит никакой пафос, потому что он без остатка растворится в необъятной трагичности момента.

Конечно, кинематографично было бы сесть на обрыве, разжечь костер, и, укутавшись в одеяло, остывающей рукой написать несколько корявых строк, — что-то о неоцененности таланта, о бессмысленности житейской суеты, о бренности жизни. Монгол обнаружит его рядом с кучкой пепла; в оцепеневшем кулаке кусок бумажки — жалкий итог его короткого бытия. Эти слова потом будут повторять его безутешные родственники, оценивая глубину мыслей покойного и потрясенно кивая головами.

Но какой тут берег, какой костер? Том лежал на боку, и даже шевелиться не хотел. Он вдруг почувствовал, что смерть, она — *свое, родное, искони его.* Она будто связана с ним крепкими родственными узами, она — его часть. Смерть — это настолько личное дело, что ради нее не стоит что-то там делать вовне. Смерть — непонятная, непостижимая, близкая, далекая, и — *родная*. Она бывает плохая и хорошая, красивая и не очень. Ей подходят любые одежды. Она не всегда — старуха, она — просто твоя ровесница. Там, на Аюдаге, она была стремительная, поспешная, она не давала времени прислушаться к себе, сосредоточиться на том, что осталось. Здесь же она, будто расслабившись, позволяла подумать напоследок, перемолоть в ступке зерна последних мыслей. Но все-таки она — итог жизни, без жизни она — ничто. А чем была его жизнь? Что он сделал в промежутке между «еще не было» и «уже нет»? Он так привык к себе, привык жить, полюбил *все это*, — все, что видел вокруг со всеми его проблемами и ништяками. Ему совершенно не хотелось так рано примерять на себя ее узкое деревянное пальто. Ради чего? Впереди — неизвестность. Но ведь и позади — ничего. Что он сделал? Суетился, дергался, доказывал что-то кому-то, а в

итоге — кучка пепла? Плевок, пустота. Вот камни — мудры. Они напрочь лишены суеты, и потому молчат. Чтобы услышать себя подлинного, всегда необходимо помолчать. Мудрому говорить не о чем: все вокруг так было, есть и так будет. Или, может, они молчат просто потому, что не боятся смерти? А я? Я кто? Если я завтра не проснусь, — зачем я жил?

Он повернулся на спину, закрыл глаза. От живота по всему его телу тяжелыми волнами разливался зудящий жар, в ушах звенел тонкий свист. В голове мелькали обрывки воспоминаний, несвязные картинки прошлого. Вот они с Колькой (им лет по семь) лезут через забор за вишнями. Осторожно обогнув дом, на цыпочках пробираются через заросший сад, и вдруг, прямо под старой раскидистой яблоней, видят могильный крест. Под крестом, в растрескан-ном эмалированном овале, — полустертое лицо женщины. Простое крестьянское лицо: платок, широкие скулы, твердая линия губ, светлые глаза, напряженно вглядывающиеся в прицел фотоап-парата. Кто эта женщина? Почему она здесь, а не на кладбище? Вдруг сзади, в доме, открывается дверь, но они не видят, кто выходит, потому что уже пулей летят к забору, переполненные

страшной тайной, которая с лихвой перекрывает утрату несорванных вишен…

А вот он уже совсем взрослый, и у них «сходка» на Десятке. Местные молча выстроились во всю ширину улицы, флангами опершись на дома и вскинув в боевой стойке руки. Пятерские стоят, рассыпавшись кучками в ближайшем парке. Со стороны можно подумать, что на скамейках и под деревьями мирно отдыхает полтора десятка небольших дружных компаний, — курят, болтают о том, о сем. Нелепо выглядят лишь плотная, как монолит, толпа поперек улицы, многочисленные милицейские «канарейки» в подворотнях, и застывшие зеваки у гастронома. И над всем этим висит звенящая, ни с чем не сравнимая тишина ожидания.

Но вот слышится свист, затем — странный шум. Вначале тихий и невнятный, будто зашелестели деревья в парке, он становится все громче, превращается в гул, затем — в рев, который будто сам по себе, будто летит над теми, кто выскочил из укрытий. Маленькие компании, словно капельки ртути, стекаются в одну ревущую толпу и бросаются навстречу шеренге. Противник бычится. Все, как по команде, вскидывают руки повыше, прикрывая лица, чуть выставляют колена, нетер-

пеливо нащупывая ногой упор сзади. Первые атакующие — самые крепкие и отчаянные, выпрыгивают высоко, будто с батута, лупя стоящих легкими кроссовками и тяжелыми заводскими ботинками в живот, в грудь, в лица. Тут же падают на спины, откатываются, а за ними летят уже новые, — с деревянными колами и железной арматурой, — и бьют, ревут, орут, не слыша себя. Несколько мгновений стоит хруст, вой, грохот, странный деревянный звон. Где-то сбоку под мат и ор лопается, звенит, осыпаясь стекло.

— Идиоты! — ругается неподалеку, по-хозяйски уперев руки в необъятные бока, продавщица ближайшего гастронома: одна она никого не боится.

Еще мгновение, и пятерские откатываются от шеренги, исчезают в полумраке парка, вновь разбиваясь на мелкие группки, по трое, по пятеро. Еще секунда, и они снова стоят, как ни в чем не бывало. Прикуривают, улыбаются, дрожащими руками незаметно вытирая кровь. Среди нападавших потерь нет. Местные напротив все так же стоят, молча держа оборону. Будто только что не было ничего. Но нет, — двое лежат, почти под ногами обороняющихся. Несколько мгновений их еще не видят в горячке, а придя в себя, спешно затаскивают куда-то в тыл, за шеренгу.

И вот — вторая атака. Том летит где-то в середине толпы, не чувствуя ног и отчаянно злясь на себя за то, что не может разъяриться как следует. Как те, первые, как те, что рядом. Он старается вспомнить, как эти уроды избили Кольку, Веника, Компаса, но тут не до воспоминаний, и злость выходит какая-то натужная, ненастоящая. В теле — только нервный мандраж и полное отупение, будто он смотрит кино, — не про себя, а про кого-то другого, похожего, который даже не в массовке, а просто зевака, по ошибке оказавшийся в этом странном месте… «Тебя на войне — в первом бою… — орет он себе, на ходу растирая лицо, — сейчас прилетит в башку! И так тебе и надо, придурок, чтобы думал, чтобы был злым там, где нужно»…

А впереди, — все ближе, — незнакомые пацаны. Угрюмые, бледно-синюшные в свете редких уличных фонарей, с провалами вместо глаз и перекошенными от ненависти лицами, — точно такие же, как и они сами. Они все ближе, подобрались, стоят непоколебимой стеной: попробуй пробить! И вот уже кто-то из пятерских, — кажется Монгол, — снова высоко прыгает, бьет с ноги, прорывает строй, и в дыру по инерции влетают один за другим их пацаны, топча и круша

шеренгу. Свалка, человеческий клубок, смесь из ног, кулаков, железных труб, черенков от лопат, размазанных лиц, перекошенных в своей жестокой злобе. Время скачет чередой кадров, резких вспышек. Края шеренги еще толкаются без дела. Двое-трое десятских, попавших под главный удар, пытаются отступить, — всего на пару шагов, не собираясь бежать, только чтобы оглядеться, прийти в себя, восстановить строй. Но исподволь они становятся сигналом к отступлению для других, самых неустойчивых. Двое-трое-пятеро уже побежали следом, бросая свои колы и прутья, и уже никто не в силах остановить этот отступающий вал. Тех, кто замешкался, или не хотел отступать, — сбивают с ног, бьют, топчут ногами, и — бросают, бегут дальше. Бегут, не глядя по сторонам, перепрыгивая через своих, спотыкаясь, падая.

Перед Томом мелькает белый, как мел, незнакомый, до смерти перепуганный пацан. Том бьет его наотмашь, мажет, не попадая на ходу, и тут же нарывается на противоход. Но удар слабый, он приходится вскользь, в скулу его бесчувственного, деревянного лица, и он, наконец, просыпается, обретает долгожданную запоздалую злость. Она — как чашка кофе, дает ему силы, дает ясную трез-

вость, взвешенность, холодный, потусторонний покой. Как он рад, как же он рад этому вразумляющему удару, он ждал его, он знал, что в этом дурном состоянии обязательно пропустит его, — лишь бы не вырубиться. Время замедляется, будто приходит в себя, и теперь уже он его хозяин. Он летит дальше, перепрыгивая кого-то, кто лежит ничком под ногами, из-под головы кровь, рядом обрезок трубы. Справа, у стены дома, вполоборота кто-то прикуривает окровавленными руками, подчеркнуто игнорируя бегущих мимо. Он как бы не при делах, — мимо проходил и случайно попал под раздачу. Но это его не спасает. Кто-то бьет его ногой в грудь, и он впечатывается лицом в стену дома, падает, судорожно сжимая коробок спичек. На стене — четкий кровавый отпечаток его лица: лоб, глаза, нос, рот, — лучше не нарисуешь. Слева кто-то здоровый, крепкий, ловко отбивается от троих, прикрывая голову, жмется к обочине, но вот уже его обездвижили, натянув на голову куртку, и бьют по ребрам, толкают, валят с ног. Кто-то забрался в телефонную будку и, украдкой оглядываясь, держит дверь, делая вид, что звонит. Кто-то в углу, под ступеньками высокого крыльца, поджал ноги, спрятал лицо, затаился. В минуту не стало целого монолита,

мощной боевой силы, остались лишь обломки. Атомы, отдельные перепуганные пацаны: жалкие, трусливые, бросающие своих. «Бить?» — Том видит кого-то рядом, вполоборота: лицо в крови, так не узнать. Сомневается, пытается понять по глазам, — *свой*? Бежит или догоняет? Неприятно липнет ботинок, оставляя за собой мокрый темный след. Его опережают, — Лимон бьет справа, ногой в лицо, валит того с ног, пинает. «Лимон дольше бегает, он не ошибется. Хотя, конечно, выпендривается, передо мной выпендривается, — мол, смотри, были бы врагами, и тебе бы дал! Да тут каждый выеживается перед другим: такова наша пацанская стихия».

А толпа бежит дальше, догонять первых, чтобы те, кто сзади, кто послабее, — вошли во вкус, насладились. И те, кто сзади, — останавливаются и прыгают на тех, кто лежит. Воя, куражась, матерясь, не обращая внимания на крики, — на тебе, — по ребрам, по голове! На! Получи, сука! Волчара! Получи за всех, за наших! Получи еще!

— Харош, пацаны! Мы же не волки! Харэ, харэ, валим!

Победой никогда не удавалось насладиться вдоволь. Именно в ту минуту, когда одна из сторон окончательно побеждала другую, менты

бросали свои окурки, садились в «канарейки» и обламывали кайф.

Заслышав пронзительный вой сирен, победители со всех ног бежали с поля боя вслед за побежденными, быстро рассасываясь по незнакомым дворам. Следом появлялись в подворотнях крепкие спортивные мужики в неприметных пиджаках и кепках. Легко перемахивая через заборы, они рассыпались по окрестностям и переулкам, и, как матерые охотники, загоняли добычу. Пацаны знали это, прятались в подъездах и гаражах, а при удаче хватали под руку незнакомых девчонок, заговаривали зубы сердобольным старушкам, чтобы под их прикрытием выйти из опасной зоны и добраться к себе на район. Вот здесь-то и помогали карты, которые советовал брать с собой Монгол, когда Том первый раз пришел на сборы. Секунда, и в тихом дворе компания мирных ребят режется в «подкидного».

— Гражданин начальник, мы ни с кем не деремся, просто мимо шли, поиграть сели.

Тем временем менты, уже оцепив район, хватали всех подозрительных, — побежденных и победителей, избитых и не очень. Тащили в «канарейки», набивали в «стаканы».

В тот раз Тому не повезло: он не смог объяснить,

«что он делает в этом дворе, если не знает, в какой квартире живет его друг». Его обыскали и, ничего не найдя, запихнули восьмым в двухместный «стакан», для острастки стукнув дубинкой по почкам. Дубинки, этот атрибут нового времени, на Украине ввели совсем недавно. Менты пользовались ими еще неохотно, боясь ударить в силу, еще видя в пойманном человека. И поэтому носили их больше для виду, по-старинке запихивая пацанов в уазики привычными затрещинами и пинками.

В переполненном железном «стакане» воняло мочой. Время от времени через решетку дверного окна проникал мертвенно-желтый свет фонарей. Пробегая по угрюмым лицам попутчиков, он застывал на небольшом окошечке из оргстекла, за которым виднелись крепкие затылки ментов.

— Выгружай! — уазик остановился около здания ОВД. Их рассадили на узкой скамейке у решетки дежурки. Дежурный вызывал пойманных по одному, угрожал, орал, иногда отвешивал оплеухи, выпытывая у каждого кличку. Но, как назло, среди пойманных были сплошь наивные молодые люди, практически случайные прохожие. Ни о каких сборах они отродясь не слыхали, кличек не имели, друг друга впервые видели,

а тот факт, что жили они почему-то рядом, был чистой случайностью. Затем, уже глубокой ночью, когда менты, заполнив все бумаги, уставали от этого лицемерия и открывали решетку, из участка высыпались не наказанные законом негодяи, а ни в чем не виноватая и страшно обиженная на произвол властей талантливая молодежь, — несомненно все будущие художники или скрипачи…

Монгол вдруг заругался во сне, забормотал тонко, жалобно. Том открыл глаза, пусто посмотрел в темноту.

— Дрыхнет, как всегда, и не парится, — буркнул он, и его сознание вдруг осветилось неожиданной догадкой. Тогда, на даче, когда Том узнал от Оли про носилки с телом и не находил себе места, не зная, как быть, — ему тоже вспоминались сборы. И снова его сознание будто соскальзывало в то же стремное прошлое, ища в тех драках какой-то ответ, какое-то решение. Но дело было явно не в них, — дело было в Монголе! Тому так не хватало его самонадеянности, его простой и незамысловатой наглости, которая будто проламывает любые проблемы, делает их смешными. «Камни молчат, потому что не думают. Нужно быть таким, как камень», — подумал он, и, наконец, уснул.

На Зеленке

— Вставай! Пошли за бутылками. — Глюк будил Монгола. — А приятель твой жив?

Утреннее солнце светило прямо в глаза.

— Похоже на то, — Том сбросил с себя штору и задрал футболку. Шишка немного растеклась, стала больше и багровее.

— Хоть и жив, но рожа у тебя красная, — помрачнел Глюк. — Похоже, температура.

— Пацаны, я сегодня на больничном. Идите без меня. — Том закрыл глаза.

— Ладно. Мулька, пошли. — Глюк надел рюкзак, и они с Монголом скрылись за деревьями.

Том повернулся на другой бок, закрыл глаза, но заснуть не удавалось. На поляне кто-то был. Хрустел ветками, звенел кастрюлями. Открыв глаза, Том увидел Аню.

— Ну что, больной? — небрежно бросила она резким казенным голосом, будто лекарь, уставший от постоянных вызовов. На этот раз она была в легком простом платье.

— Не очень! Чаю, сестра! — театрально застонал Том, протягивая к ней дрожащую руку.

— Ну раз наутро жив, — значит, страшное по-

зади. Температура завтра пройдет. Было бы хуже, если бы она укусила тебя весной.

Аня разожгла костер, снова долго тарахтела посудой, а он, отчаявшись заснуть, подложил руку под голову и смотрел в морскую бирюзовую даль.

— Слушай, ты извини, что разбудила. — Над ним снова стояла Аня. — Я сейчас на родник иду, постирать кое-что, и воды набрать. Ты вроде не умираешь, а на поляне больше никого нет. Поможешь?

— Пошли! — Том поднялся. — Может, вещи припрятать? У нас под Гурзуфом сало украли.

— Глюк тоже говорит, что нужно стеречь. Но здесь никто не ворует.

Выйдя из Зеленки, они спустились вниз, повернули от берега, и вскоре вышли на идущую вдоль виноградников пыльную полевую дорогу.

— Тебе здесь нравится?

— А я в поселке еще толком-то и не был. — Том пожал плечами.

— Обязательно сходи. Тут вообще место творческое. Вот, видишь, две треугольных горы? Это Верблюд. А во-он там, — Аня показала туда, где горбатился сизыми холмами Карадаг, — человеческий профиль. Ну вон, на склоне: борода, нос

такой маленький, вздернутый. Ну вон, будто в небо смотрит. Не видишь?

— Нет, не вижу. — Он вздохнул.

— В общем, там профиль графа Волошина. К нему приезжали поэты Серебряного века.

— К профилю?

— Да нет же! К самому Волошину, он тут жил. Например, у него в гостях Марина Цветаева нашла своего будущего мужа, бывшего белогвардейца Эфрона.

— Прятался, что ли, здесь, контра?

— Нет, воевал с большевиками. А еще здесь Булгаков впервые читал свое «Собачье сердце» и познакомился с Александром Грином. Грин ходил сюда пешком, через горы, из Старого Крыма, во-он оттуда, — Аня махнула рукой на северо-запад. — Это далеко, скажу я. Там он и похоронен, правда, его могила сейчас почти заброшена. А сам Волошин называл Коктебель «Краем Голубых Холмов». Правда, здорово?

— Ага! — поддакнул Том.

— А еще здесь Волошин вместе с одной обедневшей дворянкой придумал неуловимую красавицу-поэтессу Черубину де Габриак. По ней сходил с ума весь Петербург, а сам Волошин даже стрелялся из-за нее со своим другом Николаем

Гумилевым. А как стреляться поэтам Серебряного века? Конечно же в Питере на Черной речке, и конечно из «пушкинских» пистолетов… Представляешь, какая тут была движуха!

— Скучно было дворянам. А потом случилась революция, и все кончилось.

— Ага. Волошина соберутся раскулачивать за его двадцать шесть комнат, но спасет его приехавший погостить Горький… А потом поэтическое воздухоплавание сменилось материальным.

— Тебе нужно экскурсии водить.

— А кому это надо, в эпоху турецких свитеров, — печально сказала Аня. — Это для приезжих Коктебель — место священное, литературное. А для нас — поселок, где все остановилось. Работы нет, а кто мог — уехал, кто-то сторчался. Все: море, море! Побалдеют месяц, и домой. А ты сидишь на берегу, как лодка без весел, и деться некуда. Ну да, — море. А что такое — море? Просто вода соленая… О, а вот и родник. Давай бутылки.

Том вытряхнул из сумки несколько пластмассовых баклаг.

— Вот эту сполосни. Тут спирт был.

— А ты панк или хиппи? — спросила она.

— Панк. Я хиппарей не люблю.

— Почему?

— Дух не тот. Злобы нет, что ли.

— Разве это плохо?

— Иногда плохо.

— А мне кажется, что злобы в человеке вообще быть не должно.

— Ну, не знаю, — протянул Том. — Как-то раз пошел я в больничку, приятеля проведать. Батону накануне голову проломили. А неподалеку от лазарета хиппари тусят. В тот раз как раз собрались. Человек семьдесят, не меньше. Кто курит, кто пьет, кто на гитаре играет. Все такие добрые, волоокие. А у нас город небольшой, все друг друга на концертах видят. Я подошел, поздоровался. И тут как раз три дрыща подходят, — в кепках, в штанах спортивных. К крайнему зацепились, — ты шо, урод, такой волосатый? Тот сидит, глаза прячет. И сказать нечего, и свалить вроде не с руки: их же много, они же вроде сила. Может, вот сейчас они все вместе ка-ак встанут, подойдут к этим троим, да спросят, да заступятся. И он еще даже держится, что-то кукарекает в ответ. «А шо такое? — говорит. — А в чем проблемы?» И тут самый мелкий из гопников бьет его в челюсть, и он летит навзничь, через жердочку. Знаешь, — трубы такие, чтобы пресс качать? А тот подходит к следующему, и опять бьет. Потом

к третьему. А они — как груши боксерские. Сидят себе, в землю смотрят, и каждый думает: может, пронесет? Те, двое сзади, — тоже идут за этим мелким, ухмыляются. А у него уже кураж: «Эй, ну кто-любой, ударьте меня! Вас же толпа целая! Ну, кто-нибудь? Что, мужиков нет? Я даже в отмах не стану! Пальцем не трону! Ну?!»

А они, понимаешь, они все сворачивают свои рожи, как грелки, и потихоньку, отмороженно, начинают сваливать. Как будто давно собирались уйти, но все как-то не с руки было, а тут что-то вспомнили, и срочно разойтись решили. Вначале крайние сваливать стали, потом все. Десятки человек. И вся эта толпа побежала от трех уродов.

— А ты?

— А что — я? Я тоже побежал. Мне вдруг так страшно стало, как будто их страх в меня вселился. Я бежал, и думал, что если останусь, то останусь один. Что эти трое мне вломят, и все тут. Попинают немного, а потом вежливо так по плечу похлопают, мол, не свалил, чувак, уважаем. Может быть, даже бухнуть предложат. Но я откажусь, и гордо пойду домой, вытирая кровь с разбитой морды. И хоть умом я понимал, что это не моя война, но такого страха я никогда не испытывал. Даже когда мы вшестером на чужой район

ходили. Но там нас шестеро было против целого района. Там мы дрались, потому что каждый был за тебя, и убегать было легко и не стыдно. А тут… И я тогда понял: нет, хиппи — это не мое. Тут все по-своему, каждый сам себе сказочник. Рыбка в придуманном аквариуме. С виду толпа, а на самом деле — каждый в одиночестве. Ну, а как еще, если в беде твои друзья тебя тут же бросают? А за теми тремя уродами — за ними, получается, правда. Непонятная, не моя, животная, но — правда. И не просто правда сильного, — они же слабее толпы. Но какая-то правильная правда. Та, которая не переносит трусов. Трус — он же может быть вполне приятный человек. Может и петь хорошо, или на гитаре офигенно играть, и анекдоты смешные рассказывать. А потом просто предаст, при случае.

— Ты как себя чувствуешь, после укуса? — Аня сменила тему.

— Не знаю. Вроде жив, — засмеялся он.

— А ты боишься смерти?

Он пожал плечами.

— Не знаю. Этой ночью не страшно было. А вот позавчера на обрыве висел, и жить очень хотелось. Что мир без меня проживет, перебьется, а вот я без него не смогу. Смерть — она же разная

бывает. Есть хорошая, есть плохая.

— Это как?

— Да как… Вот был у меня приятель, Сережа Корнилов. Постарше меня. Я больше таких не видел. Это, наверное, какой-то почти истребленный вид человека. Гордого, несгибаемого, прямого. Широкий такой человек он был, в прямом и переносном. И еще была в нем такая… Сила, что ли. С ним очень хорошо пелось, особенно его любимая «Как на вольный берег». Вроде как идешь с ним рядом, и каждая пядь земли под ногами навсегда становится нашей… Ну вот. А у нас в городе урлы полно. Как-то раз пошел он в магазин, за хлебом. Смотрит, — прямо на крыльце какие-то уроды пацана пинают. Он, конечно, мимо пройти не смог. Вмешался, разнял их, зашел в магазин. Пацан тот убежал, он был потом на суде свидетелем. А самого Серегу подловили на выходе, сбили с ног, и… Менты случайно рядом проезжали, подскочили быстро. Вся гопота разбежалась, а один все пинал и пинал его… Серега только имя успел назвать в «скорой», и умер. Жена осталась, ребенок. Вот такая смерть. Хорошая.

— А плохая какая?

Том пожал плечами, задумался.

— А еще у нас на районе Славка был. Добрый,

веселый, хотя и год по хулиганке отсидел. Как вышел — уехал в Киев работать, женился там, ну и выпал из виду. А потом ко мне Серый, приятель мой, приходит: «Славку привезли. Завтра похороны». Он, оказывается, в Киеве на «винте» сидел. Бросал, потом снова садился. Ну а «винт» — это ж такая дрянь, стимулятор… Можешь марафон пробежать, и не устанешь. Или не спать сутками. Но от него крыша потихоньку течет, он мозг выжигает.

А дело зимой было. Помню, — утро, сугробы, снег валит хлопьями. Кто-то сказал, что, по правилам, перед гробом нужно бросать только еловые ветки. Мы вспомнили, что елки на кладбище растут, и с его киевскими друзьями туда поехали. И тут началось. Вначале в машину врезались. Их водитель выскочил, орет: бампер помяли. Ну, мы денег дали, разошлись без ГАИ. Кое-как до кладбища добрались, и там сразу заглохли. Уже и веток наломали, и замерзли, час прошел, а завести не получается. Водитель говорит: «Не понимаю, что случилось? От Киева ни одной поломки не было». Потом договорились с водителем катафалка, и на буксире поехали. А у нас там дорога разбитая, асфальта почти нет. Катафалк старый, гремит по ней, как консервная банка, а

мы за ним тащимся. Жутковато. Только в город въезжаем, и у нас вырывается бампер, вместе с крюком! Мы машину в какой-то двор закатили и на автобусе добрались. Отпели, похоронили. А через год я узнал, что Славка повесился, но родня священнику не сказала, чтобы тот отпевать не отказался. А то ведь самоубийц не отпевают. Вот и верь после этого в случайности. И выходит так, что ответ на вопрос о смерти ничего не объясняет. Ведь Серега смерти боялся, а Славка — нет.

— А я вначале подумала: что за гопники на поляну пришли? — сказала она. — Ну ты ладно, у тебя хайры. А Монгол… Приставать сразу полез.

— Не-а, он не гопник. По пьянке просто. Ты же голая ходишь, а ему непривычно, — нашелся Том. — У нас такого в городе не бывает. Вот он и подумал. Мало ли?

— Не, он точно гопник. Я их по глазам узнаю. Я тут как-то встречалась с одним, приезжим. Вначале все хорошо было: внимательный, сильный. А потом… Не дружи с другими. Не ходи туда — не смотри сюда. Каждый хочет обладать кем-то, но никто ничего не хочет отдавать. Люди внутри — эгоисты, которые придумали басню про любовь. А любовь — это просто влечение, животный инстинкт. Когда он проходит, остаются грязные

носки, визжащие дети, тупой муж, пиво-рыба-футбол.

— Говорят, о чем бы женщина ни говорила, — она всегда говорит о семье, — усмехнулся Том.

— Мы перегружены всяким старьем, — продолжала она. — Идиотскими традициями, отжившими правилами. Может, когда муж бегал за мамонтом, а жена сидела в пещере, брак был важен и даже необходим. С тех пор многое изменилось. Мне кажется, что человек должен любить свободно и добровольно. Любить, пока чувствует, пока искренен и не вымучивать из себя то, чего нет. Каждый человек — свободен, и поэтому может любить того, кого хочет. А прошла любовь, и разошлись тихонько.

— Ну да, свободная любовь, — съязвил он. — Ты у него сто пятьдесят первая, он у тебя — двести восьмой. В случае чего всегда заменить можно. А если дите родится, то сын полка. Можно много алиментов получать.

— Вот и ты в прошлом. Мужчинам свойственно ревновать к другим самцам, а это же просто видовой инстинкт.

— Ты никогда не ревновала?

— Ревновала. Но с этим нужно бороться, как и с любым стадным инстинктом. Ты становишься

свободным человеком только когда убьешь в себе животное.

Ее тихий вкрадчивый голос стал жестче, в нем появились стальные нотки.

— А зачем кого-то убивать? Разве ты не любишь животных? Эх, а еще феньки носишь.

— Это просто софистика. — Она сказала это с болью, как раненный прошлым человек.

— Не скажи. У животных много хорошего. Я бы сказал, в животном много человеческого. Верность тоже встречается, — у волков, например. А что после этого «убийства» останется от человека? Ты вот способна отделить, где твое правильное человеческое чувство, а где твое глупое животное?

— Нужно просто стараться быть сильнее. Сильный человек относится к себе честно, а значит, может исправить ошибки.

— Сильный человек… — ухмыльнулся он. — Всегда ли он сильный, человек? Сегодня царь, завтра в грязи лежит. Ни ты, ни я не знаем, что нас ждет лет через двадцать. Вон, упадешь с утеса, ноги переломаешь, и тебе понадобится муж, опора. И где будут твои рассуждения, если он убьет в себе животное и побежит за молодой и интересной?

— Не думала, что ты такой зануда! Может, еще застраховаться от несчастного случая? Это же логика рабочего, который всю жизнь горбатится за станком, мечтая о том, чтобы в конце жизни получить пенсию. Тратит самое бесценное, что у него есть, — время, мгновения своей неповторимой жизни. А ведь по пути его стократно обуют. Если он еще доживет. Ради чего? А я вряд ли до старости доживу, да и не хочу. Мне старой жить неинтересно. С тоски помру.

Том вдруг вспомнил, что похожие слова он говорил еще совсем недавно, — там, в горах, когда рассуждал о государстве как об аппарате принуждения. Аня была так созвучна его мыслям, и в то же время так далека от него.

Они не заметили, как пришли на поляну.

— Жратва прибыла. — Почти одновременно с ними вернулись запыхавшиеся Глюк и Монгол. Они стали вываливать на землю пакеты с едой. Глюк был мрачнее обычного.

— Ребята, на всякий случай, не бросайте вещи без присмотра, — обиженно сказал он.

— Тебе-то чего терять? — засмеялась Аня.

— Мою цветущую юность.

Вскоре вернулся Куба.

— Принимайте добычу! Дары природы! — Он

высыпал к столу содержимое своего мешка.

Том присвистнул. Чего здесь только не было! Две большие грозди черного винограда. Три грязноватые и слегка прозрачные редиски. Пара слегка пожелтевших огурцов. Немного помятый, но большой свежий помидор. Несколько почерневших сосулек болгарского перца с вырезанными сердцевинами. Полбуханки черствого хлеба, головка чеснока, четыре картофелины и уже очищенная кем-то фиолетовая луковица.

— А вот и венец стола! — Куба с видом фокусника развернул бумажный сверток.

В нем подрагивала белая, похожая на молочный студень, желеобразная масса с розоватыми краями.

— Что это?

— Я назвал ее биомассой, — сказал Куба.

— Фу! — скривилась Аня. — А почему она ацетоном воняет?

— Не обращайте внимания, — смутился Куба. — Она вкусная. По вкусу похожа на творог.

Дальнейшие расспросы, что это и откуда, ни к чему не привели. Куба категорически отказался отвечать, бросив напоследок:

— Даже не спрашивайте. А то аппетит пропадет.

Стол в этот день ломился от яств.

Учитель

— Глюк, ты чего такой мрачный? — Аня оторвалась от своей тарелки. — Смотри вокруг, какое море! А еды сколько? Хлебай веселее!

— Кто хлебает, а я расхлебываю. Мулька потерялась.

— Животные свободны в своем выборе. Так же как, и люди, — сказала Аня, причмокивая чай.

— Свободны? Одну собаку взяли в семью. Другую бросили на улице. Какой из них лучше?

— Ну, не знаю. Смотря в чем. Лишь бы обе были счастливы.

— А ты счастлива? — Монгол любовался упругой Аниной наготой.

— Счастлива? Ну конечно, я счастлива! — Аня беззаботно засмеялась. — Нужно просто прислушаться к себе. Услышать свои желания, и тогда открываешь себя заново. Счастье — оно внутри.

— А как туда добраться? — спросил Монгол, хотя, конечно, его больше интересовало, как добраться до других, не менее сладостных вещей.

— Ну, существует много методик. Буддизм, например. Саи Баба. Кастанеда. Все они ведут внутрь себя.

— Кастанеда? Куда-куда он ведет? — ревнуя, спросил Глюк.

— Ну, внутрь себя.

— Что ты знаешь о Кастанеде?! — Глюк сплюнул. — Кастанеда — это путь воина, а не какие-то там сомнительные медитации на тему «у меня все хорошо».

— Вы еще поссорьтесь, какой тропой идти к Абсолюту! — с видом знатока сказал Монгол.

Глюк встал, прошелся по поляне, зачем-то втянул живот.

— Солнце село. Сумерки — это трещина между мирами, — загадочно сказал он.

— Расскажи про трещину, — тут же попросила Аня.

— Долго объяснять. В сумерках стирается грань между посю- и потусторонним.

— А хотите анекдот? — сказал Куба. — Короче, наставник Кастанеды, Дон Хуан, запрещал ему ходить в публичные дома, чтобы тот не тратил там свою энергию. И вот однажды Кастанеда притворился, что уехал по делам, а сам побежал в публичный дом. Возвращается, а Дон Хуан ему: «Ты зачем к проституткам ходил?» Кастанеда потрясенный: «Прости, Дон Хуан! Но откуда ты узнал?» — «Искусство сталкинга, мой маленький

Карлитос!» Поняли?

И Куба расхохотался.

— Я не поняла, — расстроилась Аня.

— Сталкинг — это перевоплощение, — назидательно сказал Глюк. — Справедливости ради нужно отметить, что Карлитосом Кастанеду называл не дон Хуан, а дон Хенаро.

— Дон Хуан, дон Хенаро. Какие романтичные имена! — сказала Аня. — А вы вообще знаете, кто такие Луис Альберто и Хуан Мануэль?

— Маги?

— Еще какие! Повелители женских сердец. Практикуют дистанционное внушение, — многозначительно сказала Аня. — Ведь именно Луис Альберто был влюблен в Марианну, и ничто не могло их разлучить.

Незаметно наступил вечер. Теплый вечерний воздух принес откуда-то запах сена. Они лежали у обрыва и смотрели на море.

— Веронику свою утром не встретил? — спросил Том.

— Не-а. А ты, я вижу, времени не терял. Как она тебе?

— Никак.

— Ника-ак, — передразнил Монгол. — Я, значит, бутылки искать, а больной уже за девками

вприпрыжку…

— Да не нравится она мне. Феминистка. Ты ж вроде с ней вчера знакомился.

— Ага. Хотел подкатить, но она такая… Умная, что ли. Все эти философии. Будда этот. Хуан Мануэль. Страшно не люблю я всю эту муть.

— Почему?

— Ну, не саму по себе. Духовность и все такое — я как бы не против. Оно и красиво, и поговорить умно можно. Типа возвышает. Но, понимаешь… Тошно от всего этого. Никогда не знаешь, чего от таких людей ожидать. Вот идет себе человек, а потом бах, и мордой в пыль. Ты стоишь рядом, как дебил. А у него просто время пришло, для медитации. Ну, это образно.

— Я думаю, если ты понравишься, то ей вообще наплевать будет, во что ты там веришь, — ответил Том. — И наоборот, будь ты хоть сто раз буддистом, если не в ее вкусе — мимо пройдет и не заметит. Женщины — они такие.

— Это да. Я вот думаю, как бы подъехать, чтобы опять не отбрила.

— Ты лучше помалкивай. Она в тебе гопника видит. А ты скажи ей, что ты не гопник, а как бы охранник. А главное, не сдерживай ее. Ходи вокруг, — такой сильный весь, молчаливый.

Женщины это любят. Защита, уверенность в плече, все это вот.

— Я так и собирался. — Монгол почесал нос. — Наверное пусть привыкнет немного, а то спугну еще.

— Это правильно. Не спеши события, все нормально будет. Думаешь, нас тут просто так вписали? Значит, она тоже чего-то хочет. Видишь, эти двое давно тут, но они в иных мирах обитают. А мы, панки, — существа приземленные.

— А может, ей вообще все равно?!

— Не может, — уверенно говорил Том, сам удивляясь своей мудрости и уверенности. — Женщинам вообще никогда не бывает все равно. Они просто иногда в это «все равно» поиграть любят.

— Кхгхэм! — беседу прервало тактичное покашливание. Сзади стоял Глюк.

— Тут Учитель приехал. Хотите послушать?

— Кастанеда, что ль?

— Типа того.

— Пусть сюда идет, — лениво сказал Монгол.

— Не пойдет. Место силы изменить нельзя, — ответил Глюк. — Идете? Аня и Куба уже пошли. Тут недалеко.

— Ну раз нельзя, так нельзя. — Монгол вскочил. — Так бы сразу и сказал.

Они пошли по тропе вдоль обрыва, и вскоре вышли на большую, хорошо утоптанную поляну, где у костра кружком расположились увешанные феньками хиппари обоих полов. Их было десятка два. Отдельно от них сидел, скрестив по-турецки ноги, немолодой, уже седеющий человек с треугольным лицом и пронзительными темно-карими глазами. Он был сух, загорел, горбонос, чем невероятно напоминал индейца.

«Какие удивительные люди встречаются на пути. Может, это тот самый Индеец? — подумалось Тому. — Надо бы спросить».

Кивнув им, Учитель погладил висящий на шее большой желтый клык и указал на место, где они могли сесть. Том оказался рядом с крепким бородатым мужиком в косоворотке и с ксивником на груди. На его запястье красовалась широкая черно-красная фенька с надписью «Алиса».

Подняв руку, Учитель призвал к тишине и продолжил явно прерванный монолог.

— Каждый добрый поступок — это уподобление Первопричине, Первопринципу. Делая добро, мы все ближе приближаемся к Абсолюту, к первопричине всего.

— Учитель, а как понять, насколько я приблизился к первопричине? — спросил кто-то из

толпы.

— Делай добро, и ты поймешь.

— Я делаю добро, но не понимаю. К тому же я вижу вокруг так много зла.

— Ты видишь лишь свое отражение. Мир не хороший и не плохой. Он лишь отражение твоего внутреннего мира. Наш путь — это уподобление Высшему Принципу. Когда ты уподобишься, ты перестанешь видеть в мире зло.

— А откуда вы знаете, что именно ваш путь правильный? — спросил Том.

Учитель удивленно поднял бровь.

— Из своей практики.

Том скептически усмехнулся. Учитель это заметил.

— Некоторые люди подобны детям, не имеющим силы. Оттуда у них такие детские вопросы.

Вокруг засмеялись.

— Как понять, имеешь ли ты силу, или нет? — снова спросили из толпы.

— Нужно прийти к ее источнику. К источнику понимания человека. Это полное равновесие с природой, оно расположено в сердце. Для этого нужно правильно чувствовать, иметь чистоту ума, прасану.

— Что такое прасана? — шепнул Том бородато-

му соседу с фенькой.

— Православие, самодержавие, народность, — не задумываясь, проговорил тот. — Не мешай, дай послушать.

— Учитель, а как назвать путь, по которому вы идете? — спросила низенькая и полная девушка-хиппушка.

— Это путь хорошей жизни. Я всего лишь учу жить хорошо. Вот вам притча на день. Один червяк жил в кислом яблоке и долго думал, что весь мир кислый, пока не выбрался из него. На сегодня с теорией достаточно.

Учитель, не вставая, сделал знак, и собравшиеся быстро построились в несколько рядов.

— Набираем воздух, задерживаем внутри, выпускаем. Стараемся сконцентрироваться в середине живота, почувствовать огонь жизни.

Они сделали несколько дыхательных упражнений.

— Эти практики позволят набраться энергии, и тогда…

Он замер на секунду, прислушался. По полянке пробежался легкий ветерок.

Учитель вскочил на ноги и, стараясь не шевелить головой, страшно прошипел.

— Они здесь! Побежали!

Неформалы выстроились в цепочку и, увлекая Тома и Монгола, побежали по кругу.

— Они рядом! Они рядом! — тревожно зашелестело вокруг. Рядом с Томом оказался Глюк.

— Кто? Кто они? — спросил его Том.

— Неорганические существа! — перепугано ответил тот.

Пробежав до ближайшей тропы, Том вышел из круга.

— Что я, дебил, что ли… — проговорил он, посмотрел на пробегающего мимо Монгола и пошел к себе в лагерь.

— Быстрее, быстрее! — доносилось до него сзади. Учитель кричал, хлопая в ладоши и прохаживаясь около бегущих. — Они повсюду! Они везде! Они опасны! Не отдавайте им себя!

Том обернулся. Увешанные звенящими бусами и фенечками мужчины и женщины, молодые и не очень, бежали, выпучив полные ужаса глаза и открыв рты. Одна из девчонок, та самая, что задавала вопрос, наступив на подол длинной юбки, с размаху влетела в чей-то зад и упала в пыль. Ее тут же бережно подхватили под руки, отряхнули, вернули в строй.

— Не останавливайтесь! Быстрее, быстрее, быстрее! — орал Учитель голосом, исполненным

неподдельного ужаса. И вдруг спокойно сел под дерево.

Люди продолжали кружиться в странном хороводе, пока совсем не устали. Без команды вначале один, потом другой, они стали покидать круг, пока все не расползлись по поляне, вытирая мокрые, счастливые лица.

— Придурки. — Том сплюнул и пошел дальше. Он уже развел костер, когда рядом появился раскрасневшийся Монгол.

— Хорошо! — довольно выдохнул он, растянувшись у костра.

— Ты не спрашивал, откуда он? — спросил Том.

— Из Средней Азии. Не наш, короче. Он потом рассказывал, как у них пустыня цветет. Цветы — от оранжевого до фиолетового. Всего три дня. А потом бац, — и все. Короче, зря ты не бегал!

— Ты что, взаправду поверил в эту всю лабуду?

— Я похож на дебила? — обиделся Монгол.

— На кой оно тебе надо было? — не понял Том.

— Да ты что? — Монгол удивился. — Там такие телки тусуются, при всем. Надо бы еще потренироваться.

Курица

Утро выдалось пасмурным. Небо затянуло тонкой белесой пленкой облаков, под которой наползали на море небольшие звездочки кучерявых тучек.

— За бутылками, — Глюк попытался было разбудить Монгола, но тот только перевернулся на другой бок.

— Я схожу, — Том сбросил штору и потянулся к обуви.

— Вот, бери. — Глюк выдал ему большой рюкзак, пару сумок, еще раз скептически оглядел его с головы до ног.

— Постираться бы тебе и заштопаться. Чтобы менты лишний раз не цеплялись.

Том порылся у себя в сумке и надел свою еще вполне чистую парадную рубашку.

— Что это ты так вырядился? — спросил Глюк.

— Не обращай внимания. Чистая рубашка — это просто униформа для работы. А в свободное от нее время панки живут в грязи.

И они отправились в поселок.

Солнце уже окунуло в морскую синь свою бледно-розовую кисть, когда они вышли к началу

набережной.

— Вон в той посмотри, — Глюк показал Тому на урну. — А я в кустах пороюсь.

Том подошел к урне, нашел одну пивную бутылку. Глюк отыскал две из-под вина.

— Ты вчера не захотел послушать Учителя. Почему?

— Я в это не очень верю. Много таких гуру развелось.

— Я тоже не верил, пока не попробовал стать воином.

— Что это тебе дало? — Том заметил в кустах бутылку из-под кефира.

— Свободу. Знание. Внутреннюю силу. — Глюк шарил в траве у обочины.

— А что такое свобода?

— Сложный вопрос. Быть свободным — это искусство, ибо все мы рабы своих желаний. Чтобы освободиться от этого всего, нужно работать над собой каждый день. Нужна энергия.

— А как вы набираете эту энергию? — спросил Том.

— Из воздуха, от солнца. Есть дыхательные практики. Нужно остановить внутренний диалог, чтобы увидеть мир таким, какой он есть.

— А какой он есть?

— Это мир, полный тонких светящихся нитей энергии.

— А человек как выглядит?

— Как светящийся кокон, пронизываемый этими бесконечными нитями.

— А это? — Том показал на ближайшее к ним дерево.

— Это кокон побольше. Очень сложная структура.

— А вот это? — Том кивнул на бутылку из-под шампанского.

— А эту не бери, их не принимают. Говорят, что они взрываются при повторном использовании.

Они остановились под навесом у пляжа, закурили. Напротив них, у самой кромки моря отдыхала семья: отец, мать и ребенок лет шести. По ярко-красному оттенку их светлой кожи было понятно, что они только приехали. Родители сидели на берегу и пили пиво, а посиневший от холода ребенок, прижав руки к груди, медленно и осторожно входил в свинцовое от непогоды море.

— Пиво с утра, — это правильно. Лишь бы пили побыстрее, — одобрительно сказал Том.

— Нас научили видеть мир таким, каким мы его видим, — продолжал Глюк. — Мы непрерывно до-

говариваемся друг с другом, как бы поддерживая коллективную галлюцинацию. Раньше люди не были столь самоуверенны. Их мышление было более гибким, свободным от научных формулировок. Это позволяло им видеть русалок, леших, водяных и прочие проявления иных миров. Сейчас их видят только дети. Иногда наркоманы, алкаши и больные с высокой температурой. Пелена истончается, понимаешь?

— Вроде да. — Том слушал вполуха, ожидая, когда пьяное семейство освободит тару. Ему казалось, что мать пьет пиво чересчур мелкими глотками.

— Я даже думаю, что все эти змей-горынычи и бабки-ежки существуют вполне реально, просто в ином, теперь недоступном для нас уровне восприятия. Он когда-то был вполне видим, но это было давно, и дошло до нас из прошлого в полузабытом и лубочном, сказочном виде. То же самое с мифами греков, ну и вообще со всеми мифами.

Том кивал, уныло наблюдая за семьей. Отец семейства вдруг взял в руку голыш средних размеров и запустил им в сына. Камень угодил ребенку прямо между лопаток.

Пацаненок выгнулся назад, нелепо завел руку за спину и заплакал.

— Ты шо, Стьопа, здурел? — вскрикнула мать, и выматерилась.

— Нэхай ростэ мужыком! — развязным басом проговорил отец. Ребенок рыдал.

— Дэбил, — ругнулась мать и отодвинула от себя недопитую бутылку.

— Пошли отсюда, — сказал Глюк и встал.

— Да, похоже, что тут не светит. — Том подхватил свой рюкзак.

— Нет, не в этом дело. Это явный знак.

— Что такое знак?

— Это первое в цепи событий, в котором кроется тайный смысл, закодированный финал цепочки. И знак этот явно нехороший.

— Ясное дело, что нехороший. У ребенка синяк, мужик с женой в контрах, а впереди бодун.

— Не ему знак, а нам, — буркнул Глюк.

— А может, еще кому-то.

— Точно нам.

— Мы как-то с другом за горохом ходили, на колхозное поле. — Том надел рюкзак, и бутылки в нем весело звякнули. — Пока рвали, гроза началась. Потом ливануло. Назад идем по полям, промокли до нитки, а Батон и говорит: я горох не съем, матери отдам, она у меня его консервировать умеет. Мы как раз под ЛЭП проходим, а тут

над головой молния ка-ак жахнет, аж присели. Ударила она в провод, и ушла назад, в небо. Ну, думаем, пронесло, не попала. А через пару месяцев ему голову проломили. И на его похоронах мы этот консервированный горох… Так вот, я думаю, это ведь ему знак был. Но почему не мне?

— Когда тебе будет, — ты почувствуешь, — убежденно сказал Глюк.

Через час все ценное содержимое окрестных урн и помоек перекочевало в их сумки и рюкзаки.

— Пора стекло сдавать, — наконец сказал Глюк, и они пошли малозаметной тропинкой вглубь поселка, пока не уперлись в большой дощатый сарай с маленьким окошком и надписью «Прием стеклотары». Рядом, на стене висел полинявший советский стенд с нарисованными емкостями и их ценой. Старая стоимость посуды была аккуратно заклеена бумагой и написана новая, теперь уже с многочисленными нулями. К окошку тянулся длинный хвост из бомжей, детей и пенсионеров.

— Смотри, из-под вина не принимают. А у нас их половина, — сказал Том.

Глюк лениво отмахнулся. По-хозяйски прошел мимо очереди к окошку, поймал взгляд прием-

щика, подмигнул ему. Тот кивнул в ответ. Обойдя пункт приема, они пошли на задний двор. Вскоре к ним вышел приемщик, сморщенный старик в засаленной робе и потерявшей форму кепке. Глюк поздоровался с ним за руку.

— Дядя Ваня, принимай.

— Давай вот сюда, в эти! — Дядя Ваня указал на стоящие в углу пустые ящики.

— Винные возьмешь? — спросил Глюк.

— Сгружай все, я потом разберусь, — добродушно сказал дядя Ваня и ушел к окошку. Было видно, что Глюка он давно знал и ценил.

— Готово! — наконец крикнул Глюк.

Приемщик посчитал тару, расплатился. Глюк вернул ему несколько купюр, и они так же тепло расстались.

— Ловко ты, — восхищенно говорил Том по пути на базар.

— Люди не понимают, что достаточно немножко делиться, чтобы все было удобно и комфортно, — назидательно отвечал Глюк. — Это то хорошее, что дала нам рыночная экономика. В Питере давно так, в Москве тоже. А здесь — все еще совок.

На базаре они купили крупы, овощей, у бойкой черноглазой татарки взяли три литра домашнего

вина, и долго глазели на прилавок с домашними колбасами и тушенкой. Тушенка была им явно не по карману.

— Мы вроде не туда идем, — заметил Том на обратном пути.

— Хищник выслеживает добычу на водопое. Поэтому воины никогда не ходят одним и тем же маршрутом. Они ценят непредсказуемость.

Они перешли реку, прошли пустырь с недостроем и оказались около тенистого тупичка. В его глубине, у глухой стены между двумя заборами переступала с ноги на ногу белая, довольно крупная курица.

Глюк замер на месте как кот, увидевший воробья.

— Вот оно, намерение! — шепнул он. — Недаром я так долго смотрел на тушенку. На тушенку денег не хватило, но глаза выманивают намерение, потому что мы проецировали мысли на добычу.

— Ты ж говорил, что знак плохой.

Глюк почесал нос.

— Оно верно. Но, понимаешь, когда мы намереваемся, когда мы решительны и безупречны, тогда реальность просто вынуждена меняться.

— Типа мир прогнется под нас?

— Типа того. Нет ничего случайного. Поэтому сама тушенка идет нам в руки…

Они сбросили рюкзаки с провизией и стали медленно подкрадываться к курице, обходя ее с двух сторон. Курица заподозрила неладное и стала было отступать к стене дома, но вскоре встревоженно забегала из угла в угол. До нее оставалась пара метров, когда Глюк, растопырив пальцы, решительно бросился на птицу, но промахнулся, и неуклюже шлепнулся животом в пыль. Курица отчаянно вскрикнула и попыталась прорваться из западни. Том бросился наперерез и успел перекрыть курице выход. Глюк снова метнулся на курицу, и снова не поймал. Наконец, присев на корточки, они почти зажали ее в углу. Изловчившись, Глюк уже почти схватил добычу, но курица подпрыгнула, захлопала крыльями, и, оставив у него в руке пару перьев, выскочила из тупика. Убедившись, что до спасительной свободы всего несколько метров, глупая птица не спешила убегать. Посчитав, что опасность миновала, она продолжала клевать что-то в пыли неподалеку.

— Вот гадина! — сказал Глюк, и тут увидел в траве палку. Не задумываясь, он швырнул ее плашмя, как бросают биту.

— Получи, тварь!

Палка летела мимо, но та бросилась прямо под нее, и удар пришелся точно в голову. Курица захлопала крыльями, перевернулась на спину, и, заведя глубоко назад шею, закатила глаза.

— Отлично! — радостный Глюк бросился к добыче, но в этот самый момент в проеме тупика нарисовался плотный лысый мужик средних лет.

— Ага! Курочку мою убили, сволочи!

Том быстро оценил положение. Он стоял у вещей, в глубине тупика. С двумя тяжелыми рюкзаками им явно не убежать. Но бросать сумки, полные еды, казалось ему еще большим преступлением.

Глюк растерянно стоял, хлопая глазами, и молчал. Его выпуклый лоб покрыли капли пота.

— Что же это ты сделал, изувер? Это же несушка! Она по два яйца в день несла! — рычал хозяин, показывая ему почему-то три пальца. Всю мощь своего гнева мужик обрушил почему-то именно на Глюка. Может быть, потому, что когда он заглянул в проулок, именно этот расхристанный неформал склонился над птицей. А может, боялся упустить главного виновника: его прилично одетый напарник с убранными в хвост волосами скромно и безучастно стоял дальше, в глубине

тупика.

— Семеныч, что случилось? — подошел еще один мужик.

— Курочку убили! — сказал Семеныч.

— Вот нехристи! — рядом появилась грузная, как тумба, женщина. В тупичке быстро собралась негодующая толпа.

— Граждане, я не знаю как это вышло. Это какое-то недоразумение, — мычал Глюк, то разводя руками, то теребя верхнюю пуговицу на футболке. — Это еще нужно разобраться, кто тут виноват! Курица была на улице, возможно, что ничья.

— Где ты видал ничьих кур? Спасу от вас нету, черти волосатые! — вопила какая-то древняя бабка. В своей жилистой руке она держала ведро с тряпкой.

— Ага, и денег тоже с них никогда нет, — вторил ей плешивый дед.

— По три яйца в день несла! — орал Семеныч.

— Да ладно врать тебе, по три. Скажешь тоже, — недоверчиво сказала бабка с ведром, глядя то на Семеныча, то на Глюка, затем подошла к птице и ткнула ее носком. Птица не шевелилась.

— Как не по три, если я ее из самого Ростова выписывал?! — кричал Семеныч.

— С какого Ростова? — подключилась женщина-тумба. — Мы же их с твоей Зинкой на рынке в Феодосии покупали. Забыл, что ли?

— Ты, Машка, сдурела? Те рябые всю жизнь были. Как у тебя! — Семеныч досадливо сплюнул, явно не желая развивать эту тему.

— У меня рябых уже сто лет как нет! Совсем мозги пропил!

— Три яйца! Скажешь тоже! — опять скептически пробормотала бабка, оценивая белый трупик.

— Женщина, успокойтесь! — сказал плешивый дед. — Сейчас разговор не про то. — Семеныч, вызывай милицию, пусть разбираются.

— Давно пора их проучить!

— Житья нет!

— А я, может, сам себе милиция. — Семеныч храбро полез к Глюку с кулаками. — Я тебе, сволочь, сейчас харю начищу.

— Это ошибка! Вы не поняли! — Глюк отступал вглубь тупика, мучительно подбирая слова. — Птица была беспризорная. Ничья!

— Так что, ее убивать надо?

— Она тебя что, трогала?

— Пусть себе животное летает!

Том по-прежнему стоял подчеркнуто сбоку,

немым свидетелем, глядя то на толпу, то на белое растрепанное тельце птицы. Ему показалось, что после пинка старухи она немного поджала ноги. Толпа суматошно орала, медленно сдвигаясь вглубь тупика, и он остался вскоре за их спинами. Подойдя к птице, он поворошил ее носком ноги, слегка пнул, и она… Ожила! Взъерошив крылья, крутанула головой, опасливо покосилась на Тома, сделала два неверных шага, и через секунду как ни в чем не бывало снова тюкала носом пыльный асфальт.

— Граждане, успокойтесь! А в чем проблема? — зычно сказал Том, стараясь говорить как можно весомее.

— Как в чем? — к нему повернулись.

— Вот же ваша курица! — широким жестом показал Том. — Живая, никаких признаков смерти не наблюдается.

— Как это? — глядя на птицу, Семеныч так и застыл с открытым ртом.

— Вот вы здесь шум подняли, а меня, например, не опросили. — Том хмуро обвел глазами людей. — Неправильно, граждане. Самосуд устроили. Не тому нас учили в школе, в комсомоле. Сам погибай, а товарища выручай! Совсем не по-советски.

Последнее слово подействовало на людей почти магически.

— Сейчас все не по-советски! — вздохнула женщина-тумба. — Бардак теперь один.

— А как было дело? — поинтересовался плешивый дед.

— Я мимо шел. Смотрю — птица лежит. А вот он тоже мимо проходил. Я говорю: смотрите, уважаемый. Вон лежит дохлая птица. Заражение может быть. Он говорит: я с вами согласен, и может быть даже эпидемия. Ее нужно немедленно отнести на помойку. Мы оба думали, что она сдохла. Но кто же знал, что она у вас припадочная?

— Стыдно, граждане! — оскорбленно добавил Глюк, быстро подхватывая свой рюкзак с едой.

— Эх, вы! А с виду приличный, — укорил мужика Том.

— Да какой он приличный?! — махнула рукой женщина. — У него моя курица в кустах целое лето яйца несла! Хоть бы десяток вернул. Только зря мальчика обидел.

— Но пасаран! — бросил через плечо Том.

— Но пасаран! Рот фронт! — эхом откликнулась женщина-тумба.

— Припадочная, и по три яйца в день! Ты ври да не завирайся! — сурово добавила бабка.

— А ты был прав, — наконец сказал Глюк на обратном пути. — Знак плохой был.

Неудача

К вечеру Глюк и Куба собрались в поселок.

— Мы пойдем Мульку искать.

— Можно, и я с вами? — спросила Аня.

— Конечно, пошли.

— Кто еще идет?

— Я иду, — ответил Монгол. — Том, а ты?

— Кто-то должен на вещах остаться, — сказал Глюк.

— Я на вещах посижу, — ответил Том.

— Здесь не воруют, — сказала Аня.

— Береженого бог бережет, — сказал Глюк.

Том подошел к Монголу, подмигнул:

— Удачи.

Когда компания скрылась за поворотом тропинки, Том прилег в робкую тень дикой маслины и облегченно вздохнул. Он вдруг понял, как соскучился по одиночеству.

«С друзьями хорошо дружить, — размышлял он, глядя в море, — но долго жить и непрерывно общаться почему-то невозможно. Это просто передозировка дружбой».

Они явно перегрелись в общении, устали друг от друга, а новая компания немного разбавила

их досуг. С другой стороны, совместные приключения как-то сплотили их, сблизили, и эта новая глубина их дружбы заставляла дорожить друг другом, держать себя в руках здесь, далеко от дома.

…Они шли друг за другом по тропинке над морем. Монгол шел последним, с удовольствием разглядывая сзади фигурку Ани.

«Ну и что, что с головой не все в порядке и прочая гармония, — думал он. — Я на ней жениться не собираюсь. Наше дело маленькое. Тем более что она никому не нужна. Вот же люди. Живет девка в лесу все лето. Рядом — два пацана с тырсой в голове. Ну, это их проблемы. А мои проблемы — грамотно подкатить. Только вот как».

Солнце уже пряталось за горами, когда они дошли до набережной.

— Девушка, а что вы сегодня делаете вечером? — браво начал он.

— Я? Пока не знаю, — ответила Аня.

— Я могу составить вам компанию.

— Не думаю, что нам будет интересно.

— Почему?

— Мы слишком разные…

— Ты меня совсем не знаешь. Я за буддизм тоже могу сказать. Хотя не это в жизни главное.

— А что же главное?

Монгол не успел ответить.

— Мулька! Смотрите, вон она! — закричал Глюк.

Собака лежала за забором, на территории санатория, посреди большой собачьей стаи.

— А-аа! Нам повезло! Джа услышал наши молитвы! — радовался Глюк. — Мулька! Ко мне! Мулька!

Но сколько он ни кричал, Мулька даже не взглянула в его сторону.

— Где же здесь вход? А, вон! — Глюк подскочил было к перекрытой вертушкой турникета калитке.

— Ты куда? — из будки вышел бритоголовый охранник в черной мешковатой униформе с надписью «Титан» на спине.

— Пусти! Вон — собака моя! Она убежала! — чуть не плача, просил Глюк.

— А почем я знаю, что твоя? — отвечал Титан, упиваясь своей властью. — Может, и не твоя. Может, вон, — Васькина. Правда, Вась?

— Может, и моя, — басил кто-то из будки, — а может, и общественная. И состоит в ведении поселковой администрации.

— Я заплачу.

— Иди гуляй. Мы мзду не берем. Правда, Вась?

— Ага. Денег не хватит.

Глюк понуро вернулся к друзьям. Они сгрудились у забора, напротив собак. Те по-прежнему возлежали на газоне.

— Ты ее едой примани. Хлеба купи, что ли, — сказал Монгол.

— Точно! Куба, ты постереги ее, а я в магазин схожу. — Глюк побежал по набережной к ближайшему магазину.

— Да уж, постерегу, — усмехнулся Куба.

Монгол молча смотрел на собак, размышляя, чем бы пронять холодную и неприступную Аню. Тут Мулька вскочила, и, не обращая внимания на протесты Кубы, лениво потрусила куда-то по своим собачьим делам. Остальные животные, отряхнувшись, не спеша последовали за ней.

— Собачки! Собачки! — послышался знакомый голос, и Монгол вздрогнул. У здания санатория, на скамейке, куда подбежала собачья стая, сидела Вероника.

Она сидела спиной, но все же это была она! Монгол весь подобрался, словно кот, увидевший воробья. Не отрывая глаз от скамейки, он отошел подальше от будки охраны, и, подтянувшись на прутьях, легко перемахнул через забор. Через

несколько секунд он уже стоял рядом со скамейкой.

— Здравствуйте, Вероника! — прокашлявшись, зычно сказал он. — Вы меня не узнаете?!

— Ой, привет! — отвечала Вероника. — Конечно, узнала. Только забыла, как зовут.

— Монгол. Можно Саша.

— Вы тоже приехали? Клево! А приятель твой где?

— На Зеленке остался. Ты здесь живешь?

— Не-а, я ногу натерла, и посидеть зашла. Тут все вечером тусят, — она махнула куда-то рукой. — Там дырка в заборе.

— В любом заборе должна быть дырка. Пошли, погуляем? — Монгол широко улыбнулся.

— Айда туснем, — утвердительно ответила она. — Только я на тебя обопрусь немного, хорошо?

Вероника взяла Монгола под локоть, и они чинно вышли через турникет. Охрана не обратила на них внимания.

— Там где-то дырка есть. Удачи! — Монгол небрежно махнул Кубе рукой, и, не замечая Ани, медленно пошел по набережной со своей новой спутницей.

«Поперла масть трефовая!» — Он шел осто-

рожно, стараясь попадать в ногу с девушкой, предугадывая ее каждый шаг.

Вероника улыбалась, щурясь от вечернего солнца.

— Есть планы на вечер? — спросил он, щупая в кармане несколько смятых купюр, оставшихся от бутылок.

— Не-а. Обычно я вайн пью, курю, на Пятаке тусуюсь. Если повезет, — можно на пару батлов нааскать. Клево тут, правда?

— Не то слово как клево, — подтвердил он.

— С ништяками только стремно, — продолжала Вероника. — Тут главное себе карму не испортить. Нужно потом обязательно что-то хорошее сделать.

— Колесо Сансары? — На всякий случай спросил он.

— Типа того. Третий глаз никогда не спит.

— Человек по-любому должен жить в гармонии. И каждое утро говорить: спасибо тебе, день, — небрежно бросил Монгол.

— А ты клевый. Я даже не думала, что ты такой романтичный. Можно я буду звать тебя Гоша?

— Почему Гоша? Я же Саша.

— Гоша — Монгоша! — Весело засмеялась она. — А у вас в городе есть синагога?

— Не знаю. А зачем тебе?

— Знаешь, я ведь во многом иудейка, — загадочно сказала Вероника.

— Еврейка, что ли? — насторожился Монгол.

Вероника остановилась, и даже кажется немного обиделась.

— Нет, иудейка. Это вера такая. Даже религия. Там все по полочкам расписано, как жить. А еще это так красиво звучит: Каббала! Почти как Шамбала. Не путай ее только с формой закрепощения крестьянства.

«Я бы тебя закрепостил», — подумал Монгол, плотнее прижимая ее руку.

— А друг твой, — он тоже музыкант? — спросила она.

— Ага, вместе играем.

— У него есть герла?

— Да. Влюблен по уши. Она уехала, а он ждет.

— Разбитое сердце? Ясно. А у тебя?

— Была одна. Но теперь я свободен, — Монгол многозначительно глянул на Веронику. — А ты?

— Знаешь, в жизни все так сложно…

— Что?

— Ну, все. Иногда скажешь кому-то доброе слово. А он как привяжется.

— Кали-Юга, сестра! — небрежно бросил Мон-

гол.

— Да! Да! Мне тоже кажется, что в этом дело! Как же хорошо найти единомышленника!

— Ты мне скажи, если кто лезть будет, — я его сразу отвяжу.

— Ты такой милый, Монгоша. Защитник! — восхищенно сказала Вероника.

— Кстати, у меня подарок есть. — Он протянул девушке спичечный коробок.

— Что это?

— Морской жемчуг! — как можно бесстрастнее сказал Монгол. — С большой глубины.

— Вот это да! Так ты еще и ловец жемчуга! — Вероника во все глаза смотрела на Монгола.

Тот давно не испытывал такой радости. Он шел, гордо выпятив грудь, лениво посматривая по сторонам, как ледокол, как памятник всему лучшему в самом себе. Он был целостен, и оттого — счастлив.

«Море, юг. Я иду под руку с бабой! Что еще нужно?» — ему казалось, что каждый встречный, от ребенка до старика, глядит на него с невыразимым восхищением.

Он вдруг вспомнил, как совсем недавно шел так же под руку с Виолеттой, или как там ее, по-настоящему. «Увидела бы, — приревнова-

ла», — подумал он, и эта мысль согрела ему сердце.

У Пятака Монгол неожиданно увидел еще одного старого знакомого. Косматый сидел у самой кромки моря и играл с кем-то в шахматы. Рядом лежал его старый велосипед.

— Опа-на. А я его знаю. — Монгол показал на Косматого пальцем.

— Какой олдовый чел! — восхитилась Вероника. — А кто это?

— Как сюда ехали, на одной станции в ментовке познакомились. — Монгол вальяжно подошел к Косматому. — Здаровченко! Не помнишь меня?

Тот поднял голову, посмотрел на Монгола невидящими глазами.

— Привет.

И снова уткнулся в доску. Его соперник, худенький длинноволосый парень в очках, беспокойно посмотрел на подошедших.

— Нормально добрался? — спросил Монгол.

— Нормально. Сюда ветер хороший, — не отрываясь от доски, произнес Косматый.

— Что, ветер ехать помогает?

— Конечно. Куртку расстегиваешь, как парус, и километров под шестьдесят можно… Вот сюда. — Косматый передвинул фигуру.

— Шахматы! Как я люблю шахматы! — Вероника взяла в руку выпавшего из игры черного ферзя. — А это валет?

— Не совсем. Туз пиковый, — усмехнулся очкарик. — Только в шахматах король главнее туза. А знаешь, почему?

— Почему?

— Потому что короля нельзя побить.

— Козырный король! Как интересно! Расскажи еще про шахматы.

— Ну, это древняя игра…

— Как моя бабушка? — засмеялась Вероника.

— Не знаю… Может, даже древнее… — засмеялся очкарик в ответ.

Монгол потоптался на месте. Он уже чувствовал, что разговор исчерпан, и даже немного пожалел, что подошел.

— Как там картошка твоя? Растет? — безучастно спросил он.

— Не-а. Соседи, гады, выкопали и съели.

— Ясно. Ну ладно. Ника, пошли? — сказал он девушке совсем по-свойски, будто они были знакомы сто лет.

— Ты уже уходишь? — удивилась она.

— А… А ты? — открыл рот Монгол.

— А я тут тусанусь. У меня нога снова раз-

болелась, я посижу немного. Про шахматы послушаю.

Глаза Монгола, и без того узкие, превратились в щелочки. Он грозно, сверху вниз, осмотрел игроков, сжал кулаки, но быстро взял себя в руки.

— Ну, это. Ладно. Только ты недолго. А я тут по одному делу смотаюсь, — развязно, будто так и задумывалось, сказал он.

Но Вероника уже не слышала его, увлеченно болтая с очкариком-шахматистом.

Монгол не помнил, как выскочил на набережную. Он шагал куда-то вперед, все быстрее, словно ужаленный, ожесточенно давя ногами серый потрескавшийся асфальт.

— Дебил! — ругался он, ненавидя себя, и словно в отместку самому себе уходя все дальше.

Потом, будто налетев на стену, остановился у торговой палатки.

— А где у вас тут на розлив? — он порылся в карманах.

— А вот! — кивнул старик-татарин со сморщенным как урюк лицом.

Названия вин, написанные на больших канистрах, были одно интереснее другого. «Исповедь грешницы», «Сердце ангела», «Кровь девственницы».

— А для девочек есть?

— Конечно есть, обижаешь! Вот это возьми. «Седьмое небо». Самое хорошее для девочки. Точно понравится. На ногах не устоит.

— Откуда вино такое?

— Бахчисарайский район. Понюхай. Стаканчики бесплатно.

Вино пахло персиковым вареньем.

— Пахнет хорошо. Никогда про такое не слышал.

— Маленький завод. Очень маленький. — Продавец показал пальцами нечто микроскопическое. — Редкое вино, специальное для девочек.

Монгол на все деньги взял два литра «Седьмого неба» и пошел назад.

«Если сама не отвалит, — суну этому очкастому в табло, и заберу», — думал он.

Но ни Вероники, ни шахматистов на Пятаке уже не было.

— … — Подумал он очень коротко. — Мимо меня они не проходили.

Он крутанулся на месте и быстро пошел к Зеленке.

Пройдя всю набережную, он вернулся к санаторию, где встретил Веронику, затем прошелся назад, к Карадагу. Уже смеркалось. Вероники

нигде не было. Такой замечательный вечер так издевательски кончился. Но у него было вино.

— Вот дрянь. — Он сел на берегу и откупорил литровую бутылку. С сомнением поглядев на стаканчики, присосался к горлышку, сделав несколько больших глотков. Вино было сладкое, как персик, и невероятно ароматное.

— Умеют же делать, — удовлетворенно подумал он, ощущая, как сладкая жидкость греет желудок. Стало немного легче.

«Всегда с этими бабами что-то не так. Куда же она свалила?» — Он швырнул в воду камень, и в этот момент неподалеку кто-то заиграл «ГрОбов», любимую группу Тома.

Как убивали, так и будут убивать,

Как запрещали, так и будут запрещать,

Как сажали и сжигали, так и будут сажать,

Как ломали и топтали, так и будут впредь.

Обернувшись на звук, он, к своей неописуемой радости, увидел ее. Вероника стояла на длинном, выдающимся в море балконе. Скорее всего, это была старая пристань, большую часть которой

теперь занимал ресторан. Под ржавыми опорами пристани хлюпало море.

Рядом с Вероникой стояли два пацана. Одного из них, крепыша в зеленой бандане, Монгол узнал сразу, второго не помнил.

Вся его обида и злость куда-то подевались.

— Привет, Ника! — Монгол небрежно махнул ей рукой.

— О, привет! А я тебя совсем потеряла, — крикнула она. — Иди к нам.

Вероника была пьяна.

— Привет, Монгоша! — развязно заговорила она, обхватив его за шею. — Это Ганс, а это Боцман, ну вы в горах виделись. А я теперь про шахматы знаю, мне тот мальчик все рассказал. Монгол, я так по тебе соскучилась. Ты даже не представляешь, как… Ты ушел, совсем меня бросил!

— Прости, я думал, что ты… — залепетал Монгол.

— Что — я?

— Ничего. Я тебя больше не брошу, — громко сказал он, грозно оглядев двух ее приятелей. — А тебе Летов нравится? Я ведь тоже панк.

— Очень. Я его так люблю. Так… — Вероника закатила глаза. — У него, наверное, от девчонок отбоя нет.

Монгол сплюнул.

— Вина хочешь?

— О, вайн! Натюрлих! А ты кульный пипл!

Через десять минут Монгол почти забыл о досадном происшествии, разлучившем его с девушкой. Теплый вечер, удивительное персиковое вино, легкий морской прибой под суровые песни «Обороны» в объятиях красивой девушки — что еще нужно для хорошего настроения?

Конечно, ему немного мешали эти двое, но он надеялся, что когда она совсем отрубится, он просто заберет ее в охапку, как дикий Том прекрасную принцессу, и унесет к себе в логово.

Время шло. Ганс переключился на «Крематорий», «Алису», «Кино». Монголу было скучно, но Вероника млела от каждой песни, а он радовался тому, что ей хорошо. И хотя на Монгола она почти не смотрела, ему казалось, что все еще впереди, — нужно просто привыкнуть друг к другу.

«Надо бороться за сердце женщины», — стучало в его голове, и он заботливо подливал вино в ее стаканчик. Иногда он пытался шутить, и даже рассказал анекдот. Вероника заливисто смеялась, и, поглаживая его по коленке, говорила:

— Наливай, дорогой мой Монгоша.

У Ганса лопнула струна. Он снял ее, и стал на-

страивать гитару.

— Погода отличная. Искупаться не хочешь? — предложил Монгол. Он хотел показать всю свою силу, но девушка предложение не оценила.

— Море — отстой. Сейчас бы дождику, было б ништяк.

— Нас под Тифлисом такой дождь застал. Чуть в море не смыло, — сказал Монгол.

— Люблю такое, — сказала она. — Бури всякие, стихии.

«Посидела бы ты до утра в мокрой палатке», — подумал он.

— Рядом с Тифлисом моря нет, — вдруг сказал Боцман. — Тифлис — это же старое название Тбилиси.

— Самый умный? — сказал Монгол, и вдруг вспомнил, что Том уже поправлял его с названием города, около которого их чуть не смыло в море. Но ему страшно не хотелось показать свою забывчивость.

— Ну, я много где был. Может перепутал, — смягчился он. — Помню, в Средней Азии был. Видел, как пустыня цветет. Сплошной ковер до горизонта. Цветы от оранжевого — до фиолетового. А через три дня — все потухло. Унылые, желтые барханы.

— Класс! — сказала Вероника.

— А где именно? — спросил Боцман.

— Я же говорю: Средняя Азия.

— Я понял. — Боцман покосился на крепкий кулак Монгола, осторожно сжимавший хрупкий пластмассовый стаканчик. — А пустыня какая? Каракумы, Кызылкумы, Барсуки?

— Какие еще барсуки? Там змеи всякие. Верблюды.

— Барсуки — это пустыни такие, — осторожно ответил Боцман.

— Слушай, барсук, ты самый умный? Череп жмет, извилина мешает? Так я тебе ее сейчас аннулирую. — Монгол залпом допил свой стакан.

— Ну хватит вам, мальчики! — обиделась Вероника.

— Извини. Покурю. — Монгол отошел к парапету. Эти ее друзья не к месту раздражали его. Ему ужасно хотелось привычным кулаком расставить все по своим местам. Но он боялся напугать девушку, которую и так чуть не потерял.

«У меня времени много. Может, сами отвалятся, а может… Помогу. Но попозже, не сейчас». — Опершись на перила, он достал пачку сигарет, прислушался, как под балконом у металлических труб-свай утробно курлыкало море. Ему хотелось,

чтобы Вероника встала, подошла к нему и сказала что-то вроде: «Монгол, да ну их». Или: «Саша, милый, прости, они все мне так надоели. Кто они, все эти доходяги неформальные? Пустое место? Соплей перешибить! А ты такой сильный, такой надежный. Пошли вдвоем погуляем».

Он закурил, глянул через плечо на Боцмана. Тот сидел, сгорбившись, и неотрывно глядел на Веронику. Она что-то явно вычитывала ему, размахивая руками.

Монгол отвернулся, выпустил изо рта большое аккуратное кольцо дыма.

«Ревнует. Ведь ревнует же. На мое место метит. Умереть не боится, сволочь», — стучало у него в голове.

Через минуту подошел Боцман, стал рядом. Его порядком развезло. Он облокотился на перила, явно собираясь что-то сказать.

— Ты это… Сигаретой угостишь?

— Держи.

Боцман взял сигарету, затянулся, помолчал.

— Слышь, это моя герла, — наконец сказал он.

— Сам решил? — Монгол удивленно поднял брови. — Или она сказала?

Боцман не ответил, рассеянно глядя в чернильную пустоту перед собой.

«В точку», — подумал Монгол, и решил развить наступление.

— Так что, пошли спросим, — чья?

— Что тебе надо? Что ты к ней прицепился? — взвился Боцман.

— От тебя — ничего. Иди гуляй, пока цел. Я сегодня добрый, — спокойно ответил Монгол.

Боцман замолчал, тоскливо глядя в черную пустоту моря.

— Мальчики! — крикнула Вероника. — Хватит курить. Без вас скучно!

— Сейчас буду! — тут же ответил Монгол.

Ганс снова заиграл. Они стояли, опершись на перила, чуть поодаль друг от друга. Над самой головой Монгола пронеслась большая темная птица, и скрылась в прибрежной зелени.

Боцман засмеялся.

— Ты видел? Над тобой птица пролетела. Плохой знак. — Он ткнул сигаретой ей вслед.

— Что за знак? — не понял Монгол.

— Знак смерти.

— Да мне пофиг! — сказал Монгол, и тут же выронил сигарету.

— Перед смертью такое бывает. — Боцман продолжал улыбаться. — Например, голубь к тебе прилетит, и жить в комнате станет. Или вот так.

Птицы — вестники смерти.

— Вестники? Слушай, это так интересно… А расскажи еще про вестников, — стараясь не обращать внимания, как закипает все его нутро, Монгол приобнял собеседника и повел его по балкону пристани, подальше от Вероникиных глаз.

— Ну, смерть… Она повсюду. — Боцман храбро продолжал размахивать сигаретой. — Перед своим приходом она как бы посылает веточку. Птица. Разбитое зеркало. Остановившиеся часы.

— Часы, говоришь? Интересно, — щурясь, говорил Монгол, подталкивая Боцмана к ресторану.

— Э, ты куда меня тянешь? — Тот, наконец, остановился, и, вывернувшись из-под руки Монгола, оперся спиной о парапет балкона. — Так тебе рассказывать?

— Говори! — процедил Монгол, став напротив и уже не чувствуя себя.

— Ну так вот. Она никогда нас не покидает. Но ее не нужно бояться, потому что это бессмысленно. Страх смерти — это глупость. Смерть всегда рядом, она стоит за левым плечом, и все равно никуда не денется. Просто о ней нужно помнить, потому что она — мера веса всех наших поступков.

— Вот как, да? — Монгол качнул головой, набы-

чился. — А хочешь посмотреть на нее?

И, не дожидаясь ответа, толкнул Боцмана через парапет.

Тот опрокинулся навзничь, но повис на ограде согнутыми ногами, рефлекторно схватившись руками за железные перила.

— Сейчас посмотришь, и мне все расскажешь! В подробностях! — зашипел Монгол, стараясь перебросить его ноги. Боцман молча сопел, отчаянно цепляясь за решетку.

За спиной ойкнула женщина, забегали официанты.

— Эй, ты чего, эй! — закричали из ресторана. — Там же бетон! Он себе шею сломает!

Но Монгол ничего не слышал, раз за разом отдирая ободранные в кровь руки Боцмана, которыми тот цепко и упорно хватался за прутья ограждения.

— Умру, говоришь? — не слыша себя, орал Монгол. — Сейчас посмотрим, кто из нас умрет первым!

Несколько человек схватили его за руки, за плечи, и, наконец, оттащили от жертвы. Боцман быстро влез назад, на балкон, и теперь стоял неподалеку, ошарашенно глядя по сторонам и приходя в себя. Оба, взъерошенные, с ненавистью

смотрели друг на друга.

— Я тебя убью, — выплюнул Монгол.

— Посмотрим. Птичка-то не ко мне прилетала. — Боцман поглаживал на руках глубокие кровоточащие царапины.

— Я тебя убью, — повторил Монгол.

— Пиплы, ну что вы за люди! — Вероника уже стояла рядом. Она чуть не плакала.

— Валера! Сколько раз говорить? Не пускай никого из посторонних на балкон. — Послышался голос из ресторана.

— Они чай брали… А ну, давайте, давайте отсюда. Не хватало еще трупов.

— Ты с ним? Можешь оставаться! — Боцман быстро взглянул на Веронику и, демонстративно отвернувшись, зашагал к выходу.

— Ну зачем ты так?! — Вероника выразительно глянула на Монгола. — Такой вечер испортил!

И бросилась к набережной, вслед за Боцманом.

— Ника, ты куда? — неожиданно крикнул Ганс, и побежал следом за девушкой. В его раненном возгласе были и боль, и требовательность, и ревность. И что-то еще такое, наболевшее и недосказанное, но по-человечески *ясное*, что Монгол вдруг почувствовал симпатию к этому, в общем, неизвестному ему человеку, как к соратнику по

несчастью.

— Выходите, выходите! — поторапливали их.

— Не гони. — Монгол вернулся за вином, вышел следом. Ганс молча стоял на том же месте и глядел вдаль, на тускло освещенную фонарями набережную.

— Твоя девчонка? — спросил Монгол.

— Ту неделю моя была. — Ганс пожал плечами.

— А я думал, ничья, — вздохнул Монгол. — Ух и лярва. Не поймешь этих баб.

— Да пошел ты! — сказал Ганс и отвернулся.

— Какие все нервные стали, — бросил Монгол и побрел к морю.

«Развел меня, как лошка развел. Жертвой прикинулся, на слезу бабу взял, и свалил», — думал он, снова сев у кромки прибоя, и открыл непочатую баклажку.

Вино действовало как-то странно. Оно тупило, будто мозг с каждым глотком превращался в кусок дерева. Но от этой тупости становилось легче, спокойнее. Чужая боль отрезвила его, и даже почему-то утешила.

— Ладно, упрощаем! — Он тряхнул головой, сбрасывая с себя вязкую патоку этого бесполезного и невнятного романа. — Попадется кто-то из них по дороге, — приложу, и дальше пойду.

Придурки волосатые. Уроды. Еще бегать будут, толпами. Автографы брать будут.

Он оглянулся. На берегу кто-то тихо перебирал струны, высоким голосом напевая грустную и протяжную песню. На звук гитары подтягивались люди. Все они тактично садились неподалеку и, негромко переговариваясь, глядели на беззаботное море, на луну и звезды… Спокойный перебор струн совсем убаюкал его.

Он проснулся, когда в злополучном ресторане заиграла бодрая кабацкая музыка. Немного похолодало. Вторая бутылка уже почти опустела. Неподалеку все так же играла гитара.

«Спать пора, додому». — Монгол поежился, посмотрел на побелевшую луну и попытался было встать, но ноги не слушались.

— Что за лажа? Отсидел, что ли? — В недоумении он ощупал стопы. Затем кое-как встал, с трудом держа равновесие, и тут заметил странную и тревожную суету. На пляже, неподалеку от него, мелькали тени, хрустела галька под многочисленными ногами. Он посмотрел вдоль берега, прикрыв рукой луч мощного, бьющего в море прожектора, и тут разглядел, наконец, что его соседей окружила компания крепких ребят.

— Слышь, а сыграй пацанам «Голуби летят над

нашей зоной», — донеслось до него.

— Я не знаю аккордов, — ответил музыкант.

— А почему? Ты не знаешь этой песни? Не слышал?

— Слышал. Просто я играю другие.

— Опа-на. Муха, а ты эту песню знаешь?

— Знаю, — ответил кто-то.

— Рябой, а ты?

— Нет базара.

— Фикса?

— Любимая.

— Слышал? То есть ты нормальным пацанам решил предъявить, что они фуфел галимый слушают?

— Нет, я просто не…

Кто-то ойкнул совсем рядом, некрасиво и глухо звякнула гитара, послышались глухие сильные удары. Гопники били ногами, — по-хозяйски деловито, с тихим веселым матерком. Жертвы терпеливо ойкали, и, не рискуя подниматься, чтобы не получить сильнее, закрывали лица руками. Не трогали только музыканта. Улучив момент, он вскочил, рванул с гитарой вдоль берега, но кто-то бросился следом, и его быстро отрезали от набережной. Тогда он поднял гитару над головой, и зашел с ней в море.

— Вали в Турцию, урод волосатый! — захохотали на берегу. — Греби гитарой! Хиппи энд!

В море полетели камни.

Один из камней ударил в деку; гитара глухо тренькнула, как обиженная подруга. Другой попал музыканту в плечо. Укрываясь рукой от обстрела, тот брел по шею вдоль берега и плакал.

— Э, мужики, харош! Не трожь артиста! — крикнул Монгол, с трудом удерживая равновесие на своих негнущихся чугунных ногах. Его сознание было ясное, как стекло, но тело совершенно не слушалось.

— Опа-на. Кто это голос подал? А ну, вломи ему, Муха! — услышал он сзади спокойный голос.

И кто-то пошел к нему, — не спеша, как идет охотник за раненной жертвой. Монгол еще раз посмотрел на музыканта, и, поняв, что вряд ли ему поможет, двинулся в сторону набережной.

Он успел доковылять до ступенек, взобрался наверх, ожидая, что на набережной, как обычно, будет полно народу. Но вокруг не было ни души: над морем уже зеленела заря восхода.

Он схватился за черные прутья забора, повернулся, и тут увидел перед собой хорошо сбитого пацана. Тот был покрепче и повыше Монгола. Его мускулистое тело венчала маленькая голова с

крохотными жесткими ушками и тяжелой квадратной челюстью. Он приближался к Монголу как-то кручено, вертляво, будто двигался на шарнирах, понимая, что жертва никуда не денется.

Монгол стал, держась одной рукой за решетку, а второй, согнутой в локте, прикрыл лицо. Они обменялись взглядами, и Монгол понял, что тот сходу в ближний бой не пойдет, а раздумывает, куда бы засадить ногой: по бедру, или сразу по ребрам. «Если успею, — поймаю за ногу, завалю, потом болевой на руку. Пока очухается, — свалю», — браво подумал он, скользнув взглядом по сопернику, и тут увидел на его плече татуировку: «A (II) Rh+».

Сам не ожидая от себя, засмеялся вдруг, и опустив руку, ткнул пальцем.

— Слышь, Муха! Мы с тобой — одной крови!

Муха замер. Постоял секунду-другую, переступая с ноги на ногу, а затем так же молча развернулся, и исчез в темноте пляжа.

Встреча

В синей бездонной чаше неба плавилось крымское лето. Легкий свежий ветер доносил с моря писк чаек, солоноватый воздух свободы и веселые беззаботные крики людей; вдали, в окрашенной легкими белесыми мазками синеве, натужно гудела стрекоза мотодельтаплана. Медленно наливался розовыми красками еще один день.

Монгол проснулся рано. Он лежал, не спеша открывать глаза и размышляя, где же угораздило его заснуть. Голова раскалывалась. Конечно, он мечтал проснуться где-нибудь в мягкой постели, в объятиях Вероники, но лежал явно на чем-то потверже кровати.

Увы, он обнаружил себя на Зеленке. Все еще спали. Лишь Глюк, по обыкновению вставший раньше всех, возился у костра.

— Автопилот сработал. — Монгол тяжело поднялся и побрел к морю. Казалось, что вместо головы у него вырос аквариум, стенки которого с трудом сдерживали выплескивающийся мозг. Он явно превратился в жижу, без-мысленный больной студень, плавящийся под лучами утреннего солнца.

— Седьмое небо! Никогда больше, никогда! — Монгол осторожно спускался по крутой тропе, будто нес свою голову отдельно от тела, как сосуд с драгоценной жидкостью, которая тяжело и болезненно ударялась в стенки черепной коробки. Наконец тропа кончилась, и он погрузился в холодное утреннее море. Через полчаса к нему присоединился Том.

— Ну, как вчера сходил?

Монгол вкратце пересказал ему свои приключения.

— Да, — помрачнел Том. — А мне казалось, что в таком месте гопов вообще быть не может. — Может, залетные какие?

— Плевать мне на гопов. У меня, может, опять рана в сердце. Я вчера пил, и, короче, снова понял, что от баб — только зло.

— Кстати, Аня не ночевала.

Монгол тяжело повернул голову, глянул на Тома.

— Пошли лучше поплаваем. Надоели они мне, бабы эти. Море — оно ж вроде и душу лечит, как тот моряк говорил.

Они заплыли подальше, и, поглядывая на холмистый береговой пейзаж, с удовольствием растянулись на воде.

— Ну что, помогает? — спросил Том.

— Вроде да. Но пока не очень. Это, наверное, потому, что малосольное.

Они снова помолчали.

— Сколько времени мы тут? — наконец спросил Монгол.

— Если с дорогой, то больше месяца.

— А кажется, что полгода… Домой не хочешь?

— Не знаю. И хочу, и не хочу, — признался Том.

— Позвонить бы.

— Откуда тут позвонишь?

— Может, в Феодосии, из почтамта?

— А сколько до нее?

— 20 километров вроде.

— Ты сегодня в Коктебель идешь?

— Не, я отдохну сегодня. — Монгол отвернулся.

— А я пойду. А то в Крыму бывал, а Планеров толком не видал.

— Веронику встретишь — привет передай. Ну и… Аккуратнее там, — участливо сказал Монгол.

К вечеру Том, Куба и Глюк собрались в Край Голубых Холмов.

— У меня тут немного денег осталось, с бутылок. — Монгол порылся в штанах.

— Мне не надо.

— Возьми. И смотри там. В раю дебилов хвата-

ет, — повторил он.

— Спасибо!

— Удачи там! — Монгол махнул ему рукой и скрылся за деревьями.

Том глазел по сторонам, восхищаясь каждым, кто появлялся ему на пути. Навстречу все чаще попадались компании из хайратых девчонок и пацанов, в феньках и с гитарами, с ирокезами и косичками. Вечерний Коктебель встретил их музыкой. Чем темнее становилось на улице, тем сильнее поблескивали глаза отдыхающих: начинался обычный легкий мандраж курортного вечера, всегда похожего на праздник.

Том с облегчением потерял Глюка с Кубой и долго слонялся в одиночестве по набережной. На Пятаке кто-то играл на гитаре, и он непроизвольно двинулся на звук. У парапета, в луже блевотины валялся длинноволосый парень в джинсовой куртке. У его ног стояла шляпа. Кто-то написал фломастером на картонке «подайте на опохмел олдовому пиплу» и вставил табличку в руки лежащему.

Рядом на гитаре играл музыкант, ему аккомпанировала девушка с флейтой.

— Рано начал! — хохотал кто-то рядом.

— Почему рано? Вчера вечером! — отвечал

другой.

— Капитан, капитан, похмелитесь! Только водкой покоряются моря! — кричали ему.

Все смеялись. Кто-то сунул Тому в руку бутылку с портвейном. Он отхлебнул, отдал ее дальше по кругу.

— Эй, играть умеешь? — к Тому подошел музыкант. — Я отойду.

— А что играть? — спросил Том.

— Давай «Полет кондора». Там два аккорда, до-ля, на припеве фа-до. Остальное — флейта.

Том взял гитару, и парень исчез в толпе.

Они перемигнулись с флейтисткой, и начали заунывную мелодию, полную зноя американских прерий, высоких, как телеграфные столбы, кактусов и парящих над раскаленными безжизненными скалами хищных голодных птиц.

Народ вокруг вдохновенно пил вино. Пили все: лежащие и сидящие, танцующие и идущие мимо. Том вновь уловил ту неясную атмосферу идеального, правильного общества, где свободные люди относятся друг к другу как к братьям, с пониманием и любовью. Они счастливы, что не ссорятся и не спорят, они просто принимают мир таким, какой он есть, живут в нем так, как задумано природой, и радуются этому морю, радуются каж-

дому человеку. Это ощущение братской любви, разлитое вокруг как море, явно разделяли все, — молодые и не очень, парочки, кучки и одинокие, словом, — все те, кто съехался сюда, кто мечтал жить в другом, более правильном и совершенном мире. Это было видно по глазам, по улыбкам, по жестам. Все они, как перелетные птицы, слетелись в этот теплый и совершенный уголок из холодных краев отчужденности и непонимания. Он так долго тосковал по ним, — незнакомым и далеким, но таким близким, родным. Родным куда более, чем кровные родственники, — *так вот откуда это желание называть друг друга братьями!* Он верил, что когда увидит их, то почувствует их тепло. И вот они, — не на концерте, а просто так, рядом, вокруг, — такие же настоящие, невымученные! Это осознание причастности к чему-то великому, доброму, правильному, которое зацепило не только его, но и многих других, приносило несказанную радость и осмысляло саму жизнь, добавляя к ней какое-то новое измерение.

Шляпа потихоньку наполнялась.

Том первый раз играл в шляпу. Они не раз выступали на концертах, на сейшенах, но там было все по-другому. Перед концертом на дверях

ставили Монгола, который решал, кого и за что пускать. Фанаты у ног бились головами о сцену, тянули руки, девушки за кулисами просили автографы. Во всем этом жила легкая, головокружительная слава. Но этот метр сцены, который приподнимал их над людьми, проводил невидимую черту между ними и публикой. Здесь же не было ничего подобного. Каждый мог взять гитару, спеть, сыграть, уйти или появиться вновь. Налить, или выпить. Угостить, если было чем, попросить, если не было. Обнять, похлопать по плечу, и исчезнуть навсегда из твоей жизни. Как странники во вселенной, которые дорожат каждым мигом жизни, и не тонут в его мирской суете. Все вокруг было хорошо и свободно, как само естество.

День уже совсем отгорел. Солнце заползло за линялую глыбу Карадага, опустив на поселок мягкую светлую тень; неровная цепь холмов за ним уже окрасилась в неяркие вечерние наряды. Грязно-желтый Хамелеон внезапно вспыхнул розовым, затем голубым, и, наконец, окрасился в темно-сиреневый. Горизонт остыл, успокоился. На небе появились первые робкие звезды.

Том играл, без интереса поглядывая в сторону набережной, где подплывал к увешанному чер-

ными покрышками причалу вечерний теплоход. Из него с гомоном и восторгом высыпали отдыхающие, мимо потянулись чистые белоснежные одежды, замелькали легкие шляпы. Эти люди были будто с другой планеты. Они форсировали заполненную волосатыми площадку Пятака, будто шли сквозь строй, с терпеливой брезгливостью подавая назойливым неформалам. Он глазел поверх их голов, и тут увидел… Светку! Это точно была она!

Она почти не изменилась. Та же походка, та же манера откидывать назад свои длинные волосы… Все тот же прямой и пронзительный взгляд серых глаз. Она прошла мимо, без особого интереса скользнув взглядом по толпе неформалов, остановилась у лотка с украшениями… Толпа скрыла ее.

— Да не… Нет, не может быть, показалось, — пробормотал он, слегка отпустив баре, из-за чего гитарный аккорд вышел глухим, смазанным. Флейтистка удивленно взглянула на него из-под локтя.

Том посмотрел на лады, снова вытянул шею в надежде опять увидеть знакомое лицо. Но Светки у лотка уже не было. Он попытался угадать, куда она ушла, если, конечно, это была она, но народу

вокруг было слишком много.

«Может, просто похожа? Может быть, не она?» — перебивая друг друга, скакали в его голове короткие мысли.

Дойдя до конца припева, он перестал играть.

— Смену сдал. Пойду погуляю. — Он отдал кому-то гитару и, не оглядываясь, рванул по набережной.

— Возвращайся! — крикнула флейтистка вслед.

Том покрутился у лотка, прошелся вдоль моря и, никого не встретив, вернулся к музыкантам.

«Никого похожего на нее. Значит — показалось. Тоже мне, раскатал губу. Не надейся, и не обманешься», — думал он, стараясь быть убедительным, но выходило не очень.

На Пятаке бурлила обычная вечерняя жизнь. Лежавший хиппарь уже поднялся, и, облокотившись о стену, сидел, обводя мутным взором окрестности. Перед ним кто-то поставил стаканчик с вином. Тут же, перед его носом, крутился смешной черно-белый щенок. Он то плюхался рядом, то норовил опрокинуть вино. Хиппарь судорожно хватался за стакан, прихлебывал его, ставил в другое место, но щенок воспринимал это как игру, и тут же бросался за его рукой,

звонко рыча и трепля манжет куртки. Вино выплескивалось, хайратый отмахивался от щенка, но со стаканом в руке подняться не мог. Все это противостояние маленького отважного щенка и большого беспомощного человека вызывало хохот окружающих.

— Эй, пипл. Заходи сюда! — крикнула ему флейтистка. — Держи батл.

— Спасибо. — Том перевернул в себя бутылку.

— Омск, — сказал гитарист и протянул руку. — Я Стив. Это — Агни. Вот скажи: тебе не кажется, что все люди стали какие-то сложные, замороченные. И дело даже не в возрасте. Некоторые — уже взрослые с пеленок, а людей за восемьдесят можно встретить в детсадах. Они знают, что им нужно в этой жизни, и как урвать от нее побольше. Смотреть страшно.

— Сплошь и рядом. — Том кивнул головой.

Вино быстро кончилось.

— А пойдемте за ништяками, — сказала Агни. — Я тут одно местечко присмотрела.

Они подошли к небольшому крытому павильону, где стояли высокие круглые столики. Том не видел таких с детства. Он вспомнил, как когда-то с отцом они шли из садика, потом встретили знакомых и остановились у такого столика. Ну

как — остановились? Где-то высоко над головой, почти на втором этаже, папка пил с друзьями пиво, а он стоял внизу, один на один со столбиком и железной сеткой для вешанья сумок. Над головой под звон бокалов звучали крепкие мужские голоса, а под столом было пусто, тоскливо и совсем одиноко. Он терпеливо ждал, переступая с ноги на ногу, и дергал отца за штанину.

— Стив, ты с инструментами посиди. А ты со мной, — Агни заговорщицки махнула Тому рукой, подняла полы тяжелой юбки и легко перескочила через невысокий беленький заборчик. Том полез следом. Они оказались у крайнего стола.

Половину кафе занимал танцпол. Пары, побросав на столах свою еду, неспешно крутились в танце. Было видно, что люди тут собрались небогатые.

— Хватай на том! — Агни ткнула пальцем на соседний стол.

Том подскочил к столу и схватил две пластмассовые тарелки с едой. Они были полны жареных окорочков, политых соусом и присыпанных тонко нарезанными солеными огурцами. От запаха жареного мяса закружилась голова.

Через секунду они были уже на набережной. Быстро пройдя метров сто, спустились в темень

пляжа и уселись возле самых волн.

— Ну, налетай, — сказала Агни. — Что у нас тут?

Ее тарелки были с шашлыком.

— Мы что, жратву у людей украли? — спросил Том.

— А ты что, типа только въехал? — спросила Агни. — Чистоплюй? Переживаешь?

Том пожал плечами.

Он уже давно не переживал, сам удивляясь, насколько изменился за этот месяц. Он уже не чувствовал угрызений, более того: эти вылазки за пропитанием уже казались ему проявлением доблести и отваги, подобно тому как хищный зверь не жалеет пойманную им добычу.

— Отвлеклись, — сами виноваты, — успокоила Агни. — Следить за своей жратвой надо.

— Смотри, кто идет! — вскрикнул Стив, оторвавшись от еды.

Том глянул туда, куда показывал музыкант, и увидел высокую фигуру в обмотанных черным платком шортах и черной футболке. Угловатый, худой человек, напоминающий сложившего крылья грифа, шел в сторону Пятака, низко свесив голову. В пряди его длинных волос были вплетены бисерные тесемки, которые весело болтались

в такт его шагам.

— Кто это? — спросил Том.

— Не знаешь? Это ж Олди! Из Комитета Охраны Тепла, — сказала Агни, разочарованно взмахнув рукой. — Видно, опять выступать приехал. Карму лечить. С ним тут в последнее время почти никто не здоровается.

— Почему? — Том даже жевать перестал, во все глаза глядя на легендарного музыканта.

— Было дело, — подхватил Стив. — В прошлом году он устроил здесь концерт, афиши развесил. Народ пришел, а Олди нет. Зато гопники тут как тут. Отфигачили всех в мясо. Он, может, и не виноват, но все же стоило потом прийти, как-то перед своими объясниться. А он просто свалил.

— А потом на всех заборах писали «Комитет охраны бабла», — подхватила Агни.

Спокойный тон, с которым его новые знакомые говорили о звезде отечественного регги, внушали уважение.

— А Летов здесь не бывает?

— Я не видел, — ответил Стив. — Я с ним к Киеве пересекался. Смешная история вышла. Был там проездом, а переночевать негде. Как водится, пошел на Рулетку. Это площадь такая в центре, ее еще Майдан называют. Там, в трубе, с ребятами

познакомился. Они вписали меня на ночь, где-то на окраине. Народу на флэту — тьма. Спали на полу, вповалку, тесно было. А тут еще сосед всю ночь брыкался. Наутро я говорю: «А кто тут меня ночью лягал?» А мне: «А, Летов? Так он уже на концерт уехал». Так я их чуть не поубивал за то, что не разбудили. А потом ехал домой и думал: а может, оно и к лучшему. А вдруг он с бодуна был, или, там, не в настроении? И послал бы меня подальше. Вот это бы на всю жизнь обидело. Зато теперь любому могу сказать: я с Летовым целую ночь общался. Ведь не в нем же дело, в конце концов. Не в его теле, а в творчестве. Ведь именно он помог мне оформить мою ненависть к тому, что мне дорого…

— А вы тут каждый год? — спросил Том.

— А куда еще ехать? Коктебель — это все. Дальше — только море.

— Слушайте, я тут чела одного искал, барабанщика из Партенита. Индейцем кличут. Может, знаете?

Стив пожал плечами.

— Может, Матрос знает? — сказала Агни.

— Матрос всех знает, — подтвердил Стив. — Завтра подходи часам к шести к «Винту».

— Это где?

Агни усмехнулась.

— Кафе «Под винтом». Он там зависает, всегда в курсе, что, где и когда.

«Сколько раз я это слышал», — подумал Том, выбрасывая кусок недоеденного предыдущим хозяином мяса.

— Ты чего едой бросаешься? Ты брезгливый?

— Нельзя все есть. Пусть собакам достанется. А то карму подпорчу, — усмехнулся Том.

— А, ну тогда, конечно. — Агни уважительно кивнула головой.

— Ладно, спасибо, ребята, пойду я.

— Тарелку оставь.

Том поставил тарелку на гальку и пошел прочь. «Странно, — думал он, — еще совсем недавно я не хотел есть за доллары Монгола. А теперь готов у людей вырвать кусок мяса почти изо рта. Что с людьми голод делает».

Он попытался отвлечься от этих мыслей и сосредоточился на Олди.

«Интересно, куда он пошел? Может, хоть с ним пообщаюсь».

Прямо здесь, где-то рядом обитал целый Олди, — настоящий, живой! Конечно, ему только что надули в уши про его прошлогодние грешки, но ведь это был первый музыкант, с которым он

столкнулся в жизни, если не считать той певички на пляже, а ее можно не считать. Нет, он, конечно, видел на концерте в Киеве смурного Бутусова, маленького Сукачева и даже кривляку-Мамонова, но то ж было на сцене! А здесь можно и поговорить, и услышать какие-то слова, которые наверняка запомнятся на всю жизнь! Ведь такой человек, как Олди, обязательно скажет что-то такое, что…

Он ускорил шаг, и вдруг… Чуть не налетел на нее.

Светка стояла с мамой у парапета. Они смотрели на потемневшее вечернее море, ели мороженое и смеялись.

Она все же изменилась. Простившись с остатками подростковой неуклюжести, стала выше, стройнее, женственней. Ему вдруг стало страшно. Он стоял, как вкопанный, смотрел на нее сзади, не решаясь подойти. Что их, в сущности, связывало? Шапочное знакомство родителей? Мимолетная подростковая глупость? Она наверняка забыла о нем. А если нет, то кто он ей теперь? Досадное воспоминание прошлого?

Ему на миг стало неловко за свой панковский прикид, за дыру на колене. От этой мысли повеяло предательством самого себя, и стало вдвойне

отвратительно.

«Пройду мимо», — сказал он себе, но ноги будто запутались, категорически не желая куда-то идти. Совершив два неловких шага, он зацепился за выбоину в асфальте. Женщины повернулись.

— Привет! — прохрипел Том, не узнав своего голоса. Его немного пошатнуло.

— Ой, привет! Мам, ты смотри, какие люди! Это же Егор! Егор, это ты?

— Это я, — сказал Том, глядя на Светку. — Я там на гитаре играл, и тебя увидел.

— Да? Я бы тебя ни за что не узнала, — сказала Светка.

— Да, тебя с такими волосами вообще не узнать, — подтвердила мама.

Том улыбнулся чужим лицом.

— А мама твоя с тобой?

— Нет, я один. В смысле — без нее… С другом.

— Ну да, конечно, конечно. Хиппуешь, или как там это все у вас называется? — Усмехнулась мама, оглядев Тома с ног до головы. — И наверное голодный?

— Нет, спасибо. Я поужинал, — сказал Том. — Здесь рядом отличное кафе. Танцы. Окорочка.

— Ну рассказывай, как у вас дела? Если хочешь, можем где-то посидеть!

— Давайте лучше погуляем. Если вы не спешите.

— Давай, конечно! — И они медленно пошли втроем вдоль набережной.

Том молча шел между ними, и вдруг услышал ее запах, — такой знакомый, уже полузабытый. Этот запах отключал мозг, кружил голову, опьянял сильнее вина.

— Как мама? — спросила мама.

— Все в порядке.

— Сейчас на даче, наверное?

— Ага.

— Урожай уже собрали?

— Яблоки еще остались.

— А ты давно здесь?

— Не очень.

Том пытался что-то рассказать, чувствуя неловкость таких коротких ответов, но все слова почему-то выскочили из его головы. Он вдруг осязал, как далек от этих цивилизованных людей в их чистой одежде, от их жизни, их распорядка, от их мира. Он не знал, что им сказать на его языке.

Так, не спеша, они дошли до речки в конце набережной, повернули назад.

— Свет, я, наверное, в санаторий пойду, — наконец сказала мама. — Там сейчас концерт

начинается, самодеятельность какая-то. Может, Егор тоже хочет послушать?

— Мам, ты иди, а мы погуляем, — ответила дочь.

— Только недолго, чтобы я не волновалась, а то завтра с утра домой, а у нас еще вещи не собраны.

— Хорошо, мам.

Они шли вдвоем молча.

— Завтра уезжаете? — наконец спросил он.

— Да, домой, в Москву. Мы тут уже три недели сидим. Скучно.

— Жаль, что так рано. Я бы тебе не дал скучать, — засмеялся Том и почувствовал, как потекла к сердцу жаркая кровь. Он был так благодарен чудесному случаю, который вновь свел их, и страшно боялся, что она снова исчезнет, и он больше ее никогда не увидит. Ведь такие случайности не повторяются.

— Я скучал по тебе. По той, *нашей* яблоне, — сказал он.

— Правда? Я не знала. Как твои друзья?

— Я с ними уже не общаюсь.

— Поссорился?

— Нет. Просто вырос, разошлись интересы. Знаешь, в песочнице — одни друзья, а в первом

классе уже другие. Чем старше, тем все дальше они живут и все реже встречаются в жизни.

— Знакомо.

— Так вы в Москву уехали?

Ему было жалко, что время уходит, а он не слышит ее голос.

— В Подмосковье. Когда папа умер, маму стали запугивать. Мы тогда продали все, что могли, и к бабушке уехали. Я у нее все детство провела. Я люблю Москву.

— Значит, завтра уезжаете? — казал он ровно, невозмутимо.

— Ага. Ты не обижайся. Мы немножко погуляем, и я пойду.

— Да, конечно.

— Расскажи, как у вас?

— Все по-старому. Живу на даче, купаюсь, — ответил он.

— А мы сегодня в Судаке плавали. Там такая крепость генуэзская, прям настоящее Средневековье. Камни такие большие, древние. У них там невольничий рынок был, представляешь? Там фестиваль был. Рыцари в железных доспехах, на конях, а девушки в таких высоких головных уборах. Платья пышные, корабли на голове. Все так натурально…

— Здорово, — сказал Том.

— Я вижу, что тебе не интересно.

— Расскажи лучше о себе.

— А что рассказывать? — она пожала плечами.

— Ну, не знаю. Какую музыку ты слушаешь? — ему вдруг захотелось, чтобы набережная, по которой они медленно шли к Карадагу, заканчивалась где-то там, за горами. Там, откуда Грин ходил к Волошину.

— «Воскресение», «Аквариум». «Адо» слышал? Очень нравится.

— Хиппуешь? — Том повторил слово так, как его выговорила ее мама.

Она пожала плечами.

— Честно говоря, я, наверное, меломан. Я классику люблю. Чайковского, Шостаковича, например. Иногда мне что-то нравится из тяжелой музыки, а что-то не нравится из БГ.

— А в Москве гопников много?

— Есть, но меньше, чем у вас. — Она сказала это «вас» так естественно, будто оборвала какую-то важную нить с его прошлым. — Вообще, Москва удивительный город. Славик говорит, что в Москве можно, например, всю жизнь прожить, и ни разу не получить по морде.

— Славик?

— Мой парень.

«Конечно, на что я надеялся? Такая девушка без парня не останется». — Том вздохнул.

— Серьезный человек, наверное.

— На Маяковке дворником работает.

— Твой парень — дворник? Не ожидал.

— Ты не врубаешься. В Москве сейчас модно быть дворником. Или кочегаром. Вроде бы как ближе к простому народу, и в то же время не смену у станка. Есть какая-то свобода. Ну так вот. Сидит он во дворе как-то вечером, с напарником. А тут в арку входит целая банда, человек десять. Подошли к ним, пальцами похрустывают.

— Вы кто будете, пацаны?

А Славик и говорит:

— Мы дворники! Мы за всем этим городом следим, срань человеческую каждый день убираем. Мы против грязи и боремся за чистоту нашего города, самого прекрасного города на земле. Нас на Москве — десятки тысяч. Может даже — миллион! А поскольку дерьма в жизни много, то наши пацаны в каждом дворе за чистоту стоят.

Тут один и говорит:

— Слышь, ну вот скажи мне: а если урны нет, куда бычок кидать?

— Если урны нет, то на асфальт, конечно. Но не

забудь сказать: «Да простят меня дворники!»

Так они за руку по очереди попрощались, а вдобавок сказали, что дворников всегда уважали, и что если кто обидит, чтобы сразу им сказать.

— Смешные у вас гопники. Интеллигентные, — усмехнулся Том. — Поговорить любят, послушать. За добро чувствуют. А у нас вначале бьют, а потом спрашивают, откуда… А можно, я тебя за руку возьму?

— Возьми. А где ты живешь?

— А во-он там, в лесочке, — Том кивнул в сторону Зеленки.

— В палатке? Романтика!

— Ага. Только палатки нет. Шторой накрылся, и будь здоров.

— Даешь! — она засмеялась своим неповторимым хрустальным смехом.

У самой горы дорожка кончилась. На самом дальнем пляже никого не было, шум городка почти не долетал сюда.

— Может, тут посидим? — спросил он.

— А давай вон там, на волнорезе. Только недолго.

Они прошли к морю по длинному бетонному выступу, сели рядом, свесив ноги вниз. Том глянул на противоположный край бухты. Там,

за нестройной рябью прибрежных огоньков, чернело пятно Зеленки. В самом его центре еле заметно мерцал далекий огонек костра. «Монгол начеку», — подумал он и почему-то улыбнулся.

Они смотрели туда, где едва темнела едва приметная линия горизонта, и молчали.

Легким ветерком бежала по берегу босоногая южная ночь. Из-за моря осторожно выглянула оранжево-красная долька луны. Неслышными медленными волнами катилось к берегу море, будто кто-то незримый, там, далеко за горизонтом, тихо взбивал черный шелк огромного покрывала.

— Расскажи что-нибудь, — попросила она.

— У нас все по-старому, — односложно повторил он.

— Какой-то ты неразговорчивый.

— Мне хорошо с тобой молчать. Хорошо, когда ты рядом. Ничего больше не нужно. Жаль, что ты уже уезжаешь.

— А мы еле билеты сюда взяли, — она сменила тему. — На Киевском толкотня, а обратных вообще не было.

— У нас тоже не было. Мы с Монголом зайцами приехали.

— Крутые вы. Наверное, интересно было?

— По-разному. На одной станции случай был. Мы в тамбуре стоим, дверь наружу открыта. А на другой колее стоит состав из Крыма, в тамбуре тоже люди стоят. Мы смотрим друг на друга: кто же первый тронется? Такое прям негласное соревнование. И вот они трогаются первыми, проезжают мимо нас, и вдруг, как по команде, начинают радостно махать нам руками. Мол, эге-гей, счастливо, прощайте, незнакомые случайные люди! Мы тоже машем, улыбаемся, что-то орем. И вдруг их состав метра через два снова останавливается. Мы стоим и снова смотрим друг на друга, но теперь уже как полные идиоты. И чего мы так махали друг другу? Смешно, правда?

— Это потому что невозможно общаться с человеком, с которым уже попрощался, — сказала она.

— А я с тобой не прощался, — ответил он.

— Расскажи еще что-нибудь. — Она отвернулась, посмотрела куда-то в небо.

— О чем?

— Не знаю.

— Вон, видишь, над морем три звезды в ряд? — показал он. — Это Пояс Ориона. Если Орион появился, — все, пиши пропало: скоро зима. А во-он та маленькая красная звезда слева, чуть

выше пояса — это красный гигант, Бетельгейзе. Диаметром она — с орбиту Юпитера. Ты только представь себе: Солнце, Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, — Том нарисовал в воздухе несколько кругов. — Такая вот дура летает. Ее точный диаметр неизвестен, потому что плотность ее газов плавно увеличивается к ядру. То есть не ясно, где наступает твердая поверхность. Она просто медленно сгущается к центру. А еще она меняет цвет. Мы ее видим красной. Древние китайцы называли ее белой звездой, а римляне уже желтой. А самое удивительное, что в ней, как и в любой звезде, есть все материалы, из которых создано наше тело.

— Откуда ты все это знаешь?

— Папка рассказывал.

— Клевый у тебя папка, — вздохнула она.

— Да. Если бы не пил, — был бы вообще золотой.

Они снова помолчали.

«Вот бы вечность так. Сидеть, болтая о каких-то пустяках, о закономерностях жизни, — думал Том. — Не разговор, а вежливый танец».

— А ты стала еще лучше. Москва тебя не испортила.

— А сильно заметно, что я из Москвы?

— Ну да, — замялся Том. — Акцент.

— Не акцент, а говор.

— Какая разница? Все равно… Скоро Россия развалится.

— У нас там тоже все этого боятся. Иногда мне кажется, что Москва в России — это маленький домик посреди бездны. Живет в нем человек, тихо так живет. Но эта бездна его беспокоит. Что-то доносится оттуда. Какие-то слухи, звуки, тревоги. И вот он выходит однажды из дома, и кричит:

— Эге-гей!

А ему в ответ из бездны:

— Эге-ге-гей!

«Все хорошо!» — думает он, успокаивается, заходит в дом. А потом вдруг: а может быть, это просто эхо? И опять тревожится. Я люблю Москву. Москва — это такой город… Ты там всегда свой, откуда бы ни приехал. Какой-то до странности родной, будто родился здесь, жил всю жизнь. Там осталось все, как в детстве. Не знаю, как это объяснить.

— А гигантские крысы у вас в метро живут?

— Вранье.

— Жаль. А я верил. Но все равно москвичей никто не любит.

— А почему не любят?

— По-разному. Одни наверняка завидуют. Другие снисходительно жалеют. Мол, живут они там в тепличных условиях, хорошо устроились, жизни не нюхали, на заводах не вкалывали. Инфантилы и пройдохи. А еще капиталисты, которые угнетают всю страну.

— Но ведь Москва разная, — немного обиженно сказала она. — Там каждой твари по паре, миллионы людей, почти все приезжие. Ломятся в нее, как на буфет. Ну и ведут там себя примерно так же. Показывают, какие они раскомплексованные, хотя за версту видно, что за их беспомощным выпендрежем скрывается желание прикрыть свой комплекс провинциала. А настоящие москвичи — народ скромный, вежливый. Им хвастаться ни к чему. Но, в отличие от провинциалов, в них нет наглости и пофигизма. Они всегда выручат, если могут помочь, — обязательно помогут. По крайней мере искренне посочувствуют. Разве они виноваты в том, что родились в столице?

— Логично. А вот у нас в городе с пофигизмом все в порядке. Это зло, наверное одно из самых страшных. Сплошная мещанская тупость и серость. А еще в город из сел народ прет, со своими кугутскими повадками.

— Да, город ваш красивый, но люди злые ка-

кие-то, — с грустью проговорила Света, подперев кулачком лицо. — Все вечно дерутся, выделываются друг перед другом. Ну и стыда совсем нет. У кого юбка короче — та и королева бала.

— В Москве не так? — удивился Том.

— Не так. Вернее, — по-разному. Просто не все одинаковые.

— А у нас тут во всем стадный инстинкт. Если один купил ботинки-зубила, то скоро все будут в таких ботинках.

— Точно! А, главное, — другие ботинки в магазины и не завезут, это же не модно! Их ведь просто никто не купит, — засмеялась Света. — Если кто сиреневую кофточку купит, — через неделю все девчонки в сиреневом! И совсем этого не видят, думают что страшные модницы! Смешно так.

— Кофточки — это еще не страшно. У нас когда-то на колли мода была. Весь город с собаками ходил. А через год мода прошла, и по улицам бегали стаи бродячих колли. Грязные такие, в репейниках. А, ну его. Расскажи мне про Москву.

— Про Москву… — она усмехнулась. — Как-то гуляли с бабушкой по местам, где Высоцкий жил. Там переулки такие: Большой Каретный, Малый, Средний. А бабушка у меня такая интеллигентная. Громко так, на всю улицу, говорит:

— Светочка, ты по Большому пойти хочешь, или по Малому?

— Смешная у тебя Москва.

— У меня Москва разная.

Она откинула назад волосы, положила под голову свою сумку, легла, уставившись в небо.

— В детстве одна была. Строгая, интеллигентная, как моя бабушка. Как ВДНХ. А сейчас болеет. Смотрит настороженно своими резными фасадами, ничего хорошего не ждет от времени. По вечерам таращится лупоглазыми изваяниями на могильные рекламные огни. А утром смотришь — бодрятся дома-вояки, старые гусары, невыбитые зубы древней Москвы. Морщатся от приклеившихся парусиновых палаток, от бородавок-кондиционеров. Смотрят, как закатывают в асфальт память, как течет новое время по луженым широким проспектам. Как новые люди наполняют ее, словно лес дровосеки… На Красной площади голуби выше звезд, а люди — такие крохотные, как букашки. На Тверской люди — как старинные картины. Ходят под руку с гордостью, кланяются своим отражениям в витринах. На Таганке — всегда суматошные, бегут куда-то, ловят руками счастье. То догнать не могут, то пробегают его навылет. А кому оно потом нужно,

счастье навылет?.. На Красной Пресне — всегда красным-красно. Иногда от флагов, иногда от крови. На Лубянке — ветер и люди с холодными глазами. На Патриарших — по-прежнему черные коты, революционные матросы и недобитая белогвардейщина. Сидят на скамейках, играют в шахматы, плюют в воду. В воде шипит прошлое, бурлит, не остывая. Везде вавилонский гомон. И только в Тихом тупике всегда тихо.

— А я по-прежнему живу на улице Вечно Золотой Осени, — сказал Том.

— Что, прям так и называется?

— Ага. 50 лет Октября.

Над черной мглой моря уже высоко поднялся серебряный леденец луны. Подул ветер, донес из поселка звуки музыки. Тихо курлыкало, шлепалось под ногами море, вдали, тая в теплой тьме, зазывал огоньками недостижимый лайнер.

— Ну вот, опять ты молчишь…

— Это только с тобой.

— Спасибо.

— Мне кажется, что когда-то, когда у людей еще не было языка, тишина была совсем другой. У тишины самый совершенный звук, как у воды вкус. В нем все сказано, и нет ничего лишнего.

— Расскажи еще что-нибудь.

— Что именно?

— О звездах.

— О звездах… Пояс Ориона. Те три звездочки, что я тебе показывал. Если провести по ним линию, то мы упремся вон в ту звезду, Альдебаран. Это тоже гигант, как и Бетельгейзе. К нему летит спутник Пионер-10. Представляешь, он прилетит на Альдебаран через два миллиона лет.

— Это грустная история. Мы уже умрем.

— А может, заново родимся. Где-нибудь на другой планете.

— А ведь если мы родимся не на земле, то станем инопланетянами, — засмеялась она. — Ты веришь в инопланетян?

— Конечно. Иногда мне самому кажется, что я инопланетянин. Будто какая-то пелена спадает с глаз. Только интересно, зачем человек их ищет? Наверное потому, что когда-то потерял себя. Знаешь, в детстве я страшно хотел полететь в космос. А вот теперь думаю, что делать там нечего. Сплошная пустота и радиация. А дома… Мы все хотим сбежать из дома, куда угодно. В космос, в Крым. Все человечество хочет сбежать от себя, потому что тут все проблемы, внутри.

Ему очень хотелось прижаться к ней, обнять, поцеловать ее в щеку, в губы, но…

— А вот этот друг твой, Славик. У вас с ним все серьезно?

— Тебе правда интересно? — Она поднялась, посмотрела куда-то в горизонт.

— Конечно.

— Ухаживает. Замуж предлагает.

— А ты?

— А я еще не решила. Он совсем другой. Серьезный, взрослый совсем…

— Ты с ним целовалась?

— А ты язва. Ладно, ты лучше о себе расскажи, а то все я да я. А что вы играете?

— Панк играем. Монгол у нас на барабанах, я на соло.

— Па-анк… А ты знаешь, что у панка нет будущего?

— Конечно, — засмеялся Том. — No future for you, как пел Sex Pistols. Или, как там у еще… No fun, no way, no fun.

— Нет, я не об этом. Панк — как движение. Хиппари могут жить, тяжеляк всякий. Рэперы, попса, кто угодно. А панк в чистом виде быть не может.

— Это почему же? Мы есть. Куча групп есть. И до нас были, и после будут.

— Это не движение. Это просто стихийное сборище индивидуалов. Смотри сам. Панк основан

на анархизме, так? Но если ты принадлежишь к какому-то движению, то теряешь личность, приносишь свою свободу на алтарь ради чего-то общего. Так?

— Вроде да.

— Ну вот и все. Анархизм — это личность. А если ты жертвуешь личностью ради движения, анархизма уже как бы и нет. Это противоречие неразрешимо. Поэтому простая совокупность анархистов будет всегда слабее любого другого движения, которое готово жертвовать частным ради общего. Анархизм — это всегда броуновское движение.

— Тогда я вступлю в броуновское движение! — засмеялся Том. — Но вообще это не твои слова. Они слишком…

— Умные?

— Серьезные.

— Это мне Славик рассказывал. — Она бросила в воду камушек.

— Какой у тебя Славик всезнающий.

— Такой… Ух ты, смотри! Смотри!

— Что там?

— Да смотри же! — Она нашла еще камень, снова бросила его в воду. Камень хлюпнул брызгами, оставив за собой уходящий в глубину длинный

зеленоватый след.

— Еще не понял? Отвернись. — Она сбросила с себя платье, разделась донага, свела над головой руки, и, разбежавшись, красиво прыгнула в воду. И вдруг — вся засияла зеленым светом.

— Гляди! Такое редко бывает! — крикнула она, проводя рукой по воде. — Я читала о таком. Планктон светится только тогда, когда море тихое.

За ее рукой бежала светящаяся зеленая полоска. Том нащупал камень, тоже бросил в воду. Море вспыхнуло фосфоресцирующей вспышкой.

— Ну что? Прыгнешь? — Она повернулась, и, вытянув руки над головой, сделала несколько красивых сильных взмахов, а потом нырнула.

Том увидел, как две фосфоресцирующие дуги, то разгораясь, то исчезая, уходят все ниже, под воду и растворяются в глубине.

— Ну как? — вынырнув в светящемся ореоле, спросила она.

— Я думал, ты сгоришь! — сказал он.

— Ну так что?

«Вот оно все рядом, и ночь, и море, и любимая девушка. Но почему же я, дундук, сижу здесь?» — обожгла голову мысль.

Он разделся, пробежал по волнорезу и прыгнул в воду вперед ногами. Вода хлюпнула под ним,

разлетевшись тысячами ярко-зеленых звездочек.

— Ух ты! Здорово!

Они долго держались рядом, у волнореза.

Светка смеялась, говорила что-то про поселок, про детство. На ее ушах поблескивали, как бриллианты, две капельки. Том любовался ею. Чтобы держаться на поверхности, она помогала себе руками, и от этого движения зеленый неровный огонь освещал ее грудь.

— В твоих глазах озера. В душе моей… — Он вдруг притянул ее к себе.

— Ты что! — прошептала она, отталкивая его, но как-то не сильно, не уверенно, не до конца.

— Не надо, Егор…

Он снова прижал ее, и подняв слегка на руках, поцеловал в маленький твердый сосок. Ее глаза расширились, руки беспрестанно шарили по его спине, вроде бы отталкивая его, но в то же время как будто и не отпуская, пока вдруг бездвижно и уверенно легли на плечах. Она запрокинула голову, как-то внутренне отстранилась. Сглотнула, закрыла глаза. Он запутался лицом в ее мокрых, пахнущих забытой яблоней волосах. Сердце колотилось так сильно, что он ничего не слышал, звуки превратились в один удар молота в висках. Он выплевывал ее волосы, руки неловко шарили

по телу, она шептала:

— Не надо…

Он прижал ее к волнорезу, и целовал, целовал, как найденное сокровище, как хрупкую драгоценную вещь, боясь сломать ее, боясь передавить, обидеть.

— Не надо, — тихо повторяла она то как пойманная мышка, то как дикая кошка, и это неопределенное слово мешало ему сильнее, чем узел привязанной к волнорезу веревки, это слово было хуже, чем «да» или «нет». Он хотел подвинуться чуть ближе, но вдруг оступился, не устоял, и съехал вниз, по мокрому скользкому мху волнореза, в воду.

Когда он вынырнул на поверхность, она заливисто хохотала.

— Не справился! — Легко взобравшись по веревке на теплый бетон волнореза, она достала из сумки платок, вытерлась наспех.

— Господи, какая ты красивая! — Он смотрел на нее снизу.

— Ты извини, мне пора. Мама наверное волнуется.

Он выбрался из моря, подошел к ней сзади. Обнял ее, поцеловал.

— Прости, что я…

— Ничего. Хорошо, что так вышло.

— Почему?

— Только боль причинять. Мы же в разных мирах живем.

— Возвращайся.

— Куда? В ваш Задрипанск? Уж лучше вы к нам.

— А ты меня будешь ждать?

— Егор, ты серьезно? — Она повернулась к нему, ее глаза заблестели. — Я столько раз слышала слова, за которыми ничего не было. Ну как ты приедешь? В гости? Что ты умеешь? Кем будешь работать? На рынке торговать? Там же другая жизнь. Там все вкалывают.

— Кем-нибудь устроюсь. Дворником, например.

— Чтобы работать в Москве дворником, нужно иметь родителей-москвичей. Чтобы квартира была. Иначе ноги протянешь.

— Тебя быт заел? Или ты просто не хочешь, чтобы я…

— Если честно, я боюсь.

— Раньше мы ничего не боялись…

Она вздохнула.

— Я хотел извиниться перед тобой, — продолжил он. — За те слова, про твоего… Папу. Я не

знал, что так выйдет.

— Не в этом дело. Он тогда просто сорвался… Но, понимаешь, женщина чувствует по-другому. Ей нужен мужчина, а не набор талантов, умник или гитарист. С тобой хорошо, но… Твоя любовь пахнет полынью. От нее веет одновременно и ветром свободы, и горечью. А ведь весь мир — он же только для двоих. Любовь — она же вмещает все, больше просто ничего не нужно. Ничего и никого. Двое — это весь мир. Разве ты не помнишь, как я тебя ждала, когда ты уходил с друзьями? Тебе нравилось, что у тебя есть девушка. А когда она надоедает, можно уйти к друзьям. А что она чувствует, ты не думал?

— Значит, списан со счетов? Не годен к строевой, и в разведку ты со мной не пойдешь? — Том старался, чтобы его голос звучал как можно бодрее.

— В разведку? В разведку пошла бы. А жить… Жить — это куда сложнее.

— Я изменился. Я многое понял.

— Когда человек меняется, то он становится другим, и это видно сразу. Это чувствуешь.

— Зачем тебе другой? Что мне потом делать с самим собой, если я стану другим?

— Егор, я тебе о смысле, а ты о словах.

— Наверное, ты права. — Том тяжело вздохнул. Помолчал, пусто посмотрел в воду. — Мы разные, но мне тебя… Я сейчас на даче живу. Когда хожу купаться, то вижу ваш дом. Он совсем заброшен.

— Мы так и не нашли покупателя. Ни у кого нет денег. А вообще, это единственное место, по которому я скучаю. Эх, ладно, мне пора. Спасибо за теплый вечер!

— Я тебя провожу.

— Пошли. Я в санатории живу.

Они поднялись с пляжа на дорогу и медленно пошли вдоль моря. Набережная встретила их шумом, смехом, музыкой. Том вдруг понял, что это их последняя дорога, в один конец. Что, видимо, больше они никогда не увидятся. Он старался идти как можно медленнее, ненавидя время, чувствуя себя лишним, кровавым лоскутом, наскоро пришитым кем-то жестоким к чужой жизни, ненавидя свою беспомощность, и не в силах ничего изменить. Набережная истекала, как песок в часах, таяла как неверный снег, и, наконец, иссякла. Светка остановилась у ворот. Охранник в будке мирно посапывал.

— Ну, вот мы и пришли.

— Может, свой адрес чиркнешь? — спросил он.

— Зачем? Не усложняй все. Если не суждено

— то не суждено. А если суждено, то и в третий раз свидимся. — Она улыбнулась, пошла к себе, как вдруг, неожиданно повернувшись, обняла его за шею, и крепко поцеловала…

Он как стоял навытяжку, так и остался стоять, и только потом поднял руки, обнял ее, закрыл глаза, прикоснулся к ее мокрым от слез щекам…

— Пока, — сказала она, и, не оглядываясь, поспешила по аллее к белому корпусу санатория.

— Я буду ждать тебя. Хоть два миллиона лет! — крикнул он вслед, прислушиваясь к своему натужно веселому голосу. Постоял, оглянулся вокруг, плохо понимая, где он, и куда ему идти в этом потускневшем мире. Брести ли назад, на Зеленку, чтобы забыться сном, или тянуть до утра этот странный вечер, вспоминая ее затихающий в прошлом голос, ее смех, ее запах. Или надраться в стельку, чтобы не оставаться один на один с самим собой, пустым и одиноким, как нежилой дом.

— То ли сон, то ли явь. Будто не со мной все было. — Он еще раз оглянулся и медленно пошел на звук гитары.

Неподалеку от санатория тесной кучкой сидела компания волосатых. Он стал рядом.

— Эй, братишка, это не ты сегодня на Пятаке

играл? — спросил кто-то.

— Вот она, слава, — сказал Том и непроизвольно улыбнулся.

— Я Кот, из Донецка. Мы только что приехали, а где тут вписываться, — не в теме.

— На Зеленке все стоят. — Том безучастно махнул рукой на восток.

— А туда далеко?

— Пару батлов.

— Значит, недолго, — Кот засмеялся. — На, хлебни.

Он передал ему бутылку портвейна.

— Сыграешь?

Том взял гитару, и вдруг вспомнил свежую песню Дрима, которая вдруг оказалась так к месту.

Мне бы солнце в ладонь, а ветер в карман, —

Был бы молод и счастлив, и горя не знал.

Мне бы спутницу в дорогу и знаний мешок, —

Был бы мудрым и беспечным, и с песнями шел.

Припев

Оторви листок календаря,

Если этот день прожит тобою не зря.

Если ты день проспал, то не трогай листок.

Оторвешь его позже, ведь тебе все равно.

Я бы в свой чемодан положил немного звезд,

Положил пыль дорог и чуть-чуть облаков.

И удача бы мне улыбалась в пути,

Я бы слушал пенье птиц и нюхал цветы.

Бодрым шагом вперед за своею судьбой

Я пойду на край земли, и тебя возьму с собой.

Чтоб ты мне плела венки, и любила в ответ.

Только жаль, что пока такой спутницы нет.

Он сыграл еще пару песен, а затем сам стал в кругу среди слушателей, по инерции посматривая туда, где тусклый фонарь освещал вход в

ворота санатория. Там было пусто. Кто-то, забив, пустил по кругу косяк. Атмосфера налилась, стала гуще, осязаемее. Он словно сидел в небольшой комнате, стенами которой были все эти люди, такие добрые, открытые, такие милые, словно цветы, выдернутые из асфальтового мира. Счастливые, честные, исполненные смысла. Они стали камнями очага любви. Они стали сильнее гор и поднялись выше деревьев. Светлые боги, пришедшие изменить мир. Время уносило их голоса в море, мир забывал их, стирал из реальности, но они жили вопреки всему, они победителями уходили в прошлое, впечатывались в нем, как в янтарь, навеки… Только в душе его по-прежнему завывал холодный ветер.

— Слышь! Тебя там кто-то зовет, — Кот кивнул ему в сторону набережной. Там, в тени у санаторного забора виднелся чей-то невысокий силуэт.

— Светка! — прошептал Том, и поспешил к фигуре. Но под забором стояла не Светка, а совершенно незнакомый пацан.

— Пошли, — радушно улыбаясь, кивнул тот, почесав короткий ежик волос.

— Куда? — недоуменно спросил Том.

— Да не боись, — проговорил незнакомец, подмигнув как старому другу, и легонько хлопнул

его по плечу.

— Ты от Светы?

— Ага! — сказал тот, и они пошли в сторону ворот.

У ворот никого не было, лишь охранник по-прежнему спал, свесившись со стула.

— Где она? — спросил Том.

Пацан приложил палец к губам и заговорщицки кивнул Тому.

«Она меня ждет там!» — Том кивнул и быстро прошмыгнул мимо охранника. Пацан последовал за ним.

Они быстро прошли по дорожке у здания санатория, свернули налево. За высоким железным забором виднелась боковая аллея поселка, ведущая от пляжа. Она была хорошо освещена, по ней еще прогуливались поздние парочки. Еще раз свернув налево, они оказались на небольшом пятачке газона, окруженного забором высокого стриженого кустарника. Том не успел моргнуть, как из кустов показались несколько человек.

Пятеро стали в ряд, за спиной, отрезав выход. Еще трое окружили его с трех сторон.

«Похоже, влип», — подумал Том, все еще надеясь на то, что это какое-то недоразумение, чья-то нелепая шутка. «Вот я дебил. Да какая там Свет-

ка?!» — запоздало мелькнуло в голове.

— Ложись на землю, — сказал кто-то.

— Не-а. — Том, нелепо улыбаясь, смотрел по сторонам. «Забор, двухметровый, с пиками. Перемахнуть не успею, — стащат. За кустами — глухой угол из того же забора. Не вырваться. Одно радует, что ценят: пять человек на выходе».

Том затравленно посмотрел сквозь забор: там, за решеткой, метрах в семи от него текла неспешная курортная жизнь. Неподалеку снова заиграла гитара. Совсем рядом, держа друг друга под руку, прошли парень с девушкой. Глянули в их сторону, на парней, встретились с ним взглядом, спешно отвели глаза.

Том оглядел троих. Это были спортивные, крепкие ребята. На гопников они походили мало. В них не было присущей им развязной уголовной наглости. Это были какие-то спортсмены.

— Ложись на землю! — нетерпеливо повторили ему.

— Зачем? — чтобы выиграть время, Том включил дурака. — А что случилось?

Он мучительно искал выход. Он совсем расслабился в этом заповедном краю, забыл о том, что накануне случилось с Монголом. И его так красиво развели на ровном месте. Эх, будь Монгол

рядом, — он бы обязательно что-нибудь придумал.

— Ложись на землю! — уже совсем другим тоном прорычали ему. — Или помочь?

— Да не, пацаны, не лягу, — вдруг сказал Том, глупо улыбаясь и беспомощно разводя руками.

Сильный удар ногой в живот согнул его пополам. Удар был неожиданным, сбоку, от третьего, которого Том на миг потерял из виду. Другой удар, скорее, тычок пришелся в спину, и Том плюхнулся лицом в густую газонную траву. «Надо же, мягкая какая. Никто по ней не ходит, поливают, видимо», — не к месту пришла идиотская мысль.

Кто-то сзади сел ему на ноги, второй устроился на плечах, а третий зашел с головы.

«Что же им, гадам, надо? Извращенцы? Вряд ли. Пытать будут? Задушат?»

— Отпустите, уроды! — Том отчаянно задергался, как выброшенная на берег рыба. Смерть несколько раз подходила к нему не вовремя, но сегодня был тот редкий день, когда где-то в глубине души он был согласен умереть. В конце концов, героическая смерть украшает любого человека.

Его вдавили лицом в траву, схватили за волосы.

— Как же вы достали, уроды волосатые, — беззлобно и по-хозяйски деловито проговорил кто-то сверху. Том повернул голову, и увидел краем глаза, как падают в траву прядь за прядью его длинные космы.

«Они постричь меня решили! — вдруг осознал он. — Эти идиоты решили меня подстричь?!»

Это открытие почему-то не произвело никакого впечатления, скорее — наоборот, на него вновь накатило уже знакомое ему чувство отчуждения.

Разве это может иметь какое-то значение после *всего, что произошло с ним*? Раза три он чуть не погиб в горах, а вчера его укусила какая-то дрянь, и он снова остался жив. Спасаясь от расправы, он проехал тысячу километров, чтобы здесь, в этом небольшом поселке случайно встретить свою единственную, свою любовь, свое счастье, которое вновь ускользнуло от него! Сегодня он навсегда расстался с девушкой, в которую был влюблен без памяти, и которую случайно, будто на прощание, встретил, и — потерял! Это было всерьез, глубоко, и *по-настоящему*. Это имело смысл на любых весах его короткой и такой пестрой жизни. Но в чем смысл того, что происходило с ним сейчас, в этих кустах? Восемь

здоровых дебилов ненавидят непохожих на них, и поэтому стригут его волосы. Или они — всего лишь слуги, посланники далеких смыслов, они приносят странную жертву его прошлому. Где-то рядом, может быть, за ближайшей белой стеной, укрывшись одеялом, уже спит Светка. А в черном-пречерном небе, навсегда попрощавшись с этой безумной планетой, уходит в бездонную вечность спутник «Пионер»!

— А, стрижка? — он вдруг затрясся от хохота. — Стригите меня, пацаны! Покороче стригите! У меня на парикмахера денег нет, я давно вас искал!

От смеха у него свело живот, по лицу потекли слезы, но каким-то десятым чувством Том уловил, что попал в точку. Пацаны враз замолчали, и лишь тот, что стриг, с упорством и сопением продолжал свое дело. Но Том уже обломал им кайф победы, ускользая из роли жертвы в роль клиента цирюльни. Он сам не знал, как это получилось. Его свалявшиеся от соли густые волосы поддавались плохо; ножницы то и дело пережимали их, не срезая, но Тому на миг показалось, что стригущий *теперь* старался не поранить его, и уж точно не давил с такой силой на шею.

— Они меня так достали, что не знал, куда и

деться! — орал Том, отплевываясь от травы. — А тут вы! Спасибо, пацаны, помогли! Санитары космоса! Парикмахеры вселенной!

— Готов! — Пацан, наконец, слез с шеи, спрятал ножницы.

— Спасибо, пацаны! Телефончик оставьте.

— Э, да он, похоже, выеживается! — один из спортсменов пнул Тома ногой в лицо, но как-то не всерьез.

Том закрыл глаза. Пацаны ушли. Стало совсем тихо, лишь с набережной под бодрый мажор гитары доносилось хоровое:

— *Ой-е! Ой-е! Ой-е! Никто не услышит!*

Он поднял голову, огляделся. Встал, еще не веря, что цел. Рядом никого не было. Ему казалось, что все вокруг ненастоящее, что он во сне. Рядом, на траве, лежали длинные космы его волос. Он бережно собрал их в пучок, ощупал похолодевшую голову.

Наконец он вышел на набережную, посмотрел по сторонам. На востоке уже светлело небо. Гоп-компании нигде не было. Его знакомая компания по-прежнему пела песни.

Том бросился к волосатым.

— Пацаны!

Те посмотрели на него, как на зачумленного.

— Чувак, какие проблемы? — невежливо спросил его Кот.

— Пацаны, да вы что?! Кот! А, я понял… — Том схватился за голову. — Вы меня не узнали! Это я! Я тут играл, десять минут назад! Меня только что подстригли. Вот мои волосы!

— А мы при чем? — Люди пожимали плечами, отворачивались и продолжали играть, стараясь не встречаться с ним глазами, словно удаляя досадную помеху из своего уютного и гармоничного мира.

— Ясно, господа неформалы. Волос нет, — любить не за что. Зато я узнал себе цену. Неплохая плата за сегодняшний день. — Том невесело усмехнулся, глядя на светлеющий морской горизонт цвета запекшейся крови. — Вы следующие, придурки.

И побрел в сторону Зеленки. Набережная была пуста, не считая двух-трех тел, лежавших на скамейках. Он шел, поглаживая свою непривычно маленькую голову. Заметив в переулке машину, подошел посмотреть на себя в зеркало. Голова была цела, совсем без ссадин, челка срезана. Если учесть ситуацию, то его, в общем, неплохо подстригли.

У конца набережной он свернул к морю, заша-

гал по гальке, и вдруг наткнулся на полнехонькую бутылку водки. Вокруг не было ни души. Кто-то открыл бутылку, выбросив алюминиевую пробку-бескозырку, и, видимо, забыл в темноте.

— Лекарство пострадавшему на рок-н-ролльном фронте! Эх, даже выпить не с кем, — он сел по-турецки рядом с бутылкой, вздохнул, сделал несколько глотков из горла.

— Да, не спирт.

И вдруг, будто откуда-то сбоку, услышал свой собственный голос:

Как на вольный берег, на широкий Терек
Ехали казаки сорок тысяч лошадей,
И покрылся берег, и покрылся Терек
Сотнями порубанных, пострелянных людей!

Он встал, пошатываясь, с волосами в одной руке и бутылкой в другой, и зашагал по кромке прибоя к их зеленому холму. Ему было немного горько, но на дне этой горечи лежало, словно зарывшаяся в ил камбала, глубокое и непонятное чувство успокоения. Рядом с ним шли невидимые, но осязаемые Ванька, Батон, Покос, Славик, Леха, Мил, Диныч, и все-все его друзья, которые уже ушли из жизни. Сквозь галечный хруст Том

отчетливо слышал их вечные пацанские голоса.

Любо, братцы, любо!
Любо, братцы, жить.
С нашим атаманом
Не приходится тужить!

— Спасибо, пацаны… — он расчувствовался, перешел на прозу. — Спасибо. Говорят, что мертвые не предадут. А вы… Вы, пацаны, и живыми не предавали. Вы были и есть навечно. Будем.

Он хлебнул водки, плеснул немного на землю, и, повернувшись к морю, вдруг заорал протяжно и тоскливо:

— А-ааааааааааааа! А-ааааааааааааааааааа-ааа-ааа!

И — будто выплюнул из глубины нутра тяжелый саднящий ком. Постоял минуту, послушав тихую волну, и побрел дальше.

У самого края Зеленки его встретил Монгол.

— Ты жив? Все нормально? — спросил он, недоверчиво всматриваясь в друга. — А я не пойму, по звуку вроде ты, а по виду — нет!

— На, хлебни. — Том протянул бутылку, и, потирая голову, рассказал, что произошло.

— Ты везучий, — сказал Монгол. — А Глюка с Кубой неслабо отрихтовали, и тоже постригли.

Ногами по башке, у обоих сотрясения. Глюк — реальный Квазимода. А Кубу я не видел: его на «скорой» забрали, в Феодосию.

— Аня тут?

— Нет. Похоже, свалила. Глюк говорит, что Куба весь лоб рассек. Вот так. — Монгол провел пальцем себе по голове: — Лоскут кожи висит, кровища хлещет, а эти уроды заломали ему руки, и стригут.

— Похоже, и вправду повезло, — усмехнулся Том.

Глюк лежал под деревом, укрытый одеялом, и, с трудом приподняв голову, вяло поздоровался. Его лицо опухло, превратилось в сплошную гематому, глаза ввалились. Постригли его куда ужаснее, чем Тома. Голова его местами была в лишаях, порезах и засохшей крови.

Монгол отхлебнул из бутылки.

— Где это ты разжился?

— Добрые люди оставили. Глюк, ты будешь?

— Да-вай, — из темени послышался отстраненный голос.

— Ну что, поздравляю тебя с днем Харькова! С обновочкой нас! — Том протянул ему бутылку, провел по голове рукой и засмеялся.

Той же ночью ему приснился сон. Ему было

лет восемь. Он стоял на опустевшей платформе, глядя из-под руки туда, где исчезал вагон последней электрички. Он кого-то встречал, — кажется, отца, но тот почему-то не приехал. Над головой пронеслась стая стрижей, вильнула к неширокой извилистой реке. Тут же, на платформе под табличкой «Гуляй-Лето», деловито курлыкали голуби. Он порылся в карманах длинной холщовой рубахи, надеясь найти в них хоть пару семечек, но там были лишь несколько мелких советских монет. Вздохнув, он спустился с платформы и босо пошлепал по тропе через лесок. Там, в овраге, где бежал к реке звонкий ручеек, пил воду его рыжий конь.

— Хватит, Рубин, простудишься. — Хлопнув коня по крупу, Егор ухватился за подпругу, вставил ногу в стремя, ловко запрыгнул в седло.

— Но, пошел, домой пора! — слегка стегнул поводом по шее.

Конь всхрапнул, попятился, легко вынес его на невысокий песчаный бережок. Заржал испуганно, и, тряхнув жесткой розоватой гривой, рванул к дому.

Краем глаза Егор увидел, как из ближайшего дымчато-синего перелеска серой молнией несется наперерез огромный волк. И хотя он был еще

далеко, Егор почувствовал, как от ужаса зашевелились на голове волосы.

— Давай! Давай! — он пришпорил коня, слился с ним в единое целое.

Конь быстро пролетел луг и выскочил на старую мощеную дорогу. Ее давным-давно построили монахи, и вела она к заброшенному монастырю, который то и дело маячил на горизонте безгласой разрушенной колокольней. Егору нужно было добраться до развилки, а затем повернуть вправо, — к селу, где жили его дед и бабушка.

Он оглянулся. Осторожно свесившись, глянул вниз, — туда, где высекали из камней желтые искры конские копыта. Ни слева, ни справа никого не было.

«Нет? Привиделось? Мало что бывает?»

Но вот конь захрипел, закатывая глаза и отводя голову в сторону, затем шарахнулся к другой обочине. Егор — нет, не понял, скорее почувствовал, что волк все это время был где-то сзади, оценивая жертву, решая что-то в своей лихой волчьей голове. Так и есть. Теперь он бежал, не таясь, совсем рядом с Егором. Налитые кровью глаза его неотрывно смотрели на конскую шею. Егор машинально сунул руку в карман рубахи, вытащив оттуда мелочь, перехватил поводья и

снова вцепился в шею коня. Волк рванул чуть быстрее, вновь тесня коня к обочине, стал будто ниже, весь подобрался, не теряя скорости, и, вытянувшись струной, прыгнул, целясь коню в самый верх шеи. Но за миг до того Егор швырнул в него мелочь, попав прямо в пасть… Тот щелкнул зубами на миг раньше, упал на спину, и тут же отлетел, как мешок, от удара копыта. Взвизгнул жалобно, покатился по дороге, похромал прочь…

Наконец, впереди показались долгожданные домики.

Егор облегченно вздохнул, натянул поводья, спрыгнул с коня, успокаивающе погладив его по жесткой красной гриве.

— Молодец, Рубин, молодчина!

И — вдруг что-то почувствовал, обернулся, и — обомлел. Там, за старым монастырем, где грудились серо-белые громады облаков, ехал всадник в высоком остроконечном шлеме. Его сияющие доспехи были прикрыты переливающимся синим плащом. Белый конь, увязающий по колено в облаках, покорно шел туда, где уже искало свою могилу умирающее солнце. Вдруг всадник остановился, снял шлем и медленно повернул голову.

«Владыка мира!» — Егор на миг ощутил, что

сейчас встретит его властный могучий взгляд, и он уничтожит, испепелит его. Не со зла, и не из-за всеохватывающей власти, а из-за того, что он, Егор, не будучи равным, *не уподобившись ему внутренне*, посмел смотреть на него открыто. Так бегущий по руке муравей не понимает своего ничтожества, кусается отчаянно и храбро, но его жизнь всецело зависит от того, смахнут ли его, или просто раздавят…

Он зажмурился, присел на корточки, стал маленьким, меньше травы, меньше зерна, притаился. И вдруг на разрушенной колокольне ударил колокол.

— Откуда там колокол? — Он, наконец, решился открыть глаза. Всадника уже не было, лишь алела в закатных лучах серебряная трава.

Он взял коня под уздцы и пошел к дому. Вокруг стояла вечерняя тишина, которой устало радуется все живое. У двери на бревне сидел его дед и чистил ордена.

— Деда! — Егор, не чувствуя ног, побежал к нему, уткнулся в гимнастерку. Ему казалось, что он не видел деда дольше жизни, — что-то важное произошло перед их последним расставанием. Что-то, чего он не помнил.

От гимнастерки пахло табаком и позабытым

дедовым одеколоном.

— Деда, ты ведь не умрешь?

— Уже не умру! — хитро усмехнулся дед, погладил его по голове.

— Деда, а нас чуть волк не съел.

— Ну, значит, долго жить будешь.

Из дома доносилось тихое пение колыбельной.

— Дедушка, а можно мне домой? Я хочу бабушку посмотреть. Я ее совсем не помню.

— Нет, Егорка, тебе нельзя, а то папу разбудишь. Он только родился, совсем маленький. А как умрешь, тогда и приходи. У нас тут хорошо. Сухари есть, пыжи есть, сено. Всего вдоволь.

— А Ванька тут есть?

— Если умер, то где-то есть.

— Дедушка, а если ты умер, то зачем тебе ордена?

Дед улыбнулся, его глаза увлажнились.

— А как же без орденов-то? Вот орден «За верность». Вот медаль «Сорок лет совместной жизни». А вот это самый дорогой орден, — «За молчание».

И дед тихо затянул себе под нос песню. Про весенний сад и то, как кто-то кого-то ждет домой.

Песня кончилась. Егор притих, а дед все обнимал его своей крепкой сухой рукой и улыбался.

Разборки

...Утром вся Зеленка гудела, обсуждая вчерашние ночные события. Оказалось, что обстригли не только их, но и множество другого народу с соседних полян. А ранним вечером, пока они еще гуляли по Коктебелю, толпа пьяных уродов налетела на крайние, ближайшие к поселку палатки и избила их обитателей. Вглубь Зеленки они почему-то не пошли.

Глюк с утра встал, намотал себе на голову полотенце и, превозмогая головную боль, поехал за Кубой в Феодосию. Вернулись они вдвоем после обеда. Куба был совсем плох. Он еле стоял на ногах, — бледный, запухший, с иссиня-черными кругами под глазами. Медицинская сеточка на его голове прижимала ко лбу большую толстую марлю. Кубу мутило.

— Я к менту бежал. Думал, что он хоть тормознет этих сволочей, — отрывисто говорил Куба. — А потом вижу, что он отмороженный какой-то. Рожу отвернул, типа не при делах. Гуляет типа. Я тормознул, а потом дальше рванул, а он, гад, в этот момент меня ногой подцепил. Ну я — башкой о ступеньку. А эти сволочи ему: «Спасибо,

братан». Эх, знал бы. У нас в Казани беспредел, конечно, и менты сволочи, но от Крыма я такого не ожидал.

— Чудак ты, Куба. Это ж менты. Собаки режима, — пожал плечами Том.

— Шов чешется! — Куба снял сеточку, осторожно убрал марлю. Его голова была вся в сизо-красных буграх, будто ей играли в футбол. Через весь его лоб шел длинный, зашитый черными нитками шов в форме буквы «Г».

— Не боись, — хмыкнул Монгол, — до смерти заживет.

— Меня из больницы не выпускали, поэтому через окно пришлось убегать. Еще хорошо, что одежду не забрали.

— Почему? — не понял Том.

— Я за операцию и процедуры не заплатил. Врач, мудила, сказал, что пока друзья не заплатят, он меня не выпустит. Все, кончилась советская халява.

— Куба, у тебя тут волосы клочками. Пошли, на море побреемся. — Глюк озабоченно посмотрел на Тома. — А ты идешь? Вон, тоже за ушами висит.

— Пусть растет, как подстригли.

— Так некрасиво же.

— Некрасиво, но правильно. — Том погладил свою клочковатую прическу.

— Ну, как знаешь.

Взяв бритву и мыло, Куба и Глюк спустились к морю. Там, раздевшись донага, они разложились на большом полузатопленном валуне и долго брили друг друга.

— Лысые в море, — задумчиво глядя с обрыва, сказал Монгол.

— Несуществующий шедевр неизвестного художника, — добавил Том.

Лысые, наконец, выбрались на поляну, и в полном изнеможении залегли у костра. Все в ссадинах, с черными кругами под затекшими кровью белками глаз, они чем-то напоминали панд. Монгол, как самый целый и здоровый, сварил суп. С ежиком своих уже отросших волос он выглядел приличнее всех. Кубе же становилось только хуже. Несмотря на жару, он с головой накрылся одеялом и полулежал под деревом, мелко трясясь от холода.

— Ну чем мы не гопы? — Том разлил по кружкам кипящий чай.

— Не скажи. Гопы бы уже стрелу забивали, чтобы за пацана ответили, — хохотнул Монгол. — А это так, кришнаиты. Теперь, если полезет кто, —

нужно орать: Харе Кришна, и подпрыгивать на месте. Зуб даю на отсечение, — как от чумных свалят.

Они сидели на поляне, пили чай и молчали. Медленной тенью наползал на побережье теплый августовский вечер. Засиял желто-розовым горбатый Хамелеон, будто бы не случилось ничего накануне, будто бы все движется своим чередом, как задумано.

— Привет! — Они непроизвольно вздрогнули, услышав знакомый Анин голосок.

— Здарова, — протянул Монгол.

Пораженная, она стояла посреди поляны и непонимающе хлопала глазами.

— Что с вами?

— Вчера подстричься всей толпой решили, — весело кривляясь, сказал Глюк. — Смотрим, парикмахеры. Целая туча. Говорю: пацаны, у вас ножницы есть? А они мне: да мы еще и стрижем бесплатно.

— Кали-Юга с пацанами случилась, — осклабился Монгол.

Аня изменилась в лице, села у костра, с трудом взглянула на Тома.

— Короче, сегодня на Зеленке облава будет, — наконец выговорила она. — Мне менты знакомые

сказали. Так что уходите отсюда. Если что — чешите наверх, в погранчасть. У них с местными терки часто бывают, они должны пустить.

— Это же ваши, местные? Ты все знала, и не сказала? — Тихо, и как-то обреченно сказал Глюк.

— Ничего я не знала, — обиженно ответила Аня.

В этот момент Куба вдруг вскочил, и, зажав рот, поспешил к обрыву.

— Пацаны, пойдем тростника нарвем, — сказал Глюк. — Кубе шалаш нужен, от солнца.

Все встали и пошли в сторону поселка, к устью небольшой каменистой речушки.

— Может, в аптеку сходить? — спросила Аня.

— Аня, иди домой. Мало ли что.

— Счастливо.

Махнув рукой, она пошла по тропе к поселку.

Том нагнал ее.

— Ань, спасибо.

— Не за что. Скажи Монголу, что он хороший.

— Монгол? Хорошо, скажу.

Она повернулась и пошла по тропе.

— Удачи! — крикнул Том вслед.

Они принесли на поляну по большой охапке тростника и соорудили над Кубой нечто вроде шалаша. Куба лежал синевато-бледный. Его

укрыли тряпьем, какое нашли, замотав потеплее ноги, и снова сели у костра.

— Ну что, валить или не валить? — наконец произнес Монгол висевший в воздухе вопрос.

— Я не могу. Куба далеко не уйдет, а за ним смотреть нужно, — мрачно сказал Глюк.

— Том, что думаешь?

— Я бы остался. Там какой-то Матрос нарисовался, он про Индейца знать может.

— Ну, а ты что предлагаешь? — спросил Глюк.

— Предлагаю валить, — сказал Монгол.

— Куда?

— Какая разница? — Монгол пожал плечами.

— А если они не придут?

— А если придут?

— Ну и валите. Я все равно Кубу не брошу.

— Забирай его. А то тут добьют. Кастанеда не одобрит.

— Мы будем обороняться.

— Понты наш парус? — Монгол прыснул.

— Вот! — Глюк показал ему на самый край поляны. От предыдущей, ближайшей к поселку поляны их отделяла глубокая балка. Через балку к ним по невысокому перешейку вела тропа. — Это самая главная точка! Если боковую тропу с моря завалить деревьями и колючкой, то в темноте

они не разберутся, и пойдут только сюда.

— На тебя когда-нибудь толпа бежала? — поинтересовался Монгол со знанием дела. — Как ты их собираешься сдерживать, полководец?

— В том-то и дело, что они здесь толпой не пройдут. Я сейчас народ созову, обсудим. Можно по Зеленке пройти, хотя бы человек десять набрать.

— Угу. Человек десять пацифистов с фенечками против цепей и кастетов, — сказал Монгол. — Если ты останешься жив до утра, я тебе лично вручу медаль «За оборону Коктебеля». Ты какого роста?

— Метр семьдесят пять. А тебе зачем?

— Мерку снять, на гроб.

— Ладно вам спорить, — сказал Том. — Давайте посмотрим по ситуации. Нужно просто вещи собрать, чтобы в случае чего… А про тропу я с Глюком согласен. Одну завалим, вторую будем сторожить. Если они придут, то мы свалим. Просто нужно все обустроить так, чтобы у них были проблемы, а у нас не было.

— Я все-таки пойду на ближние поляны, с народом пообщаюсь, — сказал Глюк.

Он вернулся через полчаса, и был мрачен.

— Все уходят. Ничего не ясно, но народ спешно пакует вещи и уходит. Воевать никто не собирается. Людей осталось мало, больше цивилы.

Волосатых вообще нет. Зато я нашел тут одну нычку. Нужно бы Кубу туда эвакуировать.

Они отвели Кубу в примыкавшую к балке небольшую боковую ложбинку, туда же отнесли шалаш. Обычно меланхоличный Глюк вдруг обнаружил невероятную работоспособность. Он спилил дерево, повалив его на боковую тропу от моря, настриг и набросал вокруг и по тропе колючего самшита. Затем спилил еще пару деревьев и на всякий случай завалил ими главную тропу. Монгол собрал все вещи, затащил их на склон повыше и спрятал там в камнях, оставив на поляне только котелок и воду на чай. Глюк с Томом притащили снизу целую кучу крупных булыжников.

— Ты здесь на неделю обороняться собрался? А это зачем? — Монгол кивнул на заваленную деревьями тропу.

— Они придут скорее всего по темноте. Тропа узкая, склоны тут сыпучие. Значит, нам нужно это использовать. Если их будет много, то пока они обойдут завал понизу, мы успеем свалить. А если мало, то встретим их камнями. Пока они разберутся, куда бежать, мы будем уже наверху.

— А если они обойдут нас поверху? — спросил Том.

— Не получится. Склон слишком крутой и голый, просматривается хорошо. Ночью они по нему точно не полезут.

— Плевать им, откуда лезть. Как порешат, так и сделают, — сказал Монгол.

— Не, Монгол, Глюк прав, — сказал Том. — Они прямо через балку пойдут. Им западло будет вокруг лезть. Они же нас презирают, так что по прямой пойдут. А вот с берега на всякий случай обойти могут. За берегом нужно присматривать.

Вечером Зеленка затихла. Глюк ушел на свой пост. Монгол и Том сидели у костра и пили чай с остатками вчерашней водки.

— Море сегодня хорошее.

— Да, хорошее, — ответил Монгол, думая о чем-то своем.

На всякий случай он подобрал себе удобный по форме тяжелый морской голыш, идеально вписывающийся в сжатый кулак, и теперь подбрасывал его в руке. Том выломал себе небольшую деревянную дубинку.

— Интересно, погода завтра какая будет?

— Хорошая, — отвечал Монгол. — Тут всегда одинаково хорошая погода. Даже надоело.

— Одинаково и одиноково, — откликнулся Том. — Домой хочется.

Время шло, но ничего не происходило. Том совсем расслабился, уже подумывая о том, не забрать ли ему со склона сумку с вещами, чтобы утеплиться и надеть штаны.

— Может, не придут? — он плюхнул в котелок последнюю воду. Говорил он нарочито развязно, пустяшно.

— Может, — бесстрастным эхом отвечал Монгол.

Уже совсем стемнело. И вдруг в звонкой ночной тишине послышался звон лопнувшей бутылки, и почти сразу — тонкий женский крик. Он доносился со стороны поселка. К нему прибавился гомон, невнятный треск веток, прочий неясный, но тревожный шум. Кто-то быстро бежал вниз к берегу, осыпая за собой целый шлейф сорвавшихся камней… И снова все стихло.

— Похоже, началось, — Монгол встал и подошел к обрыву.

Внизу плескалось море. У самого берега стояло несколько палаток. В одной из них зажегся фонарик. Остальное пространство берега не просматривалось.

— Не видно почти. Но тихо, вроде никого. Пошли, Глюка проверим.

Глюк сидел под деревом на груде припасенных

камней. Его бритая голова слегка отсвечивала при неровном свете луны. Рядом стояли две бутылки из-под портвейна. Вторая была наполовину пуста.

— А, братушки пожаловали! — Он вскочил на ноги и радостно обнял Монгола.

Монгол оттолкнул Глюка.

— Привет, Квазимода. Тебе ж твой Кастанеда бухать не велит.

— Тсс! — Глюк картинно приложил палец к губам. — Не говорите ему. Он пока в Икстлан отправился. Это такое особое пространство. А если вернется и спросит, — скажи, что мы люди русские, нам по-другому никак.

— Ага, непременно. Тут война началась, а наш караульный ужрался. — Монгол сплюнул.

— Что, вы мне не верите? Мне? Вы во мне сомневаетесь? — с ужасом говорил Глюк. — Да я вообще трезвый. Вот смотри.

Он вдохнул побольше воздуха, и вдруг застрочил речитативом:

— Помне-нию-американ-ского-еженедель-ника-ньюс-вик-эм-эм-эм-являет-ся-одной-изсамых-перспектив-ныхрос-сий-ских-компа-ний.

Он повторил свою скороговорку во второй раз, еще быстрее, и так же без единой запинки. Чув-

ствовалось, что Глюк говорил ее не один десяток раз, и может сказать в любом состоянии. Победно оглядев зрителей, он продолжал:

— Все приборы работают нормально. Вы вообще можете не бояться, потому что я вас охранять буду. К тому же в темноте я вижу как кошка.

Возня на том краю балки совсем стихла.

Они долго всматривались в провал оврага, в черное пятно леска на другом его склоне.

— А ну идите сюда, суки! — неожиданно заорал Глюк и швырнул в темноту оврага опустевшую бутылку.

— Рот закрой, воин. — Монгол вслушивался во тьму.

— Господа, вы трусы?! — Глюк лег под дерево и хлебнул из бутылки. — Ну как же, как же мне хочется просто взять и надавать им за все, что они сделали!

— А чего вчера не надавал? — Монгол усмехнулся. — Накидал бы им вчера, — они б сегодня не пришли.

— Они застали меня врасплох.

— Какой же ты воин? Ты или труп, или… Гражданин, который готовится на дембель жизни.

— Тихо! Вот они! — шепнул Том.

Широкий серп луны на минуту выглянул из

плотной пелены облаков, посеребрил лесок напротив. Из его темени на свет вынырнули две худые фигуры.

Тихо хрустя камнями, они осторожно спускались в овраг, пока тропа не уперлась в колючую гущу сваленных Глюком деревьев.

— Кто идет? Стоять! — крикнул Глюк. Его голос эхом рассыпался по балке.

Фигуры замерли.

— Вечер в хату, — наконец бросил один из них.

— Хата на зоне, сиделец! — спокойно ответил Монгол. — Надо чего?

— Порешать кой-чего, — ответили ему в тон.

— Решай там, решала, — крикнул Монгол.

— А в бубен принять не хочешь, чтобы музыка заиграла?

— Ты кто такой по жизни есть, чтобы так базарить? — перебивая его, послышался второй голос.

— Я есть тот, кто я есть! — вальяжно сказал Монгол. — Базарят бабки на базаре, а мы по жизни речь толкуем. Гостей не ждем, если музыки хочешь — заходи. Встретим с музыкой.

В балке снова затихли. Затем послышалось:

— Сам откуда? Кого знаешь?

— Теру знаю.

— Это кто такой?

— Вор в законе, на крытке сидит сейчас, на Харькове. Кореш мой.

— Авторитетов развелось, сука, по мастям по областям. Я, может, тоже вор в законе, — хмыкнули из оврага. — Сейчас каждый сам себе закон.

Глюк вдруг подбоченился и с пьяной важностью проговорил:

— Эй, ребза, люби не себя в законе, а закон в себе!

— Шо? Слышь, олень, ты сейчас понял, что вообще сказал? — послышалось из балки.

— Это не я! Это Станиславский, — ответил Глюк.

Монгол подскочил к Глюку и зло прошептал в самое ухо:

— Слышь, воин, закрой рот. Ты если побалакать хочешь, — я сейчас тебя к ним в овраг спущу.

Глюк пожал плечами, и, дурашливо улыбнувшись, приложил палец к губам.

— Хорошо. Я молчу.

— Слышь, Станиславский, а ну выходи, я тебе сейчас шапочку на тапочку натяну, — снова донеслось из ямы. Там явно приободрились.

— Все нормально, пацаны, ботан масть попутал, — крикнул Монгол в ответ.

— Лох по жизни, черт по масти! А за кого ты там подписался? — спросили его.

— Спортсмен. Шахматист.

— Эй, спортсмен, а ну хариус нарисуй, — хихикнули в балке.

— Вставай, Квазимода! — Монгол взял Глюка под локоть, и сделал шаг из темноты.

— Ты ему скажи, чтобы в базар нормальных пацанов не лез, а то морщить будем.

— А у вас волосатые есть? — просил другой голос.

— Только ноги.

В балке снова засмеялись.

— Ясно, пацаны! Отдыхайте. — Фигуры повернулись, и их удаляющиеся шаги вскоре затихли.

— Ушли! — восторженно прошептал Глюк.

Прошло минут десять. Они по-прежнему сидели втроем на краю оврага, еще не до конца веря, что опасность миновала. Было тихо, лишь где-то над головой надрывно стрекотала саранча, и далеко в поселке заливалась лаем собака.

— А кто такой Тера? — спросил Том.

— Как кто? — удивился Монгол. — Вор в законе.

— Это я понял. Ты его знаешь?

— Раз ушли, значит — знаю. — Монгол встал,

подошел к краю оврага, прислушался.

— Вроде тишина. — К нему подошел Глюк.

— Не, тухло как-то. — Монгол втянул носом воздух. — Что-то не так. Как-то слишком… Гладенько. А пассажиры явно непростые. Пойду я на склон, вниз гляну.

Сжимая голыш в кулаке, он обошел их поляну с еще тлеющим костром, и медленно, почти на ощупь двинулся дальше по тропе, вглубь Зеленки. Со стороны моря дул легкий ветер, но вдруг вместо свежего бриза донесся до него явный запах человеческого пота, будто где-то рядом располагалась спортивная раздевалка. Монгол остановился, свернул к обрыву, вытянув руки, чтобы не наткнуться на колючку, и едва сделав три шага, почти столкнулся со здоровым, как боров, пацаном. Тот стоял к нему спиной и глядел, тяжело дыша, вниз со склона, то и дело вытирая капающий с лица пот. Тропа, ведущая к обрыву, в этом месте была почти не хоженая, и Монгол хрустнул веткой.

Толстяк вздрогнул от неожиданности, повернулся и увидел Монгола. Он быстро подобрался, вскинул руки, пытаясь устояться в жесткой щетине южного кустарника.

— Свои! — шепнул Монгол и шагнул навстре-

чу.

Толстяк смахнул с носа каплю пота, смерил его взглядом, пытаясь узнать в темноте, и, сбитый с толку коротким ершом прически, опустил руки.

— А где ваши? — доверительно шепнул он, шагнув навстречу Монголу и вглядываясь за его спиной в темень леса.

— Там уже стоят. — Монгол махнул куда-то головой. — Щас будут.

«Эх, надо было Тома с Глюком брать. Все же лысые! — мелькнуло в голове. — Устроили бы вместе бал-маскарад, и никого бы не нашли».

Тут он увидел, как из-за обрыва, на уровне ног Толстого, появилась еще одна голова.

— Что смотришь? Руку дай! — сказал он Монголу.

— Симфер? — опять спросил Толстый, изо всех сил вспоминая лицо Монгола.

— Пятерка, пацаны! — заговорщицки прошептал Монгол, растянув рот в улыбке, сделал еще шаг, и почти без размаха ударил Толстяка слева, в подбородок, а затем утяжеленным булыгой кулаком пробил в висок правый боковой. Глаза Толстого на миг уставились куда-то вверх, будто он увидел там что-то важное и собирался рассказать, но, как сноп, завалился на бок, в кусты.

Второго, еще не успевшего выбраться по сыпучему склону, Монгол столкнул с обрыва ногой прямо в лицо, и тут же получил удар цепью откуда-то сбоку, по ребрам. В ее конце было что-то острое, оно вспороло футболку на уровне пояса и ободрало ремень, оставив на нем глубокую рыхлую борозду. Монгол отскочил в сторону, пригнулся, и, швырнув булыжник на звук, бросился через кусты к поляне. Нога зацепилась за ветку, он споткнулся, перелетел через куст самшита, и, перекатившись через голову, оказался у очага. Ориентируясь скорее интуитивно, чем по памяти, он быстро нашел нужную тропу, в три прыжка перепрыгнул их поляну и рванул к балке.

— Пацаны, сюда! Они тут! Свет! Дай фонарь! — уже орали сзади.

Глюк был на удивление бодр.

— Пацаны, валим! Нас обошли, — одними губами сказал Монгол, тыкая пальцем в сторону поляны. — Через минуту они будут здесь.

— Я пойду туда, тропу завалю, — храбро сказал Глюк.

— За мной, — прошипел Монгол и показал ему кулак. Объяснять ситуацию времени не было.

— Ладно, ладно, иду. — Глюк миролюбиво поднял руки. И, схватив недопитую бутылку, первым

рванул по склону балки.

Через секунду в дальнем конце их поляны мигнул и погас фонарик. Затем послышалась тихая ругань, утонувшая в глухом и шершавом топотании многочисленных ног. Кто-то наотмашь ударил ногой по котелку, и поляна на миг озарилась красно-оранжевым сполохом.

Монгол подобрал увесистый булыжник, швырнул его подальше в лес, и побежал за Глюком. Булыжник глухо стукнулся где-то о дерево, зашуршал в листве.

— Там! Там! — тут же послышалось из чащи.

Том рванул следом. Все трое чуть спустились в балку и, прикрываясь склоном, гуськом пробежали ее до конца, пока не уперлись в лысый склон горы. Зеленка уходила вправо, небольшим клином поднимаясь по склону. Стараясь держаться поближе к деревьям, они полезли вверх. Лес быстро кончился.

— Пацаны! Подождите, я с вами! — Откуда-то сбоку, из своего схрона судорожно карабкался Куба. Он был белый как мел. Его трясло. Глюк отдал ему бутылку.

Еще минута, и они добрались до места, где спрятали вещи. После лесной чащи здесь было совсем светло и непривычно тихо. Переводя дух,

они стояли и молча смотрели вниз. Их склон, поросший лесом, был виден сверху как на ладони. В его кромешной темени мелькали желтые огоньки фонариков, хрустели ветки, слышались короткие, как выстрелы, матерные вскрики. На фоне тихого безбрежного, подсвеченного месяцем моря эта глупая суета в Зеленке выглядела мелко и совсем безобидно.

— Ишь как шарят, демоны, — прошептал Глюк. — Они, придурки, наверное на заваленную тропу наткнулись, и думают, что мы где-то в кустах, за деревьями.

Он повернулся к Монголу.

— Ты хоть ударил кого-то?

— Конечно. Я же ударник. — ухмыльнулся тот.

— Уроды! — Куба швырнул вниз бутылку.

— Ладно, харош таращиться. Как бы не обошли, — сказал Монгол, и они полезли выше, пока не увидели впереди наблюдательную вышку с прожектором. Склон здесь был более пологим, и уже через минуту они толпились около небольшого одноэтажного домика, огороженного сетчатым забором. На облупленных воротах темнели две красные звезды, выше виднелась табличка с надписью: «Объект охраняется государством. Посторонним вход воспрещен». Окна в

доме не горели.

— Это и есть погранчасть? Негусто, — сказал Том.

— Эй, есть кто? — крикнул Глюк и постучал камнем по воротам. Наконец в домике послышались тяжелые шаги, зажегся свет, и на пороге появился молодой белобрысый пацан в военных штанах и тельняшке. На груди у него висел автомат.

— Служивый, переночевать пустишь?

— Вы что, с дуба рухнули? Это режимный объект, эта.

— Да что тебе, жалко? Там внизу убивают. — Глюк потряс забор.

— Не дури, эта. Постреляю, эта. — Солдат для убедительности передернул затвор.

— Здесь, наверное, только голых баб пускают, — усмехнулся Монгол.

С минуту постояв на пороге, солдат скрылся за дверью.

— Ладно, пацаны. Что-то утомил нас этот высокодуховный поселок. — Том вдруг обнаружил у себя в руке палку и с облегчением отшвырнул ее в темноту. — Завтра, правда, обещали Индейца найти. Но, видать, не судьба…

— Валим. — Монгол поддержал приятеля.

— А мы наверное тоже. Какой смысл тут но-

чевать? — Две лысые головы чуть качнулись в сумерках. Луна облизывала их блестящие головы. — На Верблюда пойдем, там заночуем.

— Ну, бувайте.

Они разошлись на развилке у виноградника. Том с Монголом поднялись на пригорок, глянули, прощаясь, на море. Над его металлической гладью неуверенно ползли обрывки сиреневых облаков, у смолисто-черного Карадага купалась луна. Внизу тускло и как-то заброшенно светились желтые огоньки Коктебеля. На западе горизонт уже окрасился грязно-рыжим.

— Надоело все, — вдруг сказал Монгол. — Море это, разборки, понты, базары мутные. Индеец этот, Лелик с ментами. Собачья свадьба. Приеду, с пацанами шансон спокойно врублю, так чтобы соседи прыгали, и в картишки под самогончик. Поговорим душевно так, побалакаем. Сальцо, борщечок. Сутки оттянусь, и снова — музыка, барабаны. Искусство.

Они прошли винзавод и увидели белеющую в лунном свете колоннаду с надписью «Завод Коктебель».

— Ага. Только вернуться нужно домой, и остаться там живыми.

— А ты, кстати, не думал, что мы умерли? — за-

думчиво сказал Монгол.

— С чего это вдруг?

— Сам посмотри. Допустим, нас замочили в кафе. На третий день мы были у Лелика. Это типа проводы души. Где-то на девятый день поехали сюда. Теперь вот, кажется, дней сорок прошло. Все, мытарства кончились.

— Ты на что намекаешь? На рай, или на то, что домой пора? — спросил Том.

— Я сам не знаю. Может, домой?

— Домой — стремно.

— А какие варианты? Я уже на трешку согласен, чем так по миру шарахаться. Условно, конечно.

— Трешку условно? За умышленное убийство? — усмехнулся Том. — Тремпелю за Ваньку семь лет дали, стационара.

— Так я ж не умышленно. В случае чего подмазать можно было. Зачем мы вообще сюда поперлись?

— А бандиты? Они тебе трешку условно не дадут. Ну, и мы думали, что у Индейца жить будем. Так бы не поехали, — напомнил Том.

— А, точно. Я и забыл уже.

Некоторое время шли молча.

Тому и самому уже хотелось домой. Ему до колик надоела эта бесконечная жара, слепящий

морской блеск вперемешку с вечно пустым желудком. Перед глазами ярко, отчетливо встал их уютный старый двор с запахом жасмина и жареной картошки из окон. С мелкими собачонками, с важными, воркующими голубями и тощими котами, имена которых известны всей округе. С распахнутыми настежь дверьми домов. С любопытствующими старушками у подъездов. С тихой веселой возней детей в песочнице под ивой, на которой каждое лето ровно и по-лесному гулко кукует горлица. С потертыми временем мужиками, которые заколачивают козла своими крепкими заводскими клешнями, сидя за старым столом в углу двора. Они улыбаются своими щербатыми ртами, стараясь не думать, как завтра с утренним холодком натянут свои безликие кепки, свои малоприметные, побитые молью и пылью пиджачки, и, вдыхая запах хлебозавода, потянутся на работу, туда, где всю ночь напролет протяжно стонут карусельные станки.

Он вспомнил свое окно, под которым в мае цветет сирень, и даже остановился. Ему вдруг захотелось непременно, как только наступит май, распахнуть его пошире, вытащить из кладовки старый Баташовский самовар, начистить его орденоносные бока, растопить прямо на под-

оконнике, а затем включить винил со старым фокстротом, и пить, пить, пить горячий душистый чай. Непременно — с бубликами.

— Да-а, — протянул он.

— Чего?

— Да ничего. Казалось, что рай здесь. А теперь, — что рай дома.

Они вышли на трассу.

— Я придумал, — сказал Монгол, всматриваясь в далекий огонек машины. — Смотри. Тебя все равно подстригли. Узнать сложно. Мы приедем, и сразу к тебе на дачу, чтобы дома не светиться. Ты сходишь в ту пивнуху и разузнаешь, что и как. У тебя на даче телефон. А чтобы проще было, — позвонишь Серому: у него ксива газетная. Зайдете, типа, чего у вас тут было, криминальная хроника.

— А вдруг узнают? — нахмурился Том.

— Не узнают. Волос у тебя нет. Очки наденешь, куртку. К тому времени уже холодно будет.

— Вот пусть Серый сам и сходит, — сказал Том.

— Тоже верно, — согласился Монгол. — Эх, сорок дней всего, а кажется, что полгода.

— Это здесь как полгода, а там люди все помнят. Хотя и мне здесь уже бомжевать надоело.

— Поехали домой, — твердо сказал Монгол.

— Ко мне менты приходили.

— Ну в Ялте же ориентировок не было.

— Это ничего не значит. Тем более дело не только в ментах.

— И то верно, — вздохнул Монгол. — Мне уже так домой хочется, что плевать на все. Если у тебя на даче засесть, то можно сторожем на зиму. В город вылазить не будем. А там и забудется.

— Это ты-то в город не выйдешь? — хохотнул Том. — Ты ж через два дня на районе нарисуешься.

— Может, даже быстрее, — согласился Монгол.

— Ладно, поехали. На даче поживем, а там видно будет.

— А жрать что?

— Картошку копать будем. У соседей.

— За деньги, или для себя?

— Посмотрим. Пока не знаю.

Долго стоять не пришлось: их подобрала первая же фура. За рулем грузовика сидел мужик лет сорока.

— До Феодосии подбросишь?

— Я только до Подгорного.

— А это далеко?

— 8 кэмэ. Едете?

— Конечно едем! — Они забрались в высокую

кабину, и машина тронулась. За окном замелькали последние дома поселка, потянулись бетонные коробки недостроев.

Через пару минут водитель резко вильнул к центру дороги. В мощном свете фар Том увидел длинную кишку идущих друг за другом пацанов. Каждый нес в руке кол или арматуру.

— Хоть бы стекла не побили… — напряженно выговорил водитель. — В поселок идут… Много как. Совсем распоясались.

— Мы уже с такими познакомились. Меня вот постригли, — Том достал свернутый в рулон, уже замявшийся по краям рисунок-карикатуру с пучком волос.

— Твои? — удивился водитель.

— Мои.

— Так это по вашу душу?

— Та как бы уже не по нашу. — Монгол уважительно посмотрел на водителя. — У вас часто такое?

— Раньше почти не было. А теперь все что угодно. Как Союз распался, мы вообще должны были отдельной республикой быть. У нас была своя Конституция, своя внешняя политика. Кравчук приезжал, обещал полную автономку, но он балабол известный. А при Кучме Конституцию

поменяли и убрали нашего, крымского президента. Теперь у наших депутатов прав — как у курей в курятнике. Это потому что боятся нас. Начальство из Киева завезли, над нашими ментами поставили. Базы у Черноморского флота отжимают, заставы, маяки. Переходить агитируют. Поэтому местные менты и мафия теперь вроде как вместе против Киева. Ну, и видно, под шумок с помощью малолеток свои дела решают…

Водитель вздохнул, помолчал. Затем раскрыл пятерню и стал загибать пальцы.

— У нас в колхозе консервный завод был, потом завод по производству соков… Потом винзавод, хлебозавод, персиковый сад, табачные плантации, птицефабрика. Ничего не осталось. Баню общественную — и ту на кирпичи разобрали. А как свет стали выключать, так и провода с ЛЭП посымали. Одного балбеса из нашего села даже убило.

— Грустно, — сказал Том.

— Бывает и весело. Недавно тут по соседству одно село газифицировали. Киев дал денег, сам Кучма приезжал. Ленточка, оркестр, — все дела. Факел зажгли. А когда киевские уехали, — чиновники наши факел потушили, баллон с газом аккуратно выкопали, и по домам разъехались.

Вот тебе и газ!

Машину трясло. Они смотрели вперед, на мелькающие фиолетовые сопки, на широкие ночные долины с виноградниками. Вдоль обочины снова потянулась шеренга. В свете фар снова замелькали угрюмые, сосредоточенные лица пацанов.

— Сегодня 23-е?

— День Харькова. — Том повернулся к Монголу.

— Узнаешь?

— Кого? — не понял Монгол.

— Себя.

— Да пошел ты. — Монгол отвернулся.

— Кум анекдот рассказал, — продолжал водитель. — Умирает отец. Собрал сыновей у постели. «Принесите мне прутья». Сыновья принесли. «Возьмите по пруту, сломайте». Сыновья сломали. «А теперь возьмите все целиком, и попробуйте сломать». Сыновья ломали-ломали, — не смогли. Только согнуть удалось. «Знаете, что это значит?» — спрашивает. «Знаем, отец. Вместе мы сила, а порознь — никто». «Нет, дети. Это значит, что мы живем в такой стране, где если не нагнут, то сломают». Непонятное время, мутное. Я ведь служил когда-то, присягу давал, на верность Родине, Советскому Союзу. Для меня это святые

слова были. А потом… Я ведь Родине не изменял, это страшно. За измену Родине полагается расстрел. А если Родина мне изменила? Забыла, бросила? Если измена Родины перед честным человеком, — что тогда? Кто виноват?

Остаток пути ехали молча. За окном, в лиловых предутренних сумерках тянулась гора, издали напоминающая огромную длинную скирду сена. К ее подошве, поблескивая редкими фонарями, жалось небольшое село.

Фура остановилась, водитель заглушил двигатель.

— А вот мы и приехали. Подождите, я скоро вернусь.

Он ушел в темноту. Том и Монгол молча слушали, как тихо потрескивает разогретый двигателем капот, как скрипит калитка, как, обрывая цепь, лает пес.

Стояли уже минут десять.

— Что ему нужно? Может, подстава какая? — Том поежился от предутреннего холодка.

— Непохоже. Мужик нормальный. — Монгол глянул в сторону дома, где скрылся водитель. Там, наконец, распахнулась дверь, и показался водитель. В руках он держал банку молока, полбуханки хлеба и кольцо колбасы.

— Держите. Молоко только сейчас выпейте — банки нынче дефицит.

— Спасибо!

Уже совсем рассвело, когда они, доев на ходу счастливо перепавший ужин, присели отдохнуть на поваленное у обочины дерево.

— Завтра день будет тяжелый. Давай поспим, что ли, — буркнул Монгол, и они повалились на пыльную траву.

Часть 4



Менты

Они проснулись от рева машин. Мимо, поднимая облака пыли, пронеслась колонна груженых самосвалов.

— Сколько времени? — вскочил, отряхиваясь, Монгол.

— Часов одиннадцать.

— Давай ловить.

— Может, прогуляемся? Сколько тут идти? — сказал Том.

— Они все в город едут. Нам по-любому до вокзала ближе будет.

Наконец, они добрели до видавшей виды остановки. Вскоре там остановился пыльный автобус, битком набитый хмурыми утренними людьми.

— До Феодосии подбросишь? Деньги кончились.

Водитель молча кивнул, и они понеслись по пыльной дороге.

— Я тут тему одну узнал, — сказал Монгол. — Короче, если тебя грабанули, то по закону ты имеешь право на бесплатный проезд до дому. Билет этот, а точнее справку, должны выписать менты на вокзале.

— Нас же никто не грабил, — не понял Том.

— А мы скажем, что грабили. — Монгол заговорщицки подмигнул.

— А если ориентировки?

— Если в Ялте не было, значит и тут не будет, — уверенно сказал Монгол.

Том нахмурился. Монгол уловил это, хлопнул друга по плечу.

— Мы ничего не теряем. У нас денег нет? Нет. А ментам все равно, кого на поезд сажать. Попытка — не пытка. Прикинь, завтра утром мы уже будем дома. И не нужно будет, как зайцы, по вагонам бегать.

— Ты, Монгол, так ничего не понял. Ты все о комфорте думаешь. А нужно всего лишь сказать: в целях нанесения непоправимого анархического удара по мировому капиталу считаю необходимым ввести милицию в заблуждение.

— Вот за что я тебя люблю, Том, — засмеялся Монгол, — так это не за то, что ты под любую дурь всегда подведешь научную базу. Не за философию твою. От философии толку немного. Сейчас вообще умников развелось, а сволочей среди умных не меньше, чем среди дураков. Я люблю тебя за то, что ты подляну на бегу не устроишь.

— Вокзал! — объявил водитель, и они выскочи-

ли из автобуса.

— Только нужно все правильно сделать, — вполголоса говорил Монгол, разглядывая расписание поездов. У нас до поезда полчаса. Нужно успеть. Чтобы не запутаться, говорю я, а ты со всем соглашайся. Короче, грабили нас трое. Один был в синем спортивном костюме, второй в черном. Третьего не запомнили. Возраст 20–25 лет. Так, что еще? Быковали, отобрали деньги. С ножом. Давай решим, — где. Во-он, у того дерева. А убежали они вон туда. Все ясно?

— Угу. — Том пожал плечами.

Линейное отделение милиции находилось тут же, в конце платформы. Первое, что они услышали, открыв обшарпанную, обитую драным дерматином дверь, был развесистый трехэтажный мат. Следующая дверь в ближайший по коридору кабинет была распахнута настежь. Пахло куревом, потом и бомжами. Где-то непрестанно звонил телефон. В кабинете, в клубах сизого табачного дыма сидел потасканного вида мужичок, над ним нависал здоровенный красномордый мент. Мужичок лепетал, втягивая голову в плечи:

— Да не знаю я, не знаю.

— Извините… — начал было Том.

— А вам тут какого надо? — Мент повернул бычью шею, и Том тут же понял, что они здесь совершенно лишние. А вся эта затея с враньем про ограбление — вещь стремная, и вообще, как ему показалось, не такая уж и необходимая. Но отступать было некуда.

— Нас только что ограбили, — бодро сказал Монгол, делая шаг вперед.

— И поэтому ты такой веселый? — спросил мент.

Монгол замялся, но мент, не дожидаясь ответа, закричал в коридор:

— Гринченко! Разберись с этими.

Он указал им в боковой проем, и тут же захлопнул дверь. В темени коридора они увидели табличку «старший оперуполномоченный Гринченко С. С.» и постучались в дверь.

— Войдите! — послышался сиплый выцветший голос.

Весь кабинет был завален старыми пыльными папками. Бумаги были везде: на кофейного цвета сейфе, на светло-желтом обшарпанном шкафу, на подоконниках, на двух старых столах, даже на полу. На серой от грязи и паутины стене висел выцветший плакат, где молодцеватого вида милиционер держал за шиворот подозритель-

ного негодяя в клетчатой кепке. Под плакатом была надпись: «Товарищ! Бди!» Венчал интерьер старый накренившийся кактус, одиноко сохший на подоконнике между высокими бумажными кипами.

У окна за столом сидел чернявый милиционер с желтушного цвета лицом и что-то писал.

— Здравствуйте. Вы Гринченко?

— Предположим. Что вам нужно? — Милиционер высморкался, недовольно оторвался от бумаг.

— Нас ограбили, — уныло сказал Монгол.

«Сносно играет», — подумал Том. — Хорошо, что этот красномордый подсказал.

— Где? Когда? — безучастно и устало спросил Гринченко.

— Пятнадцать минут назад. На перроне.

— Берите бумагу. Пишите.

— Что писать?

— Все пишите. Сколько их было. Как выглядели. Возраст. Одежда.

— Пиши, — шепнул Монгол.

— Начальнику отделения… Заявление… Я, такой-то…

«Вот ведь, сам придумал, а мне пиши. Так же и на поезд опоздать можно», — подумал Том, и, ста-

раясь ничем не выдать спешки, вкратце написал только что придуманную легенду.

Гринченко взял бумагу, недовольно прочитал.

— Как они общались друг с другом? Клички? Имена?

— Ничего не слышали. Не знаем.

— Особые приметы? Шрамы, наколки? — Гринченко перевел взгляд на Монгола.

Тот тоже пожал плечами.

— Куда ушли?

— В другой конец перрона.

— Что спрашивали? С чего разговор начался?

— Спросили, откуда мы, и сказали, чтобы мы им отдали все деньги, — сказал Том, радостно осознавая то, что Монгол стоит рядом. «Мы же, идиоты, это вообще не проговорили».

— Нож какой был? — простуженно просипел Гринченко.

— Не запомнили.

— Вас убивать собрались, а вы не запомнили? Складной, широкий, длинный?

— Вроде перочинный, — ляпнул Монгол.

— Перочинный? И вы что, все деньги отдали? — Опер презрительно посмотрел на них. А сколько денег было?

— Все, товарищ начальник, — выпалил Мон-

гол.

— Сумма какая? — продолжал допытываться мент.

— Не знаю. У тебя сколько было? — замялся Монгол.

— Сто тысяч, — сходу сказал Том.

— Ну и у меня где-то сто пятьдесят.

— Что, и не двинули никого из них по лицу?

— Так их трое было.

— Тоже мне, мужики. Ты ж вроде борец? Вон, ухо сломано.

Монгол опустил голову и промолчал. Уши его запылали.

— У нас поезд скоро! — нашелся Том.

— А билеты есть?

— Не успели купить.

— Ладно, пошли, осмотрим место преступления, — сказал Гринченко, и они облегченно вышли из отделения. Идти было совсем недалеко, но за этот недолгий путь опер поздоровался за руку с десятком человек. Это были менялы, таксисты, зазывалы, торговцы, просто какие-то неприметные люди.

— Все нормально? Ничего не видел? — вполголоса спрашивал он.

— Все тихо. — Каждый утвердительно кивал

в ответ.

— Обалдеть разведка! — шепнул Монгол. — Весь вокзал.

Наконец они дошли до дерева.

— Вот здесь все и произошло, — сказал Том.

Гринченко безучастно покрутился на месте, прошелся по перрону, спросил что-то у стрелочницы в оранжевом жилете. Та пожала плечами.

— Что ж, будем разбираться, — бесцветно произнес он, и не спеша двинулся назад, к вокзалу. Монгол дернул Тома за рукав и ткнул пальцем. На первой платформе стоял, посапывая, поезд Феодосия — Москва.

— Товарищ начальник, нам бы ехать нужно.

— Ну так езжайте.

— Так у нас уже денег нет.

— Я вас услышал. — Гринченко устало взглянул на часы. — Можете на сутки остановиться в гостинице, я провожу. Оттуда позвоните домой, и родители деньги вышлют переводом на гостиницу и билеты.

— А вы не можете написать бумагу, или просто проводника попросить, чтобы он нас взял?

— Чего? Не-ет, ребята. Таким я не занимаюсь, — опер отмахнулся от них и быстро зашагал по перрону.

Проводники уже поднимали подножки. Поезд тронулся.

— Так я и знал. Слышала звон, Ира-дура… — сквозь зубы процедил Монгол, и побежал к составу.

— Не возьмете до Бишкека? — спросил он проводника ближайшего вагона.

— Куда? — захохотал тот.

— Да какая разница! Том, как там этот… Аул…

— До Джанкоя! — крикнул Том, но было уже поздно: проводник захлопнул дверь.

Заприметив неподалеку небольшой парк, они сели на скамейку.

— Монгол, ты…

— Да, лажанулись. — Монгол отвел глаза.

У Тома вертелось на языке обидное словцо, но, в сущности, оно уже ничего не меняло.

— Ладно, я за водой схожу. Посмотри за вещами, — сказал он, и пошел к вокзалу.

Когда он вернулся, Монгол был не один. Рядом с ним сидел сухощавый пожилой священник в рясе и крохотной черной шапочке. Тут же рядом стоял объемистый рюкзак и две клетчатые сумки, забитые книгами и утварью.

«Вот Монгол! — подумалось ему. — Стоит на секунду оставить, и сразу какого-то мракобеса

подцепит».

— А я только из Киева. Даром что настоятель монастыря, — даже послать вместо себя некого. — Монах поглаживал седеющую узкую бородку. — Народу в монастыре почти нет. Все работают, вот и приходится самому. Хлопот полон рот. Сейчас приеду, — и сразу по судам мотаться. А вы сами куда?

— Мы уже домой собрались, — резко сказал Том.

— Слушайте, а помогите мне до машины сумки донести. Если вы, конечно, не очень спешите.

— Та не спешим, батюшка, — подобострастно сказал Монгол, и сразу схватил самую большую сумку. Тому ничего не оставалось, как последовать за ним. Сумки были тяжелые, будто набитые кирпичами.

Они тащили их куда-то через парк, пока не увидели в глубине переулка видавший виды уазик.

— Может, вас подбросить куда? — спросил монах. — Я через Симферополь еду.

— Симферополь к дому ближе! — со знанием дела сказал Монгол. — Поехали!

— Миша, ты тогда через вокзал езжай.

— Добро! — водитель, бледный бородач с большим открытым лицом, утвердительно кивнул

головой.

— Ну и как вам Крым?

— Понравился. Тепло у вас.

— Где бывали?

— Да везде. Ласточкино Гнездо, Гурзуф, Алушта, Партенит…

— Слыхал? — Настоятель засмеялся. — В твоей древней митрополии бывали.

— Где?

— Партенит был когда-то православной столицей. На одном Аюдаге было два монастыря и полтора десятка храмов, — ответил водитель. — Я сам оттуда.

— Ого! А барабанщика партенитовского случайно не знаете?

— Индейца, что ль? — усмехнулся водитель.

Том даже подскочил на кресле.

— Да, его!

— Ну а кто ж его не знает? На весь Партенит — один барабанщик.

— Мы его искали. А где он?

— А он умер, — сказал водитель, и почему-то усмехнулся.

— А… А давно?

— Года два назад. А вы его откуда знаете?

— Мы его лично не знаем. Хотели привет пере-

дать, от старого знакомого.

— Ясно. Но вы не очень-то переживайте. Это он для мира умер. А так жив. Он послушником в монастыре. Мы как раз туда едем.

— Так он жив?! Ну и шутки у вас!

— Нормальный монастырский юмор, — водитель пожал плечами.

— А мы его в Партените искали, — сказал Том. — Дома его нет.

— Ну как умер, так сразу в иные обители и переселился, — засмеялся настоятель.

На минуту в машине воцарилась тишина.

— Отец Марк, так я не понял, — наконец сказал водитель: — Мы на вокзал едем, или сразу в монастырь?

Отец Марк вопросительно посмотрел на пассажиров.

— В монастырь! — хором крикнули Монгол и Том.

— Ну, в монастырь так в монастырь. А зачем он вам нужен?

— Привет передать.

— От кого?.. Да вы не волнуйтесь так, я просто с ним хорошо знаком.

— От Лелика.

— От Лелика! — водитель поднял палец вверх,

и даже сбавил газ. — Ну надо же! И как поживает этот старый антихрист? Тьфу… Анархист?

Тут Тома осенило.

— А-а, так это ты!!! — еще не до конца веря, крикнул он.

Водитель молча улыбался.

— Хорошо ты нас развел! А мы тебя больше месяца искали!

— Да что меня искать? Сколько того Крыма? Как там Лелик?

— Живет помаленьку, из Харькова к нам перебрался. — Монгол достал мятый-перемятый конверт. — Вот, письмо тебе.

Индеец прочитал письмо, усмехнулся.

— Ну что ж, раз Лелик просит, — придется накормить. А там посмотрим.

— А ведь мы почти уехали, — вдруг сказал Монгол.

— Это промысел. Мы к таким вещам привычны. Правда, отче?

— Но раз ими же веси судьбами едем мы в богоспасаемую обитель нашу, то давайте знакомиться. Отец Марк. — Настоятель протянул руку.

— Ти… Егор, — Том поздоровался.

— Саня, — сказал Монгол.

Монахи

Уазик слегка трясло. Он бежал широкой зеленеющей степью; за окном мелькали то покатые холмы, то отяжелевшие от ягод виноградники, то укрытые перелесками села. Слева вдалеке синели горы.

— У тебя там сосед по подъезду есть, ребенок, — сказал Монгол. — Так он говорил, что ты либо сдох, либо сбомжевался.

— Это верно. В каком-то смысле и сдох, и сбомжевался. Не имеем зде пребывающего града… Вы домой-то сильно спешите? А то мы вас прямо с вокзала сдернули.

— У нас все равно денег не было.

— Это хорошо. Нам как раз рабочие руки нужны, — вставил отец Марк. — Недельку в монастыре поживете?

Том с Монголом переглянулись.

— Спать, правда, на полу, из еды — сухари и вода, — сказал Михаил, незаметно подмигнув настоятелю.

— Сурово, — нахмурился Том. — А некрещеным там жить можно?

— Некрещеные спят на улице. В корпусе некре-

щеному ночевать никак нельзя. — Настоятель, в свою очередь, подмигнул Михаилу.

— Ты крестись, и примут, — засмеялся Монгол.

«Он уже в монастыре свой! Как ему это удается? Приспособленец», — злился Том. А вслух сказал:

— Как же я крещусь, если в Бога не верю.

— Ну что, отче? Пустим еретика? — спросил Миша.

— Ну если только в качестве оглашенного, с испытательным сроком, — усмехнулся тот.

— Никакой я не оглашенный, — совсем расстроился Том.

— Не переживай. Это у нас шуточки такие, — сказал водитель.

Они проехали Симферополь. Машина неслась по уже знакомым Тому и Монголу местам. Отец Марк задремал, откинувшись на подголовник сиденья.

— Мы с Томом в группе играем. Я — на ударных, — тихо, чтобы не разбудить монаха, сказал Монгол. — Я думал, ты меня подучишь, а ты вон как…

— Может, и подучу. Если настоятель благословит.

— А в монастыре есть барабаны? — удивился Монгол.

— Нет, конечно. Но что-нибудь придумаем. Хотя для меня это все в прошлом. Этап в жизни. Отгоревшая ступень ракеты.

— Почему?

Миша усмехнулся.

— Сложно ответить. Искусство не делает человека лучше. Оно может создать условия, дать импульс, понудить, зацепить за душу. Но реально изменить человека может только сам человек, его долгий и часто некрасивый труд над собой. У искусства просто нет таких ресурсов: оно из других, душевных сфер. А религия дает силы и методы для улучшения себя. Этим она и отличается от искусства. Хотя было бы здорово, если б любители театра становились целителями, а поклонники рока получали, скажем, дар пророчества. Но — увы. В юности рок-н-ролл подкупает искренностью. Кажется, что истина — вот она! Черпай ее полными горстями, неси людям, — и все будет хорошо, — достаточно просто быть честным. Чтобы не превратиться в лицемера и ханжу, ты бросаешь кому-то правду в лицо, и удивляешься, почему он обижается. Сам, мол, виноват, слабак! Правда делает лучше! Но ни он, ни ты от этой прямолинейности почему-то сами не становитесь лучше, чище, добрее. Скорее, —

наоборот.

Наконец, машина перемахнула через перевал, и они вновь увидели рассыпанное по морскому берегу ожерелье Алушты. Но Михаил свернул направо, на узкую проселочную дорогу, и стал потихоньку подниматься к серо-зеленым громадам гор. Слева внизу блеснуло небесно-голубое озеро. Уазик нырнул в зеленый лесной тоннель и долго вилял по горному серпантину, пока не уперся в шлагбаум у каменных ворот с декоративной замковой башенкой. Залаяла собака, из дома неподалеку вышел охранник.

Проснулся настоятель, махнул рукой.

Тот кивнул в ответ, открыл проезд, и они вновь запетляли между присыпанных бурой листвой крутых, почти отвесных склонов. Внизу, за сизыми стволами векового леса потянулось каменистое русло горной реки.

— Музыка сама по себе — вещь экстатичная, — снова заговорил послушник. — Мне иногда кажется, что до разделения языков люди говорили друг с другом именно музыкой, пели. Ведь именно этот язык остался понятным всем, общечеловеческим…

— Отец Никита говорит, что в Эдемском саду говорили на русском, — засмеялся отец Марк. —

Причем не только люди, но и животные. Синицы, например, пели: «Мир ти, мир ти». Коровы подвывали: «И духови твоему». А бараны блеяли: «Слава тебе Боже, слава тебе!» А после грехопадения они позабывали свои песни. У синичек осталось «ти-ти-ти», у коров «му», у баранов «бе».

— А еще он говорит, что в раю будут праздновать не день рождения, а день смерти. Потому что земная жизнь — это миг, а день смерти — это рождение в бесконечность. — Михаил улыбнулся. — Смешной он, отец Никита. Откуда он к нам попал?

— Из-под Ярославля, — сказал отец Марк. — У них там Великим постом храм ограбили. Вломились ночью в дом, и рукояткой пистолета — по зубам. Икону драгоценную искали, а у них нищета, образа в храме — и те картонные. Он тогда одного из грабителей спросил: как тебя зовут, чтобы молиться. И тот прошептал ему свое имя. Такие у нас люди, да… А потом выяснилось: както раз его по телевизору показывали, а за спиной была репродукция иконы с окладом Фаберже. Вот они и полезли. Ему в Крым путевку выбили подлечиться, так он через два дня из санатория к нам сбежал… О, да вот мы и приехали.

Разминая затекшие ноги, они выбрались из

машины. Уазик остановился в узком ущелье. Слева, под поросшим лесом склоном, журчал небольшой, обложенный камнем родник. За ним виднелся невысокий изящный храм из серого камня. Напротив подпирала горный склон мощная, укрепленная контрфорсами каменная стена. Над нею на плоской площадке виднелись небольшие постройки.

— Миша, отгони машину. — Отец Марк пошел к роднику.

УАЗ взревел и скрылся за поворотом дороги.

— Это у нас целебный источник. За этой водой кто только сюда не ездит. — Настоятель взял кружку, подставил под бьющую из трубы струю. Выпил, крякнул от удовольствия.

— Ну, попейте.

Вода оказалась удивительно мягкой, даже как будто сладковатой. Том выпил еще одну кружку, затем третью, четвертую…

— Никогда такой воды не пил. Напиться не получается.

— Ага. Идет как пиво, — подтвердил Монгол.

Они подошли к храму. Его фасадную стену с арочным входом обрамляли две каменные колонны, стены украшали готические окна. Под высоким резным портиком виднелись выруб-

ленные каменотесами цифры: «1913». Ниже, под подоконником окна виднелась аляповатая надпись масляной краской: «ИНВ № 10310099».

— Вверху — дата трехсотлетия Дома Романовых, — отец Марк вздохнул. — А внизу — инвентарный номер большевистской описи. Две цифры, две эпохи.

Том обошел храм, заглянул в темное стрельчатое окно, но ничего не увидел. Посмотрел вокруг. Тихо, по-осеннему вечно шумел прохладный лес, где-то гулко куковала кукушка.

— А где монастырь?

— Выше.

По поросшей мхом каменной лестнице они поднялись в монастырский двор. Михаил был уже здесь. Жмурясь на солнце, он сидел под большим раскидистым деревом. Монастырь, со всех сторон зажатый горами, оказался совсем небольшим: два двухэтажных здания, крохотный храм, больше напоминавший часовню, и пара хозяйственных построек.

— Раньше монастырь был больше. Во-он те постройки, у входа над стеной, — настоятель кивнул на несколько домишек над каменной стеной у выхода, — они все еще принадлежат заповеднику. С тех пор как их отобрали большевики, нам

вернули лишь часть. Иногда мне кажется, что они и не уходили. Заповедник нас ограничивает. Братии — не больше десяти человек. Даже кошку завести без их ведома мы не имеем права. Завтра я как раз еду в Симферополь, в суд… Так, ладно. Миша! Я пойду отдохну с дороги, а ты определи их, под твою ответственность. И дров в баню натаскайте.

Помывшись в небольшой дровяной баньке, они, разомлевшие и усталые, блаженно развалились у дровника на скамейке. На душе было тихо, непривычно спокойно и даже радостно. Том прислушивался к себе, пытаясь понять источник этой непонятной, переполнявшей все его естество радости. «Наверное, просто устал с дороги, а тут еще банька».

— Слышь, Монгол.

— Чего?

— Похоже, Индеец на ментов не работает, — улыбнулся Том.

Монгол не ответил.

Через четверть часа в здании братского корпуса открылась стеклянная дверь с табличкой «Без благословения не входить». Оттуда вышел рыжебородый монах в сером подряснике и наброшенной поверх безрукавке. Он дернул язык

висящего тут же, рядом с дверью, колокольчика, и двор огласился долгим высоким звоном.

— Че это он делает?

— Не видишь? Звонит, — лениво сказал Монгол. — Это ж монастырь. Тут всегда звонят.

— Эй, хлопцы! — Миша махнул рукой. Он уже был в черной монашеской одежде. — Отец Силуан на обед зовет. Пойдемте в трапезную. Сухарей поедим.

Они вскочили, ринулись к двери. Пройдя по темному коридору, зашли в комнату с уже накрытым столом. За ним сидели молча пять монахов.

— Садитесь где свободно! Что, не узнаете меня в подряснике? Это моя смирительная рубашка, — засмеялся Михаил.

Монгол тут же сел, схватил было ложку, но увидев, что никто не ест, тихо положил ее на место.

— Кого-то ждем?

— Отца Никиту.

Чтобы немного отвлечься от еды, Том разглядывал трапезную. Большую часть просторной комнаты занимал длинный стол. На стенах висели старые иконы, а у начала стола — дореволюционная гравюра монастыря. Монастырь на ней был большой, раскидистый, совершенно не похожий на нынешний крохотный островок мо-

нашеской жизни. В узкой желтоватой ложбине тут и там были разбросаны храмы с зелеными крышами, хозяйственные постройки. На переднем плане виднелся мощный широкий мост, на нем — черная фигурка монаха. Вдали поднимался поросший лесом обрывистый горный склон, за ним, еще дальше, виднелся склон Чатырдага. Шатер знакомой горы — это единственное, что узнал Том.

Наконец дверь отворилась, и в трапезную вошел старый монах с длинной и широкой седой бородой. Он чем-то неуловимо напоминал Деда Мороза. Отец Никита стал в конце стола, беззубо улыбнулся, и все поднялись на молитву. Место у начала стола, видимо, предназначавшееся для настоятеля, осталось пустым.

Том встал вместе со всеми, посмотрел на Монгола. Тот уже чувствовал себя здесь как рыба в воде, а в конце молитвы даже наспех перекрестился. Зато Том креститься не стал. «Вот тебе и сухари!» — подумал он, едва сдерживаясь, чтобы разом не влить в себя прямо через край целую тарелку горохового супа. Монахи молча ели, монотонно постукивая ложками. Суп был густой, наваристый, и быстро исчез из тарелки. Ему предложили добавки, и он не смог отказаться. Затем в

трапезную вошла женщина и сменила тарелки. Оказывается, их ждало еще и второе — картошка со свекольной икрой, затем салат из огурцов и помидоров, грибная икра, еще какие-то соления, потом пирожки и, наконец, — компот.

— Вот это да. Вот это налопался! — Том вспомнил уже позабытое ощущение полного желудка. Он вдруг стал степенным, уверенным в себе, даже важным. Вытирая пот, он немного откинулся от стола, легко обвел глазами монахов. «Как мало нужно человеку для уверенности», — пришла мысль. Все смотрели в тарелки, лишь отец Никита, макая хлеб в суп и громко хлебая, время от времени поглядывал по сторонам.

— Миша, а отца Марка не будет? — спросил Монгол так, будто был знаком с настоятелем с детства.

— Отдыхает. Ему завтра после службы в суд ехать. Он благословил вас остаться на несколько дней. Будете спать на чердаке: там у нас странноприимный дом. Кровати, подушки, одеяла, — все наверху.

— Только у нас кто не работает, — тот не спит, — пробасил отец Силуан.

Все монахи на секунду посмотрели на них, лишь отец Никита продолжал свою трапезу.

— Та мы с радостью.

— Ну что, помолимся, — наконец сказал кто-то.

Все встали, и, прочитав молитвы, вышли из трапезной.

— Миша, а мне обязательно креститься? — спросил Том. — Я же…

— Невольник не богомольник… Вы не против, если я вас сейчас немного поэксплуатирую? Нам уголь привезли. — Михаил показал в сторону хозпостроек. — Вот эту гору нужно тачками перетаскать в сарай. Саша, мы нагружаем, а Егор возит. Потом поменяетесь.

Работа шла быстро, легко и радостно. Через час Том уже подгребал остатки угля, высыпавшиеся из дверей сарая, удивляясь, что не только не устал, но после приезда даже, кажется, отдохнул. Михаил унес лопаты, закрыл сарай.

— А где у вас тут курят? — Монгол достал сигареты.

— Курить за территорию. Пойдем, прогуляемся.

Выйдя из монастыря, они пошли вдоль узкой речушки. Вскоре тропа свернула вверх через сосняк, по устланному бурыми иглами склону. Слева каскадом спускался к монастырю старый сад с полузасохшими, покрученными деревьями.

— Грушевый сад. Его монахини еще в прошлом веке посадили. Сейчас эта территория нам не принадлежит. Некоторые иногда плодоносят.

— Это был женский монастырь?

— Была одна смешная история. Про писателя Михайла Коцюбинского слышали? «Тени забытых предков» — по его повести. Атеист был известный, даже Ленин его отмечал. И писатель, надо сказать, весьма талантливый. За радикальные рассказы он был вынужден уехать в Крым. — Михаил засмеялся. — Когда-то сюда отправили в ссылку христиан Космы и Дамиана, но в Римской империи это был дикий север, а у нас… Никогда не понимал этого царского гуманизма. В общем, в Крыму Коцюбинский узнал про наш монастырь и решил, так сказать, изобличить поповское мракобесие. Но, чтобы все было натурально, он прикинулся верующим и пришел сюда. Постучался в ворота. Возьмите, говорит, новоначального. А ему и отвечают: в этом году братия расформирована, а мужской монастырь стал женским. Ну, погулял он по окрестностям, погрустил, и назад пошел. «Погиб сюжет для повести! — писал он потом. — Пришлось написать небольшую новеллу».

— И как? Изобличил? — Том любовался пламе-

неющими на солнце стволами сосен.

— А то! Сюжет, конечно, бредовый, как часто бывает, когда о предмете пишет человек со стороны. Злая игуменья выгоняет молодую монахиню из обители за то, что та без спросу съела лесную ягодку. Но написано хорошо, живо. Особенно природа удалась. Ну что, пошли назад?

Солнце клонилось к закату. На хозяйственном дворе отец Силуан стучал молотком.

— Миша, бери своих помощников, и принесите воды, — крикнул он.

Похватав ведра, они спустились к роднику. Пока набирали, быстро стемнело. Изящный маленький храм с цифрой 1913 темнел рядом таинственным остовом прошлого.

— Это единственный храм, который дожил до нашего времени. — Михаил погладил шершавые серые камни стен. — Во время войны немцы добили остатки монастыря. Боясь партизан, спалили охотничий домик Николая II, ну и все, что могли сжечь. Этот тоже взрывали, но уничтожить не смогли. Он добротно сделан, из шунгита. Здесь, прямо под алтарем, сливаются в один два родника — Космы и Дамиана. Хотите посмотреть?

Он открыл храм и, убрав коврик с пола, поднял деревянную крышку. Под крышкой бурлила, буд-

то в котле, вода. Пенилась пузырьками, пучилась, закручивалась в кольца и водовороты.

— Главная наша святыня. До революции тут даже велась летопись исцелений, но мы не ведем. У нас тут один грузин был, почками болел. Врачи на него рукой махнули, а у нас он вылечился. Теперь иногда приезжает, потрудиться в знак благодарности. А другой парень, местный, исцелился от рака крови. Даже икону нам в подарок вышил, бисером.

Они долго глазели во тьму колодца.

— Вода живая, — наконец сказал Монгол. — А знаешь, где мертвая?

— Где?

— В Мертвом море.

После ужина они отправились на чердак. Это было длинное сквозное помещение с широкими окнами в скатах крыши. По обе его стороны между печных дымоходов были расставлены кровати и тумбочки.

— Хоромы!

— Смотри! Настоящие кровати! Это такие специальные штуки, на которых нужно спать! — Том недоверчиво коснулся одной из них. Осторожно лег сверху, не раздеваясь, и тут же уснул.

В монастыре

Он проснулся от негромкого звона колокола. Подтянулся на кровати, выглянул в окно. В робких утренних сумерках горел маленькими окошками деревянный храм. К нему спешили монахи.

«Нам же не обязательно», — сладко потянувшись, он перевернулся на другой бок и тут же уснул.

Проснулись они к полудню.

— Завтрак проспали! — расстроился Монгол.

Наспех умывшись, вышли во двор и сразу столкнулись с Мишей.

— Ага, проснулись? Я не стал вас будить. Поешьте, там еда осталась. А потом спросите у отца Силуана, чем ему помочь.

— А ты?

— А я отца Марка в город везу.

Отец Силуан стоял около дровника и рубил дрова. Делал это он как-то необычно. Вначале он ходил вокруг крупного пня, присматривался, цокал языком. Потом бил топором, но не по центру, а как-то вкось, с краю. Будто бы вовсе не колол, а разбирал, разваливал на части.

— Ну что, поели? Тогда давай работать. Ты, —

кивнул он Монголу на гору чушек, — вот эти покороче таскай в один угол, а длинные в другой.

— А мне чем заняться? — спросил Том.

— А ты дрова руби. Умеешь?

— А что тут уметь? — Том даже немного обиделся.

— Ну и молодец. Держи. — Отец Силуан сунул ему топор и куда-то ушел.

Том зашел в дровник, вдохнул сильный, терпкий аромат свежеспиленного леса.

Полена были толстые и тяжелые. Некоторые пни в диаметре достигали до полуметра. Том выкатил одно полено, с трудом втащил его на пень для колки и, размахнувшись изо всех сил, вонзил в него колун. Топор вошел сантиметров на пять и застыл намертво. Том безуспешно подергал топорище, несколько раз опустил другое полено на топор. Ничего не изменилось. Тогда он поднял пень двумя руками и ударил обухом о другое полено. Это тоже не помогло. Топор накрепко, до звона, вошел в дерево. Том присел на чурбак, снял взмокшую футболку, размазал по лицу душистые опилки.

— Сюда, сюда! — откуда-то неподалеку доносились крики отца Силуана.

«Не хватало, чтобы увидел мой позор», — он вскочил и, упираясь в полено ногами, стал изо всех сил расшатывать топор. Затем приметил в углу сарая чугунный печной колосник и, ударяя им по топорищу, постепенно смог извлечь инструмент.

— А я, оказывается, — «специалист». Это тебе не городские полешки для шашлыка. Что же это за дерево такое? — Взяв щепку, он повертел ее в руках, и только тут увидел на светлой древесине характерные темноватые черточки-пунктиры.

— Это же дуб!

Скрипнула дверь, и он вздрогнул.

— Что, не получается? — В дверях, хитро улыбаясь в бороду, стоял отец Силуан.

— Я… Сейчас. — Том готов был провалиться со стыда.

— А ты полегче выбирай, — мягко сказал монах. — На трещинки смотри. Где есть трещинка — туда и бей. Дуб — он как человек. Твердый, тяжелый, упрямый. Но если правильно ударить, то легко колется. Если трещины нет, ты бей не по центру, а с краю. За топорищем следи. Топорище березовое, мягкое, а дрова твердые. Старайся его не ранить, а то мигом в труху превратишь. Сучки обходи, оставляй на потом, руби там, где их нет,

а уже потом берись за самое трудное. Ну, не буду мешать.

Он улыбнулся, погладил бороду, и пошел по своим делам.

— Спасибо, отец Силуан! — крикнул вслед Том.

Он взял полено поменьше, нашел в нем трещину, ударил по ней. Полено легко лопнуло, разлетевшись далеко в стороны. Мало того: после первого удара пустили трещины и сами половинки. По большим он уже не лупил со всей силы, раскалывал их осторожно, с краю, будто резал на куски огромные деревянные торты. Работа начала спориться.

Монах пришел через полчаса, оглядел целую гору чурок.

— Во, другое дело. Ладно, пошли отдохнем.

— Я не устал.

— Все не устали, а отдыхать надо. Пошли, пошли!

Они сели около входа в корпус. Монгол, прикрывая глаза, блаженно щурился на солнце. Оно застыло в самом зените над монастырским ущельем, будто спешило прогреть все вокруг за короткое время здешнего светового дня. Из сонного полуденного анабиоза их вывел глухой удар: небольшая птичка врезалась в стекло распахну-

той двери корпуса и замерла, упав на пороге.

— Там же по-русски написано: «Без благословения не входить», — вздохнул монах, и, встав, подобрал птичку. Это была синица. В его мозолистых ладонях она казалась совсем крохотной. Ее лапки поджались, глаза затянула белесая пленка. На вид она была мертва.

— Что ж ты, несмышленая, читать по-русски, что ли, не умеешь? — жалостливо проговорил монах, осторожно поглаживая черно-белую головку одним пальцем. Птичка не подавала признаков жизни.

— Эх, дуреха ты, дуреха. А деток твоих кто теперь кормить будет? Кто будет печку топить, кашу варить?

Птичка вдруг широко открыла клюв и высунула длинный острый язычок.

— Смотрите, оживает! — вскрикнул Монгол.

— Дрова в этом году хорошие привезли! — продолжал отец Силуан, поглаживая синичку. — Отличный дуб. А в прошлом труху подсунули. По виду вроде такие же, только спил не блестит. Кинешь в печь — дым один. Сейчас уже немного разбираемся.

— Вы только дубом топите?

— Что лесники привезут, — тем и топим. Дро-

вами лесничество распоряжается. Иногда бук попадается, он хуже. С ними тоже нужно ухо востро…

— А бывали времена, что Церковь печи книгами топила… — решил сострить Том.

— Это какими еще? — удивился монах.

— Древними мудрыми книгами. Языческими знаниями. Я читал, что много пожгли, — продолжал Том, скосясь на Монгола. Тот молчал, хитро улыбаясь, — даешь, мол.

— А, вон ты про что, — монах помолчал, погладил седеющую бороду, явно подбирая слова. — Тут ты прав. Пожгли много. В Деяниях написано, что в одном Эфесе за раз спалили книжек на 50 тысяч драхм. Это около 360 килограмм серебряных монет. А я думаю, что правильно сделали.

— Почему?

— Я просто немного в курсе. Так что ты удачно спросил. Изначально язычество — это не совсем то, что мы привыкли считать религией. Язычество — это узкоприкладной набор средств по использованию тайных пружин этого мира. Это методика общения с падшими духами. Из тела вышел, полетел, перевоплотился… Всякое такое. Где-то язычество застыло, где-то культурно оформилось, где-то в искусстве прозябло. Но

изначально его суть — это задобрить демона ради материальных благ или каких-то сверхспособностей… Когда Моисей поднялся на Синай, евреи тут же сделали себе золотого тельца. Зачем практичному народу с вождем, который напрямую общается с Творцом, понадобились какие-то золотые поделки? Что за странный фольклор? Это же очевидно! Золотой болван действительно исполнял их просьбы. Иначе никто бы не стал тратить золото на бессмысленные статуэтки…

— Я не знаю, — проговорил Том. — Я не в курсе, где там ходил Моисей.

— Хорошо. Ты сказки любишь?

— Отлюбил уже.

— Про лампу Аладдина помнишь?

— Кто ж не помнит, — вставил свое слово Монгол. — Все кино смотрели.

— Неважно. Масляная лампа — это не масленка для еды. Это маленький выпуклый сосуд с узким горлом, в котором обитал джинн. А шаманы Южной Америки говорят, что их духи любят жить в грушеподобных тыквах. Какое совпадение, да?! А просто везде все одинаково. Вот, например, в Полесье считают, что в зеркале, обращенном в колодец, можно увидеть демона. А у индейцев есть практика погружения зеркала в течение реки, за

тем же самым. И таких совпадений множество. Это все говорит, что нечисть существует, что есть общая техника контактов с ней, независимо от региона.

Вдруг резко поднялся ветер, закачал тяжелые ветки старого дерева у братского корпуса, пробежал по кронам сосен.

Стало жутковато. Монгол посмотрел вверх, почему-то перекрестился. Даже у иронически настроенного Тома пробежал по спине холодок.

— Христиане боролись со всем этим знанием. — Отец Силуан говорил тихо, даже чересчур спокойно. — Жгли колдовские книги, разрушали капища. Где-то победили, где-то нет. Ирония нашего времени в том, что наука отказала язычеству в его прикладной составляющей. Высоколобые дядьки в толстых очках решили, что язычество — это просто народное творчество и кучка суеверий. Увы, это не так. И все может измениться. Если атеистическая эпоха отойдет в прошлое, а православие вновь превратится в обыденность, то мы снова увидим языческий ренессанс. Я думаю, что именно язычество будет предвестником конца света. Оно расцветет, поскольку Церковь не будет иметь права бороться с ним, как, например, боролась в Средневековье. Права язычников

будут защищаться так же, как теперь на Западе защищаются права гомосексуалистов.

Отец Силуан замолчал, поднял голову. Том тоже почему-то посмотрел в небо. Там, в студеной лазури горного неба, кружился одинокий ворон.

— Если жизнь вечна, то подвергать ее опасности здесь, на земле, не имеет никакого смысла. Вечность — это ведь куда дольше, чем наш мир. Никто не думает о том, что кладбище — это место, где мы обитаем куда дольше, чем где-либо при жизни. Поэтому не стоит разменивать вечность на временное благополучие. Вся эта языческая требуха дает знание, но не меняет твое нутро, не делает тебя лучше. А это значит, что ты уклонился от реального вызова.

Птичка окончательно пришла в себя. Будто ручная, она уже сидела на ладони, слегка наклонив голову и широко открыв рот. Отец Силуан держал ладонь открытой.

— Ну что, больше так не будешь?

Синичка сорвалась с его ладони и с легким шуршанием упорхнула куда-то в крону дерева.

— Ну и слава богу. Лети, душа живая! Давайте за работу.

Незаметно, за пилой и топором прошел их второй день. К вечеру, когда старый монастырский

сад вспыхнул вечерним золотом, из гулкой дали ущелья донесся протяжный распев. Наконец, на дороге, легко опираясь на посох, показался невысокий скуластый бородач лет шестидесяти. Он был в кожаных сапогах; длинная холщовая рубаха с вышитым воротником была подпоясана грубой веревкой. Он будто сошел со старинной открытки. На минуту он пропал из виду и вынырнул уже наверху, у братского корпуса.

— Здравствуйте, православные! — зычным, хорошо поставленным голосом нараспев проговорил бородач и размашисто перекрестился на храм. — Я Божий раб Ярослав, из Сибири иду. Хочу всю Россию-матушку обойти, везде помолиться о богоспасаемом нашем отечестве. Ваш настоятель меня переночевать благословил.

— И много прошли? — отец Силуан нахмурился.

— Широка земля русская, а всю не обойти. Тобольск, Екатеринбург, Уфа, потом Самара, — паломник стал загибать пальцы. — Дальше Полтава, Киев. Потом на север: Москва, Тверь, Кашин… Когда все пройду, — узнаете. Знамение будет.

В дверях корпуса показался отец Никита. Он шел в храм, привычно глядя себе под ноги, но

вдруг, подняв глаза на новоприбывшего паломника, отчетливо произнес:

— Прикуси язык!

И пошел дальше.

— Что это с ним? — вздрогнул паломник. — Настоятель-то благословил…

Не дождавшись ответа, продолжил:

— Повсюду лукавый рыскает аки лев, ища кого поглотить. В монастыри уже проникает лютый дух, в святая святых.

— Надолго к нам? — снова спросил отец Силуан.

— Переночую и дальше пойду. Нельзя прикипать.

— Есть, поди, хотите?

— Откушать, — это можно, если позволите. Третью седмицу до вкушения сыта не сиживал.

И отец Силуан повел новоприбывшего в трапезную.

Вскоре приехал Михаил.

— Ну что?! — он заговорщицки подмигнул Монголу. — Кто-то тут хотел побарабанить?

— Да ладно? — еще не веря, проговорил Монгол.

— Ща сделаем, — Михаил пошел в сарай, а через минуту вышел оттуда с топором, ножом и

старым фанерным ящиком. — За мной!

Он привел их на небольшую, будто комната, и окруженную вековыми соснами поляну.

— Та-ак, — по-хозяйски оглядев пространство, Михаил заметил торчавшее из земли молодое деревце и срезал его на метровой высоте. Затем стесал его верх потоньше и, надев кусок фанеры, перемотал побег сверху и снизу изолентой.

— Это будет хет! — Михаил чуть подогнул к себе край фанеры. — Он, конечно, без педали, но ничего. От него и будем плясать. А вы приволоките еще десяток полешек.

Через четверть часа посреди полянки громоздилось деревянное сооружение, отдаленно напоминающее барабанную установку. Альт, рабочий и тенор они составили из нескольких полен, установив сверху криво спиленные бревна. Вместо педали для бочки Монгол установил треугольный чурбачок, закрепив на носке своего кеда сдавленную консервную банку. Еще один пень побольше установили в качестве сиденья.

— Почти «Амати»! — смеялся Миша, оглядывая конструкцию. — От барабанов моих ничего не осталось, но! — Он полез за пазуху и вытащил оттуда повидавшие многое барабанные палочки.

— Сейчас опробуем. Звука не будет, тарелок то-

же нет, но это и не нужно. В твоей работе главное — ритм. А звук будешь издавать ртом. Умца-умца, таба-даба-дам.

Он еще долго настраивал хет и двигал полена, пока, наконец, не замер. Затем, четыре раза ударив палочкой о палочку, начал стучать:

— Туц-ца, ту-дуц-ту-ца! Туц-ца, ту-дуц-ту-ца-ца! Давай, теперь ты.

Монгол сел, взмахнул палочками, и начал барабанить.

— Стоп-стоп-стоп. Не спеши, стучи тише и аккуратнее. Громкость придет потом. Палочки, палочки возьми где-то на две трети. Пятку от педали отрывай. Держи ритм, не ускоряйся. Про переходы пока забудь. Четыре удара по хету, на первый такт — бочка, на третий — рабочий. Давай, я ритм задам.

Монгол стал стучать, сбился, начал опять.

Том присел неподалеку на лишний чурбак, любуясь этим странным и молчаливым музыкальным инструментом. Миша, подперев рукой голову, внимательно слушал Монгола. Тот был предельно сосредоточен.

— Туц-ца, ту-дуц-ту-ца! Туц-ца, ту-дуц-ту-ца-ца!

Минут через пять Том поймал себя на мысли, что слышит музыку. Ту музыку, которую не мо-

жет слышать. Но она звучала, ее играл Монгол!

— Так, а теперь давай поменяем рисунок. Хет-раз-два-рабочий-бочка. Хет-раз-два-рабочий-бочка. Ритм, держи ритм. Давай, я задам.

Монгол вспотел. Он тщательно держал ритм, напряженный, как пружина, слегка подпрыгивая на месте. Он полностью ушел в себя, повернув голову куда-то влево и вверх. Время от времени он сбивался, начинал снова и снова, пока наконец не стал простенько, но довольно сносно держать несложный ритм.

Так продолжалось около получаса.

— Ладно, хватит на сегодня. Пора на вечернюю, завтра праздник. А ты молодец, ритм держишь. Главное — научиться делать самое простое, базу. Потом будет проще. Завтра продолжим.

Вечером все собрались в трапезной. Том сидел между Монголом и паломником Ярославом. Доев миску каши, тот отложил ложку, вытер усы и спросил:

— А вот скажите, люди добрые, можно ли православным петь песню: «Папа купил автомобиль»?

— А почему же нельзя? — недоуменно проговорил отец Леонтий.

— Песенка кажется простая, да не простая. Там говорится, что папа с семьей едет куда-то в вос-

кресенье, а ведь этот день нужно посвятить Богу.

Видя, что монахи молчат, он добавил:

— Меня одна женщина спрашивала, сибирячка. Волнуется.

— Скажи, пусть поет. Только громко, — отвечал отец Леонтий.

Все засмеялись, вновь увлеклись едой.

Отец Леонтий искоса глянул на отца Никиту. Тот, углубленный в себя, молча жевал размоченный хлеб. Остальные монахи время от времени, усмехаясь в бороды, поглядывали на колоритного паломника, исподволь ожидая от него еще чего-нибудь смешного.

— Что у вас еще интересного в Сибири? — наконец спросил кто-то.

— Много чего. Говорят, что Сильвестр Сталлоне православие принял.

— Да ну?! — Монгол даже отложил ложку.

— Всему, конечно, верить нельзя. Но это факт проверенный, — неспешно, умеючи говорил Ярослав. — Принял, значит, он православие. И пришел однажды к Джорджу Бушу в Белый дом. И говорит ему: иду я за Русь Святую матушку воевать, и никому из вас ее не одолеть. А Буш окаянный его бутылкой по голове ударил, и голову ему разбил. Теперь он в больнице лежит, с

сотрясением.

— А в кого же его крестили? — спросил кто-то из монахов.

Ярослав замялся.

— Ильей окрестили, в честь Илии Муромского. В газетах, конечно ни слова: замалчивают, слуги лукавого. Но письма оттуда идут.

И он таинственно кивнул куда-то себе за плечо.

— Ну раз письма идут, то я спокоен, — усмехнулся отец Леонтий.

— Рано радоваться, — с ноткой трагизма проговорил паломник. — Сейчас в Екатеринбурге останки царские ищут, чтобы народ обольстить. Только нету их. Царь-батюшка искупил Русь-матушку, а его косточки в порошок пережгли и с вином выпили. Храмы на пятнадцать лет всего открыты, а потом антихрист. А на дворе уже преполовение. Близ есть, при дверех.

— Время теперь такое, — заметил отец Леонтий. — Сам сатана нынче — не враг рода человеческого, а демократическая оппозиция.

— Это да! — вздохнул кто-то.

Отец Никита в разговоре участия не принимал. Шамкая своим беззубым ртом, он редко отрывал глаза от тарелки. Разговор, вспыхнувший, как

солома, так же быстро и угас.

— Отец Никита, как думаете, в следующем году Ельцина выберут, или кто другой будет? — вдруг спросил Монгол.

Отец Никита отложил ложку, вытер бороду.

— Я не знаю, — проговорил он, вымазывая хлебом остатки каши. — Я знаю то, что если Никитка покается, — Россия спасется. Помолимся?

И он встал, давая понять, что трапеза окончена.

К ночи они втроем с Ярославом поднялись к себе на чердак, показали паломнику свободную кровать. Тот снял рубаху, перекрестился, почесал живот.

— Страшное ожесточение наступило в людях, — со вкусом сказал он, и стекла в окнах слегка звякнули. — Но скоро, скоро конец.

— Не переживай, — усмехнулся Монгол. — Скоро конец России, да и дело с концом.

— Россия отмолена, и она будет стоять до конца. Россия только укрепится, и воссияет в праведниках. А на Украине веры не останется.

— Не сегодня-завтра развалится, — подначивал Монгол.

— Антихрист весь мир захватит, а Россию не возьмет, — упрямо твердил паломник.

— Ну и ладно. Тогда не о чем переживать. — Монгол закрыл глаза.

— Как не о чем? — всполыхнул Ярослав, — готовиться нужно. Антихрист весь мир завоюет, и на Россию ополчится. Голод будет. Китайцы со всем миром объединятся и Сибирь заберут. А потом придут домой, и скажут: подпиши здесь, и мы дадим тебе хлеба. А на ваучере — три шестерки. Имеющий ум да сочтет. Его нельзя подписывать, даже под страхом смерти, потому как за это ждет ад и вечные муки. А потом Апокалипсис.

— А я знаю, когда Апокалипсис начнется, — захохотал Монгол. — Сразу после его рекламы по ящику.

— Не тема для шуток, — скорбно сказал Ярослав.

— Ты ж сказал, что антихрист Россию не возьмет, — вставил Том. — Живи себе да радуйся.

— Не возьмет, если Россия покается. А покается или нет, — то мне неведомо. А ведомо мне, что жиды захватили весь мир, и плетут свою хитрую сеть, спаивая и покоряя народы. Но скоро они поедут антихриста встречать, в Палестину.

— Надо Мосе сказать, чтобы уезжал, — устало проговорил Том.

— А если не уедет, то чтобы больше не нали-

вал, — ухмыльнулся Монгол, повернулся на другой бок и снова закрыл глаза.

Ярослав еще долго рассказывал что-то про колено Даново, про Пятый удел, про Гога и Магога, про оскудение любви, про соль и свечи, пока Монгол, наконец, не отрезал:

— Слушай, ты, мученик заочный! Нимб смахни, а то слепит.

— Близ есть, при дверех, — вздохнул паломник и, наконец, умолк.

Успение

Они проснулись на рассвете от громкого пения. Паломник Ярослав стоял у своей кровати и, молясь нараспев, надевал на себя свою народную рубаху.

— Чего в такую рань? — испугался Монгол. — Случилось чего?

— Так уже к заутрене звонили. Праздник сегодня большой. Успение.

— Вот время летит! — многозначительно произнес Монгол и живо вскочил с кровати.

«Живем в монастыре уже третий день, а в церкви ни разу не были. Надо бы посмотреть, что там у них творится», — подумал Том и тоже встал.

В монастыре ему нравилось. Здесь было что-то большее, чем просто размеренная жизнь собравшихся вместе мужиков. Чем-то все это отличалось от компаний на побережье, которые так же, как и здесь, ели и спали, рубили дрова, мылись и вели хозяйство. Он никак не мог подобрать слова своим чувствам. Что-то иное сквозило из каждого уголка обители. Что-то, что делало Михаила почеловечески заботливым, отца Силуана наделяло простотой и беззлобным юмором, а отца Никиту

— трогательной неземной мудростью. Все они будто соблюдали какой-то негласный договор любви, не показушничая, не хвастаясь, не играя. Но зачем? Чтобы попасть в рай? Так может быть, он возможен уже здесь, но ему мешают все эти религиозные условности? Эти долгие стояния в храме заутро, эти подобострастные поклоны и нелепые вымаливания.

«Ладно, пойду постою, посмотрю, как Коцюбинский, на все это мракобесие. По крайней мере никто потом не скажет, что я не разбираюсь в религии». — Ежась от ночного горного воздуха, Том вышел на улицу, машинально глянул на узкую полоску неба над головой и поспешил в церковь.

Маленький храм показался ему битком забитым, хотя народу было немного: Михаил, шестеро монахов, свечница, две женщины, которые помогали на кухне, прибывшая утром супружеская пара паломников, Ярослав и они с Монголом. Вся братия была одета в черные рясы и шапки. Михаил стоял за аналоем и монотонно читал толстую книгу. Отец Никита ходил, размахивая кадилом, по храму, затем зашел в алтарь и распахнул в нем небольшие дверцы. Густой, душистый запах ладана заполонил все вокруг. Колыхнулись, отражаясь в иконах, огоньки свечей.

— Благослови, владыко! — заунывно протянул один из монахов.

— Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков! — заревел трубой длинно, почти по слогам, отец Леонид.

Монгол стоял тут же, справа у двери. Погруженный в себя, он едва уловимо шевелил губами.

«Ишь, какой молитвенник. Профи», — едко подумал Том, и в который раз поймал себя на мысли, как легко изменился Монгол, как вписался в монастырский ландшафт. Он уже совсем заправски крестился, уже уверенно клал поясные поклоны. Он стал глубже, основательнее, будто питаясь монастырскими соками.

Просто стоять было неинтересно, и со скуки Том разглядывал храм. Рядом, на подсвечнике тихо потрескивали, гнулись от жара свечи. Монахи однообразно пели какие-то протяжные песни, смысл которых почти не доходил до его сознания. Поначалу он пытался разобрать слова молитв, любуясь первыми солнечными лучами, в которых крутились клубы дыма от ладана, но вдруг улетел мыслями куда-то домой, на свою дачу, на озеро с веселой соседской детворой, и на миг ему показалось, что он даже задремал. К реальности его вернул отец Никита. Он вынес какую-то книгу

и перекрестил ею присутствующих. Некоторые молитвы он читал совсем походя, скороговоркой, другие громко и медленно, перебирая слова, будто четки. Подходя поближе к иконам, он словно разговаривал со святыми витиеватым церковнославянским языком.

Время тянулось медленно, вязко. Том вдруг понял, что стоять стало совсем невыносимо: ноги налились горячим свинцом, а спину будто нагрузили камнями. Он резко, непоправимо устал, и все, что ему хотелось, — это немедленно выйти, нет — выскочить отсюда.

— Марфа же, — читал отец Марк, — заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее.

Том взглянул по сторонам. Было похоже, что такая внезапная усталость мучила только его, и от этого стало почему-то обидно. Он постоял еще немного, пытаясь пересилить себя, но к боли в ногах теперь добавилось раздражение, которое неожиданно накрыло его жаркой стремительной

волной. Он вдруг невероятно разозлился — то ли на себя, то ли на весь, такой несправедливый к нему, мир. Не понимая, что с ним происходит, и одновременно не решаясь выйти, он переступал с ноги на ногу; тело взмокло, неровно затарахтело сердце.

«Как они тут, часами?» — Ему вдруг показалось, что он умер, что съеден каким-то огромным существом, гигантской рыбой, а стены этого небольшого деревянного храма — ее тесные ребра, которые давят его со всех сторон. Стало совсем душно.

Не выдержав, он схватился за ручку двери и выскочил из храма, вдохнул полной грудью утренний горный воздух, сделал пару шагов. Усталость сняло как рукой, боль в ногах тут же прошла. Сердце, будто выпорхнув на волю, трепетно застучало от радости.

На дворе было пусто и тихо. Ему вдруг сильно захотелось куда-то пойти, чем-то заняться, с кем-то поделиться своей непонятной радостью. «Сколько времени тратят, и на что? Можно и дров наколоть, и еду сварить. Или в горах погулять. Столько всего полезного сделать, чем просто стоять, как подсвечник, да еще и так мучиться. Я, совсем не старый, недолго стоял, а еле выстоял.

А им каково?»

Он вздохнул, и вдруг вспомнил евангельскую Марфу.

«А ведь я с ней согласен, — подумал он и почему-то побрел в корпус. — Она думала о том, чтобы всем вокруг было хорошо».

Поднявшись наверх, он бесцельно побродил по чердаку, остановился у кровати, стараясь не думать о том, зачем сюда пришел. Присел у изголовья и, отбросив условности, сладко вытянулся на ней. Но уснуть не получилось: вскоре вновь зазвонил колокол. Кончилась служба, зазвенела посуда внизу, и монастырь наполнился шумом.

Последний trip

После праздничного стола они опять пошли барабанить. Михаил достал из кармана бумажный листок и карандаш, набросал на нем линейки нот.

— Теперь будем как взрослые. Смотри! Вот четыре такта, вот инструменты. Нижняя точка — бочка, это хет, это рабочий. Здесь четыре ритма. Вначале стучишь этот, минут пять. Затем меняешь на следующий. Понятно?

— Вроде да.

— Работай! — Михаил пошел к Тому, устроившемуся на чурбаке у края поляны, и присел рядом.

— Не тянет? — Том кивнул в сторону барабанов.

— Бывает… Ловлю себя на мысли, что выстукиваю что-то на столе, на коленке. Барабан, как мне кажется, делает время понятным, осязаемым. Как-то очеловечивает его.

— Как же тебя сюда занесло?

— Сюда просто так не заносит. Господь привел… Через наркотики.

— Непросто.

— Здесь у всех непросто. Из верующих семей никого нет. Отец Леонтий — бывший хиппи, еще из тех, первых. Отец Силуан поколдовывал, в Крыму был известным целителем. Отец Леонид к вере пришел, когда увидел в храме бесноватого. А я дурак был. Все щупал границы дозволенного. Вот Господь мне мою дурость и показал. Мы ж, рок-н-ролльщики, смерти не боимся, правда? — засмеялся он.

— По-разному. — Том почему-то сразу вспомнил Аюдаг.

— Рок и смерть всегда шли рука об руку. Может быть, в противовес поглощенным сытой жизнью обывателям. А может, потому, что смерть — она как универсальная приправа, любое творчество делает глубже, весомее. Ведь с тех пор как ты перестаешь бояться смерти, она начинает тебя манить. Она кажется тебе выходом в открытый космос. Она всегда при тебе как дверь, как последний рубеж. Ведь там, за этой дверью, кроется самый главный ответ: в чем смысл жизни? А ты сидишь в этой обыденной реальности, будто в банке, смотришь на мышиную возню вокруг и понимаешь, что если не покинешь ее пределы, то никогда не поймешь, что ты такое и зачем. Так?

— Так.

— Но есть одна вещь, которая чем-то похожа на смерть. Это безумие. Конечно, никому не хочется сойти с ума, но гениальность — она ведь тоже где-то на грани безумия. Я бы сказал, что гениальность — это зарифмованное безумие. Всем известно, что на гения *находит* вдохновение, что какой-то дух *движет* его мыслями, что не от ума это, не от интеллекта, когда строчки сами летят из-под пера. Есть какие-то силы, какие-то состояния не-от-мира-сего, а я бы сказал — не от разума. Следовательно, думал я, — все, что убивает разум, что заставляет жить бессознательным, на время выпускает тебя из этой внутренней тюрьмы. Мне казалось, что по ту сторону ума лежат сокровища, там хранится чистое знание. Достаточно отправиться в этот космос не телом, а только сознанием. Как? Естественно, через наркотики. Ведь наркоман наркоману рознь. Один хочет балдеть, а другой ищет смысл жизни. И я этим увлекся… Все началось, как обычно, с травы. В первый раз даже глючит, но это только поначалу. И привычки вроде бы нет, — не то, что с табаком! Ты еще не понял, что уже сидишь на крючке: привычки нет, а отказаться сложно. Ведь зачем отказываться, если это интересно?

В этот момент приходит мысль: все плохое,

что слышал про наркотики, — полное вранье. Они не хотят, они боятся твоей свободы! Это просто запретный стимулятор для творчества, до которого они не доросли! Ты не замечаешь, что, получив свободу от закона, попал в плен к траве. Возникают новые интересы: где достать? Самому вырастить или купить? Поначалу все это выглядит как приключение.

— Ты мне сейчас напоминаешь нашего участкового.

— Это мой опыт. Ты же вроде хотел узнать, как я пришел к Богу?

— Прости, я перебил.

— Трава почему-то не помогала. Так, какая-то забавная дурь, но я ждал большего, а гениального почему-то не рождалось. Я стал пробовать разные «колеса», варил «молоко», жарил «кашу». Все без толку. Тут бы прийти к выводу, что этот путь — тупиковый, но вокруг уже появились новые друзья, сложился интересный круг общения, круто замешенный на романтике запретных плодов. Вечерами мы думали, к кому бы пойти, чем бы убиться. Кто-то все время описывал что-то новое, рассказывал об ЛСД, и мне хотелось попробовать что-то посильнее, раздвинуть рамки восприятия. Тогда я еще не собирался колоться. Боялся,

что присяду. А несколько моих приятелей уже попробовали. Они по-прежнему были моими друзьями, но в этот «клуб» по интересам я был не вхож. Меня не звали на некоторые вечера, я все чаще выпадал из общения. Ничего, думал я, чувствуя свою ущербность, — зато у меня есть друзья-трезвенники. Правда, с ними было не о чем говорить, кроме баб, спорта, дачи или рыбалки. И вот однажды мой дружок Сева притащил шприц и радостно заорал: «Чувак, это не черняга какая-то, это чистяк! Это настоящий наркотик правды! Только сегодня, из Питера подогнали. Ты готов?»

Я как раз поссорился с девушкой, и в глубине души уже морально дозрел. А, пропади все пропадом, подумал я, и согласился разок попробовать, еще не осознавая, что однажды продырявленная вена — это как потеря девственности: раз и навсегда. Для повторения опыта просто не остается серьезных препятствий.

Короче, мне понравилось. Я будто снова начал жить с чистого листа. Я был светел и прозрачен, словно ребенок, но с восприятием взрослого и с памятью о прошлых своих ошибках. Мне казалось, что я больше никогда не стану наступать на старые грабли глупых обид и взаимных оскорб-

лений. Что нужно делать добро и прощать зло. Я был трезв, добр, спокоен и рассудителен. Да что там! Мне казалось, что я стал невероятно мудр…

Но уже на следующий день зло вернулось, и в трехкратном размере. Я взбесился из-за какой-то мелочи и, вспоминая вчерашнее безмятежное состояние, даже удивился такому контрасту. Повод был ничтожен, на него не следовало обращать внимания. На этой разнице состояний я понял, что зло гнездилось где-то в моих недрах, поскольку я прекрасно помнил его вчерашнюю абсурдность, был сознательно настроен против него, а тут вдруг так легко сорвался.

Это простое открытие страшно удивило меня, дало пищу для размышлений, но исподволь родило желание попробовать еще. Конечно, казалось мне, я делаю это не из-за тупого наслаждения, а лишь в качестве закрепления опыта, как естествоиспытатель анализирует эффект от новых лекарств. Правда, того раствора больше не было. Но я быстро стал не столь избирателен. Мне стало казаться, что для творчества пойдет любое изменение сознания, что трава — для лохов, а к серьезным открытиям ведут только серьезные вещества. К тому же физически я по-прежнему ни от чего не зависел. И я вступил в этот закрытый

клуб под крепкое мужское похлопывание.

Помню, первым делом старшие товарищи научили: купи себе шприц с резиновым поршнем: им мягче двигаться. Заклей деления скотчем, чтобы они не стерлись со временем. Не бойся толстой иглы: дырки от нее заживают быстрее, чем от инсулинки. В общем, ввели в курс.

Наркоманы — люди удивительно чувственные, добрые. Пока есть чем проставиться, конечно, тебя окружат заботой. «Как ты себя чувствуешь?» «Не жарко?» «Не холодно?» «Не надули ли тебе мимо вены?» «Не трухануло ли тебя от грязного раствора?» Эта удивительная дружба с почесыванием спинок (тело чешется, когда грязный раствор) — странный симбиоз обреченных. Но от этой обреченности, от этого танца со смертью между людьми устанавливается теплая глубокая забота. Как в окопе перед последним боем: некогда ссориться, да и глупо. Бесы своих почти не трогают.

Была и другая сторона медали. Я еще не понимал, что люди, попавшие в зависимость, слабеют морально. Обманывают, подлят, стучат. Сильные ощущения ослабляют волю, делают даже крепкого человека готовым на все. Я никогда не забуду, как один из залетных торчков катался у меня на

кухне по полу, целуя мне ноги только за то, чтобы получить на один кубик больше. Такое я видел только в кино, и тогда меня это поразило. Но я не подозревал, что сам могу так же оскотиниться. Увы, есть вещи, которые сильнее нас, особенно если мы сами разрешаем им стать сильнее.

Потихоньку я перепробовал все, до чего мог дотянуться, — от «винта» до грибов. Быть трезвым уже казалось глупостью. Я вроде и не сидел на системе, как те несчастные торчки, о которых пишут в газетах, но постепенно сама жизнь без веществ стала бессмысленно пресной. Не то что мне было скучно, или, там, ломало. Это все — чепуха. Я чувствовал себя будто герой-первопроходец, Гагарин своего внутреннего космоса. И уже казалось преступлением бросить его исследование только потому, что какой-то умник назвал наркотики злом. Я уже не замечал вокруг грязных бинтов, следов крови на стенах, не чувствовал запаха йода и ацетона, которыми провонял мой дом. Эта подмена сознания происходила медленно. Мне казалось, что я должен творить. Но…

— Как раз спросить хотел, — усмехнулся Том. — А что с творчеством? Помогло?

— А с творчеством было по-прежнему не очень. Как будто ты каждый день покупаешь билет

на гениальный фильм, а получаешь бредовый мультик без концовки. Постепенно стало не до репетиций: ребята играют какую-то банальщину, в то время как тебе хочется проникнуть в тайны вселенной. Да и вообще, мы же боимся смерти? Нет. Так разве творчество не подождет, если есть раствор? А ведь еще недавно я считал, что наркотики нужны ради творчества. Я оказался во власти стихий, которые были сильнее меня, закручивали меня, как щепку, в гигантскую воронку. И чем дальше я плыл, тем меньше боролся с течением. И все меньше переживал по поводу закономерного финала. Однажды, в галлюциногенном бреду, я увидел свою могилу. На ней была эпитафия: «Здесь лежит невероятно крутой музыкант, очень тонкая личность. Он играл, но его гений не оценили. Его душа не выдержала этого черствого мира, и он умер от передозировки». Сейчас это звучит смешно, как-то по-детски пафосно… Но тогда в этом не было ни доли иронии.

Михаил замолчал. Где-то в глуши леса куковала кукушка, будто помогая Монголу держать его монотонный ритм.

— Я не изменил себя, ничего не узнал, я почти сторчался. У меня больше не было никаких творческих прорывов. Смерть будто поставила

меня на счетчик, который отсчитывал последние дни. Только тщеславие молодого музыканта постепенно сменилось обиженностью неоцененного гения. Сейчас это звучит дико, но тогда мне казалось, что все вокруг радостно подбадривали меня: ты можешь! Давай! Покажи, как в этой печи сгорают настоящие герои! Убей себя! Я шел под эти аплодисменты дальше, и уже не мог остановиться. Друзья-то простят и поймут, но гордость скажет: если ты бросишь все это, то ты сломленный человек. Ты слабак. Все это время ты не играл в рок-н-ролл, ты притворялся. Ты личность *не до конца*, ты остаешься в тюрьме своей жизни, вместе со скучными донельзя спортсменами и рыбаками. Твоя ракета навсегда приварена к стартовой площадке. Она никогда не полетит на Марс, и пылиться ей где-то на полочке твоей души. Так что если ты реально честен и крут, — иди вперед, иди до конца, за пределы этого мира. Уничтожь этот злой мир своей смертью! Покончи раз и навсегда со всеми, кто недостоин твоего общества!

Что меня еще держало? Тонкое чувство неудовлетворенности: если я уйду неоцененным, то погибнет… Нет, не тело! Мой неоцененный гений! Я еще поживу! Я докажу!

И я двигался под этот вкрадчивый шепот дальше. Я будто писал эпитафию о себе, жертвующем здоровьем ради искусства. Я оплакивал гения, идущего на плаху ради людей, и получал от этого удовольствие.

Миша помолчал.

— Сейчас я думаю: зачем все это было? Я не знаю. Наверное, ради рок-н-ролла. Или ради свободы. Ведь все настоящие музыканты уже умерли, и хотя бы в этом я мог с ними сравняться. Жизнь была уже ничто по сравнению со смертью ради любви и свободы, особенно когда вокруг тебя сияет ореол мученика.

— А родители?

— Родители? Вначале они беспокоились, убеждали. Мать приносила какие-то брошюры, прятала шприцы, искала знакомых врачей. Потом грозили, пугали милицией. Потом уже скрывали — от той же милиции. Из группы меня — нет, не то что выгнали… Просто дали понять. Однажды я пришел на репетицию, а за барабанами сидел незнакомый человек. Стучал он коряво, и я вначале даже засмеялся: кто может меня заменить? Я был лучшим! Но мне больше не звонили. Конечно, мне было обидно, но я уже понимал, что либо — дружба, либо — музыка, и больше туда не

возвращался.

Парадокс, но они помогли мне. Они поставили на мне крест, и это меня взбесило. Я решил начать новую жизнь. Доказать всем, какого великого человека они потеряли. Я уехал в Харьков, поступил в академию, пару лет учился, достаточно хорошо. Думал, что все кончилось. Что я приеду домой, такой умный и красивый… И все скажут: «Ты крут, чувак! А мы-то думали, что ты сторчался».

Харьков меня покорил, особенно весной. Осенью он уныл и страшен, но весной это — сказочный, наполненный солнцем город. Постепенно вокруг меня образовался такой же «кружок по интересам». Вначале я думал, что если уже бросал, то и снова, если нужно, — брошу. Но вдруг вошел в такой штопор, будто догонял все, что недоколол в тот год. В конце концов я завалил сессию, и меня отчислили. Я вернулся домой, наврал матери, что взял академку, потому что за мной охотятся бандиты. Думаю, что она все поняла, но не подала виду. А потом вернулись старые приятели — те, кто остался жив. И все пошло по-старому. Потом умер отец. Мать махнула на меня рукой, и, чтобы не смотреть на мои «подвиги», поселилась на даче. Она видела во мне невменяемого и самовлюбленного торчка со спаленными венами. Зато

я манипулировал ею, совершенно не замечая, как она неумело переживает за меня. Я просил денег, угрожал ей смертью, а временами врал, что завязал и мне нужны деньги на лечение. Какими смешными казались ее доводы о здоровье, этот старперский ЗОЖ! Я видел лишь лицемерие, трусость, страх заглянуть по ту сторону жизни.

Я все еще чувствовал в себе силу творить, я — феномен, творец, гений барабанов! Мне казалось, что мой Парнас был совсем рядом! Что я вот-вот дойду до его вершины. Что вечные древние музы поцелуют меня и я выдам, наконец, свое слово. Свой неповторимый звук, композицию, мысль, которая взорвет мир, изменит все человечество! Вот только играть было уже не с кем. Наша старая группа распалась. Кто-то женился, кто-то уехал на заработки. Все повзрослели, окунулись в быт, стало не до музыки. А рядом со мной остались только такие же товарищи по несчастью, которые всегда готовы поднять рюмку друг у друга на похоронах — искренне, со слезами. Ведь они тоже чувствуют сопричастность вечности, они тоже готовятся отчалить за Стикс…

Миша прислушался, повернулся к Монголу.

— Стой, ты ускорился. Давай, я еще раз задам. Раз-два-три-четыре!

Монгол снова застучал.

— И вот однажды я подумал: хватит. Либо сейчас, либо никогда. И вогнал себе двойную дозу какого-то коктейля.

Меня закрутило в черно-белом мозаичном вихре, голову сжало, как тисками. Я вылетел из своего тела и повис над ним. Я лежал с закрытыми глазами в своей комнате, на кровати, и в то же время как бы парил над собой, рассматривая свое тело с холодным, отстраненным любопытством. Потом стены комнаты потемнели, и я провалился в черный космос. Меня быстро понесло в свистящем вихре, и отстраненное любопытство сменилось холодным и трезвым, но отчаянно диким ужасом. Игра со смертью вдруг превратилась в реальность. Мне стало так страшно, как не было никогда, и от этого ужаса некуда было деться. Будто кто-то глодал меня со всех сторон длинными, как сабли, зубами, — сильный, страшный, хозяин мрака. В какой-то миг все кончилось. Я стоял посреди, если можно так сказать… Свалки. Она тянулась до затянутого серыми тучами горизонта, занимая все пространство вокруг. Здесь были остатки поросших мхом фундаментов, обугленные деревья. Из земли повсюду торчали разбитые гипсовые статуи неизвестных мне эпох,

валялись древние полуистлевшие книги, виднелись сросшиеся, переплетенные, будто провода, человеческие тела без лиц, и еще множество странных осколков непонятных предметов, невнятных вещей. Весь мир вокруг выглядел словно свалка разума, разбитое корыто человечества. От него веяло холодным отчаянием, тленом, сумасшествием, и в нем не было ничего, на чем можно было бы отдохнуть глазам. Я ходил между камнями, спускался в ямы, находил тропинки, оканчивающиеся ничем, брал в руки обломки странных механизмов. Они словно шептали мне на ухо свои назначения, смысл которых никак не доходил до меня. Каждое из них было по-своему оригинально, каждая вещь была не просто так, она имела смысл. Я будто попал в ожившие видения Босха. Но если на его картины можно было посмотреть и отвернуться, то из этой странной реальности не было выхода. Все вокруг было настолько живо, что вскоре я стал сомневаться, а был ли мир, в котором я жил много лет, или он мне тоже когда-то приснился, как маленький осколок вселенной, наполненной множеством других реальностей? Вернусь ли я назад? Или, может быть, все окружающее — это сам я, моя изнанка, развалины моей больной души? Будто

кто-то подарил мне драгоценную игрушку под названием разум, а я разбил ее. Вот оно все, собранное в одном месте: необычное, интересное, удивительное. Бери, разглядывай, прислушивайся. Разве не это я искал? Но зачем мне все это теперь, если я был абсолютно одинок? Ведь все мои потуги были всегда направлены вовне, не на себя. Я искал все это, я жил только ради внешнего. Ради признания со стороны, рукоплескания других. Но для тщеславия нужны минимум двое. А если ты одинок, то все сокровища мира — просто ненужный хлам.

Эта половинчатость, тоска по кому-то другому, ущербность моего одинокого внутреннего мира вгоняла меня в отчаяние. Снаружи не было ничего, что радовало бы меня. Я пришел к выводу, что смысл человека находится либо внутри него, либо его просто нет в природе. Мне было проще считать, что он есть, иначе становилось совсем страшно. В конце концов, где-то существовала иная, более упорядоченная вселенная, о которой я помнил. Какой-то смысл должен быть во всем этом, — я просто никогда не искал его в себе.

Чтобы не сойти с ума, я спасался воспоминаниями прошлого. Они будто охраняли мой рассудок, давали какую-то осмысленность, но в то же время

жгли своей бестолковостью, глупо проведенной жизнью. Моя совесть превратилась в оголенный нерв: за каждый идиотский поступок из своих воспоминаний я получал ее обжигающий укол в самое сердце. Но эти инъекции будто спасали меня от безумия…

Тому на носок ноги вдруг села серая птичка с темно-оранжевой грудкой. Повертев любопытной головкой, прыгнула на колено и тут же упорхнула в гущу листвы.

— …Мне казалось, что я пробыл там тысячу лет, — продолжал послушник. — То, земное время, думал я, — это была роскошь, это был подарок. Это было средство изменения себя. Там можно было предвкушать или переживать, можно было что-то менять. Мое земное прошлое казалось райским блаженством. Здесь же у меня не было будущего, а настоящее лишилось всякого смысла. Время совсем остановилось. «Я не могу ничего изменить!» — эта мысль будто колом прибивала меня к земле.

Пустой, никому не нужный человек, я проворонил свой шанс. Я жил ради внешнего, я искал счастье вовне, я увлекся фантиком, ничтожным по сравнению с вечной глубиной своего «я». Тщеславие и хвастовство — вот и все, что было в моей

жизни, умело замаскированное словами о нереализованном таланте. Вот оно, вокруг меня, — мой собственный мир. Но где же я? Сам я?

Однажды, блуждая по этой безбрежной долине, я нашел осколок зеркала. Я посмотрел в него, но не увидел своего отражения. Я протер стекло, убрал с него грязь, снова всмотрелся, и вдруг, на уровне глаз, прямо у себя за спиной увидел линию горизонта. Я видел землю и небо, но меня в нем не было. Это отражение моей пустой души, — ужаснулся я, выкинул его, и побрел дальше. Брести куда-то, чтобы не сгнить в этом аду, — а что мне еще оставалось делать? «А если я жив? — иногда посещала меня унылая мысль. — Вдруг я в коме? Где-то, в далеком потерянном мире, лежит мое тело, и его, подобно овощу, кормят через трубку». Если, конечно, мое тело действительно было, и мне не приснилось мое далекое прошлое. Но ведь я ясно помнил его. Я помнил мать и отца, помнил свою девушку. «И мне было бы гораздо проще, — рассуждал я, — придумать себе какое-то иное прошлое, более приятное, но я этого сделать не могу. Мне за него больно, а значит оно — было».

В аду — только и разговоров, что о прошлом. Без смысла, без любого, самого ничтожного смысла невозможно дышать! Как это оказалось важно!

А у меня не было никакого смысла, кроме воспоминаний, которые к тому же обжигали душу… Я вдруг рассмеялся, вспомнив, что там, на земле, атеисты считают верующих слабаками, думая, что после смерти всех нас ждет небытие. Небытие, казалось мне, — это блажь, это почти рай, это Великое и Безболезненное Избавление Без Искупления. Попробовали бы они прожить тысячу лет посреди наполненной бредом пустоты, которая регулярно наваливалась жарким ужасом совести.

Над головой громко и гулко закуковала кукушка.

Том глянул в сторону монастыря. Там уже ползли по склону косые тени деревьев старого сада. Вечерело.

— Динь-динь-динь-динь-динь! — Вдали зазвенел к вечерне монастырский колокол.

Монгол, услышав звук, встал со своего пенька и вопросительно посмотрел на Михаила.

— Пошли, пошли! — тот призывно махнул ему рукой.

И они побрели к воротам монастыря.

— Райское место, — изрек Монгол.

— Райское, — послушник усмехнулся в бороду. — Кстати. Хотите увидеть рай?

— Смотря каким способом…

— Панки рая не боятся, — хохотнул Монгол.

— Тогда встречаемся сегодня в три часа ночи, у скамейки храма.

— У нас будильника нет.

— Я дам. Какая одежда есть, — наденьте: будет прохладно. Можно сумку взять, бутылку воды. Я поесть захвачу.

Рай

— Дзззззинь! — заплясал на тумбочке неистовый советский будильник. Том хлопнул по нему рукой, и тот затих. Том отвернулся к стенке, снова закрыл глаза. Всю ночь он вертелся на кровати, никак не мог заснуть, переваривая услышанное. И вот, как только сон коснулся его постели, — требовалось вставать и идти неведомо куда.

— Монгол, идем? — сквозь сон спросил он.

— Да ну его. — Монгол заворочался в постели.

«Ну и правильно. Скажем, что проспали. А может, даже он сам проспал», — шевельнулась спасительная мысль. Том натянул было одеяло, устроившись поудобнее, но вдруг увидел, как по стене туда-обратно пробежал луч света.

— Фонарик! Он уже ждет нас на улице! — Осознание этого факта сбросило Тома с кровати. Выглянув в окно, он увидел у храма мигающий пятачок света.

— Вставай, Монгол! Индеец на улице! — громко сказал он, стараясь сбросить с себя теплую вязкую пелену сна. — Пошли рай смотреть.

Монгол молчал. Том быстро оделся, сходу запрыгнул в штаны.

— Он нам светит. Идешь, нет? Ну и дрыхни.

Он уже был у двери, как Монгол пробурчал вслед:

— Стой, я сейчас. Не хочу тебя одного отпускать. Мы его три дня знаем. Может, он какой… Больной на голову. Всякие тут ходят. А этот… богомолец свалил, что ли?

Действительно, кровать Ярослава была аккуратно застелена. Видимо, еще накануне вечером он отправился дальше, в свой длинный и непростой путь.

Через минуту они вышли в зябкую мглу.

— Встали? Ну молодцы! — Миша призывно мигнул им фонариком.

— Не жарко, — поежился Монгол.

— Здесь в конце августа уже совсем осень. Держи фонарь, их всего два. Я пойду первым. Ну что, готовы?

Они прошли мимо сарая, уже знакомым путем обогнув склон старого сада, и стали забираться все выше, прямо в темную мглу ночного леса.

Тропа долго вела их вдоль глубокого яра, петляя между соснами, пока они не вышли на большую, окруженную лесом и покрытую высокой густой травой поляну. В свете луны она казалась серебряной от росы.

— Ты хоть скажи, куда идем? — Монгол шел последним, стараясь не выдавать тревоги.

— На Роман-Кош. Это самая высшая, заповедная точка Крымских гор. Чтобы увидеть рай, нам нужно успеть попасть туда до восхода солнца. К тому же доступ туда закрыт: под ним президентская дача. Поэтому пойдем тайной тропой… Сейчас немного полегче будет.

— Ты вчера свою историю не закончил, — то ли сказал, то ли спросил Том.

— На чем?.. Ах, да, свалка. — Михаил глянул вверх, туда, где под легким ветром едва шевелились черные верхушки деревьев. — Как-то в груде мусора я увидел человеческий череп. Он был очень древний и местами совсем черный, будто вымазанный в саже. Это был мой череп. Я узнал его по зубам, по своей пломбе. Это было очень странное ощущение: найти в этом хаосе одиночества такую родную, в буквальном смысле, вещь. Я не знал, что с ним делать. Он был мне дорог, но совсем истончился, истлел от времени. Я решил похоронить его. Вырыл руками в земле небольшую ямку и закопал его, соорудив над могилкой небольшой крест. Я смотрел на него, и вдруг почувствовал, что мой внутренний мир — он тоже в каком-то смысле *вне меня,* он не есть

я до конца. Да, унылая свалка, заполонившая все вокруг, — это мое больное нутро, которое я в жизни не замечал. Но все-таки это было только мое собственное произведение. Это был ответ на вопрос моего больного «я», но не само «я». Вне этого «я» было все, включая мое истлевшее тело, но что оставалось внутри? Бог? Нет, Бога-то я не знал, и возможно поэтому мое «я» оказалось один на один со всем этим ужасом. Бог — это была единственная и последняя моя надежда. В конце концов, подумал я, — если Он есть, то все вокруг — не случайное нагромождение, всему этому есть какая-то осмысленная причина. Бог создал все, и поэтому должен, *обязан* быть разумен. А это значит, что я подобен ему. Некоторым образом мы близки друг другу, мы *родственники по разуму*! Если Он есть, то может все, в том числе и вытащить меня из этого бреда. Я упал на колени и закричал: «Господи, прости меня! Я обещаю тебе, я стану человеком, и если Ты только есть, — вытащи меня отсюда».

Как же я молился тогда!

И после этого все будто задрожало. Не сразу, — немного погодя. Эта короткая, но безответная пауза почти лишила меня надежды. Но вдруг мир потемнел, и меня снова засосало в воронку. Я

крутился в ней, как щепка, опускаясь все глубже, и в какой-то момент меня вышвырнуло в черную, абсолютно пустую бездну. Бездна эта была осмысленная, живая. Я чувствовал ее жизнь и также понимал, что *органически* несовместим с ней. Я был для нее словно заноза, инородное тело. Я осязал ее мысли, чувствовал какие-то малозаметные процессы, происходящие на окраинах этой черноты, и до поры до времени она меня не трогала. Но когда я попытался понять ее, эта бездна вдруг обнаружила меня. Она поняла, что в ней есть нечто иное, чем она, и заволновалась, пришла в движение. Я не знаю, как это объяснить, я просто почувствовал холодную страшную угрозу, и я был словно в фокусе ее внимания. Она попыталась понять, *согласен* ли я с ней, то есть *такой же я, как она,* или нет. Но, ощутив мою инаковость, будто возненавидела меня и решила уничтожить. Она стала делить меня на части, буквально крошить на куски. Сквозь мое сознание словно проходил нож, и я становился все мельче и мельче, пока не достиг какого-то условного атома, будто превратившись в знак, в простую букву «я». Но с этой буквой уже ничего нельзя было сделать. Я был неуничтожим. Я вдруг понял, почувствовал: вот он и есть я! Ничтожный, но очищенный от всего,

свой собственный, ни на кого не похожий — я! Мою жизнь, однажды родившийся осмысленный атом вечного «я», уничтожить невозможно!

Но откуда-то я знал, что это почувствовала и бездна. Я ощутил от этого ледяного беззвездного космоса потрясающую, ни с чем не сравнимую ненависть ко мне, ненависть от бессилия меня уничтожить. Она взорвала меня на мириады частиц, и я разлетелся по ней, и завис в ничто, будто осмысленная взвесь, пыль, и понял, осознал ее всю. Краем сознания я вдруг узнал, что это и есть смерть. Что труп мой остыл, мое далекое тело стало деревенеть, будто стягиваясь тугими бинтами по рукам и ногам в мумию.

«Вот и все», — успел подумать я, и вдруг рядом со мной появился ангел! Он сиял теплым желто-зеленым светом и смотрел на меня с мягкой молчаливой укоризной. Даже нет, не так. В нем не было ни капли упрека, а только грустное сочувствие, сострадание, будто бы он терпел меня и плакал от моей мерзости. В этот момент моя совесть обнажилась. С нее как бы осыпалась старая присохшая ржавчина, весь этот быт, накипевший за годы жизни. В памяти встали все мои прошлые делишки, которых была тьма: тут обидел, там не помог, обманул, унизил, бросил,

был мелочным, схитрил… Я будто заново обрел камертон, точку опоры — свою совесть. Совесть — еще недавно она казалась мне ножом, который тонко нарезал мое сердце. Но теперь она стала йодом, который прижигал мои раны. «Откуда этот камертон добра и зла?» — подумал я, но уже тогда понял, что он истинный. Я понял, что уже стал другим. Я просто не смогу жить по-старому, *зная все это*. И еще мне почему-то открылось, что каждая буква, каждый знак в Библии, буквально до последней мелочи, до последней запятой, — истина. Такое открытие было вдвойне странно, ведь я ее вообще не читал, а среди моей родни и друзей не было ни одного верующего человека. Все это *знание* точно исходило не из меня и моего окружения, будто кто-то, минуя скептическое сито рассудка, вложил мне его прямо в сердце.

Можно отнестись критически к чужим словам, отбросить их, но с личными переживаниями спорить сложно. Блажен не видевший и уверовавший. Я был не таким.

Уже гораздо позже я услышал слова Серафима Саровского: «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». Если ты дашь человеку знание о вере, он воспримет это как еще одну точку зрения. Если же он разделит твою радость обретения Христа,

если переживет ее, — он уверует. Я уверовал, ощутив.

Том брел рядом по тропе, слушая эту исповедь в смешанных чувствах. Его привычная ирония по поводу веры в Бога иссякла, — слишком живую картину нарисовал Михаил. Том и сам не знал, что было бы с ним самим, окажись он на его месте.

— Я понял, что гордость и надменность, — продолжал Михаил, — это симптом отделения от мира, попытка закуклиться в себе, объявить себя самодостаточной вселенной, отдельным космосом, обладающим полной свободой, а значит, имеющим ровно столько же прав, сколько и мир, породивший нас. Но двух космосов быть не может, возгордившийся человек — это просто человек с искаженным восприятием о себе. Он — как раковая клетка вселенной. Она не плохая, она именно больная, заблудшая. Ведь все, совершенно все люди на земле, стремятся к добру. Просто некоторые из них в какой-то момент перестали понимать, что есть добро. Перестали отличать свое от чужого и запутались, заблудились.

Я вдруг увидел, что возвращаюсь к себе домой. Я пролетел над горами, затем спустился в поселок, увидел неподалеку соседнюю пятиэтажку, на миг

завис рядом, заглянул в окна. Как же я соскучился по людям, по простым человеческим лицам!

Я жадно вглядывался в них, одновременно чувствуя всех обитателей дома. Один, поссорившись с женой, курил на кухне. Другая, соседка через стенку от него, отчитывала ребенка. Хитрый ребенок врал и изворачивался, ни за что не желая признать свою вину за то, что разбил чашку. Обитатель следующей квартиры с тихим матерком чинил проржавевшую трубу в туалете. Я *видел*, что дело плохо, и трубы совсем сгнили. У меня в голове словно разворачивалась картина всех технических проблем его квартиры, его дома. Я знал, что он живет один, а жена уехала с ребенком в другой город, и ей нелегко. В другой, пропахшей кошками квартире блаженствовала на диване уставшая пожилая женщина. Она только вернулась с работы и собиралась с силами, чтобы приготовить себе ужин. Ее ноги отекли, потому что она целый день стояла у мойки в столовой. Я видел насквозь десятки людей, — достаточно было сфокусироваться на ком-то, и он будто раскрывал мне все свои секреты. Эти люди были добры, злы, мелочны, веселы, завистливы, тревожны. Они были все разные, но одинаково сложные, одинаково погруженные в суетливый

быт. Они жаждали счастья, надеялись на лучшее, мечтали о будущем. Они казались мне бомбами, заряженными своим талантом, своей неповторимой энергией, которую не чувствовали. Все они были будто искалечены, несчастны в своем недопонимании того, как устроен мир, в чем источник их бед, их несовершенство. Это были люди *целиком*, и каждый из них был так не похож на обычный образ человека, к которому мы привыкли. Оказалось, что если увидеть человека *до конца,* со всеми его потрохами, со всеми ошибками, то не сострадать ему невозможно. Их однотипные беды и сложная, хромая жизнь удивляли, как они еще существуют, в своем непонимании себя. Я знал, что любое их объединение ситуативно. Любая идея, которая сплотит их, преходяща. Своей наивной беззащитностью они вдруг стали дороги мне, как родные, как моя плоть. Я понимал, что всем им не хватает тепла, не хватает человеческого внимания. И все они могли получить его от Бога, если бы сами, уподобившись Ему, отдали хоть чуточку себя. И каждый из них мог это сделать без лишних слов, просто делая. Я все это видел, я это чувствовал, будто вкрадчивый любящий голос рассказывал мне о каждом из них.

Я вдруг понял, как нужно жить, и у меня в душе все будто остановилось. Я стал как ребенок в утробе матери: вокруг меня были только мир, тепло и защищенность. Это была точка отсчета, когда все мои чувства, может быть впервые в жизни, были настроены правильно. Я дорожил этим моментом, пытаясь прикоснуться к окружающему, ощутить его сквозь призму этого нового состояния, узнать, каково оно на самом деле, запомнить его. Я вспоминал прошлое, но находил только потерянные годы и здоровье. Я не видел в нем ни подвига и героизма, а только самообольщение и ложную альтернативу между подавленным ленью обывателем и музыкантом-самоубийцей. Я слышал шепот, что куда сложнее исправить себя, чем играть в первопроходца. Что чувства — это как расстроенная гитара и, тренькая на ней, ты доставляешь и себе, и окружающим одни неприятности. Что нужно не поражать всех своей искренностью, а учиться отстраивать свою гитару… Что правда бывает всякой. Суровой и справедливой, иногда даже злой. Но истина злой не бывает. От правды бывает больно, а от истины всегда легко и хорошо, потому что истина — это правда, облеченная в любовь. Что в мире безумия ничто не имеет ценности, а мир приходит к

порядку только тогда, когда на простые вопросы отвечают понятными словами. Что в конце книги жизни каждого человека всегда стоит запятая.

Тогда я все это понял за какие-то мгновения. Это было ощущение, которым я до сих пор дорожу, и которое очень сложно передать словами.

Ощущения моего тела менялись, оно стало обретать границы, отяжелело. Медленно, будто собираясь по кусочкам, я приходил в себя. Я лежал дома, в кровати. За окном было темно. Холод заставил меня подняться. Я медленно встал, потрогал простыню. Кровать была ледяной, будто бы в ней до того лежал кусок металла. Я посмотрел на стол, на грязную постель, на разбитый стул, на чашку без ручки. Вышел из комнаты, окинул глазом когда-то счастливый, но теперь провонявший ацетоном и ангидридом дом, будто бы все это видел впервые, будто вернулся из долгого путешествия, из соседней галактики. Я был другим. И я заплакал от благодарности, стараясь не забыть, не растерять обретенное, надеясь, что действительно изменился, что простил обиды, что теперь не отступлю и *не предам*. Что все в прошлом, абсолютно все. Что вот прямо сейчас можно пойти и помириться с родителями, с друзьями, потому что я уже *иной*.

— Красиво говоришь! — заметил Монгол.

— Мы все говорим красивее, чем живем.

— И место красивое. — Монгол будто не услышал ответа.

За поляной потянулся горный скалистый обрыв. Деревьев становилось все меньше, лишь некоторые, изувеченные ветрами кривые сосенки торчали у самого его склона. Том обернулся. Сзади, на фоне светлеющего неба черной громадиной лежал могучий Чатырдаг. Вправо от него стелилась над морем оранжевая полоска зари. Слева тускло мерцали далекие огоньки Симферополя.

— Сейчас уже видно, фонари пора выключить: у лесников иногда бывают рейды на браконьеров, поэтому без лишней причины лучше не светить.

Пройдя большую, покрытую редкими деревцами прогалину, они уперлись в крутой, поросший соснами склон.

— Это самый тяжелый отрезок. Но он не длинный: еще полчаса, и мы наверху. От росы здесь будет скользко. Старайтесь ставить ноги не на траву, а на камень.

Михаил полез первым, то цепляясь за камни, то хватаясь за корни выворотней, то пролезая под поваленными ветром стволами сосен. Шли гусь-

ком, глубокими зигзагами, забирая то влево, то вправо, чтобы не съехать вниз по траве. Последние метров тридцать дались особенно тяжело. Монгол повернулся посмотреть на оставшийся внизу луг, оступился и чуть не съехал вниз, успев упереться в поваленный ствол дерева.

— Держись! — Том схватил его за руку.

— Тут бы на санках. Самое оно, — хмыкнул он.

Наверху, над склоном, шла грунтовая дорога. По другую ее сторону начинался молодой сосняк. Слева, за кряжистыми сосенками, виднелось глубокое ущелье. Его вертикальные каменные стены уходили далеко вниз, исчезая в предутреннем тумане.

— Привал. — Послушник сел на поваленную, рассохшуюся от дождей и ветра сосну, снял свои разбитые ботинки и выжал промокшие от росы носки.

— А далеко еще? — Том присел рядом.

— Ты боишься опоздать в рай? Проблема в том, что не всех туда пускают. Ты, например, не крещен, так что я не знаю, увидим ли, — подмигнул он.

Том пожал плечами.

«Вот те здрасьте, — подумал он. — Опять шутит, или всерьез?»

Перейдя дорогу, они пошли напрямик, сквозь пушистый невысокий сосняк, забираясь по пологому склону все выше. Сзади снова замелькало темно-сиреневое море. Над ним в розовом тумане курились высокие причудливые башенки облаков. На востоке, над Черной, по-прежнему лежало облачко. Сверху оно выглядело тонким и невесомым.

Лес привел их к узкой балке между громадинами первобытных скал. Будто кто-то выдвинул их из земли, но как-то криво, небрежно, походя.

— Смотрите! — Михаил показал на вершину ближайшей скалы.

На ней, освещенные первыми лучами солнца, стояли две косули и, чутко прядя ушами, смотрели в сторону людей.

Миша достал бинокль, но косули, легкие как ветер, сорвались с места в галоп и скрылись по ту сторону хребта.

Они пошли дальше, вдоль покрытых короткой жесткой травой холмов, то спускаясь, то поднимаясь, пока солнце не озолотило склоны вокруг. Стало теплее. Наконец их путь преградила невысокая горная гряда.

— Ну вот, мы почти пришли, — трепетно прошептал Миша, явно волнуясь. — Последний

рывок. Теперь тихо. Перемахнули, и сразу вниз. Старайтесь не маячить наверху, тут уже все просматривается.

Быстро перебравшись через каменный хребет, они застыли в восторге.

Вдаль, освещенная лучами солнца, уходила до самого горизонта длинная и узкая долина. Это была целая горная страна в миниатюре. С обеих сторон ее подпирали невысокие горные пики, то покрытые травой, то скалистые, то сложенные из косых слоев белесой породы. Тут и там, среди пятен цветочных полян торчали, будто натыканные нетрезвым садовником, кривые пушистые сосенки. В самом конце долины — там, куда вилась змейка полевой дороги, виднелся невысокий каменный замок. У его подножия было едва заметное движение.

— Вот он, рай! — Михаил достал из сумки бинокль. — Смотри.

— Мать моя! — Том присвистнул. На склонах гор, в долинах, в тени и на солнце, медленно двигались стада косуль. Они были повсюду: прятались в укрытых от солнца щелях, цеплялись на косогорах, медленно брели по склонам, щипали траву в оврагах. Тут же, особняком от них, гордо держа ветвистые рога, бродили небольшие

группки оленей.

— А вон муфлоны. Их сюда Николай II завез. — Михаил показал на один из склонов скалистого обрыва, где, цепляясь за отвесные камни, паслись бараны с толстыми, закрученными рогами.

— Дай мне посмотреть. — Монгол навел бинокль на другой склон долины и чуть было не отбросил его. Совсем рядом, в тени ближайшей сопки спешил по тропе целый выводок кабанов. Впереди бодро бежал кабан-отец с высокой грудью и маленьким задом. За ним шла кабаниха, следом семенили копытцами семеро полосатых поросят.

— Как же это они все вместе, и никто никому не мешает? — изумился Том.

— Наверное, так было и задумано, — проговорил Михаил.

Замерев, они долго глазели на неспешную, исполненную дикой мудрости, жизнь. Затем медленно, чтобы не пугать животных, спустились в долину и двинулись по дороге к замку.

Рядом, из-за большого камня выскочила стайка любопытных косуль. Секунда, и они исчезли.

Том, будто во сне, медленно брел вперед, не в силах выразить свой перемешанный со страхом восторг. Ему казалось, что они — первопроходцы

в первобытном мире гармонии, еще не испорченном человеком. Утреннее солнце уже начинало припекать, высушивая росу. Животные стадо за стадом переваливали через окружающие долину хребты, постепенно спускаясь вниз, по холмам, в спасительную прохладу густых лиственных лесов. Их становилось все меньше, пока они не исчезли совсем.

Долина почти кончилась, и они, наконец, остановились у того, что издали напоминало замок. Вблизи это оказался поросший крохотными соснами холм не выше трехэтажного дома. Он состоял из причудливо громоздившихся друг на друга каменных столбиков и глыб. Монгол поднял камень, бросил его в одну из башенок замка. Из кустов выскочил высокий и худой, будто побитый молью заяц и, прижав уши к траве, серой молнией бросился наутек.

— О, а вот и хозяин замка.

Они присели у холма на густую, выгоревшую на солнце траву, усеянную звездочками желтых и фиолетовых цветов.

— Немного перекусим, и пора назад. — Михаил достал бутерброды. — Ты чего скис, Егор?

— Не знаю, — Том разглядывал орла, парящего над ними. — Как будто еще нет людей. Еще не бы-

ло ни войн, ни страхов. Нечего и некого делить.

— А мне нравится. — Монгол бодро захрустел огурцом. — Все такое… Первобытное. И на зоопарк не похоже. Там как тюрьма, а тут ты типа сам в гости приперся. Эх, если бы тут жил, наверное браконьером стал.

— Не романтик ты, Монгол.

— Это да. Романтика у меня еще в детском саду отстреляла, когда мы зимушку-зиму встречали.

— Это как так?

— Да так… Поначалу пели ей песни, снежинки из бумаги вырезали. А уже весной жгли ее чучело.

— Ладно, харош балдеть. Пора назад, пока не промокли. — Михаил кивнул на юг, туда, где за невысоким горбатым склоном пряталось море. Оттуда, через южный склон горной долины, быстро валили облака. Заползая в долину, они стекали на ее дно, к центру, и постепенно подбирались к ним…

Старец

Переполненные впечатлениями, они возвращались назад. Короткий сон давал о себе знать: реальность будто притупилась, потеряла свою резкость, и все, что они видели, тоже казалось каким-то волшебным коллективным сновидением. Уже на склоне Миша продолжил свой рассказ.

— Помню, подошел я к зеркалу. А оттуда на меня смотрел воспаленными глазами какой-то незнакомый человек. Изможденный, высохший, с язвами на желтом лице и руках. Рак-отшельник, по недоразумению судьбы лишившийся своей ракушки. Испуганный, воспринимающий все обостренно, уже готовый всех любить и боящийся своего нового состояния.

Но уже совсем скоро ко мне стала возвращаться моя старая, «бытовая» логика. Я ловил себя на мысли: ведь если всерьез, если до конца отнестись к своему откровению, то прощай, вольница, здравствуй — труд. Я спрашивал себя, что скажет совесть, и она, обновленная, говорила: даже не думай о прошлом. Просто иди дальше и не бойся.

Михаил замолчал.

— Так, может, ты изобрел эликсир истины? —

усмехнулся Том.

— Дело не в растворе. Конечно, я с радостью поделился им с приятелем. Сева проставился его остатками, а потом сказал: ничего, нормально. И пошел домой. Разве сатана может изгонять сатану? Так что это было действительно откровение: до того момента никто из людей не раскрыл мне, что такое вера. И тогда Господь подошел ко мне *изнутри*. Ткнул меня носом, как блохастого котенка, в миску с молоком. Он к каждому находит путь, если человек хоть чуточку пытается разобраться в себе всерьез.

Но все это была присказка. А то единственное, что я на самом деле хочу сказать, заключается в простой вещи: с кривым камертоном ты можешь всю жизнь играть кривую мелодию, и будешь уверен, что она звучит верно. Но чтобы камертон звучал правильно, тебе нужна чистая совесть. Тебе нужен эталон, прокаленное золото, очищенное от примесей. Некий абсолютный идеал, огонь, который будет непрерывно очищать твою совесть. Ведь совесть с годами тоже может испортиться.

— А с роком ты завязал? Я имею в виду не столько музыку, сколько стиль жизни. Все это правдоискательство — это зло, которое чуть не привело тебя к гибели, или все-таки что-то иное?

— Вопрос, достойный древних фарисеев, — рассмеялся Миша. — Авва Дорофей говорил, что мужество находится между страхом и наглостью, смирение между гордостью и пресмыкательством, и так далее. Весь наш рок — это была одна из крайностей, реакция на нелепые советские реалии. Но они уходят, а вместе за ними уходит и рок. Он сам был лишь кривым зеркалом. Реакцией, противоположностью впавшей в маразм власти. Христианство же не реактивно. Оно всегда стремится к середине, к центру, к царскому пути… К тому же человеческие проблемы песнями не решить. Даже самая искренняя и точная песня не изменит человека. Некоторые поэты даже убивали себя в знак протеста против несовершенства этого мира. И что? Мир исправился? Нет. Мир немножко грустил, а потом наступали выходные с их приятными заботами. Мир был, есть и будет испорчен, хоть пой об этом, хоть нет. И неисправим он именно потому, что несовершенен.

— И потом в монастырь пошел?

— Нет, не сразу. Еще долго меня метало. То в одну секту влезу, то в другую. А потом один приятель мне и говорит: пошли в горы, развеемся.

«Куда?» — говорю. — «Конечно, на Роман-Кош.

Выше только небо».

Мы пошли через Чатырдаг, тайными тропами. На второй день заблудились, вышли на развилку. Одна дорога вела в монастырь, другая на гору Черная. Через нее можно было попасть на Роман-Кош. Пока мы в карту пялились, нас егеря — прямо на дороге — и сцапали. Ор подняли, мол, тут дача президента! Собрались уже в участок вывозить, но приятель мой не растерялся — и говорит: а мы в монастырь идем. Ну, они поорали для виду, мол, поймаем в горах… Но паломников трогать боятся: суеверные. В общем, попугали нас, и уехали. Я говорю: «Во дураки. Пошли дальше, на Черную». А он: «Нет, нехорошо святыней прикрываться. Давай в монастырь зайдем, а там посмотрим». Монастырь нам и не по пути был, и высоту мы теряли. Но я что-то такое почувствовал, что правильно это, и согласился. А как пришел сюда, так меня и перевернуло. То самое, что я тогда понял, — оно здесь воплощено, разлито. Здесь — школа, где должна происходить та самая работа над собой. Понимаешь, все это осознание истины, которое я тогда понял, оно как пришло, так могло и уйти, притупиться, покрыться пылью времени. В древности люди на память о чем-то важном завязывали узлы,

делали зарубки, чтобы не позабыть событие. Но много ли в этом толку? А в монастыре это работа, ежедневная практика.

Короче, уходить отсюда не хотелось, а отец Марк разрешил мне немного пожить. Домой я вернулся через месяц, и вроде как обновился, просветлел. А потом чувствую, что к старому тянет, — такое внутри началось. А я-то, дурак, когда-то думал, что достаточно понять истину, чтобы начать жить правильно. Конечно, бесы на меня так ополчились: совсем ихний был, а тут вырвался. Откуда-то приятели полезли — кто с иглой, кто со стаканом. Прямо потоком пошли, и все вдруг такие щедрые, все бесплатно, я такого в жизни не припомню.

Однажды я по наивности подумал, что спасу одного, выведу, так сказать, на свет истины. Решил с ним выпить, а заодно про Бога поговорить. Я тогда уже кое-какие молитвы выучил, пятидесятый псалом знал наизусть. И вот сидим мы с ним в пивбаре, разговариваем. А выпил я всего пару кружек. И вот собрался я псалом прочитать, чтобы, как мне казалось, освятить глаголами истины сие богопротивное заведение. Рот открыл, а сказать не могу ни слова. Почти трезв, а ни одной строки не помню! И тут я понял, что за это

время не только не стал лучше, а просто немного узнал о себе, кто я есть, и в чем мой новый фронт борьбы. Только теперь борьба будет не за просвещение погрязшего во лжи человечества, а за самого себя. Короче, быстро выяснилось, что моя золотая, очищенная таким непростым способом совесть готова вновь покрыться ржавчиной. И ее нужно вновь прокаливать, поддерживать этот огонь веры.

— А как же та внутренняя тюрьма, в которой ты сидел?

— Это образ. Красивый образ, но лживый, как любой осколок зеркала. Можно, как гностики, назвать этот мир концлагерем, а творца — злым Демиургом и, причислив себя к избранным, до гробовой доски презирать профанов и обывателей. Можно стать его рабом, гедонистом, потребляя его прелести и плевав на совесть. Можно искать какие-то компромиссы, подоткнув под себя образ мира поудобнее, как подушку. А можно выслеживать свои слабости, как охотник выслеживает дичь. Главное — помнить, что красота метафоры вовсе не значит, что мир такой и есть. Рок, развивая критичность мышления, не находит в себе ресурсов выйти за рамки этой самой критики. «Мир во зле лежит» — здесь

заканчивается рок, и видимо поэтому он стоит всегда рядом со смертью. Преодоление этого невеселого библейского тезиса виделось мне либо через смерть, либо через предательство, конформизм. Мне удалось вырваться из этой смысловой ловушки. Критическое отношение к миру должно распространиться и на сам рок как источник этого критического мышления. Проще говоря, последовательный неформал должен задушить в себе самого неформала, — лишь тогда он станет подлинно свободным, не предав себя и не умерев физически.

* * *

Обратный путь оказался быстрым и не очень сложным: роса уже высохла, и в монастырь они успели к обеду. После еды Монгол пошел постучать на своих деревянных барабанах, а Том отправился к роднику. Он долго, не спеша пил воду, прислушиваясь к молчаливому лесу и вспоминая увиденное. Где-то рядом, спрятанная от всего человечества, кипела вечная животная жизнь. Она началась испокон веков и существовала по своим звериным законам, по своей животной справедливости. Но что-то гармоничное было в ней, что-то искони правильное. Что-то,

чего никак не мог понять царь природы.

На обратном пути у храма ему встретился отец Леонтий. Огромный, как медведь, он возился на клумбе, окапывая цветы и деревья.

«Вот человек живет тут и трудится. И я тут ем, сплю, а от меня толку никакого», — кольнула мысль.

— Отец Леонтий!

— Слушаю. — Монах разогнулся.

— Можно вам помочь?

— Отчего ж не помочь? Видишь вон ту гору? — Он показал на вершину ближайшей горы. Видя замешательство, засмеялся, переведя палец на сваленную у обочины дороги кучу серого камня. Нет, не ту, вот эту, поменьше. Бери тачку, нагружай ее, вези сюда и высыпай.

Том привез несколько тачек серого колотого камня. Отец Леонтий брал каждый камень, взвешивал его на руке, осматривал со всех сторон и, наконец, устанавливал в выбранное им место, выкладывая вокруг цветов и деревьев круги и овалы.

— А вы правда хиппарем были? — спросил Том.

Отец Леонтий крякнул, недовольно поморщился и, не останавливая работу, мельком глянул

на Тома.

— Миша сказал? Что он еще рассказал?

— Ничего. Я не знал, что это тайна. — Том смутился. — Просто стало интересно, правда, или нет?

— Что именно? — Отец Леонтий старательно вкручивал в ямку острый высокий камень.

Том пожал плечами и даже покраснел. Он уже был не рад, что вообще заговорил на эту чувствительную для монаха тему.

Отец Леонтий сел на скамейку у клумбы, посмотрел на свои руки.

— Вот что. Михаил — только послушник. А монаху на эту тему говорить неполезно. Только бесов тешить.

— Ну ладно… — промямлил Том и замолчал.

Отец Леонтий вздохнул, с любовью посмотрел на дела своих рук, окинул взглядом цветущую клумбу.

— Нравится у нас? Только честно.

— Если честно, то пионерлагерь напоминает, — ответил Том. — Побудка, обед, производительный труд. Только храм еще зачем-то.

Монах улыбнулся в бороду.

— А ты, стало быть, атеист?

— Нет. То есть да.

— А почему?

— Странный вопрос. Я бы спросил, почему вообще есть верующие. Как можно верить в то, что где-то две тыщи лет назад, на земле, родился Бог? А потом Его, Бога, еще и убили. Наивно как-то.

— Ты Библию читал?

— Читал немного. Экклесиаст.

— Мудрая книга?

— Интересная.

— Ты не задавал себе вопрос, как наивные простачки могли написать такую мудрую книгу?

Том улыбнулся, пожал плечами.

— Это не аргумент. Просто автор был по-житейски толковый, ну и немного поэт. Мудрая книга — это еще не доказательство существования Бога. К тому же мудрых книг много. И написаны они в разных местах мира. Почему же тогда именно ваша вера правильная?

— Чудак-человек! — Монах будто впервые увидел Тома. — Я понимаю, если бы спросил об этом тыщи три лет назад. Тогда люди действительно не знали, как устроен мир: так или эдак. Но потом пришел Бог! Сам пришел, понимаешь? Пришел к людям Бог, и сказал: вот Я, веруйте так-то, делайте то-то. Не верите? А чтобы не сомневались, чтобы не думали, что шарлатан, — смотрите, что делаю.

Воскрешаю мертвых, исцеляю слепых и глухонемых, предсказываю то, что потом произошло. Какие еще нужны доказательства? А его взяли и убили. От ненависти, от злобы своей, от больной совести. А теперь говорят: ну, это всего лишь еще одна религия. А может, даже басня.

— А разве Бог может умереть?

— Бог может все.

— Если Бог может все, то почему Он не победил зло?

Отец Леонтий примостился на вывалленные рядом камни, снял перчатки.

— Обязательно победит. Он же нас любит.

— Какая странная любовь.

— А ты думал… Любовь — это вообще загадка. Ее не описать, зато можно легко почувствовать. Это, наверное, потребность творить вовне себя, и не для себя. Наш Бог до сотворения мира был чрезвычайно одинок. Конечно, это неправильно: Он был более чем достаточен, и Его Любовь не имела границ. Но она так переполняла Его, что вылилась в сотворение мира. Может быть, потому, что нельзя любить в одиночку, даже если ты — Бог. Любовь в одиночку — это же любовь к себе, вовнутрь. Это источник зла. Поэтому Любовь всегда творит вовне себя. Она свободна и

добровольна. Зло же порабощает, оно наслаждается обладанием. Любовь к себе любуется только своими недрами. Она ничего не производит, она лишь пользуется плодами любви. Любовь — это солнце, которое дарует всем жизнь и свет. Любовь к себе — это черная дыра, которая всасывает саму себя, и все, до чего может дотянуться. Это самопоглощающееся ничто. Поэтому Господь создал мир и нас, чтобы мы могли любить так же, как и Он. Творить вовне, уподобляясь Ему в любви. Он создал нас свободными, поскольку любить можно только будучи свободным. Ведь Ему не нужны куклы, которые любят только потому, что так хочет кукловод. По сути свобода — это и есть главное испытание, любишь ли ты другого, или все-таки себя.

— Но если зло — это ничто, то чего же, по-вашему, хочет сатана? — Том присел рядом.

— Сатана хочет власти. Власть — это очень сильный наркотик, ты просто не испытал его. Посмотри на наших политиков. Они пока не умрут, от власти не откажутся, а власть земная — это бледная тень власти метафизической. Люди подчиняются лукавому, потому что уверены в своей полной самостоятельности. Для этого нужно лишь убедить их, что Бога нет. Что свобода

от греха — это чушь, а подлинная свобода — это вседозволенность. А потом он скажет Богу: ты же видишь, они все пошли за мной. А раз те, в которых есть твое подобие, пошли за мной, и их большинство, значит, я сильнее тебя, и за мной — истина.

Его громовой глас прокатился по ущелью.

— А почему Бог не предъявит человеку доказательства того, что Он — есть? Все было бы проще.

— Нет, не было бы. Вера требует усилий. Если ты веруешь, то сердцу доказательства не нужны, оно и так все чувствует. А если нет, то даже живой Христос тебя не убедит. Ты всегда потом сможешь обосновать это галлюцинацией.

— А что такое вера?

— Я бы назвал веру заочной мудростью. Допустим, ты не постиг многих секретов мира, не дошел до многого своим умом. Но ты взял и поверил в Бога. И в награду получил в дар библиотеку истин. Вначале ты пользуешься этими инструкциями, не понимая их, но *доверяя* Ему. Но потом, позже, вдруг замечаешь, что там, где им следовал, в итоге выходило правильно. Это приходящее ощущение правоты укрепляет твою веру.

Монах вновь взялся за камни, но через полми-

нуты оторвался от работы и с ноткой удивления в голосе спросил:

— Неужели ты никогда не молился?

— Нет.

— Ни разу?

Том вдруг отчетливо вспомнил свой нелепый вопль в тумане, нежданную вспышку спасительного воспоминания. Ему стало немного стыдно за ту легкую надменность, за чувство превосходства над верующими, которое всегда было присуще его возвышенному и холодному, как пики Гималаев, атеизму.

— Было дело разок.

— Помогло?

— Помогло, — Том замялся. — Но… Мало ли. Вдруг совпадение?

— Я ж говорю, что если и доказательства будут, ты не поверишь. Совпадение? Так и есть. Поэтому молись почаще, чтобы этих совпадений было побольше… — монах засмеялся.

— Мне просто кажется, что в вере есть какое-то… Нежелание смело взглянуть в глаза неизвестности.

— Смелость проявляется на исповеди, а не в праздных разговорах.

Том пожал плечами. Он не знал, что ответить.

Этот богословский диалог на разных языках был интересен ему, но не вел ни к чему. Он не добавлял ему веры, не укреплял неверия. Каждый из них видел мир со своей колокольни. И все-таки в словах монаха было что-то ясное, глубокое, и одновременно простое. Без того мудреного тумана, которым были окутаны слова коктебельского гуру.

— Вот здесь копни. — Отец Леонтий продолжал укладывать камни. — Миша говорит, что вы музыканты?

— Так, играем помаленьку, — Том обрадовался перемене темы.

— А что играете?

— Панк-рок.

— Панк! Прекрасно. А о чем поете?

— Ну, так сразу и не скажешь. — Том задумался. — Наверное, о зле. О том, что люди погрязли во лжи. Что молятся деньгам. Что могут жить честнее, но не хотят.

— Честнее? — переспросил отец Леонтий. — Говорят, что в конце времен перед антихристом все будут как на ладони. И не станет ни коррупции, ни воровства. Все будет честно, справедливо, и по закону. Только без Бога. Мне кажется, что если кто-то и усомнится в антихристе, заподозрит его,

то тут же будет одернут: «Посмотри, он же — миротворец! Он войну прекратил! Ты что, опять хочешь войны?» И человек не найдет что возразить. Выходит, что честность без любви — черства и жестока, и мир без любви — хуже последней войны. А любовь ты в закон не оформишь.

— Вы против рока?

— Нет. Просто всему свое место. Честные люди не могут спокойно жить рядом с ложью. Все их нутро отвергает пошлость и ложь. Но век за веком ничего не происходит. Выходит, что можно изменить только себя. Кто-то уходит в монахи. Ведь это тоже ответ на вопрос, что делать человеку, которому невмоготу жить в мире лжи… Здесь истина. А в миру… В миру — лишь две точки зрения: твоя и чужая. И часто обе далеки от истины.

Они подняли вдвоем крупный булыжник и установили его у угла клумбы.

— Ну хорошо. Если мир погряз во лжи, — прокряхтел Том, — то почему Церковь всегда прислуживает властям?

— Не всегда и не везде. И потом, послушай. Власть — это люди: хорошие или не очень. Словом, такие же, как ты, или я. Может быть, благодаря Церкви кто-то из них станет лучше… Церковь всего лишь хочет, чтобы при любом

режиме власть относилась к людям по-человечески. И она не может отвернуться от общества, чтобы закрыться в себе, спасая свою репутацию. Церковь — она ведь тоже… Вовне… Ну, спасибо, — вроде бы закончили.

— Может, еще чего помочь?

— Спаси Господи, больше ничего. Только тачку отвези в мастерскую.

Том кивнул и покатил тачку в сторону дощатого сарая.

«Толково отвечает отец Леонтий. Красиво. Только все как-то… Ему уже все ясно, он на том берегу. А до этого сложно докричаться», — подумалось ему.

Подцепив ногой дверь, он толкнул тачку в полумрак сарая и с размаху шарахнулся головой о притолоку.

— Кланяться надо! — послышался из темноты добрый старческий голос.

Том нерешительно остановился в дверях, потирая лоб и привыкая к темноте.

У окна, в углу сарая, за широким верстаком сидел отец Никита и вырезал из деревяшки крыло птицы.

— На фронте кто кланялся, того пуля щадила. Пуля — она ищет того, кто поважнее, постатнее.

А ты заходи, заходи! — Монах по-детски радушно улыбнулся ему беззубым ртом, будто совсем заждался.

— Вы воевали? — спросил Том, все еще держась за голову.

— Никитка и раньше воевал, и сейчас воюет. Вишь, решил, вот, голубка-разведчика смастерить. Голубок на небо полетит и за всеми оттуда приглядывать будет. Кто как себя ведет, — о том Богу рассказывать.

Том упер тачку к стене, присел на старенький табурет рядом с монахом.

«Чудной какой. Вроде как ребенок, а режет мастерски. — Том завороженно глядел, как старик вырезает птичьи перья, то и дело стряхивая опилки с наброшенного поверх хитона холщового фартука. — А, все равно делать нечего. Может, спросить чего?»

Он перебрал в голове свои наболевшие вопросы, но они почему-то вмиг утратили остроту своих ранящих граней, стали легковесными, даже чуточку смешными. Их можно было легко пережить. Улыбнувшись, пройти мимо и жить дальше.

— Отец Никита, дайте совет, — наконец спросил он.

— Совет дать несложно, а взять непросто, — ответил старец, не прерывая работы. — Только что ж ты у грешного Никитки спросить хочешь? Тебе надобно у Бога совета спросить.

— Бог далеко, — усмехнулся Том.

— Конечно, далеко. Далеко от некрещеных, далеченько.

Том умолк, чувствуя, как жаром наливается вся его душа, а лицо становится пунцовым.

— Откуда вы?..

— Так это ж видно, детка. Что ж это ты так? Уже взросленький совсем, а некрещеный? Как же это? — Беззлобно, даже удивленно проговорил монах, не отрываясь от работы, и его голубые, по-старчески воспаленные глаза увлажнились.

Тому вдруг захотелось выскочить из сарая, убежать в лес, в самую чащу, в долину, где живут олени, и затаиться там, как дикому зверю, впервые увидевшему человека.

Но почему? Ведь этот старик не обижал его. Он будто видел его насквозь, но не унижал за ошибки, как это часто бывало в жизни, а, наоборот, почему-то сострадал.

— Я в Бога не верю, — обреченно прохрипел Том, с ужасом ощущая, как глупо, как болезненно и трагично звучат эти привычные слова здесь,

перед этим человеком.

— Как же это так? — Монах, оставив голубка, с ужасом всплеснул руками. — А почему? Может, тебя обидел кто?

— Не знаю, — промямлил Том. — Я хочу верить, но… Как?

— А ты помолись! Ты помолись! Что ж ты, детка, думаешь, ты помолишься, а Господь-то, Сам наш Христос, жизнь Свою за грехи наши положивший, тебя не услышит? Молись так: Верую, Господи! Помоги неверию моему!

— Верую… — Том с трудом проскрипел молитву, будто заводил ржавый, несмазанный механизм.

— Надо молиться, детка, надо. — Отец Никита широко перекрестил его с ног до головы. — Без молитвы и дышать не стоит. Христианином жить тяжело, не всегда удобно. Но без Христа еще тяжелее. Ты это потом поймешь, потом, когда сравнить сможешь. А когда сравнишь, тогда и соизмеришь. А как соизмеришь, так и согласишься. Только верой все меряй, не разумом.

Том молчал, потупив голову.

— Тяжко не верить человеку. — Монах взял его руку в свою. — Он тогда как сиротка малая. Душа его свернулась калачиком, спит себе, а он на спине будто бочку огромную тащит. Какой же

тут выбор? Но ты не бойся. Ничего не бойся.

— Не бойся… — пробормотал Том, собираясь с духом. — Отец Никита, мы из дома уехали, потому что друг мой бандита убил.

Отец Никита отпустил его руку, отвернулся и снова погрузился в работу. Из-под его ножа полезла-посыпалась на фартук тонкая, чуть красноватая стружка. Тихо в окно стучала муха.

«Испугался, что ли?» — подумал Том и на всякий случай добавил:

— Ну, в порядке самообороны… Мы уехали оттуда, и теперь не знаем, возвращаться ли… Полтора месяца прошло.

Отец Никита продолжал работать. В мастерскую через распахнутую дверь влетел черный шмель, покружил прямо над старцем, взметнув лежавшие на столе опилки, и вылетел обратно.

«Может, он глуховатый?» — подумал было Том.

— Отец…

— Домой езжайте, не бойтесь ничего, — вдруг произнес монах. Это прозвучало с такой непривычной уверенностью, будто он только что разговаривал с начальником отделения милиции. — Не бойся. Люби Бога, чти отца и мать, ходи в храм. Остальное приложится.

— Как же мне отца любить, если он мать хотел

убить? — вырвалось у него.

— А ты его боль как свою почувствуй. Как вот тут заболит — так и пожалеешь. А как пожалеешь — так полюбишь.

— Разве это возможно?

— С Богом все возможно. Прости его, прости, — тепло, совсем по-родственному сказал отец Никита. — Не думай ни о ком плохо, никого не обижай. Прощай других.

— А мама…

— А мама к нему вернется. Примирятся они и вместе навсегда будут. — Он снова взялся за работу. Том смотрел на его узловатые старческие пальцы, и вдруг понял, что никуда не хочет уходить. Будто долгие годы своей короткой жизни он повсюду искал этот дощатый сарай, и никак не мог его найти. «Как в утробе», — вспомнил он Мишины слова. То ли нехитрый и простой труд монаха, то ли разлитый повсюду покой, то ли еще что-то неуловимое и радостное совершенно умиротворили его встревоженный внутренний мир, отпустили то, замученное, потаенное, что гнездилось в глубине его души, что так давно рвалось оттуда на волю… Вот оно! Вот он, фронт, истинный фронт, который он искал всю жизнь. Фронт вечной войны, где наши — это любовь.

— Я… — Том встал, пошатнувшись, пошел к двери. У порога повернулся, хотел что-то спросить, но что-то заклокотало в горле, и он замер… Да о чем он тут вообще говорит? Ведь можно все взять и изменить, пока он жив, да и жив-то разве не за этим? Чтобы прекратить спорить, а просто взять и сделать. Что сделать? Он плохо понимал это, но чувствовал, что ему нужно что-то изменить. Не только ради себя. Ради отца и матери. Он поможет им стать лучше. Он изменит себя, изменит их жизнь. Предательский комок покатился вверх, перекрыл горло, на глаза некстати навернулись слезы. Будто поневоле, будто ненавидя самого себя, он тяжело выговорил:

— Отец Никита, крестите меня.

И тут же испугался своей просьбы.

— Слезы по Богу — вода живая. — Монах положил голубя, встал, посмотрел на него, будто немного сквозь. — Христос не неволит, и без твоего приглашения в сердце не войдет. Если хочешь веровать, — молись. Впусти Его, и Он не бросит тебя, как отец. Никогда не оставит.

Монах умолк, лишь еле заметно шевелились его губы в густой седой бороде. «Молится, — догадался Том. — Так вот откуда эти странные паузы в разговоре».

— А матери скажи, чтобы читала акафист Богородице, потому что родила тебя вне венца. Ну, с Богом, детка, с Богом. Все будет хорошо. Подай-ка мне мою пулеметную ленту. — Монах кивнул на висевшие на гвоздике четки…

* * *

Монгол уже сидел в беседке, когда открылась дверь сарая, и оттуда вышел Том. Он шел к корпусу, слегка пошатываясь, будто оглушенный, растирая свое раскрасневшееся лицо.

— О! Привет, пропащий! — сострил он, но увидел его глаза, и осекся. Сама атмосфера этого места почему-то мешала шутить, делала всегда веселые шутки пресными и неуместными. Он и сам стал здесь каким-то непривычно тихим, собранным, и в этой собранности ему отчего-то было хорошо.

«Страх Божий», — подумал он.

Наконец, подошел Том, сел рядом.

— Ты как? — спросил Монгол.

Тот пожал плечами, покрутил между пальцев барабанную палочку.

— Отец Никита сказал, что нам можно домой ехать.

— Ты спросил? А я побоялся.

— Ты? Побоялся? Ты вообще тут как свой… На службах стоишь и вообще в обстановку вписался.

— У меня бабушка верующая была. В храм меня таскала, — Монгол раскрыл свои ладони, уставился на них, будто хотел разобраться в линиях судьбы. — Видно, вспомнилось что-то. Ладан этот. А может, не в этом дело… Меня ведь тогда чуть не грохнули, с баксами этими. А потом еще сон был, про ад. А тут — запах этот, тишина. Что-то совсем забытое, спокойное. Как в детстве на кладбище… Ладно, харош балдеть. Раз старец сказал, — надо домой. Прям с утра и поедем.

— Давай послезавтра. Завтра отец Никита меня крестит.

Том ожидал, что Монгол скажет что-то острое. Что-то про предательство идеалов. Но тот лишь поднял брови вверх, и серьезно сказал:

— Я поздравляю.

— Рано еще, — завтра поздравишь. Но все равно спасибо.

…Том долго не мог заснуть. Он ворочался в кровати и злился на себя за то, что опять не выспится. Пытаясь отключиться, раз за разом он ловил себя на мысли, что этот день стал первым днем его новой жизни, навсегда изменил его. Что теперь

делать со всем этим? Он так долго искал, метался, что-то храбро доказывал, презирал компромиссы. Он совал свой нос везде, имел обо всем свое мнение, он спрашивал и спорил, он не получал ответа и думал, что его нет. А здесь он просто шел поставить в сарай тачку, а вышел из него, как из гроба, другим человеком. Будто сильный и теплый ветер задул под ногами, а в сердце, как в хорошо протопленной печи, вспыхнул ровный огонь. Но что случилось с его душой? Она будто вымылась в бане, сняв с себя зачерствевшую корку житейских дрязг? Немного перепуганная всем новым, она осторожно, почти на ощупь, по-новому воспринимала этот мир. Что с ним сделал этот старик? Как он коснулся его сердца простыми и ясными словами? Том и сам не мог толком объяснить, что случилось. Видимо, дело было не только в прозорливых, но все же словах. Дело было в чем-то еще. Он ощутил нечто, дотоле закрытое от него. Словно новое измерение, новая реальность коснулась его невесомым птичьим крылом. Она пугала и одновременно радовала, давая надежду на новую, неизведанную жизнь. Но самое удивительное было в том, что благодаря этому новому знанию он уже не мог быть таким, каким был еще вчера. Он по-новому чувствовал,

и был вынужден подчиняться своим чувствам.

Но вскоре радость удивления сменилась переживаниями. «Ну теперь уже не отвертишься». «Сам захотел. Теперь придется в храм ходить. Каждые выходные». «Все спать будут, а ты в церковь, с бабками». «А еще поститься придется». «И с девчонками теперь никак. Позовет тебя такая, а ты скажешь: до брака нельзя. Она засмеется и уйдет». «Вот не сплю, а значит, завтра не высплюсь. Или просплю свое крещение, — смеху-то будет!». «А может, сбежать? Прямо сейчас! Одному! Плевать на Монгола, потом что-нибудь придумаю! Сбежать, назад уже не страшно».

Он оторвал голову от подушки, тихо сел на кровати. Тяжелые мысли роем летучих мышей кружили над ним, клевали его мозг, не давая заснуть.

Он вздохнул, глянул в черный квадрат окна, за которым мерцали яркие южные звезды.

«Не бойся», — стукнули в сердце простые слова старца. И все страхи тут же полиняли, разбились о непроницаемую броню непонятного, умиротворяющего покоя.

Лишь под самое утро он забылся глубоким спокойным сном. Ему приснилось, что он стоял в огромном пустом храме. Его сырые стены у са-

мой земли были покрыты черно-зеленым мхом. Высокий, серый свод его терялся где-то в сумерках. На широком подоконнике, через который пробивался тусклый свет пасмурного дня, стояла деревянная плошка с перламутровой, как жемчуг, жидкостью. Он взял ее обеими руками, и пил, пил ее кисло-сладкое содержимое, ощущая во рту долгую, переливающуюся всеми оттенками вкусов сладость. Когда плошка опустела, где-то вдалеке звякнул колокол. И в ту же секунду из его глаз, будто прямо из души, хлынули слезы.

Крещение

Он проснулся засветло, выглянул в окно. Кто-то из монахов мерно бил в колокол у храма. «Спал всего ничего, а выспался как никогда!» — мелькнуло в голове.

Том посмотрел на Монгола: «Пусть спит». Одевшись, спустился в корпус, умылся и поспешил в храм.

Всю службу он ждал, когда же его крестят, когда же его позовут, и даже решил, что о нем забыли.

Наконец, уже после проповеди, когда немногие присутствующие разошлись, отец Никита махнул ему рукой, и они пошли в нижний храм. За ним двинулись Монгол и отец Леонид. Они о чем-то разговаривали, негромко смеялись, даже спорили.

— А мне Париж Прагу напоминает. — Донеслись до Тома слова монаха. — А знаешь, почему? Потому что я ни там, ни там не был.

— Отец Никита! — Монгол догнал их, почтительно склоняясь над монахом. — Отец Леонид говорит, что лучший на свете город — это Москва. А я ему говорю, что Питер. А вы бы где хотели жить?

— А мне все равно, детка, — беззубо улыбнулся старец. — Где-то около церкви.

Они отперли нижний храм, отец Леонид открыл подпол и зажег три свечи. Отец Никита, размахивая кадилом, ходил вокруг черного зева родника. Том разделся, повернулся лицом к алтарю, монотонно повторяя требуемые слова. Наконец обряд подошел к концу.

— Пошел! — шепнул отец Леонид, и тихонько подтолкнул его к бурлящему квадрату купели.

— Крещается раб Божий…

— Егор!

— Георгий, во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь! — читал отец Никита, а Егор, судорожно крестясь, раз за разом опускался в ледяную купель алтаря. От холода у него перехватило дыхание. Он выскочил из воды и, хватая, как рыба, воздух, наскоро вытерся.

Отец Никита помазал его елеем, достал ножницы, усмехнулся.

— А тут стричь нечего. Но до свадьбы отрастет. А свадьба скоро! — Он подмигнул Егору, и лицо его осветилось. — Ангелы летать будут, и на вас сверху глядеть.

Отец Леонид уже стоял с чашей.

— Причащается раб Божий…

— Егор!

— Георгий, во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Аминь! Чашу, чашу целуй!

Том поцеловал Чашу, скрещенной рукой нащупал на груди незнакомый, непривычный, маленький алюминиевый крестик, краем глаза увидел, как с немым восхищением смотрит на него Монгол.

…После службы обедали в трапезной.

— Что, будешь хорошим христианином, или как все? — спросил отец Леонид.

— А ты ему ответь: самым плохим, даже хуже тебя, отче, — пробасил отец Леонтий.

— Хуже меня! Пусть попробует! — нахмурился отец Леонид.

Монахи засмеялись, снова застучали ложками.

— Мне сегодня после службы одна бабушка говорит: сейчас плохо, а вот при Сталине порядок был. — Отец Леонид посерьезнел. — А я наклонился, и говорю ей на ухо: у нас есть один батюшка. Он служит чином воскрешения мертвых. Могу лично для вас устроить, и Сталина воскресить.

— И что? — спросил кто-то.

— Да что… — монах вздохнул, выдержал паузу. — Нет, говорит, — пусть лежит себе спокойно. Скромные у нас люди…

Все снова засмеялись.

— Что, брате Георгие, нашего полку прибыло?! — улыбнулся Михаил.

— Мы завтра двинем. Пора и честь знать, — ответил Том.

— Да! Спасибо за хлеб-соль, — отозвался Монгол. — Или, как ты там говорил… За сухари и воду. Мы сегодня еще побарабаним?

— Конечно. Сегодня будем учить переходы.

Целый день Том едва сдерживал себя, чтобы не балагурить, не шутить без устали. Изнутри рвалась, переполняя, стучала наружу непонятная и невыразимая радость жизни. Он чувствовал себя так, будто его иссохшая душа впервые в жизни напилась целебной родниковой воды… Казалось, что все, к чему бы он ни прикоснулся, сложится именно так, как нужно, как *хорошо*.

Отъезд

Они стояли у родника. Том наполнил водой две бутылки, отдал одну Монголу. Неподалеку, за воротами монастыря, Михаил заводил уже свой уазик.

Они тепло попрощались с братией. Монастырь казался Тому уже совсем родным. Лишь отец Никита после службы сразу куда-то пропал. Том непроизвольно вглядывался вглубь монастыря, надеясь, что перед отъездом еще раз увидит отца Никиту.

Подошел Михаил, сунул Тому несколько смятых бумажек.

— Больше не собрал, но на билеты должно хватить.

— Нам не нужно. Так доберемся.

— Берите.

— Спасибо! — Том увидел, наконец, спускающуюся по лестнице знакомую сгорбленную фигуру. — Отец Никита, до свидания!

— Ну, с Богом, детки! — Старец посмотрел на Тома и будто просветлел лицом. — Бог благословит. Невесту не обижай.

— Какую еще невесту? — Том смутился, и поче-

му-то покраснел.

— Свою, конечно! — беззубо заулыбался монах. — На Троицу, на Троицу венчаетесь. Храм зеленый! Весь в траве будет. Ангелы поют на небеси, — красота какая! Ну, помогай Бог!

— До свиданья! — Том поскорее отвернулся. Они сели в машину и понеслись в обратный путь по лесному серпантину.

— Все! Пропал человек! Отгулял свое! — захохотал Монгол, хлопнув Тома по плечу. — А ну выкладывай, кто невеста?

Но Том пожимал плечами, не зная, что и сказать.

— Ты не переживай за друга. Может, еще пронесет, — улыбнулся Миша.

— Ну так монах старый… Никита сказал.

— Мало ли. Он странный немного… Хотя и добрый. По ночам не спит, все по келье ходит. Шумит, сам с собой ругается.

— Э, нет. Он не простой, я сразу понял, — твердо сказал Монгол. — А как он этого паломника раскусил! Насквозь видит.

— Ярослава? — засмеялся Миша. — Да нет, просто отец Никита его уже встречал. Кажется, в Оптиной. Этот Ярослав вовсе не из Сибири. Так, по монастырям шляется и старушек сердоболь-

ных тремя шестерками стращает. Он отцу Марку помог в Симферополе, а тот, не разобравшись, его сюда и пустил, по доброте душевной… Эх, ладно. Как приедете, Лелику привет передавайте. Похоже, он там у вас прижился.

— Ага! — помрачнел Монгол. — Прижился. Только почему, — не говорит. Может, ты знаешь?

— А вы не знаете? — хмыкнул Миша. — Ну, если я расскажу, — он не обидится. Там была история, достойная Шекспира. Однажды харьковские анархисты украли из Макдоналдса большую куклу клоуна. А потом, отрезая от него по кусочку, высылали по почте, требуя от иностранной закусочной покинуть пределы Украины. Администрация заведения пожаловалась послу, тот — президенту, тот перед американцами — под козырек… Менты вышли на них довольно быстро. А те не особо скрывались, тем более что в письмах подписывались как анархо-синдикалисты. Тем временем Лелик как раз поступил в академию и там влюбился в однокурсницу, дочку какого-то большого мента. Дело шло к свадьбе. И когда всплыла эта история с Макдоналдсом, то этот мент, ее папаша, попросил Лелика исчезнуть из их жизни. Якобы это угрожало карьере

дочки. Девушка вскрыла себе вены, отец увез ее в какой-то ведомственный санаторий, спрятал там, пока страсти не улягутся, а заодно мозги ей вправил. Лелику тоже объяснили, что если он не исчезнет, то его не только выгонят из академии, но и ноги переломают. Надо сказать, дочка оказалась понятливой. А Лелик хотел доучиться, поменял факультет, и вроде даже смирился. А когда диплом получил, то приехал к ним ночью, швырнул под крышу коктейль Молотова, и исчез. Вот такая история.

Машина выскочила из леса, впереди, за зелеными холмами и виноградниками вновь заискрилось море. Том молчал: говорить о чем-то совсем не хотелось. Будто с каждым словом из него, как воздух из воздушного шара, выходило то удивительно легкое и трепетное состояние, которым он так дорожил и которое до сей поры никогда не ощущал. Ну, может быть, когда-то давно, в детстве, перед Новым годом, когда наутро лезешь под елку, а там, в гуще еловых лап ждет тебя цветастая коробка с кубиками. Ему было одновременно и грустно, и радостно. Грустно покидать место, которое так внезапно изменило его жизнь. И, конечно, этих необычных, ни на кого не похожих людей. Но он старался думать о

другом: теперь, наконец, можно было, не таясь, вернуться домой.

Наконец, они выехали на трассу, остановились. Прощание было коротким.

— Ну, хорошей дороги. Приезжайте! — Михаил обнял их по очереди, махнул рукой и, посигналив напоследок, вскоре исчез из виду.

«Люди как книги, — Том долго глядел ему вслед: пройдет мимо незнакомый, — одна обложка видна. А если знаешь человека, — там ого-го всего сколько».

Подъехал троллейбус, и поток отдыхающих внес их в заднюю дверь.

— Задняя площадка, оплачиваем проезд, — нетерпеливо сказал водитель.

Том будто не слышал.

— Заплатишь? Тебе ж вроде Миша денег дал? — недоуменно спросил Монгол.

— Я их назад, в монастырскую копилку положил. — Том блаженно улыбнулся и снова потрогал на груди маленький алюминиевый крестик. — Так доедем.

— Суровый ты, святой отец. — Монгол отвернулся к окну.

Том все никак не мог прийти в себя. Вокруг него ехали серьезные, сосредоточенные люди. Все

они спешили домой, их отпуск кончился. А его сердце по-прежнему переполняла непонятная, безудержная радость, которой хотелось делиться с каждым.

«Выходит, свадьба будет? Но с кем?» — стучало у него в голове. Ему было странно верить в то, что будущее предписано так окончательно, и одновременно жить в полном согласии со своими желаниями, имея возможность ходить, дышать.

Наконец, троллейбус подкатил к привокзальной площади. Не теряя времени на расписание, они сразу пошли на перрон. На первом пути стоял поезд Симферополь — Москва: проталкиваясь через толчею, спешили к подножкам последние пассажиры.

Том глянул в конец состава, передернул через плечо ремень сумки, внутренне собравшись, будто перед взятием крепости. Но крепость сдалась без боя.

— Залазьте, хлопчики! — Неожиданно, и совсем по-домашнему сказал машинист. — Дорогу в задню кабину знайдэтэ?

— Найдем!

Дикая птица

В задней кабине, на единственном сиденье машиниста, уже сидел пассажир — старик-азиат. Небритый, с длинными, всклокоченными волосами и узким прищуром темно-карих глаз на плоском багровом лице.

— Здрасьте! — Том бросил сумку в угол.

— Привет! — старик глянул снизу тревожно и одновременно дружелюбно. Запахнув свою старенькую брезентовую куртку, отвернулся к окну.

— Слету взяли! — радовался Монгол. — Дед, где этот паровоз кости бросает?

— В Запорожье меняют, — ответил старик.

— Ну и отлично. — Вытянув ноги, они развалились на полу.

Наконец, тепловоз свистнул, и состав, набирая скорость, поплыл на север, оставляя позади белую колоннаду с часовой башенкой и высушенные южным солнцем пыльные кипарисы.

Кабина была просторнее и явно новее, чем та, в которой они ехали в последний раз. Том глянул на приборную панель с множеством приборов и кнопок, ненадолго задержал взгляд на запыленном, явно уставшем старике, без особого, в

общем, интереса. Он и сам устал, был перенасыщен впечатлениями, и ему хотелось только покоя и тишины. Прислонившись к холодной металлической стене кабины, он закрыл глаза. Событий за последнее время произошло столько, что хватило бы на несколько лет, а у него даже не было времени все толком обдумать, осознать, переварить. Он вдруг вспомнил, что этой ночью почти не спал, но мысли о доме не давали ему покоя, будили его радостным предчувствием. Тепловоз, будто чувствуя его настроение, летел птицей; весело стучали колеса, и в такт с ними радостно колотилось сердце: домой-домой! Домой-домой!

Уже унеслись назад сизые посадки диких маслин и колючих акаций, из окна потянуло горьковатым запахом Сиваша, а заснуть все не получалось. Том поднялся, глянул, разминая ноги, на необъятную, будто заснеженную, равнину соленой степи. Монгол, разморенный полуденным солнцем, лежал на полу. Его голова и колени мерно покачивались из стороны в сторону. Дед все так же неподвижно смотрел в окно, уперев локти на мешок, который положил на приборную панель. Заметив его взгляд, старик протянул руку:

— Борис.

— Георгий. — Том почему-то назвал свое новое имя.

— Из церкви? — уважительно спросил старик.

— Из монастыря. А как догадались?

— От вас ладаном пахнет.

— А вы куда? — Том тоже улыбнулся.

— А я бомж. Бомжую.

— Тяжело?

— Непросто. — Борис тяжело вздохнул, развернулся в кресле к собеседнику. — Озлобились люди, как и предсказано. Я как на улице оказался, так сразу это понял. Я раньше в Москве на Трех вокзалах жил, но меня там чуть не убили. В московский храм Всех Скорбящих Радость обратился, а работница и говорит: иди отсюда, мочу свою пей. А в Свято-Даниловом монастыре я своими глазами видел, как бомж просил воды, а казаки написали в кружку, и вынесли ему: пей, мол! Озлобились люди. В прошлом году женщина в Красноярске насмерть замерзла на остановке. В лед превратилась, и никто ее не приютил. Ну разве так можно? Все хуже и хуже становится. Хотя в России еще более-менее.

— Вы православный? — удивился Том.

— Да. Хотя я сам из Казахстана. Я под Семипала-

тинском родился, в маленьком селе. Мать умерла вскоре после моего рождения, и я рос с отцом. Он бил меня постоянно, пока от пьянки не помер. А потом у нас все спились, и поселок вымер. Это потому, что ни цели у людей не было, ни веры.

А я не хотел умирать. И вот как-то раз я услышал, что есть такие люди, которые знают, как не умирать. Что Иисус такой есть. И я пошел Его искать. И нашел, и поверил. Вот только не объяснишь никому, что такое вера. Я не знаю, как кому-то можно доказать, что есть Бог. Я пробовал, это бесполезно, если сам человек Его не ищет. Но вера — она же столько дает! Вот взять, к примеру, литературу. Пушкин! Или живопись. Я и сам художничал, но когда Васнецова в Третьяковской галерее увидел, — мне страшно стало. Картина «После боя»: я почувствовал запах мертвечины. Ты можешь себе представить? Или вот таблица Менделеева. Что, казах ее придумал? Нет, русский. А почему? Не потому, что казахи хуже, а потому что русские Бога нашли. Вот что вера с людьми делает! И поэтому Господь им такую страну огромную дал. Вот любую страну возьми: тут сад, тут огород, — все ясно. А в России за полем лес, за лесом речка, а дальше и не ходил никто. Почему столько земли? Потому что русский по

золоту ходит, а смотрит все равно на небо, не о земном думает. Потому и широка его страна, а конец ее где-то за Полярной звездой.

— Скоро Россия развалится, — Монгол зевнул. Он уже проснулся и тоже слушал их разговор.

— Развалится? — Бомж с сомнением посмотрел на него. — Да не. Не развалится. Что ж это на месте России тогда будет? А люди куда денутся? Нет, не будет этого. Тут и миру-то конец, без России. Поболеет страна, и выздоровеет. Я таких развалин видал, а как-то ходят. Лишь бы с Богом ходили… Мой оберег. — Он полез за пазуху, достал оттуда деревянное Распятие, поцеловал. — А вы из каких мест?

— С Украины, — уклончиво ответил Монгол. Борис явно не вызывал у него доверия.

Бомж спрятал крест, пошамкал ртом, будто пережевывая слова.

— Украина от России сильно отличается. У вас в подъезде спать ляжешь, а в квартирах такие разборки! Крики и драки каждый день, аж страшно. Я во многих подъездах спал, но нигде такого нет, как на Украине. Дерутся, кричат так, что стекла звенят. Но наружу никто не выбегает. А ты лежишь, и думаешь: и убьют там кого-то, а все равно дверь не откроют.

— Слышь, пассажир, а с домом что? — спросил Монгол.

— Меня там никто не ждет. — Борис заерзал, отвел глаза. — Я сам ушел, от жены. Вначале тяжело было, потом привык. Мне один знакомый сказал: если назад вернешься, — сразу убьют.

— За что?

— За Христа. У нас люди жестокие. В России все же лучше. Я как-то в Оптиной пустыни книгу читал. В ней было написано, что один человек бросил семью и ушел в монахи. А потом домой вернулся, и все у него сразу умерли. Жена, дети, — вся родня. И поэтому тоже не еду. А мне одна женщина сказала: так ты своих охранять и вымаливать будешь.

— Я вот одно не пойму: зачем жениться, если потом убегать? — недоумевал Монгол. — Жену не жалко?

— Жалко. А ты бы поехал туда, где тебя убьют? Там очень жестоко, понимаешь? Ей проще, а я не могу вернуться. Они просто будут пинать меня, пока я не умру. Фальшиво там все, понимаешь? В России все живое. Но я даже рад, что это со мной случилось, что я мимо Христа не прошел. А так бы остался без веры. Я же видел, как у нас умирают! У нас смерти боятся, кричат страшно.

— Кто ж ее не боится? — усмехнулся Монгол.

Борис махнул рукой, отвернулся к окну, и вдруг заплакал. Том уже пожалел, что начал этот разговор, но бомж быстро пришел в себя, утер слезы и продолжил.

— Единицы — с печатью Духа Святого. Как-то в Тольятти приезжаю, а ночевать негде. Спросил у уголовников: где тут самый блатной живет? Они показывают: а во-он там, вор в законе. Я нашел его дом. Квартира открыта: ничего человек не боится. Ну, я и лег у него, прямо на пороге. А у меня на груди икона была Богородицы, и надпись: «Пресвятая Богородице, спаси нас». Он пришел ночью, позвал женщину — не знаю, жена или любовница. Говорит: «Вот, читай что у него написано. Понятно?» Потом пустил меня домой переночевать, накормил. Хоть и вор, а человек.

Том сел на второе кресло и, опершись на приборную доску, смотрел в окно. Мерно стучали вагоны, неслась назад под колесами желтая южная земля. Остывало лето к вечеру, спешили на юг суховатые тополя и акации, ползли на восток тени.

— Как же ты в Церковь пришел? — спросил Монгол.

— Я до православия баптистом был. Дело бы-

ло в Павлодаре, я там на стройке работал. Был у нас там пастор. Такой умный! Все Евангелие наизусть знал. Я тогда думал: ну надо же, святой человек. А потом как-то взял у него без спросу трос на работе. И он меня за этот трос так избил, что я потом долго болел. Чуть инвалидом не стал. В общем, Бог показал мне, кто такой этот пастор. А в православный храм как стал ходить…

Борис с шумом вдохнул воздух, закрыл глаза, открыл, заулыбался.

— Помню, потерял зимой рукавицы, а через три года — нашел! Вещи мои сохранились, никто их за три года не взял! Ну, а как принял Причастие, — вообще все изменилось. Было у меня тогда сильное внутричерепное давление. Это ужас. Помню, первый раз только причастился, и все! С тех пор прошло. Тогда бессонница была страшная, а теперь сплю как убитый, даже стоя могу заснуть. Слава Богу за все.

Разговор затих. Монгол снова задремал. Том тоже закрыл глаза, но старику явно хотелось пообщаться.

— Слышь, Георгий! — Бомж дернул его за рукав. — Я в «Вокруг света» читал, что голуби видят даже при сварке. И ученые не могут понять, как это может быть. Ну как они могут понять Святой

Дух? Это же непостижимо. А ведь люди даже таблички пишут: не кормите голубей. Это же вообще страшно. Помните: хула на Духа Святого не прощается ни в сем веке, ни в будущем. И вот кому ни объясняю, — бесполезно. Или вот еще… Я однажды ночью в Минске на вокзале проснулся, и понял, что ад — это любая вечность без Бога. Абсолютно любая форма вечной жизни без Бога — это ад. А знаешь, — почему? Потому, что через миллион лет человек до такой степени разовьет свои недостатки, так потеряется в оценках окружающего, что сам себе не рад будет. Он устанет от всего, будет пребывать в вечном одиночестве.

— Тебе-то самому одному не страшно? — спросил Том.

Старик усмехнулся, посмотрел в окно.

— Страшнее те посмертные мытарства, что меня ожидают. Я вот долго Бога просил: Господи, покажи мне моих родственников. И вот как-то стою в храме Всех Скорбящих Радость. И вдруг понимаю: вот они, вокруг меня! Дедушки, бабушки. Настоящие мои родственники! — Борис радостно засмеялся.

— А работать не пробовал? — Том понизил голос.

— Я в Оптиной полгода работал. Не смог боль-

ше. — Борис тяжело вздохнул. — Там же как в санатории! Кормят до отвала. Жизнь легкая. Как-то в крестный ход пошел. Ну что это за крестный ход? Вещи твои на машине везут. Пищу тебе готовят. Даже ложку не нужно поднимать: сами накладывают. Просто турпоход и санаторий. А мне один человек сказал: «Знаешь, почему дикие гуси летают, а домашние — нет? Потому что трехразовое питание не спасительно». Из-за этого я монастырей боюсь. Всё у них есть там, внутри. Был я как-то в Питере, в монастыре одном: у настоятеля — цветной телевизор! Я сам видел! Это же вообще губительно.

— Менты не цепляются?

— Менты тоже люди разные. Поймали меня как-то в Нижнем Тагиле, в отделение привели. Ночью один остался, в дежурке. А я ему говорю: отпусти меня, Христа ради. Он мне говорит: «Ты казах, а во Христа веруешь? А скажи-ка мне, за сколько Его распяли?» «За 30 сребреников» — говорю. «А вот и нет, — говорит, — бесплатно. Вначале Иуде 30 монет дали. А потом он их иудеям и вернул. Выходит, что бесплатно». А я дежурному и говорю: «Не то удивительно, что Иуда деньги вернул, а то, что их у него назад брать отказались. Ведь это их деньги-то! А это

значит, иудеи с самого начала знали, что на грех идут. Знали, Кого на смерть обрекли, иначе бы от своих денег не отказывались. Вот в чем ужас!» «А ты богослов!» — говорит, и меня выпустил. Шел я тогда, и думал: какие все-таки удивительные люди у нас встречаются.

— А теперь куда? В Москву?

— Как совсем похолодает, — туда поеду, там зимой проще. А летом опасно. Я до Запорожья. Там монастырь женский есть. Накормят, Бог даст, — переночую. Если не пустят, посплю где-то на теплотрассе, под мостом. А там, может, в Сибирь подамся. В Сибири знаешь, какие люди! Справедливые. Любая машина зимой подберет, любому человеку помогут. Это закон. А здесь — попробуй сядь. Даже дальнобойщики не останавливаются. Такое холодное отношение.

Они проснулись в Запорожье, когда состав менял тепловоз, поблагодарили машиниста.

— Та нема за що, хлопчики, — отмахнулся тот. — Прыходьте ще.

Бомж попрощался с ними и медленно побрел к вокзалу.

— Борис! — Вдруг окликнул его Том.

— Чего? — Старик повернулся.

— А чего в твоей жизни было больше: доброго

или злого?

Борис вздохнул, посмотрел куда-то в сторону.

— Добро добрее. Они ведь меня к Богу привели. Главное — простить их, не держать зла.

Он снова зашагал было к вокзалу, но вскоре повернулся:

— Держись неба, Георгий! И никогда в него не плюй, — все вернется, прямо на голову.

Он помахал им рукой, и пошел дальше.

— Так, — деловито проговорил Монгол, — тепловоз ушел, вагоны остались.

Проклятый ключ

В первом же вагоне дверь оказалась открытой.

— Везет нам. Проводника нет.

Они забрались в вагон, быстро проскочили мимо купе проводников. Дверь в него была приоткрыта, и Том мельком увидел в щель свисающую со второй полки руку в синем форменном кителе. Из купе дохнуло перегаром.

— Готов! — шепнул Том.

— Похоже, в дым, — кивнул Монгол. — Наверное, в Крыму начал.

Привычно забросив сумки на третью полку, они сели в конце вагона на свободные боковые места. Напротив, в обшарпанном купе сидели старик и молодая женщина с ребенком.

— Да что же это такое! — причитал старик. — С самой Феодосии туалеты никак не откроют. Проводник — в состоянии опьянения. Как говорится, в дрезину.

— Дед, а тебе в туалет надо? — подмигнул ему Монгол.

— А как же. — Дед аж подскочил на месте. — А то, знаете… После этих южных персиков и винограда… Наблюдается некоторое утомление

организма.

— Пошли! — Монгол провел старика до туалета, оглянулся, быстро открыл дверь. — Если что — было открыто!

— Ага! Ага! — Дед исчез за дверью.

— А что, открыли? — В проеме появилась женщина с ребенком.

— В ручном режиме. — Монгол неопределенно повел рукой. Женщина кивнула, заняла очередь. Затем пришла бабушка с внуком. За ними стали два пацана. Монгол плюнул, вернулся к себе на место.

— Решил доброе дело сделать. Смотри, сколько народу спас. — Монгол похлопал себя по карману. — А ты его выкинуть хотел.

— А из тебя неплохой проводник получился! — засмеялся Том.

— Скорее полупроводник.

Вечер они встретили без приключений. Наконец, за окном мелькнули высокие арочные окна и колоннада с небольшой башенкой.

— Лозовая. — Том сверился с картой. — До Харькова пару часов. Остался последний отрезок до финального броска!

Они вышли в тамбур, закурили.

— Отлично идем.

— Не говори! Не идем, а летим!

— Доброе утро! — в тамбуре показался их проводник. В одной руке у него была бутылка пива, другой он пытался одернуть застегнутый не на те пуговицы китель. Подняв на них запухшее, но веселое лицо, он поправил лихо заломленную фуражку, и спросил:

— Есть шо?

— Нет.

— Ну нет так нет, — проводник пожал плечами, и уже открыл было дверь, но тут у Монгола непроизвольно вырвалось:

— Та вечер!

— Шо? — Проводник остановился.

— Вечер уже, а не утро. Лозовая за бортом.

— А, Лозовая. А вы где садились?

— Мы только сели, до Харькова.

— Брешете. — Проводник погрустнел. — По Лозовой у меня посадки нэма. Выходите.

— Слышь, нам тут пару часиков… Может, договоримся?

— А что у вас есть? — заинтересовался проводник, снова обдав их волной перегара.

Том долго рылся в сумке, надеясь, что поезд тронется. Но тот стоял как вкопанный.

— Пара бутербродов, — наконец сказал он.

— Пара чего? Выходите давайте! Все, все. Покатались! — проводник замахал руками.

Спрыгнув на платформу, они бегом рванули к началу состава, но в этот момент тепловоз свистнул и покатился вперед, быстро набирая ход.

— А ты прав был. Это у тебя ключ несчастливый. — Монгол подбросил его в руке и запустил куда-то вдаль, в пропахшие металлом железнодорожные сумерки. — Все. Теперь точно уедем.

И они направились в здание вокзала.

— Ладно, — бодрился Том. — Уже не Крым, совсем чуть-чуть осталось. Пешком дойти можно.

— Как-то доберемся. Все равно назад как-то ровнее катим, да?

Опытным взглядом окинув зал ожидания, они сразу подошли к высокому стенду с расписанием скорых.

— Елки, московский только что ушел. А следующий — в два часа ночи. — Монгол скривился. — Попадалово.

— Так это же наш и ушел.

— Вот зараза. А что по электричкам?

— Тут тоже засада. Одна ушла недавно, а последнюю, на девять, отменили. А тут каких-то два часа езды! Эх, если б мы не выскочили, то были бы уже вечером в Харькове. А теперь в лучшем

случае будем там только под утро.

— Это все ключ твой проклятый! — снова повторил Монгол.

— При чем тут ключ? Болтать меньше надо, — не выдержал Том.

— Ладно, упрощаем. Давай хоть пожрем, что у нас там осталось. После еды всегда лучше думается, — примирительно сказал Монгол.

Они сели на перроне, и, жуя большие монастырские бутерброды, лениво глядели на пустующий перрон.

— Вторая, вторая, из Харькова, принимаем грузовой! — раздалось неподалеку из громкоговорителя.

Вдруг Тома осенило.

— Есть одна идея!

— Говори, — Монгол чуть не подавился.

— Между Лозовой и Харьковом развилок нет. Это значит, что все поезда на север по-любому идут в Харьков. Так?

— Навроде того. Ты что сказать хочешь?

— Смотри. — Том кивнул на противоположную сторону станции. Там стояли несколько товарных составов. Ближе всех медленно катился на юг длинный состав из цистерн.

— Предлагаю сесть на первый же товарняк,

который тронется на север. Мы ничего не теряем. Если где-то и застрянем, — доедем с утра на электричке. Если на ночной не впишемся.

— Отлично! Едем!

Быстро проглотив остатки еды, они направились к вагонам. Долго ждать не пришлось. Длинный состав, отрезанный от них еще одним товарняком, громко звякнул замками и покатил на север. Они быстро прошмыгнули под вагонами и оказались прямо перед набирающим ход поездом.

Товарняк

Состав был разнокалиберный. Мимо них проехали три цистерны, пара платформ с новенькими зелеными тягачами, несколько открытых вагонов с углем, затем снова потянулись цистерны. Товарняк набирал ход, а подходящих вагонов все не было. Но вот в конце состава потянулись крытые пустые вагоны.

— Смотри, дверь открыта! — крикнул Монгол.

Не раздумывая, он швырнул сумку в черный проем двери. Затем, подпрыгнув, подтянулся на руках, и тут же перекатился по полу, освобождая проход Тому. Том бежал рядом, надеясь не оступиться в наступающих сумерках о что-нибудь под ногами.

— Давай руку!

Еще секунда, и оба, тяжело дыша, сидели на дощатом полу вагона.

— Кажись, едем!

— Давай от дыры подальше, пока станция.

Они спрятались в глубине вагона, наблюдая, как несутся мимо грязные домики, какие-то склады, цеха большого старого завода. Пронеслась над головой гулкая темень моста, прозвенел

переезд, и наконец в прямоугольнике дверной щели появился пустой и унылый пейзаж родной лесостепи.

Том оглядел вагон. В нем было пусто, лишь в углу валялось несколько больших кусков оберточного картона. Дверь напротив тоже была отворена.

— Это хорошо, что две двери открыты! Можно сбежать, если кто заметит! — Том старался перекричать нарастающий грохот.

Состав тем временем набирал ход. Вагон все сильнее раскачивало из стороны в сторону и трясло мелкой неприятной дрожью.

— Никаких рессор нет! — Голос Монгола от мелкой тряски, будто от озноба, стал слегка надтреснутым.

Том подобрался к самой двери, застыл, вглядываясь в вечернюю мглу.

— Панютино! Мы правильно едем! — он кивнул на мелькнувшую мимо платформу. Его голос утонул в грохоте и шуме. Говорить стало невозможно. Вагон отчаянно звенел, стучал и скрипел всеми своими досками, как старый сарай во время урагана. Над головой, извещая о каждом стыке рельсов, лязгала круглая крышка потолочного люка.

Уже стемнело. С полей задул холодный, уже совсем осенний ветер, пронизывая вагон навылет. Монгол попытался закрыть дверь, но она не поддавалась. Они надели на себя всю одежду, затем, поставив картон в угол, подперли его своими спинами и сидели, стуча зубами, стараясь не обращать внимания на грохот.

Вдруг поезд резко остановился, и они чуть не покатились вперед.

— Не дрова везешь! — ругнулся Монгол, прислушиваясь к свисту в ушах.

— Как стоп-кран сорвали. Стояли бы, — точно носом полетели. Голос Тома неожиданно громко прозвенел в полной вечерней тиши.

Они осторожно выглянули наружу. До горизонта, насколько хватало глаз, тянулось поле. Вокруг не было ни жилья, ни огонька, ни переезда. Поезд тихо стоял посреди полей. Так, в полной тишине, они просидели минут десять.

— Давай в соседний перебежим. Я видел, там только одна створка открыта. Теплее будет, — предложил Монгол.

Спрыгнув на насыпь, они быстро перебрались в соседний вагон.

— Я думал, что он хоть у станций останавливается. А он тормозит где попало, а станции, гад,

вообще пролетает, — встревожился Том. — Так можно и с электричкой разминуться.

— И идет, гад, не так быстро, как нужно, — добавил Монгол. — Я бы сказал, он просто тащится.

Простояв минут десять, состав тронулся. В новом вагоне было действительно немного лучше, но щербатые доски почти не защищали их от холодного ветра, а картона здесь не было. К ночи стало еще холоднее. Через полчаса езды они уже не могли разобрать, отчего у них стучат зубы — от тряски или от холода.

Через полчаса состав снова остановился.

— Трэш! — Монгол выглянул в дверь.

Поезд снова стоял в поле. На ясном студеном небе горели звезды, косо щербатилась луна.

— А дубак какой! — растирая себе плечи, проговорил Монгол. — Слушай, ты помнишь, — впереди, кажется, вагонов через пять, тягачи стояли? Полезли туда, в кабине доедем.

— Ты шо, совсем мозги отморозил? А если состав охраняется? Ты знаешь, сколько на нас повесят?

— Ты как хочешь, а я пошел. Попытка — не пытка.

— За всю жизнь не расплатишься. Это я тебе как бывший железнодорожник говорю.

— Ну я хотя бы разведаю. Сумку тут оставлю.

Стереги. — Монгол спрыгнул на щебень, и его шаги вскоре затихли в темноте.

Стояли уже минут двадцать. Ветер утих, снаружи потянуло сырым подвальным холодом. Где-то неподалеку несмело затрещала саранча. Том походил по вагону, поприседал, пытаясь хоть немного согреться, наконец выглянул из вагона. Снаружи виднелся лишь поросший высоким бурьяном склон, который прятался в белой туманной мгле. Она стелилась над бескрайней степью до самого горизонта. Вокруг не было ни огонька, ни иного признака человеческого присутствия. На юге холодная ночь беззвучно глодала сырную голову луны. Поезд будто завис над облаками, застыл, как вкопанный. Затих, будто больше никуда и не собирался.

— Приехали, — он обнял себя руками, поежился.

Ему вдруг ясно представилось, что это конечная станция. Что дальше дороги нет. Что не было ничего. Ни дома, ни Крыма, ни Монгола. Или было, но уже не с Георгием, а с тем, с Егором. Чтобы остаться там, в прошлом, он должен выйти прямо сейчас. Броситься из этого разбитого вагона прямо в небо и раствориться во мгле, навсегда разделив с этой бескрайней белесой бездной ее

холодное космическое одиночество. Исчезнуть, без вести пропасть, сгинуть где-то на обочине жизни, позабыться всеми, срастись с этим туманом в одно целое… Вот и конец его ненаписанной книги. Но можно поехать дальше, в непонятное и пугающее завтра, решив навсегда отказаться от себя. От привычного всем, праздного, резкого и веселого Тома. Как теперь ему быть? Что делать со всем этим, что он узнал? Учиться верить? Конечно, он доверял отцу Никите, чувствуя, что этот монах — не такой, как все, необычный. Но является ли правдой все то, во что верил сам отец Никита? Как совместить то чувство уныния, скуки и обязаловки, которым, как казалось ему, веяло от всей этой веры, с тем невыразимым светом, которым был исполнен этот старец?

Он стоял, один на один с этим миром, будто слепой путник на краю пропасти. Странное, непривычное чувство овладело им: тоска по себе прошлому и нежелание им быть дальше.

«Все будет хорошо!» — неожиданно пришли на ум три обычных слова, сказанные ему старым монахом. Они были просты, как земля, и глубоки, как небо, они успокаивали и укрепляли его, как перед битвой. Перед надвигающимся новым миром — огромным, пугающим, непонятным.

— Стоять, сука, ядрить твою в кочерыжку! — Промозглую ватную тишину разорвал крик, а за ним раздался протяжный разбойничий свист. Вновь побежало заснувшее было время, покатилось вперед на своих тонких подвижных шестернях. Том бросился вглубь вагона, схватил сумки, выглянул из проема. Вскоре в туманной мгле послышался хруст щебня: кто-то быстро бежал в его сторону.

«Прыгать? Не прыгать? Бежать в степь? А дальше? — Вцепившись в створку двери, он глупо пялился туда, откуда приближались звуки. — А если это не Монгол?»

Ужаснувшись этой страшной мысли, отпрянул внутрь.

Еще миг, и в проеме показалось перекошенное, совсем белое в лунном свете, лицо Монгола. Схватившись за доски дверей, он отчаянно полез в вагон.

— Валим отсюда! Это же западня! — страшно шепнул Том, пытаясь вытолкнуть Монгола назад, наружу.

— Они еще там!.. Та не мешай же!

Монгол ввалился, наконец, в вагон, и они, забившись в самый дальний угол, затихли.

Через минуту вновь послышался хруст щебня.

Шаги были короткие, шершавые, по-хозяйски основательные. По стене напротив скользнул луч фонарика.

Том почувствовал во рту железистый привкус крови. Ему казалось, что стук его сердца выдаст их с головой. Он прижался к стене, прислонясь щекой к шершавым доскам.

— Господи, помоги… — прошептал он одними губами, стараясь не смотреть в черное жерло выхода. — Господи, если ты есть! Помоги, спаси нас, укрой, защити, ну, пожалуйста… Верую, Господи, помоги неверию моему!..

Шаги поравнялись с дверью, замерли на секунду… Луч фонаря осветил противоположную стену вагона, ее старые обшарпанные доски, поспешно скользнул по углам, замер…

— Бамсссс! — От сильного удара полетела, звякнув, консервная банка, сухо покатилась вниз по склону… И вновь захрустел щебень, тяжелые шаги стали удаляться, пока совсем не затихли в хвосте состава.

Наконец, громыхнув ржавым железом, поезд тронулся. Они еще долго молчали. Наконец, Том, преодолевая вяжущее тяжелое молчание, крикнул сквозь грохот в самое ухо друга:

— Ну ты и дятел, Монгол!

Монгол не ответил. Он был рад, что темно, и Том не может увидеть его еще напряженное, но уже улыбающееся лицо.

...Поезд то останавливался, то ехал вновь. Остановки стали короче, но и езда сократилась. Фонарей стало больше. Они пробегали по коричневым стенам вагона, прятались в углу, и исчезали, сменяясь другими. Наконец, на горизонте появилось грязно-рыжее зарево большого города. На одном из перегонов застряли минут на пятнадцать. Снаружи моросил мелкий дождик.

На их удачу, по тропе вдоль путей шел мужик с велосипедом.

— Эгей, это Харьков? — приглушенно позвал Монгол.

— Харьков! — отозвался эхом мужик.

— А сколько времени?

— Час ночи.

— А сколько до вокзала?

— Пехом минут сорок.

— Спасибо.

Поезд дернулся, но, проехав минут пять, снова встал.

— Приехали, короче, — изрек Монгол. — Пошли пешком.

Они с облегчением спрыгнули на землю, и,

ежась от мелкой мороси, поспешили вперед. Наконец, впереди засверкал огнями огромный харьковский вокзал. Внутри было гулко, сухо и даже немного тепло.

— Будто дом родной. — Монгол разглядывал помпезный потолок с революционными картинами на потолке.

— Смотри! — Том кивнул на расписание. — Мы успеваем на наш старый знакомый, «Адлер — Минск»! Через полчаса будет.

Битва с белорусскими проводницами не сулила им ничего хорошего, но до дома оставалось совсем немного. Наверное поэтому Том вдруг ощутил невероятный азарт, кураж, перед которым должны пасть любые преграды. На миг ему показалось, что и вокзал, и рельсы, и даже мелкий дождь, — все они болели за них, желая быстрого и удачного финала поездки.

В самом начале их путешествия добраться сюда без денег казалось ему целым подвигом. Но теперь застрять здесь, в жалких четырех часах езды от дома, выглядело уже совсем нелепо. Ему подумалось, что само непоколебимое состояние его устремленной домой души передастся проводникам, *обяжет* пустить их внутрь.

Развалившись на креслах в зале ожидания,

как бойцы перед последним боем, они закрыли глаза.

Наконец, в громкоговоритель объявили прибытие их поезда. Когда он въехал на перрон, они сразу ринулись к машинисту.

— Я сменяюсь, — сказал тот.

Они немного потоптались у тепловоза, пока, наконец, его не отцепили.

— Глупо стоять, только время теряем, — Монгол сплюнул. — Пошли вагоны брать.

Провожатыми влезть не удалось: редкие пассажиры быстро растаяли на перроне. Друзья обходили вагон за вагоном, но никто не хотел их везти.

— Ревизоры! — Сочувственно пожимала плечами очередная проводница, смотря куда-то вдаль, затем хлопала подножкой и закрывала дверь.

Последний рывок

Дойдя до конца состава, они вновь рванули к тепловозу, но с машинистом не повезло. Он долго отмалчивался, а затем и вовсе закрыл окно.

— Тьфу ты. Как сговорились.

— Ты смотрел, когда следующий?

— В восемь утра.

Они понуро побрели вдоль состава, пока вновь не дошли до последнего вагона. Дальше идти было некуда, и Том стал препираться с проводницей, дородной бабой с тяжелым, как чугунная гиря, лицом и высокой копной медных волос на голове.

— Вы понимаете, нам срочно нужно ехать! — убеждал он ее. — Завтра нужно быть дома. Почему вы нам в этом препятствуете?

— Билеты будут, тогда и будем говорить, — упиралась проводница.

— Нет, вы не понимаете. Родные и близкие ждут нас дома. Они скучают, понимаете? По вам же тоже дома скучают, правда?

Проводница молча смотрела в темную даль перрона, туда, где догорал последние минуты красный глаз семафора. Она напоминала огром-

ный неприступный айсберг.

— Скучают же! Мы едем издалека. Мы очень давно не были дома. Мы устали. Поймите нас по-человечески. — Том подбирал слова, будто ключи к твердокаменной душе проводницы. Ключей у него в запасе было еще много, но поезд уже дал прощальный свисток.

— Ладно, — наконец сказала она. Мягко улыбнулась, лениво оглядывая пустой перрон. — По сколько платите?

— Да вы что?! — театрально ужаснулся Том. — Естественно, бесплатно! Только бескорыстие приносит людям подлинную пользу. Вам обязательно зачтется.

— Бесплатно? — кисло фыркнула проводница. — Бесплатно во-он там, на буферах езжайте.

Ткнув пальцем в конец вагона, она захлопнула дверь.

— Приехали. — Монгол зло швырнул сумку на влажный асфальт платформы, и, усевшись на нее, достал сигарету. Том тоскливо взглянул на грязный состав, на сияющую пузатую шкатулку вокзала. Он не хотел, он никак не мог поверить в то, что они потеряли такой шанс. Что им придется остаться здесь до утра. По инерции он побрел в конец вагона, хотя это уже было явной глупостью.

И вдруг крикнул:

— Саня! Сюда!

В три прыжка Монгол оказался рядом.

— Смотри!!!

В торце вагона, прямо над буферами, была дверь. Маленькое окошечко чернело вверху, оно было разбито. Света в тамбуре не было.

— Высоко. Не залезем, — засомневался Монгол.

— Монгол, ты чего? Заболел? — Том мигом рванулся к вагону, дотянулся до ручки торцевой двери, дернул ее. Дверь была закрыта. Схватившись за ручку, он влез на буфер и, балансируя на нем, забросил сумку внутрь тамбура, а затем, переступив на замок вагона, просунул в окошко руки и голову. Упираясь локтями в стену, скользнул, как змея, вниз, пока не уперся руками в пол. Вскочил, выглянул наружу.

— Сумку давай!

Монгол бросил ему сумку, быстро влез следом. В тамбуре была полная тьма. Том нащупал угол, сел на пол. Под ногами глухо звякнул металлический совок для угля. Где-то рядом затаился Монгол.

Поезд вновь свистнул. Долго, будто нехотя тащились секунды. Вдруг вагон качнуло, и мимо окна медленно, как-то совсем буднично прополз тускло освещенный столб.

— Поехали! — еще не веря, с трудом сдерживая радость, прошептал Том. Они снова затаились, словно боясь спугнуть удачу. Впереди был близкий Богодухов, в котором поезд делал остановку. Выходить там совсем не хотелось. Поезд все уверенней набирал ход, вместе со скоростью все сильнее ликовало сердце. Прошло пять минут.

— Я думаю, она не зайдет сюда. Раз сразу не зашла, то и делать ей тут ночью нечего.

— Она даже не доперла! Ее габариты не позволяют ей прикинуть, что мы могли пролезть в такую небольшую дыру.

В этот момент дверь распахнулось, и в тамбур кто-то вошел. Сухо чиркнула спичка, осветилось небритое лицо немолодого человека.

Том негромко кашлянул.

— Хто тут?! — испуганно ойкнул пассажир. Он снова зажег спичку, поднял повыше, кое-как осветив черную нишу тамбура.

— Зайцы! — с тихим вызовом проговорил Монгол.

— А! От молодци, хлопци! — сказал пассажир. — От это правильно! От это я понимаю! И одобрюю!

Докурив сигарету, он вышел.

Они благополучно проехали Богодухов. Поезд мерно шатался, притормаживая на полустанках,

проезжая мосты, села, переезды. Тому хотелось растянуться, отдохнуть, но делать это на заплеванном полу тамбура было выше его сил.

«Чистюля нашелся». — Он встал, облокотившись на прутья двери, посмотрел за окно, закрыл глаза… И вдруг уснул. Он стоял и спал, казалось, целую вечность, пока поезд не дернуло на ближайшем переезде.

Тамбур на миг осветился лучом фонаря. Монгол тихо посапывал, сидя в углу на сумке и положив на колени руки.

«Какая уже разница? Все равно стирать». — Том бросил сумку в углу напротив, сел, вытянув ноги, и тут же уснул.

Они проснулись под утро. Их разбудил все тот же мужик. Зайдя в тамбур, он достал из кармана фляжку.

— Подкрепитесь, хлопци. Цэ коньячок, — радостно объявил он.

Том сделал несколько больших, жадных глотков. Коньяк обжег пустой желудок, горячей волной ударил в голову. Лицо стало ватным, тело наполнилось ободряющим теплом.

— Вот спасибочки, добрый человек! — прошептал Том.

— Да я шо ж, я не понимаю, як воно вам? — го-

ворил мужик. — Пыйте, хлопци. В мэнэ ще йе.

Солнце уже встало, когда, наконец, за окном замелькали родные дома, мосты, озера. Они поглощали глазами нехитрый знакомый пейзаж и не могли им насытиться. Каждый клочок казался таким близким, что хотелось выпрыгнуть из поезда прямо на ходу.

Перед самым городом поезд сбавил ход. За окном потянулись одноэтажные домики привокзальных контор, и, наконец, медленно и торжественно появился знакомый перрон с его вечными собаками и голубями.

— Ну, здравствуй, мама-родина. Пошли, что ли? — Монгол указал на дверь.

— Нет! Как влезли, так и вылезем, — пьяно отрезал Том. — Пусть эта баба знает, что такое панки на буферах.

Вылезать оказалось гораздо неудобнее: нужно было исхитриться, чтобы, вися головой вниз и держась за ручку, не разбить голову о бетонные шпалы. Но эта трудность была последней в их длинном пути, и поэтому казалась совсем несерьезной.

Том отряхнул штаны, оглянулся. Вагон стоял как раз напротив милицейских окон. Ему стало почему-то смешно.

На счастье, было раннее утро, и у двери отделения никого не было.

Они влезли на платформу, как ни в чем не бывало прошли мимо дверей последнего вагона. Заспанная проводница их не узнала.

— Мерси большое. У вас отличные буфера! — Монгол поднял кверху большой палец.

Женщина открыла рот, и забыла его закрыть. Наконец, опомнившись, крикнула вслед:

— А я знала! Я знала!

— Ну что, пока? — спросил Монгол. Это будничное прощание прозвучало так непривычно.

— Ты куда? Мы вроде у меня на даче жить собирались, — удивился Том.

— Я тут подумал… Я домой поеду. Не сидят же они у меня дома, в засаде. А я устал, спать хочу. Хочу поесть, помыться. Горячую ванну с пеной хочу. Ведро борща. Таз холодца. Всего хочу.

— Ладно. А я сразу на дачу потопаю. Если будут проблемы, — заходи.

— Ну, давай. — Монгол замялся, поправил ремень сумки. — А нормально съездили, да?

— Ага. Цыплята осенью вернулись: самое время считать.

Они обнялись, от души похлопав друг друга по плечам и спине, и, наконец, разошлись по

железнодорожным путям в разные стороны.

Том шел, прислушиваясь к себе, но не чувствовал ничего, кроме усталости и рези в глазах. Навстречу спешили на работу первые прохожие. Они были удивительны в своей обычности. Он смотрел на них, как чужестранец смотрит на загадочных, экзотичных аборигенов. Все они жили все время здесь, ходили на работу, пока он был где-то там, далеко. Уставал и жаждал, смеялся, страдал. Любил. Обрел веру. Он прожил там целую жизнь, а тут не прошло и двух месяцев.

Кончились, наконец, покосившиеся привокзальные сарайчики неведомых контор, дорога превратилась в тропинку. Вдоль рельсов рядом с тропой потянулась глубокая крутая балка. В ней шла старая ветка железной дороги, ведущая к дореволюционному, теперь уже заброшенному заводу. Здесь никогда никого не было. В детстве он бывал здесь с отцом, прыгая по старым деревянным шпалам, сквозь которые росла трава и ромашки, или просто сиживая на склоне и жуя бутерброды. Узкая балка, как и всегда, была залита лучами солнца, как всегда, весело поблескивал подбитым стеклом его старый друг — красный семафор, а ржавые рельсы по-прежнему манили куда-то вдаль, плавно скрываясь в зеленом тон-

неле листвы, за поворотом.

Он присел на корточки напротив семафора. Достал заныченную на такой случай сигарету, закурил, — через силу, по привычке. Здесь всегда стоял запах полыни и ржавых рельсов, — запах застывшего времени. Может быть, поэтому его всегда тянуло к железным дорогам, к потерявшим форму деревянным шпалам, к особенной, пугливой тишине старых, забытых рельсов.

Сигарета оказалась горькой. Что-то неуловимо изменилось в нем, что-то кануло в Лету. Где-то рядом, в густой кленовой листве каркнула ворона.

— Каркай. Уже почти осень, — тепло, как старому другу, сказал он. Встал, выкинул сигарету и пошел дальше по шпалам…

…На даче было холодно. Матери не было. В тазу на столе лежали собранные ею помидоры, и от их вида становилось еще холоднее.

Напилив целую груду вишневых веток, он свалил их у печи. Открыл заслонку, стал разводить огонь. Свежая, еще не отсыревшая газета легко вспыхнула, но печь задымила. Тяга была слабая, и дрова никак не хотели загораться.

— Как всегда не вовремя. — Он вытащил дрова, вычистил старую золу, и засунул было в печь еще одну газету, как вдруг бросилось в глаза фото…

Статья

Сонечко тихо посапывал, когда в железную дверь его небольшого домишки громко постучались.

На пороге стоял Том, он был явно взволнован, сжимая в черных от сажи руках обрывок обгоревшей газеты.

— Дядь Сережа, доброе утро. Дайте трубочку.

— А шо ты знов полохлывый такой? Шось трапылось? Пожар? Потоп?

— Та не, все в порядке, — Том улыбнулся. — Просто по друзьям соскучился.

— Ну держи. Только ключ и трубку сразу назад. Пойняв?

— Понял. Сейчас принесу. Спасибо!

— А шо это у тебя за газета? Приспичило? — весело крикнул он вслед, но Том уже бежал к железнодорожному переезду.

…Трубку никто не брал. «Может, дойти не успел? У друзей завис? Вряд ли. Может, спит?» — Потоптавшись у столба, Том снова позвонил: гудок, пауза, гудок.

Наконец, трубку сняли.

— Прачечная! — раздался тревожный Монго-

лов голос.

— Саня, привет. Это Егор.

— А, это ты… — Монгол облегченно вздохнул. — А я уже спать собрался.

— Как дела?

— У меня все тихо.

— Сань, ты только ничего не говори, — срывающимся от волнения голосом говорил Том. — И со стула не падай. Я просто тебе одну заметку прочитаю, и все. Хорошо?

— Я слушаю.

— Значит так. Газета «Слобожанская правда», за прошлую неделю. Раздел «Криминальная хроника». Заметка называется «Те же на манеже».

«В фокус нашего объектива вновь попало печально известное кафе „Ландыш“. Данное кафе ранее называлось „Ромашка“, и испокон веков славилось многочисленными неприятными происшествиями и жалобами жителей района. Не исключением является и сегодняшний день. Так, в прошлом году в упомянутом заведении было обнаружено отсутствие документов на крупную партию спиртного. Тогда было возбуждено дело, которое (по неясным причинам) через месяц было закрыто. А в июле сего года в данном кафе была произведена стрельба. Бандитскую малину

накрыли прибывшие на место правоохранительные органы. И хотя никого из бандитов не задержали (и этот печальный факт во весь рост встает перед нашей доблестной милицией), однако был зафиксирован и положительный результат. Так, в подсобке вышеупомянутого кафе сержантом Петренко было обнаружено десять ящиков спирта „Рояль“ без документов и кустарного производства. Бухгалтера кафе, Мироненко Зинаиду, тут же хватил удар и забрала „Скорая“. Врачи, ничтоже сумняшеся, поставили диагноз прямо с колес: „гипертонический криз“, хотя, как стало известно нашей редакции, ранее данная гражданка на здоровье не жаловалась.

Тем временем облюбованное криминалитетом кафе стыдливо сменило название с „Ромашки“ на „Ландыш“. Сменило оно и юридическое лицо (а хозяева? Вопрос риторический!) Что же получается? На глазах нищих и честных граждан сильные мира сего уходят от возмездия и вершат беспредел. Расследование продвигается очень медленно: не ровен час, что и это дело будет спрятано под сукно. Возникает серьезный вопрос к нашей судебной и правоохранительной системе про коррупцию и взяточничество в высших сферах. Мы будем внимательно следить за ситуа-

цией и всегда радовать нашего читателя новыми подробностями этого запутанного дела».

В трубке что-то щелкнуло.

— Саня, ты меня слышишь?

— Да, Егор. Честно говоря, я мало что понял.

— Что тут понимать? — Том с трудом сдерживал хохот. — Первое. «Скорая» забрала тогда не подстреленного тобой, а тетку-бухгалтера. Сердце у нее схватило. Оля не видела, кто лежал на носилках. А мы подумали, что это был Бес. Второе. Бандиты тогда разбежались, и никого из них не поймали. Значит, — уехали из города.

— Я приеду к тебе сегодня, — осторожно сказал Монгол. — С меня мясо.

— С меня мангал, — Том отключил трубку.

* * *

Тихо, почти незаметно приползла в город старуха-осень. Зачавкала под ногами, забередила душу неизбывной тоской по утраченному теплу.

Лелик куда-то пропал. Говорили, что в харьковской милиции занял высокий пост кто-то из его друзей, и он уже без опаски вернулся в Харьков. К Егору милиция приходила по совсем другому поводу: умер отравившийся электролитом его бывший напарник Володька, и следователь хотел

прояснить детали отношений в коллективе. Все проблемы рассосались сами собой, лишь иногда всплывая в памяти темным грозовым облаком вчерашнего дня.

Егор по-прежнему жил на даче. Монгола он почти не видел, кроме тех редких репетиций, на которых тот еще бывал.

— То, что ты более-менее стучать научился, не дает тебе права прогуливать! — ругался Дрим. — Давайте уже альбом запишем, наконец.

Монгол отмалчивался. Действительно, всего за несколько уроков Михаил поставил ему руки. Злополучную песню тот, впрочем, стучал как и прежде, в четыре доли. Но теперь, по совету послушника, на первом такте ударял палочкой по коленке.

Однажды после репетиции Том с Монголом возвращались домой вместе.

— Кассета моя у тебя осталась?

— У меня, — ответил Монгол.

— Занеси мне.

— Ты сегодня не на дачу?

— Дома переночую.

— Записаться, конечно, нужно… — Монгол на секунду замялся. — Но, как говорил Колобок, я закругляюсь… Я Дриму говорить не хотел. Ухожу

я. Из группы.

— Монгол, ты что? Почему?

— Бессмысленно все это. Не то.

— Ты ж только стучать научился.

— Ничего, с меня не убудет. Мне тогда Индеец здорово мозги вставил.

— Ты ж почти не слушал.

— Пацан услышал. Короче, это не главное для… По крайней мере, — для меня.

— А что главное?

Монгол пожал плечами.

— Запишемся, а потом ты скажешь, что я заболел. Во, точно! Руку сломал.

— Ладно, — нехотя согласился Том. — А ты?

— Что — я?

— Чем заниматься будешь?

— Поеду.

— Бомжевать?

— Не, ну его, — Монгол фыркнул. — Не, этого с меня хватит. Я цивильно хочу. Вокруг мир такой большой, жизнь везде крутится, и только у нас — болото. Сто лет пройдет, а ничего не произойдет. Наверное, поэтому и тянет. А вот куда и зачем, я еще не определился. Может, в Москву. Может, в Питер. А может — в Абхазию.

— Если тянет, надо ехать. А то потом всю жизнь

жалеть будешь. — Том вздохнул, усмехнулся. Ему страшно не хотелось говорить эти слова, но он пытался быть честным. — Тем более что ты теперь где угодно выживешь.

— Без базара. Я когда приеду — оттуда позвоню. Бувай.

Он хлопнул Тома по плечу и зашагал к своему дому.

Неофит

В октябре на даче стало совсем уныло и холодно. Земля вокруг дома совсем раскисла от дождей, и он перебрался домой.

Неожиданно для себя Егор вдруг стал домоседом, выбираясь только в магазин, на репетиции или в церковь. Еще полгода назад его было сложно застать дома, но теперь дружеские попойки его совсем не манили. Они стали вдруг бессмысленными, шумными, пресными. В душе заполнилась, зажила какая-то неясная, едва ощущаемая пустота, которую он не осознавал ранее и почувствовал только сейчас, ощутив от нее избавление. Будто человек, долго носимый по воле волн, добрался, наконец, до берега и, коснувшись уставшими ногами дна, почувствовал его прохладную успокаивающую основательность.

Он изо всех сил стремился улучшить себя, со странным восторгом уничтожая следы былого. Стены комнаты, заклеенные любимыми плакатами, теперь давили на него, шумели вокруг нескончаемым людским гомоном. «Что хотят сказать мне все эти люди? Зачем я с ними живу?» — Он сделал ремонт, переклеив комнату

в нежно-зеленый, а кассеты, плакаты и редкие самиздатовские журналы раздал друзьям.

«Поехала крыша», — пожимали те плечами, поглядывая на него со смесью страха и сочувствия и молча разбирая трофеи.

В храме он стоял, как столб, как солдат на посту, молясь о том, чтобы спастись, и чтобы отец вернулся в семью. Однажды в конце службы какая-то большая птица неожиданно хлопнула крыльями над самой головой. Его обдало воздушной волной. Он глянул вверх, но птицы не было, а люди вокруг ничего не заметили.

«Это ангел! Со мной произошло чудо! Господь слышит меня!» — Его душа затрепетала от радости.

В церкви его ровесников не было, а со старухами было сложно найти общий язык. Они знали, когда нужно петь, а когда следует стать на колени, но не могли ответить на его вопросы о вере и о Боге. Это было так не похоже на тот монастырь. От пожилых прихожанок, как ему казалось, веяло не просветленным животворящим знанием, а дремучим суеверным страхом, перемешанным с каким-то липким, неприятным подобострастием.

Иногда он ловил себя на мысли, что тяготит-

ся ранними воскресными службами, что хочет вернуться туда, в простоту и наивность своего дохристианского бытия. Но Церковь поила его душу чем-то таким, от чего он уже не мог, не был готов отказаться. Иногда, вспоминая свою жизнь, он ужасался грубости и лукавству, внутренней кособокости своего тогдашнего устроения, которое увидел только сейчас, и с которым так легко уживался раньше.

Ему помог случай. Как-то раз после службы их священник, отец Михаил, которого местные бабушки почитали за святого, заканчивая проповедь, сказал:

— Братия и сестры! К нам приехал главный бес! Не допустим поругания нашего богоспасаемого города!

Оказывается, их город решил посетить известный экстрасенс Кашпировский.

В нужный час православные собрались у местного Дворца культуры — помпезного здания с колоннадой, стилизованного под греческий храм. Поток людей с иконами и хоругвями, распевая молитвы, медленно кружил вокруг ДК, чтобы не допустить внутрь известного целителя. Егор, распевая молитвы, плыл вместе со всеми. Неподалеку от него толкались двое молодых

семинаристов.

— В нем одно постижимо — его беспредельность и непостижимость, — вполголоса, чтобы не мешать другим петь, говорил один. — Поскольку он превыше всего существующего, то катафатически говорить о нем невозможно.

— Безусловно, ведь ортодоксия есть прежде всего ортономия и ортопраксия. Что в переводе с греко-афонского означает: православие есть правомыслие и праводелание, — соглашался другой. — Поэтому увидеть Божественный мрак можно, лишь достигнув высшей ступени святости, то есть преодолев все мистические озарения и небесные звуки.

В это время ко Дворцу культуры подъехал черный «мерседес», и из него, в сопровождении двух крепких людей, вышел знаменитый экстрасенс. Поток верующих перемешался, часть из них бросилась к центральному входу и заблокировала вход. У машин тем временем тоже поднялась метушня. Сеанс группового исцеления оказался под угрозой. Том бросился к тяжелым дубовым дверям Дворца.

— Освободите проход! — послышалось изнутри: ее пыталась открыть администрация ДК.

— Пропустите! — Я Кашпировский! — Экстра-

сенс под прикрытием охраны уже продирался ко входу.

— У неоплатоников сфера бытия даже на самых высоких ступенях обязательно множественна, в ней нет простого первопринципа! — Рядом кряхтел один молодой человек, не давая двери открыться. — Поэтому и Бог у них непостижим: душа, касаясь какого-либо предмета, игнорирует все остальное.

— Безусловно, Бог Откровения не есть Бог философов! — отвечал ему второй семинарист, прикрывая собой узкий проход у ближайшей к двери колонны. — Святой Григорий Нисский вообще говорил: всякое приложимое к Богу понятие есть идол!

— Идол! Идол! Антихрист! — подхватила какая-то бабка. — В аду тебе гореть!

Черный ход тоже оказался заблокирован. Целителя не пустили.

— Я работал в США! Я все расскажу американскому послу, — гневно кричал Кашпировский, возвращаясь к машине. — Он меня знает. Перед ним сам Кучма на цыпочках ходит. Вот погодите, — он вам устроит!

— Спаси, Господи, люди твоя! — пели ему вслед.

Кашпировский, погрозив кулаком напоследок, уехал. Это была победа.

— Пацаны, привет. — Егор подошел к семинаристам и, не зная что сказать, спросил наугад: — У вас Григорий Нисский есть?

— А если найду? — подхватил один из семинаристов, и они рассмеялись.

Для расширения кругозора ему посоветовали перво-наперво ознакомиться с трудами Исаака Сирина, Максима Исповедника и Дионисия Ареопагита.

— Я и не слышал о таких, — сказал он.

— У нас один священник знакомый есть, отец Симеон. Он святоотеческие книги сам с греческого переводит. Макарий Коринфский, Никодим Святогорец… Ты знаешь, сколько их всего на русский переведено?

— Нет, не знаю. — Том пожал плечами.

— Всего вот столько, — показал пальцами один.

— А не переведено во-от столько! — широко раздвинул руки другой.

— Приходи на воскресную школу. Это в центре, у собора.

— Спасибо! Приду.

Это был тот ответ, к которому он стремился,

подспудно чувствуя, что у христианской веры должна быть и интеллектуальная высота. Недаром же люди так легко расставались за нее с жизнью.

Однажды, возвращаясь домой, он замешкался в подъезде у почтового ящика и случайно услышал с улицы голоса соседок.

— Клава сказала, Егорка наш теперь в церкву ходит.

— Так его ж летом по голове тяжко вдарили, и он в больницу попал. С тех пор и ходит.

— Ну цэ получше, чем на кладбище или отую ихнюю музыку слухать.

— Та да.

Соседки сочувственно вздохнули, а он, улыбнувшись, поспешил к себе домой.

— Знаешь, мам, душа определенно голубого цвета, как и небо, — говорил он, с аппетитом поедая суп. — А солнце — это Бог. И если Солнце не взошло, то и жить этому небу в вечной тьме. Тут все зависит от нее самой.

— Ты работу нашел? — спросила мама.

— Странное дело, — продолжал он, — раньше я чувствовал одно, и мое мировоззрение соответствовало моим чувствам. Теперь чувства изменились, и я думаю по-другому. Выходит, что

те, прошлые чувства меня обманывали, а значит, они ненадежны. Но ведь и сейчас я тоже могу ошибаться! Тогда я открываю Библию, эталон истины. И я нахожу их, эти правильные, идеальные чувства. Я читаю ее, и они живут во мне какое-то время. Но когда я закрываю ее, то вскоре они уходят. Выходит, что свои чувства можно менять под определенный шаблон, подстраивать их, как гитару. Иначе всю жизнь будешь тренькать на расстроенной, а все вокруг из вежливости будут тебя терпеть. Ты-то хоть меня понимаешь?

— Я стараюсь. Ты стал другим, — отвечала мама. — Хотя чавкаешь по-прежнему.

— И вот еще знаешь что. Я теперь все вижу по-другому. У меня сейчас ответов больше, чем вопросов. Вот, например, мы разрушили зло коммунизма.

— Ты котлету будешь?

— Ты что, мам? Сейчас же пост! — вспыхнул он. — Сколько раз я говорил: не искушай меня! И не ешь при мне мясо!

— Ладно, ладно. Так что ты там говорил?

— Вот, сбила меня. Да… Вспомнил. Про коммунизм. Мы его разрушили, думая, что он и есть зло. Но когда на его место пришел капитализм, то зло никуда не делось, и даже выросло. А зна-

ешь, почему? Потому что зло нематериально! Зло — явление метафизическое, а политическая форма устройства — всего лишь сосуд. Зло проявляется по-разному в каждой форме. Но идеальной политической формы никогда не будет, именно потому что зло — нематериально. Поэтому спасение от любой идеологии — только во Христе. Политика — это своя правда, а Христос — это Истина для всех. Христос примиряет и левых, и правых, требуя от них быть вначале людьми, а уже потом — последователями идеологии. Человек может быть добрым или злым в любой идеологической системе. Белые и красные, нацисты и коммунисты, — все смогли бы ужиться в мире, если были бы со Христом, потому что Бог выше этих различий. Представляешь? И сам панк может раскрыться, только отрешившись от всех этих земных форм и вынеся свой протест на метафизическую высоту. Юродивые — это панки Христовы! Каждый из них знает, что не победит в этой схватке, что он обречен погибнуть, но он может очистить себя от этого зла, тем самым преодолевая панк как свое несовершенство… Ты меня понимаешь?

— Я понимаю, что у нас в семье завелся проповедник. Ты работу нашел? — снова спросила

мама.

— Мам, ну зачем ты? Это так… Примитивно, что ли. Не тот уровень.

— А бездельничать не примитивно? У нас вон всех на пенсию посокращали, я одна за троих тяну, а зарплата та же.

— Нужно поискать.

— Поискать — это неопределенная форма глагола.

— Наверное, пока сторожем, или разнорабочим пойду. А на следующий год в институт, только не на иняз, как хотел, а на истфак. Или на философский. Я еще не знаю, что лучше. Понимаешь, мам, мир разбит на осколки, его смыслы утрачены. Разбита и душа. Философ описывает разбитое зеркало этого мира, будто собирает его осколки. Чем он беспристрастнее, тем объективнее видит картину. Но даже если он и соберет все осколки мира, то зеркало останется разбитым. Человек же верующий старается удерживать у себя в душе образ целого зеркала. При этом он слаб, — иногда умом, иногда волей. Он даже может не соглашаться с этим образом, противиться ему, и, как всякий, хочет довериться своим чувствам. Но потом, оглядываясь назад, он смотрит на свои ошибки, и убеждается, что там, где отступал от

Евангелия, где поступал по стихиям мира, — там было только горе и слезы. Эта оглядка назад убеждает его в правильности избранного авторитета. И он снова возвращается к этому образу… А еще я придумал выражение: человек — это единица, стремящаяся к бесконечности. Красиво?

— Очень. К отцу не ходил?

— А ты?

— Я с ним с тех пор не виделась, — мама замялась, подбирая слова. — И, честно говоря, видеть не хочу.

— Ничего. Все скоро изменится.

— Что изменится, Егор?

— Все! — многозначительно ответил он.

Мать замолчала, посмотрела в окно.

— Может быть, сходил бы, проверил. Как он там?

Мир

На следующий день, под первый неверный снежок Егор пошел к отцу. У двери он на секунду остановился, собрался с мыслями. Постучал. В квартире происходила какая-то неясная возня. Наконец, дверь открылась, и он увидел папку. Тот был запахнут в пальто, выбрит и неожиданно трезв.

— Заходи! — Он пригласительно мотнул головой, и коротко глянул в глаза.

Егор вошел, поставил на пол сумку.

В квартире почти ничего не изменилось, — стало лишь холоднее. Разбитое окно было заткнуто подушкой. В него, через небольшую щель, залетали снежинки и, собираясь горкой на подоконнике, растекались лужицей по краям.

На сломанном старинном стуле, как всегда, лежала нехитрая закуска: насколько кусков хлеба, полупустая банка с килькой в томате. Тут же стоял стакан мутного старого чая, уже покрывшегося радужной пленкой.

— Не жарко тут у вас, — усмехнулся Егор.

— Сейчас согреемся. — Отец сходил на кухню. Вернулся с бутылкой и банкой консервов, налил

рюмки.

— Ну, давай. За тебя.

— Нет. Давай ты за себя выпьешь, — сказал Егор.

— Это как? — Не понял отец.

— А вот так. Я за себя, и ты — за себя. Каждый выпьет за свои подвиги и достижения.

— Издеваешься? — Отец укоризненно посмотрел на сына и, не чокаясь, выпил. Шумно втянул носом воздух, закусил. В комнате запахло самогоном.

Том тоже выпил, поставил рюмку. Затем пошел в коридор, достал из сумки ведро, тряпку, веник и несколько старых мешков. Отец удивленно глянул на все это, отвернулся.

— Снег пошел, — сказал он.

— Да.

Выпили еще по одной, молча. Отец крякнул, сморщился.

— Помню, так же первый снег повалил, а я тебя в детский садик на санках вез. Бежал, на работу опаздывал. А ты… выпал. Я уже до самого садика добежал, хвать, а тебя — нет. Я назад.

— А я?

— А ты сидел, один, в сугробе. Не испугался. Просто сидел и ждал.

— Ты не рассказывал… А помнишь, как мы за домом, после школы, с тобой в снежки играли. Я сую руку в снег, и вдруг чувствую что-то круглое. Вытаскиваю, а там — апельсин! Тяжелый такой, как бетонный.

— Ага. А потом пришли домой, разморозили его, а он еле сладкий, невкусный был…

— А еще, помнишь, как тебе в приемник какую-то волну впаяли, и мы радио «Свобода» слушали, без глушилок. И однажды кто-то в дверь позвонил!

— Я его тогда чуть не выкинул. Так испугался.

— А помнишь мост? Старый, деревянный, через реку? Я еще тогда две рыбы на крючок поймал?

— Помню.

— Его в прошлом году паводком смыло.

— Я не знал.

— Папк, слышь. А скажи честно. Ты бы мать убил?

Папка вздохнул, отвернулся.

— Не знаю, — тяжело, медленно выговорил он, уставился в стену. — Хотелось, конечно, и не раз. Но тебе оно не нужно, ты все равно не поймешь, пока сам не женился. Но раз не убил, значит — не убил. О чем тут говорить?

Отца вдруг как-то резко развезло. Он закурил,

прилег на диван.

— У тебя швабра есть? — спросил Том.

— Нету.

Том подмел пол, собрал в мешки накопившийся мусор за годы. Здесь были банки, бутылки, старые железки, сломанный табурет, рваные носки, порванные ботинки, несколько дырявых велосипедных покрышек. Новые, в масляной бумаге, лезвия от коньков, мешок консервных капроновых крышек, пачки старых научных журналов, пустой ежедневник за 1980 год. Моток медной проволоки, разбитое ведро, миска с засохшей краской и кистью в ней, и еще масса ненужных вещей.

Отец сидел на диване, замотанный в одеяло, и тихо ругался.

— Э… Что это ты выдумал? Это не трожь… Это оставь! Э, погоди!.. Из коньков я ножи сделаю. Это же отличная сталь, нержавка… Это тоже не трожь.

Егор собирал хлам молча, не слушая отца, и выносил его во двор. За несколько ходок он забил мусором целый контейнер. Впрочем, отец не очень-то протестовал. Пару раз Егору даже показалось, что в его голосе был скрываемый восторг. Будто снова, как когда-то давно, жизнь предлага-

ла ему что-то новое, сдвигая с мертвой точки его однообразное и никчемное существование.

«До чего он дошел. Уборка, обыкновенная простая уборка для него становится чем-то… Чем-то судьбоносным». — От этого открытия у Егора подкатил ком к горлу, защемило в глазах.

Когда он закончил и присел рядом, отец разлил остатки самогона.

— Давай накатим.

— Не, пап, спасибо.

— Ну, будь.

Отец выпил.

— Я тебе решил ключ дать, от квартиры. У меня все равно запасной есть. Вдруг тебе что-то понадобится. Какие-то инструменты, или гвозди, например. Может, на даче чего захочешь сделать…

Отец долго говорил, перечисляя все то, в чем еще видел какой-то смысл, какую-то пользу, но его голос становился все тише, речь — бессвязнее. Наконец, он завалился на бок и захрапел.

Егор глядел на спящего отца, на полузабытые родные черточки, новые и старые морщины. Он смотрел на его расслабленное лицо, и не мог оторваться. Его борода стала совсем седой, на щеке появилась родинка. Он здорово сдал за эти

месяцы. Как-то осунулся, пожелтел.

— Блин, папка, родной. Ну почему так? — прошептал он, вновь глотая давящий тяжелый ком.

Наконец, встал, взялся за тряпку. Отец время от времени просыпался, бросал несколько отрывочных фраз, сопел, матерился, всхрапывал, снова засыпал. Егор молча мыл, убирал, вытирал, не обращая внимания на эту бессвязную ругань.

У мусорного контейнера он заприметил выброшенную кем-то створку окна, притащил ее домой, разобрал. Одно из двух стекол было полностью целым, но немного больше. Он положил его на кухонный стол, нашел сверло с напайкой, и, процарапав на стекле ровную белую полосу, отломил лишнее. Затем, распахнув окно, вытащил разбитые стекла, вставил новое, закрыл поскорее. Стало теплее. Второе стекло он вырезал из двух половинок разбитых кусков, соединив их клеем.

За окном уже стемнело, но уходить не хотелось.

— Будто не в гостях. — Он пошел на кухню, перемыл посуду, заварил чай. Затем выбросил оставшийся мусор, сходил в магазин за овощами. Начистил картошки, морковки, бросил в кастрюлю остатки килек в томате. Зашел в комнату.

Отец по-прежнему спал, сбросив с себя одеяло.

Егор укрыл его, пробежался взглядом по преобразившейся комнате, взял свою рюмку.

— Давай, за тебя. Выздоравливай, папка, — шепнул тихонько. Затем закрыл дверь своим ключом и ушел.

* * *

Через неделю он снова зашел к отцу.

— Заходи, дорогой. — Тот радушно распахнул дверь.

Егор вошел. На столе в комнате стояла электрофорная машина.

— Смотри! — радостно сказал отец. — Я тут свои эксперименты возобновил. Трос давно перетерся, я его заменил, и… Я говорил тебе, что когда-то на этой штуке шаровую молнию получил?

— Ну, по синьке можно что угодно получить, — заметил Егор.

— Зря ты так, — отец обиделся. — А я, между прочим, уже неделю не пью.

— Тяжело?

— Нормально. Руки только по утрам трясутся. Ну и нервы, само собой. Эксперименты эти хоть как-то отвлекают. Совсем не знаю, чем заняться. А под лежачий камень портвейн не течет.

— Слушай, а давай на рыбалку сходим? Погода

подходящая.

— Когда?

— Да хоть завтра.

— Пошли, — согласился отец. — А удочки есть? Мои пропали куда-то.

— Найду, — сказал Егор.

«А может, это он вовсе не про нас?» — думал он, вспоминая по дороге домой слова отца Никиты о счастливой семейной паре, вернувшей отношения. — «Тогда зачем он это сказал?»

Он верил в то, что эти слова были пророческими, что они напрямую касались именно его семьи, его папки и мамки, но червь сомнения частенько бередил его душу. Иногда он гнал от себя это воспоминание, стараясь не прикасаться к нему своим сознанием, будто от этого оно испортится и никогда не сбудется. Но как же он в это верил, как же горячо, как страстно этого хотел! Не понимая, как, но просто надеясь, что все как-то непостижимо устроится снова. Чего только не происходило в житиях святых, чего только не бывало в Евангелиях! Иногда ему казалось, что и крестился-то он не столько из-за рвения к Богу, столько из-за того, чтобы задобрить Его, вернуть семью, чтобы все было так, как в детстве, чтобы родные любили друг друга и были счастливы.

Господь будто уловил его в свои сети этим несбыточным манком, и уже позже, как своему, а не постороннему, открыл подлинную глубину веры. А раз открыл, значит, все не просто так! Значит, случится чудо! Ведь старец этот явно знал какие-то тайны, что-то *видел,* — недаром же он столько *угадал*, недаром заговорил тогда о семье, как глянул в самую душу, а значит, это возможно… Нужно только верить.

Бетельгейзе

На следующий день погода испортилась. С утра начался промозглый осенний дождь, и они не пошли.

— На перемену погоды клева не будет, — отрезал отец.

Дожди шли целую неделю, холодные, мелкие и по-осеннему унылые, сбиваясь на мелкий липкий снег.

Однажды утром, открыв глаза, он почувствовал, что в комнате как-то по-особенному светло и тихо. Он подошел к окну и замер. Зима готовилась, приноравливалась, и вдруг в один день выстрелила из всех своих калибров. Это был первый основательный снег, из тех, что меняют мир, — мягкий, искрящийся. Он, видимо, валил всю ночь, а под утро как-то резко бросил, словно небо устало. На улице стояла особенная, ватная, тишина, звуки таяли в белой мгле, изредка прорываясь поскрипыванием спешащих куда-то редких людей.

Двор, еще вчера грязный, будто бы решил начать жить заново, с чистого листа. Казалось, что больше никогда не будет ям и луж, по-детски

запросто забудутся дороги, машины, средства связи. Все сгинет в белом-пребелом мире, все остановится, замрет, затаится перед чем-то важным, стремительным. Прохожие пробирались по узким, едва протоптанным дорожкам, сталкиваясь, как пингвины, неуклюже обходя друг друга.

Егор с трудом оторвался от этого нового мира, оделся, вышел из дому. У подъезда курил сосед Юрка. Егор кивнул ему, отошел подальше и, взяв горсть снега, принялся лепить снежок. Юрка намек понял и, зажав сигарету в зубах, не спеша нагнулся за снегом. Завязалась короткая быстрая перестрелка. Один из снежков попал Егору в шею. Он вытряс снег из-за пазухи, пугнул, швырнул в ответ на ход движения и сразу же попал Юрке в ухо.

— Ладно, харош. Один-один!

Так же внезапно прекратив войну, как и начали, они сели на скамейку.

— Будешь? — Раскрасневшейся рукой Юрка потянулся за сигаретами.

— Не, не буду. Бросил. Кстати, у меня там плакаты еще остались. Последние раздаю. Заходи, если нужно.

— С ума сошел, что ли? — Юрка открыл рот. — Мне говорили, что у тебя крыша того, но не до

такой же степени. Конечно, зайду.

Том пересек двор, поднялся к отцу. Никто не открывал.

«В магазин ушел, что ли?» — Он постучал сильнее. Нетерпеливо достал ключ, вошел в квартиру, и *сразу все понял*.

Отец лежал на диване, вытянув ноги неестественно прямо, с приоткрытым ртом, слегка запрокинув голову назад. Его лицо напоминало мексиканскую маску, будто он провалился куда-то внутрь себя, в незнакомую живым глубину покоя.

Том неровно выдохнул, и потом долго стоял и, прислонясь к дверному косяку, молча глядел на отца. Он будто знал об этом. Эта картина с умершим на кровати родным человеком была с ним всегда, но до поры до времени пряталась в тайниках его души, его памяти. Это было полустертое знание, запретная страница книги его жизни, которую ему прочли когда-то. Возможно, еще до рождения, — в утробе, и которую он начисто позабыл, или просто боялся припомнить. И вот она, эта страница, читается сегодня, сейчас…

Квартира будто подобралась страхом, испуганно торчала углами, превратилась в помещение. Ударило тревожно сердце, ткнулось в ребра, буд-

то хотело выпорхнуть из грудной клетки, заныло, как тогда, в Крыму, в магазине картин.

Он оторвал взгляд от отца. У дивана аккуратно стояли папкины ботинки. Сбоку к подошве присохли вчерашние кусочки грязи. Он смотрел на них, такие обыденные и такие совершенно бесполезные, бессмысленные теперь папкины ботинки. Затем тихо вышел, запер дверь…

* * *

Отца похоронили как-то быстро, скомканно, уже на следующий день, будто стараясь поскорее избавиться.

Воспоминания об этом дне у него остались рваные, осколочные. Сырое утро, подтаявший снег, красный гроб у подъезда. Соседи подчеркнуто уважительны. Он почти не участвовал в приготовлении: всем занималась мать и взявшиеся откуда-то незнакомые, но удивительно проворные старухи, которые со знанием дела распоряжались, что где поставить, куда кого отрядить.

На старом кладбище, еще прикрытом вчерашним подтаявшим снегом, было тихо, холодно и по-домашнему уютно. Отец лежал строгий, восковой. Его подбородок стал будто меньше, в лице

появилось незнакомое скорбное выражение, будто он раскусил клюкву, да так и застыл с ней.

Священник, тучный бородач средних лет с багровым лицом, быстро размахивал кадилом, пока немногословные землекопы заканчивали свою работу.

— Вечная па-мять! — тоненько голосил нестройный хор кладбищенских старушек.

Вот полетела в могилу первая горсть желтоватой глинистой земли, стукнула глухо о крышку, будто в сердце, будто в дверь каждого дома. Встрепенулись все, будто начался новый отсчет времени, заплакала в платок мать.

Егор бросил горсть, отошел к своей компании. На старых, развесистых деревьях звенели птицы, под ними пили водку. Друзья Егора потихоньку разошлись, остался лишь Серый.

— Закуришь?

— Давай.

Егор жадно затянулся. С непривычки закружилась голова. Оглянулся, будто ища что-то в сложном переплетении веток старых кладбищенских деревьев, и вдруг увидел два дерева, сплошь увешанные красными яблоками. Он замер от неожиданности, подошел поближе. На краю кладбища огромная стая снегирей густо заполни-

ла две рябины; птицы, прыгая с ветки на ветку, жадно склевывали мерзлые ягоды, а он смотрел и смотрел на них с открытым ртом, будто на знамя иной жизни. Потом их что-то спугнуло, и птицы шумной багровой стаей унеслись куда-то за дом.

— Много яблок в этом году, — пробормотал он, — только тебя больше нет.

Вечером в квартиру набилось много народу. Пришли соседи, какие-то бывшие коллеги.

— Гроб легкий был. Это хорошо. Это значит, что на небо легко поднимется, — со знанием дела сказала какая-то бабка.

— Это да. Я знал покойника давно, — значительно подтвердил незнакомый дед, высоко держа рюмку. — Покойник был хорошим человеком. Иногда, конечно, бывало… Ну а с кем не бывает? Земля ему прахом.

Постепенно все оттаяли, залопотали, повеселели. Посыпались шутки, анекдоты, воспоминания.

— Пил он много.

— И пусть бы пил. А как бросил, — так и помер.

Затянули песню. Егор смотрел на красные лица незнакомых ему, аппетитно жующих людей. Встал.

— Фальшиво все. Пошли ко мне, Серый.

Они заперлись у него в комнате. На столе стояло фото отца. Рядом поставили рюмку, прикрытую кусочком хлеба.

— Как там, с немцами? Скоро едешь? — Том хотел отвлечься от тяжелых мыслей.

— С немцами не вышло. Оказывается, у них там на всех предков картотека есть. А я в партию вступил.

— В партию? — механически повторил Том.

— Причем в самую радикально отстойную, — с наслаждением говорил Серый. — Объединенные социал-демократы. На заседания, конечно, не хожу.

Том прислушался к себе. Раньше он посчитал бы Серого предателем, но теперь это странное известие не вызвало у него никакого отклика.

— А зачем?

— У них газета бесплатная. Газета, конечно, тоже отстой, зато сзади телепрограмма на неделю. Теперь хоть знать буду, что по ящику идет. Пока из партии не выгонят.

— По-панковски, — Егор вдруг встал, подошел к Серому, обнял его. — Спасибо тебе, что поддержал.

— Да что ты. Что ты, — пробормотал Серый. — По-любому надо было. Батя все-таки.

Том полез куда-то в шкаф и достал оттуда зачитанный до дыр, толстый розовый журнал.

— Вот, держи.

— КонтрКультура! — Серый не поверил своим глазам. — Навсегда? Не жалко? Ну спасибо. А вот это что? — Он показал на тяжелую черную книгу с коротким золотым словом.

Егор будто впервые увидел Библию. Он взял ее в руки, погладил матовую обложку.

— Да так. Сказки на ночь. Хорошие сказки, добрые. Только у бешеной собаки хозяина нет.

Он встал, криво ухмыльнулся, распахнул форточку. Не думая, не желая думать ни о чем, швырнул книгу в окно. Она вспорхнула страницами и полетела камнем в темную унылую пустоту.

— Егор! Что ты там делаешь? — В дверях стояла мама.

— Радикально. А если бы убил кого? — поддакнул Серый.

— Убил бы? Значит, — судьба.

— Егор! — повторила мама. — Иди сюда.

Том вышел из комнаты. Гости уже разошлись.

— Егор, помоги мне с посудой… Что-то ты совсем плохо выглядишь. Посмотри на себя в зеркало.

— Зачем, мам? Все зеркала врут.

— Что ты там выкинул?

— Библию?

— Зачем?

— Это сказки!

— Да, Егор. Когда-то люди за веру на смерть шли, а ты… Ты же совсем недавно говорил, что Христос примиряет всех, и… Так легко отказался. — Грустно сказала она. — Ну, пусть нас, стариков, всю нашу жизнь пропитывали диалектическим материализмом. Но вы же молодые, вам же проще… И ты… Ты же и мне в этом образцом был.

Он будто впервые увидел ее. Это было так неожиданно. Он никогда не слышал от нее ничего духовного, и вдруг… Она стояла перед ним — маленькая, сильная, уже стареющая, но по-прежнему на его стороне, готовая на все ради него. Ему вдруг стало нестерпимо жаль ее, оставленную мужем, и такую позабытую сыном. Комок подошел к его горлу, перекрыл кислород.

— Мам… — медленно сказал он. — Понимаешь… Я так верил, что он и ты… Что вы простите друг друга. Что снова будете вместе. И он… Тот старик в монастыре… Отец Никита. Он обещал мне, понимаешь? Что вы будете вместе, навсегда вместе! Обещал!

Мать обняла его.

— Дурачок ты мой маленький, Егоша. — Она не называла его так целую тысячу лет. — Ты же знаешь, что мне кроме него не был нужен никто. И никогда. Просто мы не смогли… Жить вместе. Он… Заболел. Сломался. Но ты же веришь, что Господь его починит? Ты же молишься? Или ты больше не будешь за него молиться?

— Я буду, мам.

— И я верю в это. Что буду с ним… Там. Ведь ты же сам говорил, что жизнь не кончается смертью. Разве не так?

Слезы хлынули из него. Они будто снова были втроем. Как когда-то в детстве, на поляне с незабудками. Навсегда молодые, радостные. Навсегда вместе.

— Дзи-ии-нь! Дзи-ии-нь! — зазвенел телефон.

— Междугородний. — Пожала плечами мать.

— Слушаю. — Егор вытер глаза, подошел к телефону.

— Привет. Не узнал?

— Узнал.

— Это Света.

— Я узнал, Света.

— Как дела у тебя?

— У меня все в порядке.

— Егор, у нас тут покупатель на дачу нашелся.

Мне приехать нужно, а на даче… Сам понимаешь, — холодно. У тебя переночевать можно? Я только на одну ночь.

— Я… — Тут до него дошло. — Светка, Светочка, привет, дорогая. Как же я рад тебя слышать! Конечно приезжай! А этот… Славик твой? Он не против?

— А ты хочешь, чтобы я у него спросила?

— Нет.

Светка замолчала.

— Я с ним порвала.

Том лихорадочно искал слова в мигом опустевшей голове, боясь, что она положит трубку, и он больше никогда не услышит ее голоса.

— А… А как ты телефон узнала?

— В справочнике нашла. Мама вашу фамилию знает, а на улице Вечной Осени она такая одна… Ну так что?

— Приезжай, — прохрипел он в трубку.

— Ты не рад?

— Света, да ты что? То есть я не то хотел… Светочка, я очень рад. А ты… надолго?

— Посмотрим.

Он вдруг ощутил там, на другом конце провода, ее улыбку.

— Ну, до скорого.

— Пока…

Он еще долго слушал гудки, пока мать не вернула его к реальности.

— Кто это звонил? — спросила мама.

— Невеста. Или невестка. — Блаженно улыбаясь, он вышел в коридор. Начисто забыв про Серого, накинул на плечи куртку, кое-как завязал ботинки.

— Мам, ты не знаешь, когда Троица?

— Не знаю. Весной, кажется.

На улице подморозило. Свежий воздух ударил в лицо, развеяв пьяный угар вечера. Егор обошел дом, всматриваясь под ноги, пока не увидел на клумбе, в неровном свете фонаря, небольшой черный прямоугольник. Подобрал книгу, протер ее. Поцеловал, поднял мокрое от слез лицо к небу.

— Прости меня, Господи.

Облака рассеялись, и на дворе воцарилась холодная звездная ночь. Почти такая же загадочно-молчаливая, как тогда, на Демерджи. Только теперь над головой снова мерцал красненьким огоньком Орион, будто отцовский дом, — холодный, родной.